# КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 7—8 (24—25)

ДЕКАБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

*Отпечатано в типографии* Государственного Издательства. Москва, Пятницкая, 71, в количестве 10.000 экземпляров.
Корректура и общее наблюдение *Д. А. Штейнбока.*
Гиз № 8544. Главлит № 28566.

# Барсуки.

Леонид Леонов.

*(Окончание.)*

## IV. Сергей Остифеич делает шаг назад.

Понемногу стал приглядываться к деревенским делам Егор Иваныч. Все оставалось по-прежнему: шевелилось село, как муравейник на пригреве, втягиваясь понемногу в водоворот природы и каждое действие свое сопрягая с солнцем. Нежной ступью май проходил по зеленям, а ночи дышали густой и клейкой березовой прохладой. Приближалось время страд.

Со злым исступленьем, захваченный майской спешкой, накинулся Брыкин на распадающееся хозяйство. Куда ни обращал взгляда, везде натыкался взгляд: гниль, прах, дырка, мышеедина. В омшаннике пол закис и разлохматился, а во дворе верхний настил похилился и провис, точно брюхо у сенной клячи; подгнивали венцы. „Развал, совсем развал!..“ — ожесточенно шептал Егор Иваныч и, не остыв еще от вчерашнего пота, бросался с топором на разросшееся дырье, сам себя готовый извести на латки. А дырки все лезли на него, стремясь доканать, а он оборонялся от них с утроенным рвением и топором, и рубанком. Даже и во сне виделись ему дырки...

Егор Иваныч сделался резок и неразговорчив, а на вошедшего не во-время соседа замахнулся даже. Только и спасла соседа неожиданность: баран просунул голову в развалившийся плетень и заблеял так, как будто уговаривал: „Бросьте вы копошиться, Егор Иваныч! Во всякую дырку не наплачешься“.

От черноты мыслей своих прятался в работу Егор Иваныч. Ночью все ждал, что придут и возьмут его ночные люди. Днем — сторонился и людского глаза, и людского смеха, страшась людского сочувствия об Аннушке. С нею ни разу не заговорил Егор Иваныч, с памятного дня прихода. А она, истомившаяся в бессловесной тоске, с сокрушающей злобой ловила каждый мужнин взгляд. Сердце ее, готовое к гибели, изнывающее от бабьей тревоги, покорно тянулось к Половинкину, как ночная тля к огню. На селе, увидя Сергея Остифеича, если

вечер был, шла к нему, тихо покачивая живот, как бы ползла. А он уходил от нее в закоулки. А она забегала вперед и выгоняла его оттуда жалующимся взглядом, догоняла:

— Возьми ты меня, Сергей Остифеич, из Брыкинского дома,— говорила она, злобная и кроткая, побарываемая и стыдом, и страхом.— Я тебе как мать буду, ходить за тобой буду. Заместо собаки возьми, дом сторожить. Гляди, что из меня стало!

Безответно щурились зеленые Серегины глаза, и только курносый нос Серегин, затерявшийся в суровых припухлостях его обветренного, с красноватыми прожилками румянца, лица, казалось, сочувствовал Аннушкину горю. Подергивал витой ремешок нагана Серега, глядел поверх крыш, поверх деревьев, куда-то в неживую пустоту. И опять молила Аннушка:

— Другая у тебя, знаю. Что ж, слаще она? медом обмазана? И я до тебя, до гуменного чорта, хороша была. В девках красовалась — женихи все пороги обшаркали. Я их гнала, для тебя сохраняла. И не такие были, а ласковые, хоть мосты ими мости... Ну, говори, какая ж она — черная? красивая? молодая?..— и тормошила Сергея Остифеича за плечо.

Отмалчивался и порывался уйти Сергей Остифеич, а однажды, разгорячась, заговорил:

— Эх... схлестнулись мы с вами, Анна Григорьевна, в непутный час! И как вы этого не понимаете, что всякое на свете имеет свой конец. Конешно, я всем люб, потому что я всем нужен. Я обчественный человек, служу обчеству. Меня и то уж товарищи в уезде попрекают, бабник мол... Могут, конешно, и накостылять. А какой я бабник? Конешно, есть у меня любопытство к женщине, какая она, одним словом.— Сергей Остифеич потер себе нос, словно стереть с него хотел истинные ощущения свои.— Липнут ко мне бабы, ну прямо хоть усы сбривай! Ведь до чего доходит-то! Марфутка Дубовая пристала намедни и ко мне, и к Петьке: возьмите меня, который-нибудь. Я, говорит, баба хорошая! Чуть не пристукнул я ее тогда... А на вашем месте плюнул бы я на себя, то есть на меня. Гоняйся мол, хахаль, за своими любами, а я мол выше тебя стою... у меня мол муж!

— Сам с ним спи, коли нравится,— злобно засмеялась Анна.— А брюхо-то свое куда я дену? В исполком отнесу? — она с хохотом лезла на него, потерявшая скорбный облик матери, осатаневшая и опасная.— Ах ты дрянь-дрянь! Что ж ты со мной, подлятник, делаешь, в омут гонишь?

— Пустите меня, Анна Григорьевна, к исполнению служебных обязанностей,— сказал в этом месте разговора Сергей Остифеич и, пооттолкнув, прошел прочь. Но походка его была уже не прежняя, играющая, фельдфебельская, а какая-то ускоренная иноходь.

С этого удара преломилась надвое Аннушкина душа. Перед мужем затишала Анна, жадно ждала его окрика, гневного хозяйского

рывка: гнев сулил прощенье. Егор молчал, уединяясь в работу, травя жену молчаньем.

Даже свекровь пожалела Анну,—оценила баба бабью же изменную тоску. На задворки, после пригона скотины, пришла мать к сыну. Пилил с утра какие-то плашки Егор. Подойдя, мать почесала переносье.

— С чего это ты распилился тут в темноте? Лучше бы вон сковородник насадил аль лопатку... Хлебы эвон нечем доставать.

Пуще, рывчей заходила пила в узкой Егоровой руке.

— Подержи вон тот край, — приказал сын, останавливаясь вытереть испарину со лба. Слышалось в его голосе и неутолимое желание чьего-нибудь сочувствия, и вместе с тем предостережение от него. — Вот допилю...

— Аннушка-те... — начала-было мать, коленом придавливая полунадпиленный брус.

— А ты молчи!.. — визгнул сын, на всем ходу останавливая пилу, даже скрипнула. — Вы, мамынька, коли не хотите со мной дружбу терять, вы со мной об этом не заговаривайте. Чтоб это в последний раз! Тут, мамынька, вся жизнь обижена. Вся кровь, мамынька, горит, а вы прикасаетесь...

— Да ведь как, Егора, молчать-те! В дому как в гробу. Да ведь и что мне, разве ж я сужу? — испугалась она, увидя устрашающие глаза и дрожащие губы сына.

Он допилил и, сложив разделанные брусья в угол, принялся остругивать один из них. Мать стояла возле.

— Кто ж так делает?.. Сперва пилил, а потом стругаешь. Наоборот надо,—заметила мать. Она помолчала, наблюдая сына, и, когда выискала мгновенье, торопливо заговорила, пригибаясь и заглядывая к нему в лицо. — Егора, а Егора!.. Ты б ей хоть уж волосы нарвал, аль кулаком бы маленечко... Что ты ее молчаньем портишь? Не портил бы, не плохая ведь.

— Уйди! — закричал Егор и смаху ударил рубанком по самодельному верстаку. Со времени прихода мало поправился Брыкин на домашних хлебах, только как-то припухла нездоровая вялая кожа его лица. Тем страшней было его лицо в бешенстве.

Мрак повис над Брыкинским домом. Рос Аннин живот, шептались люди, поспевали травы, подходил неостановимый уже удар. Вдобавок ко всему не знал Егор Иваныч, кто стал ему поперек дороги к жене. У матери спросить совестился. „Стороной дойду!“ — думал Егор и все метался с топором и гвоздем, растравляя себя сбивчивыми догадками. Пробовал через мужиков добраться до жениной правды. Но слался Митрий на Авдея, а Авдей спихивал на Евграфа — Евграф де сам видел. А Евграф молчал, как ушат с водой. Видно было, что боялись мужики задеть кого-то. Все же одно время думал Егор на Воровского председателя, Матвея Лызлова, пастушьего сына. Но и тут не вышло: всего четыре месяца как женился вдовевший Матвей.

Только возле Троицы разрешилось Егорово недоуменье. Понадобился Егору Иванычу матерьял для деревянного ремонта. Было бы ему в лес и ехать, как все, но не решился. А вдруг накроют, — „кто ты таков есть, лесной вор?" — „А я Егор Брыкин". — „А кто ты есть таков, Егор Брыкин?" — „А я есть сын своих родителев". — „Ага, родителев сын? Значит дезертир. Кокошьте его, товарищи!"

Рассудя это со здравым смыслом, отправился Брыкин за разрешеньем в исполком. В исполкоме и ждала его правда.

## V. У Егора Иваныча закружилась голова.

Жара стояла как в печи, и напрасно ошалелые от зноя куры искали уцелевшей лужи, чтоб попить, помочить гребешок и опаленные лапки. Солнца как будто даже и не было, средоточие жара находилось в самом воздухе. Висела какая-то солнечная лень и тонкая желтая истома над Ворами.

Когда приближался к исполкому Брыкин, встретился ему на полдороге Афанас Чигунов, шедший с косами. Он поглядел на Брыкина внимательно, но не спросил, здоров ли, далеко ли зашагал.

— Вот к ним иду... Лесу хочу попросить для капитального ремонта, — само собою сказалось у Брыкина, и он остановился по необъяснимому стремлению задержать свой приход в исполком.

Афанас в ответ на это прикинул коротким взглядом Брыкина и остановился, уткнувшись глазами в рассохшуюся, цвета выметенного пола, землю.

— Как глядеть!.. Ясно, дерево не колосина, за пазухой незамеченно не унесешь, — уклонился Чигунов и поковырял косьем ссохшийся катышок конского навоза.—А только... что ж тебе по доброй-то воле итти?—и он кивнул головой, намекая на что-то, Егору давно известное.

— Да чего же мне и дома-то сидеть?—загорячился Егор Иваныч.— Что ж я губитель какой или кулак там? В Красной армии был, а выйти из дому и не позволено! Пулю в себе ношу! — добавил Брыкин робко, но места, где пуля, уже не указал.

— Пуля дело не маленькое, гнет, одним словом, обремененного труда... — лениво согласился Афанас, выковыривая из колесины навозного жучка. Русые волосы его, добела обожженные солнцем, свисали на лицо. Брыкину хотелось заглянуть ему в глаза, за скобку волос, знает ли, или только напрашивается на бутылку угощенья. — Вот тоже сказать, и волк... — сказал вдруг Чигунов, поднимая глаза.

— Какой волк?.. — нахмурился глупому слову Егор Иваныч. — К чему у тебя волк?

— Волк-те? А вот у отца зарок был: не затрагивай волка попусту, а уж бросился, так прямо в шею кусай.

Брыкин пристально глядел в Афанасово лицо. Лоб у Афанаса был большой и тяжко висел над несоразмерно маленькой, какой-то

бабьей, нижней частью лица. Глаза высматривали из глазниц хитро и зорко, только они одни и посмеивались. Брыкин догадался, о чем думал Афанас.

— У меня вот таким же манером... братишко недавно прибыл. С Андрюшкой Подпрятовым... приятель тебе? Я к нему разом — пачпорт покажи. У него тоже, пачпорт-те, вишь, берестяной, а бересто-т с березы еще не слуплено... А береза-т еще не выросла! Я им обоим и наказал: гуляй, говорю, в лесах. Лес человеку очень, говорю, пользительно. Вырой себе ямку и живи в ней.

Брыкин озлился и насильственно заулыбался:

— Должно, шарик у меня не работает. Ты прости, дядя Афанас, а только речь твоя мне не по разуму! И куда ты клонишь — не пойму. А лес мне нужен, так и знай... перерубы все подгнивают. Опасный ты, дядя Афанас, человек!

И он крупным, нарочитым шагом дошел до исполкомского крыльца. Исполкомский дом, когда-то Сигнибедовский, рублен был на старозаветный манер, неистовствовала пестрота раскраски. У крыльца стояли, привязаны, две лошади, правая — статная кобылка под седлом. „Не вернуться ли?..“ — тоскливо мелькнуло последнее соображение. Но, ощутив на спине у себя насмешливый взгляд Афанаса Чигунова, Егор Иваныч, грохая сапогами, поднялся на крыльцо и с остервенением распахнул вторую, в сенях, дверь.

Его охватила духота тесной каморки. Вокруг стола, за которым бойко поскрипывал пером семнадцатилетний парнишка, председателев сын, стояли мужики. Их было шестеро. И у всех шестерых на лицах было написано озабоченное непониманье, даже виноватость. У одного из них как-то особенно понуро выглядывал грязный клок из дырки на штанах.

Окна были закрыты. В мутное стекло, густо засиженное разным насекомым, гудливо билась озверевшая синяя муха. Она искала выхода, но выхода ей отсюда не было. Отсутствовал здесь обычный избяной дух, и воздух, какой-то серо-желтый, пахнул чем-то махорочным, солдатским.

Егор Иваныч прошел мимо и уже без прежней решимости взялся за скобку следующей двери.

— Вам куда, товарищ?.. — сорвался с места председателев сын, второпях бросая ручку на стол и изобразив возможную строгость на безусом своем лице.

— Да я, Васятка, к папаше твоему... Хочу вот леса попросить, не даст ли, — откровенно признался Брыкин и стал какого-то палевого оттенка.

— Тут Васяток нет, тут общественное место, — бесстрастно отразил Васятка. — И папаш тут тоже никаких не имеется! И вообще, товарищ... — он не договорил, охваченный пожаром нестерпимого смущенья.

— Ну, уж прости дурака,—съязвил Брыкин, манерно кланяясь в пояс.—Не знаю уж, каким тебя благородием и свеличать! Люди, сам знаешь, темные!.. В отдалении живем!—Брыкин так смешно подергал всем туловищем, словно вытряхивал себя из себя самого, что мужики, все шестеро разом, засмеялись лениво и добродушно.

— Я тебе не благородие, Егор Иваныч... как мы все обитаем землю, трудовой одним словом...— путался Васятка.—И потом, эта дверь в цейгауз ведет, а к председателю вот сюда!—и он сам отворил перед Брыкиным дверь.

— Садись уж, записывай... трудовой! Сенокос ведь!—сказал один, с дыркой на штанах.

— Ты нам вот зимой поболтаешь, дремоту разогнать!—прибавил беззлобно другой.

Егор Иваныч слышал это, но уже не смеялся вместе с мужиками. Он пролез в дверную щель как-то боком и остановился посреди комнаты.

Здесь было покойно, просторно и хорошо. За открытым окном стояли яблони в цвету,—Сигнибедов был хозяйственен. Отраженное в глянцевой зелени яблонь солнце было так сильно, что и на лицах людей, и на всех немногих предметах здесь смутно и приятно поблескивал прохладный зеленоватый отлив. Эта зеленоватость и придавала комнате какую-то необычную чистоту, вначале даже непонятную для глаза. Впечатление чинности создавалось огромной и плохой литографией Ленина, висевшей в красном углу.

У левого окна, закрывшись газетой, сидел большой размерами человек в гладких военных сапогах. Лица его не видел Брыкин, зато виден был толстый перстень на крупном пальце, придерживавшем газетный лист. Брыкин не обратил на него особенного внимания, более привлеченный другим. Этот другой, военный комиссар соседней волости, разморясь от жары и изнемогая от зевоты, забавно ловил мух на собственном колене. При появлении Брыкина он как раз бросил обескрыленную муху под лавку и, встав, закурил папиросу, торчавшую у него за ухом, в запасе.

— Ну, я поехал, Матвей Максимыч,—сказал он, вытискивая сквозь зубы струйку дыма.—Я к тебе вечерком заеду, жара спадет... В Попузине-т все Петр Васильич сидит?

— Петр...—сказал председатель и рассеянно позевнул.

— Ну вот, я тогда к Петру Васильичу поеду...

Сам председатель был бос и сидел за столом, на котором поверх вороха газет лежала крохотная восьмушка серой бумаги. В нее и вписывал Лызлов тугие свои соображения, тыча время от времени пером в чернильный пузырек. Пузырек этот, засоренный мухами, давно иссяк и напрасно тщился ныне дать хоть каплю чернильной влаги пересохшему председателеву перу. Терпенье Матвея Лызлова было неистощимо: он стряхивал с пера черную пакостную тину прямо в угол и с

прежней настойчивостью лез в пузырек. Писал он медленно, водя по бумаге с нарочитой осторожностью, точно боялся неловким нажимом порвать бумагу или проломить стол и даже самый исполкомский пол. Дыхание он задерживал, так что порой прорывался из его мощной груди тоненький приглушенный свист. Было чудно и хорошо наблюдать за ним, как он дрожащей от силы рукой преодолевает восьмушку бумаги. Даже и Егор Иваныч, остановясь перед столом, почуял какую-то непреодолимость в пастушьем сыне. Он подождал, пока Лызлов не дописал до конца.

— Чего тебе? — спросил Лызлов, тяжело дыша разинутым ртом на печать, чтоб отчетливей приложилась к бумаге.

— Да вот, лесу бы мне, Матвей Максимыч. Пятерику бы штучки три... — заторопился Брыкин. — Разрешенье бы!

— Лесу, — задумчиво сказал Матвей Лызлов. — Откуда же я его дам тебе, лесу?..

— Да из лесу! Ясно дело, не из речки же...—кинул Брыкин, вытирая пот с лица. — Я сам и съезжу!

— Из лесу...—повторил председатель, так нажимая на печать, что где-то в полу хрустнуло. — Ну вот... — видимо, и Лызлова одолевала солнечная истома. — Пущу я тебя в лес, а ты там уйму нарубишь. А ведь мне отчет давать. Спросят, где вот с этого пня лесина?..

— Да мне хоть сухостойного... Вон у школы гарбушинник-то гниет. Его и дай! А мне и не пилить, — уныло вздохнул Егор Иваныч, кивая куда-то за окно. — А то бы я и сам срубил... Лес-то что трава прет!

— Сколько же тебе лесу? — спросил председатель, пряча печать в карман широченных, жухлого цвета, штанов.

— Вот там жердей для сушила, мелочи, скажем... Пятеричку тоже лесин пяток... — осмелев, начал перечислять Брыкин, но Лызлов не дослушал.

— Заявление напиши, — определил Лызлов. — На какой тебе расход лес, занятье свое укажи и кто ты такой, я тебя не знаю!.. Одним словом, там тебе Васятка расскажет.

— Неужто ж забыли вы меня, Матвей Максимыч? — обидчиво поершился Егор Иваныч. — Брыкина, Ивана Гаврилыча, сынок я! Как вы пастушонком, извиняюсь, с отцом своим бегали, мамынька наша, извиняюсь, все шутили, что в печку вас спать положит. Мамынька нам и сказывали... — очевидно, память у Брыкина была крепче председателевой.

— Ладно уж... Поговаривают о тебе! — нахмурился Лызлов, уткнувшись в новую восьмушку бумаги.

Брыкин, как близко ни касался его Лызловский намек, не дослушал. Человек, сидевший за газетой, опустил газетный лист, и в нем узнал Брыкин Сергея Остифеича. Они встретились глазами, и Половинкин, внезапно смутясь, вновь укрылся за газетой. Впрочем, от

Брыкина не так-то легко можно было отделаться. Егор Иваныч на цыпочках перебежал в Половинкинский угол. Но не смущенное лицо Сергея Остифеича, а нечто совсем другое и неожиданное привлекло Брыкинское внимание.

Одновременно сюда вошли все шестеро давешних мужиков. Чувствовалось, что принесли они какое-то смятение, даже возбужденность, даже гнев. Волнение их разом передалось и Брыкину, — он задышал усиленней, как перед скачком. Мужики стеснились к председателеву столу.

— Да что ж это, Матвей Максимыч, сынишше твое с нами делает! — яростно возгласил передний мужик с черными блестящими волосами.

— Прямо дух вон! — объявил, быстро моргая, другой.

— Как мы на торфу работали по весне, то-есть девки наши, одним словом... — пискливо и звонко объяснял третий, нечесаный. — Нам и сказал заведующий-те, что-де с тебя, Прокопий, гужа не потребуют. А ноне, в самый покос, опять в подводы тащут! — он налезал на председателев стол, шумно хлопая по ладони кулаком, точно в ладони и сидел торфяной заведующий. — Это нам, Матвей Максимыч, не подходит! Мужики, они доверчивы, зачем, скажи, их омманывать!? Мужика не нужно пхать, мужик пригодится. А то ведь мы пойдем счас туды и трубу уроним, чтоб не было заблужденья... как от трубы все идет, одним словом.

— И уроним... явственно, что уроним, — твердо повторил коренастый, охромевший в прошлую войну, Ефим Супонев. — Что ж это такое! Совсем, значит, заанулировать нас хотят. А мы не дадимся. Мы до самого Ленина дойдем. Товаришш, скажем, все с чем боролися и к тому пришли?.. Нам кажная подвода не во времени все равно, что кровь пролить...

— Во-во! В кровь, в кровь! — не дослышав по глухоте, вылезал из мужиковской кучи самый маленький по росту, с головой самоварного обхвата.

Лызлов, ничего не понимая, вскидывал глаза то на одного, то на другого, а те все напирали, суя грязные слежавшиеся бумажки в председателев нос.

— Погодите, погодите... — начал Лызлов. — Конечно, государство не имеет против вас заднюю цель. А насчет этого вы к заведующему и обратитесь. Не имел он права вам таких бумажек выдавать, чтоб освобождать от гужа.

— Дак ведь он уволен, заведующий-те... — вылез задний.

— Уволен он! — басовито сказал крайний справа, в коротких сапогах, тоже бывший солдат. — Мы уж ходили, там ноне другой сидит...

— Нам ходить некогда... Мы тебе поверили, ты нам и отвечай! — прокричал старик с дыркой на заду.

...А Егор Иваныч тем временем вел свою острую игру с Серёгой Половинкиным. Он забежал справа, но тот и газету перенес вправо.

Тогда Егор Иваныч перебежал влево, но и газета, соответственно, передвинулась влево. Тут Егор Иваныч привстал на носки и заглянул поверх газеты. Лицо Сергей Остифеича вздрагивало подобиями молний, как небо перед бурей, а на лбу проступил пот.

— Ты что, ровно муха, на меня лезешь?—огрызнулся Половинкин, и руки его, вдруг ослабев, сами опустились на колени вместе с газетой.

— Пиджачок-то...— не своим голосом прохрипел Егор Брыкин в самый раскрытый рот уполномоченного, приседая в согнутых коленях: — ...перешивали пиджачок-то?.. Али и так подошел?!... — и протягивал палец, порезанный вчера и теперь обмотанный грязной тряпицей, прямо к своему пиджаку, сидевшему на Половинкине, и правда, как-то подозрительно.

Пиджак этот был куплен Егором к свадьбе, куплен был на возможное брюхо и рост, в нем и венчался, хороший пиджак, синий с искоркой, сохранялся под нафталином в Анниной укладке.

— Что ж ты хочешь этим сказать? — подгибая напрягшуюся шею, быком уставился в Егоров перевязанный палец Половинкин. — Украл я его, что ли?! Сама же твоя-то и подарила мне... — он метнул просительный взгляд на председателя, но тому с мужиками было только до самого себя. — Возьми свой пиджак, коли нужен... Он, к тому же, и тесен мне, в плечах теснит... — неловким голосом предложил Половинкин, делая движенья, точно жег плечи ему Аннин подарок, и вытер лоб ладонью.

— Что вы! что вы!.. — замахал на него руками Егор Иваныч, как в припадке безумья, перегибаясь в пояснице то туда, то сюда.—Денно и нощно за вас, благодетелей, бога молим... что посетили вы сирую домуху мою... не погнушались! — он с надрывом ударил себя в грудь и одновременно смахнул с губ пену неистовства. — Осеменили, можно сказать!.. Носите, носите на здоровьице пиджачок мой! В морду еще меня ударьте, ну ударь, ну!! — Половинкин стоял, как каменный, перед комаром, досадливо звеневшим перед глазами. Все лез комар: — погоди! Трепачком 'заставим вас ходить! животишко мне лизать станешь... гусак жирный!..

— Не доберешься, пожалуй, — попробовал посмеяться Сергей Половинкин, пробуждаясь от каменного своего оцепенения.

— Что ж, петушиное слово знаешь, что ли?.. что и не доберусь до тебя... — ярым шопотом издевался Брыкин. — Хлопушек твоих, думаешь, побоимся? — кивнул он на наган и ручную гранату, подвешенную на ремешке к Половинкинскому поясу.

— Не в хлопушках, братец, дело, а высоко, братец ты мой, поставлены!—затеребил усы Половинкин: признак того, что гневался.

— Кем же ты, батюшка, поставлен? — прикинувшись старухой, прошамкал Брыкин. — Богом, что ли?..

— Чортом!! — гаркнул, окончательно озлясь, Половинкин и, показав Брыкину язык, прошел в дверь.

Второй конь, статная кобылка, принадлежал, видимо, Половинкину. Через минуту с улицы донесся до Брыкина мерный ее топ. Егор Иваныч успел добежать до окна. То, что он увидел, еще больше взъярило его. По пустынной и пыльной улице, залитой неистовым солнцем, уезжал Половинкин. Худящая Подпрятовская собачонка надрывалась от лая, вертясь у лошади в ногах. Сергей Остифеич махнул хворостинкой, кобыла ринулась вперед, а собачонка оторопело замерла перед облаком пыли, побитая и растерянная.

Мужики все еще гудели, но уже тише. Матвей Лызлов звучно отчитывал Васятку за не в меру ревностное ведение дел. Васятка глядел мрачно.

— Декрет был про гуж, — в десятый раз оборонялся Васятка. — Третий пункт!

— Третий есть, значит—и четвертый будет!—наступал отец.

— Нет там такого... — все больше румянился Васятка.

...Полдневная жара стихала, но все — и избы за окном, и лица мужиков, и белая председателева рубаха,—все было кумачево-красным для выпученных Егоровых глаз, по всему бегали одинакие юркие кружочки головокружения. Даже прохладная зелень яблонь, нагретая зноем, испускала, казалось, из себя на Егора моргающий красный свет. Красное проступило отовсюду в Егорово сознанье.

Только когда отошел на сто шагов от исполкомского места, пообдуло с него начинавшимся ветерком гневную истому.

## VI. Вступает Семен.

Вскоре еще одним солдатом прибавилось в Ворах.

Последние восемь верст пришлось хромать солдату в ночное время, — влекло его неудержимо домой. Был этот солдат громоздкого роста, и на дорогах не напрасно косились люди на его большое лицо, на его нескладный можжевеловый костыль, — этакая разбойничья кочерыжка. Поистрепался в жаре военных неурядиц, но и теперь видно было: истовое дитя Воровской стороны, костяк широкий, поместительный, есть где сердцу ходить.

Потому, что приходил он с другого края, чем Брыкин, попадались ему и места иные: лесные, неоткрытые. Итти было приятно по холодку. Приятно было возвращаться из тревожных городских зыбей в свою зеленую лесную глушь, где—вон она!—наступает неудержимая лесная лавина, где — вон они!—полянки, не топтанные, кажется, ни человеком, ни конем. Но давала себя знать подраненая нога, залеченная лишь наполовину. Отзывался каждый десятый шаг судорогой на его лице, а на каждом сотом останавливался отдохнуть. Ладно еще, что никогда не бывает утомительна кладь путешествующего в одиночку солдата.— Дойдя до опушки, он присел на пенек.

Ночь приходила к убыли. Небо прожелтело легонько с восточной лесной стороны, в нижнем слою походя на новину, новокрашенную ольхой. Стояла настороженная тишина, словно всякое прислушивалось из глубины своих нор, с высот своих гнезд к неуловимому началу восхода. Яблоками пахла предвосходная та пора, точно горы их были навалены где-то поблизости. Вдруг зарделись земные закраины, заголубела желтизна. Похолодало на одно мгновенье. Потом воздух вздрогнул,—ударили по нему первые быстрые лучи. Не сразу, но вскочил один, нечаянный, и на письмо, которое разложил солдат у себя на коленях.

Тут разом заворошился лес: все живое запищало, закричало, засвистело, полезло, громоздясь и вопя, на широкую солнечную волю. И месяц, гость ночи, зачарованный, не спешил уходить, хоть и сгонял его с неба умножающийся свет.

Впереди текла Курья, в версте за нею сидели Воры на холму. Далеко влево, на взмахе глаза, высились Свинулинские развалины. Подул ветерок и донес, не расплескав, к солдату разнозвучные голоса пробуждающегося села. Резкий, как и первый солнечный луч, вплавился в воздух пастуший рожок. Тяжко щелкнул невидимый бич. И вдруг вся тишина наполнилась криками выгоняемого на луг скота, даже тесно стало от звуков. И было понятно, что о том же кричит и корова, и овца, о чем и листок, и птица, и всякая лесная мелюзга. Из крайнего заулка бурным потоком высыпали овцы и кони. Воздух чист, как ключевая вода. Пыль, отяжелевшая за ночь, не подымалась. Не пылят утренние дороги ни под шагом, ни под колесом...

Ущемилось воспоминаньем солдатово сердце. Дым и небылица! Вот так же и он выганивал скотину и все силился выдуть из Лызловского рожка хоть четвертинку пастуховской песни. О чем играл в давнем детстве Максим Лызлов? Да обо всем, что видано. Видел бегущую собаку старый Максим, о бегущей собаке и пел рожок! — Солдат встал и захромал ближе к Курье. Воспоминанья неотступно следовали за ним. Глебовская пойма, — здесь резали с Пашкой дудки из вёха, а там, под ветлой, дремал Максим. Вон там, где от зимы осталась вёха, замычала первая корова. Вот здесь мужики навалились на провинившегося Максима, — все заровнялось, и не узнать теперь по сочной, острой траве, как притоптана она была двенадцать лет назад.

Двенадцать,—небылица и дым! Брыкин нашел, едучи жениться. Мать отпаивала молоком и целую неделю прятала Сеню в риге. Потом — Зарядье. Дым и небылица, тоска и боль. Настя, чье письмо теперь в солдатовой руке. Кричит Дудин, и смеется Катушин, жизнь и смерть, дым и небылица. Потом война. Потом еще война и рана в ногу... Как молодой кусток в лесном пожаре, сгорела юность, и вот золой играет ветер, задувает ее в глаза, и глазам больно.

Стадо приблизилось к Семену, располагаясь по сю сторону Курьи. Опять, под той же ветлой, где и Максим, сидит пастух и плетет

обычный лапоть, а пастушата собираются купаться. Несбыточное и повторяемое из века в век! И вот Семена потянуло к пастуху, и он пошел хромым шагом, а не доходя шагов трех, поздоровался громко и дружелюбно:

— А ну, дед, закурим, что ли!

— Закурим, коли так,— спокойнехонько поднял веселые глаза старик, и снова запрыгал шустрый кочеток, прогоняя лыко в петли.

— Из солдат вот иду,— сказал Семен, опускаясь на траву возле пастуха.

— Из солдат?.. Ну, и то дело... А я лапоть вот плету! — согласился старый и покосился на драную Семенову шинель. — Росисто ноне, не садился бы! Испортишь еще, часом, казенное-те добро...

— Обсушит! — засмеялся Семен, протягивая ему махорку в горстке.—Эк ты ядовитый, старичок... ядовитей золовки!

— А что старичек? Не нонешней выделки старичек, прочный! Нонешней-то выделки все шарики пойдут!..

Они закурили. Сладкие кольчики махорочного дымка, свиваемые поземным ветерком, понеслись на стоявшего невдали быка. Бык понюхал воздух и, таращась рогом, подошел к пастуху, уставился в него, сторожа запах ноздрями и рогом.

— Ну-ну! Ступай, товарищ, ступай! Куритель тоже нашелся...— замахал на него лапотной колодкой пастух. — Вишь, бабы-те, гляди, заскучали без тебя... Ступай!

Бык понял и пошел к коровам.

— Комар-то не ест? — спросил Семен, жадной струйкой выпуская дымок.

— До Петрова дни ест, а потом уж ему не воля... потом засыхает. Мы не жалуемся! Сам-то в городе, что ли, жил?

— Да... и в городе,— неохотно отвечал Семен.

— Домой, значит? Очень хорошо...— и опять неторопливый шелест кочетка.

С реки доносились возгласы пастушат, фырканья их и плески. В лесу захлебывалась кукушка. И потом жаворонки, жаворонки, неустанные песельники утренних небес, бултыхались в воздушных ветерках.

— Живете-то теперь как? — спросил Семен, как бы вскользь.

— Живем хорошо, ожидаем лучшего... — уклонился пастух.

— А ты не бегай... Ты мне толком скажи,— настаивал Семен и досадливо потрогал длинный пастуховский кнут. — Ведь вот я двенадцать годов дома не был.

— Двена-адцать, ну скажи-и...— равнодушно подивился тот и переложил кнут на другую сторону, взяв его прямо из Семеновой руки.

— Так как же?.. — ждал Семен.

— Да что, как есть мы деревенские обытели, живем, и всякий нас судит!.. — начал издалека пастух. — Одним словом, босы не ходим!

Было б лыко, а сапоги будут, — и подмигнул своему суетливому кочетку. — Се-еньк! — вдруг закричал он подпаску, натягивавшему на себя рубаху после купанья, — сгони корову с поймы-те!

— Так как же? — все не отступал Семен.

— Да вот и так же! И насчет одежи совсем гоже! В мешок рукава вшил, вот и гуляй. Мужику нашему что! Селедка да самогон есть, вот, значит, и царствие небесное! — хитрил пастух.

— Не об одеже спрашиваю... Нонешним довольны ли?.. — глухо сказал Семен, хмурясь от недоверия старика. — На фронте-т говорят, говорят, бывалошнее время, так мозоли на ушах-то скочут... Я тебя как своего спрашиваю.

Пастух отложил недоконченный лапоть в сторону и бережно потянул из почти докуренной папироски.

— Ты ко мне выходишь, парень, из лесу, в ранний час. Кто ты — не знаю, зачем ты — не пойму. А может ты меня, парень, на дурном словить хочешь, может тебе награду назначут, коли ты старого Фрола за воротник возьмешь?.. — внятно и строго проговорил старик, зорко и неодобрительно оглядывая Семена. — На-ко, ехали мужики в водополье, подсадили этакого. Так, ничего себе, с хриповатиной только, а чтоб оружье там, так даже и нет. Дорогой-то и брехали... Известно, какие только у мужика слова во рту не живут! И о холоде говорит, а слова жаркие... Человек-то и подкараулил!..

— Савелья знаешь? — прервал его Семен и встал, раздосадованный пастуховской осторожностью.

Самокрутки их докурились, разговор истекал.

— Поротого? Как не знать! Эвось меринко его стоит...

— Ну к, а я сын его. Ты мне не веришь, а я и сам в пастушатах у Лызлова год проходил... — с обидой сказал Семен, гладя рукой короткоостриженную голову.

— У Максимки, говоришь, ходил? — загорелся разом пастух, и глаза его стали светлы и веселы, как голубое небо. — Помер Максимко-те! Я-те уж Фрол Попов называюсь, а Максимко помер, да-а...

Признав в Семене своего, старик так разошелся, что даже попросил еще табачку на завертку, но первоначальный Семенов вопрос так и остался без ответа. Только рассказывая о Зинкином луге, проговорился опасным словом Фрол. Но тотчас же оказалось, что пора подошла перегонять стадо на другое место. Фрол поднялся, уже на ходу успев сказать:

— Эка теснота! Чуть не догляди, а уж в низину прутся. Эк небеса-т просторные, вот бы где Фролу Попову стада свои гонять!..

...Семен шагал. Утро начиналось со зноя, и уже было в воздухе как бы отраженье дальней грозы. Поджарая собака, лежавшая возле новенькой только что проконопаченной Лызловской избы, проводила Семена стеклянными, осовелыми глазами. У дома вскинул глаза на

черемуху, возле которой—подсказала память—скворешник. Шест стоял, а деревянного домка на нем уже не было.

...Савелий обертывал ногу, низко склонясь с лавки, Анисья доставала горшок из печи. Когда Семен вошел, Анисья, мать, обернулась на дверь, в испуге развела руки, и каша грохнулась на пол.

— Светики!—вскричала Анисья, и полоумной радости исполнились ее глаза

— Плешь тебя возьми!—оторопев от восторга души, ставшей в старости податливой на быстрый смех и нечаянные слезы, вскочил и Савелий.

...Он, умытый, блестя обветренной кожей лица, сидел за столом, а мать хлопотала вокруг, то-и-дело поглядывая на сына.

— Угости отца-то табачком,—шепнула на ухо Анисья.—Мужику без табака маета, трубокурам-те...

— Закурим, папаша!—сказал Семен Савелью.

А Савелью не сиделось на месте. Он елозил по лавке и все закрывал глаза, соображая что-то, что ему нравилось.

— Дойдем!—вскричал он наконец.—На Людмиле Иванне тебя женим, на поповской дочке! Вот благородно выйдет!..

— Нашел, нечего сказать,— засмеялась мать.—В просвирку девка ссохлась!

— Дак зато поповна, жена-а!— вразумил Савелий.

— Уж и забыл! Ведь выдали Людмилу-те Иванну, на Фоминой еще выдали! — укорительно сказала Анисья.—За Гусаковского, за нечесаного, выдали! От вековушества своего и пошла... Совсем ты у меня, отец, из ума выжил!

— За Гусаковского?..—испугался Савелий и сразу погрустнел.— И тут дошли!.. Чем бы ни навернуть, только б пообидней!..

И, опечаленный, он снова стал разматывать онучу, вполслуха слушая Семеновы неодобрительные рассказы о войне и городе, которому подходит ныне непреодоление и раззор.

И вдруг захохотал пронзительно и тонко Савелий: ведь экая дуреха, хоть и поповна... променяла такого червонного козыря на лохматого Гусаковского попа.

## VII. Приезжий из уезда уговаривает мужиков.

Все находила на Аннушку сонливость в последние сроки.

Оттолкнутая Сергеем Остифеичем и все еще не излеченная от любви к нему, окруженная чужими, лежала Анна на лавке в темных сенцах, в предродовой болезни. В избе ужинали, в плошке горел жир. Сидел за столом, кроме домашних, Фрол Попов,—уже тяготели ко сну старческие глаза, еще сидела повитуха, бабка Маня Мятла. В молчаньи хлебали щи, когда закричала Аннушка... Аннушкина мука была недолгая, скоро держала Маня Мятла мертвенького восьмимесячного.

— Порох, что ли, с водкой пила?..—сухо спросила Мятла, наклонясь к уху стонущей Аннушки.

— Не-е... льняными лепешками, — простонала Анна.

Бабка пошла с ребенком куда-то на задворки, метя за собой пол подолом, — откуда и прозванье, — неодобрительно качала головой.

На четвертый день, до срока, Анна встала и даже не спросила о младенчике, куда зарыли. С утра ушла куда-то. Видали ее в лесу, у лесной избы, видали и над Мочиловским омутом: Курья впадает в Мочиловку в трех верстах от села, здесь омут. Нигде Аннушку не останавливали от дурной мысли, но видно так же был силен в ней позыв к жизни, как и к смерти.

Домой она вернулась лишь под вечер, проплутав весь день. Была бледна, как выпитая. Войдя, села на лавку и стала сидеть бездельно. Так сидят соседки в чужом дому и нищие странницы. В сумерки вошел Егор Иваныч, заметил ее, стал что-то делать у печки. Она встала и пошла к нему, беззвучная и полная неутоляемой скорби. Синяя кофточка гладко облегала ее крупные покатые плечи.

— Егор Иваныч...—еле слышно произнесла она:—... вот и опросталась я. Суди меня теперя.

— Какой на тебя суд?.. — визгливо прокричал Егор Иваныч. — Ты кошка, ты по рукам пошла... Уходи, не обступай меня!

Словно тронутый каленым железом, он заметался перед Анной, не находя нужного слова, самого оскорбительного, самого губительного из всех.

Вдруг он замахнулся, высоко подкинув брови, но не ударил, а выскочил опять туда, на крыльцо, откуда пришел. Созерцание собственной раны давало ему бо́льшее удовлетворение, чем раскаяние Анны.

А та постояла одна в потемках избы, прислушиваясь к начинавшемуся дождю и мычанью недоеной коровы. Вдруг, помимо воли, вспомнила, как семнадцать лет назад — Анна была еще девочкой, многого не понимала — травила тетка Прасковья пьянствующего свекра: запекала рубленую щетину в хлеб. Мысль об этом отрезвила Анну и согнала с нее тусклый налет тоски. Она подняла лицо к потолку и, устало улыбнувшись, сказала вслух:

— ...что ж ты меня гонишь?.. Стреляная баба что собака; кто погладил, тот и хозяин... Эх, Егорка! — Потом она сняла подойник со стены и, переваливаясь бедрами, пошла доить корову.

Вскоре после того как-то случаем встретилась Анна с Петькой Грохотовым: Петька песни пел, как никто, был неженат — невеселых песен не ведал, он-то и убаюкал и приютил бездомное Аннушкино сердце. Снова до самого донышка норовой своей души наполнилась Анна любовью. И уже никто не проведал, что в третий и последний раз цвела Анна.

...да мир помешал. К жнитву темные слухи разбежались по мужиковским избам: будут церкви закрывать и подвешивать печатки,

будут хлеб отнимать весь начисто. И как бы в подтвержденье рс сказней, собрали однажды под вечер сход для выслушанья реч уездного человека. Васятка Лызлов ходил по селу и усердно свирист в тот самый роговой свисток, которым когда-то собирал сходы Пр хор Стафеев.

Сельчане собирались лениво, однако пришли все. Став поодал они подглядывали из-под козырьков и платков за всеми случайны и неслучайными движеньями наезжего. А тот, путаясь в длинных пол брезентового своего пальто, ходил взад и вперед вдоль Сигнибедо ского амбара, тер руки и сам украдкой разглядывал мужиков. Гла у него были усталые и чуть-чуть напуганные. Минутами казалось, ч он хочет сказать вот тут же сразу что-то очень хорошее, такое, че не место на митингах, где крик. Он останавливался, чесал себе л и снова с утроенным рвением принимался ходить туда и сюда. Ма вей Лызлов, председатель, с двумя красноармейцами из тре приехавших с гостем, притащили из исполкома стол и две табуретк Исполкомские о чем-то совещались.

А среди девок шли разговоры, чужие и насмешливые:

— Нос-то, у него, у моргослепа, глядите, девоньки, ровно мол ток! Ишь, руки-те натирает.

— С холоду трет! У них теперь в городу-т осьмушкой дра нятся, — фыркала в край головного платка другая, Праскутка.

Третья хохотала не совсем без причины:

— Жара, а он в пальте приехал!..

Бабы сказывали про свое:

— Ой, с чего это глаз у меня обчесался совсем... До дырки д чешу!

— К слезам, бабонька, — чинно говорила брюхатая Рублевск молодайка.

Мужики — свое:

— В Попузине на прошлой недел Серега обирал. Скажи, хо бы мешок оставил! Тетерину весь сад перекопал, искамши. Са и рыл!..—повествовал Бегунов. Опущенное веко придавало ему со ст роны вид уснулой рыбы.

— Почему б ему не рыть, не сам ведь сажал. Ишь рожу-т отр стил, в три дни не оплюешь! — сказал не в меру громко другой видимо, сам испугался своей решимости.

— Вот и до нас доберутся, — подсказал Семен, стоявший тут же.— Сами и отдадите!

— Да ведь как не отдашь-те? — вздохнул тот, смелый: — ве требуют!

Тем временем Васятка, сидя с самым насупленным видом за ст лом, шептал что-то в ухо исполкомскому писарю, Козьме Муруков Муруковский карандаш, понукаемый Васяткой и время от времен обсасываемый владельцем, отчего оставались лиловые пятна на губа

как угорелый, носился по бумаге. Васятка тоже имел уже лиловое пятно карандаша на щеке. Тут как раз Лызлов влез на незанятую табуретку — гость предпочитал ходить, вытянул руку вперед, переглянулся с гостем, можно ли начинать, цыкнул на воркотливую шопотню баб и предложил выбрать председателя.

— Попа Ивана! — сказал в тишине измененный голос сзади.

— Товарищи, кто это сказал?.. — закричал Васятка, весь задрожав и подскакивая на табуретку к отцу. — Клеймите, товарищи, таких! Это есть несознание момента...

— Матвея Лызлова, — чернильными губами предложил Муруков, не отрываясь от бумаги.

— Мне нельзя... Из своей среды выбирайте, — сухо отчеканил Лызлов.

— Ну-к Поболтая! — сказал Федор Чигунов, брат Афанаса.

„Поболтай-что-нибудь" — было прозвищем советского мужика Пантелея Чмелева, всегда склонного к рассужденням как об научном, так и ненаучном.

— Поболтая, Поболтая... — закричали мужики, с хохотом встретив предложенье Чигунова.

— Ваську! — сказал Сигнибедов со злостью. — Он идейный... хочь отцу, хочь матери в морду даст. Ваську!

Васятка слышал и стоял за столом со стиснутыми губами, то краснея, то бледнея. Быстрые глаза его *метали молнии в неуязвимую* Сигнибедовскую толстоту. Рука его рассеянно почесывала щеку, точно догадалась соскоблить чернильное пятно. Он наклонился к чмелевскому уху и настойчиво пошептал ему что-то.

Мужиковский выбор остановился все же на коротконогом Чмелеве, который и не замедлил влезть на табуретку.

— Итак, мужички, я ваш председатель. Очень хорошо, прошу меня слушаться! — начал он, блестя веселыми глазами. — Во-первых, мужички, поступило объявление от одного тут из товарищей... — он покосился на Васятку, как бы спрашивая, правильно ли передает он Васяткины слова: —... удалить Сигнибедова-гражданина совсем вон отседа. Он как есть бывший кулак и понамарь... Как вы на это, мужички, посмотрите, а?

Мужики молчали. Приезжий гость почесал длинный свой нос и озабоченно скривил губы. Полаяла вдалеке собака. Вздохнула баба. *Скрипнул под* Чмелевым *табурет*.

— Не за то ль ты меня, Васятка, и гонишь, что я тебе в четвертом годе пряников не дал?.. — спросил, весь багровый, Сигнибедов. — Ну, постой, доживешь до прянпчка! — Сигнибедов уходил, не дожидаясь решенья схода, и, как у разбитого ударом, подрагивала у него правая, висевшая вдоль тела, рука.

— Товарищи, он грозится! Вы слышали, товарищи?.. — горячился Васятка, чуть не плача. — Товарищи, общественное порицание ему...

— Ничего, ничего... уходи, Павел Степаныч. Опосля расскажем! примирительно закричали мужики вослед уходящему.

Пантелей Чмелев, закрасневшись так, словно бодягой в этот пр межуток щеки натер, залпом выпалил все, вычитанное за неделю газет, потом тихо и скромно прибавил немного своего, и это бедн свое стоило гораздо больше всего прежде сказанного им. Мужи: внимали, но, стыдясь искренних глаз Чмелева, скрывали свое вниман смехом.

— Мужик, а петушисто язык подвязан! — восхитился Савели толкая сына в бок.

— И какую ты кашу ешь, что ты такой умный! — крикнул Лу Бегунов.

— Про Марсию валяй! — крикнул дядя Лаврен, стоя невдале от наезжего гостя, и, заметив удивленный взгляд его, объясн охотно: — Он все про Марсию нас убеждает, будто и там люди ж вут... А мы ему не верим; этого и у нас, думаем, вполне хватае чтоб еще на небо такое же сажать!

— А верно, хвати-ко про Марсию! — посоветовал и сам черный Гар сим, копаясь огромным пальцем в бороде и высматривая исподлобь

За Чмелевым вслед влез на табуретку Васятка Лызлов. Но он та разбрыкался в первые же пять минут, что казалось — вот-вот из себ выскочит и полетит. Отец взял его сзади за рубаху и, стащив с табу ретки, попридержал малость, пока не улегся Васяткин пыл. И тотча же после этого объявил Лызлов-старший, что будет говорить наезжи в Воры гость, уездный продкомиссар!

Все еще широко улыбаясь над Васяткиной неудачей, гость ста говорить не влезая на табуретку. И с первого же его слова оборва лась веселость у мужиков. Бороды помрачнели, безбородые насупи лись, сдвигаясь тесным кольцом.

—...про разверстку будет говорить, — предупредил шопото кто-то кого-то, но сообщение это мигом разраслось [в шум, и шу этот почти мгновенно докатился до самых краев сельской площади.

Наезжий, оказавшийся и в самом деле уездным продкомиссаром в подтверждение чего Муруков издали показал мужикам бумагу, при печатанную не однажды серпом и молотом, не Чмелевского нрава бы человек. Говоря, он все время сбивался с сухого тона на какой-т искренний, открытый, и тогда кидал слова сотнями, как одуванчи семена на ветер, в слепой надежде, что хоть одно процветет. Мужик видели, что порой продкомиссар вдруг останавливался на полуслове точно вспоминал какой-то наказ, и начинал говорить по-иному, — слова начинал отсчитывать резко и четко, как бусы на нитке. Лицо его тогда из бледного становилась красным, и глаза, усталые как бы после тысячи бессонных ночей, начинали виновато моргать. Если Чмелев любил поиграть непонятным словом, как ребенок играет с незнакомой игрушкой, этот теперь расставлял слова, как солдат перед боем.

—...пути-де к победам трудами выщебенены. Голодает-де рабочий, брат и сын ваш. Люди злые, в трудовой правде неправые, хотят ядовитым зубом взять нас, идут полчищами, несут смерть. Красная-де армия разута и раздета, хлеба у мужика просит. „Дай хлеба, братишка! Отвоюем — отработаем, один у нас с тобой кошель!..“ Хлеб нужен. Не будет хлеба — мрак будет. Мрак будет — мор будет. А там и предел всякой гибели: воссядет вновь на мужиковскую спину всякая явная и неявная насекомая тля...

Долго говорил наезжий. Где-то по заоколицам играл повечерие на домодельной свирели Фрол Попов, на ночь приганивая скотину. И уже соглашались Воры, крутя лбами, что и впрямь невыгода отдаваться наново Свинулиным в помыканье... Как вдруг, разойдясь и вспомнив наказ из уезда — речи вести твердые и суровые, чтоб не почувствовал мужик какой-либо несвоевременной потачки, ругнул наезжий гость проклятых дезертиров, ютившихся в ближних к Ворам лесах и пригрозил мерами особой строгости всем, кто имеет сношения с ними.

Сход заволновался, бородачи, все как один, повернулись к гостю чуть не спинами, а Прохор Стафеев, старик белой и аршинной бороды, подошел к наезжему вплотную и, руку положив на плечо ему, сказал спокойно и твердо:

— Ты, федя! тинтиль-винтиль, дезертиров-те не особо ругай. Это всё сыновья наши! Как же нам с сыновьями слова не иметь? Ты приехал плести, ну и плети, а грозить не грози. Нас и при царе тяпали, тинтиль-винтиль, да мы не молчали...

Словно только этого и ждали остальные, закричали враз:

—...сами овсяны высевки жрем, что лошади! — очень тоненько.

— Про это нам дедушка Адам врал, да мы не верили!—хрипучим басом.

— Товарищи, держите тишину!.. — надрывался со своей табуретки Пантелей Чмелев, с тоской поглядывая на Мурукова, все писавшего и писавшего что-то. — Просите слова, кажному дам высказаться!..

—...озимь вымокла... капусту улита поела... — неслось с бабьей стороны.

— А у меня тетка вот горбатенька, — деланно сиротливым тоном сказал Федор Чигунов, выходя наперед и опираясь на Муруковский стол. — И за тетку мне платить?.. — вдруг он вырвал бумагу из-под руки писаря и, порвав в клочки, бросил себе под ноги. — Довольно тебе писать, Кузьма! Все-то ты пишешь, а про что — не знаем, — сказал Чигунов холодно. — А может ты донесение на нас пишешь, что-де противится народ?..

Кузьма вскочил и переглядывался с Лызловым и продкомиссаром. Матвей Лызлов побежал зачем-то к исполкому. Васятка напрасно взывал к мужиковской сознательности, выискивая в гудящей

толпе хоть пару сочувствующих глаз. Таких не было, — мужики
дели в землю, некоторые расходились, но у всех на устах была с
и та же мысль непримиримая и непокорная: мысль о Зинкином л
Чмелев ускоренным ходом заканчивал собрание и сконфуженно
тал резолюцию о всемерной поддержке, о сознательном отноше
к моменту и о прочем. Те из мужиков, которые оставались, в н
рошей задумчивости, чесали бороды, затылки, пазухи и зады. I
ходились кучками, по-двое и по-трое, не дождавшись конца.

Да и сам продкомиссар, поугрюмевший сразу до последней
пени, направлялся к исполкому в сопровожденьи Пети Грохотова,
раясь не обертываться ни на мужиков, ни на старуху, приставш
с чем-то сзади. Продкомиссар был человеком неплохим, добрым и ч
ным, но городской; дважды был ранен на гражданских фронтах
одну пулю, третью, носил где-то под дыханьем, где мать ребе
носит. Эта третья и придавала ему порой твердость, которой, вооб
говоря, в натуре у него не было. Когда был назначен продовс
ственным комиссаром, понял одно: отбиваться голыми руками от я
генеральских ватаг легче, чем путешествовать вот так, по деревн
с продовольственным отрядом. К исполкому идя, в который у
раз задавал он себе вопрос вслух, чтоб вслух и ответить: о чем с
думают?..

— Кто это? — спросил Петя Грохотов, неся навыкат мощн
свою грудь.

— Да мужики... О чем они молчат? — повторил комиссар.

— О чем им думать? — усмехнулся Грохотов. — Им думать-то
когда, они работают... Скотинка безъязычная и та больше думает у н

— А вы что?.. пили сегодня? — спросил, морщась, продкомисс

Из Петина рта явственно донесло до него душным сивушн
запахом.

— А попробуй тут не выпивать, — с задором вскинул голс
Петя. — Я вот уж сколько здесь! В нашем деле не обойтись. Ви
коли его не смазывать, в час при хорошей работе сработаться мож
А сколько на тебя гаек, сказать, за неделю-то навернут! Тут уж
то пошло, кто кого переупрямит...

Когда они всходили на крыльцо, продкомиссар обернулся к п
ставшей старухе:

— Ну, чего тебе, бабка? Метешься, ровно хвост...

— Не хвост, а бабушка тебе, голубчик! Ослобони ты меня, с
тюшка, от грамоты. Бабы-те засмеяли вконец. Тебя, сказывают, Е
ровна, грамоте теперь будут обучать... — зашамкала старуха, отчая
шаяся в своем невиданном горе, и смахнула слезу. — Зубов-те у ме
батюшка, уж нету... Куды мне грамота? А я тебе... — и тут старухи
лицо приняло плутоватый оттенок: — ... а я тебе, голубок, чулоч
свяжу, тепленьки! Шерстка-то еще осталась у мене...

И от жалости и от смеха где-то в груди защемило у продкомиссара:

— Я не по той части, бабушка! По грамоте — это к другому... Я по хлебу!

— А?.. Прости, батюшка, глуха стала, полудурка совсем...—засуетилась старуха, деловито приставляя свое большое морщинистое ухо к самому продкомиссарову рту.

— Я не по той части... Я по хлебу!! — закричал ей в глухое ухо продкомиссар, почему-то избегая жалобного старухина взгляда.

— Ну и ну, лебедочек мой, — успокоенно запела бабка, кивая головой. — А то совсем меня, старую, зашпыняли! И ситчику, слышь, выдавать не будут?..

...Далеко за полночь горел свет в исполкомской избе. Продкомиссар сидел за Лызловским столом, положив голову на руки, и глядел на прямой, желтый огонь коптилки. На столе перед ним лежал листок, а на листке был нацарапан донос на Васятку Лызлова:

„...Как я сочувствую... готов помереть, то я и спрашиваю, правильно ли так. Васятка Лызлов гонит самогон в лесной избе, тайно от отца... продает на царские деньги, несмотря что деньги ничто, кроме как бумага. Я его спросил, зачем ты, Васятка... он объяснил... хочу ехать в город учиться... а как у него денег нет, то и хочет... Как я сочувствую, то и спрашиваю... разве это советская работа... самогон гнать...“

Был этот безграмотный клочок без подписи. А другой клочок, грамотный, мелко исписанный чернильной тиной и лежавший рядом с этим, имел полную подпись продкомиссара и гласил так:

„...Прошу отстранить меня... от занимаемой должности... несоответствие. Предлагаю... на гражданский фронт, принимая во внимание незначительные хотя бы мои заслуги перед... Сам происходя из крестьянского сословия, но оторванный от него городом, затрудняюсь вести работу в крестьянской среде...“

Продкомиссар перечел свое заявление трижды и при третьем разе зачеркнул слово „затрудняюсь“, надписав поверх его „не могу“. Посидев еще минуты три он перечеркнул слова „не могу“, но не сумел подыскать другого слова в замещенье зачеркнутого. Тогда он собрал все остатки чернильной тины на перо и жирно перечеркнул все заявление накрест, резко и необычно властно для него самого.

Он задул свечу и подошел к окну. Светало. Особенно убогой казалась в рассветном свете бедная обстановка Воровского исполкома. На улице было полное безветрие. Левая сторона неба набухла розовыми и желтыми купами, словно всходила к недалекому празднику пряничная опара. Посреди пустой улицы стоял бычок, с вечера отбившийся от стада. Он мычал, вытягивая шею к заре. Помычав, прислушивался, как повторяет его отстоявшееся эхо.

...Продкомиссар открыл окно.

## VIII. Петя Грохотов в действии.

Воры разверстку так и не выплатили, по молчаливому соглаш нию между собою, ни в один из последующих дней. Нашлись нек торые, принесли в исполком по доброй воле по пуду за едока, — т в Сигнибедовском амбаре и стояли только двадцать мешков, потом что уплатили только советские мужики, да еще те, кто надеялся отк питься пудом. Ссылались мужики на неурожайность, на мокроту, сухость, на все тридцать три мужиковских бедства, до которых уез ному начальству как бы и невдомек. Этого исполкомщики и ждали, этому и готовились. С утра вышел продовольственный отряд в обх по селу.

А на краю Воров жила бессемейная бобылка, бабка Афана Пуфла, прозванная так за лицо неестественной широты. Давно уж состояла Пуфла с соседкой тетей Мотей в ссоре из-за куриных яи которые нанесла Пуфлина Рябка в Мотином малиннике. Мотя яй эти оттягала у соседки в свою пользу, а Пуфла положила в серд своем прищемить за это Мотю. Она и донесла Пете Грохотову, дела шему обход вместе с председателем и двумя красноармейцами, чт в таком-то месте у тети Моти хлеб припрятан. Мотю и прищемил И, из беды в беду кидаясь, доказала Мотя на другую соседку слев что и та не без хлеба живет. Так и пошло перекидным огнем, ка в пожаре бывает.

Докатилось дело до Фетиньи Босоноговой, — у Фетиньи будто б в дубовом срубе хлеб ссыпан. А врыт-де тот сруб сбоку гумна, три шаг от огуречной гряды, отметка — кол из можжухи, а на колу — лапоть Обливаясь потом от жары, пошли продовольственники к Фетинье, хле из сруба погрузили на телегу бесспорно, тихим ладком. И уже напра влял-было Васятка Лызлов телегу с хлебом на ссыпной пункт, гд принимал хлеб приехавший третьего дня комиссар, как вдруг сглуп надоумилась Фетинья на Рахлеевскую избу показать: у Рахлеева-д Савелья на пять подвод хватит. Рассказывая во всех подробностях имела в виду Фетинья, что за ее указку с нее самой разверстку ско стят. Хлеб Фетиньин, однако, Васятка увез, а Петя Грохотов, бывши и на этот раз для придания себе духа бодрости под легчайшим хмель ком, не выдержал и укорил бабу в ябеде с пьяной прямотой:

— Экая ты, Фетинья, душевредная. Язык-то у тебя без совести

— А ты на мене, кобель, не щетинься! Гусак леший, неблаго дарный!..

В Пете моментально взыграл хмелевой его задор, и если бы н перехватил во-время злого короткого взгляда Фетиньина мужа, мужика похожего на железный шкворень, вымазанный дегтем, может быть и стукнул бы Петя в загривок сварливую бабу за обиду.

В нескладное время подошли исполкомщики к Рахлеевском двору. Хозяева сидели за обедом. Близился полдень. Докашивать на

Среднее поле спешил Семен. Он, обжигаясь, глотал пустенькие щи, сидя спиной к раскрытому окну и обсушиваясь от пота. Когда обнажалось днище второй плошки, сказала Анисья изменившимся голосом:

— К нам идут.

— Со звездой путешествуют!—кротко захохотал Савелий, намекая на значок, прицепленный к Грохотовской груди.

Семен выглянул в окно. Разверстщики всходили на крыльцо, и уже подъезжала к дому, скрипя в несмазанной оси, исполкомская обширканная телега. Один из красноармейцев имел за поясом топор. Семён встал из-за стола и отошел в угол, под полати.

Первым вошел Грохотов.

— Упарился, — вздохом надул он щеки, обросшие пухом, и грузно сел на лавку. — Ей-ей, ровно с самовара текет. Даже сапоги взопрели, хоть выжимай!

Усевшись, он оглядел всех, наклонился пощупать носок сапога, расстегнул черную тужурку, застегнутую наглухо, и засмеялся, поглядывая на молчащих хозяев.

— А мы к вам в гости пришли, — с добродушной хитротцой произнес он Анисье, которая дрожащей рукой переставляла с места на место крынки молока.

— Другого-те времени нельзя было выбрать?.. — тихо спросил Семен. — Поесть не дадите, ходите...

— Нельзя, товарищ,—строго пояснил Грохотов, но строгость не шла к простецкому его лицу. — Вас-то много, а я один всего! — и он показал Семену свой мизинец, остальные пальцы он прижал к ладони, будто их и не было.

— Это действительно, немного вас! — вслух подумал Семен и нарочно-грубо кашлянул.

— Немного, немного, товарищ,—согласился Грохотов.—А нет ли, тетка, попить чего? — он подмигнул настороженной Анисье. — Кваску вам с мятой, наварили небось... к Петрову-то дню!

— Было бы что варить-те! — проворчала Анисья, не сводя глаз с крынки молока. — Хлеб-те до последней колосины весь изъели... Прожились совсем!

— Чего и не было, все прожили! — загрохотал Петя и переглянулся с Лызловым, стоявшим у порога. — Ну, что ж, пойдем, поищем,— и встал.

Он постучал о печку согнутым пальцем, притворившись, будто прислушивается:

— Тут нет ли... Ты как полагаешь, Матвей Максимыч?

— Ищите, где хотите, больше нету... — сказала Анисья и сухо поджала губы. — Снесла вам четыре пуда. Нету больше...

— Нету?.. — в притворной задумчивости повторил Грохотов. — Ну, молись, бабка, Федору Студиту...—и, быстро перейдя сени, Грохотов вошел в горену.

Тут было заметно прохладней, не было мух, пахло скиснувш молоком и лежалым мужиковским скарбом. Молоко стояло в камор направо.

— Послушь, братишка, — остановил Грохотова Семен. — Говор мать — нету. Почему не веришь?

Петя не ответил, постоял с полминуты, принюхиваясь, и вдр указал красноармейцам на пол горены, простеленный домотканн пестрой дерюжкой.

— Вскрывай пол! — сердито приказал он, но обернулся взгляну на Анисью.

— Зубов-то не скаль, — со злом за мать сказал Семен. — Ты л май, раз тебе приказано ломать. А зубов не показывай!..

— Не вяжись... — добродушно огрызнулся Грохотов, следя работой красноармейцев.—Все равно, братишка, сейчас драться не стан Жарко... вот потом, по холодку!..

А те уж делали свое дело быстро и ловко, без особых повр ждений; чувствовался навык в их точных и уверенных движеньях. Отн топором боковой плинтус, шедший во всю длину горены, один легк как спичку, приподнял топором половицу. Другой попридержал ее с колен заглянул вовнутрь, почти касаясь щекой чисто выметенно пола.

— ...есть! — сказал он без всякого оживления, даже со скукой.

Подошел заглянуть и Матвей Лызлов. Заглянув, покачал голово и отошел назад.

— Много?.. — лениво спросил Грохотов.

— Да найдется, — отвечал за Лызлова другой красноармеец, рыж ватенький, работая уже над третьей половицей. — Соломой тут укрыт не видать.

— А клейно работают, — восхитился Савелий их работе. — Я ка закладывал так трое суток заколачивал, пра-а...

Некоторое время только и слышно было поскрипыванье дерев потом пыхтенье рыжеватенького, выворачивавшего мешки из подполь Шесть мешков были уже вынесены самим Лызловым и погружены н подводу. На спину ему накладывал рыжеватенький. Когда же рыж ватенький спрятался в подполье, Лызлов просто попросил Семена по нять мешок, и Семен не отказался.

— Скоро, что ли? — появился Васятка в дверях. — Лошадь н стоит.

— Два еще! — прокряхтел голос рыжеватенького из глубины по полья. — Запиханы далеко.

— Ты подвяжи лошадь-те к палисадничку, — посоветовал Лызло сыну, выглядывая в окно и вытирая полой рубахи обильный пот.

И в самом деле, лошадь вся была облеплена паутами и слепням Она напрасно дергала кожей и била хвостом. Улица заволакивалас полуденным зноем. Каждый камень горел исступленным теплом, насы

щая жаром и без того накаленный воздух. Чьи-то колеса прозвучали верху, и тотчас же, подымая ленивую, затяжелевшую пыль, хромая колеях, прокатились вниз Брыкинские кóлесны, управляемые им амим.

— Эй, Егор Брыкин, Егор Брыкин!..—закричал ему Лызлов, наповину высунувшись из окна.—Ты куда катишь?..

— В лес поехал,—остановился тот, сильно придерживая неспойную по жаре свою кобылку.—Вот по твому мандату сучки еду обирать!..

— Ты б не ездил,—крикнул Лызлов.—Мы сейчас к тебе придем, олько вот у Савелья управимся.

— Там бабы у меня остались!—отвечал Брыкин и, подхлестнув обылку, быстро покатился вниз.

— А ну и ладно, с бабами так с бабами!—вслух согласился Лызов и, взвалив на спину последний мешок, легко потащил его из эрены.

— Ну нет, уж ты уволь, Матвей Максимыч,—сказал Грохотов му вдогон, отдуваясь и расправляя плечи.—После полудня уж отпраимся... А теперь соснуть бы часок-другой... жару переспать!

Все двинулись медленно вслед за Лызловым, вон из горены, на рыльцо.

— Эй, товарищ,—остановил Грохотова Семен голосом придушеным и срывающимся,—а дыру-то кто будет заделывать?—Он показыал рукой на развороченный пол.

— Сам и заделаешь,—нехотя откликнулся Грохотов, сбегая с эыльца.

Семен догнал его уже на улице и сильно выкинул руку на Гроэтовское плечо. Откуда-то уже набралось народу, все глядели, видя э решимости Семенова лица, что дело впустую не кончится.

— Я т е б е велю дыру заделать,—тихо сказал Семен, дыша утрудэнней. Губы его утончились и стали какого-то горохового цвета.

— Сенюшка... отступи, отступи!—вертелась около него мать, со трахом поглядывая на устроенный в Сигнибедовском амбаре ссыпной ункт, о чем гласила и надпись, сделанная дегтем по стене. Оттуда аправлялся к месту спора сам продкомиссар в сопровожденьи Лызэва.—Брось, Сенюшка, не к спеху дырка... вечером придешь—закоэтишь!

— Пусти...—разомлевшим от жары голосом, сказал Петя Грохотов, ялясь стряхнуть с плеча Семенову ладонь. Но та крепко держалась в влажную мякоть Грохотовской кожаной куртки.—Пусти, я тебе ˈбы-зубы наизнанку выверну!—вяло посулил Грохотов и, пременив энь на досаду, отпихнул Семена в грудь.

— В чем у вас тут дело?..—подошел в эту минуту продкомиссар, глядывая Семену в лицо.—Бросьте, товарищи, ссориться... не время эперь!

Семен глядел в продкомиссарово лицо как-то особенно присталь Лицо продкомиссара было уже видано когда-то Семеном, но тепе оно походило на остававшееся в памяти, как отраженье в неспокойн воде на глядящегося в воду.

— Да ничего,—сказал Семен, приподымая одну только прав бровь. — Гусачки свое место забыли... Не пройдет ему даром эта дыр

— Камешком кинешь? — поддразнил Петя Грохотов, разглажив смятое плечо.—Конечно, обидно, что плохо спрятано было... враз и нашл

Народ все собирался, но Семен уже ушел.

Дома он взял косу, подвесил к поясу кошолку и отправился луг. Косил он в тот день с небывалой яростью, — на тройке проеха было в его прокосе. Уже не разнеживало, а жгло солнцем стрижен его голову, мутился разум. Был страшен Семен на этой последн своей косьбе...

## IX. Непонятное поведение Егора Брыкина.

И уже подавала прохладку в село Курья-речка,—кудри истом разметав, меркло солнце на западе, за лесом, — и уже отпел все св вечерние кукареку горластый Фетиньин петух, — тогда возвращал Брыкин из лесу.

Видимо устав немало на лесной рубке, шел он возле своего возк еле переставляя ноги. В колеснах лежали свеже-срубленные деревь Необрубленные макушки жердей мели дорогу и оставляли за коле нами полосу следа.

На взъезде в гору, когда поровнялся с Пуфлиным домом, увиде Егор шумливую ораву деревенского ребятья. Выстроясь в рядок по заколоченными Пуфлиными окошками, дразнили ребята Пуфлу, вып вая согласным хором:

— Бабка Афанаса — тупоноса! Бабка Афанаса — тупоноса, туп носящая...

Но едва завидя под горой въезжающего Брыкина, бросили ребят бабку до времени, поскакали к нему, крича самую последнюю дере венскую новость. Странным образом, еще издали внял Егор ребячьем сообщенью.

— Гусака... Гусака убили! Дяденьк, Гусака убили! — прокрича грязный мальчонок в одной рубахе из мешочной ткани, без штано самодельным кнутиком на бегу взбивая пыль.

— Убили... Вот сюда, дяденька... кро-овь! — строго говорил ласковая девчоночка, ясными глазами показывая себе на плечо.

— Кто убил?..—спросил Брыкин у девчоночки, медлительно пово рачивая к ней шею.

— А солдат убил! — оживленно вскричал третий мальчик, самы загорелый из всех, прыгая и подтягивая спадающие штаны. И тотча же ребятишки повторили хором: — солдат убил!..

— Да солдат-то кто?..—тихо переспросил Брыкин, стараясь ожи-
ить остановившийся в неподвижности взгляд. Ему это удалось, но тот-
ас же стали разъезжаться в разные стороны глаза, — так бывает, когда
очется спать или когда с обеих сторон достигает опасность. Толко-
ого ответа он так и не получил. На крыльце своей избы объявилась
ведрами бабка Пуфла, и снова полетело ребятье на тупоносую шум-
ым назойливым роем.

Все так же медленно Брыкин подымался в гору. Где-то помычала
ольная корова. Возле долбленой водопойной колоды стоял Афанас
игунов, поил лошадь. Егор Иваныч знал, что Афанас увидел его, но
олчал Афанас, а глядел туда, в замшелую до зелени колоду, полную
оды.

У колодца остановил кóлесны Егор Иваныч.

— ...приключилось у вас тута? — спросил Брыкин, трудно ворочая
ыком и стараясь заглянуть в лицо Афанасу.

— Да... парня тут испортили,—неохотно сказал Афанас и опять
ядел в воду, где шумно фыркали лошадиные губы.

— Как же так испортили?..—недоуменно колыхнулся Брыкин.

— Да испортить-то испортили... а только кто же так бьет? —
ротким быстрым жестом Чигунов прочеркнул себя от плеча до того
еста, где сердце. — В голову метить надо было...

— Так, значит, уж плечо подошло... Тот, кто метил, знал, куда
етил,—осторожно сказал Брыкин, очень сутулясь и глядя туда же,
колоду.

— Счастье его, что Серега-то уехал. Он бы все село перетряс
товарища!—Лошадь Чигунова перестала пить, и теперь он понукал
, подсвистывая.

— Какой Серега?.. — оторопело взглянул Брыкин и мгновенно
потел.

— Да Половинкин... кому же еще! — и Чигунов стал уходить, так
спешно, словно ждал еще вопроса от Брыкина, какого-то самого
авного.

Егор Иваныч, непонимающий и сразу обессилевший от пота,
орее ткнул свою кобылку кнутовищем, чем хлестнул,—кóлесны снова
скрипели, и продолжился до самого дома след неотрубленных макуш.
рыкин, подходя к дому, все обгонял свою кобылку, а обогнав, под-
гивал ее к себе за узду.

У дома, едва привязав кобылку к черемухе, взбежал Егор Иваныч
крыльцо, с крыльца оглянулся: улица была странно пуста. Косые
анжевые тени блекли на короткой траве Воровского лужка. На
ыселках стучали: кто-то отбивал косу. Срединную улицу переходил
рохор Стафеев, появившись из-за поворота дороги. Точно желая,
обы именно Стафеев не приметил его оглядывающим село, Егор Иваныч
етнулся в избу и присел на лавке. Тут только целиком обнаружилась
о усталость. Он стал дышать с открытым ртом, при чем все не мог

справиться с собственным языком. Все вылезал язык наружу. Во все теле было ощущение вывихнутости...

Дом был пуст, никто Брыкина не окликнул. На столе мокл в лужицах похлебки хлебные крохи, оставшиеся от ужина. Валялас еще опрокинутая солонка, но соли в ней не было, как и во все волости. Еще стояла плошка с недохлебанным. По всему этому съедо ному мусору лениво ползали мухи, сосали из лужиц, объедали ра мокшие корки, нап лзали одна на другую,—черные и головастые, ка показалось Егору Иванычу.

Висела в простенке календарная картонка,—барышня очень в тако шляпе. Напряжение Егора Иваныча дошло до такой меры, что н мгновенье мелькнуло в голове: вот сейчас эта бледнорозовая, поюща раскроет рот еще шире и закричит во всю волость. „Глядите, како у него лицо! Глядите, какое лицо у Егора Брыкина! Возьмите Егор Брыкина. Лишите его дыхания!" Егор Иваныч вздрогнул и насторо женно засмеялся сам над собой, смеялся—точно всхлипывал. Сме оборвался, когда две мухи, сцепившись, сели перед ним на краеше стола,—Брыкин тупо глядел на них и не понимал. Теперь всяки шорох, даже и мушиный, вызывал в нем или мимолетную дрожь, ил странно длительную зевоту. Зевалось больно, во весь рот, до вывиха челюсти, до боли в подбородке. Рассудок Егора Иваныча пому тился бы, если бы он в эту минуту услышал свое имя, произнесен ное вслух.

Совсем бессознательно он зачерпнул из плошки и проглотил Со странным чувством удивленного вкусового отвращенья он про следил, как идет во внутрь этот противно-пресный клубок загустевшего картофля. Вдруг понял, что сделал не то: ему хотелось пить. Едва же понял, что именно пить хочется, жажда сразу утроилась. Неуклюже вылезая из-за стола, он уронил большой нож на пол. Он замер от звука паденья и с выпученными глазами зашикал на нож, чтобы не шумел так громко.—Ушат был почти пуст, только на дне оставалось немного. Егор Иваныч зачерпнул ковшом и, вытянув жилистую шею, заглянул вовнутрь ковша. В мутной воде метался головастик. Он бился о железные стенки ковша, отскакивал, и одно уже неудержимое всхлестыванье головастикова хвоста показывало со страшной наглядностью, сколь велик в нем был ужас перед этим твердым и круглым, куда он попал.

Егор Иваныч держал ковш в руке и полоумным взглядом наблюдал эту юркую серую дрянь, еле отличимую от цвета воды, когда услышал: по улице кто-то едет верхом. Рывком столкнув ковшик на крышку ушата, Брыкин подскочил к окну и ждал, когда покажется из-за деревьев тот, кто ехал. Вдруг, по-жабьи раскрыв рот, Егор Иваныч издал горлом неестественный и короткий звук, какой будет, если мокрым пальцем провести по стеклу. В звуке этом выразилось все животное недоумение Егора Брыкина.

По улице, торжественно и властно покачиваясь в седле, ехал сам он, в черной тужурке, Сергей Остифеич Половинкин, убитый в Егоровом воображении. Белая его лошадь шла мерным чутким шагом, помахивая подстриженным хвостом. Проскользнуло нечаянное соображение. Серега ли убит? Но в суматошном метании своем и не заметил этого соображения Брыкин. Каждая частица усталого Брыкинского тела кричала, прося пить и пить. Он махом подскочил к ушату и, не отрываясь, осушил весь ковш до дна. Вода даже без бульканья пролилась в его выпрямленное горло, и опять поражающе пресен и неутоляющ был Егору Иванычу вкус воды. Питье расслабило его. Опять напала раздирающая рот зевота. Кое-как он переполз к койке и повалился за ситцевый полог. В последний раз он выглянул на мерцавшее сумерками окошко и упал куда-то в яму.

Яма была пустая и холодная, и казалось, что Брыкинское сознание находится в ней где-то посреди, в подвешенном состоянии. Долго ли его сознание пробыло в этой яме, само оно бессильно было определить. Очнулся он уже затемно. Трещала коптилка на столе, задуваемая ночным ветром из окна. Черные тени вещей очумело скакали по выбеленной печке. Полог был уже отведен кем-то в сторону, но опять не было в избе никого... Весь опустелый, недумающий, он лежал на боку, глядя на огонь красными, опухшими, не отдохнувшими глазами. Над огнем летала бабочка-ночница, гораздо менее проворная, чем ее пугающая тень.

Вошел кто-то, чьего лица не понял Егор Иваныч. Лицо вошедшей женщины оставалось в тени. Она пошла затворить окно. „Аннушка!— догадался про нее Егор Иваныч.—Ко мне пришла! Вот она подойдет, и я прощу ее. Дам наставление к жизни и прощу. Теперь все прошло... Ведь его больше нету, нигде нету!“ Женщина, закрыв половинку окна, подошла к Егоровой койке и, приподнявшись на носках, села на краешек ее. Егор узнал теперь, это была мать.

Она посидела с полминуты, потом встала и пошла затворить вторую половинку окна. Потом она снова подсела к Егору.

— Ну... что? — спросила она голосом твердым и спокойным.

— Кто убил-то?..—приподымаясь на локтях, с тусклым, молящим блеском в глазах, спросил Егорка.

— Как кто убил?.. — крикливой и неубедительной скороговоркой отвечала мать, часто моргая, — Семен и убил... Савельев сын, Семен, убил!

Егор Иваныч с глубоким вздохом опрокинулся обратно. В изголовьи у него лежал тулуп покойного отца. Овчина сообщала Егоровой шее приятный холодок. Он закрыл глаза и с минуту лежал совсем неподвижно, почти не дыша. Вдруг он вскочил, почти сбросила его с койки внезапная догадка.

— Топор-те... топор... — закричал он, поводя выкатившимися глазами.—В кóлесны вбит... в передню лапу!!

— Лежи, лежи,—тихо и по-прежнему сухо сказала мать, по-баб засовывая под повойник прядь волос. — Нечего уж, лежи. Замы. я топор-те...

Снова, расслабев, упал на отцовский тулуп Егорка. Ему вдр стало легко, так легко, как ни разу в жизни... Никаких забот в жиз больше не стало. Все стало ясно и понятно. Нежданно голова зараб тала с безумной четкостью. Вспоминалось: ехал по прилегающему Ворам полю. Там сорный бугор. На бугре стояли репьи, многоголовы колкие и красные,—репьи в закате. Потом въехал в село, мальчиш бегут... Кто-то стоял у Пуфлиной загороды, гнедой масти: или петух, и. собака... нет, петух! Потом девчоночка, у ней соломинка в волоса Чигунов поит коня, Чигунов знает всегда и все. Мухи ползают столу. Крепкий, целый и живой едет Половинкин, осязаемый выц ченным Егоровым глазом. Потом пил воду...

И вот Егор Иваныч опять поднялся, но уже ненадолго.

— Мамынька...—зашептал он по-ребячьи жалобно.—Мамыньк я головастика проглотил!..

Яма уже поджидала его, и он покатился в нее, цепляясь за койк за овчину, за протянутую погладить сына сухую руку матери. Это обморок был даже нужен Егорке, как отдых. А мать глядела раск сившимся взором за черное окно, и по лицу ее скакал тот же красн ватый, утомляющий свет коптилки.

## X. Пантелей Чмелев.

Постороннему человеку представлялось это дело так.

Тотчас же от Рахлеевых разверстщики пошли обедать к Пантеле Чмелеву, советскому мужику. Подходила обеденная пора. Полден выдался нестерпимый, сожигающий. И в самом деле, немыслимо был ходить в такую жару по избам и вскрывать мужиковские тайники.

Чмелев сам встретил их — Петра Грохотова, Матвея Лызлов и продкомиссара. Он почтительно и хлопотливо усаживал их за сто. покрикивал жене подавать скорее. Гости расселись. Матвей Лызло поглаживал русую, круглую бороду, ею заросло у него все лицо. Пет Грохотов писал что-то в записную книжку. Продкомиссар с неприметны любопытством приглядывался к хозяину.

Пантелей Чмелев и в самым деле стоил продкомиссарова вни манья. Небольшой ростом, он таил под наружным тщедушием свои какую-то тихую, внутреннюю силу, видную только через глаза. Он блестела оттуда то короткой вспышкой ума, то какой-то чудесной добротой, то, вдруг, волей. Был Чмелев порывист до суетливости, н в суетливость свою вносил он осмысленность, суетливостью своею о не тяготился.

Казалось бы: владеть Пантелею Чмелеву при его трезвости большой, девять на девять, избой с обширными холостыми пристройками,

а в четверть избы печь, а в печи всякие мужиковские яства. Да и ходить бы ему не плоше покойного Григорья Бабинцова, который на сход иначе и не выходил, кроме как в жилетке. Не везло Чмелеву; нещадней, чем других, мочалила его жизнь. А ущербы посещали его хозяйство не вследствие какой-нибудь нестройности—у Пантелея глаз щуркий и зоркий,—а по недогаданным причинам, которые как майский снег. Как снег! — вымокало в мокрые весны вчетверо против других, градом выбило втрое, случалась ползучая дрянь—пожирала вдесятеро, словно слаще было на Чмелевских полосах. Так и всегда с незадачливым мужиком: сторожит его и в темную непогодную ночь и в погожий полдень хитрый, несытый враг.

Этот Чмелев, растеряв двух сыновей на войне, остался жить вместе с женой и глупой Марфушкой. Марфуша Дубовый Язык приходилась ему дальней сестрой. И оттого, что не оставалось Чмелеву утехи в жизни, стал ее искать в хозяйстве своем Чмелев и нашел. Кроме того происходила в те годы революция. Перетасованы были карты наново, пошла новая игра по небывалым правилам: некозырные хлопы побивали заправских королей.

— Это теперь мы оправимся, вот как накипь сымем... — говорил за обедом Чмелев, в ответ на продкомиссарский вопрос, как живут.— Суди сам, друг! У нас до девятьсот пятого один самовар на деревню приходился, а теперь коли уж нет самовара, так значит пропили! Тут еще кооперация... опять же наука! Все это предоставлено. Вот как Свинулина погромили, книжек я наменял у мужиков, на курево хотели, да бумага толстая. Очень достойные книжки. Ну, скажи, на всякий предмет есть своя книжка. Очень увлекательно есть! Например, сказать, по нашему делу, по хозяйству. Да и не по нашему, вот скажем: похождения капитанской дочки! Очень подробно про все! Бабы-те мои ругаются,—добавил он улыбчатым доверчивым шопотком, — очень на книгу злы, городская затея, времени отымает много... А как я гляжу, нам без города никуда. Вот ты намедни говорил, что без гвоздя да без ситцу не проживем. Я тогда, конешное дело, промолчал. А только это не так. И мы ходим, штаны-те не гашником назад надеваем. Кузнецы-т да ткачихи и у нас есть. Город нам из других причин нужен. Эвон, третевось слышу, баба махонького моего поучает: в мышу, говорит, костей нет. Он, говорит, не имеет кости, потому и может в любую цель вобраться. Растянется на аршин и лезет. Вот откуда вам итти надо! Заместо старшего брата вы нам нужны. И потом, конечно, понять нужно мужика... Без понятия, так лучше уж воду толочь!

Окончив речь, Чмелев стал со смущеньем передвигать вещи на столе — тарелку с хлебом, солонку, ложки. Продкомиссар слушал, не пропуская ни слова, Петр Грохотов зевал, Матвей Лызлов посмеивался.

— Вот так-то заговорит иной раз, так и заснешь под него... — заговорил Матвей Лызлов. — А правду говорит. Ты, Пантелей, лучше вот скажи, как ты советским-то сделался. Он до этого любопытен,—

тронул он продкомиссара за рукав,— все расспрашивал меня вче Вот ему это любопытно узнать. Пускай в городу расскажет!

Продкомиссаровы длинные руки лежали на краю стола и по пывали бахромку розовой скатертки, нарочно для гостей вынутой сундука.

— В самом деле, расскажите...— попросил продкомиссар.— Я вообще очень рад, что познакомился с вами. Только вот в этом пун я с вами несогласен. Сперва, по моему, нужно вековую кожуру сня предрассудки, я хочу сказать, а там уж и дальше ехать. У вас-то к будто наоборот выходит?..

— А вот я и скажу,—прищурился Чмелев, разглаживая шитье с тертки ладонью.—Вот и у меня причина была, и невелика, а затрону

И как бы смутясь внимательного взгляда продкомиссара, п нялся сурово сцарапывать давнишнюю грязцу со своих обмоток Чмел Младший Пантелеев сын умер уже в Ворах и одно только остав в наследство отцу: эти серые крепкие обмотки. Чмелев накручивал прямо поверх мужиковских онучей, отчего получались у него ноги не данной толстоты. Поэтому всегда он помнил о сыне.

Из Пантелеева рассказа выходило приблизительно следующ Прошлым годом ездил Чмелев в уезд,—поездка долгая, в два конца неделя, потому что летняя дорога обводила вкруг всего Кривоносо болота. Кривоносово — потому, что и сюда достигали передние р бродные шайки Пугача,— руководил их Кривонос. Он и скрывал в этом болоте, когда двинулись царские войска брать Пугача.— когда ехал там Чмелев, подсадил к себе по дороге человека, вст ченного под вечер. Видно, что человек хороший, в исполкомах подво не требовал из-за страдного времени, значит—сочувствующий мужи Его, так и шедшего от поля дô поля, и подобрал Чмелев.

— Садись, подвезу,—сказал Чмелев.

— А что ж, и сяду,—отвечал тот.

— Как звать-то? Ишь борода-т черная какая!

— А звать меня Григорьем,—отвечает.

Ночные пути не коротки, а часы вкруг Кривоносова боло долгие. Разговорились оба. Лежал Григорий в телеге на спине, сене, и, глядя на ночное лунное небо, полное к тому же звезд, принял рассказывать про всякое: какие в небе звезды, какие им числа, из че сделаны и как до них люди докинулись умом. Рассказывал Григор не спеша, голосом тихим, посасывая самодельную трубку. А Чмел хоть и молчал, слушал со всей остротой мужиковского слуха, и, хо была ночь, вдруг стало жарко Чмелеву от Григорьевых слов.

— Очень дерзко насчет каждой звезды говорил. Я уж потом- и понял, кажная наука дерзкая!.. Тут я и решился спросить. А прав ли, спрашиваю как бы ненароком, что до христова рожденья вот было звезд показано? А как родился, так и явлена первая... Нам де сказывали.

И уже ждал Чмелев, что загрохочет Григорий над мужиковской темнотой, над вредной глупостью Пантелеевых дедов, а Григорий не засмеялся. Тем же ровным толком объяснил он так, как сам понимал: ходят звезды по большому мраку... всегда ходили и всегда будут ходить, нигде им не поставлен срок.

— Я и говорю, что-де может врешь ты?..

А Григорий вынул из сумки трубку, раздвинул ее и предложил Пантелею самому взглянуть, хотя бы на луну. Остановил подводу, Чмелев посмотрел и тяжело охнул.

— Словно понимаешь, в сердце оборвалось что. Гляжу, а луна-те рябая! Батюшки мои, думаю... да как же так?! Ну, вот воску на снег вылить, так же. И очень мне захотелось тут до всего досмотреться, нет ли где-нибудь еще такого... одним словом, ну, непохожего!

Чмелев, задрав голову, глядел в ночное небо и таким удивляюще-прекрасным видел его в первый раз. И уже казалось Пантелею Чмелеву, что врастает он сам головой в эту черную зовущую пучину, в которой вдруг нашелся свой план и смысл.

— Так мы и ехали. Он те заснул потом, а я все в небо и ротозел. Ротозел-ротозел, да на березу и наехал...—с тихим смешком повествовал Чмелев.—Береза-то в этом месте на дорогу, вишь, вылезла. Там и объезд был, да я не видел, задравши голову. Очень это замечательный человек, Григорий! Все во мне перевернул, а не обидно... В уезде вылезает от меня да и смеется: а ведь ты, говорит, большевика вез! Вот уж тут-то, сознаюсь, и раззял я рот-те!..

— Это агроном с Чекмасовского поля, Григорий Яковлич звать,—вставил свое слово Матвей Лызлов, откусывая хлеб.

— А потом-то встречался с ним?—взволнованно спросил продкомиссар. Он ел мало, зато слушал жадно.

— Да наезжает-то часто... Все на картошку меня уговаривает. Он меня учит, а я его, кто чего не знает. Складно у нас выходит. Он и останавливается у меня...

— То-есть как это на картошку уговаривает?—заинтересовался продкомиссар.

— Да ведь местность у нас все больше прямая, как ладонь... Опять же земля такая. Выгодней всего картошка, если, к примеру б, завод тут еще построить... А то далеко возить. Под уездом, там есть терочный один, бывшего Вимба,—объяснил Чмелев знающим тоном.

Петр Грохотов пил молоко с хлебом и все время Пантелеева рассказа подзуживал Марфушу, сидевшую в отдалении. Марфуша уговаривала его взять ее в жены, а Петр смеялся, что, мол, лицом нехороша.

— А ты мне платье купит, хоротая тану,—тянула Марфушка, кривляясь.

— Э, нарядить тебя значит? Этак не выйдет! Наряди пень, и пень хорош будет.

— Я не тарая,—твердила Марфуша, и глупое лицо ее на мгнове озарялось настоящей мольбой.—Возьми Петрутка... Больно мне надо в девках-те ходить!

— Ладно, вот через недельку!—пошутил Петр, и встал с лавкı Вы уж тут рассказывайте, а я поспать пойду,—громко сказал он.— сеновал к тебе можно, дядя Пантелей? Я ведь некурящий.

— Ах да... Что у вас давеча за скандал вышел?—вспомнил пр комиссар, вопросом намарщивая лоб.

— Это у Рахлеевых?—потягиваясь, спросил Грохотов.—Да та Каждый день бывает!..—и пошел.

Уже без Грохотова стал Чмелев рассказывать, как он объясı про звезды мужикам, а мужики ему ответили: „нам ни к чему, землю пашем!". Какие сам почитывает книжки, и как книжки помога ему жить. Обед уже кончился, и хозяйка, сняв скатерть, вытряхнула за окном. Стоял самый разгар полдня. Все живое дремало, да затихшие в остекляневшем воздухе деревья. Один только Чмелевск петух, пышнохвостый и с плоским гребнем, ошалело долбил сухую гı лушку под самым окном, ища в ней хоть капельку съедобного смысла.

Скоро ушел и Лызлов, и продкомиссар со Чмелевым остались с гла на глаз в пустой избе. Полтора часа длилась их беседа, и все е не устал слушать Чмелева гость его. Тут-то и вбежал очень бледн Лызлов и, не глядя ни на кого, сказал:

— Петьку убили.

— Где убили?..—вскочил Пантелей, обычно прищуриваясь. Подб родок его сразу как-то выдался вперед. Для своих лет он проявл удивительную живость.

— Во ржи нашли... В плечо его хлыснули!

— Арестовали его?..—спросил Чмелев, потерянно шаря рук по столу.

— Да-да, арестовать нужно,—заторопился продкомиссар изм нившимся голосом.

— Семена-те?..—говорил Лызлов.—Убежал Семен. Я послал дв исполкомских за ним... Он у одного винтовку вырвал, а другого повали

— Куда же ему уйти?..—наощупь спрашивал продкомиссар.

— Да в лес ушел, к этим... летучим. За Курью! Агафьина деві видала, через мосток бежал!

— Очень плохое дело!—решил Пантелей Чмелев, наматыві и сматывая какую-то веревочку с пальцев.—Теперь уж не найти...- Чмелев встал и обернулся к окну.

— Да, уж Семена не найти... это правда,—согласился Лызлов и поте лоб, как бы стараясь стереть со лба печать заботы и повседневных волнени

— Я не про Семена,—резко перебил его Чмелев.—Я про друго Утерянного, говорю, не найти. Очень плохое дело. Теперь начнется уж

Так представлялось это дело человеку со стороны. Но не таким был оно всякому иному, знакомому с обличьем всех тех, кто населял Вор

## XI. Положение усложнилось.

С этого дня быстрей пошло колесо.

Село заволновалось, заметалось в целой сети событий и с каждым движеньем все туже запутывалось в их лукавых петлях. Догадки будоражили мужиковские умы, одна другой непонятней. Ходило смутное указанье, скоро впрочем рассеявшееся, что Грохотова убил не Семен, а Фетиньи муж, мужик злопамятный и во хмелю неудержный. Это тем более, что и нашли-то Петьку на Фетиньиной полосе. Странную хмельность Фетиньина мужа подтверждала и молодая Аксинья Рублева. Спросила Аксинья в тот вечер: „ты с чего это, Фетиньин муж, куражишься? Вот жена-те намылит тебе голову!". А Фетиньин муж объявил ей на это турка, то-есть кукиш с вывертом и с прибавком двух очень неуказанных слов.—Подпрятовская старуха утверждала свое: всему писарь Муруков виной! Прислали из уезда на волость три пары обуви: две пары женских полсапожек на высоком каблуку, а третьи — на картонной подошве бахилки, для покойничка. Лызлов Матвей и отдал жене своей пару, чтоб носила за Советскую власть, потому что совсем обносилась баба, ходила совсем босая, даже в церкву нечего надеть. Остальные две пары, и в том числе покойницкие, председатель сдал в цейхгауз. А тут Муруков и пришел: „дай, говорит, Матвей, и мне пару за Советскую власть. Я все дни напролет пишу, дай и мне". Лызлов выдал ему покойницкие, а Муруков обиделся.— Задавали после этого вопрос Подпрятовской бабе: „дура ты, баба! Петька-те при чем же тут?". А Подпрятова так даже и озлилась: „да какого ты шута с Петькой ко мне лезешь? Какò мне до Петьки дело. Хошь бы и всех их, Петек, переколотили!"—Третьи, у кого сыновей в лесах не было, проще всех объясняли. Сидели дезертиры, видят— Петька идет. Они и сказали: „товаришши, гляньте, Петька идет! Не скувырнуть ли нам его с дороги?". Тут и был сужен конец Грохотову.— Четвертые такую околесицу несли, что и повторять совестно.

Тяжелей ночи полегла на всех неоткрытая вина. Это потому, что в Семенову вину сперва не верили. И, когда в последующий день, встречались с исполкомскими, как-то особенно сутулились и скользили мимо, прикидываясь невиновными, и в самом деле невиновные мужики. Сигнибедов где-то выглядел, что послана в уезд красная бумага, какое злодейство учинено над советским человеком в Ворах. „Помяни мое слово, будет бабам вытья!"—сказал Ефим Супонев Гарасиму. Гарасим эти слова крепко в себя принял, стал бережно взращивать чертополошье семя этих слов, хоть и жгло оно душу, и, прорастая, звало на новые дела. Та же самая чернота, что висела месяц назад над Брыкинским домом, могуче распростерлась теперь над всем селом.

И верно, была послана в уезд бумага с нарочным красноармейцем. Должностным языком уведомлялось в ней, что приходят на волость

события чрезмерной важности,—нужна для предотвращенья их кре кая рука, и рука не пустая. Сообщалось также в бумаге мелким Мур ковским почерком, что полны окружные леса проходимцем дезерти ского звания, а особенно те леса, что зовутся Исаева Сеча и прилегаı кольцом как к Ворам, так, с семиверстной длины, и к Попузину. живут дезертиры охотницкой коммуной, называют себя летучей бр тией, по утрам звонкими песнями перекликаются с птицами, напом ная о вредном своем существовании советским мужикам.

И не доле того как в пятницу, в приходский праздник, носил старички самогон своим блудящим сыновьям, с ними и пили. И в село, пятьсот пар ушей, слышало, как наяривала в лесу оголтела дезертирская гармонь, сопровождаемая балалайками. Вечер тот бь из ряда вон чуткий и слышный.—А орудует среди них за главно дезертир Михайло Жибанда, удачник в любом непристойном деле.- Лишь про то не было указано в Муруковском писаньи, что пусть среди летучих нет, у каждого винтовка, что имеются у мужиков и пул меты, наследие от царской войны, и всякий другой, годный дл убийства снаряд.—Про пулеметы посовестился упомянуть Лызлов боясь подвести под полный разгром богатое свое село. Куцую, таки образом, бумагу вывез посыльный красноармеец в уезд.

Четыре дня ехал гонец, а события не ждали. Катится колесо приспущенное с горы, не в бег, а вскачь,—где его опередить квело мужиковской кляченке! Уже напряглись сердца Воров ожиданье неминуемого. Уже свистел уныло воздух от размаха колом.

На особом исполкомском совещании, происходившем в вечер Гро хотовского убийства, предлагал Матвей Лызлов не сдаваться на мужи ковские угрозы, дабы не показывать очевидной слабости. Продкомис сарово же предложение состояло в том, чтоб отослать часть мужиков с подводами отвозить собранный по разверстке хлеб на железную дорогу. Смысл всего этого — продержаться неделю до прибытия руки из уезда, твердо ведя однообразную линию в поведении, не искривляя ее ни в чем. Мужик Чмелев все время совещания только головой качал да хмурился. В продкомиссаровых словах виделось ему простое незнание мужиковских настроений.

— Не поедут,—тихо сказал он.—Разве время теперь лошадей занимать? да и людей тож! Им тогда еще больше прицепка выйдет Вы, скажут, нам работать мешаете...

Матвей Лызлов, ныне в выцветшей синей рубахе с ластовками, тер руки и все силился вызвать на лицо выражение неколебимого спокойствия. Однако то-и-дело высовывалась из его лица грустная улыбка. В его непрестанном постукиваньи по столу тоже звучала некая тревожность. Половинкин сидел у раскрытого окна и безостановочно курил. Один только Муруков все писал и писал, так близко приблизив нос к бумаге, что даже коробился от его приближенного дыханья листок. На минутку выходя из избы, он приклеивал хлебным мякишем

все новые и новые объявления на исполкомскую доску и притирал рукой, чтоб не сорвало ветром. Вернувшись, он шептался с Лызловым и Половинкиным и писал новое уведомление, просившее мужиков не волноваться во имя ответственности момента, а с подобающим всякому гражданину спокойствием готовить теплые вещи к завтрашнему дню. Что же касается куриного налога, четыре яйца с курицы, то разрешалось заменять яйца и медом, и воском, и полотном, и даже хлебом, у кого остался.

Напряженность заседания этого, в котором участвовали восемь человек и которое было последним в Ворах, была усугублена еще тревогой по той причине, что в окружности уже начали пошаливать мужики. Накануне в деревеньке Малюге был убит председатель, мужик грубый, но прямой, которого знали и в уезде. Убийство никакими волнениями не сопровождалось, а просто вывели за околицу и убили ножом, труп же запихнули в трясину, такую тряскую, где тройка с седоками в две минуты уйдет. Малюгинские недаром за чертей слыли в окружности: живут в местах особо жидких и человека ценят не дороже нового топора.

— Спать теперь придется только по очереди,—сказал Чмелев тихо.—Они если и полезут, то ночью полезут.

— Ближе двух дней не полезут,—сказал Лызлов, размазывая Муруковскую кляксу по столу.—А готовиться, конечно, не вредно. Володьку-т Васильева тоже ночью взяли.—Володькой и звали Малюгинского, убитого.

— Обыскать бы их,—начал Половинкин, сосредоточенно промолчавший все заседание.—Оружие отобрать, а там уж легче...

Он не досказал, окликнутый сзади, из раскрытого окна.

— Извиняюсь за беспокойствие!—сказал кто-то, на половину появляясь в окне и, очевидно, стоя ногами на заваленке.—Дозвольте прикурить!—и теперь почти весь втянулся с незакуренной цыгаркой в окно.

Все увидали. То был среднего роста, уже не парень, с залихватски-палевым цветом лица. Светлые усики казались прикленными к верхней губе, такое было в них удальство. Подбородок чисто выбрит. Фуражка его, замятая и старого образца, чудом держалась на затылке, а на лоб приспускался гладкий завиток русых волос. Прикурив у Половинкина, он спокойно и без тени усмешки оглядел всех сидящих вкруг стола, свистнул, лихо козырнул, и сразу его не стало.

Половинкин собрался-было продолжать свои рассуждения о необходимости обыска, но поперхнулся словом, пугаясь оцепенелого вида остальных. Чмелев переглядывался с Лызловым, Муруков никак не мог вытащить ручки из чернильного пузырька, точно держал ее пузырек зубами. Прочие имели вид такой, словно собирались вспорхнуть и улететь.

Первым пришел в себя Лызлов, выругался и вылетел за дверь. Слышно было, как кричал он что-то часовому, и как побежал часовой за угол избы, на ходу щелкая затвором.

— ... в чем дело?—спросил Половинкин, обводя оставшихся глазами. По мясистому лицу его разом пролегли четыре черных складки

Никто ему не ответил. Все настороженно ждали выстрела, но выстрела так и не последовало.

— Так как же?..—повторил Половинкин, дыша с открытым ртом

— Вот те и как же!—заворчал Чмелев.—А ты знаешь, кто у тебя прикуривал?

— Ну?..—насторожился продкомиссар.

— Мишка Жибанда... собственной личностью!—отвечал Чмелев и пошел затворить окно.

Тут вернулся Лызлов и неуверенно встал у притолки. Первое, что ему бросилось в глаза — Половинкин пересел от окна, и теперь позади него приходилась стена. Это он увидел, и об этом не промолчал.

— Стрелять, Сергей Остифеич, будут, так и сквозь стену достанут!—громко сказал он.—Вертеться теперь нечего, стой до конца!— и, подойдя к столу, полез без спросу за махоркой в Половинкинский кисет.

... К ночи заболоклось небо. Ночь вышла душная, темная, неспокойная. Рассвет не принес облегченья. Тучи, словно из гор их вывернули, кремневых цветов, налезали друг на друга. Не упало из них ни капли на истрескавшиеся поля. Где-то за тучами неслышно переползало солнце в знак Льва. Был канун Петрова дня. Цвела рожь. Мужики спешили покосом занять пустопорожнее время между Петровым днем и Казанской. Рожь выходила ранняя. На Курьей пойме, в виду Попузинских косцов, косили Воры с самого утра.

Уже четвертина скошена была, когда поустали... Присев кто на чем, развязали узелки, стали есть. Вместо шелестящего посвистывания кос побежали по лугу тихие говорки, но смехов среди них не было. этот день к Дмитрию Барыкову приставала Марфушка, чтоб замуж взял: „возьми да возьми. А плохо говорю, так я молтать буду"... К этому времени усилилась в дурьей голове истовая вера в грядущего к ней жениха. Только бы и посмеяться над ней, кудлатой и седой, над постылою всем босотой ее, над ее несвадебным нарядом — холстинная твердая юбка цвета белой лесной плесени. Было не до смехов.

Поприслушаться к говоркам—со страхом услышать: в шумную половодную реку грозили сбежаться малые ручейки. Говорили словами, какими-то искривленными до неузнаваемости, маловнятными, но каждое слово таило в себе темный смысл. Двое громче всех спорили: Лука Бегунов и Ефим Супонев. К ним подошли послушать и сами незаметно для себя вплелись в спор. Через десять минут гудело то место криком и руганью. Собственно говоря, спора и не было, все на одном и том же стояли согласно, но нужно было сердцу дать волю гнева, а горлу — крик. Какой-то мужик в веревочных шептунах лез, посовывая в воздух кулаками, напирал на Прохора Стафеева, чертыхаясь и вопя.

— ... нельзя! Этак нам никогда из кнута не выйти...

— Умных людей надо ждать!—стоя прямо и твердо, упирался Стафеев.—Тинтиль-винтиль, из палки не выстрелишь!

— Умные-те все с голоду подохли. Мы уж сами!—налезал в шептунах, усиленно суча кулаками.

— Да как же!—метнулась на Прохора баба, решительно проталкиваясь в самую средину людской кучи.—Уродилась у мене на полосе-те лешая щетинка! Ее не замолотишь!.. Ячмени совсем не колосятся. А рази они мне дадут? А я сама десята! Вот ты и смекай!. Как же мне отдать-то!

— Так ведь отдала же! — сипло задорила другая баба, с носом в пол-лица.

Уже получалось подобие схода. Стихало на минутку, но возгоралось вновь. И снова наскакивали друг на друга мужики, замахивались впустую, отскакивали, кружили все неистовей. Природа затихала, прислушиваясь к бурлящему гуду человеческих душ. Тут в самом разгаре кто-то за спинами мужиков сказал чужим голосом: „смену надо"...

Слово это, произнесенное с твердостью, хлестнуло как удар ветра и сразу заставило умолкнуть гул почти всего луга. Медленно, точно боялись свихнуть шеи, поворачивали головы назад мужики. Вблизи никого не было, зато дальше, держась за тощую полевую рябинку левой рукой, стоял Семен Рахлеев. Как больной, он глядел со сдвинутыми бровями куда-то поверх людей и луга, куда-то в пасмурные обширности неба, откуда нависала почти отвесная туча. Не сводя глаз с Семена, мужики стали отступать от него, пятясь задом.

Вдруг он сорвал с себя картуз и резко,—словно, отчаявшись, землю самое в поруки себе призывал,—ударил им оземь.

— Э-ей, серячки!!—услышали первый его призыв мужики и увидели, как выдался он грудью вперед, точно ставил ее под удар.— Хочу вам рассказать, за что я Петьку убил...

Слова у Семена были все какие-то подрагивающие, подрагивали и губы. Он уже не останавливался в начатой речи. Рябинка, зажатая в его кулаке, покорно потряхивала листьями при каждом его словесном нажиме. На лицо его, если бы вблизи стояли, было бы трудно глядеть мужикам. Нестерпимой болью, как у Федора Стратилата, осенилось его лицо. Он и сам не помнил потом, о чем говорил, потому что говорил как в бреду, но выходило складно,—как если бы с косой шел по цельной траве.

Понуро стояли мужики, слушали с неслыханным вниманьем, хоть и не было ни одного сладкого слова в Семеновой речи. Промежутки молчанья в ней были как бичи: такими сгоняет воедино разбредшееся стадо пастух. Осью было то, о чем неумолчно болели Воровские сердца, Зинкин Луг, а вокруг оси вертелись все малые и немалые колеса: и ненасытный город, и прежний опыт, и грядущая расправа

за убитого Гусака. Первоначальное подозрение мужиков, что хоче Семен взбаламутить мир, чтоб собственное злодейское дело мирским грехом покрыть, теперь рассеялось само собой.—Вдруг заплакала маленькая девочка, держась за материн подол. Заплакала потому лишь, что особенно напряженно молчал ее отец, тяжко оперšись на косу. Услышав плач ее, мужики неожиданно загудели, чтобы потом так же неожиданно затихнуть.

... Именно затишье наступило в Ворах. На улице никто не показывался, назначенных яиц никто не принес. Уже неписанно была объявлена война, но обе стороны молчали, выжидая ходов противника. Поп Иван Магнитов, прикинувшись трудно-болящим, не служил никакой службы даже и ради Петрова дня, хоть и грозили ему чреватые последствиями мужиковские недоуменья. Даже ребятам своим воспретил Иван Магнитов выбегать на улицу, чтоб не напоминать о существовании в Ворах Магнитова Ивана.

В неменьшей тревоге пребывал и исполком. Дважды ездил Сергей Остифеич в Чекмасово, на телефон, чтоб сговориться с уездом. Провода, пущенные по деревьям, оказались перерезанными. Из проводов наделала себе летучая братия невиданные запасы балалаечных струн. И в тот день, когда, отчаявшись совсем, в третий раз отправился Половинкин в Чекмасово, весело звенели на девяти дезертирских балалайках те самые советские провода.

... Там, в лесу, выходил на средину пушистой лесной полянки долгоногий верзила Петька Ад. Он обхватывал себя самого длиннющими руками, подбирал полы рваной шинели и, с прыжка, укоротившись в росте, такого плясака показывал, что у толстопятого пензяка Тешки, первого плясуна у себя в Пензенской, зеленело от зависти в глазах.

## XII. Удар.

Ввиду того, что не только яиц, но и яичной замены никто не принес, был предпринят обход по избам. Исполкомская комиссия, в составе продкомиссара, Матвея Лызлова и красноармейца, вышла после обеда второго дня из исполкомской избы и направилась на Выселки, откуда предполагалось начать. По настоянию продкомиссара выход был сделан без оружия, чтоб не будоражить зря мужиковского воображения. Только красноармеец был снабжен винтовкой, ибо, будучи без винтовки, он скорее возбудил бы подозрения мужиков. В той крупной игре, какая началась всего несколько дней назад, это было не только неудачным, а и бессмысленным ходом чрезмерно размякшего сердца. Этот необдуманный шаг и поверг наземь зловещую тишину того дня.

А день выпал удушающий. Низкой облачной паутиной был заткан небесный свод. Парило. В безветренных полях никли цветы: даже и цветам нечем было дышать.

... Кура от века бабьей птицей слыла. И едва пронизала Воры весть, что пошли обходом исполкомщики, побежали бабы к ним навстречу, наспех — на щеколды и засовы затворяя дома. Мужиков нигде видно не было, один только высокий бабий стон стоял на широкой улице села. Бабы бежали с пустыми руками, но гневные, встрепанные, похожие на наседок, вспугнутых с гнезда.

Продкомиссар шел небыстро, немного поотстав от Лызлова с красноармейцем, ушедших вперед. Их окружили и разъединили бабы, разевая в ярости рты, гулкие как печные горшки.

— Нет тебе яиц! — кричало несколько баб хором. Их предельное возбуждение делало их опасными даже и для взвода солдат, а тут было всего трое, безоружных. — Грудные ребята у нас осолодку жрут... а мы тебя, зевластого, яйцами кормить станем?!.

— ... раззор, раззор! — безостановочно выла какая-то, напрасно силясь прорваться к продкомиссару сквозь непроницаемое кольцо баб.

Бабы оттирали баб назад и сами лезли на продкомиссара, который терпеливо повертывал голову то в одну, то в другую сторону. Какая-то, кривая и бесстыжая, со сбившимся назад платком, кричала пронзительно в самое его ухо, опираясь на его же плечо:

— А у меня вот петух сломался... кур не топчет совсем! Дедку что ль закажу, чтоб кур топтал?..

Комиссар не слышал, а когда услышал, то потер себе лоб, чтоб понять и вдуматься — мешал крик. А когда добрался до смысла петуховой поломки, стало уже поздно. Бабы, атаковавшие двух передних, очевидно были злей и упористей. Напрасно Лызлов и шуткой и угрозой и щипком за мужнее место силился отбиться от бабьего напора. Волна все подымалась, и уже нельзя было уйти из-под волны.

Тут Фетинья, которая жгуче крапивы и горчей полыни, подхватила куру, запутавшуюся в бабьих подолах и напрасно искавшую выхода, и смаху кинула ее красноармейцу в лицо. Это случилось быстро. Тот не успел остеречься, куриная лапа попало ему прямо в глаз. Он зашатался, зажмурился и невольно отпихнулся от баб винтовкой. На беду, в сутолоке бабьего бунта находилась и безвредная Рублевская молодайка, — ходила на шестом месяце. Удар пришелся ей в живот. Она высоко и нелепо взмахнула раскинутыми руками и с пронзительным криком „убили“ повалилась на земь, среди расступившихся в ужасе баб.

Вопль Аксиньи Рублевой был как бы молнией, гром не замедлил. Сотня бабьих голосов подхватила Аксиньин вопль. Улица стала пустеть, бабы разбегались. И точно только этого последнего сигнала и ждали мужики. В подворотнях, в плетнях, в углах и закоулках заворошилось живое и рассерженное. Мужики бежали с кольями, косами и топорами. Вынесся откуда-то и Егор Брыкин. Блестя полоумными глазами, он волочил за собой шестерину, взмахнуть которой все равно у него не хватило б сил.

— В колья... На тетку Комуну в колья!! — трубным голосом за вывал Сигнибедов и несся снизу в распахнутой жилетке, обливаясь по том и вытаращив глаза.

— ... о-о-о!.. — ревел Гарасим черный и несся с колом сверху взмывая пыль гулким топом яловочных сапог.

Все трое — Лызлов, красноармеец и продкомиссар, — сбившис в кучу, оцепенело глядели вокруг себя. У Лызлова, как от великой боли оскалились зубы, и был жуток желтый оскал крепких его зубов. Прод комиссар тер себе подбородок, бормоча что-то непослушными губами А третий, зажимая ладонью подбитый глаз, с ужасом глядел уцелев шим глазом на бабу, поверженную во прах, на лежавшую рядом с ней винтовку. Красивое лицо Рублевской молодайки синело и звере ло от судорог. Отовсюду приближались.

— ... что ж это вы, товарищи, бабу мою обидели? — ядовито про шипел кто-то сзади.

Они обернулись все трое. Тут-то и наскочил на них верхним ястребиным летом Гарасим черный.

## XIII. Воры гуляют.

Сергей Остифеич провел весь тот день до самого вечера в Чек масове.

Телефон не действовал, но в трубке как-то звенело, словно кто поддразнивал с другого конца порезанного провода. К вечеру Сергей Остифеич затянул ремень на шинели потуже и выехал в Воры. К этому времени уже совершенно сложился у Сергея Остифеича план: надо заехать в Воры, за бумагами и с каким-нибудь поручением уезжать в уезд от начинающихся бесчинств... Ехал он не спеша, потому что небезопасно было шуметь по темени возле этого края Кривоносовых болот. По-разному шалила в этом месте летучая братия над проезжими. А лошадь у Половинкина была белая: — хорошая цель и по темноте. В одном повороте дороги Сергей Остифеич даже соскочил с лошади и вел ее на поводу, пока не миновал подозрительный осинник. Сергей Остифеич был прав: уже не храбрость, а глупость — подставлять себя под баловную пулю незнакомого удальца.

С самого начала Попузинского луга ударил по Сергею Остифеичу ветер, донес всплески дальнего набата. Место тут было очень просторное. Сергей Остифеич вскочил в седло и хлестнул лошадь. Воры, окруженные лесами, не были видны Сергей Остифеичу: Сергей Остифеич подъезжал с юга. Тут ему показалось, что видит на облаке отсвет огня. Причина набата стала ясна. Опасности не предвиделось. Сергей Остифеич еще раз подхлестнул кобылку.

С опушки, ближней к Ворам, стало видно: пожар,—очевидно горел какой-нибудь из крайних домов. „Разойтись пожар не может, ветер не в ту сторону. А вместе с тем и хорошо: вниманье мужиков хо-

тя бы временно отвлечется на пожар. А там, может быть, и совсем схлынет, рассеется мужиковское волненье. Недолог мужиковский гнев!" Так думал Половинкин, трясясь в седле. Набат стал опять слышен. Исступленно и без сопровожденья малых колоколов, бухал большой, в суматохе утерявший все свое достоинство старшинства. „Должно быть, Пуфла горит!" — подтвердил свои догадки Половинкин и в третий раз подогнал коня.

Он приближался к Ворам бесшумно, тонули в глубокой пыли стуки копыт. И вдруг перед самым селом стало жутко. Он напрягся до багрового стыда и переупрямил страх. Привязав кобылку к перилам моста, он пеше добрался до подъема холма. Попалось на пути подобие водоотводного рва, Половинкин переполз его. К этому времени стало совсем темно, приходилось итти почти наощупь. Так, в темноте, он нашарил плетень крайнедеревенца. Жгучее, неосознанное любопытство охватило Сергей Остифеича, — вот так же в царскую войну, когда в темноте нужно было миновать вражеский дозор или черный наблюдающий глазок пулеметного гнезда. Это было любопытство здорового человека к смерти. — Приникнув к плетню,, выглянул.

Несмотря на потемки, улица была вся видна, освещенная лохматым светом пожара. Горела исполкомская изба, стоявшая чуть-чуть на отлете. Ветер затих, и огонь выпрямился. Дыма не было, целые рои небыстрых искр порхали по темноте. Красные сумерки стояли над селом. В улицах царило непонятное оживленье. Вдруг оборвался набат. Кто-то, перебегая от дома к дому, кричал хрипло и властно, из последних сил: „Братцы, оружайтесь! Братцы...". Его призыву отвечал неровный гул. Сергей Остифеич не мог оторвать остановившегося взгляда от горящего исполкома. Покорял его и не отпускал итти этот огромный столб почти неподвижного огня.

Упавшее сердце стучало мелко и часто. Казалось бы: бежать Сергее, шпорить до крови белую кобылу, скакать с донесением в уезд. Но произошло другое. Село встало под знак мятежа. Исполком горел. Все нити подчинения его уезду были порваны. Половинкин ощутил себя освободившимся ото всех недавних забот. Теперь он принадлежал себе самому. И целый вихорь осмысленных, здравых решений не одолел одного, неосмысленного. Что-то пошевелилось в груди, и грудь вздохнула, и тотчас же где-то там, на глубине пощекоталось удивительное желание — быть там, посреди криков, смятенья и опасности. Не отрезвленный и холодом ночи, он стал пробираться за околицей к средине села.

Вдруг, совсем вблизи, загромыхала подвода. Дорога освещалась тем же огненным столбом. В свете его Половинкин узнал: Воровской поп, Иван Магнитов, удирал на телеге, нагруженной доверху поповским скарбом и ребятьем. Сам он сидел на пузатом комоде и держал на коленях, в обнимку, самовар. После заворота дороги влево все это стало еле приметно, и только в глянце самовара предательски торчал

красный отсвет пожара. „Ага, бежишь!", с насмешливым волнением подумал Половинкин и хотел уже продолжать свое опасное предприятие, но во время прижался к черной стене мужиковской бани. В мимобегущей, темной и широкой фигуре, спотыкавшейся и падавшей, узнал Сергей Остифеич попадью. Она догоняла поспешающего мужа, задыхаясь и крича шопотом:

— Отец, отец... поднос-те забыл! Возьми, накось, поднос-те...— так с подносом, прижимая его к груди, и побежала она под спуск холма, напрасно взывая к мужу.

Движенье на селе необъяснимо усилилось. Горланили мужики, как бабы, и бабы ругались, как мужики. Куриный бунт, куриная смехота разбухла в страшную тучу на всю округу. Ужасом и кровью захлебнулись Воры в тот день. Временами, нежданная как соглядатай, перебегала оголившуюся полянку неба луна и опять зарывалась в давящую мякоть облаков. И опять, как и Половинкин, терзаемый смертным любопытством, выскальзывала на долю минуты и опять пугливо пряталась. Было чему пугаться...

Уже вошла в Воры всем количеством летучая братия, доселе укрывавшаяся в лесах. Мужики встречали сыновей, бабы — мужей. Сигнибедов, разойдясь в порыве заметавшегося сердца, потрошил напропалую остатки своей торговли, сооружая угощенье чужакам. Есть никому не хотелось, пропала обычная жадность к еде. Нужно всем было пить, стало красно в мужиковских глазах от сожигающей жажды. Пронырливостью Егора Брыкина был открыт на радость всем целый самогонный завод в омшаннике у бабки Мятлы, повитухи. Пили дико и ковшом, и блюдечком, и прямо так — в прихлебку.

Хмельным и шатким шагом вышел с одного конца села Дмитрий Барыков, неся за плечом гармонь. Возле колодца как раз столкнулся он с Андрюшкой Подпрятовым и Егором Брыкиным, приятелями давнего детства. Вышли они с трех разных сторон, тоже хмельные, наобум, в неизвестность пьяной тьмы, а за плечами у обоих тоже повизгивало по гармони.—Брыкин пьяным только прикидывался.

Как столкнулись, так остановились недоуменно, разом, по-бараньи выставив лбы.

— Жену пришиб, — самодовольно сказал Егорка и, сорвав картуз, повел им так, словно приветствовал теперешнюю свою хозяйку, самогонную разгульную ночь.

— Ге-е... — проблеял Андрюшка. — До смерти?

— Не, поучил только... — визгливо прохохотал Брыкин.

Постояли они и еще немного, носами к носу. Где-то бегали, кто-то кричал. Душило зноем, потому что заперли нахлынувшие тучи все небесные отдушины. Уже не луной, а зарницами поминутно вспыхивало небо, черное как черный порох. Вдруг Андрюшка крякнул и ловко подернул плечом. Трехрядка его вздрогнула звуком и, как ученая собачонка, перескочила прямо под руку. То же проделали и приятели.

ізом нажали все трое по четыре заветных клапана, разом растяну-ісь гармонные голенища во весь возможный мах...

Как когда-то! — сотни лет назад, когда все трое и без вина были пьяны—шли они рядком, гудя в самодельные гуделки. Потом, — іживших в городе сильней манила жизнь, — вот так же ходили, вырачиваясь наизнанку в жениховском чванстве, покрикивая песни. ›гда еще пыжилась из них младость: — подергивали робкий ус, чтоб іс скорей, девкам на сердечную пагубу. И вот снова, три нераздели-ых друга, вкусивших от соблазнов жизни, били злыми пальцами по рмонным ладам, и пели лады плясовым напевом о скорбном, непут-ім, нерадостном...

Худое лицо свое со впалыми щеками, распухшее и красное, на орону завернув до отказа, грянул во всю глотку Митя Барыков:

. . . . . . . . э-эх,
загуляли заворуи,
поддавай, старуха, щов!..

А уж по заулкам бежали к ним однодеревенцы и чужаки из ле-чих, удалые и тихие, рябые и гладкие, богатеи и голь.

— ... пьяно, Тимак!—закричал один из них, маша руками так и сяк.

— На бугре стоим! — отвечал неизвестный Тимак во всю грудь. — ам что! Мы всяку бяку пьем...

— Миленький... и мухомором упиться можно! — лез первый.

— Котуй, ребятишши... — отупело сказал какой-то, непрестанно іпоча ногами в лаптях.

Крики усилились, подходила новая шумливая ватага.

— Поймали... Пленного поймали! — суетливо возглашал Савелий эротый, тычась впереди. Савельев хмель всегда мягок и весел.

— Кого пымали?.. — насторожился Брыкин и повел носом, вы-охивая.

— Серегу-Гусака словили — объявил невеликого роста, но вели-ікого объема в груди человек, летучий Тешка. — Мишки-т Жибанды ́т ли тут? Он давно у нас на Серегу зарился!

Раздались крики:

— Не е, Мишка там... У Савелья в избе.

— У нас, у нас Мишка. С Семеном моим совещаются, как теперь ло повести, — хвастался ото всей души Савелий. — Насчет Рассеи 5суждают, брать или не брать!

Куча остановилась. В средине ее стоял, выдаваясь ростом, Сере- Половинкин. Он щупал себе спину и поводил глазами, словно хотел іпомнить всякое лицо.

— Хлястик-то оборвался. Поищите, тут где-нибудь... — попросил оловинкин.

— И без хлястика! все равно теперь... — сказал какой-то, державший Серегу под руку.

— На комаря его! — запросил кто-то сзади.

— На огонек...

— Мы и без Мишки!..

Половинкин посапывал носом и кусал губы, совсем заворачив их вовнутрь. Сзади опять закричали:

— На комаря!.. На кома-арика-а...

— Комарь-то не ловок теперь, — озабоченно возглашал босой древний старик, только затем и выползший со своих полатей, чтоб обс дить с молодыми Серегину казнь. — Какой уж теперь комарь!..

— Ничего, ничего, папаша, — утешал его хлопотливый парнишка,- теперь пауту зато самые временя! Опять же муравей! Хватит зверья

— К болоту...—завопили задние, которым так и не удавалось пр браться до Сереги и хотя бы пощупать его собственноручно.

— А кого впереди-т пустим? — перекричал всех Тешка, напр шиваясь на эту честь.

— Петьку Ада... Петьку! — закричало полдюжины голосов.- Петьку и пустим, у него ноги живые...

— ...в суставах тонкие! — восторженно крикнул еще какой-т уже не молодой. Когда-то, видно, озоровал немало, да отзоровал сво молодость.

Так они, Тешке в раздражение, и пустили впереди Петьку Ада парня двадцати восьми лет, длинного и тонкого как жердь. Выше тот—кто-то осветил его вздувшейся папироской, — поглядел с винова тостью, вскинул глаза на зарницу, сказал как бы про себя:

— Ишь... летают какие!..

И вдруг, словно хватила его смертная судорога, согнулся и разо гнулся на одной ноге, а другою выбил мельчайшую дробь —

Эха-ху-ха-ху-ха-ху
Д'хоть бы плохоньку каку...—

продержал он на одной высокой ноте. Они уж и пошли-было, ведя Сергея Остифеича на смерть, да. Тут как раз ворвалась в толпу Марфушка Дубовый Язык.

— Мужитьки,—дурий голос ее умоляюще прерывался.—Дайте его мне, мужитьки... женитка! Братка у меня убили, так я его жалеть буду... А?

Волосы ее растрепались, топорщилась вымокшая где-то юбка, обминаемая теперь коленями мужиков.

— Пошла ты к чорту!.. Бесстыжая...

— Бей ведьму, мать твоя курица!

— Тащи ее туда же... — и кто-то схватил ее за юбку, но она рванулась и умчалась.

Больше никто уже не останавливал их в пути, а Серега и не пробовал бежать. Сотня рук цепко держала его по клочку, как добычу. — Там, где-то в гнилой духоте Кривоносова болота, суждено было Сереге, голому, развязывать Свинулинский узелок. Ах, кому ж было знать, чем окончится в следующем веке гусиное увлечение Ивана Андреича!..

# XIV. Хмель.

У Семена в чистой избе сидели вкруг стола люди, верхи лету-ей братии и вся головка воровского мятежа. У дверей толпились, олна людей была изба. На столе лежал большой ворох махорки и елый поднос хрусткой цветной карамели—все что осталось у быв-его лавочника Сигнибедова. Всякий, кто хотел, подходил и брал.

Сбоку стоял старинный светец,—обгорелый уголь со змеиным ипом падал в долбленое корытце, полное воды. Анисья, мать, стояла переднем ряду и с тревогой слушала разговоры молодых, вершив-их теперь дела всей волости. Изредка она цыкала на баб, чтоб утихли.

Была и без того тишина. Заседание шло полным ходом, хмель-ых тут не было. Порядок заседания не нарушался никаким несвое-еменным или вовсе неуместным замечанием,—такого порядка не учалось ни на одном из сходов. Говорили в строгой очереди, слово енили за краткость и дельность, а не за хвастливую красоту словес-ого завитка. И хотя обсуждались вопросы высочайшей важности, не ольше часа на все заседанье ушло.

Все к одному бесспорно склонялись:

— Нам одним против всей машины не выстоять. Нужно подкре-ленье звать, чтоб вставали всем миром, и беззубая бабка и беззубое итё...—так говорил Семен, щупая подбородок зараставший бородой.

Тут же было решено послать верховых в Попузино и в Сускию, в дальнюю Чегодайку, и в ближнюю Малюгу, и в Срединную Дуплю, дом стоявшую на болоте, и во все окрестные места, где живут, об шли с тем, что первым приглянется глазу. Тотчас, без рассу-дений вышли из толпы девятеро назначенных. Уже ждали их у ыльца девять неоседланных коней. Одновременно вскочили люди, новременно топнули кони, одновременно на девяти концах села бур-вой струйкой взбилась ночная пыль.

Заседание продолжалось. Мишка Жибанда достал из кармана ятую тонкую бумагу и вслух читал список всех советских в воло-и людей. При каждом утвердительном ответе ставил он возле про-танной фамильи глубокий крест твердым своим ногтем.

— ...Чмелев Пантелей,—тихо прочел Жибанда.

— Есть,—печальным голосом ответил Афанас Чигунов, внима-льно глядя в пятнышко на столе.

— ...Васька ему косой пол-лица срезал,—эхом шел толк среди б.

— Шохин...—строго говорил Жибанда, ставя крестик возле мелева.

— Это который же? Двое Шохиных у нас,—как бы невзначай метил Прохор Стафеев со стороны.

— Двое у меня и записаны... Захар Шохин, а еще Ефим...— пояснил Жибанда, пристальней вглядываясь в бумагу.

— Оба... Оба есть,—сказал Чигунов, не отводя глаз от пятнышка.

И опять эхом откликались бабы:

— ...за окно выскочил об одной штане. В вас, кричит, сознанья нет... а сам все платок к голове прикладывал.

— Он в сени сунулся...—говорила другая, так тихо, словно возле покойника,—а сени-те заперты. Он тоды в подвал залез... А бабы-те, свои же, и кричат: Захарко, выходи, тебя мужики ищут. Из-за тебя-те и нас всех прикончут...

— Это за Зинкин покос ему!—сухо отрезала третья.—Как жил, так и получил...

— Василий Лызлов!—продолжал Жибанда.

— Упустили щенка... Наделает беды, горячка-парень!—угрюмо вставил Лука Бегунов и снова замолчал.

— Видели, к реке бежал. Так в берег и кинулся...—виновато сказал Прохор Стафеев.—Всю осоку сапожищами укатали мужики, искамши... а нет...

В этом месте заседания свалился уголь с лучины и зашипел в воде.

— А вот тут не разберу,—сказал Жибанда, прищуриваясь и поднося листок к свету.— Шурупов Кузьма... был такой?

— Дай я,—сказал Семен, взял листок и прочел:—Муруков Кузьма, правильно.

— Его, как ранили, он было в рожь на четверне пополз...— вспомнил про писаря старый Подпрятов.

— Нашли во ржи-то?..—оборотился к нему Жибанда, не спеша ставить крестик возле писаря.

— Да, нашли...—с ленивым раздражением отвечал Чигунов, для чего-то протирая глаза рукой. Глаза у него, и впрямь, смыкались, точно утомившись видеть столько в один день.—Ты читал бы скорей... чего там размазывать! Дело ясное, из-под топора не уйдешь.

А бабы сообщали подробности Муруковского конца:

— ...старуха-те плакалась: зачем, баит, конечка-те бьете? Себе бы хоть взяли! Конечек-то ровно огуречик кругленькой!..

— Нашла, конечка жалеть!—насмешливо сказала высокая баба.

...Так до конца прочтен был весь длинный список. И везде, кроме Васятки Лызлова и Сереги Половинкина, процарапал Мишкин ноготь глубокие отметинки смерти. И уже подходило заседание к концу— первоначальное напряжение поспало, и слышались разговоры посмелей—когда, совсем неожиданно, вывалил Юда целый ворох папирос на стол, жестом предлагая закуривать.

— Папирос-то откуда достал?—спросил Семен, покачивая головой.

Юда был один из летучих. Невысокий и складный, он имел улыбку хитрую, скользкую и опутывающую,—такою делали ее его темные гни-

лые зубы. Лицом он был черноват и приятен, усики у него вились сами. Юдой прозвал его летучий Васька Пекин по неизвестным причинам и уже давно. Все время заседания Юда сидел в стороне и похрустывал Сигнибедовские карамельки.

— На обыске нашел,—скромно отвечал Юда, разглядывая собственную, узкую, с длинными пальцами ладонь...—В чейгаузе у них без дела лежали. Одним словом, обчественное достояние.

— Он и баретки достал!—похвалился за Юду один из летучих, коренастый, узловатый парень Тешка, из-под Пензы, подчинявшийся Юде с первого взгляда и с первого же взгляда улавливавший Юдины помыслы. — А баретки-то бабьи! Весь в бабьем ноня...

В самом деле, одет был Юда в бабью поневку, еще не старую, туго перепоясанную кавказским, с серебряными подвесками, пояском. На ногах он имел ту самую пару женских полусапожек, которую оставил Лызлов в запас из присланного на раздачу по волости. Высокие каблуки были еще не сбиты, и ноги Юды неожиданно походили на копыта.

— У меня нога маленькая. Мне лапти все ноги стерли...—недовольно сказал Юда, надгрызая яблоко, вдруг появившееся у него в руках.

— Яблочко-те откуду достал?—покосился Васька Рублев.

— А вон, мамаша дала! — воровато подернулся Юда и кивнул на Анисью Рахлееву. — На, говорит, сынок, яблочко тебе, похрупай!..

— Брешешь, не давала! Сам стащил...—сердито и сдержанно отозвалась Анисья.

— Не давала-а?..—состроил замысловатую рожу Юда. — А я его уж и съел! Что ж мне теперь делать-то, бежать или спасаться?.. — и он окинул коротким взглядом товарищей, громким хохотом выражавших свой восторг перед словесным удальством Юды.

Больше всех хохотал, конечно, Тешка.

— Ну, спать! — поднялся Семен, неуловимым движением бровей останавливая мать, готовую напасть на Юду по всем бабьим правилам.

— Спать, это правильно... — сказал Гарасим черный и размашисто зевнул.

— Рот - то покрести! Анчук влезет! — окрикнул его кто-то из летучих.

Но смеху некогда было подняться. Блестя глазами, выпученными немалым внутренним подъемом, вбежал Егорка в избу. Сзади его затеснились другие.

— Робятки... попка поймали! — возбужденно сообщил он.

— Где?.. На ком?..—загудела летучая.

— Да как же! Мы Серегу на комаря привязали... идем, а он во-от кобылу нахлистывает! Он уж, было, и уехал, да поросенка забыл. За поросенком и вернулся...

— Ну-ну!—тешилась летучая.

— Вот-те и ну, баранки гну... Сюда привели! Там же мы и Серегину кобылу нашли, к мостку привязана.

— Половинкина-то поймали значит?—сощурился Семен и кивнул Жибанде, но тот и сам уже лез за пазуху, за бумагой, чтоб отметить и пойманного крестиком.

— ...сидим этто на завалиночке,—рассказывал, поблескивая чернотою глаз, Фетиньин муж, — разговор ведем, прикидываем, одним словом. Вдруг тут молния-т как полыхнет! Видим—тень. Откуду тень? Из-за угла тень!.. Ну, мы очень это поняли, сзади его и обошли, Серегу-те. Он, значит, подслушивать за угол-те встал!..

Толкаясь и громко переговариваясь, мужики вышли на крыльцо. Там уже стояла немалая толпа. В самой средине ее трое летучих держали пленных: один — Половинкинскую лошадь, двое других — под руки беглого попа. Без рясы, в домотканных портах, он больше походил на чудного длинноволосого мужика, чем на известного всем Ивана Магнитова.

— Здравствуй, батя, — сказал Семен ему, невнятно пошевеливавшему губами.—Покинуть нас вздумал? Очень нехорошо. Мы с тобой, батя, одной веревочкой связаны... Надо ж, батя, понятие иметь! Ну, что ж, иди теперь домой. Отпустите его, — сказал он державшим Магнитова под руки.

Освобожденный Магнитов громко задышал и поводил затекшими плечами, уходить же, видимо, не решался.

— Благослови, отче... — подошел со стороны Юда, пряча за длинными ресницами смех и складывая руки горсточкой.

Тот с излишне поспешной готовностью поднял-было руку. В ту же минуту Юда лукаво погрозил ему пальцем перед самым носом.

— Шалишь, батя, Юду благословлять! Рази ж поп в подштанниках бывает? Беги!!—гаркнул он ему вдруг и в самое ухо.

— Беги, беги... — взволнованно завопили летучие и расступились, давая дорогу.

Магнитов постоял еще минуту, потом сделал неуверенное движение, словно подбирал рясу, и скакнул в сторону с прыткостью, немыслимой ни для сана его, ни для возраста. Бегу его очевидно мешал страх перед неизвестностью. Он упал посреди улицы, сраженный одышкой и ужасом, и закрыл голову рукам. Темная ночь висела над ним, и она грозила войти в задыхающееся кровью сердце. Его освещало зарево исполкома.

— Беги...—еще раз крикнул металлически-звонко Юда и тихой скороговоркой попросил у Семена: — дозволь, друг, ружье разрядить... Затвор, вишь, у меня ослаб и пули не держит...—Говоря так, он держал взгляд на Магнитове, все еще лежавшем в пыли.

Где-то в стороне слышна стала негромкая ругань. Семен оттолкнул Юду в плечо и пошел на спор. Спорили Афанасий Чигунов и Гарасим черный из-за Половинкинской лошади.

Гарасим сказал:

— Беленькая.

Афанасий ответил:

— И хвост обстрижен.

Гарасим:

— Это моя кобылка. Я давно ее облюбовал! — и прибавил такое, словно ногой топнул.

Чигунов:

— У тебя и без того три, а у меня одна, да и та головы не держит.

Подошедший Семен решил спор коротко. Как первый убивший, Семен занял главенствующее место в восстании:

— Лошадь в обиход пойдет.

Тут кто-то крикнул:

— Бабинцовы угощают...

Толпа побежала на выселки, небо все еще вспыхивало зарницами.

— Ребяты...—закричал им вдогонку Семен.—На взъездах, значит, рогатки поставить не забудьте. Михайло нарядит баб в караул. До рассвета караул держать!..

— У-у... баб в карау-ул... — было ответом.

Скоро у избы остались только Семен и Жибанда.

— Миша, спать пойдешь?—спросил Семен.

— Да уж выспаться-то не плохо б. Может завтра и драться уж придется...

— Перепьются, а ночью и накроют их,—выразил свои опасения Семен.

— За ночь не успеют. А поп-то, гляди, убежал!

— Пускай его.

Расходясь, они подали друг другу руки. Пожатье их было сильное и намекало не только на установившуюся дружбу, а и на то истинное значение, которое должна была иметь она в будущем.

— Продкомиссар этот...—тихо сказал Жибанда, глядя вниз... — когда лежал уж, я узнал его. Пыли много попристало, а узнал. У нас комиссаром в части был. Нас вместе и ранили, на Колчаке...

Жибандино воспоминанье как бы перетряхнуло Семенову память. Он вырвал руку из Мишкиной руки и спросил:

— Фамилья ему?..

— Быхалов. А что? Почему ты так? — удивился Мишка Семенову лицу.

— А-а! — с раскрытым ртом сказал Семен, набирая воздуху в грудь.

Теперь он вспомнил, и потому еще сильней душил его расслабляющий воздух этой ночи.

## XV. Продолжение ночи.

Когда Жибанда потерялся в ночи, Семен вошел в избу и, н раздеваясь, прилег на лавке. Окно над ним было раскрыто.

·Стояло полное безветрие. Большое желтое пламя лучины стоял прямо. Гулко бились мухи, подчеркивая томительную тяжесть ночи На полатях вперемежку с затейливым и длинным похрапываньем бредил Савелий о Людмиле Иванне. Мнилась, видно, и пьяному поповская дочка.

„Разницы нет, кто у них там... в городу,—вспомнил Семен слов Прохора Стафеева.—Мы-то все одно—мужики! Разве ж может мыш из своей кожи вылезть? Мышь растет и гора растет, но не сравняетс мышь с горой. А если не сравняться мышу с горой, так какая на тогда разница?" — „Раз-ни-ца... два-ни-ца... три-ни-ца"... От усталости слова начали распадаться в Семеновом сознаньи, складывались п иному, теряли свой первоначальный облик и смысл.

Тут бабочка-ночница ворвалась в окно и заметалась вкруг огн серым неживым пятном. Пятно стало носиться все быстрей, словн для того, чтоб еще больше утомить и без того слипающиеся Семенов глаза. Вдруг дверь в избу распахнулась, и долго потом помнил Семен как бурно, по живому, закачалось пламя лучины. Четверо взошли и стояли посреди избы. Один, и, очевидно, самый главный, встал к Семену спиной. Лица его не было видно, но что-то мучительно знакомое неугадываемое, мнилось Семену в сутуловатой его спине. „Возьмит его!" — тихо сказал этот, и остальные сразу догадались, что речь шл о Семене.

Семен и не сопротивлялся. Казалось, что все мышцы его стал из вязкого, покорного всякому чужому хотенью свинца. Его взял и повели. Человек, скрывший лицо, шел впереди, а вслед за ним трое, которые вели Семена куда-то за околицу, в ночь. „В поле ведут!" — решил Семен и тотчас же решил бежать. Он напряг все сво свинцовое тело и, распихнув людей по сторонам, кинулся бежать наугад Непонятно подкашивались ноги. Непонятно быстро догоняли сзади и все еще не могли догнать. Семен почувствовал вдруг, что тот, главный, уже обернулся и показывает пальцем ему вослед. Обернуться — значило увидеть и удовлетворить мучительное незнание об этом, главном. Обернуться — значило умереть. Семен скакал немыслимыми скачками, яростно торопя непослушные ноги.

Вдруг погоня остановилась, топот ее перестал быть слышным. „Здесь отдышусь", подумал Семен и, прислонясь к какой-то березе, стал глядеть туда, назад, в черное поле, где осталась погоня. Позади раздался еле уловимый шорох. Семен обернулся и увидел два коротких огня. Семен напрягся понять, и пошевелился, и стряхнул сон.

Мать, Анисья, присев к нему на лавку, укрывала ему ноги кофтой. Бабья тоска делала ее глаза покорными, а движенья медленными, почти ленивыми.

— Не укрывай, и без того в поту весь,—сипло сказал Семен.

— Сенюшка... что ж теперь лучше аль хуже будет?..—тихо спросила она.

И все еще чудилась Семену недавняя погоня, все еще застлано было сознанье тревожными впечатленьями сна. За окном, из рыхлого бессолнечного неба уходила ночь. Где-то далеко, в короткой струйке ветерка прогорланили голоса и гармони. Мухи затихли. Веяло холодком. Семен свесил ноги с лавки и потер лоб рукой. Анисья копошилась с новой лучиной, вставляя ее в светец вместо догоревшей.

— Не зажигай, светает...—сказал Семен.—Дай водицы попить.

Выпив воды, тоже из ковша, Семен вышел из избы. Недавний бред живо стоял в памяти,—неощутимо вкралось желание увидеть наяву, так же ли черно кочкастое поле, по которому бежал, стоит ли на нем береза, которая росла в черном том, кочкастом поле его сна.

На улице стояла полная тишина, нарушаемая глухими и редкими стуками: караульные бабы стучали мешалками. Небо уже таило в себе некую белесость, но имела белесость красноватый отлив для сонного Семенова взора. Когда, делая кратчайший путь, перелезал в одном месте через изгородь, увидел на исполкомском месте обгорелые и все еще тлеющие бревна, навороченные друг на друга как попало. Уже среди ночи испугались мужики большого огня и попритушили расходившееся пламя. Теперь кое-где среди бревен проползала ленивая искра кривым путем и так же одиноко затухала.

Семен шел по той же дороге, по которой вели его люди из сна. Но уже ничего сходного с медленно-забываемой сонной жутью не было. На черном поле стояла высокая и темная конопля, шумевшая при ветерках. Несли ветерки прямо в лицо одуряющее дыханье конопли. Откуда-то из невидных щелей неба уже сочился скудный свет. Чем больше приходило его, тем сильней выявлялись вещи, теряя свою призрачность,—тем невероятней казалась вся минувшая ночь.

Развязалась обмотка. Семен, поставив ногу на жердь конопляной загороды, стал распускать износившуюся грязную тесемку и тотчас же услышал чей-то гулкий бег. Звуки бега быстро приближались, было в них что-то, что заставляло прислушаться и ждать. Наскоро закрутив тесемку, Семен пошел навстречу бегущему и ждал у поворота дороги.

Женщина в городском платье, явившаяся из-за конопли, бежала прямо на него. Напуганная чем-то, она спотыкалась и сбивалась с бега на мелкий неровный шаг,—еще издали стало слышно Семену ее убыстренное дыханье.

—...там, гонятся!—прикричала она, хватая Семена за руку и почти повисая на нем.

Обвитый ее руками, безмолвный от удивления неожиданностью, он слушал сильным своим сердцем, как колотилось рядом с ним другое сердце, маленькое, у прибежавшей с рассветной стороны. Лицо ее было спрятано у него на груди, но он уже узнал ее по знакомому завитку волос возле уха.

— Откуда бежишь?..—с нескрытой угрюмостью спросил Семен, отводя голову в сторону.

Она подняла глаза на него и оттолкнулась, как от чужого.

— Сеня...—скорее с испугом, чем с радостью вскричала Настя.

Но и радость Семена, о которой он вскоре не преминул сказать, была не настоящая. Неожиданный приход Насти нарушал чистоту и ясность всех его рассуждений о значении вчерашнего дня.—Одновременно тяжкий топот не одной пары сапог и лаптей приблизился к тому месту дороги, где они стояли, за коноплей.

— ...тута... тута! — кричал кто-то, кто бежал впереди. За плечом его в такт бегу повизгивала гармонь.

— Братишки... и мне оставьте! — подпискивал какой - то из отставших.

— Ладно, ладно... найти сперва, — восторженно откликался третий.

Семен стоял на самом повороте. Первый, вылетевший из-за угла, наткнулся на Семена. Семен подался грудью вперед и тот отлетел в сторону. Впрочем, он тотчас же поднялся и отряхивал пыль с дешевого и узкого ему пиджачка, немало, судя по складкам, пролежавшего в сундуке. Это был Андрюшка Подпрятов.

Теперь он со злобной внимательностью смотрел на Настю, — Настя стояла спиной к ним. Остальные — кто что: грызли ногти, подтягивали пояски, просто водили мутными непонимающими глазами, а один, нагнувшись, оцепенело, трогал пальцами оторвавшуюся в беге подошву сапога и качал головой.

— Что ж, приятели... семеро на одноё напали? — сдержанно сказал Семен, усмехаясь на удивлявшегося оторванной подошве. — Нехорошо ведь!

— Вся власть на местах! — с пьяным упорством отвечал Подпрятов, косясь на остальных и понукая их на дерзость. — Кто ты такой тута?.. — и опять он тряхнул головой.

— Не лезь, Андрюшка! Дай ему самому побаловаться, — сказал другой с лицом, опухшим от бессонницы и хмеля.

— Кто такой?.. - переспросил Семен и лицо его надулось сдержанным бешенством. — А вот кто... становись один на один, я из тебя все потроха вытрясу... ну!

— Хорош, хорош... давал чорт грош, да и тот спятился!—в каком-то остолбенении и невпопад выпалил Андрюшка, но тотчас же испугался, едва взглянул в осунувшееся лицо Семена. Теперь уже о

полном смирении говорили Андрюшкины, за минуту перед тем наглые, глаза.

— Ладно уж, не гневись! Сам знаешь, разгулялось... видим свежатинка бежит...—он помолчал, сощелкивая пятнышко грязи с картуза. Поднявшийся ветерок пошевеливал коноплю: она шумела и пуще насыщала воздух того места пьянящим духом.—Да мы к тебе и бежали. Думаешь, за бабой твоей гнались! Своих, что ль у, нас нету? Как же! Нужна она нам ровно зуб в дыре! Мы к тебе с вестью бежали.. беда случилась!

— Ну?..—Семен собрался уходить.

— Да вот! Серега-те Гусак... ведь убежал! У Исаевой Сечи привязан был,—глухим недовольным голосом рассказывал Андрюшка Подпрятов.—Ну, мы и пошли вот сейчас... побаловаться хотели. А там даже и веревочки след простыл. Такая беда!.. Главное: веревочка-те зачем ему?..

— Его не иначе как Марфушка спустила,—заговорил другой.— Сейчас встретили, так похвалялась, будто Серега сватался. Так и Брыкин сказывал. И это очень возможно!

— А сам-то Брыкин где?—спросил Семен, ища его глазами.

— А тут был... тут! Где ж он?—засуетился вокруг самого себя Подпрятов.—Вот и бежал с нами... Поотстал, должно!

Еще с минуту стояли молча, думая о Половинкинском побеге. Совсем рассвело. С села доносились ржанья коня и крики петухов. Стороны разошлись; ни одна, ни другая не была довольна происшедшим разговором. Одно явствовало: Семен крепко сидел на занятом месте.—Настя шла рядом с Семеном и молчала. „По чужому встретились", с удивлением думал Семен и был прав: за время разлуки что-то сломалось в их отношениях, любое слово, сказанное искренно, показалось бы ложным.

— Я по письму твоему приехала... Ты ведь звал меня?—оправдывающимся тоном произнесла, наконец, Настя.

— Вот и хорошо сделала,—неловко сказал Семен и до самого дома не задал ей ни одного вопроса ни о чем.

А те, семеро, Настины загонщики, шли в другую сторону. Облачье над лесом прорвалось, и в длинной щели стояло солнце, какое-то чужое, ненастоящее, как восходная луна. Словно стыдясь непутных своих, разбухших от разгула лиц, шли все семеро с опущенными головами. И вот, сперва про себя, а потом все громче, затянул один плачевным напевом и на высокой ноте песню. Песня та была длинна и жалобна, на верхних своих запевах сердце щемила.

Ее слушая, молчало все кругом: даже жаворонки не вертелись, как обычно, над полями в то утро. Да и нечему было радоваться жаворонкам: день вставал угрюмый и нехороший, как большое распухшее лицо, с глазами, еще красными от вчерашнего хмеля.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

### I. Похмелье.

**Подобно тому, как будит паденье камня отстоявшийся на дне ил ненужный ни для чего, кроме как чтоб водилась в нем ползучая безглазая жизнь, и поднимается ил и мутит воду, — так же возмутились стоячие воды Воровской тишины. Поднялся ил и обволок небо, солнце скрылось, и как будто даже укоротились дни. Нет веселья в повествованьи о черных, похмельных днях Воров.**

**...Наскакали верховые посланцы на девять окрестных деревень стали говорить неуказанные речи. Непонятны были чужому уху темные реченья их и про обширность поля, и про шумливость леса, и про великую нашу ширь и воль. А смысл у всех был один: кровь. И еще не закатилось солнце похмельного дня, как взгудели мужики у исполкомов засвистали колья и камни, и нахлынула кровь на кровь. Когда пришла холодная ночь, властительница сна и покоя, застала она на деревнях другую, людскую ночь, бессонную, неспокойную. Не стали соперницы спорить, кому место, — обнявшись тесно, как сестры, повисли над Воровской округой. В ту ночь молчало всякое ночное, одно только было: гульливая топотьба взбесившихся человечьих ног.**

Не везде гладко проходило. В Попузине стрелял председатель и подранил жеребеночка. За жеребеночка пуще остервенились мужики — помереть не дав, потащили за ноги к колодцу. В Малюге обошлось без убийства. Исполкомщики, предупрежденные событиями предыдущих дней, выехали наскоро, в чем были, оставив на месте свой убогий скарб. Даже смутились в своей неутоленной злости мужики: сломали стол в исполкомской избе, за то, что де и стол советский, портретикам выкололи глаза. Кстати уж покололи на лучину и образа, найденные у сбежавшего председателя в чулане, а линялый флажок подарили старику Микитаю Соломкину на рубаху или на другое что, — знак уважения молодости к очевидному старшинству.

Но всем тем не исчерпалась расходившаяся сила. Побежали мужики в соседнюю деревню, за четыре версты, в Отпетово,—попали как раз на сход.

— Мы,—кричат Малюгинские,—помогать пришли. Вы как, прикончили своих-те, аль еще бегают?..

А Отпетовцы обсуждали на сходе: убивать им своего председателя в общем порядке, или помиловать.—Своих грамотных у них по тому времени не нашлось, один только парнишка шестнадцати годков. Он и был выбран тогда в председатели, чтоб сидел и писал в казенную бумагу, как и все, за двадцать пудов хлеба в год, полупастуховская цена. Парнишка и сидел, и никому вреда, кроме пользы, не было: взрослый работник на письменных пустяках не пропадал, да и воровать в таком возрасте еще не обучен бывает человек.

С прибаутками и шутками проходило обсужденье председателевой участи. Сам председатель стоял тут же, связанный для прилику по ногам, и хныкал, догадываясь, что этак и до порки дело может дойти. Этим он еще более способствовал мирскому веселью.

— Да нам,—Отпетовцы отвечают,—и бить-те некого. Офрема-писаря бить, так ведь он—дьякон. А Иван уж больно мужик-те ладный, совестно! Не имеем мы на него злобы...

— Так как же тогда?..—оторопели от досады Малюгинские.— Побежим тогда к Гончарам всем миро̀м, сообча. У них и покроем!

Тут же, пленного председателя развязав и послав его к Иванихе за бражкой, подняли бородатые Отпетовцы обсужденье: итти к Гончарам или не итти. Нашелся один вихлявый солдатишко с ретивым сердцем, обучившийся митинговать. Он вскочил тут же к одному мужику на спину и со спины объявил наспех новопришедшую весть, будто целый полк перешел на сторону Воров, с командирами и котелками.

— Эй вы, черти!—заорал он, вытягивая гусиную шею.—Которые за то, чтоб Гончарам помогать, высунь руку!

— А что делать-те?—спрашивали.

— Поорудуем, уж там видно будет!—толково отвечал солдатишко.

Поднялось семнадцать рук, сосчитанных.

— А кто против, чтоб не итти?—возгласил самозванный председатель.

Опять поднялись руки, корявые и темные, как обломанные сучья на сухой ветле, двадцать рук.

— Да ты что ж, бабка, оба раза̀ руки подымаешь?!—озлился солдат на престарелую, совавшуюся то туда, то сюда.

— Везде, родименький, поспеть хочу. Чтоб не забидели, стара я...—пропела бабка.—Эвося, и Никитова бабка оба раза подымала! Нешто хуже я Никитовой-те? Что она, что я—все одно беззубые!..

На конец концов решили: пропьянствовать этот день, засчитав его за гуленый, двунадесятый день. А попросят подмоги — отрядить четырех мужиков с топорами, наказав им настрого: до смерти никого не обижать. Это тем более, что и стоит Отпетово в сокрытном уголку, в низмине: с малого мало и спрашивать.

... Но покуда бушевали кровью и смехотами окрестные Ворам места, сами Воры в суматохе и тревоге проводили похмельный день. Летучая братия и вся молодежь уходили в лес, путеводимые Семеном и Жибандой. Прежнего оживленья и хвастливых чаяний не стало.

Вдруг клич прошел: „запрягай вся деревня!"—С полудня заскрипели телеги на расхлябанном спуске из села: начался великий выезд Воров. День выдался ненадежный, облачный и знойко-ветреный; пыльные вихри суетились под плетнями, куры чистились к дождю. Стеной встали окрики, понуканья и ядовитые ругательства: каждый старался злей соседа стать.

Уже навален был на телеги ветхий мужиковский обиход. Поверх укладок с неношеным лежало перевязанное мочалом коробье, поверх

коробья—иконы, связанные стопкой, ликом к лику, а на стопках сели ревущие, от предчувствия родительских бед, ребятишки. За подводами шли привязанные коровы, овцы, телки—все это также не молчало. Но выезжали медленно, спешка их казалась фальшивой. Казалось также, что не верил сосед соседу в окончательность его решенья покинуть насиженное место жизни. Все же, выезжая навсегда, бросил Афанас Чигунов в колодец убитую накануне Лызловскую собаку, срубил Гарасим черный черемуху перед своим домом, чтоб уж не цвела по веснам на радование вражеского взгляда. Бежать от уездной расправы—было целью и причиной великого выезда Воров.

Телеги шли и по две и по три в ряд, где было место, заезжали не только по несжатому полю, но и по конопле и по льну. Не было особой нужды травить и попирать бабье достояние,—нарочно заезжали в самую гущу посева, оставляя глубокую колею. С тем же чувством горечи и отчаянья разбивал Егор Иваныч Брыкин по приходе в Воры крылечную резьбу, плоды стольких усилий и затрат.

На первую версту с избытком хватило храбрости и удальства, так же хвастает и обреченный—когда ведут его на последнее место—заламывая шапку на-бекрень. В разговорах проглядывала горделивость, происходившая от сознанья такой решительности, неслыханной доселе у мужика. Оправданьем выезда служило и то, что-де везде земля, от земли не уедешь, и на каждой, незасеяной, лопух растет, и каждую землю заповедано пахать.

На второй версте стала как-то слишком криклива мужиковская отвага.

— Зажгут нас...—сказала крепкая баба, ехавшая с больным мужем, и заплакала.

Муж ее, укутанный и похожий на больную сову, ворочал ввалившимися глазами и уже не в силах был остановить женина карканья.

— Сляпала баба каравай!..—забасил насмешливо хромой дядя Лаврён, свертывая журавлиную ногу, и подхлестнул своего конька. Удар пришелся как-то вкось, взлетели два овода с коньковой спины, но сам конек не прибавил шагу, словно понимал, что незачем, нет такой причины в целом свете, уезжать дяде Лаврену от родного поля, по которому ходила еще прадедова соха.—Хоть врала-те покруглей-ба!—продолжал Лаврен.—Мы каждогодно, почитай, сгораем, на том стоим. Сгорим, построимся и еще ближе к речке подойдем. Покойника Григорья-т Бабинцова дед сказывал: Архандел-село в четырех верстах от Курьи отстояло, а мы, эвон, в версте легли. Зажгу-ут!..

И опять хныкали ребята, скрипели тележные оси, гудели овода, отстукивали устрашенные мужиковские сердца медленные минуты пройденного пути. Третью версту проехали уже в молчаньи: верста как верста, радоваться нечему—лужок, по лужку цветочки, в сторонке древяной крестик по человеке, погибшем невзначай, воробьи на кресту... Четвертая верста выдалась какая-то овражистая, стал накра-

ывать дождь. Упадали начальные крупные брызги наступающего роливня и в дорожную пылищу и на колесный обод бессемейной довы Пуфлы, и на казанскую укладку бабки Моти. Упала капля и а кровянистый нос дяде Лаврену. И вдруг увидели мужики: из гуська ыехав в сторону, вспять повернул дядя Лаврен и со чрезмерным сердием застегал конька. Конек брыкнулся и шустро побежал. Возутились мужики на хромого Лаврена.

— А я,—обернулся с подводы Лаврен,—понимаете, мужучки... гонька в лампадке не задул. Неровен час!.. уж пускай лучше...

За Лавреном поворотил вдруг и Евграф Подпрятов, косясь на ождящее небо.

— Эй, ты, доможила...—со злобой захохотали вослед ему остаюциеся,—аль тоже лампадку оставил?!.

Подпрятов только рукой на небо махнул,—затараторила его одвода по иссохшимся комьям пара, как говорливая молодка у чуого крыльца. Остальные продолжали ехать, уже с понурыми голоами, уже совсем небыстро: в моросящей неверной дали мало виделось гешенья мужиковским глазам. Дождь усиливался, поднимался ветер. оздух напрягся как струна, толстая и густого звука. Кусты пригнуись как перед скачком. Деревья зашумели о буре. Весь поезд остаовился как-то сам собой.

Вдруг на подводе своей, поверх сундуков, вскочил Сигнибедов. н стоял во весь рост, беспоясый, и ветер задирал ему синюю рубаху, азал людям плотный и волосатый его живот. Ветер же заметал наоташь ему бороду и обострял еще более жуткий его взгляд.

— Мужички, а мужички...—закричал Сигнибедов отчаянным голоэм, силясь перекричать бурю.—Мужички... а ведь ехать-те нам экуда!!.

Он оборвался, словно дух ему перехватило ветром. И вдруг е сразу поняли, всем нутром, каждой кровинкой истощенного тоскою ла, что впереди нет ничего, что мужик без своей земли и телега ез колес—одно и то же, а позади теплый дом, на нем крыша, а под рышей печь.—Сигнибедов, соскочив на землю, ужасными глазами ставился в дугу своей подводы. И ветру пронзительно подтявкивал ривязавшийся откуда-то щенок,—такой смешной, с человеческими ровями.

— Гроза идет,—строго сказал Супонев и резко повернул лошадь азад.

Это было знаком к тому, чтобы весь поезд повернул вспять через миг загрохотала вся дорога бешеными колесами. Неслись бурей наперегонки, ссутуленные и прямые, покорные и затаившиеся тайниках сердца. Иные—грызя конец кнутовища, иные—держа спущенные вожжи в раскинутых накрест руках, иные—окаменело идя, иные—окаменело стоя, иные с глазами, красными от ужаса, иные вовсе с закрытыми глазами. Все гнали безжалостно пузатых и бес-

пузых, равно задыхающихся и храпящих кляч. Бабы сидели сжавшись, крепко прижимая к себе ребят, и уже заострились носы у них, и уже побледнели бабьи губы, закушенные зубами изнутри,—беда приблизилась на взмах руки.

...И, когда прискакали Воры на ту самую землю, с которой навечно связаны были веками и кровью сотен предыдущих лет, случилось последнее событье того суматошного дня. Откуда-то из-за угла выскочила навстречу им босоногая Марфушка. С непокрытой головой, полной репья и разной колючей пакости, в юбке, сбившейся от бега к ногам, потому что оборвалась какая-то единственная застежка, она бежала с горы, прискакивая, навстречу несущимся мужикам, с поднятыми руками, срамная, мокрая и жуткая жутью глубокого безумия. Но нежность, неуказанная дуре,—самая радость удовлетворенной нежности, отражена была в ее лице и бровями, жалобно вскинутыми вверх, и изломом рта, потерявшего вдруг всю свою обычную грубость.

— ... женитка натла... Женитка натла! — верещала она и бежала прямо на храпящих лошадей.—Ноготками отрыла, ноготками!..—захлебывалась Марфушка и показывала свои огромные руки, исцарапанные в кровь, скрюченные так, словно и впрямь держала в них красную птицу дурьей радости, порывающуюся улететь. — Мой, мой... хоротый... ненаглядный, ангелотек мой!..

Впереди всего поезда мчался в парной подводе черный Гарасим. Кони Гарасимовы—Гарасиму братья по нраву. Был зол на Марфушку Гарасим-шорник за отпущенного Серегу Половинкина. Он цикнул на лошадей, даже не двинув лицом, и те черным вихрем проскочили через Марфушку, проставив только три копытных знака: на ноге, на груди и лбу. И уже не удержать было расскакавшихся Воров, хоть и в гору. На расправу мчались, и требовали последней удали растерявшиеся сердца.

... После ливня вспомнили о потоптанной конями Марфушке и пошли убрать. Она лежала в водоотводном рву, куда сползла перед смертью, уже вся переломанная. Кто-то догадался зайти и на Бараний Лоб, где под березой зарыт был Петя Грохотов. Босоногая кричала правду. Петя Грохотов был вынут из могильной неглубокой ямы и сидел, прислоненный к березе.

А перед ним, на мокрой траве, расставлены были в любовном порядке все Марфушкины игрушки: цветные черепки с Свинулинской усадьбы, облохматившийся кубарик, убогий пучечек васильков и курослепа, обрывок пестрой ленты и та ржаная лепешка, которую подал ей утром богомольный Евграф.

Видно забавляла, как умела, Марфушка молчащего своего жениха. Значит было суждено и Пете Грохотову стать Марфушкиным женихом. Положили их вместе. И Сигнибедов, почему-то хлопотавший больше всех, поскидал туда же, в яму, сапогом все ведьмины игрушки.— С той поры и звалось высокое место под березой уж не Бараньим Лбом, а Марфушкиной Свадьбой.

## II. Рождение Гурея.

В утро Настина прихода они долго сидели наедине. Уже были ьедены две миски—вчерашних щей и творога, размятого в молоке. же были рассказаны Настей подробности всех событий, нагрянувших а Зарядье и изменивших пути его раз и навсегда.

— ... Дудин-то выбежал из ворот, крича. Я не слышала, зимние амы уже были вставлены у нас...

— ... зеркала из „Венеции" увозили. Папенька и говорит: „кто ж ак зеркала грузит! На первой яме потрескаются!". А тот обернулся, а и сказал: „не ваше дело, товарищ"...

— ... голодали. Шубы ночью украли...

— ... папеньке сказали, что дом наш на Калужской будут на рова разбирать. Три ночи караулить ходил... Там и простудился.

— ... Катя на службу в губкожу поступила. Губкожа!..

Рассказывая, Настя глядела на пол, словно чувствовала на себе акую-то вину перед Семеном. Но не только неурочность часа разделяла их в то утро. Если б встреча их произошла в городе, все ыло бы по-иному. И уже не Семен, а Настя была б полна этим транным и трудным чувством отчужденности. Вся история мятежа тояла в причинной зависимости к страху перед городом, вершителем удеб страны. В Настином приходе крылось нарушение прямизны еменова пути. Вместе с тем неожиданно явился вопрос у Семена: а в этом ли желанная та точка, о которой думал со сладким трепетом в детстве—у Катушинского окна, в юности—на улицах Зарядья, о которым блуждал полный неопределимых волнующих предчувствий. ротивилась душа и не давала ответа, но в самом отказе ее от ответа же был ответ.

Анисья, мать, встретила Настю сухо, смутившись городским ее идом. В избу Анисья не вошла ни разу за все время, пока сидела ней Настя.

Ветер разогнал облачные заслоны, и вот на короткие минуты олнце обняло землю робким, неуверенным теплом. Кусочки солнца адали сквозь растреснутые стекла окна прямо на колени Насте. очно обрадовавшись солнцу, громче захрапел Савелий, отсыпавшийся осле вчерашнего хмеля на полатях. Семен открыл окно. Кучка людей одходила к окну избы.

— Семена нет ли?..

— Тебя!..—шопотом сказала Настя, с невольным страхом отодвинясь от окна.

— Посиди, я пойду узнать,—сказал Семен и вышел.

Услышать, о чем они говорили,—спокойно и нешумно, на крыльце, ыло нельзя, несмотря на раскрытое окно. Настя успокоенно стала глядывать внутренность избы. Изба как изба, таких тысячи тысяч:

печь, а на веревке, обвисшей с правой ее стороны, сохли тряпки. Стоптанный валенок высунул нос из печурки. Ползший по нему таракан казался бессонной Насте живым, удивленным глазом.

Вдруг храп сгустился и поутих, но взамен явилось тонкое и пронзительное посвистыванье, словно гора дула в тоненькую, не толще соломинки, щелку. Настя удивилась даже, когда скатился к ней с полатей не трехаршинный храпливый молодец, а полусонный мужичонко, Савелий. Он постоял немного, потом перевел взгляд на Настю.

— Чево тебе?—спросил он, левой рукой протирая глаза, а правой снимая с печки грязные свои тряпки и пробуя наощупь, высохли ли.— Ничего, высохли,—решил он про себя.

— Я... знакомая Семена,—испугалась Настя прямого вопроса.— А вы?..

— Мы отец ему будем. Из Питера, что ли?—деловито спросил он, присаживаясь на порожек, чтоб обуться.—Живали, благородный город.

— Нет, я из Москвы,—сказала Настя и чему-то засмеялась.

— Смолол что-нибудь?—появляясь в дверях, спросил Семен, и Настя видела, как сжались и разжались Семеновы руки.—На печку, папаша, ступай, пока не управишься,—тихо сказал он отцу.

— Зачем ты его гонишь?—попробовала заступиться Настя.—Он смешной...

— Не зверинец... на зверей-то любоваться!—резко сказал Семен.— Да еще вот... нужно будет тебя в мужика переделать. В леса нынче уходим, сейчас и приходили за этим. Я тебя за брата выдам.

Настя глядела и не понимала.

— Мне переодеться надо?.. Да зачем?—она в задумчивости отвела глаза и они чуть-чуть раскосились.—Ах, да-а!—вдруг деланно засмеялась она.—Ну, конечно! А сколько вас идет, много?

— Много, все там,—сказал Семен.—Вот летучих дюжин пять, да прибавь наших сорок... вот полторы сотни и наберется.

— Полторы-то откуда же?—даже оробела Настя.

— А нас-то двоих не считаешь?—Семен попробовал пошутить, но тон его шутки был для Насти почему-то тягостен. Семеновы глаза слипались, хотели сна. Жилы на висках резко проступили.—Ты посиди еще, я принесу переодеться чего-нибудь.

Он ушел и в ту же минуту с полатей высунулась взлохмаченная голова Савелья.

— Стесняется!.. Это он меня стесняется,—с лукавым смущением зашептал он, подмигивая и укладываясь так, чтобы можно было опереться локтями о край полатей.—А я как служил у господ-те в пажеском корпусе, так и у меня, у самого, благородства-те—пей не хочу—было! В Аршаве, в восемьдесят седьмом году, обедом нас потчивали, вот угощенья! Князь Носоватов мой... со старшинством кончал!— очень уж тоды смешлив был. Всему смеялся, увидит, скажем, хоть и

меня, сейчас же и-га-го-го-о!—Савелий изобразил лицом, каково было в смехе Носоватовское лицо.—Тут на обеде подходит он ко мне, а в руке это самое, бакар держит. И уж, конечно, весь уже тово, в общем виде! „Пей, говорит, зверь!“ Они нас, денщиков, зверями звали, чтоб смеш-ней...—Савелий, войдя во вкус повествованья, всеми своими движеньями выражал теперь свой восторг перед той замечательной порой.— „Пей, говорит, зверь, за меньшую братию! Но не моргни, говорит, крепкая!“—„Это никакого влияния не оказывает, отвечаю. Не моргну, ваше сиятельство!“ Да и хватил весь бакар до донышка. Четверы суток я опосля этого бакара лежал, не знаю уж, что там было намешано. Так он мне, касатка, собственного дохтора присылал. Очень хорошо лежать было, обиход одним словом, пища-а... Я потом и в больнице леживал, да уж где. Две, касатка, противоположных разницы, явственный факт!—прокричал Савелий, и Настя не ошибалась, думая, что и теперь не отказался бы Савелий выпить залпом бокал Носоватовской смеси, чтоб полежать в тех же удобствах четыре дня.

— Что же он теперь-то, жив?—осведомилась Настя, неловко отводя глаза от благодушных и тусклых Савельевых глаз.

— Погиб!—торжественно выпалил Савелий.

— На войне, что ли?..—спросила Настя только для того, чтобы спросить о чем-нибудь.

— На войне-е!—обиделся Савелий.—На войне всякий сумеет. На дуели!—и вытаращил глаза.—Из-за утки погиб!..

Даже несмотря и на усталость стало Насте любопытно, как это сгубила утка князя Носоватова, но в сенях раздались поспешные шаги. Савелий мгновенно спрятался. Вошел неизвестный Насте человек. Во всем у него—и в хрусткой свежести холщевой рубахи, и в поблескиваньи серых глаз, неустрашимо обведенных густыми и короткими ресницами, во всей фигуре, невысокой и плотной—почувствовалась Насте какая-то редкая удачливость. Когда он вошел, словно ветерком подуло,—стремительный.

— Дома есть кто-нибудь?—он кинул картуз на лавку и чуть-чуть сощурились на Настю его глаза. Когда они раскрылись снова, в каждом глазу было по улыбке; казалось говорили глаза: „пожалуйста, берите у меня улыбок сколько вам угодно, у меня на всех хватит!“

— Семена нет?—спросил он, несколько смущаясь.

— Он придет скоро,—произнесла осторожно Настя.

— Да ничего, нам не спешно. Будем и без него знакомство водить. Мещанин, город Ямбург, Михайло Машистов... Жибандой кличут,—и он виновато развел руками, как бы показывая, что совсем не повинен в своем прозвище.

— А я из Москвы приехала. Меня Настя зовут,—уклонилась от прямого ответа Настя, надеясь на догадливость этого размашистого человека.

Мишка ответил не сразу, а сперва как-то покривил плечом...

— Из Москвы? Гниль в сравнении с Петербургом! То-есть, одним словом, ездить плохо... улицы кривые! Француз в двенадцатом годе за то и жег, что улицы кривые. Не выжег, Москву нельзя выжечь!

— А вы чем занимались?—не поняла Мишкина подхода к Москве Настя.

— Мы-то-с? Мы лихачи. Только мы больше по Питеру ездили. В Питере народ крученый, а в Москве тягучий, нам Питер больше подходит. Да-с, поезжено было! — сказал Жибанда, хлопнул себя по коленкам и встал. — Городской жизни вполне хватили!

Неожиданно для самой себя встала и Настя, взволновавшись глупостью, мелькнувшей в голове. Она глядела на Жибанду и знала, что Жибанда старше Семена, но если Жибанде двадцать восемь, Семену не меньше сорока. У Семена усы и борода растут, как попало, у Жибанды остались от усов узенькие рожки... Она смутилась своей неожиданной внимательностью, когда пришел Семен, принесший небольшой ворох одежды. Начавшиеся вслед за тем сборы к уходу в лес заслонили от Семенова вниманья и странный блеск Настиных глаз, и ее внезапный румянец, и еле уловимую неловкость Жибандиных слов, когда он говорил при Насте.

— Ребята за Брыкинской баней собрались, — сказал Жибанда, приглаживая волосы.

— Да я почти готов. Вот только ее переоденем! — Семен коротко заглянул в Мишкины глаза, знает ли?

Мишка знал, отвел глаза в сторону.

— С нами барышня пойдет?—приподнял бровь Мишка, не глядя на Семена.

— С нами, да, — и Семен пожевал усы. — Я тебя попросить хочу, Миша. Пускай она за твоего брата слывет. А?

— Для ребят, что ли? — спросил Жибанда, косясь на комнату, боковую каморку, где переодевалась Настя. — Так ведь не поверят, разномастные мы!

— От разных отцов,—наспех придумал Семен.

— Все едино не поверят... в разговоре не выдержать,—неизвестно почему упрямился Жибанда.

— А почему бы и не поверить? — сказал сзади них Настин голос.

Оба обернулись. В дверях каморки стоял статный паренек лет двадцати двух, Настиного обличья, как бы младший брат ее. Обычная матовость кожи затушевывала женственность лица. Широкая Семенова гимнастерка, ловко перехваченная уздечным ремешком, скрывала женское отличье. Фуражка сидела глубоко на голове, из-под козырька смеялись глаза. Она вышла и подхватила Жибанду под руку.

— Хорош?.. — кинула она Семену.

Жибанда с неловкостью выдернул свою руку из-под Настиной руки.

— Лапотки-т не по тебе, товарищ, — сказал он, оглядывая Настю.—Ну, да Фрол и воробьиные сплетет. Одним словом не робей, Гурей.

— Гурей!—повторила Настя, прислушиваясь к новому, неслыханному ею, имени. — Не робей, Гурей, — сказала она еще раз и усмешка брызнула с ее губ.

... Через полчаса уходили и летучие, и Воровские в лес. Песня не ладилась, гармони не играли: Подпрятовскую украли в ночь разгула, Барыковскую облили квасом в ту же ночь и она осипла, как и человек с перепоя, у Брыкинской стали западать лады. Шли и без того бодро, таща в мешках бабьи подарки: разную сносившуюся одежу и кучи немудреной, но сытной деревенской съедобы. Из открытых окон глядели с тоской зтихшие бабы и девки. Когда скрылись под горою уходившие, разом захлопнулись окошки, и безмолвие водворилось в Ворах... Даже, кажется, и петушиного пенья стало меньше.

Шел среди остальных и Гурей, Мишкин брат. Понравился летучим этот новоявленный, робкий и безусый мальчишка. Через Курью проходили, сорвало ветром на мосту картуз с Гурея и бросило в воду. Ветер же раздул черные обстриженные Гуреевы волоса.

— Чорт!—сказал Гурей, Мишкин брат.

— Волосы-т отпустил, в монахи, что ль, готовишься?—пошутил Ода, шедший сбоку.

— В бабы! — досадливо фыркнул Гурей, приглаживая волосы, разбитые ветром.

— Что ж, передеть тебя, так вполне за бабу сойдешь! — одобрительно сказал сзади Васька Рублев.

Юду сразу же странным образом повлекло к женственному юнцу, Гурею.

— Лапти великоньки у тебя. Хочешь, давай вот меняться, у меня новехоньки, — предложил он, показывая Насте щегольской, в сравненьи с лапотным, носок женского своего ботинка, бывшего на нем.—Только каблуки вот я отбил... И придачу возьму самую незначительную!

— А какую? — спросил Гурей.

— Там увидим! Не купец, торговаться не буду...

Через десять минут совсем освоилась Настя с положением Мишкина брата. Она догнала Семена, шедшего впереди всех, рядом с Жибандой.

— А вот и поверили! — посмеялась она.

Только тут увидел Настю без фуражки Семен.

— Волосы-то где же твои?.. — почти испуганно спросил он.

— А обрезала. Давеча еще обрезала. А тебе что, жаль? — Настя резко засмеялась.

— Да пожалуй и жаль... — протянул он. В глубине души он одобрял этот поступок Насти.

## III. Сергей Остифеич орудует.

Подбегают к самым Ворам с той стороны, куда солнце западает на ночь, глухие дикобразные леса. Никогда Воры закатной тихостью не любовались, потому-то вечный в них порыв, мрак, спор. Лес наступал и воевал в этом месте с человеком. Его и рубили прадеды нонешних с гневной неистовостью. Он и горел не однажды, а все стоит, а раны пожогов и порубей восполнялись шустрым молоднячком. Ни разу не видали Воры, что там, в западной стороне...

Набегал молоднячок на непаханные поля, на покосы, как бы дразня, что де нас не перерубить! Впереди бежала березка, а за ней поспешала ель. Так не пропадала ни зола, ни щепа: из праха выбивала жизнь. Лес шагал на Воров. Даже начала и возле самого колодца, что напротив Супоневского палисадника, веселенькая березка леэть. Как ни теребили ее бабы на веники, истово кудрявилась каждую весну, и ни думая, что за дерзость порубит ее какой-нибудь топором.

Выйти за околицу, — с трех сторон протянулась густая полоса лесов. На версту шел каемкой веселый лес, белоствольный, с голосистой птицей и быстрым зверем. А за каймой берез становились неприметней тропы, непроходней чащи, — с самого корня ели в сук шли. Запирал проходы человеку тут угрюмый сторож, темно-синий можжевел. „Какой у нас лес! Сидяга! Цапыга-лес", со злобой говаривал дядя Лаврен, черным словом припечатывая свои сужденья, и казал след от пули, прошедшей на вершок выше щиколки. — В давней молодости, сглупа, вздумал от рекрутчины укрываться в этих лесах Лаврен.

Зверь в этих дебрях водился угрюмый, одинокий, робкий. На дедовской памяти оставалось, как наезжал стрелять лосей в этот лес молодой Свинулин с приятелями. Зимами за Дуплею выл волк. Веснами пропадали коровы, отбившиеся от стада,—думали на медведя мужики. А Попузинские мальчишки, ближние к лесу, каждогодно притаскивали целые выводки лисенят и другую тощую молодь. Лисенятам обрезали уши и, меченых, отпускали назад, остальных силились приручить, но дохли звери и птицы, повядая от лесной тоски.

В той округе и почвы в беспорядке лежали, всякой земли было разложено по всем местам. После больших весенних дождей пестрели лысины, где были, подобно ситцам блеклых сортов. Вдоль Курьи и до самой Мочиловки чернела гнилая земля, вязкая. А где-то, почти рядом, в удивленье ученому человеку, занимали крупные места полупески. Так росли без обиды, в полуверсте друг от друга, и сухая песчанка с колким трескучим стеблем и обжиревшая болотная безымянка с маслянистым, круглым листом. Попадались и камнистые места, а к Каламаевскому лесу прибежали черные и красные глины. Это и заставило Каламаевских промышлять горшечным ремеслом, — селу их названья Гончары.

Глина, — она вязкая, скользкая. На ней поскользнулся один из Свинулиных, правнук Ивана Андреича. Он человек был денежный, доброй души и американского ума, но русской выделки. На бездорожном месте приспичило ему выстроить керамический завод. Тайная цель Свинулина была высокая цель: облагородить великорусское крестьянство, а заодно уж и прилежащую мордву, посредством внедрения изящной посуды в мужиковский обиход. Был выписан заграничный мастер по поливе, немец. Он и наделал изрядные количества цветочных ваз, печных изразцов и огромных блюд, в золотых отливах— ю мнению его самого—не уступавших и старым мавританским. В добавление к серии рукомойников в виде крылатой, плюющейся головы і корчаг, изображавших как бы розаны, но только сумасшедших эазмеров, была изготовлена на какую-то выставку ваза неизвестного іазначения, четыре аршина высоты. На вазе был представлен сюжет ииифологического свойства и столь игривый, что мужики настрого іапретили своим бабам, работавшим на заводе, проходить мимо этой іебывалой Свинулинской выдумки. Впоследствии, когда Свинулин кенился, в вазу эту собирали дождевую воду. Ее разнесло одним осенним заморозком. В отбитом днище пробовала одна домовитая хозяйка огурцы солить, но огурцы получались поганого вкуса и цветом походили на мертвячину.

Мужик Свинулинских изделий не покупал, несмотря на дружеские увещания земского поддержать художественное начинание. Мужик посмеивался, а барин тощал. Тут еще правый заводской флигель сгорел, подожженный в отместку, — рискнул Свинулин жалованье выплатить продуктами производства. Чтоб вылезти из долгов, Свинулин принял большой заказ на помадные банки и на 30 тысяч Наполеонов,—тогда справляли юбилей Отечественной войны. Немец обиделся и уехал. Помадных банок заказчик не принял, потому что умер, поев арбуза. А Наполеоны ни с того, ни с сего потрескались единодушно однажды утром, все 30 тысяч... И уж на заплату этой трещины не хватило у Свинулина рублей...

А ну ее к чорту, нашу русскую растяпость и бессмысленные вихляния ума! Как будто для того лишь голова, чтоб краше распускались на ней удалые, льноподобные кудри... — В революцию завод сгорел, в яму обвалились уродцы, вышедшие из ямы же. Сорное Свинулинское место задернулось соснячком и березками и разным плодовитым, крепким, игластым. И опять стала новина, — какому плугу ее заново поднять? И какой Микула оросит ее кровавым потом, чтоб дала, наконец, плод? И откуда придет он, с востока ли алеющего зарей, с запада ли, отгороженного лесами и окрашенного закатом...

... За Дуплей пошел взводистый лес, темный и замшелый. В нем песчаные холмы чередуются с оврагами, — изрыты темными хитрыми ходами, заселены ночным зверем, барсуком. Тут солнце редко, барсучья держава тут. И о чем шумят вершины ночного леса, ведомо только им.

Люди по-барсучьему устроили свою жизнь. Те же земляные норы, только просторнее, отделаны не барсучьей неразумной лапой, а заступом и топором. Окруженное с двух сторон топями, было это место самым безопасным в том краю. Сюда и пришли люди, выходцы из Воров. Было их не больше сотни, но число их скоро увеличилось вследствие обстоятельства непредвиденного и потому скорбного для уезда.

В уезде знали уже о происшествии, в подробностях рассказанных Васяткой Лызловым. А Васятке Лызлову, самому еле ушедшему от смерти, с гору представлялась и муха, сидевшая на щеке убитого отца.—Поэтому и выходило, что весь почти юго-западный край уезда встал на дыбы и кажет медвежьи когти городу, что у мятежников и пушки, и пулеметы, что даже и дети, и бабы свирепствуют, идя в тесном строю с мужиками, скрипя зубами и неся смерть. Невидимые уста разносили невозможные слухи и про десять тысяч вооруженного мужичья, и про широкие их планы,—даже являлся в них сам пугачевец Кривонос, якобы воскресший ради такого удобного случая покуралесить среди живых. Ясно, что этому не верил никто, но в каждой голове было знание об этом.

Были вывешены соответствующие объявления, а в губернию послано подробнейшее донесение о происшествиях в Воровском округе. Товарищ Брозин, составлявший донесение, сам испортил все дело. В телеграфное донесение ради образности слога вставил он нечто о русской Вандее и о мужицком Бонапарте. Так же указывалось, что молчание губернии будет несмываемым пятном на совместной работе уезда и губернии.

В губернии же посмотрели косо. Председатель губисполкома, сам мужик, при намеке на Бонапарта покачал головой, на Вандею — пожал плечами, а при упоминаньи о пятне даже и засмеялся, вспомнив, что в прежние времена был пятновыводчиком Брозин. В секретном ответе предлагалось справляться собственными средствами, если уж не сумели ладить с мужиками.

Как раз в эту смутную пору, через три дня после прихода Васятки Лызлова, камнем свалился в уезд Сергей Остифеич Половинкин. Спокойный и хмурый, он явился на заседание уездных властей. Там, минуя свою собственную историю и ставя после каждого слова точку, сообщил он, что не о тысячах идет тут речь, а всего о какой-нибудь сотне. Далее товарищ Половинкин предложил дать ему полуроту хотя бы из тех красноармейцев, которые несут гарнизонную службу в уезде. С помощью их надеется он прекратить пожар в самом начале, который, по его словам, не имея за собой никакой политической подоплеки, являет собою только некоторым образом месть за отнятый у села Воры Зинкин луг. Возражение предуисполкома о нецелесообразности этого ввиду полной политической невоспитанности красноармейцев, только что взятых от сохи, не было принято должным образом к сведению.—Так говорилось в протоколе чрезвычайного того заседания.

Но в протоколе не упоминалось про один очень такой хлесткий вопрос, заданный товарищем Брозиным в конце заседания: каким образом удалось товарищу Половинкину уйти из подобных неприятностей в живом виде, если все остальные товарищи честно погибли на месте своего долга. Сергей Остифеич вопрос понял и, подойдя к улыбавшемуся Брозину в упор, раздернул на груди гимнастерку одним рывком. Одна из отлетевших пуговиц ударилась Брозину в щеку, и только тут понял Брозин, отчего, рассказывая, Половинкин дышал так тяжело и как-то странно вихлялся телом. Вся грудь Сергея Остифеича, от подбородка до пупка, представляла собой одну взбухшую синюю рану, расцарапанную какой-то неистовой пятернею в кровь.— После этого Брозин уже молчал.

В самом деле: бывали на памяти у Половинкина жуткие ночи из прошлой войны, когда был фельдфебелем,— ночи, напоенные ужасом, когда и рвала, и кричала, и кусала все кругом одушевленная человеческим безумством сталь. Но страшней сотен их была эта, в которой тихо звенели комары и невнятная зудящая боль подползала к голове, бесила разум. Острей вошло в память, как стоял он голый под деревом и косил глаза на собственный нос, на котором медленно, перебирая лапками, набухал комар. Весь мир со всем, что есть в нем, был заслонен тогда от Половинкина красным комариным пузом. Потом, когда его освободили, он бежал, безумно воя и прискакивая, голый, к Мочиловке, на ходу стирая с себя комаров, облепивших его гладко, как сукно. Тогда еще зарницы совсем опутали небо в горящую порывистую паутину... Здоровью Сергея Остифеича был положен предел в ту ночь. Уже била его знобящая лихорадка, а порой безумьем наливалась голова и грозила разлететься тысячью острых осколков.

Полуроту Половинкину дали, и Брозин остался наедине со своими неутешительными думами. Количество его объявлений на стенах и заборах сильно сократилось, а остававшиеся, размоченные дождем, объел в одну ночь неуловимый задичавший козел местного, уже сдовленного протопопа. Уезд погрузился в мрак, безмолвие и трепетное ожидание какого-то последнего удара.

Тем временем Половинкин вел свою полуроту скорым маршем в моросящую даль. Погода переменилась. Дожди разъели дорогу. Обувь Половинкинского отряда — лапти, разношенные сапоги и даже разномастные женские ботики—годная только для стояния в карауле, пришла в совершенную негодность и только обременяла усталые ноги красноармейцев. Возле Бедряги, тотчас же после перехода железной дороги, начался ропот. От Бедряги до Сускии, восемнадцать верст, шел безмолвный поединок взглядов между людьми и Половинкиным, ехавшим верхом. У Сускии дело разрешилось бескровно и просто.

Суския окружилась рогатками, а на жерди, у картофельного поля, трепалась в мокром ветре того дня черная тряпка, знак бунта, чумы и всякой иной беды. Прежде славилась Суския огромными кон-

скими торгами, баранками и щебяным товаром, теперь одно лишь осталось от прежней славы: на пригорьи Суския стоит. Это последнее и видел Сергей Остифеич, оглядывая Сусаковское место. Кроме того в щелях плетней и по-за-углами увидел он выглядывающих мужиков. Сергей Остифеич понял, что и до Сускии, примкнувшей к Воровскому делу, докатился людской пожар. Это сулило непредвиденные трудности. Сергей Остифеич подергал ус и, приказав людям отдохнуть и закурить, у кого есть, отошел в сторонку.

Дождь остановился. День закатывался позади села, и видно было из-под горы всему Половинкинскому отряду черное, тяжкое пятно Сусаковского храма. По низу облачного, лилово-розового с золотом, неба шли каемкой растяпистые ивы, повыше торчали березы со скворешнями. Превыше всего владычила длинная, тощая колокольня, похожая на Василья Щербу, кто его знал, стоящего в удивлении.

Едва среди отряда закурилось пять самокруток, повеселел отряд, стали приглядываться к селу, на которое через полчаса пойдут цепью.

Один покачал головой, сказав:

— Слиняем мы тута.

Другой прищурился, пыхнул дымком, приложил руку к глазам козырьком и вдруг открыл:

— Товарищи... а ведь на колокольне-то у них пушка!

В самом деле, на колокольне чернело прямое и длинное, направленное, как показалось открывшему это, прямо ему самому в лоб. Поднялось обсуждение назначения длинного предмета, и потому, что человеческие возможности каждого уже исчерпались дорогой, было вынесено, без всякого голосования даже, решение, обратившее в бесславную неудачу весь Половинкинский поход.

Сергей Остифеич, стоявший поодаль, вытащил наган и пробовал стрелять поверх бегущих с поднятыми руками к селу. Но наган запутался в ременном шнурке, а рука тряслась... Кроме того две осечки, третья пуля покачнула желтый кусток дикой рябины, четвертая разбрызгала лужу, остальные были выпущены еще прежним владельцем нагана.

Закусив усы, испуская хрип сквозь сжатые губы, Половинкин бежал назад, к ложбинке, где оставил красноармейца с конем. Тот, молоденький, и черноусый татарчонок, все еще держал под уздцы Половинкинскую лошадь, прядавшую ушами. В бегающих глазах татарчонка светилась виноватая потерянность.

— ... Ну, чорт!.. Небось и ты туда хочешь?..— почти проскрипел Половинкин, подскакивая к коноводу.

— Стреляй!—сказал татарчонок и распахнул ватную куртку свою, одетую прямо на голое тело.—Стреляй, товарища комиссара,—повторил татарчонок и в лице его промелькнула как бы тень табуна невзнузданных коней.—Моя село Саруй на та сторона!..—и честно кивнул на Ускию.

Половинкин отвернулся. Размокшее картофельное поле душно іахло картофельной же ботвой. Сергей Остифеич нагнулся, сорвал пуіавку и растер ее в пальцах.

— Беги... чорт!—сказал он, не глядя на татарчонка, и пихнул его в плечо.

Тот вздрогнул, огляделся и побежал вон из ложбинки, спотыкаясь › гряды и крича что-то на своем языке. Тошнящее, обидное чувство раничащее со слезами, захватило Сергея Остифеича. Грудь болела и пина болела и все болело, — руки отказывались держать поводья. Он ак бил коня, точно хотел ускакать от боли, но боль обвилась вкруг шеи, облегала плотно и неотлучно, как хомут. На четвертой версте от Сускии, возле Мочиловского моста, расхлябанный и скомканный, вдруг остановил коня Сергей Остифеич и задержанное дыханье его прорвалось странным всхлипом. Надоедливо вился над лошадиной шеей комариный рой. Один сел на щеку Половинкина и вот окунул хоботок потную мякоть тела. И снова, как в ту страшную ночь, скосив глаа, выпятив щеку, задерживая дыханье и готовые слезы, глядел Полоинкин, как собственной его кровью наливалась эта малая и беззащитая тварь. Что-то, подобное безумью, уже зудело во всем теле, в руах, в мозгу. Рывком воли Сергей Остифеич воротил себя к яви и тут ожалел со всей силой мужицкого размаха, что не осталось ни одного атрона в железной игрушке, ботавшейся на правом боку.

Приходили сумерки, и опять пометало изморосью. На всей огромой Сусаковской луговине не было никого, кроме него, стоящего середине ее, как ось, и он уже не скрывал слез от самого себя.

... А перебежчикам тащили бабы творог, сметану, душистые ржаные епешки. Какая-то, древняя и беззубая, притащила даже гармонь, оставуюся от сына, убитого в царскую войну. В нее и играли перебежчики всю орогу—шестнадцать верст, до Воров, таща съестные дары Сусаков у себя а спинах.—А непонятный предмет на колокольне оказался лестницей, по оторой лазил отбивать вечерние благовесты Сусаковский понамаренок.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Насте таким и нужен был Семен.

Там, в Зарядье, днем и ночью думала о том, чтó обрушилось аменным дождем на благополучие Секретовского дома. Когда видела памяти своей отца, осунувшегося от напрасных хлопот, над которыми меялись — и Секретов не понимал причин смеха — душила Настю гоечь, туманилось и ненавистью темнело сознанье,—как бы слепнула тогда Іреждевременный и нежеланный, вообще говоря, конец отца странным бразом подсказал Насте, что теперь ей оставалось делать. Но сил для ольшого размаха мести не было. Настина душа тлела чадно и впустую.

Тогда пришло письмо от Семена, посланное им тотчас же по приоде в Воры. „Если уж больно голодно живешь, приезжай, хлеб-то уж

кажный день едим!“ Она вспомнила его, полузабытого среди постоянных хлопот о куске насущного хлеба, и вдруг стала осмысленной вся их юношеская игра в любовь. Город все глубже уходил во мглу. Когда для Насти открылась возможность покинуть Зарядье, Настя не рассуждала долго. Она ехала к Семену, как в полусне. Семен ей представлялся простоватым, широким в плечах удальцом, в чистеньких лапотках, в белой рубахе с красными ластовками,—и, конечно, кудри, кудри вьются по плечам.—Там, среди высокой, шумливой ржи, в огромном просторе полей и неба потемнеют Семеновы глаза от любви к Насте,— чем темней они будут, тем страшней и легче душе. Попросту сказать, Настя ехала затем, чтоб оплодотворить Семена своею ненавистью, насытить его ненавистью до отказа, чтоб взорвался, губя все кругом. Так и мнился ей Семен: распирающим, подобно Самсону, подпорки советского неба. Понятно, к чему стремилась Настя.

Все оказалась совсем не так. Правда, в лаптях был, но пахли лапти совсем не так, как предопределялось мечтами. Его стриженая голова удивила и охладила ее в первую же минуту. Зато слова, которые *говорил он, жгли ее больше, чем те, которые придумала для него*, стоя в теплушке и глядя под откос. Семен угадал все сразу и холодок свой к Насте сохранил до самого конца.

Да и те пространства, на которых рисовались Настиному воображению пламенные, испепеляющие волны мужицкого пожара, совсем не соответствовали действительности. Небо было дичей, чем в мечте, а люди совсем не жаждали ее прихода. У мужиков были свои глаза на происходившие события. Мужику было так: Гусаки отняли Зинкин луг. Гусаки—советские. Одна половина города схватила другую за горло. Мужик выжидал, не рассыплется ли город от всей той сокрушительной штуки в окончательную пыль. Тогда оставшееся пустить огоньком,—то-то дружно крапивы примутся пожженные места обрастать. Прищуренным оком мерил мужик близость того дня, когда запашет его скрипучая соха поганые городские места.

Настя пробовала рассказывать, как ходил Петр Филиппыч продавать последнее, что оставалось в доме, Настину шубку. А Семен с необыкновенной яркостью вспоминал другой страшный, трехцветный день: белый снег, синие околыши казаков, багрово-красную спину своего отца. Явь никогда не подражает снам, Настю обманули ее надежды.

Тогда своим немного косящим взглядом Настя заметила Мишку Жибанду. Семен стал скрытен и подозрителен,—прозвище Барсука, данное ему впоследствии, как нельзя более подходило к нему. Жибанда был устроен по-иному; нутро его имело как бы стеклянную крышку, и Настя видела в нем все, что хотела видеть. Втайне она желала, чтоб именно Семен стал, как Жибанда, и с Жибанды она почти не сводила задумчивого взгляда во все продолженье дня...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Шумлив и хлопотлив был следующий день. На целых две недели растянулось устройство барсуковских землянок, но именно к ночи третьего дня было готово все основное. На уже введенные срубы накатывали кругляк, а сверху укрывали землей и дерном. По Семеновой сметке лес был вырублен не сплошь, — оставляли отдельные деревья. Подходы к землянкам завалили хворостом, он первым подаст весть о приходе чужих гостей. По краям же вдоволь было нарыто волчьих ям.

Барсуками назвали воровских выходцев Сусаковские мужики, пришедшие укрываться в лесах же. И уже облетело прозванье это весь уезд, наравне с известиями о завоевательных намерениях Семена Барсука. Но сами барсуки и не помышляли выходить покуда из своих нор. Хлеба было достаточно, бабьи приношения не оскудевали. Однако вскоре было решено не допускать баб дальше осинового молодняка, где сторожевая землянка. Бабы не то чтоб обиделись, но как-то сами перестали ходить к барсукам.

Самая большая землянка имела две комнаты, — так рассказывали мужики по осени другого года.—Там у них происходили и собранья, а порой и картеж, и пьянство. Там коротали длинные зимние ночи, — называлась зимницей. Уставлена была мебелью со Свинулинской усадьбы и имела окна та зимница...

Это неправда, окон не было, как не было и достаточного количества мебели, чтоб об этом можно было упоминать. Барсуки, правда, ездили на остатки Свинулинского двора, но уже и до них неоднократно посетили мужики Свинулинское пепелище. Барсуки взяли последнее: диванчик с чердака и железо с крыши, пошедшее на поделку дымоходных труб. Диванчик же, крытый атласом, — а по атласу пунцовые линялые завитки, — долго не хотел входить в узкий и грязный проход зимницы. И уже собирался Лука Бегунов пилой смирить дворянскую спесь дивана, да Федор Чигунов спас. Ножки, по его совету, откололи и остатки поставили в зимнице на чурбаках.

Сторожевую поставили там, где луг вдавался клином в лес. Потому, что не нашлось охотников селиться в одиночку, отдали сторожевую Насте.

— Мы тебя, Гурей, навещать будем! — хлопал Настю по спине Ода и дружественно подмигивал.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## VII. Осень.

Укорневзвшись в лесном привольи, как бы в затвор ушли от мира барсуки. Дальше терялась нить жизни их от чужого любопытного взгляда.

В Ворах безвластно стало, бабьим криком вершились дела. Оставшиеся мужики затихли. В молчаньи возили ржаные кресты с полей,

в молчаньи же складывали их по ригам. Уверенности в завтрашнем дне не было, работы лениво шли. Во отогнание духа смятенья и тревоги — посемейно и вскладчину варили самогон, но пили не напиваясь. Хмель еще больше бередил мужиковскую рану. С нетерпеньем и жаждой ждали какого б то ни было конца.

Все же однажды утром, когда надоело ждать, застучали гудливые цепы по звонким гумнам, но недружен был их стук. Хороший умолот не радовал. Дни укорачивались, поздняя осень вступала в права. Среднее поле щетинилось пегим омертвелым жнивьем. В несжатых полосах Пантелея Чмелева с шуршаньем рыскали галки. И неслышно точила их полевая мышь. На Курье зачернели созрелые головы речного тростника. Их клонил вечерний ветер, шумел ими, ломал их, сводя ни к чему работу летнего солнца.

Полыни сереют, а собаки злеют, ожесточаются людские сердца. Гарасим, отпросившийся на жнитво домой, стал бить жену. Так бывало у него каждую осень, и крики Гарасимовой жены уже не будоражили соседей.

— ... третью в гроб вколачиваешь?..— закричал через всю улицу старый Фрол Попов Гарасиму, вышедшему поотдохнуть на крыльцо!

— Мышей не ловит...— сказал Гарасим.— Наше! Мы и бьем, мы и милуем.

— Опосля кнута — завсегда милость,— отвечал Фрол Попов, и еле уловимое одобрение сквозило в его голосе. Ему, одряхлевшему Фролу, познавшему за долгий век свой истинную цену смехам и огорчениям,— ему, ставшему теперь только безмолвным наблюдателем чужих жизней, служили развлечением старости чужие беды.— Что ж! хоронить будешь, выпьем с тобой, вот весело!..

— А ты, старый хрен, помалкивай! — ругнулся Гарасим, и Фрол Попов не обиделся.

... Дергали коноплю у Свинулинской межи и копали картофель за Мавриным овином. Больше руготни было, чем работы. Все обильней наползало туч со всех сторон. От приходящих холодов уползало обессилевшее солнце в Скорпионов знак. Потом стало поливать все это дождем.

Опустели поля от черных и серых птиц. Глина на дорогах стала злее и прилипчивей. Некуда ехать. Воображенье создавало в каждом углу враждебные заставы. Да и незачем ехать: Сусаковские ярманки, где и конь бывало, и пряник, и серп, и рукомойник, и ситец, и дуга,— приурачивались к Покрову. А в этот Покров выйти за околицу — один ветер мечется, обжигаясь о крапивы, не в меру расщетинившиеся по осени.

Опять настала пустословная пора. Тот же репей — слух, цепок к любому разуму. Обронил мимсезжий мужик, будто Гусаки всем миром записались в солдаты, Воров искоренять. Да еще говорили, будто принес весть Фрол Попов, ходивший наниматься на лето в Ускию —

а сам Фрол Попов отрекался — предлагали уездные власти выгоду Бедрягинским мужикам:

— Предоставьте нам самого главного, Семена Барсука. А мы вам земли прирежем.

Бедрягинцы в таких случаях единогласны:

— Дак он вас однех зудит, вы и чешитесь! А нас он не трогает!..

А пастухов подпасок и не такое принес. Месяц назад объявился неизвестного дела человек, в штиблетках. Пришел в Каламаево, что тоже и Рогозино, потому что рогожи ткут, и заказал бабам лапти плесть, длиной в один аршин, да еще с прибавком на обертку. На вопрос одной бабы, кому ж такие надобны, было, якобы, отвечено, что де для собственных его братьев во Христе.

— Да уж что, батко, больно ногасты твои-те... уж не черти ли, грехо́м? — не доверилась баба.

— Нет, — отвечал в штиблетках, давая каждой бабе по серебряной Николаевской полтине. — Через два месяца вернусь, выплачу всем вам золотом пятьдесят шестой пробы. Все заберу, что наплетете. Жарьте, одним словом!

Потом сокрылся из вида. А бабы горы лаптей наплели. Уж четвертый месяц шел, не являлся заказчик. А трудно было отстать от начатого дела. Все липы в округе извели. И хоть издевалась над Каламаевками вся волостная округа, все плели Каламаевки, как безумные, свои несосветимые лапти.

Из этого слуха целый выводок слушонков повелся. Егоровна доподлинно узнала, что лапотную выдумку нарочно подстроила советская власть, чтоб не постились, не молились мужики, а жили бы девки с мужиками по адамову правилу, нагишом. Другие прибавляли, что это сам барин Свинулин ходит под видом бездельного человека в штиблетках и высматривает, кто из мужиков отстроился из господского леса.

Даже спор был по этому поводу, как быть. Собрать ли выкуп барину по пуду с души, чтоб ушел подалее, не морочил бы мужиковских душ, или же решить дело по-иному: поручить подходящему удальцу прикончить этого Свинулина, буде явится за лаптями. а в уплату за службу выдать удальцу вышеуказанные штиблетки; деньги же, если найдутся, отдать на благолепие храма, что во имя Пресвятой Троицы в селе Воры.

Такие слухи ходили по всему уезду, не миновали и Гусаков. Захожий в Гусаки нищий солдат, кривой и молодой, но знающий, пояснил, поедая милостынную похлебку в доме у Василья Щербы, что лапти заказаны для войска, отправленного откуда-то в подкрепленье Барсукам.

— Етот лапоть одевается прямо из валенец, заместо лыжи...— размеренно говорил он, усердно работая ложкой. — В лыже-то по снегам ускользать невпример способней. Зверь, ему разума не дадено,

потому и гибнет, что без лыж. Он в сугроб тонет! Экось, Шебякинте Василий, может слыхивал? Четырех лис этак вот зафрахтовал...

Томленые, вкусные щи, а вслед за ними и каша, быстро исчезали в нищем солдате, а рассказу его все еще не предвиделось конца. Щерба, отец нынешнего Гусаковского председателя, уже отужинав, сидел прямой, как кол, презрительно угадывая наперед все закоулки, по которым обтечет христарадная нищенская выдумка. Впрочем, были у Щербы тяжкие думы. Утром того дня нашли наклеенную на исполкоме записку: „Никто не работай. Нынче ночью придем. Барсуки". Записке этой не особенно поверил Щерба, но все же не мог выгнать тревогу из сердца.

— Вот ты везде ходишь. Вопрос тебе: барсука-те главного не встречал ли?—спросил Щерба нищего, как бы ненароком.

А нищему было только до каши:

— Да как... Сам видишь, левый-то мой глаз какой... Много ли на кривой-те глаз зрения!..

Словно отвечая на свой незаданный вопрос, сказал Щерба:

— Ну, да ничего! Вон она, в уголку. Она выстрожит! — он уверенно кивнул на винтовку, прислоненную в угол койки и печи.

— Много, сказывают, привезено вам таких-то?..—спросил нищий, припрятывая оставшийся кус хлеба за пазуху.

— Чего это?..—вскинулся на нищего Щерба.

— Да этих вон, из чего стреляют-те!

— На Воров хватит! — со злостью похвастался Щерба и тряхнул бородой.

Ночевать остался нищий у Щербы.

...Слух о подкрепленьи Барсукам оброс множеством несуразиц. Было девкам о чем судачить на посиделках в мокрые осенние вечера. Да не до того стало им. Обнищали парнями деревни. Девкам, которые на выданьи, сушила сердце злость. Безнадежно и безвыходно сидели в избе, визгливо голосили весь вечер песни, но звучали похоронно и самые развеселые. Все гармони в леса ушли. Переставали девки того года надеяться на замужество.

— Всех женихов-те перекокошат, шуты зеленые!.. — ворчала Домна, крупная телом, самая красивая и злая в Ворах. — Вот достанется тебе, Праскутка, муж-то без ног. Качай да покачивай культяпки его!..

А Праскутка тянулась змеиным своим телом, заламывая руки над головою, точно звала на себя. Та же, что и здесь, любовная тоска спалила сердце босоногой Марфутки. Лень было Праскутке и лучину новую в светец заправить и косу перевить, тугую, русую, выросшую ни для кого. Кусачие мухи тыркались по копотной избе, жалобно и надоедливо гудя. Как и люди, когда почуют приход последней старости, суетились они зряшной суетой, силясь напугать смерть. Шумел за окном мелкий, бесконечный дождь.

Вдруг Васенка зашикала на поющих девок:

— Постойте... ребята идут! Ой, девушки, к нам идут! — закричала она, обливаясь холодком радости. — Ой, да с ружьями!..

— К нам ли?—лениво привстала Домна.

Девки выискивающе приникли к оконцу, стараясь разобраться в лицах людей, шедших вдоль улицы. В потемках было не разобрать, двадцать их, или сорок.

— Далеко ль, товарищи, гуляете?.. —закричала бойкая Васенка, рывком распахнув окно и выставляясь на дрянную сентябрьскую моросьбу. — Заходите потанцовать. Мы по вам соскучились...

И уже грянули-было девки самую развеселую из всех: „Девки, тише, тише, тише, к нам молодчики идут!“, да несогласный был им ответ с хлюпающей улицы:

— Уж без нас танцуйте, красавицы! По делам идем...

— А чьѐ вы?.. — не унималась Васенка, перегибаясь, как кошка, в тугой своей пояснице.

— Мы заморскиё! — насмешливо ответили с улицы.

— Барсуки куда-те пошли... — сказала Васенка, с досадой захлопывая окно. Она достала из кармашка на переднике завалявшийся леденец и сгрызла его со злым, неумолимым хрустом. — Гоняешься-гоняешься за ними... А и достанется пьянчужка какая-нибудь, винное подметало!..

— Дьяволы! — звучно сказала Домна и, зевнув, положила голову Васенке на колени искаться.

Остальные, менее бойкие, грустно смотрели на этих двух, самых красивых. Пахло кислым. Дождь шумел. Уже не было у девок песен в тот вечер. Опять зашелестели меж них осоловелые, размякшие мухи. Эх, мухи, мухи деревенские! Злей вы, мухи осенние, самых злых вековух!..

## VIII. Первое событие осенней ночи.

Среди явившихся из ночи и в ночь же ушедших по хлюпким грязям был и Семен и Гурей, названный брат Жибанды, и еще двадцать шесть молодцов, понадвинувших картузы да шапки так, что торчали только глаза да усы. Шли без разговоров, мимо девичьей посиделки шли—насупились. Прошли,—и ночь за ними следы примела.

Итти недолго было. Поровнявшись с новехонькой избицей, остановил весь отряд Семен:

— Здесь...

Один из летучих постучал в раму окна прикладом. Ответа не было. Несколько барсуков взошли на крыльцо и сюда же втащили от дождя что-то небольшое и тяжелое. Кто-то ударил сапогом в тяжелую рубленую дверь. Бабий голос из-за двери тихо и не сразу опросил, зачем и кто.

— Гарасима буди! — сказал в дверь Барыков. — Это я, Митрий...

— Встает Гарасим, — ответствовала баба

Вслед затем послышался грохот болтов и задвижек.

Гарасим шорник жил, как в крепости, окруженный высоким тыном. Будучи человеком большой силы и крепкого сна, он смеялся над дневной бедой, ночной же беды, расплошной, побаивался. Войдя в сени, Васька Рублев зажег спичку. Стало видно: каждая тесина, каждое бревно здесь свидетельствовали наглядно о склонности Гарасима к вещам прочным и неколебимым. Поражал своими размерами ушат, перегородивший сени. По стенке удивляло не менее того обилие старой конской упряжи. Жирно пахло дегтем. Больше не дала разглядывать Гарасимова жена:

— Ну, что?.. — спросила она, протирая рукой подбитый глаз и понемногу вытесняя чужих из сеней.

— Скажи Гарасиму-т, чтоб запрягал, — сказал Семен и хотел еще что-то добавить, но дверь внезапно запахнулась и загромыхали разнозвучные засовы. Семен только головой покачал.

Барсуки, рассевшись на ступеньках крыльца, ждали. Уже тлели по темноте угольные светлячки самокруток. Неизвестность ночи возбуждала людей, разговоров не заводили... И уже докурились самокрутки, а Гарасима все не было. Время было дорого, минута по цене равнялась часу.

— Разоспался, чорт...—сказал Семен.— Брыкин, а ну стукни еще, повразумительней!..

Брыкин не успел стукнуть и разу. Беззатейные, рубленые же Гарасимовы ворота распахнулись и, дребезжа железными шинами на выщебененной подворотне, выехал Гарасим. Он соскочил с подводы и одернул яркий свой, длиной до подколенок, дубленый кожан, на котором плоско чернел широкий клин бороды.

— Там еще двух возьмите. Ступай кто-нибудь!..

— Мы уж думали, дядя Гарасим, с бабой завозился ты... — льстиво подсмеялся Егор Брыкин.

— Помолчи, раздолбай... — оборвал того Гарасим, оправляя что-то в подводе.

На трех подводах они выезжали за околицу. Село уже спало. Только в избе, где млело в безмужнем одиночестве Воровское девье, светились окна тусклым желтым светом. Ни одна собака не пролаяла вослед уезжавшим, не встретился ни один живой.

...За околицей их тотчас же охватила непогода. Неистовы осенью ночные поля. Ветер нес скопища водяной пыли, и каждая капля, прежде чем повиснуть на обтрепанной былинке, долго плясала и вверх, и вниз, и в стороны. Люди в подводах затеснились друг к другу, все за исключением Гарасима, вообще мало склонного к какой бы то ни было общительности. Гарасим сидел на краешке, степенно и твердо. Ведя свою подводу переднею, он не махнул кнутом ни разу, не орал на

лошадь, он только цокал еле слышно, по-своему, не то подражая цоканью копыт, не то н..наемому им цыганскому говору.

Мало-по-малу обыкли глаза по темноте, но все еще чудился куст человеком и пугал. Когда въехали в лес, еще больше сгустилась тьма. Мокрые вихры нижних ветвей посыпали проезжающих крупным, холодным дождем. Только непутному променять на такое теплую, сухую печку. Чавкала и брызгалась глина в колеях, но не издала Гарасимова телега ни единого скрипа за весь путь. — Гарасим даже и от сапога требовал долгой, беспорочной службы. Под стать пудовому Гарасимову сапогу была и телега, которую, хоть с горы роняй, не брала никакая случайность. Под стать телеге был и конь. Коня Гарасим понимал, работы ждал втрое, но был с конем ласков по-своему. Может быть, от этой тяжкой ласки и зачахли две его прежних жены? Под стать коню — был и сам Гарасим. Сколотила его жизнь таким, что пронес тройную тяготу мужиковского существования, не сутулясь. Гарасим жил и не старел. Нестареющий, он напоминал собою дуб. Стоят такие, отбившись от всего лесного стада, на опушках и в одиночку сносят и беду, и борьбу, и солнечную радость.

Сидя рядом с ним, вспомнил Семен, как двенадцать лет назад, по той же дороге увозил его Егор Иваныч в жизнь. В том лишь разница, что тогда с перекрестия Отпетовской дороги свернули они влево, а теперь едут прямо. Со сжатыми губами Семен следил за скользящим мимо, сощурив глаза. Ветла в стороне мнилась ему бабой, стоящей в задумчивости, кустки—затаившимся, безымянным, но живым, еле примстно перебегающим поле. Все повторимо: тот же Егор Брыкин трется о его спину костлявой своей спиной. И уже не ропщет он на тесноту, на неуважительность лаптя к лакированному сапожку. Семен снял шапку, и вот уже щекочущая свежесть капельками сбирается по стриженой голове, бежит за ворот его мужицкой полусермяги вишневого сукна. И вот Семену неудобна стала Брыкинская спина:

— Убери спину, Егор...—говорит он тихо и с намеренным упорством, - всю спину ты мне протрешь!

— Да ведь некуда, Семен Савельич,—Брыкин угождающе суетится всем телом.

Но опять едут и опять налегает Егорова спина.

— Подогнать бы кубаря твоего, — говорит Семен Гарасиму. Но тот глядит прямо и молчит, как неживой.—Онемел, что ли?..—вспыхивает Семен и машет на мерина длинным рукавом полусермяги.

— Не серчай, Семен Савельич...—пугливо вскидывается задремавший-было Брыкин.—Приснул маленько...

Мерин пускается вскачь, а Гарасим отводит Семенову руку в сторону:

— Я тебя вот энтаким за уши трепал,—внятно шепчет Гарасим, не отводя глаз от лошадиной спины. И Семен не знает, укор ли это за дерзость, обещанье ли вспомнить давно прошедшие времена. Постепенно и Семеном овладевает дремота.

„... и сила есть, а ответить нет силы, эх! — в сонливом безвольи думает Семен. Он теряет вожжи от мыслей, и те бегут как придется.— Барсуки, зверье... ума нет. Дерево рубят, а корень оставляют на аршин торчать. На корень — воли не хватает. Город, мужики. У себя там картинки вешают, любуются по шестнадцать часов... Мужика забыли. Забыли?.. Школы нужны, книги нужны! А книги... из города?..“ — так напрасно барахтается в тине полусонных мыслей своих Семен.

Бессилье родит злобу. Был бессилен Семен выпутаться из собственной тины.

„...собрать милльон, да с косами, с кольем... Мы, мол, есть! Может, думаете, что нет нас? А мы есть! Мы даем хлеб, кровь, опору. Забыли? Евграф на досуге подсчитывал по календарю: нас если по десять тысяч в сутки крошить, да и приплод всякий воспретить кстати, так поболе тридцати годов понадобится, чтобы всех извести. Забыли?.. Так бей его, неистового Калафата, и дубьем, и бесхлебьем, и заразой. Милльоном скрипучих сох запашем городское место. Пусть хлебушко там колосится и девки глупые свои песни поют. Как муравьи, растащим камни от башни по сторонам. Нас нельзя забыть, нас много. Мы—все. Мы—самая земля. Ведите и нас Калафатовым путем... Коли согласно нам петь, может и не плохая песня выйдет!..“—разволновавшееся сознанье снова умиряет дремота.

„...а город не спит, тысячи глаз на длинных нитках, видят. Вот *и рядом—глаз. Не любит пота нашего, не знает, не понимает* души нашей, чужая...“—уже про Настю, сидящую рядом, думает Семен. Точно ощутив течение Семеновых мыслей, зашевелилась Настя.

— Семен!..—почему-то с виноватостью спрашивает она.—Там, на взгорьи, не Гусаки ли?..

— Ну... а что тебе?

— Да нет, я только так спросила...—шепчет она и отворачивается.

Теперь ехали уже Голиковой пустошью,—высокое место и ветреное, на правом Мочиловском берегу. Дорога поднималась. В белесости левого края неба еле-еле выявились очертанья изб и приземистого храма. Все это искусно пряталось в круглых купах деревьев, в темной пене непогодного неба. То и были Гусаки, крохотная точка новой власти среди необозримых Воровских равнин.

— Гусаки...—вздохнул протяжно Васька Рублев и пошевелился.

Ехали еще три минуты, умножались кусты. Вдруг круглый куст направо от дороги сказал „стой“. Из-за куста вышел человек и подошел к остановившейся подводе.

— Юда?..—тихо спросил Семен, прищуриваясь в темень.—Ну, как?

— Он самый и есь!—деланно отвечал тот.—Оружье у них сложено в подвале у старой попадьи... Они нарочно туда запрятали, чтоб и не подумать. Против исполкома живет...

— А Мишка?..—спросил Семен.—Ты видался с ним?

— Он у Щербы ночует...

— Чего ж смеешься-то?

— Да смешно! Он утром на исполкоме листок наклеил, что придем!

— Зачем?..—нахмурился Семен.

— Да так... для смеху!—Юда удивился, что Семену непонятен такой вид удальства.

Люди вылезали с подвод и собирались вкруг Семена. Тот давал последние указания.

— Ты, Митрий, сядешь с пулеметом в концу улицы...

— Дай, я сяду...—просительно сказал Гурей, брат Жибанды.

— Ладно... ты садись,—мельком согласился Семен, но вдруг с неопределенным чувством взглянул на нее. Глаз ее не было видно. Он взял ее за руку и крепко сдавил, силясь выдавить крик. Рука хрустнула, но Настя промолчала. Обе были почти ненавистны друг другу в ту минуту. Семен отбросил ее руку.—Сигнал, когда уходить, дам зажигалкой. Главное, помните, чтоб напугом взять! Стрелять только вверх... Ну, еще что?..—Он полез за зажигалкой и жестом выразил досаду.—Чорт,—выругался он,—все карманы дырявые. Ладно, по свистку тогда. Расходись.

Люди с лихорадочной поспешностью побежали в сторону села. Очевидно, имелся у них обдуманный план ночного нападения. Только один кто-то, неосторожный, щелкнул затвором винтовки.

Скоро около лошадей, привязанных к растяпой ивке, не осталось никого. Лошади грызли подброшенное сено, быстро увлажняемое тонкой изморосью. Вдруг они вздыбили уши и перестали жевать. В мокрое посвистыванье ветра влился, подобный острому буравчику, настойчивый и тихий свист. Он повторился еще раз, более коротко и глухо.

## IX. Второе событие осенней ночи.

В непогоду крепче спится. Только двое в Гусаках и слышали свист посреди ночи: пегий щенок Тимофеевского дома и сам старый Василий Щерба. Первый был непонятлив, молод и глуп, знал одно: на чужой звук—лаять, на хозяйский—подлизаться, подвильнуть хвостом. Огорчившись свои незнанием, пегий подвыл.

Щерба же быстро, не по-старчески, свесил ноги с печки и протянул руку в угол, где, под кульком, стояла винтовка. Рука нашарила пустое место. Не теряя духа, Щерба пошарил по печке. Ничего там не было, кроме пары старых его, мокрых сапог. Это он сделал вó-время. Нищий, ночевавший на лавке, пошевелился, и вот мрак тесной избы раздался по сторонам. Чиркнула спичка, и свет ее замерцал желтым слепящим кружком. Василий не знал еще о нападеньи, хотя смутные шорохи наполнили ночь. Василий еще не знал, что нищий и есть Жибанда. За кружком света видел Василий одно: вместо нищего сидел на лавке коренастый молодой мужик, и кривой его глаз искал чего-то по стенам не хуже любого зрячего. Винтовка Васильева сына, Гуса-

ковского председателя, ночевавшего в исполкоме ту ночь, лежала возле нищего на лавке.

Все, что происходило потом, происходило решительно и смело. Василий пригнулся и метнул сапог в мерцающий желтый круг. Тот мгновенно померк. Сапог, видимо, попал в цель: нищий охнул, но вслед затем чихнул. Одновременно на улице прозвучал первый выстрел, не гулкий, словно доской хлопнули по воде. Щерба, замахнувшийся вторым сапогом, ждал шорохов с закрытыми глазами: все равно ничего нельзя было видеть в кромешном мраке избы. Больше доверяясь слуху, надеялся Щерба по шорохам угадать действия нищего, но ничего не было. Тут кто-то тихим шарящим движеньем коснулся босой Васильевой ноги. Щерба вскрикнул и ударил сапогом по темноте. И опять удар не пропал, еще раз охнул Жибанда. Но тем крепче и яростней дернул Жибанда Василья за ногу. Щерба отчаянно брыкнулся... Но Щерба был стар, а Жибанда только притворялся немощным.

— Ну-ка, старый... давай сюда сапоги! Всею харю обил... Еще и убьешь невзначай! — говорил Жибанда, стаскивая с койки, подминая под себя Василья и тут же скручивая ему руки назад.

— Не больно крути,—кряхтел Щерба. — Все руки ты мне выломаешь, дьявол!

— А ты не ворчи, папаша, не буянь, не кричи. Твое дело старое, молчаливое. А то и кляп вставлю,—уговаривал Мишка, оставляя связанного на полу и забирая с лавки винтовку.

— ... приехали-те зачем? — Щерба напрасно двигал плечами, неодолимы были крепкие Жибандины узлы.—Барсуки, что ли?

— Барсуки, папаша, барсуки... и волки. Исполком поверять приехали,—утвердительно отвечал Жибанда, щупая подбитый нос.—Кстати уж, и пушки ваши заберем... Ишь, нос-то распух как! Чорт тебя угораздил...—Сказав так, Жибанда зажег спичку, отворил дверь и тотчас наткнулся на бабу. Разбуженная шумом и напуганная, она подслушивала у дверей.

— Эге!—спокойно усмехнулся Мишка и ткнул пальцем в полуголую.—Эге, штука штуке весть подает!—и повторил непристойность.

То была невестка Щербы,—она визгнула и, натыкаясь на стены, заметалась по сенцам. Жибанда уже вышел на крыльцо.

Теперь ночь наполнилась криками и руготней. Кто-то проскакал вдоль улицы, таща за собой на коротких обротях четырех, но, может быть, и больше лошадей. Лошади теснились и фыркали, задирая шеи. В немногих окнах горел свет. Окна исполкома были темны. Все смешалось. Кто-то вдалеке редко и одиночно стрелял. Нельзя было понять, кто нападал. Хлестала изморось по черноте. Мимо пробежала ватага людей, кажется, пятеро. Чавкала под ними грязная растоптанная трава. Они бежали молча, но один из них упирался,—его тащили под руки, и задний тузил упиравшегося в спину.

— ...кто?—окликнули они Жибанду, задерживаясь на минуту.

— Тащите кого?—вместо ответа опросил Жибанда, узнав по голосам своих.

— Пленного взяли... В заложники!—взбудораженно объяснил голос Андрея Подпрятова.—Председатель ихний. Прямо с койки взяли, тепленький!

— Туда, к подводам...—приказал Жибанда, перестав улыбаться и рывком опуская руку.

— Слушаю-с! — и Барыков подпихнул коленом пленного.

Все четверо побежали молча вниз, и нельзя было подумать, что средний не по своей воле так прытко бежит.

Вдруг кто-то налетел на Мишку из темноты:

— ... Щерба тута?—полоумно спросил этот.

— А зачем тебе Щерба?..—неуверенный в том, что узнал Брыкина, Жибанда приблизил лицо, но тот уже исчез.

Тотчас же забыв про это, все еще потирая подбитый нос, Мишка шел вверх по селу. У дома попадьи стояла уже подвода, и вкруг нее копошились барсуки.

— Семен?..—спросил Жибанда.

— Там Семен...—отвечал кто-то.—В подвале, а мы грузим вот...

В выломанные окна поповского дома подавали винтовки, а трое укладывали их в подводу, рядом с патронными ящиками, уже погруженными. Жибанда пришел к самому концу погрузки. Скоро он увидел Семена, всего в поту, вытиравшего пот прямо рукавом рубахи. Сермяга его валялась теперь поверх подводы.

— Взмок...—сказал Семен.—Вот спешка была! Тридцать две винтовки зато. Теперь ехать надо...

— Сейчас встретил, председателя протащили... пленный! — засмеялся Жибанда, но вдруг насторожился.

С верхнего, правого, края села слышался топот многих бегущих.

— Мужики бегут. Это с Выселок прослышали!—вслух догадался Семен и вскочил в подводу, где уже сидели остальные.

— Дело гниль,—сообразил Жибанда, уже на ходу взбираясь в подводу.—Проехать-то успеем мимо них?

Семен не ответил. Лошадь рвала, и телега бултыхалась на неровностях сельской поляны. Семен свистел, давая знак отступленья.—Они уже проскочили значительную часть села, но бег мужиков становился громче. Тут стала видна боковая улица, широкий ее рукав.

Мужики бежали молча, пыхтя и сопя, полуодетые. Передний бежал с банкой горящей смолы, подвязанной на палку. Смоляной огонь слепил. Мужики приближались быстро. Можно стало различить их. Они вооружились тем, что первым попалось на глаза в минуту тревоги. Бежавший сбоку держал высоко над головой поблескивавшую косу. А какой-то шустрый старичонок с большой бородой и в рваных подштаниках, несся почти впереди всех, прискакивая на буграх, и махал кнутом, свистом разрезая темноту.

Именно к нему приковался взгляд Семена,—к старикову кнуту, которым надеялся отбиться от барсуковских цепких лап. Жалость к старику, несущему смерть на ребячьем кнутике, охватила Семена. И именно в эту минуту по мужикам простpокотал пулемет. Это было недолго: как если бы палку вставить в спицы развертевшегося колеса. Семен, уже соскакивая с подводы, видел, как, взмахнув в последний раз кнутом, осел прямо в грязь старичонок,—как кувыркнулся со всего разбега тот, который нес на палке слепительный вихор огня. Горящая смола огненными струпьями растекалась по грязи, грязь сопротивлялась им с шипеньем, огонь стал страшней. Точно боясь перескочить через огневую лужу, мужики остановились. И тогда вторично застучал пулемет, уже не останавливаясь, как в первый раз, уже смертоносней.

— ... Настька, сволочь!—надрывно и хрипло кричал Семен и бежал к пулемету, размахивая Половинкинским наганом, который держал за ствол.—Не стреляй... Зарежу, Настька!!

Не было иного ответа, кроме как отстукиванье пулемета. Подвода с оружием унеслась вниз, а Семен все бежал, задыхаясь криком и сквернословьем, спотыкаясь в грязи, ошалелый от убийства. Распяленные глаза его одного искали: ненавистного Настина лица, по которому ударить.

Вдруг пулемет замолчал. Несколько мгновений, съежившаяся и насторожившаяся, стояла тишина над поверженными во прах Гусаками. И уже приближался Семен к Насте, чтоб свершить свое правосудие, когда настиг его негаданный удар.—Щерба, освобожденный невесткой, с колом в руках тоже бежал к Насте. Когда он услышал бегущего в темени барсука, он поднял кол и ждал. Щерба метил в голову, но мокрый кол свернулся в руке и удар пришелся в плечо Семена. Плечо хрустнуло, а рука с наганом странно опустилась вниз. Семену показалось, что плоскость, по которой он бежал, встала дыбом, отвесной стеной. Удержаться он не мог,—он попробовал схватиться за воздух обессилевшей рукой, но ущемила жестокая боль, и он упал.

Последнее, что видел Семен уже из черноты обморока, была красная лужа смоляного огня. Огонь наклонялся ветром в сторону, терзая угасающее Семеново сознанье.

## X. Третье событие той же ночи.

...Вторым соскочил с подводы Жибанда. Он вспомнил про Настю и теперь бежал назад, на зарево смоляной лужи. Где сидела Настя, он не знал и бежал вслепую. Ветер приносил издалека возбужденный говор, но искажал и смысл, и силу приносимых слов.

Мишка почти споткнулся о Настю. Она сидела на корточках у пулемета, свесив и голову, и руки вниз. Казалось, она замерла, но в руках ее, как разглядел Мишка, была новая пулеметная лента. Мишка тронул ее за плечо.

— Вставай. Бежим скорее...

Она как будто не слышала. Ее зубы мелко стучали, а губы шептали маловнятное.

— Да вставай же,—настойчивей приказал Жибанда, взваливая пулемет на плечо.

В следующую минуту он бежал вниз села, таща полуживую Настю под руку, с пулеметом на плече. Настя не сопротивлялась, утеряв всякое соображение и волю. Но бежала так легко, словно утеряла вместе с волей и вес. Они пробежали сажен тридцать, когда Настя упала руками и лицом в грязь перед собою.

— Сеня...—молитвенно и горько зашептала она.—Душа горит!..—голос ее был низок до неузнаваемости. Казалось, что кто-то другой говорит из Насти, не женщина.—Сеня!—она как будто видела его перед собою.

Только тут вспомнил Мишка про Семена. Он не встретил его, когда бежал вверх,—а может быть, Семена постигла неудача?.. С сомкнутыми зубами, как бы в припадке неумолимой, скрежещущей воли, оставив Настю в грязи, Мишка вбежал в село. И опять цеплялась к ногам черная грязь, опять человеческим голосом стонала непогода. На чем-то круглом Мишка поскользнулся и упал, — то был кол, которым ударил Щерба. Поднявшись, Мишка бежал дальше. Из-под сапог брызгалось. „Здесь!"—сказал он сам себе, весь потный. Он медленно прошел по растоптанной лужайке взад и вперед. Ничего не было, только радужные круги переутомленья обильно заплавали в глазах. Он нагнулся и пощупал что-то, на что наступил ногой. То была старая пулеметная лента, которую он сам выбросил из пулемета, когда бежал вниз... Время шло. Он стиснул зубы и остановился в нерешительности.

И снова Мишкино ухо уловило недружный, множественный топот. Можно было различить, что мчались и на лошадях. Мишка побежал вниз. По дороге он схватил Настю за руку и бешено повлек ее за собой.—Часто останавливаясь, потому что шла без огня, погоня дала возможность этим двум выбежать из села и добраться до кустов, где, Мишка знал, должны были стоять Гарасимовы подводы. Подвод на месте не было. Настя как бы сломалась, указать места подвод она не могла. „Вероятно, там, за поворотом..." — сообразил Мишка и ринулся по прямой, сквозь мокрые кусты, с утроенной силой стиснув Настину руку. Кустам, казалось, не было конца.

— Гара-аси-им!.. — закричал Мишка и свистнул, вложив пальцы в рот.

Кто-то выстрелил наугад, на Мишкин голос, но промахнулся. Непогода откликнулась воем и грохотом. Шум погони приблизился. Отчетливо различимы стали фырканья лошадей и заливчатый лай собачонки. „Вон там..."—соображал Мишка, протискиваясь в кустах, обсыпавших их обоих целыми пригоршнями воды. Он раздвинул по-

следнюю купу кустов и выскочил на круглую полянку, сажень в длину. Назад бежать было уже нельзя,—впереди, в двух шагах, чернел речной обрыв. Ветер подвывал в нем как щенок.

— Уехали, черти!—полным голосом сказал Мишка, подтаскивая Настю на край обрыва.

— Собаки...—прошептала Настя голосом холодным, не своим.

Совсем рядом, — а одна даже высунув морду из кустов, — заливались лаем собаки. Выхода не стало.

— Прыгай, Настя... прыгай, ничего!.. — нежно и властно шепнул Мишка, прижимая Настю к себе. — Там вода, ничего. Это не страшно...

— Боюсь...— прошелестели, может быть, Настины волосы, развеваемые ветром.

— Прыгай! — крикнул Мишка, взмахнув рукой. Голос его прозвучал, как дикое ругательство.

Уже шуршали раздвигаемые и ломаемые лошадьми кусты... Настя, судорожно вздохнув, прыгнула. Протяжно и больно свистнул воздух в ее ушах. Дыханье замкнулось, а тело оцепенело, на мгновенье повиснув в воздухе. Следом за ней прыгнул и Мишка.

Мочиловка, даже разбухшая и шумливая в осенние дожди, как нынче, все же мелка для таких прыжков. Зато изобиловали подобрывные места ямами, крутоярами и баклушами, — в них водилась щука и крутилась вода. Настя упала ногами как раз в такую баклушу. Черная вода сомкнулась, всякое стихло. Второго выстрела, сверху, Настя не слышала. Ее, выброшенную водой наверх, подхватил Мишка.

На берегу, лишенная сознанья и страха опасности, она с немым удивлением глядела вокруг. На противоположном берегу чернел Гусаковский обрыв. А Мишка уже отфыркивался и был весел, отряхиваясь от воды; в темноте улыбались его зубы.

— Побежим теперь, чтоб согреться... А, ну!

— Ты тише,—отвечала Настя, приходя в себя. — Стрелять будут...

— А ну их... — встряхнулся Мишка. — Побежим!

— Куда?..

— Да куда б ни было... пока ноги танцуют!

Бежать в одежде, утяжеленной водой, было нелегко. Трудно повиновались застывшие от холода ноги. Вместе с тем Зинкин луг, по которому бежали, был ровен, как нитка,—ни кочка на нем, ни выбоина.

— Не могу больше...—вдруг сказала Настя, и Мишка, не видя, ощутил жалкую ее улыбку.

— Еще немножко беги... — твердо сказал Мишка. Он решительно и быстро просунул руку к ней за ворот, к спине. Настино тело было влажно и холодно. —До поту беги! Я уж, вон, ровно в бане запарился весь!

— Не могу больше... не бежится уж, — задыхаясь, сказала Настя и бессильно осела на траву.—Ты беги, я тут останусь...

Версты три, по его предположениям, отделяло их теперь от Мочиловского обрыва, от погони. Все еще шел луг, — казалось, что и конца

ему нет. Все кругом было ровно и одинаково: полная темень. Силясь побороть ее, Мишка вглядывался по сторонам.

— Постой... Сено!

То был зарод старого сена, — огромная копна, обветшалая снаружи, а внутри обещавшая пыльные, сухие, душистые слои, куда не проникает непогода. Жибанда с колен принялся разгребать сено руками. Настя догадалась о Мишкиной затее и помогала. Огрубелые сенины кололи и жгли ей руки, — не щадя рук, Настя разрывала слежавшееся сено. Очень медленно выходило в зароде подобие норы.— Она влезла туда первой, а Жибанда уже извнутри заложил проход в нору сеном. Было здесь очень сухо, даже тепло, но мелкая сенная пыль разъедала глаза.

— Грейся, грейся... — шептал Жибанда, взволнованный ее близостью.— Ты грейся, грейся, вали...— бормотал он, не смея шевельнуться и лежа, как пласт.

— Я... на, пощупай, вся мокрая! — глухо пожаловалась Настя, и Мишка угадал, что Настя крупно и сильно вздрогнула.—Что же делать-то?...—она чуть не плакала.

— Ты об меня грейся, ничего...—повторил Жибанда. — Вали об меня, у меня кровь горячая! До войны в пролуби купывался... Вот каб спички не замокли, можно б и костер бы там, на воле...

— Не надо спичек, — чужим голосом сказала Настя.

Он лежал по-прежнему неподвижно, уставясь глазами в черный пахучий свод. Пыль еще держалась и зудила глаза и нос. Снаружи забушевал ветер. В сенной норе было тихо и спокойно. Вдруг Мишка сильно втянул воздух и чихнул.

— Ты разденься! — настойчиво и с раздражением сказала Настя.— Я застыла вся, у меня пальцы на ногах совсем ничего не чувствуют...

— Дак ведь... я ведь не баба! — грубо конфузился Мишка — Неудобно ведь!..

— Все равно... темно, мне не стыдно.

— Дак ведь... как же так?

— Мишка, мне холодно...—она всхлипнула.

— Ничего, не умрешь, жива будешь! — сам не зная чему, захохотал Мишка, зараженный Настиной лихорадкой.

...И уже передавало горячее Мишкино тело свой нестерпимый зной Насте, и уже бурно загорелись Настины щеки и вся вслед затем. Два сердца начинали биться все согласней. Настя жадно брала Мишкино тепло, все меньше становилось разницы в теплоте их тел.

— Вот вы в городу... все такие, — сказал Мишка, горя необычностью минуты.

— А какие?..

— Крови в вас нет, холодные. Вот и Дунька тоже была...

— А-а...—протянула Настя и слегка отодвинулась.

— Чего ж ты?.. Грейся!

— Немку-то свою все... помнишь?

— Жалею Дуньку...—просто и твердо сказал Мишка.

— А меня?..

— Тебя жалеть нечего... Ты сама по себе. — И вдруг прорвался:— Хорошечка моя, ты мне, ну, вот... ровно бы холостая папороть. И цвету в тебе нет, а душу с первого взгляда повлекло.

— Я злая стала! — вдруг с большой искренностью сказала Настя.— Я всех злей, вот какая...—и опять заплакала.—Ты смотри, я себя жалеть не дам, я так скручу, что...

— А ты не пугай меня...—говорил Мишка, гладя Настино лицо. Он прислушался.—Дождь-то, слышишь? — Он нащупал на щеке ее, в ровной горячей коже, крохотную выбоинку. — Что это?.. — мельком спросил он.

— Это от кори осталось... давно. Ты знаешь, я сегодня... не сегодня, а вчера уж... на рассвете журавлей видела. Улетают! — Слезы ее стали спокойней. То были слезы переутомленья.

Так они и проспали до рассвета, в обнимку, как муж и жена. Непогода пела им песни унывные, не венчальные. Сон их был крепок и насыщающ.

## XI. Гусаки повержены во прах.

Так зарождаются неслышанные слухи, небылые были, затейная плесень бабьего ума. Клялась молодка Мавра и пречистую в поруки призывала, что собственными глазами видела нечистого и нечистую его жену.

Когда подъехали к зароду, что оставался у них от прошлого года на Зинкином лугу, увидали: разметано сено, будто носом рылся кто: Мавра и скажи свекровке:—Матушка, мол, а у нас воры были!—Свекровка спорлива была:—Не воры, девушка, а ветром накидало... ночь-то шумлива!

— Ой, баба, воры! — не верила невестка.

— Ветер, я тебе сказываю! — ладила свекровь.

Но едва она успела произнести последнее слово, распахнулся весь зарод на четыре половинки, а из середки и выскочил сам нечистый, покрупней лесного, зеленого, зато без волос, вроде мужика. Тут же за ним и баба его...

—...И не успела я, бабоньки,— сказывала Мавра в кругу баб, обливаясь мурашками воспоминаний,—... не успела ахнуть, ка-ак он мене, бабоньки, за титьку щипане-ет! Так я и села, на чем стояла...

В подтвержденье слов своих казала Мавра родимое пятно пониже правой груди, величиной в двугривенный. А о том, что носила то пятно с самого рожденья, забыла Мавра. Коротка бабья память и на хлеб-соль, и на родимое пятно, и на любовь, и на обещанное слово.

— Скажи-и...—дивилась одна, брюхатая, заправляя волосы под повойник.— Меня б щипанул, тут бы мне и разрешенье!

Тут еще пуще захлебывалась Мавра, как в бреду, вырастая на голову во мненьи баб:

—...ка-ак щипане-ет! Да в телегу! Свекровушку-т как саданет под ребро, где урчит, так она, бедная, и скатилась... задребежжала даже!

— Скажи, задребежжала! — дивился бабий сонм.

— Пупковый?..— выступила вперед черноглазая, промышлявшая отчитываньем сенников и банников, домовых и леших, припечных и горшечных, полуденных и ночных, и всякого иного чина. — Пупок-те был у него?

— А вот уж и не заметила... — растерялась Мавра, поводя округлившимися глазами. — Ведь он ка-ак выскочит, как за титьку... Уж где там в пупок ему смотреть!

— Сенник! Свечу поставь вверх ногой. Да еще хорошо, что не полуденник. В третьем годе защекотал такой-те Изот Иваныча до смерти. А у тебя сенник был! — решительно сказала черноглазая и, поджав губы, пошла вон.

И уже без нее досказывала Мавра:

— ...ка-ак щипане-ет! Я-то присела, а свекровушка мертвенькой прикинулась, чтоб не затронул. А руки назади крестом выставила... Так и угнали подводу! — в этом месте Мавра начинала плакать.

Бабы верили. Настояли даже, чтоб сводила свекровь Мавру к черноглазой отчитывать от сенного бесплодства, а заодно, по дороге, и к попу, зятю Ивана Магнитова, отслужить полмолебен о снятии пятна с неповинной молодки.

Гусаковские мужики хмуро чесали бороды и в безмолвии дивились вредной длине бабьего языка. Дивились, впрочем, со злобой: больше заботило баб Маврино пятно, чем четверо убитых ночью, не считая пропавшего председателя и семерых раненых. Один только Василий Щерба, крепко скрывая в сердце боль по сыне, в сотый раз дивился вслух:

— Уползти он не мог. Как я его колом двинул, индо земля захрустела под ним. Вопрос: куда же ему сокрыться, сучьему сыну?..

— Свои и унесли. Ведь темень, дядя Вася. Ты, как ударил, вперед побежал, — они его тут и захватили... — успокаивал Щербу бровастый племянник. — Вот Федор-те, скажи, пропал! А там темень, по темени ты и не видал!..

— Темень, темень... — наступал Василий и пуще топал ногами на племянника. — Что ж, глаза-те свои в бороде твоей посеял я, что ли?.. Темень! Только на минутку и убежал, ненадолечко, а его уж и нету. Уползти он не мог. Вопрос: где же он?..

Но никому из Гусаков не всходило на ум посмеяться над глупой Маврой, заспорить неудачливого Щербу. Слишком велики были ночные потери и в людях, и в лошадях, и в ином добре. — На похороны при-

ехал товарищ Брозин с двумя Гусаковцами, занимавшими в уезде большие места. Все трое чинно прокурили, сидя за церковной оградой, то время, пока отпевал убитых в сослуженьи тестя косматый поп. Когда зарыли, Брозин сказал речь. Говорил он очень складно, отрубая слова попеременно то правой, то левой рукой, все больше возбуждаясь воем и причитаньями вдов. Гусаки, как ни велика была их преданность новой власти и ненависть к барсукам, не одобрили Брозинской речи.

Впрочем, сам Брозин остался доволен уж тем одним, что выслушали его Гусаки без возражений... Уехал он еще до вечера, увозя в кармане Гусаковскую резолюцию о смытии барсуковского пятна с обще-мужицкого дела.

...Потом потекли очередные дни. Мокрота да скука, скука да мокрота да бездельные потемки. Протерев локотком запотевшее окно, глядели ребятишки, как рябил ветер лужи, — в каждой по клоку неба, похожего на грязную мыльную пену. Стали редки новости, как после-октябрьское солнце. Приходило солнце порой, заходили и новости. Дошли слухи задним числом: фершал Чекмасовский пропал!.. Потом выкрал кто-то сапожника из Бедряги. Пропадали люди, как камешки, скинутые небрежной рукой в большую лужу,—только булькали слухи по ним. Вдруг сразу пятеро печников пропало...

Гусаки крепились в своих чувствах, терпеливо выжидая времени. Иной, во хмелю, подойдя к обрыву, долго и угрюмо глядел в сизую даль, за Зинкин луг, где скитальничают мутные предзимние облака. Длинные ночи пропитались страхом и тоской. Бородатые воспретили девкам петь. Спать ложились рано. Света не зажигали.

...А Мишка с Настей весь тот день проплутали на украденной подводе. Ездили через какие-то мосты, две версты тащились по фашиннику, — наследие хлопотливого барина, строителя керамического завода. Под конец дня очутились в Попузине. Мишку, как и брата его, щедро накормили Попузинцы и оставили ночевать, но не прежде, чем сказались те за барсуков.

Попузино кругом в лесах. Попузинцы печи топят жарко. Настя даже обрадовалась кислой, домовитой духоте избы. Тотчас же после ужина заснули они на полатях, но спали уже со сновиденьями, в которых нелепо сочетались явь бездомной предыдущей ночи с явной нескладицей.

Насте снилось, что венчается с Семеном. Будто Семен самой жизнью дан ей в мужья, нельзя отказаться. Он прям и строг, не глядит в глаза невесте. Она еле побарывает свой страх перед ним. Когда целует он, холодны его губы, как черная вода прошлой ночи. Вдруг кто-то говорит со стороны: „Так ведь он убит!". Настины глаза красны от сна, она выглядывает с полатей. К хозяевам зашла соседка, рассказывает о ком-то, но не о Семене. Настя все еще не понимает и дрожит.

— Миша... Мишка! проснись,—будит она Жибанду, сопящего на высоких нотах.

Тот долго гудит сонливую неразбериху, прежде чем открыть глаза.

— А?.. А?.. Что? Приехали?—и трет слипающиеся глаза.

Но Настя уже не хочет говорить.

— Ты спишь?..—неловко спрашивает она.

— Да-а, сплю...—потягивается Мишка.—А что тебе?

— Да нет, ничего. Спи, спи...

И так всю ночь.

Светало поздно. На рассвете лишь отъезжала их подвода от двора гостеприимного Попузинца. Утро пало солнечное. Тучи раздвинулись, обнажая трепетную зеленцу осеннего неба, и стояли в полном безветрии. Это только по утрам баловалась осень солнышком. Из лесов попахивало прелостью, а черные птицы над полями кричали о зиме. Зато воздух—густой, горький, и не без солонцы—был терпок и приятен, как острый огуречный рассол.

На стоянку барсуков приехали возле обеда,—уже сменилась ветром солнечная пора. Тотчас обступили их расспросами, словно не видались полгода. Ночной поход, кончившийся, как будто, удачей, воодушевил барсуков.

— Надо к Семену пойти,—сказал Мишка Насте.—Сказали, в большой землянке лежит.

— Я не пойду...—решительно и глухо заявила Настя.—Я тебя тут подожду.

— Пойдем! Ты со мной пойдешь. Не бойся, я тебя заслоню!

— Один ступай...

Мишка вместе с другими спустился в землянку.

## XII. Разговор с Семеном.

Жир пылал в плошке, и пламя его стояло прямо, как часовой. В душном воздухе плавала обильная копоть... Когда вошли, пламя заколебалось в нерешительности, но дверь закрыли, и снова замерло, бросая по сторонам огромные тени людей.

В правом углу, на поленьях, находилось соломенное ложе Семена. Из-под шинели торчали неподвижные ноги в сапогах, носками врозь как у мертвого. Возле, положив лицо на руки, дремал Чекмасовский фельдшер, Шебякин. Самым громким в землянке был фитиль в светильнике. Время от времени, как бы наскучив стоять, он яростно кидался трескучими брызгами огня.

— Здорово, Сеня...—бодрым голосом окликнул Мишка, подойдя близко.

— Спит,—остерегающе откликнулся Шебякин, поднимая лицо. Фельдшер был рябой, игра света делала его круглое лицо похожим

на луну. — Спит, — повторил фельдшер,—а всю ночь плохо было. Под утро о бабе спрашивал...

— Он, может, про меня спрашивал?—настоятельно сказал Жибанда.—Какая ж у него?.. Ведь нету!

— А тебя как? Вас ведь ровно собак, по кличкам... — Шебякин посмеялся, но мигом перестал, едва взглянул в каменное лицо Жибанды. Жибанда назвал себя.—Да-да, и тебя поминал, и Мишку...—заторопился Шебякин.

— Так бы сразу и говорил, а то баба...—резко произнес Жибанда и присел на атласный диванчик, уже грязный и прорванный не однажды.

Остальные стояли, хотя и были места сесть: широкие струганые лавки шли по стене зимницы.

— Долго вы тут меня продержите?.. — опять опуская лицо на руки, спросил Шебякин. Мишке не нравилось плутоватое, выщипанное лицо Шебякина, и он не ответил. — А все-таки, неделю или две?.. — снова зашевелился фельдшер, и неожиданно стал подтыкать выбившуюся из-под Семена солому.

— Про что это он?.. — спросил кто-то из стоявших полукругом.

— К бабе хочет... блудовать! — насмешливо отвечал другой.

— Год продержим,—сказал третий.

— Да вы здесь и полгода не продержитесь!—огрызнулся, быстро обернувшись, Шебякин.

— А ты потише, а то зашибу!—с досадой сказал Петька Ад. Сгибаясь в спине, потому что неоднократно уже задевал головой о низкий, бревенчатый потолок зимницы, Петька подошел на цыпочках к столу и поубавил огня в светиле.—Копотно!..— пояснил он, двигая белесыми бровями

Вдоволь помучив Шебякина молчаньем, Жибанда заговорил:

— Ты вот что. Нам этот парень нужен,—он кивнул на Семена.— Ты его нам непременно выправь. Не то чтоб вылечить, он и без тебя встанет... А нам скорее нужно. Скоро подымешь, мы тебе патент выдадим, придворного медика.

— ...проворного?—прикинулся дурачком Шебякин.

— Ты погоди смеяться. А скоренько не вылечишь, сам знаешь — у нас законы лесные, неписаные. Чик, и нет фершала!

— Отмочил, нечего сказать! — дребежжаще залился Шебякин. — Да я тебе в отцы...

— ...и молчи, когда уедешь. Держи собаку на цепи, а язык на семи!—вразумлял неспешно Жибанда. — Спросят, что видел? Отвечай, что глаза-де мои старые. Может, и видели что, да не видели.

Совершенно неожиданно в углу раздался громкий чих. Чихнул Петька Ад и сам же испуганно зашикал, пучась по сторонам.

— Это я от копоти...—пугливо оправдался он.

Как раз в это время здоровая рука Семена шевельнулась. Шебякин приоткрыл Семеново лицо и возвестил, с видом оскорбленного достоинства взирая на Жибанду:

— Проснулся. Разговаривать с опаской...

Семен сразу же, как открыл глаза, стал глядеть в какую-то несуществующую точку с такой пристальностью, что Петька Ад, и без того очень взволнованный близостью раненого товарища, суеверно оглянулся. Барсуки сдвинулись ближе. Семеново осунувшееся лицо не выражало ничего. Губы были плотно сжаты, как бы ссохлись одна с другой.

— Больно небось?..—осторожно начал Мишка.

— Не-ет, прошло...—без выражения, нараспев, ответил Семен и, переведя взгляд на Мишку, глядел ему в лоб, словно припоминал что-то. Мишке сразу стало неловко, и краска нахлынула на его обветренное лицо. Мишка не отвел взгляда. „Догадываешься, что ли?—думал он.—Так прямо говори. Ну, говори!"—Через полминуты ему стало особенно беспокойно.

— А мы искупались тут, ночью-то!—сказал Мишка и осекся.

Семен перевел взгляд со лба на Мишкины зашевелившиеся губы.

— ...сколько ходило нас?—спросил вдруг Семен, оставляя в стороне Мишкино сообщение.

— Двадцать восемь,—доложил, вылупливая глаза, Петька Ад. Он вытянулся так, как не тянулся ни перед одним капитаном в старую войну. Происходило это от усердия, усердие — от жалости,— сердце в Петьке билось доброе.

— ...вернулось?—с неподвижным же лицом допрашивал Семен.

— Двадцать семь воротилось,—еще жалобней доложил Петька.

— А...—сказал Семен и закрыл глаза. Можно бы было принять его за спящего, если бы не двигались пальцы левой, здоровой руки. Пальцы поочередно прижимались к ладони, ведя какой-то свой счет.— Привезли ее?..—спросил Семен.

— Так ведь это Васька Рублев убит...—заспешил объяснить Жибанда, делая Семену намекающие глаза.

— Я про него и спрашиваю... привезли?—не сразу догадался Семен, и еле приметное подобие румянца окрасило его выдавшиеся скулы.

— Ваську? не-ет...—залопотал Петька Ад. Может быть, потому, что был ростом выше всех, почел он именно себя обязанным давать ответы.—Не до Васьки уж, товарищ! Все места заняты, и для живых-то!.. Хлеб везли. Герасим подводы занял... Да и куда ж мертвого везти!..— Петька запинался и потел.

— Это я уж по своему уму решил,—тихо и холодно вступил Герасим, ударяя себя по бедру высоким картузом.—Хлеба пятьдесят пудов, да три коня, два с подводами. Овсеца я еще прихватил, на лошадок. Лошадка, она любит овсеца...

Лицо Семена супилось по мере того, как высчитывал Герасим военную добычу. И уже видели барсуки: Семен имеет право требовать отчета, быть неминуемо грозе. Люди зашептались, заколебалось пламя, быстрей задвигались тени по стене.

— Ты уйди, покеда... подыши чистым воздухом!—шепнул Жибанда Шебякину, который притворялся, что дремал.

— Чужое ухо песком засыпать!..—неожиданно сказал татарчонок из двадцать третьей землянки. Только этими словами и выявил он свое присутствие в зимнице.

— ...конешно, можно и сосновую кору жрать... и другую разную подлятину!—продолжал Гарасим повышенным голосом, когда Шебякин вышел.—На то и барсуки мы... А только, как я поставлен у вас за каптёра, так должен я вас, сто семьдесят ртов, кормить. Да ты меня глазами-то не стращай! Царь каторгой, поп адом... куда ж мне, серому, и деваться тогда!?. Даве каб не лошади, как бы мы тебе фершала привезли?—Гарасим, очевидно, ждал возражений, но тот молчал. Так они глядели друг в друга при сопящем молчаньи остальных. Жибанда, подобрав щепочку с пола, расщеплял ее на мелочь и откидывал в сторону.

— Не серчал бы ты, Семен...—заговорил, но уже новым голосом, Герасим, опуская глаза. Он обмахнул рукой увлажнившийся лоб.— Конешно, воры мы, воры и есть... Не могу против лошадок устоять, страсть моя! Конек, как он кубастенький да аккуратненький, он мне брата дороже, жены, чего хочешь! Мне, Семен, еще по девятому году все вороные снились, весь год снились. Я и задичал с них тогда... Меня конь за версту слышит, и я его чую... не могу не взять, сам суди!..—но уже через минуту, после невольного своего признанья, стало прежним Гарасимово лицо. Мужик спрятался, остался цыган. Снова в глазных впадинах чуждо и непонятно замерцали темные воровские глаза.

Семен опять закрыл глаза, лоб его наморщился.

— Может, тебе водицы дать?—предложил Жибанда.

— Нет, прошло,—и открыл глаза.—А пленные?—через силу спросил он.

— Так ведь какие ж пленные?..—потерянно заулыбался Петька Ад, водя пальцем по растопыренной ладони.—Один-то сбежал, а другой... Уж больно сквернословил он... Не то чтоб матершинил, а все разные такие слова... Ну, Юда и рассердился!..

— Ну?—и опять закрыл глаза.—Варева-то хоть дали ему?..

— А мы его пожгли!..—просто объявил Дмитрий Барыков. Видимо, Барыкову надоело молчать, потому и сказал,—лицо его не выражало ничего иного, кроме как кромешную скуку.

Неистово брызгался огненной слюной светильник, а фитиль набух толстым нагаром. Семен лежал неподвижно и совсем безжизненно.

— Уходите, ребята, от греха... Беды наживешь с вами!—замахал руками Жибанда, скося глаза на Семенову руку, продолжавшую свой непонятный счет.

Те и сами уходили из зимницы, понурые и уже нерадостные военной удаче. Тяжелая дверка, повешенная чуть вкось, шумно захлопнулась за последним.

— Сеня...—внятно позвал Мишка, усердно подымая брови. —Ты смирись, облегчи сердце! Всяко яблоко с кислиной, известно... У меня вот, давно было, тоже случай... рукавицы у товарища стащил. Шитые были, очень приятные. Как-то, понимаешь, рука захотела, сам-то я и не хотел вовсе... Уж я с ними маялся тогда! Ведь мы хода своей души не знаем, оттого и происходит. Так потом в яму и кинул их, жечь будто стали... А этот, председатель-то ихний, ведь ему теперь все равно! Ведь он больше не чувствует!..

Неизвестно, слышал ли Семен хоть слово из Мишкиных увещаний. Мишка даже удержать не успел.—Семен круто приподнялся и смаху уронил себя на сломанное плечо. То было внезапно, как судорога. Только глухой Семенов хрип свидетельствовал о боли.

Жибанда не выбежал, а в прыжок выскочил из зимницы. При выходе наткнулся на Шебякина и такое пообещал ему глазами, что тот сразу ощутил в ногах некую неверность и метнулся в землянку. Жибанда бежал по лесу, мимо землянок, цепляясь ногами за выпученные корневища, за дрова, валявшиеся всюду. Сам не зная—зачем, он искал Настю. Он нашел ее...

Она, разрумяненная и взволнованная, стояла в кругу барсуков, весело скаливших зубы. Против нее, как в поединке, стоял Юда и хитровато гладил себе шею, не сводя с Насти смеющихся глаз. Мишка подбежал в ту минуту, когда Настя длинно и скверно выругалась в ответ на какой-то столь же замысловатый выпад Юды.

— Это что! Это все мелко, а ты покрупней загни! — задорил Юда.

— Как это загнуть?..—как затравленная озиралась Настя.

— Ругнись тоесь... Покрупней ругнись!—и Юда подмигивал длинными своими ресницами.

Тогда Настя выругалась еще страстней, грубым мужским ругательством. Опять громко захохотали обступившие их барсуки, радостные всякому смеху, откуда бы ни происходил.

— А знаешь что, Гурей?—улыбался Юда, когда утих взрыв смеха, и только Тешкин низкий медленный хохот гудел.—Хочешь, я такое тебе загну, что и замолчишь!

— А ну... загни! Сморчковат загибать-то! — храбрилась Настя, но красные пятна на ее щеках предавали ее.

— А вот и загну... Только на ухо тебе, хочешь? — подступал Юда.

— Ну, ну, вали... — и Настя подставляла маленькое свое ухо горящее пожаром стыда.

Юда потер руки, подмигнул барсукам и нарочито грузно налег на Настино плечо.

— А ведь ты баба, я знаю! — шепнул он ей с жарким восхищением похоти.

## XIV. Мишкина любовь и всякое другое.

Были причины Мишке ходить, как буря. Каждую ночь приходил Мишка к Насте,—садился за стол и с самым неопределимым чувством глядел в ее пепельно-смуглое лицо, на котором еще ярче, чем прежде, тлели губы. Видел одно: горела холостая папороть и звала к себе доверчивое сердце Мишки. И он шел к ней, не зная колдовского слова, и каждую ночь сгорал в ее огне,—а утром возникал из пепла,—отдаваясь целиком и ничего не получая взамен, тоскуя над непонятным ему.

— О чем ты молчишь?—неоднократно спрашивал Мишка, когда досказаны были все любовные слова того вечера.—Ну, о чем ты?..

— А ты спроси, я отвечу,—оборонялась Настя.

— Не моя ты...—неуспокоенно ворочался Мишка, готовый и задушить.

— Да уж чего же тебе больше!—намекающе и с холодком смеялась та и глядела, как в печке суетится огонь.

А Мишка не знал, что бывает еще больше того, но знал о кладе. В поисках его торопливыми губами обрывал он огненные цветки Настиной папороти, обжигаясь и обманываясь. А Настя не гнала Мишку, потому что ей нужна была Мишкина сила. Чувство к Семену было Настиным кладом, образ его, созданный самой Настей, наполнял ее ночи,—его одного хотела.

Так каждый вечер, по еле приметной тропке ходил Жибанда в сторожевую землянку и в следах своих не видел Юды. А Юда был ловок и юрок. В Мишкину любовь вплетал он свою поганую игру. Не простое и понятное томленье по чужой и красивой, прикрывшейся именем Гурея, не страсть точили Юду и заставляли ежевечерне прослеживать Жибанду,—толкало непреоборимое стремление и здесь поставить клеймо своей погани. В желаньях своих был настойчив и неумолим Юда, как ребенок.—Когда Жибанда входил в землянку, и брякал запираемый засов, садился Юда на откос землянки и посиживал так, безобидно и терпеливо. Табак весь вышел у барсуков, а был бы табак у Юды, и совсем не плохи были бы ему его вечера, напитанные глухим шелестом непогоды и томительным плачем сов.

Однажды Мишка забыл запереть дверь. Юда вышел из ивняка и посидел немножко на ступеньках, грызя корку полусырого, барсуковской выпечки, хлеба. Месяцу было время, и Юда, пожевывая, глядел, как сочились мертвенные лучи его сквозь густую еловую хвою, раскачиваемую дуновениями непогоды. Потом Юда откусил еще и растворил дверь в землянку. Было в ней жарко до духоты. Не горела ни лучина, ни коптилка, зато ярко, цветисто и минутно играли на сосновых стенах отблески печного огня. Войдя, Юда откусил еще от корки и стоял присматриваясь.

—... чего тебе?—окликнул его Мишка, второпях выскакивая откуда-то из угла.

— Мне-то? Мне ничего...—кротко улыбался Юда.—Шел мимо... Уж больно из трубы у вас выбивает. Пожара б, думаю, не наделали.

Мишка стоял перед Юдой полуодетый и нахмуренный, уставясь в пол.

— Ну, ладно, не наделаем. Ступай!—решил он и коротко махнул рукой.

— Гостя вон гонишь, — добродушно отметил Юда.

— Я тебя не гоню, — сдержанно сказал Мишка, — и ссориться нам нечего. Иди теперь!

— Да уж пойду, коль нелюбен пришелся, — сказал Юда, а сам все стоял на том же месте, изредка поглядывая на волосатую Мишкину грудь, черневшую в расстегнутом вороте. — А ссориться нам нечего, правда. Мы друзья с тобой, тесные, — грубо притворялся пьяным Юда и так, чтоб Мишка видел его притворство. — Мы с тобой хоть и шар земной без шума поделим! Бери, скажу, Миша, правую сторону, а я себя по левой расположу. Ведь человек-то я, ты сам знаешь, сговорчивый, необидчивый...

Жибанда продолжал молчать, а уже становилось ему нестерпимо гадко и унизительно.

— Ступай, ступай... мы с тобой опосле насчет земного шара обсудим! — попробовал пошутить он. — Ведь не пьян же ты, Юда... понимаешь.

— Да я уйду, уж и поговорить не дашь! Забыл ты мою услугу, как я тебя за Аристарха-то выдал. Боялся, что совестно тебе будет!..

— Какого Аристарха?.. — нахмурился Мишка и оглянулся на угол.— Ты, Юда, знай меру словам... не заговаривайся!

—... а насчет земного шара, это действительно, поделим, — продолжал Юда, не обратив внимания на Мишкино замечанье. — Сажай на своей половинке ну хоть там яблочки, а я у себя горох разведу... Так, что ль?

— Так... да, — зло откликнулся Жибанда, уставясь в ненавистный Юдин лоб, как бык.

— Ну-к и ласковой ночи вам! — кивнул Юда и уже поворотился к дверям, берясь за скобку двери. У двери он задержался. — А мне... можно, потом? — спросил он, стоя к Мишке боком и глядя куда-то в сторону.

Мишка ринулся на Юду и, обхватив, махом поднял вверх. Юда ударился головой в низкий накат потолка, похряхтел и промолчал. Но Мишка не кинул его в дверь, как сначала подсказал ему гнев. Он распахнул дверь ногой и легонько вытолкнул Юду в моросящую темноту: осенняя погода переменчива. — Юда ушел без лишнего шума, а Мишка, прислушивавшийся у полупритворенной двери, слышал, как посвистывал тот что-то среди мокрых кустов.

— Э, пускай его...— ответил он на вопросительный взор Насти.— Гнилой парень!..

... Осиливала Настя в любовных поединках, а Мишка стал ощущать пустоту внутри себя. Настины ночи только усиливали его жажду и умножали тоску. Требовала грудь воздуха осеннего, поля, а рука — размаха. И Мишка стал уезжать со своим небольшим отрядом в озорованье по волостям. Кроме того, нужно было доставать провиант на всю летучую ораву.— Об этом скрывали от Семена: Семен противился всяким поборам с мужиков.

Едва он уехал Настя пошла к Семену. Она точно ждала Мишкина отъезда,— то, что скопилось в ней, неудержимо искало выхода. Было время ужина. Дежурный барсук, татарченок из двадцать третьей, пропустил ее, почему-то покачав головой,— она почти вбежала. Шебякин отсутствовал,— ужин он получал из общего котла. В зимнице никого не было. Стены без людских теней выглядели голо и пусто. Настя, пришедшая сюда впервые после Мочиловского обрыва, проворными глазами обежала землянку. Не в правом углу, на соломе, как рассказывал Жибанда, а в левом, на Свинулинском диванчике, полулежал Семен. Успела продраться от барсуковской небрежности обивка, и огрубели под грязью несбыточные атласные цветы. Остановясь у притолки, побарываемая стыдом и неведомым ей доселе чувством любовного страха, Настя глядела в темный угол. Она засмеялась, но смех прозвенел жалобой.

— Вот... навестить тебя пришла! — вызывающе дернулась грудью она, и опять засмеялась, и опять сорвалась.

Семен поднял колени под шинелью, молчал. Мерцал свет, блестели глаза.

— Сеня...— шопотом позвала Настя и стояла в нерешительности.— Сеня, прости меня.— Она быстро перешла зимницу, ища сесть, и, не найдя, опустилась на колени, возле самого диванчика.— Сразу прости меня, без объяснений... ладно? — и дотронулась до его колена, выдавшегося из-под шинели, словно хотела пробудить его молчанье.— У меня нехорошо там...—отвернулась в сторону.

— Сядь вон туда. Вон, на лавку сядь,— сказал Семен.

Она с испуганным, непонимающим лицом отодвинулась и продолжала сидеть на коленях.

— В плече-то болит все?..— спросила она тихо.

— Да нет... вот рука плохо,— сказал и пошевелил коленями.

— Сеня,— помолчав, заговорила Настя.— Ты знаешь, ведь меня Мишка спас. Жутко было... Он меня два раза спас!

— Что теперь, утро или ночь? — с прежней жесткостью в лице спросил он.— Я спал тут...

— Вечер. И ты не знаешь еще всего. Ведь я с Мишкой живу... Вот уж месяц скоро! — был жалостен и хрупок ее голос, и каждое слово звучало вопросом.— А ведь я одного тебя хотела...— искренно

и тихо прибавила она. Слабые пальцы ее огрубевшие, от порезов и работы, комкались в кулак и порывисто распрямлялись.

— Я знаю...—сказал Семен и усмехнулся.

— Откуда знаешь? — дрогнула Настя и придвинулась на коленях. — Юда сказал? Юда—дрянь... Как ему жить не стыдно! Ты ему не верь, не надо!

— Да нет... сам Мишка и сказал.

— Мишка?.. — удивленное лицо ее расплылось догадками. Вдруг она колко и звонко засмеялась: — он спас меня, Мишка. А ты бы вот, наверно, не спас! Вода-то ведь холодная, темная... — она зябко подняла плечи. — Ну, а что ты ему сказал?

— Ты б ушла, Настя. Сама видишь, какая ты... — сказал он, приподымаясь на здоровом локте.

— Не уйду. И я знаю, что́ ты ему сказал, — мельком бросила она. — А я ведь одного тебя хотела! Ты теперь такой, на тебя все смотрят... Ты даже и сам себя не знаешь. Тебя описать, так не поверят!.. Я тебя даже в мыслях поднять не могу... И ты, если захочешь, ты все можешь! Вот ты убил этого... забыла, мне Мишка про него рассказывал. И ты еще можешь, я верю тебе, у тебя лицо такое... И мне все в тебе дорого! — трудно было понять ее волненье: плачет она или смеется.

— Уйди, — с темным, непонятным чувством вставил Семен в торопливую Настину речь. — Ты когда говоришь, мне вот тут спирает... уйди,—он досадным кивком показал себе на больное плечо.

Настя не уходила и не отвечала. Опустив голову, она чертила по деревянному, наслеженному настилу пола резкий угольчатый узор. В углу висел глиняный рукомойник, из него капало в бадью. Звук капели походил на стучанье маятника.

— Ты помнишь...—странным голосом начала она и губы у нее запрыгали.—Ты тогда на крыше стоял, а я подглядывала за тобой из-за занавески. Ужасно боялась, что упадешь... Я ведь тогда не знала тебя, а боялась. Вот и теперь, сердце замирает, глазам больно глядеть на тебя... Ты Катушина помнишь? Он к маме ходил, чуть не всю жизнь ходил, ты знал про это? Придет, сядет у кровати и сидит... Я вот таких не понимаю, и Мишку не понимаю,—как воск делается от одного слова! По-моему, любовь — это когда страшно... Вот точно птица в клюве несет... а вдруг уронит? тогда страшно... — казалось, она бредила на яву, и Семен отвел глаза, точно трусил ее черных глазных впадин.—Вот и ты, не упади, смотри!.. Слушай, ты, когда убивал, тебе было страшно? Было или нет, говори! Как ты его убил?..

— Об этом нельзя...—неопределенно отвечал Семен.—Мы с тобой разные, Настя. У нас не по вашему это делается, мы не каемся. Убит,—значит нужно было!—было заметно, что Семен говорит об этом с трудом.

— Сколько лет с тех пор прошло?..—думая о чем-то своем, спросила она.

— С каких пор?

— А вот, как мы с тобой... на крыше тогда,—у Настина переносья проложилась морщинка заботы.

— Да семь... восемь.

— Восемь,—повторила она и поднялась с колен...

...Во все последующие дни в Настиных движеньях проглядывала тихая сосредоточенность и робость. В отношениях к Семену, которого продолжала навещать, явилась молчаливая наблюдательность, наружно—нежная заботливость. В приходы Насти его лицо делалось серо и неприветливо. Настя приходила прибрать землянку, носила обед, сидела возле—как и Катушин!—но сама сходства этого не замечала. Иногда полускрытая улыбка обегала ее губы. Иногда, напротив, омрачалось вдруг ее смуглое, только что пророзовевшее смущеньем, лицо,—натыкалась память на стремительную страсть Жибанды, который вернется не сегодня-завтра и разбудит ее от ее обманчивого сна.

Это и случилось в один из вечеров, в конец поздней осени. К Семену, в зимницу, собрались барсуки. Жир в черепке пылал ярче и трескучей, чем обычно. Жарко натопленная печь разливала расслабляющую духоту, насыщенную сверх того запахом вчерашней еды, мокрых шинелей и острыми испареньями усталых ног. Весь день прошел в работе: во исполненье Семенова плана усложняли доступы к барсуковскому месту новыми сетями западней и ям. И потому, что пищей у них были лишь капуста, хлеб и вода, употреблявшиеся в изобильи во всяких смесях, ныне, расположась всюду—сидя и лежа, следили они с хмурой мечтательностью за изголодавшимся воображением: о мирном житии, о махорке, о женской ласке, о жирных щах. Дмитрий Барыков, босой и нечесаный, лениво растягивал гармонь, но сипела та как в простуде, и не удавалась песня.

— Брось ты... нехорошо у тебя выходит,—осадил его Гарасим, дожигая накаленным шилом самодельную трубку. Он сидел на корточках возле печки, шипящие струйки дыма шли от его рук.

Барыков пугливо и тупо скосил на того белесые глаза и сунул гармонь под лавку. Опять заступила место тишина, земляная, самая тихая.

— Эха, бычатинки ба,—вздохнул Петька Ад, сидевший с вытянутыми ногами на полу, и кротко зевнул.—Пострелять ба... долгоухого видал даве.

— Из пальца не выстрелишь...—осадил и этого Гарасим:—... а патронов я тебе не дам.

Опять текли минуты скучного, зевотного молчанья. Только шипело в древесине Гарасимово шило, да стучал в стене домовитый древоед. Внезапно—говор и шум за дверью. Люди прислушались. Петька Ад сонно уставился на дверь.—Они вошли чуть не все два-

дцать два сразу, свежих от морозца, отряд Жибанды,—щурились на пламя. Остававшиеся встретили вернувшихся восклицаньями и расспросами. Первым вошел Юда в папахе, заломленной назад.

— Почтение друзьям!—сказал размашисто он, увидел Настю возле Семена и подмигнул своей догадке, опуская глаза.—Как попрыгиваешь, дядя Винтиль?

— Попрыгаешь тут... утопа, а не жизнь,—отвечал с ворчаньем Прохор Стафеев.—Курева-то привез хоть, чорт табашный?

— Курево, папаша, вредно. С него грудь трескается...—он больно похлопал Прохора по плечу.—Не плакуй, папаша, привез, привез! И мясца захватил кстати...

— От! Истинно табашный чорт...—умилился Прохор Юде.

— И спиридончик есть!—подхватил Брыкин, но сообщенью его как-то никто не внял.

— Бедрягинцы пожертвовали...—отвечал Юда на вопросительный взгляд Семена и малыми горстями, точно дразнил, стал высыпать на стол махорку из карманов, из какой-то тряпки, отовсюду, где есть место.—Доброта сердца!..

— То-то, пожертвуешь!—понятливо засмеялся Гарасим, двигая бородой.—Мясо-те вели на кухню отнести...

А уж втаскивали и развязывали укутанные в мягкий хлам бутыли с самогоном. Петька Ад сыпал прибаутками.—Уже через минуту, когда вошел Жибанда, не узнать было зимницы. Колебались тяжкие слои махорочного дыма, даже мешали глазу видеть. Не торопясь ни с мясом, ни с вином, плодами мечтаний мучительно-долгих недель, барсуки наслаждались крепкими затяжками едкого, крупно-зернистого самосада. Гул голосов стал глуше и походил на удовлетворенное урчанье. Всякий из новоприбывших ухитрился найти себе место. Брыкин сидел на вытянутых ногах Петьки Ада, который, лежа прямо на полу, с видом истинного блаженства сосал дым из огромной, по росту ему самому, самокрутки. И чем обильней валил дым и вспыхивала огнем бумага, тем больше соловели золотушные Петькины глаза.

— Ишь, прямо броненосец себе свернул!—сказал Юда, сидевший на чурбаке над самым Петькой, и толкнул Петьку ногой в бок. Но тот не услышал, вытягиваясь в одну прямую вместе со струйкой дыма.—Всю махорку один выкурит!—и опять толкнул.

— Зашелся,—одобрительно откликнулся Гарасим, ссыпая махорку в мешок. Подобье усмешки расправило ему ненадолго жестокие складки, бежавшие от тонкого носа к широкому рту.

Тем временем Жибанда подошел к Насте.

— Что это ты там за белье у себя развесила?—полушутливо и слышно для Семена спросил он, крепко пожимая Семенову руку.—Зашел, а там ровно занавески висят, не пройти...

— Да я тут белье постирала. Сушится,—сухо ответила Настя, и брови, точно под холодным ветерком, набежали одна на дру-

гую. Она неумело скручивала самокрутку себе и пальцы у ней дрожали.

— Так ведь ты недавно мне стирала,—не догадался Мишка, глядя ей на руки.

— Это я ему вот стирала,—небрежно мотнула головой на Семена Настя и отвернулась прикурить к Тешке-летучему. Тешка сидел неподалеку и, дрыгая ногами, хохотал над очередной выходкой Юды.

— А-а...—спокойно протянул Жибанда, разом уясняя смысл всех прежних Настиных недоговоренностей. Понял и о кладе, которого с такой жадной мукой добивался.—Ну-ну, пускай его сушится! Юда,— крикнул он назад,—отвари мясца на закуску... распечатывай угощенье-то!

— Накрали-то много?—пошутил Семен.

— А жрать что станешь, коли не красть, как ты говоришь?..— отшутился Мишка, укрощая в себе внезапную вспышку.—В десяти местах просил—не дают. А стукнул раз, ну и потащили всякого добра... Ты свои рассужденья брось, не время теперь! Про отца слышал?

— Нет, а что отец?—заблестевшими глазами Семен окинул гомонивших барсуков, мешавших слушать.

— Как же, под боком у тебя, а не знаешь!—закуривая говорил Жибанда.—В гору Савель Петрович попер. Не знаю, правда ли, председателем в Ворах нонче, сказывают. Не знаю, как уже и верить... больно уж врунист Бедрягинец тот, что сказывал. Орудует, говорит, ваш Савелий...

— Орудует,—покачал головой Семен.—Надоело, значит, в мужиках-то сидеть! А ты не врешь?—прищурился он вдруг и усмехнулся, показывая, что готов принять и за безвредную шутку нешуточное Мишкино сообщенье.

— Вру, как и мне врали...—уклонился Мишка.—Юда, друг, передай огоньку... опять затухла! И не в том еще дело,—продолжал Жибанда,—вот, видишь?..—он протянул Семену трепаную свою папаху.

— Ну, что ж, вижу. Шапка твоя... старая шапка,—с непонятной враждебностью сказал Семен.

— Шапка-то старая, да дело-то новое. Дырку видишь? Значит сзади было стреляно, свои стреляли... Я головой учуял.

— Сзади,—повторил Семен,—а ты знаешь кто?—и приподнялся на здоровой руке.

— Ты лежи, лежи...—сделала встревоженное лицо Настя.

— Э, ничего ему не будет теперь...—отстранил ее за плечо в сторону Мишка.—Не лезь уж!..

— Ты сам не лезь!—вспыхнула Настя и вдруг поймала острый, наблюдающий сквозь махорочную завесу взгляд Юды.—Смотрит!..— покривилась она и сильно затянулась из папироски.

— Он, что ли, стрелял?—тихо намекнул Семен.

— Да нет, ему не из чего... На Брыкина мне думается. На вершок и промазал-то! Юда без промаха бьет...

— А Воры-то взяты, что ли, были?

— Взяты ли, сами ли сдались... Какая тебе разница?

Тяжко облокотясь на колено, Мишка дымил теперь не меньше Петьки Ада. Волосы на лбу его разлохматились, и слежавшаяся под шапкой прядь с видом обидчивым и детским спадала на бровь. Настя зорко следила за сменой выражений лица у Семена.

— Слушай, Миша...—сказал вдруг Семен очень тихо и очень понятно.—Ты живи с ней, если... Я вам не разлучник!

Настя выслушала Семеново признанье с каменным лицом. Потом она встала и пошла к выходу, высоко неся обострившиеся плечи.

— Разве можно такие вещи говорить?..—взволнованно упрекнул Мишка Семена и пошел вон из землянки.

— Гурèй, а Гурèй! — захохотал вслед Насте Брыкин, с глазами уже обожженными самогонным паром. — Выпила бы с нами за всех пленных, военных и обиженных, а?—и, не смущаясь строгим взглядом Мишки, шепнул что-то на ухо Юде. Тот отпихнул его, но не прежде, чем улыбнулся, презрительно соглашаясь.

Взбудораженные щедрыми пробами самогона, барсуки шумели, а на печке уже закипали котелки с мясом. Потехи ради и во удовлетворение расходившейся погани своей, Юда послал Брыкина за татарченком из двадцать третьей. Тот, поднятый со сна, прибежал весь встрепанный и напуганно оглядывал полупьяных верховодов.

— Эй, Махметка, садись вот сюда. Налить ему! Брыкин, отрежь Махметке мясца! — командовал Юда. — А ну, Махметка, рассказывай—вали про Адама, ну про это вот, как ему бог жену дал!—велел Юда, весело кривясь в пояснице, где бежал кавказский поясок. — Как-то подслушал Юда: татарченок, споря о преимуществах богов, рассказывал бородачам Отлетовцам историю Адамова грехопаденья. И теперь тормошил его Юда, сам весь дрожа, на пьяный посмех барсукам. — Ну, пей сперва, а потом вали... ну!

— Не буду пить... не буду говорить... — отчаянно защищался татарченок.—Зачем зубы скалишь? Твоя вера, моя вера... однàя дорога!..

— Не гоже, не гоже! — подтвердил и Евграф Подпрятов заплетающимся языком.—Зачем тебе на чужого бога лезть? Ты уж козыряй своего, как ты свому-те полный хозяин, а в языке зуд...

— Я жду, Махметка, — пригрозил Юда, меняясь в лице. Зрачки у него стали круглы и малы.—Я ведь тарабанить не буду с тобой!—и опять ломался Юда в пояснице, точно выскочить хотел из кавказского ремешка.

И татарченок, повинуясь Юдиным глазам — а за глазами Юды и всей ораве верховодов стал рассказывать, запинаясь и покрываясь пятнами жгучего стыда, словно преступал величайший наказ отца.

— ... вот. Адама была не ваша... Адама была наша. Адама татарин был! Бог говорит: Адамка, Адамка, ты хароший мужик... вина, свинины... Сен-ии-улан! Я тебе бабу дам, все тебе делать будет. Сама,—и татар-

ченок почмокал с вылупленными от натуги глазами, — сама слаще арбуза! Вот...

— Ба-абу-у?.. Их-хх... — завалив голову на колени к Андрюхе Подпрятову, затрепетал в беззвучном, оскорбительном смехе Тешка. А вслед за ним пошла хохотом и вся остальная. Со стороны казалось: не смех, а что-то гудит, скрипит, сопит и рвется, раздираемое ногами. Смеялся и Евграф Подпрятов, осудительно покачивая головой,—округлилась смешком и Гарасимова бурная борода, — вытирал слезы смеха Прохор Стафеев, — счастливо обнажал крупные, вкось поставленные зубы Петька Ад. Не смеялся только сам Юда.

— А теперь ступай, — сказал он досказавшему все до конца татарченку, полузакрывая глаза. — Ступай, я тебе сказал!

— Да-ай!—сказал татарченок, робко кивая на стол.

— Чего тебе дать?—низал его презрительным взглядом Юда.

— Вино дай...

Оцепенев от обиды, дергал себя за мягкий молодой ус татарченок и глядел поочередно на всех, жалуясь. В его смуглой, нежной глазнице, казавшейся пушистою под изогнутой как лук бровью, повисла слеза. Потом она скатилась на алое пятно стыда, тлевшее на щеке.

— Над чем вы это тут? — спросил вошедший в ту минуту Жибанда.—А-а...—увидел он татарченка и сам долго, грубо и зло хохотал, разливая из бутыли.

## XV. Приходит зима.

Воры сами сдались, по примеру остальных, восставших. Уже в этом было предсказание скорого конца, но все еще волновался в уезде товарищ Брозин, глядя на карту, где красным карандашом была обведена Воровская округа. — Над волостями, примкнувшими к барсукам, реяли тревожные предчувствия. Сперва-то и сжились с ними. Спали с чутким ухом, не загадывая про завтрашнее. Каждый день, не отмеченный выстрелом, считался напрасной оттяжкой немилостивого срока. Догадывались о первом снеге: по первопутку прискрипят сани из уезда, памятен будет на долгие годы мужикам первопуток того года. На барсуков смотрели уже с жалостью, а не с доверием, хоть и видели в них свое, сильное, неразумное и по одному тому уже обреченное. Да и мало просачивалось известий о барсуках в затворенные наглухо от страха мужиковские избы.

От Попузинцев вышел в круговую слух, будто принялись барсуки уголь обжигать, званье им отсюда не Барсуки, а Жоголи. В Сусаковской волости оброс слух как бы бородкой: уголь — в город на продажу возить, набрать уйму денег хотят и уехать в теплые места от скорого советского суда. Семь недель гостевал тот слух по волостям, а все еще не возвращался домой, к досужему Попузинцу. Наконец, воротился, и не признал в нем неразумного своего детища досужий:

жжется уголь для отвода глаз. „Мы-де жоголи, уголь жгем. Мы-де угольная артель, из пропитанья трудимся. А убивали и разные непотребства творили мужики-Воры, их и крошить расправе"...—Вернулся слух таким — после того, как приходил Жибанда выжимать мирскую лепту на барсуковское кормленье.

Тут один даже убеждать порешился, что уж нет вовсе барсуков на прежнем месте: ушли из нор, а на их месте стоят снега, а в снегу елки.

— Проехал я, любезненькие, цельных два раза вдоль Бабашихи-т. Скажи, хоть бы следок зайчиный!

— Пуля! Ведь они на лыже в одну тропочку ездют. Там стоит елиночка, я видал... Она не спроста стоит!—и поднимал указательный перст к носу.

— Дак тропочка-те где ж, мякинная ты голова!? Тропочки-те ведь нету!

— А тропочку метелкой заворошило!..

Шли такие разговоры вполслуха. Где-то в окрестностях, по цельным снегам, бродил Половинкин с отрядом добровольцев-мужиков же Гусаковской волости,—народ бородатый, невоенный, и потому настойчивый. Первоначально не обретали смысла в его гулянья по снегам даже и присяжные догадчицы:

— Вот ходит, вот ходит... Боже милосливый, и чего он ходит? Чего ему в снегах?..

Вдруг явились смыслы: в Суския снова утвердилась советчина. Сказывано, будто сами Сусаки в уезд ходоков спосылали: „Дичаем-де от безвластья. Приходите ворочать нами. Утолите невозможную нашу тоску"... Да и как было не обитать в тревоге: Суския не крепость, не железные дома, не каменные души, мягкие! Половинкин, в метельном поле блуждавшего по бездорожью Сусака встретив, настрого ему приказал: „баловать перестаньте. А иное дело — огнем пущу!". Через неделю, в день приезда уездных комиссий, с видом облегченья вздохнула Суския, тем самым отчеркиваясь от барсуков.

За Сусаками пало Отпетово, а за Отпетовым рухнулись на колени и Гончары. Призрачно было их покаянье: все сильное и молодое имело свое обитание в лесах. Потому приходил ночами Половинкин, искал виновных и судил их быстро, степень виновности прикидывая на глазок. Или назначал общественное порицание, в знак чего уводил корову с лошадью, или не брал ничего, а выводил бунтовщика за околицу, к овражку, где буйней гудела снежная метелка, и там оканчивал глупую повесть о его бедовых днях. Люди у Половинкина были ему самому подстать, крепкие и выдержанные. Перенимает охотник обычай зверя, на которого ходит. Те же барсучьи навыки перенял на себя и Сергей Остифеич. Как и Жибанда, промышлявший хлеб скрытно, удалью и ночным напугом, являлся Половинкин неслышно, барсучьей ступью, по барсучьим же следам.

Так они и бродили, подобные ночным ветрам, не имеющим ни гнезда, ни милосердной угревы. А однажды встретились обе стороны в глухом углу двух лесов. Рассветно алел снег, его разбрызгивали кой-где редкие пули ленивой перестрелки. Нарочно ли в снег стреляли, но ни одна пуля не достигла цели. Похоже, будто встретились два враждебных зверя, обнюхались, тихонько поурчали и разошлись вспять. Все же видел в то утро весь Половинкинский отряд самого атамана Жибанду, как он сиплым голосом приказывал перебежку, и Гурѐя,— как он бежал к пулемету по колено в снегу. Таким и представлялся Гурей мужиковскому воображению: красивый, как девка, весь обмотанный пулеметными лентами, по колено в снегу. Здесь и был источник неиссякаемых сказок в последующее время: „Прозеленятся по весне снежные равнины. По первой зелени и прискачет в подкрепленье барсукам Гуреево войско: белые кони, вострые сабли, отчаянные головы"...

Из десяти поднявшихся волостей семь уже примкнули к Половинкину, — огонек за огоньком вспыхивал в ночи. Гусаки правили всем уездом со всевозможной мужиковской истовостью. Знать недаром пророчил как-то вньяне слепой дед Шафран на заваленке: „вознесутся превыше облак Гусаки и будут землю попирать красными плюснами". Не избежали Шафранова пророчества и Воры: сами сдались.

А уже надвинулась зима. Постепенно удлинялись ночи, заострялись холода. Уже лиховали морозы на бору, и все обильней по утрам валил дым из барсуковских землянок. Восемнадцатого октября, в первый день по ущербе месяца, выпал толстым покровом снег и остался лежать. К обеду потеплело, подтаяли кочки чуть-чуть, тропинками осквернилась девичья белизна снега. Лес стал безрадостный, мокрый. Но уже через две недели, когда впервые вышел Семен из зимницы, был густ воздух того предвечерья, как мороженая вода. Прямо по снегу Семен прошел к опушке. Пока шел—снова стал падать снег. Стоял пенек на опушке, на него и сел Семен. Снежные хлопья падали безветренно на поляну Курьего луга. Казалось, что самые хлопья стоят неподвижно, а все вокруг—и затихший лес со стаями легких синичек, и каждая почернелая травина, просунувшаяся сквозь снег—все это подымается вверх, в сизую, пестрящую глубину неба.

Все время, пока лежал на соломенном ложе болезни, напряженно думал о начатом Семен. А теперь, когда увидел лес, поле, снеговые пространства, с изнеможением ощутил непрочность всего того, о чем надумалось под душным потолком его зимницы. Он вздохнул глубже, и тотчас же резнул жесткий воздух в верхнем, правом углу груди, куда пришелся удар Щербы. „Все не так, а все проще. Вот снег идет, и стоит дерево. Гусаки отняли покосы, а Воры не хотят. А вот на снегу—тетеревиных крыл след, а по нему четкий след лисы: лиса шла за тетеревом, так рассказывает снег... Просто". Все, порожденное горячностью усталого ума, все это рвалось теперь как бумажное кру-

жево на ветру.—Семен снял шапку и сидел так. Снег рябил в глазах. „Где и думать об удачах! Егоры Брыкины да Герасимы, Юда да Петька Ад. А Жибанда—вихрь, бесплодный и неосмысленный, как гроза, как боровик—вырос на дороге и не знает, который растопчет его сапог. А зародится Пантелей Чмелев,—коли не убьют его раньше времени, вытянет город его к себе. Заумнеет Чмелевский сын, познает толк черному и белому, в ученой спеси своей забудет голопузых и темных родичей. Будет Чмелевский сын искать короткую дорогу к звездам, а родичи ковырять кривыми сохами нищую землю, а в пустопорожнее время—варить тугую пьяную отраву да каторжные песни петь. Эх, то лишь к нам и проберется, что с топором!“—так думала за Семена его болезнь и усталость.

Синички прыгали над самой Семеновой головой, осыпали снег с ветвей. Он пошел домой. Клейкий снег валил хлопьями, облеплял сапоги, утяжелял шаг. Вечерело. А в голове шумело, как в похмельи.

## XVI. Навещанье матери.

Все тянуло Семена в Воры, да не пускал обжившийся Шебякин, грозил бедой.

— Что ж ты меня ровно дворовую на привязи держишь?—хмуро шутил Семен.

— Ничего, товарищш,—заслонялся ручкой Шебякин.—Меня приятель твой застращал, что жизни решит, коли я тебя не выправлю... А у меня полна изба пискля́т, да отец еще жив... одиннадцать ртов! Не пущу. Кусай меня куды хочешь, а не пущу. Дай суставу срастись,—добавлял строго.

А дни шли. В тот же день, когда повез татарчонок фельдшера в Чекмасово, порешил Семен итти.

— Не ходил бы,—намекал сумрачно Жибанда.—Рано... желтый весь.

Семен не отвечал, собирался: пробовал затвор винтовки, одевал лапти, клал в карман ту самую гранату, что висела когда-то на поясе у Половинкина, брал Половинкинский же наган.—Отемнело сизое небо, когда вышел Семен в путь, видом своим походя на обычного для тех времен воина-лапотника: драная шинель, шитая наспех и насмех, винтовка без штыка, облезлая папаха, и шел с голодной ленцой.—Воры объявились ему не сразу. Затаясь, в потемках, они, казалось, сотнями зорких глаз следили со снежного бугра за каждым его шагом. Даже как будто шептали: „а-а, ты перешагнул жердину, упавшую от Барыковской остожины... а-а, ты перешел мосток!.. а-а, ты смотришь в нас!“.

Прислонясь к оснеженным перилам мостка, Семен испытующе глядел в село. Вот так же подглядывал когда-то, отсюда же, и Половинкин. Снежная улица была пуста, как вымершая. Баба прошла за водой. Колодезный рычаг с вороной, сидевшей наверху его, четко чер-

нел на сизом небе. Рычаг наклонился и заскрипел, а ворона слетела, направляясь вдоль села. — Мальчик тащил вверх, на село, каталку — решето, обмазанное навозом и политое водой. У горелого исполкомского места он сел в каталку и, гулко вертясь, покатился вниз, и никто из других мальчиков не мешал ему в этом. Мальчик вскрикивал от удовольствия, — и деревья, и избы, и снег, и воздух, все со свистом кружилось вокруг его одного. На подкате к мосту он увидел солдата над собой, пугливо выскочил из решета и собирался удрать.

— Ты не беги, оголец, — сказал солдат, беря его за плечо. — Я тебя не съем. Ты здешний?

— Здешний, — осторожно отвечал тот, глядя то на конец винтовки, торчавшей из-за солдатова плеча, то на отдувшийся карман солдатовой шинели.

— Кто у вас председатель-то теперь? — допрашивал солдат.

— Папанька! — ответил мальчик и своенравно подергал решето за веревку.—А ты кто?

— Из Гусаков вот иду, с приказом. Тебя как звать-то?

— Из Гусаков, так не с той стороны, — подозрительно сообразил мальчик и показал на другой конец села,

— Да я плутал тут, дорога-т малоизвестна.

— У нас чай пить будешь? Папанька гостя ждет... Ты приходи.

— Приду, приду... — вглядывался в сумерки села Семен.

— А коньки умеешь делать? — не отставал мальчик и шел за солдатом. — А что у тебя в кармане, покажи!

Пришлось итти задворками, чтоб отвязаться от мальца. Никто Семену не встретился, только какая-то девочка в опорках прошлепала мимо него к соседке за огоньком. — Сильней защемило в плече от ускоренного дыханья, когда всходил на крыльцо. Снег лежал на лавках, и по нему — явственные следы птичьих ног. В сенях постоял и прислушался. В ушах звенело, а показалось, будто слышит Савельев смех. Вдруг у соседей закричал петух, и был отраден Семену его сиплый, настойчивый крик. Семен вошел. Мать сидела на лавке с видом нудного и безучастного ожидания кого-то, ужасающе неряшливая, но было чисто прибрано все в избе. На сына, отряхивавшего снег с лаптей, Анисья взглянула равнодушно и опять тупо уставилась в выметенный пол.

— Что ж ты грязная какая... — удивился Семен и глядел, пораженный чернотой нечесаных материных волос, в них не было ни сединки. Никогда до того не видел матери без повойника или платка. Уже снимая с плеча винтовку и приставляя к столу, все перебирал в уме, не к празднику ли готовилась, но вот устала и села отдохнуть. Праздников не выходило. Тут он опять поймал туповато-наблюдающий взгляд матери.

— Отец-то вышел, что ли? — спросил Семен, борясь со смутной тревогой.

— К вечному блаженству, говорю, отошел отец... — заученно сказала мать, точно за минуту перед тем говорила кому-нибудь об этом же. Она поднялась, переставила с места на место две пустых махотки на шестке и опять села, сурово поджимая губы.

— Ждешь, что ли, кого? — спросил Семен и тут заметил, что стал соображать гораздо медленней.

— Обещал и за мной прислать, Гусак-те, — сказала мать. — Неделю цельную и сижу вот.

— Та-ак, — протянул Семен и понял, что уже гораздо больше недели. — Что ж, и коровенку забрали? — меняясь в голосе и лице спросил он.

— Взяли. Просила, хоть жеребеночка-т оставьте. Сиди, сиди, говорит, скоро и за тобой пришлю...

— А... вот какой оборот!.. — слушал Семен и тер заболевшую шею. Он старался не глядеть на мать, не плачущую, зачерствевшую от недельного ожиданья. А воля злобилась, и бессмысленнейшие сочетанья с дневной яркостью представали Семенову воображенью.

Семен ел черный хлеб, предложенный матерью, и запивал водой, догадываясь с насильственной внутренней усмешкой, что это и есть помины по его нескладном отце. После еды Семен прилег на лавке и лежал, вытянув ноги, запрокинув голову на доски. К нему подсела мать.

— Я-то местечко во ржи припасла... хлебца там спрятала. Они придут, а я и убегу. Рожь-те шуми-ит!..—она говорила тихо-тихо, не видя устрашенных глаз сына. — ...все лежал, твой-те, мухи его ели! — сказывала Анисья.

— Ты, мать, заговариваться стала!—грубо вскричал Семен и вскочил с лавки как ударенный. — Какие ж мухи зимой? Где ж это рожь в декабре шумит? Что ты забалтываешься!..

Крик Семена отрезвил мать. Теперь она плакала, без слез, с открытыми неподвижными глазами, и, рассказывая, глядела в окно, затянутое сумерками. Даже пробовала оправить разметавшиеся черные космы непослушной рукой. А Семен глядел, не отрываясь, на ее корявые, неразгибающиеся пальцы. — И вот так же, как рассказывала о последних минутах отца, постепенно бессилея от воспоминаний, так и заснула, положив голову на стол. Семен бережно, чтоб не потревожить нечаянного сна, перенес ее на койку, а сам, не решаясь именно теперь покинуть мать, запер двери и прилег на лавку. Винтовку он приставил к столу.

Как ни закрывал глаза, не удавался сон. Мотались в голове дикие и гулкие образы, как камешки в погремушке,—представлялся отец: стоит у ямы и, смешно вихляясь, все убеждает соседей по смерти, Барыкова и Сигнибедова, что все это никакого влияния не оказывает, что и там, в поповском где-то, люди живут... Потом происходила обычная сонная сумятица, расщеплялся сон, вклеивались в него клинья новых. Сон — боль уставшей головы. Когда среди ночи раздался стук

в окно, Семен вскочил первым и прислушался. Дрожащий бабий голос с улицы звал Анисью. Остальных бабиных слов было не разобрать из-за зимней рамы. Он окрикнул мать, та проснулась и сразу, точно и не спала, покорно пошла в сени.

— Не сразу отпирай... опроси сперва,—шептал в ухо ей Семен, а та слушала спокойно, даже не кивнула, что поняла, уверенная, что пришли за ней самой.

Семен прислушивался и угадывал по звукам: мать отперла дверь, и в щель просунулись штыки. Мать вскрикнула, взошли люди.—Семен быстро запер дверь избы на засов и огляделся, ища. Скользнула мысль—бросить в сени гранату, но там была мать. Ищущий взгляд его упал на окно, и вот выход был найден.

Сильными ударами винтовочного приклада он выбивал рамы из окна. Рамы были старые, дубовые—затея домовитого Савелья, когда еще не отпробованы были царские розги. Летели осколки, и уже всходил бодрящий холод в разбитые стекла,—блестела звездами морозная ночь. Под окнами различил Семен людские тени и тихие переговоры их. „Живьем взять хотят...“ — понял Семен и последним ударом, зло усмехаясь, выбил расщепленные остатки рамы.

— Сенюшка... так ведь под окном они!—различил он прерывистый шопот матери из-за двери. И вот Семену стеснило в груди, едва вспомнил ее сведенные, сухие пальцы.

— Прощай, мамаша!—отчаянно крикнул он и выбросил за окно все тряпье, какое нашлось на койке, завернутое в шинель.

Под окном, среди людей, разом раздались восклицания, и все скрывавшееся за окном с неистовой поспешностью навалилось на Семенову приманку. В средину той живой кучи метнул Семен гранату и разрядил наган. Почти тотчас же он выскочил из окна и побежал. Его спасли глубокие сугробы, молодые ноги и ночь. Два выстрела не достигли его, а погоню было некому устраивать.—Лишь за пределом опасности, когда от бега зашлось сердце, он сел прямо на снег и так сидел, трудно дыша и обводя глазами ночное поле. Мягко мерцали звездным светом снега. Где-то за Дуплёю—волчий лай. Семен все сидел, прислушиваясь к себе самому, к совершавшемуся внутри его перерожденью. Все прежние помыслы о крестовой войне с городом были отринуты. Здесь родился другой Семен, — именно тот Семен Барсук, о котором впоследствии сами собой сложились песни и распевались на ярмарках, на пьяных гулянках, всюду, где поется мужику.

## XVII. Егор Иваныч Брыкин выдает свой секрет.

В том и состояло перерождение Семена, что уже не сдерживала его прежняя осторожность. Как волки, заметались по уезду барсуки. Описывали круги, имея целью и центром советское село Гусаки. Четыре раза суживались круги, и четыре раза загорались Гусаков-

ские овины, — отстаивали. И уже не обходилось без кровопития каждый раз.

Передавались изустно слова, якобы сказанные старшим барсуком: „мы председателей в уезде повыведем". Может, и неправда, но три раза до весны безлюдели в округе исполкомы. Выявлялся новый председатель, не больше дней сидел он в нетопленом, запустевшем исполкоме, — срок, в который дотянуться до него невидимой руке Семена Барсука. Под конец унылей, чем на мирскую повинность, смотрели Гусаки на возможность править каким-нибудь из сел той незамиренной округи. Даже выдумал новую угрозу Половинкин непослушным: „вот я тебя председателем в Сускию посажу!".

Отряд Половинкина вырос неузнаваемо, но возрос в неодолимую ораву и Барсуковский отряд, путеводимый теперь самим Семеном. Даже и крутые морозы—лопался лед на Мочиловке—не могли остановить враждующих в их безумных круженьях по снегам. Но встречи их редко оканчивались боем: как будто слишком мал был для их обоюдной ненависти разбег. — Почти вся Барсучья держава жила теперь на походе. В землянках оставалось лишь старичье да болящая команда, возглавляемые Прохором Стафеевым. Кашеварами называла их летучая часть, и те не обижались. Жибанда имел свой отдельный отряд, встречались они с Семеном только дома. То была неправда, к слову сказать, будто председателей убивали. Председателей копили, как деньги, на последний расчет.

А уже февраля бежали резвые дни, запорошенные мокрым снегом.—Все реже смягчала улыбка обострившиеся Семеновы черты, все чаще ходил на опушку сидеть на облюбованном пеньке и угадывать дыханье недалекой весны. Весна означала последнюю ставку, весна сулила исход и оценку всех его предположений и расчетов. — В том же феврале и сообщил Жибанда ему, вернувшемуся из похода, новость, повергнувшую Семена в ярость, тревогу и гнев.

— А Брыкин-то хорош твой! — сказал Жибанда, отворачивая лицо в сторону и подымая бровь. Мишка был чуть только пьян, но лицо его, непокорное ему, беспорядочней и бурней отражало Мишкины настроения и, среди них, неутолимое хотенье какого-то последнего разгула.

Дул мокрый ветер, прояснялось небо,—обещал месяц быть в ту ночь.

— Опять в шапку стрелял?—посмеялся Семен.—Гниль завелась?

— Гниль-то гниль, зубоскаль пожалуй! Копилка сбежала!—„Копилкой" и называли ту землянку, где содержались плененные председатели.

— А дозорным кто у дороги стоял?—и кровь прихлынула к Семенову лицу.

— Васька Пекин стоял... Только ведь они не по дороге пошли. Прямо снегом!

— Лыжи-то откуда же взяли?..—недоверчиво косился Семен, ускоряя шаг к землянкам.

— У Митьки Барыкова Брыкин брал, будто я велел. А я не велел. Тут еще из Сускии наезжал один, много на Брыкина сказывал.

— Ты куда ж посадил-то его?.. я к нему схожу,—решил Семен.

— Кого это?

— Да Брыкина.

— Вот не понятливый! Да Брыкин и ушел вместе с ними. Только один и остался... ну, вот с отмороженной ногой который!

Они входили в зимницу, захолодавшую и засыревшую за время Семенова отсутствия.

— Затопи, друг, печурку, а?—попросил Семен, проходя к диванчику и валясь на него пластом.

— Можно,—отвечал Мишка и завозился на коленях у печки. Скоро затрещало в ней, усердно раздуваемое Мишкой, и озарились красным светом надутые Мишкины щеки.—Друзьишки, нечего сказать,—говорил Мишка подкидывая в печку дровяной горючий сор,—прямо на голову гадят! Заочно придется Брыкина твоего судить, в острастку; не иначе, как по Половинкинскому приказу гадил. Гниль парень!

— Что Брыкин! Вот и приятель твой намедни пришел ко мне. Клад, говорит, нашел: баба средь нас. Хочешь, спрашивает, приведу? Бери, а то расхватают!

— Юда?—поднял голову Мишка.

— Юда.

Печка трещала во всю. Мишка сел в ногах у Семена.

— Семен...—странно было слышать пьяного, говорящего в таком тоне.—Отымешь ты у меня Настюшку?.. Говори прямо, я не боюсь.

Семен не ответил, потому что дверь раскрылась, ударенная снаружи, может быть, тремя сапогами враз, и несколько барсуков проскочило в зимницу. Сильные руки втолкнули во внутрь что-то людское, подобие человека, кучу. Озлобленный и глухой галдеж сопровождал происшествие.

— Входи, входи...—крикнул Семен, отстраняясь от Мишки, и голос его был деланно тверд. Сам он подошел к столу и стал зажигать светильник. Фитиль отсырел. Спичка уже жгла пальцы, а огонь все не зажигался. Он положил остаток спички на фитиль, и тот затеплился чадно, скудно и желто.—Дверь-то закройте, все тепло упустите!

— Ты что?..—подошел Мишка со стороны.—Случилось, что ль, что?

— Нет, ничего... а что тебе?—Семен оскорбительно обмерил Мишку, но тот заметил, несмотря на хмель, как зарделись Семеновы уши.—Ты, что ль, Егор Иваныч?—наклонился Семен к сидевшему на полу.—Поди, зови, Миша, ребят!—и опять наклонился над Брыкиным.—Судить тебя, Егор Иваныч, будем. Сам знаешь, в лесу, без стен живем...—и уже вторично, уходя, учуял Мишка в Семеновых словах еле приметное волненье.

То были как бы остатки от Брыкина. Его ударили всего один раз, покуда волокли в зимницу, об этом говорил подбитый глаз, но он сам уже разваливался, как зрелый по осени плод.—Егорова душа разлагалась заживо, и сам Брыкин созрел к смерти.—Светильник потрещал и потух, робкое пламя не справлялось с водой, капельками стоявшей по застывшей поверхности жира. Больше светильника и не зажигали, довольствуясь неспокойным красным светом из печки.

...Зимница была втесную набита барсуками. Все стояли, потому что не было места сесть.

— Ну, зеленые атаманы, начнем теперь...—сказал Семен, а Мишка видел с удивлением: никогда доселе не делал такого неискреннего обращенья Семен, никогда так не заискивал в смехе барсуков. Только Петька Ад, стоявший впереди, хмыкнул, подражая смеху, и тотчас же оглянулся на других.

— В писании сказано: если рука заболит, руку и отруби...—тихо сказал откуда-то из угла Юда, награжденный тотчас же общим смехом.

И последний раз подошел Мишка к Семену:

— Может, прямо разменять его, а? О чем допрашивать, дело ясное!—но уже видел: лошадь понесла, разбивая таратайку на бездорожьи. Губы Семена раздвинулись, обнажая влажный оскал зубов, зрачки расплылись. Мишка стоял в ожиданьи ответа, хмель его, казалось, прошел весь.

— Где его нашли?.. - резко и звучно крикнул Семен, оставаясь в тени.

— А вот Подпрятов нашел,—пальнул Петька Ад.

— Подпрятов!—вызвал Семен.

— Он до ветру побежал...—сообщил Юда, и все засмеялись.— Иди, тебя начальник кличет?—потопал Юда на входящего Подпрятова, и опять смех.

— Ты где его нашел?—начал с нарочным безразличием Семен.

— Брыкина-т?—скосил глаза на сидевшего на полу с закрытыми глазами Подпрятов Андрей.—Вышел я до ветру...

— Да с чего ж это ты все до ветру ходишь? Больной, что ли?— вставил унизительно для себя Семен, и, точно по сговору, барсуки ответили молчаньем на Семенову шутку.

— ...вышел до ветру, гляжу—чернота в снегу, за кустком,—продолжал Подпрятов, недовольный, что его прервали.—Подошел, человек. Я его тут пихнул ногой маленько, он тут и отвалился. Лежит— и все. Я взглянул, а это он и есть. Конечно, вонь тут от него...

— Вот, ребята...—начал Семен, держа бороду рукой.

— Земляки!—быстро прервал его Мишка Жибанда.—Может, нам его и без суда кончать?.. Кому суд, а кого и прямо на сук. Полевым судом его, а?

— Зачем! Обсудить надо,—сказал, сопя, Ефим Супонев.—Не горим ведь!

— Вот я и хочу сказать...—овладел вниманьем барсуков Семен.— Брыкин предатель, за то его и судим. А я предложил бы ему снисхожденье дать, раз он не бежал...—говоря, Семен старался поймать блуждавший теперь взгляд самого Егора.

— Ну, это уж совет зеленых атаманов порешит, — неуловимо дразня Семена, сказал Юда.

— Конешно, чего тама? — сказал бородач в углу.

— Миром! — сказал Прохор Стафеев.

— Не спеша, ребятки, надоть... не спеша! — егозливо выступил приятель бородача и зачем-то поплевал на руки.

— Допрос, значит, можно начинать, товарищи?—спросил Мишка.

— Да уж путлять нечего. Не ужинали еще,—сказал угрюмо Гарасим, и как только он сказал, все хором вздохнули.

— Начинай,—сказал Семен, а все сразу поняли, что и без Семенова позволенья все равно начался бы допрос.

Жибанда нагнулся к Брыкину и шевельнул его за плечо.

— Ну, встань,—сказал он спокойно.—Садись вот на обрубок,—и ждал, все еще согнувшись над Брыкиным.

Тот пошевелил головой и застыл в прежнем оцепененьи. Тогда Жибанда вскинул бровью, поднял Брыкина с пола и посадил на круглое комлевое полено, стоявшее посреди зимницы. Брыкин качнулся и стал падать с него, как неживой.

— Попридержи, — грубо сказал Жибанда ближайшему.

Ближайшим оказался Гарасим-шорник. Он послушно вытянул руку и взяв Брыкина за волосы, держал так, вертя Брыкинское лицо то к свету, то к тому, кто задавал вопрос. А лицо Егорово было безжизненно, только шевеленье губ его, растрескавшихся и изломанных, показывало, что еще тлеет в нем чадный уголек сознанья.

— Не держи за волосья-те! Под руки подержи...—заметил брюзгливо Стафеев.

— А я ему кресло, под руки-то держать?—огрызнулся Гарасим и еще сильнее поддернул Егора за волосы. Темная сила, которой светился Гарасим в ту минуту, была столь велика, что никто не посмел остановить его, а Брыкинское лицо продолжало висеть в воздухе, как белая страница, на которой уже написан был приговор барсуков.

— Ну, что ж, начнем теперь,—вздохнул Жибанда и помолчал, почесывая ногтем выбритый подбородок. — Ты, Брыкин, слышишь меня?—он озабоченно глядел на шевеленье Брыкинских губ. Опять помолчав, он вдруг приблизил свое лицо к Брыкинскому и почти прокричал в упор:—комиссара Половинкина кто отвязал... ну?

Лицо Брыкина постепенно оживлялось, точно спрыснули его живой водой; тень румянца затемнила место над правой бровью и левое, странно заострившееся, ухо.—„К свету, к свету его поверни..." заворчали барсуки, а Мишка внимательно наблюдал оживленье Брыкина по движеньям его губ.

— Марфушка босонога!—неожиданно громко прокричал Егор, выпрямился, открыл глаза, но снова закрыл их, ослепленный печным огнем. Жизнь, торопливая и суетливая, радостными струйками забегала в несогласных еще между собою мускулах его лица. Брыкин крикнул, и барсуки засмеялись неожиданности.—Марфушка!—еще раз крикнул Брыкин и вырвал голову из Герасимовой руки.—Я ее в кустах подслушивал... в клоки хотел стерьву изорвать! Она ему, товарищи: женись, говорит, на мне, развяжу тогда...—Глаза Брыкинские блестели, он захлебывался своими, стремительными, словами и радовался тем, которые еще предстояло сказать: каждое слово удлиняло срок его существования среди живых. Он как бы вырывал каждое слово от себя самого, ценою себя самого покупая клочок жизни. Щедрость его была беспредельна...—Он и говорит ей: развяжи, тогда женюсь! А она: напиты, говорит, запитотьку...—Брыкин, подражая Марфушке, даже и лицом передал выражение Марфушкина лица.—А он говорит: так ведь у меня руки-то связаны, как же я напишу?.. ты развяжи сперва, я потом и напишу. А она: нет, тперва напиты! Уж я, батюшки мои, хохотал, вот хохотал... штаны стали мокры!—и, весь передернувшись как в судороге, Брыкин с видом какого-то безумного вдохновенья смотрел на барсуков, но никто не глядел на него.

— Ладно...—оборвал его Жибанда тоном, зачеркивавшим всю искренность Егорова показанья. И опять качнулся Брыкин на своем чурбаке, и опять шепнул Жибанда Гарасиму: поприддержи, чтоб не съехал.—Ну, а потом Марфушка сказала ему: ты голый... и убежала. Так?—спросил Жибанда, щурясь и крутя усы.

— Так...—пошевелились Брыкинские губы.

— А потом ты вышел и отвязал комиссара,—жестко вычитывал Жибанда.—Как же ты его отпустил? ведь он же жену твою взял!

— Полжизни у мене утащил!—жалобно прокричал Брыкин.

— И как же, без уговору ты его отпускал?—осудительно качнул головой Жибанда, дотрогиваясь пальцем до Брыкинского лба. Брыкинский взор отразил испуг, сжатые губы—нехотение говорить.

В зимницу входили новые, становились в круг же. Тишина не нарушалась, но когда Настя пробиралась сквозь плотное кольцо барсуков, побежали шопотки, а Тешка, Юдин прихвостень, вздохнул громко и насмешливо, толкая Евграфа Подпрятова в бок:

— Эх, леденистенькая... куснуть ба!

Подпрятов не ответил.

— Значит, товарищи, выяснено...—голосом покрыл всех Мишка:— ...Брыкин отпустил комиссара по уговору. Что-де, вот, отпускаю я тебя, а когда барсуков крошить станут, так ты меня выпустишь. Как, вина достаточная, товарищи?..

— Достаточная... хватит!

— Чего его мучить зря?..

— Жрать хотца.—Такие раздались возгласы отовсюду.

— Погодите, погодите... зеленые атаманы!—с неуловимой дерзостью остановил их Юда и протискался вперед. Общее внимание приковалось теперь к нему, а он глядел на Мишку, взглядом требуя согласия на что-то. Мишка, весь багровый от негодования, чесал себе правую щеку, а левую руку, сжатую в кулак, держал вдоль тела. Юда выжидал, а Брыкин опять стал оседать, точно окончательно сломался тот стержень, на котором держалось его человеческое достоинство. Гарасим переменил руку и опять поддернул Брыкина вверх.

— Скоро, что ль, вся рука затекла,—недовольно сказал он.

— Счас, счас... Я вот жду,—сказал Юда тихо.—Миша!—прибавил он еще тише,—я жду!—И все видели, как Мишка отрицательно покачал головой.

Из печки вывалилась горящая ветка и чадно горела на железном листе, набитом перед печкой.

— О чем это ты, Юда?—спросила Настя, и голос ее дрогнул. Она вызывающе смотрела на Юду, но Юда не ответил и стоял, играя серебряным подвеском пояска и глядя в стену грустными глазами, точно спрашивал совета у стены.

А уже был брошен последний камень осужденья в Брыкина. Все, лежавшее втуне на памяти у барсуков, дружно обнажило свои смыслы, остриями направленные в Егорово имя. Вспомнилось, как пропадал он днями в долгих отлучках, а потом хвастливо угощал папиросками соседей по землянке. Как однажды, зайца приняв за человека, убежал в лес, и разговаривал с зайцем... И сам Жибанда только тут сообразил о проскользнувшем мимо него Брыкинском лице в незабываемую ночь похода на Гусаков.—Сам Егор уже не слышал ни отдельных возгласов барсуков, ни точных и упорных вопросов Юды, которыми тот предварял свой последний удар. Расслабленное сознанье Брыкина окутывалось дремой. Он открыл глаза и увидел тихие, мягко мерцавшие из-под ресниц глаза Юды. Но они жгли его и побуждали к действию.

— Братишки...—задыхаясь и всхлипывая, вскочил с обрубка своего Брыкин с открытым ртом. Он делал руками движенья, точно играл в жмурки, точно не видел уже ничего вокруг себя и ловил наугад.— Братишки... А ведь Петьку-те Грохотова это я убил!! Не он, не он, а я ...я!—и всем телом вытянулся в жест, указующий в молчащего Семена.—Не он... Как я уехал в лес, топор забыл. Я и воротился задворками, меня никто не видал... А лошадь в Бабашихином оставалась. Дома взял топор, побежал рожью назад, к Бабашихину-т... А как бежал рожью-те, тут и увидел во ржи: мужик на Аннушке... Я и махнул тут топором-те... да все рожью, рожью, в лес! Рожь-те присмята была... черная тужурка на ем... со ржи пыль несла... Я-то думал, что Половинкин попал, а не Половинкин!.. на топорище-т и осталась кровь...—он кричал все пронзительней, мечась по зимнице, и барсуки расступались, уступая Брыкину место для последней суетни.—Не он!..

Ограбил ты меня, Семен Савельич!.. Все ты у меня взял, все... отдай, отдай мне!—рыдал Егор, цепляясь и руками и зубами за Семена. Было нехорошо смотреть на него в ту минуту, как и на Семена, отпихивавшего Брыкина и коленами и кулаками.

Барсуки из чувства стыда за Семена молчали и никто не бросил в Семена на этот раз осудительного слова. Некоторые из барсуков отвернулись даже, только Юда, стоя близко, не сводил глаз с ползавшего Брыкина, точно подбирая минуту, когда остановить этот невозможный для слуха и зрения Егоров исход.

— Сеня, молчи... ничего! не упади... не упади только...—жарко шептала Настя, уже не скрываясь от барсуков. — Твердо стой. Бей, делай что хочешь... не стой так, ну!

И Семен выстоял.

— Ну, летучая, как же про него порешим?—спросил он, с лицом почти спокойным.

— Чего ж его мытарить! — недовольно сказал Федор Чигунов, глядя на ноги Семену.—Нехорошо даже.

— Даже есть расхотелось!—удивленно вздохнул Петька Ад, весь в поту.

— Сам себя человек губит... и никто его не губит, а сам доходит до всего,—поворчал Стафеев.

— Распорядись, Миша!—заключил Семен и пошел вон из зимницы. Настя пошла за ним.

— Дело поправимое...—намекающе шепнул Юда ему, проходящему мимо.

— О чем это он гнусит?..—замедлил шаг Семен, медленно повертывая к нему лицо.

— Иди, иди... я потом скажу тебе, иди!—просительно шептала Настя.—Я приду скоро, ступай!

...Тешка и Федор Чигунов подхватили под руки ослабевшего от крика Брыкина и повлекли вон из зимницы. На снежных ступеньках лестницы, сводившей в зимницу, растолкал барсуков Петька Ад.

— Товарички, а товарички... Дозвольте ему, а? покурить, а? — торопливо забормотал он, готовый к тому, что его осмеют, ударят, прогонят.—Егор, а Егор...—почти умоляюще залепетал он, тряся Брыкина за плечо.—На, закури! На́, завтра уж не закуришь, на́!..

Он старательно натряс из кармана две щепотки махорки, все свое табачное богатство.

— Бумага у меня есть, счас дам...—сказал Юда и хлопнул Петьку по спине.—Вот дрянь... А утром я просил, так не дал!

Барсуки теснились кругом, тайком друг от друга наблюдая, как, присев на мокрый, растоптанный снег, старался Егор завернуть бумажку.

— Дай уж я тебе сверну...—выступил Дмитрий Барыков.—Ишь, руки-те у тебя!..

Он ловко сделал самокрутку и вставил ее Брыкину в рот. Лука Бегунов поднес огня. Егор курил порывисто, давясь дымом, глотал жадно, точно вместе с дымом хотел заглотнуть как можно больше и сумеречного этого неба, и снега на деревьях, и самых деревьев. Заметно было, что приторно-едкий дым махорки был ему отрадней и нужней холодного широко-снежного воздуха. Так, в молчаньи, прошла минута.

— Ну, хватит с тебя,—твердо и значительно сказал Юда и уверенным щелчком выбил тлеющий табак из Егоровой самокрутки...

## XVIII. У Насти в плену.

...огонек упал в снег и затух.

По скользким тропкам, еле приметным в сумерках, Настя побежала отыскивать Семена. Стояла оттепель, снег стал вязок, и даже на утоптанной дорожке проваливался след. Чудилась капель,—таким звуком был напитан воздух.

Она нашла Семена на том пне, куда, она знала, ходил Семен в минуты участившихся упадков. Чутьем догадавшись, что он тут, она подходила осторожно, точно боялась спугнуть свою добычу шорохом задержанного дыханья. По звуку ей показалось даже, что Семен плачет, но это было неверно: обманчивы сумеречные шелесты леса. Настя, вытянув шею, старалась рассмотреть его и сломала сучок, на который поставила колено.

— Это ты?—спросил, не оборачиваясь, Семен.

— Да.

И почти одновременно с этим он ощутил властное и спокойное прикосновенье холодной Настиной руки.

— Ты—не надо. Все равно уж теперь. Ну, о чем ты?—и продолжала гладить его по щеке, любовно и утишающе.

— Проиграли мы, Настя,—неуверенно сказал он и не гнал ласкающую руку.—Расползлись... Подкрепленье обмануло.

— Рано еще. Вот весна придет, по весне и разольемся. В Бедряге, говорят, опять замутилось...—выдумала Настя наугад.

— Не в том, не в том,—раздражился Семен и вдруг, откинув Настину руку с лица, встал:—ну, что ж, пойдем куда-нибудь!—предложил он с грубой понятностью.

— Ну да, конечно,—заволновалась Настя и уже влекла его за руку куда-то вдоль опушки, по рыхлому, глубокому снегу, а сама гнала от себя неотвязчивую и горькую догадку о Семене. Вдруг она обернулась и заглянула ему в глаза:—о чем ты думал сейчас, скажи?

— Не скажу,—и Семен, взяв за сучок, отряс от снега можжевел, стоявший возле них.—Палка хорошая выйдет!—вслух подумал он про можжевел и прибавил Насте:—не о тебе только...

— Ты о Мишке думал, я знаю. Думаешь, уйдет? Нет,— сказала она уверенно. В небе выкатывались звезды, подмораживало. — Мишка весь мой... Ты лучше за меня держись — она, кажется, смеялась. — Вот в Юде теперь все дело, он мутит. А Юду убить можно...—они опять шли, а Настя раздумчиво обсуждала выходы, которые оставались.

Так они дошли до сторожевой землянки. Уже стемнело. Высокий сугроб лежал поверх землянки, и дверь ее, казалось, вела куда-то в снег. Семен стоял в нерешительности, будто не понимал, зачем на бесцельном их пути встретилась теперь землянка. Тут сухой выстрел раскатился по верхушкам леса и следом за ним—второй. Семен не слышал Насти, звавшей его из растворенной уже двери.

— ...тут одной ступеньки нет, не поскользнись! Ну, скорей же... — она запирала дверь на засов.—Теперь ты в гостях у меня... в плену! Тебе ничего, что жарко у меня? Я люблю жарко, с детства привыкла...— она сама обжигающе смеялась, а Семен впервые видел ее такою.

Он стоял у печки и недоверчиво, исподлобья, наблюдал Настю, суетившуюся по землянке. Фитиль коптилки, лениво колыша пламя, с шипеньем облизывал черепок, где уже не оставалось ничего горючего.

— Вот... от обеда осталось. Ты не хочешь есть? Ешь, я разогрею. Нет? ну, тогда кури. Вот у меня есть, Мишка подарил.— Она положила на крохотный свой стол папиросы горстью и села против Семена, вся звеня смехом.—А ты думал, убежишь от меня? От меня нельзя убежать. Ты туда не гляди,—она досадливо кивнула на дверь.—Ты на меня гляди! Ведь ты знаешь, я все равно подстерегла бы тебя... не на Брыкине, так...

— Брыкин меня в Москву вез,—вспомнил Семен и барабанил пальцами в лавку, на которой сидел.—Как его подхлестнуло-то!

— Брыкин? что Брыкин! Брыкин—ничто. И Мишка ничто... — она села на ту же лавку, где сидел Семен.—Ты ведь, если захочешь, ты их вот так, вот так...—она хрустела пальцами и жгла дыханьем серое, большое Семеново ухо.—Ты, да вот Юда еще... Но Юду можно убить, я уж говорила тебе. Ты замани его в лес, вот хоть бы в Исаеву сечу... Или, еще лучше, в Матвейкин Сосняк, а там один на один! Хочешь, я Мишке велю? Ведь они в одной землянке живут, проще и не придумать... — она о чем-то напряженно думала. — Нет, ты лучше сам убей! Ты знаешь, ведь это ужасно просто... за водой сходить и то труднее! Я, когда стирала тебе, воду с кухни крала. Я только тогда догадалась, как это просто делается... Ах, да-а! — неожиданно-резко засмеялась Настя, и презрительно толкнула Семена в плечо.—Ведь ты... Но послушай, отчего ты сам не убил этого, Петьку?.. И ведь он прав, пожалуй, ведь ты ограбил его, Брыкина! Ведь он только и сделал за весь свой срок... Ничего, ты не хмурься! Ты мне даже ближе теперь, потому что я знаю про тебя. Ты непонятный, а я понимаю! Ну-ну, не

сердись...—она сделала движенье поцеловать его, но Семен откинулся, как в испуге, и поцелуй пришелся в бороду.—Обстриги!—обиженно бросила она и почти готова была заплакать. Ее взор упал на папиросы, она взяла одну, закурила и тотчас же бросила, недокуренную.—Какие горькие!—сказала она, кашляя с дымом.

— Стучат, кажется...—прислушался Семен.

— Стучат?..—прислушалась и Настя и подбежала к двери.—Кто? Мишка? Здесь у меня Семен. Ты слышишь? Уходи, здесь у меня Семен. Я не хочу больше с тобой. Беги, ну!—кричала она через дверь.

Больше не слышалось ни звука из-за двери.

— Ушел,—сказала Настя, стоя у двери. За приспущенными ресницами теплилось черное пламя ее глаз.

— Зачем ты так?—поморщился Семен и закрыл лицо руками.

— Не смеет входить, когда ты здесь,—убежденно произнесла Настя.—Все равно теперь!—прибавила она через минуту, садясь рядом.

Семен глядел в ее лицо и впервые видел малую впадинку кори на ее щеке. Вспомнилась родинка Кати,—та была выпуклая. Семену хотелось еще рассмотреть Настину конопатинку, но в ту минуту фитиль отчаянно мигнул и потух.

— Всегда это он у тебя так тухнет? во-время...—засмеялся Семен, а голос его был груб и горяч. Теперь ему уже почти безразлично стало все, чем грозила близкая весна.

... Этот выстрел был как бы последним словом, которым мир оценил Егора Брыкина. Похоже, будто бросили Егора со всего разбега в глубокие воды людского забвенья: колыхнулись темные и затихли. Одно лишь осталось в напоминанье. Петька Ад, гонимый по путям жизни добротою большого сердца и суеверием малого ума, вырубил топором три десятиконечных креста в разлатых елях, возле места Егоровой гибели. Три, десятиконечных—потому, что забыл уже Петька веру отцов и знал одно: чем больше у креста концов, тем истовей крест, и чем больше самых крестов, тем действительней на всякую беду. Февральские морозцы хвастливы. Древесина трех елей, обнаженная крестами, проиндевала, и, когда сумерки, мерцали кресты робкой инейной белизной.

Тот же выстрел по Брыкину отметил в мокрых скучных днях начало новой Настиной связи. Была она подобна последней вспышке бурного огня на догорающем пожаре. Имелась какая-то смутная последовательность в том: когда-то в юности—робкая лампадка в снегу, потому, в снегу же, холодное горенье папороти, и вот огонь в снегу. Семен, потерянный и скользящий, целиком отдавался на Настину любовь. Ночи для них стали коротки и недостаточны для неистовств задержанной любви.

А тут еще немножко подвалило снега,—ими-то и обновилась белизна равнин, тронутая кое-где проталями. Расстояния опять удлинились, и мнились Гусаки в столь дальней стороне, куда не доска-

кать в неделю даже и на Герасимовых конях. Туда теперь уходили Семен и Настя в сопровожденьи отряда, там и вели свои любовные шалости, по храбрости граничившие с безумством. О Мишке, безвыходно сидевшем в землянках, вспоминали с чувством смущенной жалости.—С того вечера, как допрашивал Брыкина, задичал Мишка, стал бросаться в несуразицы, которыми отгораживался от тоски. Сперва хор песельников завел из лежебоков, какие поленивее,—пели во всю глотку, во весь мокроснежный лес, но через неделю надоело: леса доверху не накричишь. Потом собрал артель,—столярили столы с господскими капризами, один затейней другого: бесилась остановленная в разбеге сила. Потом стал Мишка в одиночку гореть: целые ночи усердничал отломком сапожного ножа над непослушным дубовым поленом. Плохо слушалось дерево, а резал Мишка в посмешище тоски своей розан неестественной величины. И все же, едва вечер, шло само собой его воображенье по заветной тропочке, между можжевеловых кустов, в пустую землянку Насти.

Однажды, опять пробуждалась весна, домой вернулся Юда поздней ночью:

— Все кромсаешь? Ишь, даже и рукава засучил!—пошутил он, садясь возле, с недоверием глядя на Мишкино изделие. Мишка не откликался и молча закурил предложенную махорку.—Семь пудов мяса раздобыл, да еще свинку одну реквизировал!—сообщил Юда. И опять Жибанда не ответил, точил нож на камне, пыхал дымком.— Миша!—заговорил проникновенным голосом Юда,—слушай меня хорошо, Миша. Это ведь я тебе тогда, шапку прострелил. Я нарочно так и стрелял, чтоб не убить. Я человек такой, что обиду до конца помню, не могу простить, забыть у меня сил не хватает, я и хотел напомнить тебе! А я открытый человек, я и говорю тебе: меня бойся, Миша! Наши дорожки узкие, муравейные. И очень я тебя люблю, а укараулю... Разобидел ты меня, Миша, до слез разобидел!

— Чем же это?—щурясь от дыма, ползшего из самокрутки, спросил Жибанда и посмеялся.

— Бабу ты свою проворонил, а другу своему, который как брат к тебе, попользоваться не дал. Очень плохо! Уж у этого ты теперь не вырвешь, тю-тю. Я бы и сам мог, без спросу, да без спросу не хочется... Все и дело-то в том, чтоб твое дозволенье иметь. Эх, Миша...

Жибанда глядел на Юду, так стиснув нож в руке, что досиня напряглась какая-то жила вплоть до самого локтя.

— Вот и теперь обижаешь,—спокойно сказал Юда и покачал головой на нож.—А ударить ты меня все равно не ударишь... нельзя брата прямо с лица бить! Хуже потом для тебя же будет, потому что ты человек совестливый, я знаю.

— Уйди ты, Юда, куда-нибудь... хоть на минутку уйди,—с волненьем попросил Жибанда, кривя лицо, точно глотал горькое и противное.

— Не могу уйти, поколь все не выскажу. Баба твоя, прямо скажу, пустяковая. Только кажется, будто есть что-то в ней. Мы таких по прошлому году... А теперь-то я, может и не стал бы, если ты хочешь знать! Конечно, как бы лампадочка в ней, затушить лестно... Э, да что там!

— Да уйдешь ли ты, чортово дупло!?—заволил Мишка, вскакивая.

Юда все стоял, глядел на дубовый розан, обдергивал поясок.

— Уйду, да...—грустно сказал он.—Пойду, начальнику твоему скажу, новости передам. На станцию я вчерась заходил. Мы-то вот и не знаем еще, а там уж все... Броненованного поезда ждут завтра. Комиссаром смерти, вишь, его кличут!—и Юда тихо рассмеялся такому небывалому слову.—Ну, а ты чего? Ты не горюй, Миша. Не вечно ж нам тут сидеть! Да-кось, я тебе махорочки отсыплю... вот в эту хоть посудинку!—и он горстями стал насыпать махорку в резной тот цветок, над которым четыре ночи протосковал Мишка.

## XIX. Антон.

Брыкин был щелью, сквозь которую вытекали известия о барсуках в уезд. Но щель заткнули, и даже слухи смолкли. Шло время, набухали почки на деревьях, шумела теплынь в телеграфных столбах, почти обсушились дороги. Тут удар: барсуки скувыркнули с насыпи поезд, шедший с продовольствием в уезд. Не прошло дня, новое: барсуки пьянствуют под самым городом, в бывшем монастыре. Еще через день опять: барсуки, числом шестьдесят человек, с песнями прошли по главной улице уезда и скрылись в неизвестности.

Теперь уже ежедневно, даже вошло в привычку, рассылал Брозин тревожные, призывающие жалобы. Не было уже в них никаких словесных украшений, а один сплошный вопль тонущего в бурных водах половодья. Поэтому в губернии вняли наконец Брозинским призывам. Из губернии был послан товарищ для обследования. Этот налетел как буря, дал Брозину нагоняй за несообразительность, даже пригрозил сместить. После того товарищ отправился на мотоциклетке в Гусаки, дабы на месте вникнуть в корень всего дела. Однако до Гусаков он не доехал, расследования не произвел. Барсуки, осведомленные теперь обо всем, протянули через дорогу проволоку, скрученную впятеро, как раз на уровне шеи.—Мотоциклет, прокатя после того еще несколько сажен, завяз в ольховнике, пугая необычным треском вечерних воробьев, безмятежным чириканьем встречавших весну.

Весть о гибели товарища была последней, которую прошумели телеграфные провода. На другой день провода оказались перерезанными. Это всколыхнуло губернию. За подписями более действительными, чем незначительное имя Брозина, было послано сообщение в центр. И не прошло дня, как уже, минуя станции и полустанки,

гремя сталью на стрелках, несся поезд туда, где маячило угрозой бунтовское имя Семена Барсука.

Поезд прокатил мимо остатков разбитого эшелона, лежавших под насыпью, в грязно-талом снегу, и остановился на станции, с которой когда-то ехал жениться в Воры Брыкин. На станции еще с утра ждали прибытия каротряда сам Брозин и председатель уездного исполкома. Имя приезжающего товарища было уже связано в их представлениях с понятием о спокойной воле и твердой неустрашимости,— то, чего как раз не доставало Брозину. Знали Антона как и неоднократного укротителя многоразличных бурлений, ждали не без некоторого смущенного волнения.

...Закатывалось солнце. Его косые, ленивые лучи равномерно ложились и на вылезший из-под снега песок насыпи, и на дальний бурый лес, и на облезлые стены станционных строений,—сообщая всему тому блекло-оранжевый отлив. Блестело оранжевое же в рельсах, убегавших, в холодную весеннюю тишину, блестело в четких паровозных частях, шипящих, дымящихся, истекающих смазкой. Поезд был не бронированный, Юда солгал, но паровоз был хороший, чудом уцелевший от паровозной чумы. Пятнадцать новехоньких теплушек и один пассажирский вагон не составляли для него какой-либо обузы.

Брозин стоял на открытой платформе вместе с предисполкомом, рассеянно наблюдавшим, как из теплушек выскакивали Антоновы люди, и глядел на небритую, впалую, с обвисшим усом, щеку предисполкома, также окрашенную светом опускающегося солнца. Огромный простор лежал вокруг, и весь он трепетал, казалось, животворным весенним вольным духом. — Брозину стало прохладно в кожаной тужурке.

— Сергей Семеныч... — позвал он предисполкома, — зайдем, что ли, в вагон к нему... знакомиться, а?

— Так ведь он выйдет сейчас... стоит ли? — неопределенно переспросил предисполком, пощипывая редкие волоски своей бородки. — Он повернул к Брозину скулатое мужицкое лицо, осветившееся оранжевым, — защурились маленькие и грустные его глаза. — Что тебе в нем? Центровик как центровик и ничего боле!..

— Ну, так что ж! — попетушился Брозин и попросил папироску, но папирос у предисполкома не было. — А большого, знаете, размаха человек. В губкоме его очень хвалили, — пыхнул воображаемым дымком. — В Самаре в неделю справился! — видно было, что он гордится приехавшим Антоном. — Поболтаем там с ним, а? — кивнул он предисполкому, но тот все глядел, не моргая на мутневший диск солнца, покидавшего на ночь его уезд.

— А ну и пойдем пожалуй, — нехотя согласился он, затопорщив брови и отрываясь от солнца. Он еще шире распахнул свой полушубок. — Жарко становится, — сказал он. — Пойдем, пойдем... я не отказываюсь, — уже охотней предложил он и пошел.

Люди галдели и топтались на защебененной платформе. Один какой-то, рослый и в шапке-кубанке с красным верхом, дружелюбно мял другого, латыша, крупного, невозмутимого, стоявшего как гора супеси,— обхватывал за плечи, за шею, силился пригнуть к земле. Остальные стояли кругом, задорили, шутливо советовали гнуть ниже, обхватывать плотнее. В стороне несколько хозяйственных — щепой и мокрой соломой разводили огонь под чайником, висевшим на штыке; штык был вбит в дерево, уже облепленное молодой листвой. Хозяйственники внимательно проводили глазами предисполкомова спутника, побежавшего вперед.

— Машинка-то уж больно мала у вас, скудна... — сказал предисполком, кивая на чайник. — Не хватит на всех-то!

— Нам эта машинка три похода выслужила. Колчака с нею били,— сказал один, глядя себе за пазуху, за оттянутую гимнастерку. Он поднял глаза на остановившегося возле него предисполкома, и оба засмеялись: маленький сидел на доске, оторванной неизвестно откуда.

— Она ненужна там, валялась... — оправдался маленький, плотнее усаживаясь на доску, о которой намекал. — Без дела торчала...

— То-то, без дела! — сказал предисполком и пошел дальше.

... Они поднимались на площадку пассажирского вагона, их остановил часовой, потребовавший документы. Брозинские щеки зарумянились, и пока, целых три минуты, искал в карманах какой-нибудь бумаги, сщущал особенно ярко, что он совсем не страшный, а даже маленький во всем том урагане, который приходит внезапь и глубоко разрыхляет слежавшиеся, обесплодившиеся слои. Первым проходя в вагон, он вдруг сгорбился и оглянулся на предисполкома; тот уже застегнул на все крючки свой нагольный полушубок. Что-то поняв, Брозин хотел сделать то же самое, но запутался в пуговицах, застегнул как-то вкось, опять расстегнул, смутился и тут увидел Антона.

Перегородки в вагоне были убраны. Было пусто и просторно. Оранжевые блики на стене, падавшие в окно, служили ныне единственным украшением неприютного Антонова жилища. У задней стены низкая дощатая койка на поленьях была постлана серым одеялом, с каемкой. Два окна забиты досками, одно сверх того завешено полосатой матрасной тканью, по четвертому звездами разбегались трещины, имея центром дырки от пуль, — все говорило о долгих и опасных мытарствах, вынесенных вагоном в путях товарища Антона. Стоял еще стол возле койки, на нем лежала бумага, и, почему-то, горела свечка-пламя ее, еле приметное в солнечном блике, качалось. Ни книг, ни хлеба, ни оружия не лежало больше на столе: даже газеты отсутствовали. Сам Антон, оранжевый от солнца, несмотря на зеленую гимнастерку, неподвижно стоял возле пятого по счету, пыльного и немытого окна и, не моргая, кажется — исподлобья, глядел на расстилавшиеся вокруг станции дымчатые, оранжево-голубые пространства.

— На виды наши любуетесь?..—улыбчато сказал Брозин, ощутив прилив бодрости, потому, что справился наконец с пуговицами прежде, чем увидел его Антон.

— Здравствуйте, товарищи,—не сразу произнес Антон и сделал шаг к вошедшим, а Брозин сразу заметил, что приезжий хром.

— Вот... погреться зашли! Замерзли как два цуцика...—улыбаясь, сказал Брозин и тотчас же упрекнул себя за некую неискренность тона.—Холодно у нас тут! Весна наша не особенная...—и искал папирос на Антоновом столе, но папирос там не было.—Чего-нибудь курительного нету у вас?..—заикнулся он, стремясь придать себе простоту и общительность в глазах Антона, но курить ему уже не хотелось.

— Это ты и есть здешний председатель?—не без любопытства спросил Антон, охватывая Брозина коротким взглядом.

— Нет, не я... Это вот он!—испугался чего-то Брозин и обернулся к предисполкому. Тот стоял в тени, глядя на горевшую без смысла свечу.

— Ну, здравствуй,—сказал Антон, подходя к предисполкому. Тот поднял глаза и в них стоял вопрос.—Что это вы тут бедокурите?..

— Мужики!—вздохнул предисполком и переступил с ноги на ногу.

— Мужики, чего вы хотите!—повторил сбоку Брозин.—В хвосте революций, товарищ! Возьмите вот хотя бы французскую... Например, Вандея!

— Ты что ж, в газете местной работаешь? Пишешь, что ли?—прервал уже без всякого любопытства Антон, глядя в пуговицу Брозинской куртки.

— Статейки иногда... работы много!—заторопился Брозин и ждал, что Антон спросит его о месте службы, но Антон не спросил.

— Будь добр, пойди, позови сюда начальника станции,—не меняя тона, попросил Антон, все глядя в несчастную пуговицу.—Найди и приведи...

— Часовому сказать?..—поправил вопросом Брозин.

— Как же часовому? Часовой, значит ему на часах и стоять. Ты сам сбегай!—убедительно проговорил Антон и отвернулся к предисполкому.—Садись вот тут, поговорим давай...—Антон указал на койку по которой разлеглись теперь рябые оранжевые полосы —Кури, если, хочешь,—сам-то я не мастак по курительному делу. Так, на всякий случай, имею...—и достал из корзиночки, стоявшей под койкой, уже распечатанную пачку папирос.—Это тебя Сергеем зовут? Ну-к, вот тебе Никита кланяться наказывал, он теперь там у нас по военному делу орудует... Помнить велел!.. Сам-то из мужиков, что ли?

— Да, я здешний. Да ведь и Брозин здешний... вы напрасно на него давеча напустились. В нем маштаба, конечно, нет, мужиков опять-же не знает! а так, вообще, он хлопотливый, преданный, ничего...—коч-

фузясь, говорил предисполком.—Я-то на крахмально-терочном тут ра ботал...

— На крахмальном...—Антон помолчал. — Патоку-то ведь там ж выделывают? Я вот кстати,—начал он, усаживаясь плотней и разглажива обшлаг гимнастерки,—давно интересовался... Картофель после варки. что там с ним делают? Мнут, что ль, его как?

— Да его и не варят совсем...—полусмущенно улыбнулся пред исполком, стряхивая на пол пепел с папироски. Он недоверчиво загля нул в лицо Антона, но там не было и тени какого-либо заигрыванья.— Такое корыто, как бы винт посреди... он картошку моет и прогонивает А потом в валеру! Там...

— А валера это что?..—слушал Антон.

— Валера-т? Ну, чан такой, аршин шесть впоперек,—и опять усмехнулся предисполком, и опять машинально стряхнул табачный нагар.—А потом вакум-аппарат... туда, конечно, серная кислота прибавляется...

— Для чего?

— Как для чего?—простодушно удивился вопросу предисполком.— Для производства!..

— А,—сказал Антон и как будто тоже усмехнулся.—Ну, серная кислота...

— Да вот, серная кислота... У меня вот до сих пор ожог от нее. Брызнуло как-то, чорт ее знает...

— И у меня вот тоже ожоги были на руках... только у меня не от серной!—вскользь заметил Антон.

— Так ведь это часто у нас чего-нибудь выходит! У меня вот братеня в этой самой валере замотало. Он полез чистить валеру-те, а там весла такие, картошку с водой мешают. Мастер спьяна пустил машину, ну братеня и начало хлестать! Как чиркнуло по ногам, он так и перкувырнулся... Его по голове тогда... Он опять первернулся, и опять его по голове. Обрубок заместо парня вытащили!—предисполкому становилось говорить гораздо легче, чем в начале. Он удивился и опять заглянул Антону в лицо.

Тот был широк в плечах, и всего его, угловатого, плотно охватывало зеленое сукно. Солнце падало на коленку ему, она была широка, со впадиной; чашка была ниже и сильно выдавалась вперед. Лицо Антоново было серо, точно всю жизнь в сумерках прожил.

— Много вас там работало?—спросил Антон, и, хоть был строг его вопрос, не было от него холодно.

— Да нет... около сотни что-нибудь. Да нет... и сотни не выйдет! На крахмальных ведь только по осени и работа, когда картошка. Да и как сказать, мужики ведь работают. Вот нас оттуда только трое и вышло!..

— Но ведь и другие заводы есть?—спросил Антон.

— Как же!—дернулся вперед предисполком.—Пеньковых есть два, льнопрядилка еще... Маслобоек вот четыре цельных!

— Лесопильный еще...—спокойно вставил Антон, снимая пылинку с гостева колена.

— Это какой лесопильный?—удивился предисполком.

— Да Егоровский-то!

— А! да ведь сгорел Егоровский-те!.. в позапрошлом году сгорел,— и виновато поиграл пальцами.—А вы что, бывали у нас раньше?

— Приходилось,—неопределенно отвечал Антон и отошел к окну.— Ты меня зови на ты, я не люблю...—прибавил он уже от окна.

Вечер уходил. Оранжевые полосы лениво ползли по вагону. В соседней теплушке пели,—в припевы, пламя на столе начинало дрожать: песня была громкая, задорная.

— Там что... Суския виднеется?—спросил вдруг Антон, показывая на белую, в меркнущих потоках солнца, церковь.

— Не-ет, это Бедряга!—поправил предисполком.

— Ну да, конечно! Суския же потом...—чуть заметно смутился Антон.

— Нет, сперва будет Рогозино, четыре версты... а потом уж Суския.

— Верно, верно...—и Антон, впервые за все время разговора, улыбнулся. Улыбка у него была какая-то губная: улыбались одни губы, глазам же не было никакого дела до губ, у них было свое занятие—глядеть.

Тут щелкнула ручка двери, вошел Брозин, а из-за спины Брозинской высматривало красное потное лицо. Брозин был роста высокого, и даже, пожалуй, чересчур. А потное лицо сунулось вперед, но попало в пучок лучей и тотчас же пугливо откинулось назад.

— Иди сюда, поближе... вот сюда иди!—сказал Антон, не двигаясь от окна.—Это ты начальник станции?..

— Нет... я помощник,—взволнованно отвечал тот, отрицательно покачал головой и взмахнул фуражкой. Руку с фуражкой он держал вдоль тела, правую руку держал на ремне. На пальце его блестело обручальное кольцо. Он был в синей ластиковой рубашке, но холодно ему, очевидно, не было.—А начальник где?—поморщил лоб Антон и почесал руку выше кисти.

— Уехал-с. Телку поехал-с случивать... Хотел заодно уж и к жене заехать, у них там жена живет-с!

— А звать как?—спросил Антон, отходя к столу, где бумага.

— Жену-с?—покосился потный на предисполкома.

— Не жену, а этого вот... начальника твоего.

— Его Аркадий Петрович, а жену...

— Да нет, не то! Я фамилию хочу узнать. Какой он мне Аркадий Петрович!—без тени раздражения оборвал Антон, наблюдая, как при каждом дыхании помощника двигалась заплата на его рубашке над ремнем.

— Усердов ему фамилия. Аркадий Петрович Усердов!—почти выкрикнул помощник, изнемогая от самых различных ощущений.

— Не больно усерден...—холодно сказал Антон, приписывая что-то на узкую полоску бумаги, уже исписанную на две трети. Кстати он затушил свечу.—Ты будь добр, не отводи меня на запасной. Ночью я съезжу в губернию, а уж утром... там уж твой гость! И потом, там в паровозе неисправно что-то... Сделай услугу, поправь до ночи. Там тебе машинист скажет, что̀,—и только тут заметил:—а кольцо где же? вот что на руке у тебя было!

— Снял-с!—с вытаращенными глазами и в ужасе прошептал помощник.

— Зачем же ты снял кольцо, чудак ты, я ведь не украду...—неприязненно улыбался Антон.

— Обручальное-с! Может, думаю, не понравится. Я и снял-с...

— Ты сколько лет на этой дороге служишь?—строго спросил Антон.

— Пятнадцать...—совсем тихо сказал помощник, и заплатка на его груди задвигалась быстрее.

И снова комиссар Антон глядел в окно. Солнца уже не было. Зайчики на стенах потухли. В вагоне сразу наступили сумерки. Брозин склонясь к уху предисполкома, убеждающе шептал что-то.

— О чем это ты?..—обернулся Антон.

Предисполком жевал папироску, потом наклонился и взял свою шапку с койки.

— У нас вчера беда тут случилась...—он поморщился.—Товарищ из губернии... поехал в Гусаки, село у нас такое!.. Ну, а барсуки проволоку протянули. Так вот труп его сейчас привезли... Приказ был доставить в губернию.

— Может быть...—вкрадчиво вскользнул Брозин и в голосе его проскользнула большая искренняя убежденность.—Я вот тут предлагал... митинг бы устроить по этому поводу, а? Я бы мог выступить, потом вы, да и он тоже... Здорово укрепило бы ваших, а?

Антон будто и не слышал.

— Пойдем, сходим к нему,—сказал он, не выделяя слов, и пошел в угол накинуть на плечи шинель.—Он где?

— Там, за платформой, у дороги...—почти шепнул Брозин.

Они вышли из вагона и перешли платформу. Горели костры под насыпью, толклись у псходной кухни люди. В небе, еще не утерявшем голубизны, сияла первая звезда. Стало совсем прохладно и дрожко.

Крестьянская подвода стояла тотчас же за телеграфом, привязанная к столбу, где когда-то стояла иконка, на которую крестился Брыкин в приезды домой. Понурая клячонка вяло жевала сенную труху, кинутую прямо на снег. Несколько человек из приехавших с Антоном стояли кругом. Сам возница, мужик в валеной шляпе и с неразборчивым лицом, отошел подальше в поле. Антон подошел

к телеге и, приподняв рогожу с лежавшего под ней, долго глядел. Брозин засматривал через его плечо, хотя места и было достаточно.

— Ишь ведь, как они его... догадливо,—как бы про себя и кривя губы сказал Антон и обратился к подошедшему вскоре вознице.—Вы там хоть бы лицо ему отмыли!—тихо упрекнул он.

— Прикасаться не велено! В прежни-то времена так за это бы знаешь как? А не токмо что!..—с пронзительной готовностью прокричал возница, помахивая снятой шляпой.

— Та-ак,—медлил Антон и все глядел в мертвого. Брозину, забежавшему с другой стороны, показалось, что один глаз у Антона стал меньше другого.—Ты его знал?—спросил Антон у предисполкома.

— На партконференциях встречались... Башковитый, из губкома он!

— А... из губкома, говоришь?..—повторил Антон и осторожно опустил рогожу, точно боялся разбудить. Была необычная торжественность в этом: человек молча приветствовал чужого же, но о котором знал уже, казалось, все,—с которым связан был кровней, чем с братом, — и которого впервые видел — обезображенным. Весенняя тишина была чутка и глубока, и холодна, как родниковое озеро. Меркли тени.

— А ну, товарищи,—сказал Антон своим, стоявшим вкруг без шапок.—Вы снесите его ко мне в вагон! Он со мной в губернию поедет.—И, заметней хромая, отошел от подводы.

Какая-то птица пересекала воздух, шумя твердым, негнущимся крылом.

— Мы вон там и присядем,—сказал он уездникам и показал на раскиданные возле стрелки шпалы.

— Митинг-то как же?.. будем устраивать?—настоятельно лез Брозин, падая духом.

— Эк, какой нескладный ты! Кого ж ты митинговать-то будешь,—меня, что ли?..—досадливо повернулся Антон.

— Нет... зачем же вас!—замялся тот.—Вон их...—он кивнул на пылавшие в отдаленьи огни.

— Так их нечего уговаривать,—криво усмехнулся Антон, садясь на шпалу.—Они крепче нас с тобой стоят. Моих пятьдесят человек положение на фронте не раз спасали! Понял?

— Понял,—ошеломленно повторил Брозин и для того, чтоб поправить неловкость положения, спросил:—а вот ногу вам... это тоже на фронте, значит, подранили?

— Нет, это еще с детства у меня...—недовольно откликнулся Антон и обернулся к предисполкому, досадливо мявшему хрусткий весенний снег в ладонях.—Ну, рассказывай!..

## XX. Внезапно является Половинкин.

... Глубокие снега—малые воды. Не случалось в тот год ни бездорожья, ни долгой пасмури. В неделю сошли льды с Мочиловки, а снега с полей. Засверкал зеленью Зинкин луг, веселая вставала озимь. Потом буйно вскурчавились леса, и дни пошли заметно крупнеть.

Пахали,—хорошо было птицам смотреть сверху на распаханные квадраты земли. Погожие дни не замедляли обычного порядка работ. За пахотой пришел срок посева. Сеялось вольготно, даже радостно, точно яровыми хотели заслонить от памяти тяжкий грех минувшей осени. Из-за весенних работ распался сам собою Половинкинский отряд: мужиков тянула земля. И хоть никто не тревожил теперь мужиковского сна и совести, владело мужиковскими ночами томленье духа. А события пошли уже со скоростью огня, когда мчится он по сухому полю, подгоняемый ветром.

Поезд Антона стоял по-прежнему на запасном пути. Туда и ездили с докладами и председатели волостей, и власти уездные, и власти заводские: на то имелась бумага у Антона, а на бумаге самая большая печать. Самого Антона как-то не приходилось видеть никому. Приезжих принимал Половинкин, записывал цифры, хвалил, ворчал,—заменял Антона. А в это время уже были расклеены по волисполкомам короткие извещения, подписанные самим Антоном. Извещалось полное прощение всем мужикам, преступившим по недомыслию закон и совесть, буде явятся они к Антону начиная с 12-го сего мая. О дезертирах и барсуках не кинуто было ни одного, хоть крохотного, хоть сколько-нибудь намекающего на прощенье, слова.

На дуплистой березе, возле самых барсуковских землянок, было обнаружено Юдой точно такое же объявление, только слова в нем стояли какие-то смутные, скользкие: „...смотря по вине". Меньше чем через час об этом знали уже все, а через два часа был созван в Семеновой зимнице совет для обсужденья плана действий. Когда расселись верховоды по темноте,—а бо́льшая часть толпилась снаружи, за открытой дверью,—уже вторично, при свете спички, зажженной Жибандой, прочел вслух Семен Антоново посланье. И, не давая времени барсукам впадать во вредные раздумья, тут же стал говорить. Первые его слова были встречены дружным ворчаньем, потом слушали внимательней. А Семен говорил в тот раз складно и сильно как никогда, всего себя вливая в горячие, искренние слова. Лицо его стало как-то сердито и внушительно в черной оправе бороды. Невдалеке стояла Настя, и, чувствуя ее побуждающий взор на себе, еле поспевал Семен за вихрем своих мыслей.

— ... слыхивано, что и в соседних губерниях завирушки вышли. Уж и пушки будто бы... Там вплотную сошлись. Уж я и наказывал проезжим, чтоб звали их, всех барсуков, хоть со всего света, к нам,

на объединенье. Мы, как съединимся, так и вдарим с сорока концов. Коли каждый по камню бросит, и то гора выйдет. А нам на Антонову милость итти не след. Ишь, судом застращал! А какой нам с тобой, к примеру, Евграф Петрович Подпрятов, суд? И тебе тоже, Кирилл, и тебе, Лаврен! Не сами ли вы солому таскали под исполкомские-то стены? А не ты ль, Гарасим, Мурукова вверх подымал и оземь брякал?! Наш суд—пуля, страшный суд!.. Что ж ты, Гарасим, вертишься? Ты в меня, Гарасим, соколом гляди! Не гоже коноводу Гарасиму воробьишка представлять из себя... И на тебя уж готова пуля, лежит в Антоновом кармане! Ужли ж так застращены, что и до кустов добежать не впору будет? Да еще и кто он есть, Антон!

— Значит власть настоящую имеет, коли прощенье сулит!—глухо, но слышно вставил рассудительный Попузинец.—Какая ты власть!—осмелев от одобрительного молчанья остальных, поднял он голос.—Ты наш, свой, мы тебе и повиноваться не можем! А он, эвона, пахать велит...

— Это девствительно... Ничего я яровых в сей год не запахал,—раздумчиво сказал бородач из двадцать третьей.

— Сказано... наделов будут лишать,—прибавил приятель бородача, ковыряя в затылке.

— Так разве ихняя только власть прощает?—наступал, озлобляясь, Семен.—Вот, погодите, придет подкрепленье, скинем ихнюю руку, так и мы прощать будем. Этак-то легко прощать, если кнут в руке держать...

— Не затем воюем, чтоб прощать,—сердито вставил Гарасим.

— Это уж девствительно. Прощенье только людей портит,—добавил бородач из двадцать третьей.

Настроенье решительно изменялось в сторону твердой обороны до самой той поры, пока не объявится подкрепленье.—Мишка, закуривая, зажег спичку, а Семен скоса взглянул на Настю, и вся сила, отхлынувшая-было, вновь прилила к нему, как полая вода, ломающая плотины. Настя сидела в углу с полуоткрытыми глазами, а рукой делала движенья, точно гладила кого-то, стоящего перед ней.—Он говорил теперь еще безжалостней, как бы в исступленьи, точно пинал и ворочал гору, возлегшую на его пути. Уже не слышалось возражений. Задеты были мужиковские сердца, заговорила кровь, сама земля. Гарасим потерянно теребил поясок рубахи. Юда грыз ноготь и умным выжидающим взглядом мерил соотношение смутного, белевшего в потемках Семенова лица с Настей, еле приметно раскачивавшейся в такт Семеновым словам. Бородач из двадцать третьей, с напряжением выпятивший грудь, выглядел как на исповеди: просветленный, виноватый, необычный. Приятель его, верный подголосок бородача, потряхивал головой, жалко плакал, чесал затылок, оглядывался по сторонам и подтягивал вверх штаны,—все это разом.

— Это уж девствительно!—и, хныкая этим словом, занятым в долг у приятеля, толкал соседа в бок.

Какой-то, не особого роста, высунул из толпы кулак и перекричал Семена: „до конца биться... Круши, вали!". Тут-то, снаружи же, раздался вдруг гул голосов. Задние из толпившихся за землянкой куда-то побежали. Кто-то удивленно свистнул, кто-то упал, и над ним засмеялись, кто-то выстрелил,—суматоха и замешательство усилились.

— Тинтиль-винтиль, а ведь это за нами, братцы, пришли!—вслух догадался Стафеев.

— Узнай поди,—дрогнувшим голосом, потому что оборвался на полуслове, велел Семен.

Но Жибанда не успел сделать и трех шагов по тесноте,—Петька Ад, длиннорукий и усердный, с искаженным лицом, остановился перед Семеном.

— Ты что?..—Семен отвел рукою от себя Настю, протеснившуюся к нему.

Петька Ад глубоко вздохнул, высунул язык и снова спрятал его, еще боле ширил круглые глаза, а говорить не мог.

— Ой... бег со всех сил, дух заперло...—махом выдохнул он и опять побаловался языком.—Как я разводящий ноне... подхожу к дуплу...

— Там кто часовой?

— Тешка... А он уж и стрелять нацелился!

— Да говори толком, чорт!—озлился Семен.

— Счас, счас, вот только дух переведу. Комиссар пришел!—крикнул Петька и бессильно присел тут же на пол.

Семен не успел переспросить. Снаружи раздались крики: „ведут, ведут".

— А?.. А? Кого ведут?—всполошился приятель бородача и заметался между барсуками.

— Чорта, папаша, поймали. Чорт по малину пошел, его тута и сграбастали!—зло и спокойно ответил Юда и похрюкал по свиному.

— Так какая ж малина ноне? Ведь не пора ей, друг!—поверил чистосердечно приятель бородача.

— Огня, огня...—покричал кто-то.

Бегунов зажег-было светильник, но его тотчас же опрокинули, и снова стояли потемки. В дверь вводили пойманного на поле.

— Огонька-а бы!—жалобно прокричал тот же голос.

Мишка чиркнул спичкой и поднял высоко над головой. Толстые, короткие, уродливые тени испуганно заметались по стенам. Но спичка потухла и снова на стены нахлынула тень. Кто-то зажег лучину и осветил неизвестного гостя.

— Это ты сейчас и пришел?..—едко спросил Семен у стоявшего перед ним Половинкина. Он узнал его сразу, хотя от прежнего Воровского продкомиссара оставалось только несколько неуловимых черт.

— Семен Барсук, это ты?—спросил Половинкин в упор и громко.

— Я, ну!—чему-то смутился Семен.

— Тебе письмо от брата! — и протягивал на разжатой ладони записку, смятую чуть не в шарик. Лучина потухла, но при ее последней вспышке уже различил Семен насмешку на Половинкинских усах

Общее недоумение охватило всех: еще не совсем забыт был Брыкин. Сам Семен ощутил странное волненье, сходное с тем, какое испытал в давней юности при встрече с Павлом. Семен взял записку и стиснул ее в кулаке. Никто не видал из-за темноты ту жалкую улыбку, которая набежала при этом на Семеново лицо. Опять зажгли лучину. Все молчали, глядели в Семена ждущими, выспрашивающими глазами. Юда, надув щеки, ловко сыграл на губах, и все поняли, что хотел сказать этим Юда.

— Ну, я пойду, — сказал Половинкин, вопросительно окидывая Семена, и почти повернулся уходить. — А может, убивать будете?.. — вдруг нерешительно повернулся он.

— Мы тебя на сей раз не тронем, один ты... — тихо отвечал Семен и знал, что барсуки его слушают так внимательно, как никогда. — Ступай, пожалуй.

— Может, глаза завяжете? — уже с нескрываемой насмешкой спросил Половинкин.

— Нет, так ступай... — сказал Семен, чувствуя, что приступает к горлу гнев: — Брыкина, дружка твоего, мы прикончили... слышал? — ударил он словом.

— Повесили, что ли?

— Не-ет, просто так... из ружья! — сказал Жибанда, в развалку подходя со стороны.

— Напрасно... — холодно откликнулся Половинкин. — Не стоило на такого пули тратить. На сук бы—и все.

— Может, к дружку своему хочешь? Места хватит там! — и Мишка, играя, больно шлепнул Половинкина по спине.

— Да уж что! Под землей места просторные, — охотно согласился Половинкин, словно не было ему больно от Мишкина шлепка. — Ну, я пошел... меня там подвода ждет! — И пошел из темноты землянки на растворенную дверь.

Барсуки расступались перед ним — негодующие, недоуменные, путающиеся в подозрительных соображениях, уже озлобленные, но безмолвствующие. Они ждали от Семена приказания... но Половинкин уже уходил, ушел, а Семен все кусал губы, мял в руках непрочитанную записку, трогал щеки себе, прислушиваясь к чему-то, делал тысячи почти незаметных движений, которыми выдавал свою растерянность.

...Ночью в сторожевую землянку пришел Жибанда. Полуодетая Настя сидела у стола, без сна. Она с вопросом подняла глаза на Мишку и движеньем головы закинула волосы назад.

— Ты не спишь? — сказал, оглядывая землянку, Мишка. — Что же дверь-то у тебя незаперта стоит? Я поговорить с тобой пришел... Не прогонишь?

— Дверь?.. Гостя жду,— сухо ответила та и, вытянув полуголые руки поперек стола, зевнула.— Длинное будешь говорить?

Мишка глядел ей куда-то в шею.

— А это правда, злая ты!— раздельно и сипло произнес он и подошел ближе.— Красивая, а злая... Ты не бойся, я с тобой в последний раз говорить буду. Ты уж выслушай, а там как знаешь...

— Бежать, что ли, хочешь?— тихо посмеялась Настя и потянулась, сильно выдаваясь грудью вперед.

— Ах, злая-злая...— качал Жибанда головой и не сводил глаз с голой Настиной шеи.— Что это ты, так и сидишь все? Злость копишь?

— Говорю тебе, гостя жду...— и подняла распрямленные брови с досадой, что таким непонятливым стал Мишка.— Ну, садись, чего ж стоять! Рассказывай, куда же ты побежишь?.. Сам к себе в карман спрячешься?

Мишка сильно вздохнул и уже вытаращил-было глаза, но поборол минутную свою вспышку,— покряхтел и сильно пригладил правый ус.

— Ты не смейся, не собака... Смотри, зашибить тебя могу. Раз я тебя люблю, значит и власть над тобой имею!

— Откуда ж твоя власть?— кусала губы Настя.— Спас ты меня... так ведь я тебе заплатила!— она встала, взяла с гвоздя кожан, накинула на плечи и снова села.

— Зачем ты маешь меня, Настька, так? Я к тебе не без дела пришел!.. Пришел сказать, что полный каюк нам. У мужиков не спокойно, Юда там...— Мишка, точно отчаявшись, скривил губы и погладил усы.- А вот в соседней губернии и вправду, говорят, начинается. Вот я и говорю тебе, что мне сердце велит! Лето мы с тобой в лесах перекочуем, а потом сызнова гульнем. А здесь нашей свечке неделя сроку всего, а там потухнет.— Мишка стал говорить тише.— Семен из упрямства не пойдет! Он ровно безумный какой-то теперь.. разъела его нужда эта, подкрепленье, подкрепленье! Расея!— сипло захохотал он, а руки держал в боки.— Расея! словно Расея-то за морем, гора такая... А мы и есть Расея! Я— Расея!— сердито с раздутыми ноздрями ткнул себя Мишка в грудь.— И откуда он слова-то такие выковыривает, дурак...— Он оглянулся на дверь.

— Ничего, это ветер,—предупредила Настя.—Ты говори, говории... Я его сейчас жду... Вот до его прихода и говори!..

Мишка раскачивался на табуретке, как бы томимый жаждой и страстью, глядел на голые руки и тяжело опускал взор.

— ...себя обманывает и нас всех в яму ведет. Он тебя не любит. У него свое есть! А ты ему заместо вина, ты пьяная... ты как отрава пьяная, как вино! Ишь, как ноздря-то ходит, ишь! Ходи, ходи, бубни-козыри!..— словно в смертном недуге выкрикивал Мишка.— А ты мне

всякая мила. Ну, что ж, и Дунька во мне другого голубила... и ты меня чужими словами травила. На чужих пирах объедки жру, ровно вор какой! — хохотал он с лицом, почти исказившимся.

— Ты где охрип-то так? — спокойно спросила Настя и, заметив Мишкины взгляды, зябко запахнулась в кожан.

— Там... — широко махнул на дверь Мишка, приходя в себя.— Лунища счас светит, холодная... Ветром от нее дует. Чорт!..

Настя встала, подошла к нему и подсела на краешек его табуретки.

— Ты все сказал?.. — спросила она и вкрадчиво погладила его волосы.

— А что еще?.. — насторожился Мишка и отодвинулся чуть-чуть.

— Ну, слушай тогда, я тебя слушала. Теперь ты! — она движением плеч сбросила кожан на пол, и села так, что могла видеть Мишкино лицо. Было такое, словно вычерпывали кувшинами буйную Мишкину волю взмахи отяжелевших Настиных ресниц. — Нет, ты не отвертывайся! Ты мне в лицо гляди, вот так! Видишь, какая я... Хорошая, плохая?.. Ну, отвечай... ты!

— Да-а... — невнятно мычал Мишка. — Ничего себе...

— Ну вот! Не он убил, а это он у Брыкина украл, я знаю. И теперь все озлятся, что Половинкина он выпустил, не дал потешиться всей этой... дряни! — прибавила она с трудом и не думала раскаиваться в неверно выпрыгнувшем слове. — А я вот жду его, Мишка, и каждая кровиночка во мне тлеет... Сколько кровинок — столько пожаров! Понимаешь? Напрягись и пойми! Ах, ты ведь не знаешь, какой он... Он — как река, вот! Мы не видим всего, потому что маленькие, да он и сам себя не видит!.. — она, раскачиваясь и заплетя на колене руки, озабоченно опустила глаза и вот прибавила. — Знаешь, Мишка... ведь ужасно это трудно вот... любить такого!..

И так долго бредила Настя, безжалостно береля Мишку. Семен пришел поздно. Когда он здоровался с Мишкой — оба хотели скрыть свои обоюдные замешательства друг перед другом, — Настя сказала шумно и радостно:

— Сеня, знаешь... — она положила руку на плечо Мишки, понуро глядевшего на ползшую по столу землемерку. Землемерка, раскачиваясь, ползла от огня, и, по мере удаления ее, удлинялась ее тень.— Он меня тут бежать уговаривал!.. — Настя внимательно следила за Семеном и, едва тот сделал движение рукой, перебила его. — Но он не уйдет, не бойся. Он с нами будет, до самого конца! Ты знаешь, Сеня... он ведь тоже ужасно хороший, только он—ну вот как бы...

— Жамши меня мать родила... Хлеб в поле жала и родила! Вот и такой и вышел! — грубо усмехнулся Мишка и, не взглянув на Настю, пошел вон из землянки.

## XXI. Встреча в можжевеле.

Записка, подписанная Павлом, звала Семена не на переговоры по барсуковским делам, как предполагал Юда, взмучивая барсуковские воображения, а совсем для иного. „Узнал я, что это ты и есть Семен Барсук... слышал о тебе... хочу повидаться, узнать, во что ты вырос". Местом встречи назначалась ямина на опушке Кривоносова бора, сто сорок шагов от дороги, двадцать — от повалившейся сосны. „И приходи по хорошему, завтра в полудень без оружья: нам и слов хватит. И без провожатых приходи... и я тоже один приду!" — Тон записки был таков, словно Павел не сомневался в Семеновом согласии.

Воспоминания о брате взволновали Семена, горечь и недоумение охватили его. Ночь, те два часа, что оставались после ухода от Насти до рассвета, он не спал, а просидел на своем пеньке, глядя в пустой луг и ожидая восхода. Солнце взошло как-то сразу и не в меру ретиво, и скоро начала разливаться в воздухе духота, покуда еще смиряемая утренней влагой. Начало дня обещало к исходу своему — грозу,—первовесеннюю проливную. Уже когда Семен выезжал на место свиданья с Павлом, повевало едкой пылью по дорогам, а кусты разлохматились, нахохлились, пряча лист от солнца и пыли. Вез Семена Барыков, но ехал еще и Супонев, не безоружный: под соломой, на дне подводы спрятаны две винтовки.

Желтое солнце взбиралось все выше по небу, совсем ровному и синему до синевы мрака, что сразу же и отметил Барыков.

— Ишь какое!..— ткнул он кнутом в небо.— Черное...

Супонев откликнулся:

— Широта-а!— и вдруг, в ответ своим мыслям ото всего сердца обратился к Семену:— эх, Семен Савельич, не понимаешь ты мужиковского сердца!..

Так они и ехали. На седьмой версте от землянок встретили толстую бабу из Попузина,— гремела телега, тряслась баба, и щеки у ней тряслись. Ее расспрашивал Семен, остановив подводу, крепко ли стоит у них Советская власть, не шатается ли. Попузинка отвечала, что-де крепко, что-де не шатается. И опять ехали, пока не указал Супонев, лениво копаясь в носу, на поваленное дерево:

— Не там ли?..

Семен соскочил с подводы и огляделся. Никого еще не было здесь кроме них. На молодой траве не виднелось ни копытного, ни колесного следа. Вправо, в полуверсте, змеился овражек;—ближайший его берег полого сходил вниз. Туда и велел Семен съехать Барыкову, там и дожидать — его ли самого, его ли свиста. Сам он недолго постоял у ямины, ковыряя палкой траву,— надоело, да и солнце жгло, несмотря на белую его рубаху. Он подался в лес, бесцельно околачивая палкой сухие сучки елей. А был май, полз копытень под ногами,

цвела голубель. Ее восковые, розово-белые цветы хрупко торчали на малых кустках, как крохотные ушки, настороженные слушать тишину утра, проникнутую влагой и острой лесной прелью. „Еще не приехал,— сообразил Семен.— Можно будет подглядеть, один приедет Павел, или нет"... И тотчас же эхом отозвалось внутри, что затем и приехал не один, чтобы хоть чем-нибудь воспротивиться надвигающейся издалека, жесткой воле Павла. Боясь упустить приезд Павла, он ходил по лесу вблизи самой опушки, делая как бы круги. Вдруг понял, что круги эти и есть признак его волненья. Несколько мгновений колебалось в нем неуверенное желание уехать назад, не повидавшись с Павлом. Он остановился и ударил палкой по толстой ели. Палка сломалась, осколок ее упал невдали. Уже с обломком в руке он продолжал ходить, ощущая в себе какой-то дерзкий напор.

Вверху застучал дятел. Запрокинув голову, Семен глядел, как выколачивал дятел съедобное из сосновой коры, за кору же и держась, быстрым и ловким клювом. Стук был непрерывен, мелок и быстр. Странное оцепенение нашло на Семена, кровь прилила к шее, шея затекла, а он все глядел на дятла и на небо, видное за ним. „Ишь ведь как, ровно молотком работаешь! А я не могу так, как дятел,— текла по телу оцепенелая мысль,— потому что у меня голова большая, а у него маленькая..." Вдруг Семену стало как-то чудно и любопытно; он подошел к дереву и сам постучал в него лбом, стараясь достигнуть дятловой быстроты и четкости в ударе. Четкость звука, как и быстрота, вовсе не удавались. Он хотел уже вторично попробовать, но обернулся неожиданно для самого себя и, облившись расслабляющей дрожью, увидел Павла.—Он узнал его сразу, несмотря на преграду прошедших лет, стоявшую между ними подобно мутному стеклу. Хромой, живой, настоящий, Павел сидел на дереве, положа руки себе на колени, и задумчиво следил за бородатым, вздумавшим подражать дятлу...

— Я тебя и не заметил тут, — в замешательстве сказал Семен, идя к брату и потирая красноту лба.— Ты давно тут?..

— Да уж минут двадцать сижу... — ответил Павел, вставая. — Я вот тут и сидел все время.

— Что ж ты мне не сказал, что ты тут?—обиженно упрекнул Семен.

— Да я думал, что ты видишь меня... А нарочно показываешь, что не заметил,— просто объяснил Павел.— А сперва-то я и не узнал тебя. Вижу, какой-то в белой рубахе...

Оба стояли друг перед другом, забыв поздороваться. Семен все тер лоб себе и с досадой следил, как овладевает им смутительное чувство неловкости.

— А ты здорово изменился,— отметил, подумав, Павел.— Борода эта у тебя... ведь раньше ее не было.

— Это ты правильно,— раздражительно согласился Семен.— Бороды раньше у меня не было... борода выросла потом!..

Теперь свистали вверху какие-то невидные птицы. Подуло ветерком, и две сосны заскрипели друг о друга.

— Грибы-то не поспели еще? что это мне... все грибами пахнет,— как бы и не заметил Семенова выпада Павел.

— Грибу рано, теперешний гриб червивый...— отвечал Семен, помахивая обломком палки.— Вот к жнитву...

— Ну-ну, ведь ты теперь лесной человек, знаешь...— поспешно согласился Павел.— Пойдем куда-нибудь поглубже, хочешь?— и испытующе поглядел на брата.— Вон туда пойдем, хочешь?— и показал туда, где усиливалась можжевеловая чаща, где стояли вечные сумерки, глухо пахнущие можжухой же, и опять наблюдал за движениями Семена.

— Пойдем, я не отказываюсь...— и пошли.— Не хочешь, значит, о домашних-то спросить? Оторвался ты от нас совсем, Павел...— сумрачно заметил Семен, обходя рослый куст можжухи.

— А что... умерли?— догадался Павел, на ходу обрывая веточку можжевела и нюхая ее, растертую в пальцах.

— Не отпевай раньше-то времени. Мать жива еще!— и ударил палкой в развилинку можжевелового ствола. Сучок оторвался и повис на тонкой ниточке коры.

Павел точно не замечал всех Семеновых движений,— шел просто, похрамывая на ногу с высоким, искусственным каблуком.

— А шумишь ты крепко!— заговорил он.— Гляди, из Москвы для тебя приехал. За три тыщи ты прослыл в Москве.

— Шумим, да...— подчеркнул Семен.— В борьбе права свои ищем.

— Ты что же,—эсер, что ли?—спокойно полюбопытствовал Павел, повертываясь к брату.

— Анархист...— насмешливо выпалил Семен и тоже покосился на лицо брата. Оно было непонятно и холодно, как книга, написанная на чужом языке.

— А-а, ну-ну, вали...— и остановился подтянуть спустившееся голенище сапога.

— Что ты акаешь!.. прямо говори!

— Да нет, ничего... так. Я люблю анархистов.— Павел как будто смеялся.— У меня в кашеварах анархист один. Ничего, ребята не жалуются, дело свое знает...

— А ты погоди издеваться,— опять сердился Семен.— Рано ты со своим Антоном с победой себя проздравляешь. Вот погоди: развернемся, тогда...— он оборвался, остановленный внимательным взором Павла.— Ну, чего смотришь?..

— А много ли вас тут... по правде если?— и тень улыбки коснулась Павловых коротких усов.

— Нас? Да вот одной летучей братии тыща, да еще...— напропалую пошел Семен и снова видел перед собой книгу непроницаемого смысла.

...Они подошли к месту, где когда-то гулял вихорь бури. Здесь, среди огромных можжевелов, гнили одно на другом три дерева, выдранных с корнем из земли. Павел сел на одно них, но гнилая древесина с хрустом осела под ним. Он пересел ниже и показал Семену место рядом, но тот остался стоять.

— Ну, а сотня-то есть?— спросил Павел, пробуя давешнюю можжевеловую ягоду на вкус.

— А вот считай три раза по сту, да еще вдесятеро... вот и будет в самый раз!— Семен отвечал, почти не думая.

— Зачем ты злишься? Драться мы потом будем... Я не затем пришел!—легонько пожал плечами Павел.— Ты мне уж очень любопытен теперь, Семен...— голос Павла смягчился до искренности, и Семена, когда садился, вновь кольнула тревога.—Очень я к тебе любопытен... я ведь сразу узнал, что это ты и есть! Я и вообще к человеку стал любопытен, ты не гляди, что я...— Он запнулся и лицо его на мгновенье омрачилось.— У меня вот в отряде сто сорок жратвенных единиц всего, а среди них — дьякон. Да-да, не дивись. Долговолос и теперь, а уж очень в нем такое... когда-нибудь в старое время крепко обижен был. Да я его тебе покажу потом, если захочешь. Вот я гляжу на него и все не могу понять, откуда столько берется в нем?.. Да и вообще в людях, брат, непонятного больше, чем понятного. Мне вот третьего дня в голову пришло: может, и совсем не следует быть человеку... Ведь раз образец негоден, значит на смарку его, дело простое. А и на смарку нельзя...— Павел криво усмехнулся.— Что ты тут поделаешь... человек, это, брат, историческая необходимость!..— Семен не понимал слов Павла, но ему показалось, что лоб у Павла стал как-то выпуклей, а губы вяло обвисли. Павел разглядывал жучка, ползшего у него по ладони.—Устал я, что ли,—не знаю. Вот теперь, на просторе-то и глупо как-то кажется. Думать всегда на просторе нужно, в лесу например... Да и чорт его разберет, человека!..

Только последнее „думать надо на просторе“ и понял Семен; оба теперь думали о разном. Обступавший их можжевел воплощал в себе, казалось, суть их молчанья. Можжевел — дерево скрытное, колкое, не допускающее в себя, замкнутое, строгое к жизни, самое мудрое из наших дерев: голубые и розовые кольца свои кладет скупо, неторопливо, и в каждом кольце запах покоя, молчания, знания. Травы в этом темном можжевеловом месте почти не было. Не нарушаемый человеком, он рос здесь высоко и густо, прозрачно, синих оттенков. На дне глубоких рек, где верхнее теченье уже не задевает низа, такая же безмолвная синева.

Они просидели на полусгнивших тех деревьях еще долго. В высотах звонкая кукушка вела свой непостижимый счет. Солнечный луч, который, пробившись сверху, бил в начале разговора в лицо Павлу, теперь уполз далеко и сидел на колкой можжевеловой хвое. Павел, все еще глядя на жучка, спросил у Семена о причинах, толкнувших

того на столь большой размах. Семен бестолково повторил все то, что говорил накануне барсукам. Волнуясь, он копал ямку обломком палки, но прежнего недоверия к Павлу как будто уже не оставалось в нем. Когда кончил, ямка в лесном прахе и свидетельствовала о Семеновом волненьи.

— Много ты тут наворочал,— заговорил Павел, рассеянно закидывая Семенову ямку носком сапога.— Я тебя не уговаривать, конечно, пришел, а уж если зарубил, то и выслушай...

Ямка все заполнялась, скоро она совсем сравнялась с землей, а травинка, засыпанная случайно и торчавшая теперь, как будто убеждала даже, что никогда и не было здесь ямки, а травинка так от века и росла. Потом говорил Семен и опять раскидал ямку, а Павел снова ее засыпал, и ни тот, ни другой не замечали. Они поднялись вдруг, словно по уговору и постояли так с минуту, несогласные. Искусственный каблук Павла пришелся как раз на ямку, только что засыпанную им же.

— А помнишь, Паша, как мы с тобой в подвале плакали вместе?..— грустно сказал Семен, подымая брови, и отшвырнул далеко обломок палки.

— Что это мне все грибной дух мерещится?— будто и не слышал Павел, идя рядом с Семеном из леса.— Да, вот я и говорю,— продолжал он,— все равно к нам придете... и не потому только, что мы вам землю стережем! Не-ет, без нас деревне дороги нету, сам увидишь! И ты не мной осужон... ты самой жизнью осужон. И я прямо тебе говорю, я твою горсточку разомну! Мы строим, ну, сказать бы, процесс природы, а ты нам мешаешь... А вот и грибы! Ты говорил, что нет грибов,— и Павел наклонился над пнем.

— Это поганки...—вскользь заметил Семен и встряхнулся. До опушки они шли молча.— Ну, я свою лошадь там, в овражке привязал!— развязно сказал он, стыдясь перед братом, что приехал не один, нарушив условье.

— И я там же поставил...— и покосился на Семена.

... Они подошли к скату оврага, тут стоял орешник, и оба сразу насмешливо переглянулись. Павел приехал тоже не один. Но не это удивило обоих. Верховой Павла, малый в кубанке с красным дном, сидел на Семеновой подводе, рядом с барсуками, и что-то оживленно рассказывал, сильно напирая на слова, обозначающие степень размаха, размах чувства. Оба, Барыков и Супонев, слушали с почтительным вниманием. Все они дружелюбно курили, и не было, казалось, никакой причины завтра же, быть может, сходиться на последнюю схватку.

— Вот видишь, как обернулось-то...— неловко сказал Павел.

— А что, Павел! Вот нас с тобой не было, посмотри как беседуют-то ладно!— подтолкнул брата Семен.

Павел дернул плечами.

— А ты послушай, о чем они беседуют! — холодно возразил он.

Судя по обрывкам, высокий в кубанке повествовал об усмирении какого-то дезертирского бунта.

— Митька!! — закричал во всю грудь Семен, выйдя из-за куста. —Подводу сюда!.. Чорт...

Внизу произошло замешательство. Барыков потушил в пальцах недокуренную папироску и окурок сунул себе куда-то в волоса. Рослый в кубанке засуетился у лошадей.

— ... и скажи своему Антону,—крикнул Семен, влезая в подводу, что-де крепколобы барсуки, нейдут на уговор!

— Ладно, — засмеялся Павел уже верхом на лошади, — скажу!..— Хромая нога Павла не мешала ему ладно сидеть в седле.

## XXII. Глава из отрывков.

Барыков, чувствовавший себя виноватым, ударил по лошадям.

— Семен Савельич, — обратился Барыков, когда отъехали от оврага версты на две,—на-ко, пригодится там тебе... в обиходе!—и протягивал Семену наган, — кобур, вишь, у него расстегнут был! Ну, вот, и смутило меня...

— Это у высокого, что ли?.. — усмехнулся Семен своим повеселевшим мыслям и всю дорогу вертел в руках уворованный у кубанца наган.

Дорога шла опушкой. На четвертой версте, где огибала дорога лесной мысок, услышал Семен равномерное поскрипыванье луба и лыка за поворотом. И почти одновременно увидел шедших навстречу подводе людей с лубяными котомками за плечами. Их было больше двадцати, бородачи из двадцать третьей, вся двадцать третья целиком. Татарченок, единственный молоденький среди них, шел с ними молча, как и все.

— Куда?.. — испуганно закричал Семен, соскакивая с подводы.

Бородачи в тяжелых сермягах стояли полукругом, глядели в желто-красный растрескавшийся прах дороги — песок с глиной, — вытирали рукавами потные лица. Было почти нечем дышать, парило. По небу, какому-то черному, замедленно плыли легкие облачка, похожие на белые лепестки. Но нижние поверхности их были плоски и сизы.

— Замиренье, сказывают!.. — вздохнул русый бородач, тот самый, который накануне со чрезмерной готовностью поддерживал Семена.

— Землицу-т отвоевали, а пахать некому... — не сразу прибавил его приятель и, вскинув грустные глаза на Семенову руку, все еще державшую наган, прибавил тихо: — Ты штуку-те эту спрячь... еще выстрелит!..

— Что ж, землячки, — заговорил Семен, со смущением пряча наган в солому подводы. — Зарубить зарубили, а отрубать кум наедет? —он

искал глазами какой-нибудь пары глаз и нашел: татарченок не мигая глядел в Семена.

— Моя село, Саруй, кончал бунтовать...—буйно вскричал татарченок и как-то сразу померк.

— Да вот и Половинкин тоже,—укоряюще переступил с ноги на ногу бородач.—Он мне весь дом перерыл, из огорода весь овощ повыкидал... Я и пришел сюда... отседа, думал, достану. А ты его без никакой пользы отпускаешь! Закон-справедливости, Семен Савельич, в тебе нету. Обидел ты меня, ох как обидел, страшно сказать... А уж я ль тебе не служил!?

— Ты не мне, Прокофий, служил,—оборвал его Семен.—Дело мирское. А уходить в такую пору нехорошо!

— Это уж конешно, обчество!—недовольно согласился Прокофий и встал боком.—А только мы не нанимались!..

— Нехорошо-о!—передразнил крепкий, плечистый, в высокой шляпе, и горько покачал головой—Это мы-те нехорошо? Крапивный у тебе лист заместо языка, Семен Савельич! Бумажка подкинута,—цену за тебя обещают, деньги дают, каб если мы тебя на суд выдали. А мы тебя рази, скажи вот нам, хоть бы пальцем тронули, ну!..

— ... и большие деньги!—огорченно вздохнул бородачев приятель.

Семен остолбенело глядел на бородачей.

— Ну, коли так... дороги наши, землячки, разные!—взмахнул плечами и скверно выругался он. Он медленно влез в подводу, бородачи все стояли. И опять Барыков хлестнул по лошадям, и телега помчалась по укатанной дороге, провожаемая понурыми взглядами бородачей. Семен не оглядывался.

— Э-эй... Семен...—закричали сзади, когда подвода уже укатила сажен на сто. Барыков попридержал лошадей, Семен оглянулся. Бородачи стояли на прежнем месте, но выйдя из-за поворота и горячо о чем-то споря. Самый молодой из них, маша руками, бежал к Семену.—Этого вот... Семен Савельич! Старички велят сказать, что хоть ругаешь их, а они не злопамятны. Велят сказать, что-де, если хлеба там нужа подойдет, ты засылай в Отпетово-те! Уж как-нибудь соберемся всем миром!..—Но бородачи кричали что-то еще.—Ой, кричат, о чем бысь?—прислушался посланец и недоумевающе покачал головой.-Вы погодите тута, я мигом слетаю... узнаю счас!

Он побежал назад, и в лубяном его коробке гулко сотрясались его пожитки. Семен ждал, царапал ногтем деревянную обивку полка Наконец, посланец вернулся.

— Ой...—закричал он, останавливаясь шагах в десяти от подводы.—Не так, парень, кинулось! Эвось Прокофий-те говорит, лучше не давать тебе хлеба-т! Уж во второй раз не простят ведь... Ты уж не засылай, не дадим. Живи себе с богом, как знаешь...—посланец, сняв шапку, виновато глядел в нее, будто нашел в ней что-то укорительное для себя.

— Гони, Митрий!..— зыкнул сквозь зубы Семен и, выхватив кнут, ам настегивал лошадей.

Казалось, что он на смерть собрался загнать Гусаковских кобыок. Он бил их с яростью крайнего, неутоляемого отчаянья, не глядя, уда придется удар: по крупу, по уху, по дуге, по чресседельнику. авно уж скрылись бородачи в пыли, а подвода все мчалась по песку ак по деревянному настилу, глухо гремя колесами, осью, винтовками од соломой. За версту до землянок Семен передал вожжи Супоневу:

— На, Ефим, правь... Надоело.

— Да уж чем же там править?—отвечал Ефим, не принимая ожжей.—Доганивай уж до конца. Чужие ведь!..

На вырубленном пространстве между землянками толпились и криали барсуки. Еще издали, по спинам их, уже угадал Семен, что Мишке, тоявшему на возвышении, образованном накатом поварской земляни, приходится совсем жарко. Мишка, стоя с грудью навыкат, красный, очно разваренный в кипятке, напряженно слушал костлявого мужика разодранной рубахе, налезавшего на него и махавшего растопыренными ладонями. Лицо Мишкино горело как в огне, лицо костлявого ыло внушительно и жестко, как кулак. Сбоку, тоже на накате, стоял ругой мужик, в штанах из клетчатой байки, с разбитым лицом. Всхлиывая время от времени, он проводил короткими пальцами себя по ицу и, покачивая головой, рассматривал выпачканные кровью пальцы. е далеко, окруженный летучими, сдержанно и бледно улыбался Юда, е принимая заметного участия в происходившем разброде.

— Ну, чего вы тут?—окрикнул Семен, появляясь из-за спин. Его стретили решительным и враждебным гулом. Злые и ядовитые замеания сыпались отовсюду, и тут лишь понял Семен, что не следовало му уезжать в то утро.—Не время теперь меня скидывать! Погодите, ам уйду...—презрительно и гневно бросил Семен и обратился к котлявому в разодранной рубахе.—Ну!

Тот подался назад, как от удара, и тотчас же, хлопнув себя по эдрам и приседая, толкнул на Семена искровянившегося мужика.

— ... дозволено ль? Дозволено ль так живого человека? Кто меет так живого человека?!..—чуть не приплясывал он.—Кровь, вон, видал? Кро-овь!! На, возьми себе!..—и, по хозяйски-проорно, прикоснувшись пальцами к кровяному лицу соседа, мазнул о белой Семеновой рубахе.—Мужучки, эвон, красная... кровца-те. екет из него...

— Ты постой, не лопоши, земляк...—со спокойствием бешенства становил того Семен и крепко сжал его за плечо.—Что ты ровно аба, ровно родишь—орешь.

— Мужучки, а мужучки... слышали? хрустнуло!—исступленно криал костлявый, вертясь ужом в Семеновой руке.—Плечо хочет выомать!.. За правду плечики мои гибнут... Заступитесь!

Барсуки перешептывались, и осуждение, стоявшее в их глазах, было холодное, бесповоротное. Но выступать почему-то, не решались.

— В чем тут дело, Миша?.. объясни мне,—тоном допроса спросил Семен у Жибанды.—Отвечай мне, я тебя тут оставлял. Громко отвечай, чтоб все слышали!...

— Двадцать третья ушла и девятая ушла...—сказал Мишка, недовольно отворачивая лицо.—И десятая тоже ушла...

— Дальше докладывай! —велел Семен.

— Еще вот от Попузинцев мужик наезжал. Подмоги просят. Началось у них еще с вчера... Я вот уговаривал, а они не хотят.

— А этого раскровянил за что?..

Мишка молчал, затихли и барсуки. Только тот, в штанах из клетчатой байки, все еще всхлипывал и размазывал по лицу застывающую кровь.

— А давай я расскажу...—предложил вдруг Юда, выходя от летучих.

— Говори,—согласился Семен и только тут, догадавшись, заискал глазами среди барсуков.

— Она в зимнице у тебя... в полной сохранности,—успокоительно и прежде всего сказал Юда, ловя Семеновы глаза. Он понизил голос:—о ней и шла тут речь без тебя. Мое дело сторона... а только злобятся, что тайком, украдкой, одним словом, с Мишкой пользуетесь. Я уж и не говорю о том, что не по праву ты место занял! Да и много там за тобой!—Юда, говоря, чистил себе ногти ногтем же.—А хочешь, по честному, а? Я их и подтяну сейчас, а?—он коснулся пальцами Семенова рукава.—По честному, услуга за услугу! Ну...

— Я тебя застрелю...—осипшим голосом сказал Семен, откидывая Юдину руку. Пот с него катился градом.

— В которо место застрелишь-то?..—поддразнил Юда и, постояв недолго, пошел прочь,

Барсуки разом загалдели. Костлявый стоял в беспокойной нерешительности, не зная, чем окончились Юдины переговоры. Тот в штанах из клетчатой байки, стирал в катышки налипшую на нос кровь. Евграф Подпрятов царапал ногтем дерево, показывая, что он тут не при чем.

— Ну, как же?—спросил Юда, встав на прежнее место.

— А вот как!—насмешливо закричал Семен.—Правда ваша, мужички... Помогать другим да Попузинцев поддерживать нам теперь не расчет!—и он посвистал, издеваясь над оторопелостью барсуков. Никогда не бывал Семен столь смелым.

— Да как же это так?..—Юда не предвидел такого хода и растерялся.—Ты же ведь сам все о подкрепленьи говорил. Теперь вот и надо бы итти.

— А я говорю: не ходить!—возвысил голос Семен и стал уходить, провожаемый недоуменным гулом барсуков.—И кто по домам хочет расходиться, могут!—крикнул он уже издалека.—Расходись-вали!..

...В зимнице было прохладно и темно, и еще казалось, что тесно. Настя говорила много и торопливо.

— ...я была наверху, когда Мишка ударил. Этот, клетчатый, сказал обо мне нехорошо. Мишка велел повторить. Тот повторил. Я убежала...

В стенах где-то скреблась мышь. Гуденье барсуков сюда недоходило.

— ...я Попузинца видала, верховой. Не-ет, безбородый! Я стала его расспрашивать, он сбился и ускакал. Я не знаю... Утром выходила — набат был. Долго били, словно нарочно, чтоб мы услышали...

Семен постучал в тесину стены.

— ...мышку пугаешь? Я вот уже час ее слушаю. Она сперва вон там где-то точила, потом все ближе. Слушай, зачем ты ушел от них? Ты с ними должен быть. Ты теперь ихний.

Приблизились шаги, вошел Жибанда, и дверь снова захлопнулась.

— Вы здесь? — окликнул он еще с порога, дыша точно после рукопашной.

— Ну, что там? — спросила Настя. — Кричат все?..

— Кричат! — Мишка прошел по темноте и сел, судя по голосу, на печку. Он задел, вероятно локтем, за трубу, трескуче выругался и ударил кулаком по трубе. — Выгнали!.. — и бурно пошевелился.

— Я пойду к ним... из-за меня началось, — твердо сказала Настя и встала.

— Нет, ты не пойдешь, — упрямо сказал Мишка. — Там теперь гниль начинается. Не пойдешь...

— А и пускай, к чортовой матери все! — отпихнулась от него Настя.

— Сиди, говорят! — прикрикнул строго Мишка и опять ударил по трубе, и опять ругнулся.

— Сеня... что же ты мне не говоришь, чтоб не ходила... а? А ведь я и в самом деле пойду, пожалуй! — каким-то особенно тонким голосом спросила Настя.

Но она не шла, а сидела по-прежнему. Время шло. Опять раскрылась дверь. Вошедший, Прохор Стафеев, припер дверь поленом, чтобы не закрывалась. Желтые и зеленые, отраженные листвой, отсветы ринулись в землянку.

— Садись с нами, отец, — хмыкнул Мишка носом. — До ножей-то не дошло еще?

— В поход пошли... — равнодушно, даже вяло, проворчал Стафеев и сел на чурбак, сложив руки на коленях.

— Их остановить надо!.. Остановить... Они ж на расстрел пошли! — возбужденно вскочил Семен. — В Попузине все спокойно, это Антон... Мишка, беги, упреди их... Вели назад!

— Не пойду, — не сразу ответил Мишка. — Ну их... — и выругался.

— Я пойду...—тоже не сразу предложила Настя и быстро пошла вон.

— А я сказал, сиди!—крикнул Мишка, догнал ее у самой двери и рванул к себе.

— Мишка, я тебе приказываю итти...—голосом, точно пробовал свои силы, приказал Семен. Зеленый блик падал ему на лицо и омертвлял его не менее, чем его закрытые глаза.—Ты слышал?

— Да уж чего там приказывать, парень. Ведь не на войне! Они уж Юду выбрали, теперь уж не ты. Юда и повел!—сказал Стафеев.—Юда, он и вернуться обещал...

— Где уж там вернуться...—слабо сказал Семен, кивая в сторону Мишки.—Побьют ребят.

— Сам бы шел!—ворчливо крикнул Мишка, идя к двери.

Настя бросилась за ним что-то сказать.

— ...и давно уж я говорил, что кончать надо,—рассудительно сказал Стафеев, гладя бороду.—Смехота! Рази может пара курей воз сена везти!?—и засмеялся.

— Врешь ты!—подскочил к нему Семен и, зажмурясь, замахнулся.—Врешь ты, ты мне другое говорил!..

— Чего ж ты замахиваешься-те?—спокойно откликнулся Стафеев.—Я не тебе это говорил, ясно дело! Хозяину и хозяйские слова... Дурачинка!—и остался сидеть в зимнице.

План комиссара Антона был совершенно верен. Нужно было разъединить барсуков и сильнейшую часть выманить в открытое Попузинское поле. Брать землянки в лоб было немыслимо: слишком много опасностей таила изрытая земля, а рисковать своими людьми было не в правилах Антона. Одновременно с окружением Юды был предпринят натиск на землянки. Подвигались тут медленно, обыскивая и выстукивая каждый аршин барсуковского леса. Но уже была пройдена линия сторожевой землянки, и никого до тех пор встречено не было: великим даром уговариванья обладал Юда.

С поля доносилась в лес трескотня пулеметов, воздух вспенился от звуков. Настя и Семен стояли у опушки, у березняка, возле Брыкинских, сизых теперь, крестов, и слушали. Густое, малиновое солнце окрашивало березовые листочки в бурый, мутный цвет.—В небе уже стояла готовая низринуться туча.

— ...ты стой тут!—вдруг надумала и решилась Настя.—Я попробую... Я сейчас лошадей приведу!—Семен нетерпеливо отмахнулся, и нельзя было понять: от Насти ли, от надоедливого ли роя комаров, вившегося у самого его лица.—Все равно, ты тут стой... Я быстро!—она побежала в сторону землянок, не оглядываясь.

Как раз в тот момент лес огласился первым выстрелом, рассыпавшимся на мелкие и ничтожные гулы,—словно каждое дерево, каждый сучок, каждая хвоинка повторила его. То на южной стороне

землянок Антоновы люди встретили бегущего Жибанду. Жибанда бежал, и за ним бежали. В чаще ему удалось обмануть погоню: подвернулось полено, от бросил полено влево и шумом его паденья отвлек погоню в сторону. Сам он почти бесшумно скользнул вправо и через минуту выскочил как раз на то место, где Настя ждала Семена. Сама она уже сидела верхом на лошади, лицом к опушке, а другую держала на поводу. Она не видала Мишку.

— Вот сюда... на эту садись, — скороговоркой, почти спокойно й кинула она, отпуская повод рыжей кобылки.

Мишка прыжком вскочил на лошадь, и оба одним махом вынеслись из леса в березняк. Тут только Настя увидела Жибанду.

— ...слезай!! — пронзительно закричала она с побелевшим лицом, округленными глазами уставясь в подмененного. — Эта для Семена... Слезай!

— Семен уж там! — махнул рукой куда-то впереди себя Мишка.— Гонятся... — и собственным картузом, козырьком его, ударил по глазам Настину лошадь.

...Их спас березняк, шедший в этом месте на много. Погоня же наткнулась на зимницу и шарила в ней осторожно, как мальчики — осиное гнездо. Было еще несколько выстрелов, но почему-то здесь, в открытом поле, не были они страшны. Лошади несли так, словно знали, зачем и куда...

Шла гроза. Заугрюмевшее солнце оделось в иссиня-черное. Ветер крепчал и нагнетал с востока духоту, зной, сухую, разъедающую пыль. Часть тучи, самая темная, была похожа на оживившуюся каменную голову. То, что служило бронью ей, вдруг приподнялось и все еще приподымалось, как вдруг вся линия горизонта придвинулась и заворчала. Солнца не стало, и свистящая зыбь принеслась по воздуху.

А двое мчались, не замедляя скорости. Уже хлестало их крупным ливнем, и ветер, как огромная метла, заметал с поля и мелкий сор, и тяжелые обрывки травы. Одновременно шел сплошной дождь из молний. Рябило в глазах, для глаза перемежались они с ночным мраком.—Была сильна и неистова та гроза, как первая, необузданная страсть молодого.

Ливень стихал, а скачка все не прекращалась. Но вот ветер передвинул тучу к западу, небо засинело, долетели до земли последние крупные капли. В сеней прорехе неба обнажился вдруг месяц, молодой и веселый, как бы новехонького серебра. Влево, под тусклой радугой, видны еще были серые полосы ливня, косо прочертившего небосклон. А здесь уже теплело. Луга кричали запахами. Шли быстрые сумерки...

— Я не могу больше... Все болит! — прокричала Настя, вся мокрая, и, остановив лошадь, стала слезать на мокрую траву. Уже сидя на траве, она вдруг замерла и прислушалась к чему-то, пугливыми глазами в синих кругах глядя себе на живот.

Мишка подсел к ней и взял ее за руку.

— Знаешь, Миша, — растерянно начала она, и слова ее звучали недоуменной жалобой, — я, кажется... — она не договорила и заплакала.

Так они сидели на траве, оба не думали о Семене. Шел холод. Лошади паслись на траве.

... Именно теперь, когда все стихло, Семен вышел из глубин леса и пошел к Ворам. Сапоги его, и без того дырявые, размокли в ливне и трудили ноги. Он присел на пень, снял их и кинул в кусты. Потом, уже босой, шел дальше. Ливень загнал в избы Антоновых часовых. Да Антон и не ждал никакого нападенья. После шума грозы настала полная тишь. Везде текли ручьи, возле Пуфлиной избы целый водопад свергался вниз.

Семена никто не остановил, пока он шел по селу. Воры как бы обезлюдели, даже ребята не бегали, всегдашние охотники посучить ногами вязкую грязь. Огня нигде не было, избы уныло как поздней осенью глядели мраками окон. — Попалась старуха Супонева на пути, она отшатнулась от Семена, но все же ответила на его вопрос. Семен после того пошел на Выселки, к Бабинцовскому дому. В воздухе было очень сыро.

На большом крыльце стоял стол, на столе свеча. Пламя ее не колебалось; полное безветрие. На ступеньках сидел Антон и диктовал что-то Афанасу Чигунову, изъявившему свое согласие потрудиться для Антона в должности временного писаря, — когда-то в штабе писарем состоял Афанас.

— А-а, — сказал Антон без тени удивленья. — Пришел же ведь! Ну, вот видишь...

— Сказать пришел, что ты, пожалуй, и прав был нонче утром... в лесу-то, — так же спокойно отвечал Семен.

— Это насчет чего? Насчет мужиков-то? — нахмурился Антон, поражаясь странным несоответствием черт Семенова лица: они все как-то разъезжались.

Афанас не глядел на Семена и грыз ручку пера, которым писал.

— Что это, на ноге-то кровь у тебя? — спросил Антон, подавшись немного вперед.

— Там! Через ручей проходил, порезался... — равнодушно ответил Семен.

Антон молчал и глядел теперь на то же, на что в эту же минуту смотрели и Настя с Мишкой, на месяц, — свежую березовую стружечку, игрой и удальством ветра занесенную за облака.

---

*Примечание редакции:* Из-за технической невозможности поместить целиком окончание романа в настоящем номере «Кр. Нови», редакция принуждена выпустить след. главы: *IV — Первая ночь у костра, V — Вторая ночь у костра, VI — Третья ночь у костра* и *XIII — Егор Иваныч теряет нить жизни.* Выпущенные главы войдут в отдельное издание романа *«Барсуки»*.

# Горячая гора.

**Елена Зарт.**

На правом берегу реки Ягноба, против кишлака Рават тянется цепь гор. На одной из вершин издали видны клубы дыма. Это Куи-Малак—„Горячая гора"—скрытый вулкан, из которого на памяти местных жителей никогда не было извержений, но который всегда, и летом и зимой, дышит раскаленными парами серы и амиака.

На горе живут люди. Там добывают серу и нашатырь. В раскаленных пещерах жарко даже зимой. А в самой глубине камни так накаливаются, что рабочие-мусульмане пекут на них свои лепешки.

Владелец разработок серы и нашатыря—дряхлый старик Абду-Наби.

Полуголые люди, ползающие по Горячей горе—его рабочие. Их около двадцати человек.

Сам Абду-Наби живет в Урмитане, но приезжает на своем маленьком, сереньком, как мышь, ишаке аккуратно два раза в месяц—посмотреть, как идет работа.

Рабочие смеются над ним, над его скупостью и жадностью, над его близорукими старческими глазами и трясущейся шеей, над тем, что у него две молодых жены—одной 18, другой 14 лет.

Но его боятся.

Он держит всех в железных лапах, опутал долгами, выдачами вперед и деньгами, и хлебом.

Полуголые люди давно уже перестали быть свободными людьми. Их жизнью и судьбой распоряжается хилый, сгорбленный старик на сером ишаке.

Он оставляет ишака в сторожке на верху первого подъема, а дальше, где вьется по обрывам узкая тропа — подымается пешком.

На нем белая длинная рубашка и штаны, белая чалма и легкий шелковый халат. Идет он, широко открывая беззубый рот, задыхаясь и выставляя кадык на сухой шее,— но не останавливаясь. Походка у него уверенная, руки цепкие. И кажется — несмотря на его слепоту, что он все видит, все знает, и от него не укроется никакая мелочь.

Почти все его рабочие из кишлака Рават, но есть и пришлые.

Муку, рис, чай, зигирное масло и все необходимое доставляют на ишаках, и редко с Горячей горы спускаются за чем-нибудь вниз.

Люди живут там совершенно отрезанные от всего мира. Ни о чем не знают, ни о чем не слышат. Все те же горы перед ними. Тот же клубящийся дым из раскаленной земли. Те же „пещеры“ с серой и нашатырем,—и два раза в месяц тот же карабкающийся, как паук, по скалам старик в белой чалме и шелковом халате, который является оттуда снизу, заставляя трепетать здоровых, мускулистых, загорелых людей от его отрывочной, придирчивой речи.

Больше им некого слушать и не о чем разговаривать. На Горячей горе или молчат, или ругаются.

И вот туда неожиданно явился человек, который принес с собой кусочек совсем другого мира, совсем другой жизни...

---

Его привел Абду-Наби.

Это был молодой, красивый мусульманин лет двадцати пяти.

У него зоркие проницательные глаза. Нос с горбинкой. Густые брови. Лицо открытое, смелое. На широкой обнаженной груди отчетливо вырисовывается каждый мускул. Он весь точно из бронзы.

Говорит, насмешливо щуря один глаз и скаля зубы, как волк.

Его зовут — Вахит.

Когда Абду-Наби поставил Вахита на работу, тот сказал без всякого смущения:

— Пока внизу холодно—работать буду. А весной—готовь деньги.

Абду-Наби посмотрел на него и сказал с непривычным благодушием:

— Хай, хай!.. [1])

И хотел уходить.

Но громадный неуклюжий рабочий Максум, голый, в одних штанах, остановил его.

— Домой надо. Отпусти на десять дней...

Абду-Наби поднял кверху свою тонкую трясущуюся шею с острым кадыком и сказал:

— Нельзя. Работы много. Подряд большой. Нельзя.

— Домой надо,—робея и переступая с ноги на ногу, повторял Максум.

Абду-Наби молча потряс головой и стал спускаться вниз по тропе.

Когда белая чалма его скрылась за выступами скал,—Максум проворчал:

— Кай мури!.. [2])

И как медведь, тяжело ступая, пошел к своей пещере.

---

[1]) Хорошо, хорошо.

[2]) Когда сдохнешь.

Рабочие молчали.

— Не пускает?—спросил Вахит.

Ему никто ничего не ответил.

О семейных делах при всех не говорят.

Но когда вечером Вахит снова спросил о том же Бово, безусого добродушного малого, лет двадцати, тот ответил:

— Максум давно просит—у него жена молодая. И племянник дома живет. Приходили снизу. Нехорошо говорят. Ему домой надо. Не пускает.

— А он взял бы, да и ушел.

Бово посмотрел на Вахита с удивлением: смеется, мол, он, что ли? И ничего не ответил.

Поздно, когда солнце спустилось за последнюю цепь гор, темная мгла быстро закрыла горы, и рабочие, поужинав, стали расходиться по пещерам на ночлег.

Вахит подошел к Максуму и спросил:

— Ты один спишь?

— Один.

— Я пойду с тобой.

— Пойдем.

Молча дошли они до просторной пещеры, где жил Максум, и молча уселись на разостланный палас.

— Тебе домой надо?—прямо спросил его Вахит.

— Да надо.

— Почему же не идешь?

— Не пускает.

— А ты возьми да уйди.

Максум посмотрел на Вахита так же, как Бово.

— Ну да,—повторил Вахит:—возьми и иди, куда тебе надо. Чего ты боишься-то?

Максум молчал.

— Должен ему?

— Должен.

— Много?

— Месяца за два.

Вахит помолчал и сказал злобно:

— Попробовал бы он не пустить меня!..

— Что же ты сделал бы?—с наивным любопытством спросил Максум.

— Я?.. А вот туда бы...

Он показал головой в сторону обрыва.

Максум промычал что-то. Не стал больше слушать и стал укладываться спать.

---

Рабочие с любопытством рассматривали своего нового товарища. В первый день Бово спросил его при всех:

— Ты откуда?

— Из Бухары, — отрезал Вахит.

И никто ни о чем больше не спрашивал его.

Но как-то вечером, когда все сидели вместе и пили чай, он сам заговорил о себе:

— Перезимую — а весной уйду на новое место. Или на рыбные промысла, или в горы баранов пасти. Не люблю жить на одном месте.

— Почему не любишь?—спросил старик Джалиль, с улыбкой глядя на него, как на маленького.

— А что хорошего на одном-то месте?

— А так-то лучше,—продолжал улыбаться Джалиль:—без своего дома нельзя. Нехорошо без своего дома.

У Вахита что-то загорелось в глазах, и он сказал:

— Я в России был. Не остался. Здесь лучше. Назад пришел. Где жить? В кишлаке? Как вы все живете? Не хочу. Так бык живет. Грязь да саман. Я не хочу так. Скоро по-новому жить будут. Я слышал! Тогда останусь где-нибудь. Тогда и дом будет.

— Как по-новому?—спросил Бово.

— По-новому. Чтобы всем одинаково хорошо было. Теперь уж и закон такой есть. Чтобы всем одинаково хорошо.

— Слышал я,—недоверчиво протянул Джалиль.—Не будет нового закона.

— Будет!—решительно сказал Вахит. — Больших боев убрали, скоро и маленьких уберут. Тогда и будет всем хорошо.

— Яман, яман!—крутил головой Джалиль.

— Правду говорю,—продолжал Вахит.—Абду-Наби живет в Урмитане, а вы здесь работаете. Разве вам не хотелось бы домой к себе? Максума не пустил. Тот боится и сидит здесь. А кого боится? Старик едва на ногах держится, а он его боится!.. Не буду я с вами жить. И до весны не доживу,—неожиданно озлобясь, закончил он.

---

К Максуму пришел из кишлака какой-то старик.

Они долго разговаривали о чем-то в стороне ото всех. Максум не работал весь день. Вечером старик ушел.

На следующий день Максума нельзя было узнать. Он ходил, как подстреленный зверь, и не находил себе места.

— Ты что, Максум?—спрашивали его.

— Хона равам!—отвечал он мрачно.

И шел то к одному, то к другому, то принимался за работу, то вновь бросал ее.

Всегда молчаливый и угрюмый, он был в каком-то необычайном возбуждении, но ничего другого не мог сказать и повторял упрямо:

— Хона равам! Хона равам!..

— Не пустит ведь,—попытался высказать свое мнение Бово.

Но Максум неожиданно рявкнул на него так, что тот невольно отскочил назад.

---

Приближался день обычного появления на горе Абду-Наби.

Смятение Максума возрастало.

Он то робел, то приходил в какую-то ярость и метался по горе.

— Вахит!—окликнул он ночью, когда тот уже улегся спать.

— Что?—отозвался Вахит.

— Мне надо домой... Я хочу сказать Абду-Наби... чтобы он пустил... Я заработаю после...

— Тебе надо домой?

— Надо.

— Ну, и иди.

— Как иди?

— Так и иди.

Помолчали.

— А Абду-Наби?

— Что Абду-Наби?

— Не пустит.

Вахит даже привскочил на своем месте:

— Абду-Наби! Абду-Наби!.. Что он с тобой сделает? Трус ты! Кабы мне надо было—взял бы и пошел,—вот и все.

Максум молчал и тяжело дышал в темноте.

— Теперь новый закон. А вы, как быки,—ничего не знаете.

— Да... я скажу... Придет Абду-Наби,—я ему скажу!..—радуясь своей решимости, сказал Максум.

---

И вот, как всегда, около полудня внизу между скал, замелькала белая чалма. Показался распахнутый шелковый халат,—и трясущаяся голова с полуоткрытым ртом появилась на вершине.

Наскоро поздоровавшись, Абду-Наби, как всегда, не теряя времени, стал ходить от одной пещеры к другой, осматривал сложенный материал. Делал свои замечания. И, главное, подгонял рабочих.

Максум издали следил за ним, не спуская глаз. Он смотрел исподлобья и, видимо, находился в состоянии крайней решимости.

Когда все дела были кончены и рабочие один за другим подходили к Абду-Наби со своими просьбами, последним подошел Максум.

— Хона равам,—сказал он тихо, но с необычной для него твердостью.

Абду-Наби вскинул на него глаза и как всегда отрезал:

— Нельзя, нельзя! Сейчас нельзя!

Хотел итти.

Но Максум сделал движение вперед и, как бы загораживая дорогу своим громадным телом, повышая голос, повторил:

— Хозяин, хона равам!

— Нельзя! — взвизгнул Абду-Наби: — сказал — нельзя. Срочный подряд. Деньги брать умеешь, — работать не умеешь.

И, не дожидаясь, что скажет на это Максум, как-то особенно быстро и цепко стал сбегать вниз по тропе.

Несколько мгновений Максум стоял неподвижно. Глаза его налились кровью. Шея побагровела. Он дышал тяжело, со свистом выпуская воздух из своей могучей груди. Громадные руки его были широко расставлены, как крылья.

Но вот он рванулся вперед и прыжками бросился за Абду-Наби...

Все стояли молча и не двигались с места.

Снизу послышался громкий неслыханный раньше голос Максума, похожий на звериный рев. В ответ визгливый голос отрывочно произнес что-то. Снова еще страшней заревел первый голос. Затем на мгновение все смолкло. И вдруг пронзительный нечеловеческий крик донесся до вершины горы.

Все невольно подались к обрыву. Точно ждали чего-то. Но крик не повторился.

А через несколько минут, на тропе показалась растрепанная опустившаяся фигура Максума. Он неуклюже ступал по камням босыми ногами, и руки его беспомощно и бессильно болтались как чужие...

* * *

Не могу держать спокойно плечи,
Мимо ветхих зданий проходя.
Слышу скорбный шопот человечий
И тревогу каждого гвоздя.

Слышу зыбь глухого распаденья
И знакомый обморочный тлен —
И трудолюбивые виденья
Расщепляют плоть ущербных стен.

Осыпая пыль, взрывая звуки —
То скребя, то каменно стуча,
Шевелятся, лезут, рвутся руки
Сквозь рябую старость кирпича.

И шумит горячее дыханье,
И вскипая бьет прибоем пот,
Кирпичи расходятся — и вот
Пред глазами каменное зданье
Тьмой рабочих обликов встает:

— Мы давно зарыты все в могиле,
Но ушли с земли не без следа —
Мы себя тугим огнем труда
В стройный облик зданья воплотил
Зданьем жили долгие года.
Жизнь неслась, как прежде, перед нами.
Мы могли о прошлом не тужить —
Крепкими, большими этажами
Были рады жизни мы служить.

Но теперь мы снова пред могилой...
Время так и точит зданье вспять,
Время так и хочет бренной силой
Плоть камней и плоть людей разъять.
Время и дождем и ветром точит...
Стал со стен срываться смертный бред —
Налетит на стены ветер ночи,
И, в стенах качаясь, забормочет
Смертным бредом твой сосед.

Слышу скорбь родной рабочей речи
И, как будто с ветра иль с дождя,
Я и сам качаюсь, вдаль бредя...
Не могу держать спокойно плечи,
Мимо ветхих зданий проходя.

*Василий Казин.*

# Море.

Вот она, стихия волновая
В беспокойной славе разливной!
Словно набегая, обливая
Хочет познакомиться со мной.
Но московской жизни мостовая
Так изгромыхала норов мой,
Что вот-вот и с моря звон трамвая
Набежит железною волной.

Море, море! Первое свиданье
У меня, московского, с тобой...
Ой, какой, какой большой прибой!
Прямо всем фонтанам в назиданье.
Так и бьет струей благоуханья
И соленой музыкой морской
Ласково смывает с ожиданья
Весь нагар шумихи городской.

Там, вдали волна с волной несется
Танцем голубого хороводца.
Там, где солнца пламенный обвал,
Там кипит слепящий карнавал.
Ну, а вот об это расколоться
Может и любой стальной закал —
Ой, да это ты, девятый вал!
Море, море! Твой прибой смеется...
Ты и не почуяло у скал,
Что сейчас я чуть не зарыдал:
Ничего я, кроме струй колодца,
С детства по соседству не видал.

Гаспра.

*Василий Казин.*

## ФОМ

Сюда в музей меня влекут
Не мумии и не гробницы,
Но бедный глиняный сосуд
И горсть египетской пшеницы.

Она особенно чиста,
Она немного больше нашей.
Еще до рождества Христа
Она лежала в этой чаше.

А раньше набиралась сил,
Чтоб стать высокой и густою.
И дважды за год мутный Нил
Вскипал над желтой бороздою.

И наклонялась без конца
Над почвой глинистой и вязкой
Узкоголового жнеца
Клинообразная повязка.

А после, с помощью раба,
Пекли египетские жены
Простые пресные хлеба,
С песком на корке обожженной.

И странно знать, что мы смогли
Замкнуть бы снова круг повторный,
В пределах северной земли
Смолов египетские зерна.

*Вера Инбер.*

## Октябрьское раздумье.

Эх, лампа! Долго ли тебе гореть,
А мне сидеть, над рифмами клониться?
Да что поделаешь, придется покоптеть,
Пока не кончена последняя страница.

Повеситься, как Коля Кузнецов,
Я не могу. Да и кому угроза?
Я знаю, здесь, на этом берегу,
Горит огонь, благоухают розы.

А там, на небесах, там чушь,
Там пустота, там холод и безмерность.
Да я-то уж туда не полечу,
Храня к земле супружескую верность.

Люблю я жизнь, как крепкое вино,
Как запах прошлогодних листьев,—
И горла мне не сдавит полотно,
Не задымится кровью выстрел.

Да и чудак: стихами вздумал жить!—
Такой продукт на рынке належится.
Какой-нибудь саратовский мужик
Ждет не стихов, а сапогов и ситца.

Эх, лампа! Долго ли тебе гореть,
Стен голых освещая безобразье?
Потухни, лампа,—начинает рдеть
Октябрьский день, наш семилетний праздник.

Проглянет он, торжественный рассвет...
А я пойду на Брянку, шут убогий.
Какой бы ни был я талантливый поэт,
А не порвал с железною дорогой.

Да, дружная и крепкая семья—
Их прокопченные, промасленные блузы,
Куда надежнее, чем кисея
Напудренной продажной музы.

В колонны строгие расставят нас,—
И стихотворное исчезнет суесловье,
И хлынет на меня из каждых глаз
Потоками веселье и здоровье.

На площадь Красную к родному Ильичу,
Где пахнет кровью и свободой,
Пойдем мы весело плечом к плечу,
Как в боевые годы.

*Н. Полетаев.*

# Игра в бабки.

Плоцку иль жох, а не то так и леву, катают у кона
Ванька, прозваньем Пискарь, Стенька и Митька Козлов.
Бабки все в парах, стоят под черед. „Изловчиться бы только,
С глазу свинчатку навесть, так чтоб весь кон загремел!
Можно б шесть пар запродать, две копейки карман не оттянут,
С ними ж на Троицын день смело иди на базар.
Купишь не купишь, а все при деньгах потолкаться не худо!"
Лишь заведется добро, каждый окажет почет.
Сколько там всякой диковины будет: в лесу на поляне
Прямо с телеги купцы вешают сласть на фунты —
Семечки, жамки, конфеты в бумажных махрах с позолотой,
Крупный волоцкий орех, сладкий как сахар рожок.
Рядом свистушки из глины: то звери, то птицы, — так свистнут,
После в ушах как горох, ссыпанный в закром, гремит.
Дальше с гармоньями парни, за ними гурьбою веселье.
Девки, молодки, народ праздничный, кто и хмельной.
Нет, обязательно надо к базару скопить хоть семитку,
Думает каждый боец, метится пристально он.
Ваньке удача: до самой черты разбежался, ударил
Крепко — и бабки летят, треск лишь идет по костям!
Видно, ребят обыграет, и хмурятся Стенька и Митька:
С эдаким чертом базар прямо из рук улетит!
„Ну-ка свинчатку свою покажи, тяжелее чем гиря,
Больше с тобою играть нам не подходит, вот что!"
Оба засунули бабки в карман и уходят в сторонку:
Надо ль последним добром вовсе за-зря рисковать?
Ванька считает: три пары он выиграл, копейка-то вышла,
Надо Бабурских ребят на остальную подбить.
Ванька насыпал за пазуху бабки, себя обрюхатил,
Низко надвинул картуз и на порядок пошел.

*П. Радимов.*

# Ткач.

Я мог бы сердцу приказать: постой!
Утихомирься на одну минутку.
Не уловить вертлявый и простой
Челнок — в станке ныряющую утку.

День постучал и полился в окно.
Цветистей стала пряжа под руками.
И я гляжу: какое полотно,
Как вешний луг, разряженный цветами.

И в памяти встает она,
Далекая и близкая такая,—
Нежней чем шелк любого полотна
И ласковей полуденного края.

Играй и бегай, бегай и гори,
Любимый мой, челнок мой, плавай, плавай.
Какое мне ей платье подарить?
Чем угодить ее глазам лукавым?

Цвет голубой похож на мокрый плащ.
Я думаю, к лицу ей будет — алый.
А то, пожалуй, скажет: глупый ткач;
Не знаешь, что ли, голубой — линялый.

Ах, вейся, вейся, маревая вязь.
Шестерки, пойте, пойте и звените.
В моей душе такая ж заплелась
Цветная радость из шелковых нитей.

*Федор Амелин.*

# Уход.

Под окном
Кудрявая рябина
Забралася на крыльцо,
У рябины
Ночку Катерина
Проводила с молодцом.
Не видал никто.
Егор постылый,
Муж постылый
Крепко спал.
У рябины
Катерину милый
Красною рябиной осыпал.
У крыльца,
У темного крылечка,
Комсомолец песню пел.
Не слыхал никто,
На пыльной печке
Катеринин муж храпел.
За сараями
Журчала речка,
С речкою
Шепталася трава.
У крыльца,
У темного крылечка
Катерину милый целовал.
Говорила Катерина:
— Коля,
Жизнь моя
Была горчей полыни.
Есть осина
За деревней в поле,
Вешаться хотела
На осине.

Слушал парень,
Долго слушал
Катеринины слова.
Ведь и раньше он
Любил Катюшу,
По Катюше тосковал.
В Красной армии,
И там, бывало,
Вспоминал он
Катины глаза, —
Даже там
Где землю разрывала
Орудийная гроза.
Все прошло,
Не слышен свист картечи,
Только руки
Пахнут дымом...
Рад Николка был
Желанной встрече
С прежнею любимой.
У крыльца,
У темного крылечка
Все узнал,
Хоть правда и горька...
Силой выдали
Катюшино сердечко
За Егора — кулака.
Сыпал ветер,
Листья сыпал,
Катерина
Сыпала слова.
Где-то за двором
На старой липе
Плакала сова.
Слушал парень,
Долго слушал,
Не легко жилося Катерине.
Падали в садах
На гряды груши,
Трескались ядреные
В малине.
Не боялись
Катерина с Колькой,
Что на утро
Сплетня прожужжит...

Лишь бы им
Не расставаться только,
Лишь бы вместе жить.
У крыльца,
У темного крылечка,
За полночь
Светились два лица,
Не одно
Сердечное словечко
Прозвенело у крыльца.
А когда
Малиновым нарядом,
Полыхала зорька на пару,
Шел Николка
С Катериной рядом
К своему двору.
На лугах,
У голубых озер,
Голубое утро пело, —
Вторил утру
На пригорке бор,
Спела утренняя песня,
Спела.
В это утро
У колодца бабы
Катерину не встречали.
На пруду
Кричали жабы,
Утро величали.
Про уход
Узнали под обед, —
Лег на грудь Егору
Будто камень.
На печи
Седоволосый дед
Разводил руками.

*И. Доронин.*

## КЛЯЧА.

*А. Малышкину.*

Ох, кого-то укоряет лошадь
Голой костью, кровью на спине,
Будто с тяжкой, будто с древней ношей
Шла по длинной, каменной стране.

И снова ждет, пока кнутом подует, —
Так учил немилосердный путь.
Опустила голову худую
И не смеет в небо заглянуть.

Только редко взглянет глазом узким,
Мутным глазом с гнойною слезой,
И повеет жалобою русской
И великой русскою тоской.

Вон — дороги пыльные, прямые,
В небе — тень невыпитой грозы.
Длинная, пустынная Россия,
Серые, скрипящие возы...

Сохнут ноги, очи мутно плачут,
Кость на гриве круче и острей.
Дни пройдут — свезет на свалку клячу
Пара быстрых, пламенных коней...

*Геннадий Коренев.*

## Песнь о шахтере.

Темен подземный ход и змеист,
Здесь, в беспросветьи шахт,
Горько звучит, как бурлацкий свист,
Каждый рабочий шаг.

Рубят, обламывают пласты,
Сталью вгрызаясь в уступ,
Руки наметаны, как винты,
Сомкнуты кольца губ.

Прочны мускулы, верен глаз
Сквозь темноту и штыб.
Каждый, почти, узнает в свой час
Кашель и душный хрип...

Солнцем пронзен, крылат борьбой,—
К свету бы, в день, в сады.
Как тут вползать в сырой забой,
Гулкие метить пуды?

Каждое утро шел он туда,—
Место ли там орлам?—
Где черноликая душит руда
Звезды шахтерских ламп.

Ведь на земле: воздух и та,
Та, что дороже всех,
Дом, веселье и красота,
Книги, зрелища, смех.

Здесь: вагонеток мчится табун,
Грохот обвалов в ушах,
Словно затеяли пьяный бунт
Колкие стены шахт.

Вдруг—скрежетанье, дым, стон...
Мутное пламя взвив,
Пушечным залпом в черный бетон
Вскинулся бешеный взрыв.

Шахтер не вернется к свету, к ней,
Кончилась песнь о нем.
Только на дымной, кривой стене
Кровь запеклась огнем.

*Нина Грацианская.*

# А. Ф. Керенский.

(Опыт политической биографии.)

**Дм. Сверчков.**

(Продолжение.)

## VIII. Керенский—военный и морской министр.

Керенский — военный и морской министр. Он отказался опубликовать свою программу. «Определенная программа у меня имеется, — заявил он журналистам, — но я предпочитаю не говорить о ней... Я уезжаю на фронт и, я уверен, буду иметь полное основание рассеять тот пессимизм, который сейчас очень распространен даже среди некоторых начальствующих лиц».

Словом, «я уезжаю», — а там вы увидите сами, что я буду делать.

14 мая Керенский издает приказ по армии — о наступлении.

«Не для захватов и насилий, а во имя спасения свободной России, — говорит Керенский солдатам, — вы пойдете туда, куда поведут вас вожди и правительство... Вы понесете на концах штыков ваших мир, правду и справедливость. Вы пойдете вперед стройными рядами, скованные дисциплиной долга и беззаветной любви к революции и родине».

Увы, ныне из записок бывшего французского посла Палеолога известно, что подготовка к наступлению, а равно и самое наступление 18 июня были приказаны Керенскому союзниками, что «на концах штыков» наши войска должны были понести — заведомо для Керенского — не «мир, правду и справедливость», а все те же аппетиты англо-французской буржуазии!..

Имея в кармане этот приказ союзников, Керенский говорит повсюду: в окопах, на судах, на парадах, на с'ездах, в театрах, в городских думах, в советах, в Гельсингфорсе, в Киеве, в Риге, в Двинске, в Одессе, в Севастополе: «...Кто смеет думать, что мы взяли власть для того, чтобы проводить свои планы на чужой крови?.. Ни одна капля крови свободных русских граждан не прольется ради посторонних целей...».

Да, Керенский не проводил «свои планы на чужой крови», а старался провести чужие планы на русской крови...

18 июня началось наступление русской армии, окончившееся через несколько дней полнейшей неудачей...

Коалиционное правительство составлено. В него вошли 6 министров-«социалистов». Председателем остался князь Г. Е. Львов. Этим сохранялась «преемственность власти» от самого Николая II, о чем так заботились Милюков с компанией. Исполнительный Комитет Совета гарантировал «полную и безусловную» поддержку коалиционному правительству.

В чем же заключалась деятельность этого правительства? Чем характеризуется его пребывание у власти?

Земельный вопрос министром земледелия, знаменитым Черновым, был разрешен так: самым основным вопросом он признал «вопрос о сохранении земельного запаса, распоряжение которым будет принадлежать Учредительному Собранию», и «проектировал» проведение через Временное Правительство законоположения, касающегося купли и продажи земли.

Пока лидер партии с.-р. Чернов «проектировал» проведение такого «законоположения» — его товарищ по партии и по министерству, Переверзев, распорядился о том, чтобы никаких ограничений земельным сделкам на местах не чинили... Другой лидер той же злополучной партии с.-р. Авксентьев раз'яснил, что «приказ Переверзева был издан им частным образом (!)», а что сейчас Временное Правительство «издает декрет, запрещающий навсегда мобилизацию земельной собственности»... Сказал, — и солгал, ибо правительство, в котором посты министра земледелия и министра юстиции занимали члены партии социалистов-революционеров, считавшейся защитницей крестьянства, так и не издало никакого декрета о запрещении земельных сделок...

После Февральской революции стихийно были выгнаны все губернаторы и заменены «комиссарами Временного Правительства» Однако прежние вице-губернаторы продолжали и при коалиционном правительстве состоять на службе и получать жалованье. Земские начальники, насаженные царем в каждом уезде, чтобы приводить крестьян в подчинение помещикам и охранять права последних, только законом о местном суде от 9 мая были лишены судебных функций, но... остались во всех прочих правах на своих местах и в количестве многих тысяч продолжали получать жалованье... Само собой разумеется, что при коалиционном правительстве, заслужившем полного и безусловного доверия Чхеидзе и его «демократии», были полностью сохранены... чины и ордена, что газеты пестрели титулами действительных статских и тайных советников, что по военно-санитарному ведомству (министерство Керенского!) было об'явлено, что только «женщины не подлежат награждению чинами и орденами»!!.

Быть может, кто-нибудь подумает, кто коалиционное правительство поспешило издать закон об отмене сословных ограничений? Он жестоко ошибется. Обратясь к истории, он узнает, что еще первое Временное Правительство Милюкова разработало проект об уничтожении сословий (но «не успело» его принять), но что коалиционное правительство «полного доверия» 13 мая «приостановило» движение этого проекта и... оставило сословия со всеми привилегиями для дворянства и с ограничениями для крестьян и рабочих.

«Приостановление» проекта об отмене сословий коалиционное правительство мотивировало тем, что для проведения проекта в жизнь «потребовался бы огромный труд по пересмотру всех 16 томов свода законов, так как во всех томах имеются упоминания о сословиях»!

Кроме вице-губернаторов и земских начальников при коалиционном правительстве продолжали существовать и Государственный Совет, и Государственная Дума. Члены их получали «законом присвоенное содержание». На царский Государственный Совет декретом от 21 мая были даже возложены некоторые обязанности!

«Социалист» Переверзев, заняв пост министра юстиции, поспешил восстановить статью 129 царского уголовного уложения, применявшуюся жандармами для борьбы с политическими преступниками. Она понадобилась для борьбы с большевиками. Ею вводилась — по старинке! — 3-летняя тюрьма за устный или печатный призыв к неповиновению или противодействию закону, постановлению или распоряжению власти, а для солдат это наказание повышалось до каторжных работ.

«Верховная комиссия» для расследования преступлений главных деятелей старого режима действовала вяло и за все время сумела провести только один процесс б. военного министра генерала Сухомлинова, обвинявшегося в измене и в получении взяток. Она кое-как работала при Милюкове, но ее деятельность свелась на-нет при «социалисте» и друге Керенского, Переверзеве. Этот министр-социалист щедро прекращал дела и освобождал из тюрьмы гнуснейших деятелей царских застенков, вроде жандарского ротмистра погромщика Собещанского.

Думаю, этих примеров довольно, чтобы характеризовать «коалицию». Перейду к деятельности Керенского.

Я уже говорил о том, что наступление 18 июня, по словам французского посла Палеолога, было потребовано союзниками. По этому поводу также имеется авторитетная ссылка генерала Лукомского, бывшего тогда начальником штаба верховного главнокомандующего. Лукомский пишет (Ген. А. С. Лукомский, Воспоминания, т. I, стр. 162, Берлин 1922 г.):

«Союзники настаивали на начале активных действий на нашем фронте.

«...Наступление было намечено на всех фронтах. Наиболее сильный удар намечался на Юго-Западном фронте. Дабы подбодрить войска и влить в них «революционный порыв» [1]), Керенский отправился на Юго-Западный фронт».

После сильной артиллерийской подготовки, 18 июня началось наступление.

«...Прорыв фронта германцами несколько севернее участка, где нами наносился главный удар, повлек за собой паническое отступление почти по всему Юго-Западному фронту. Только применением суровых мер и массовыми расстрелами дезертиров удалось в конце концов остановить врага. Но при отступлении были потеряны большие артиллерийские склады и значительное

---

[1]) Кавычки Лукомского.

количество артиллерии... Временное Правительство убедилось, что одними уговорами ничего не поделаешь...»

Поездка Керенского по прифронтовым районам была описана в газетах, как сплошной триумф.

Вот как повествовало о ней «Русское Слово»:

«Могилев, 20 мая. Прибывшего Керенского встретили приветствиями представители целого ряда военных и рабочих организаций. В приветствии одного представителя военной организации указывалось на ту огромную, титаническую работу, которую выполняет сейчас министр.

«— Если рок сделает необходимым ваш уход с поста военного министра, то мы, военные, проклянем этот рок. Мы хотим вас, мы хотим работать с вами.

«Затем говорил приветствие крестьянин. Он уверял, что крестьяне отдадут и уже отдают хлеб армии.

«— Мы надеемся, что и капиталисты отдадут родине свой капитал...— прибавил он».

Характерно, что даже в лакействующих перед Керенским газетах проскакивали такие ядовитые для Керенского и «министров-социалистов» надежды... Что на это ответил Керенский, — неизвестно. Вероятно, ничего...

На митинге социалистов-революционеров в Киеве 19 мая Керенский, конечно, произнес большую речь, из которой крайне любопытны следующие слова:

«— Многое, на что я хотел бы отвечать, как с.-р., мне приходится выслушивать молча, как министру...»

В других газетах эти любопытные слова были переданы так:

«— Было бы великой ошибкой, если бы я воспользовался властью во имя партийных интересов, поэтому мне многое приходится выслушивать молча, не возражая...»

После неудачи наступления Керенский вернулся в Петроград.

Чем он занимался как военный и морской министр?

Об этом интересно рассказывает его товарищ по партии, назначенный им верховным военным комиссаром, Станкевич (Воспоминания 1914—1919 г.г., стр. 144, Берлин 1920):

«Все время министерству приходилось выдерживать напор странных, а подчас и подозрительных лиц. Все считали своим долгом спасать армию, и очень многие хотели на этом и поживиться. Какой-то офицер предлагал устроить заговор против Совета и, собрав на Дворцовой площади солдат, желающих итти на фронт, произвести переворот. Баткин с карманами, полными ассигнациями, показывая эти ассигнации своим собеседникам, рассказывал о своих успехах на митингах. Капитан Муравьев таинственно нашептывал о необходимости ударных батальонов, составленных из юнкеров. Представители различных общественных организаций требовали субсидий для просветительной деятельности на фронте... Так трудно было отгородить от этого Керенского, что невольно отрывало от более существенных дел».

Станкевичу не приходит в голову, что Керенский должен был немедленно арестовать лиц, которые предлагали ему, например, заговор против Совета, а не мирно беседовать с ними...

«Но главная трудность, — продолжает Станкевич, — была в том, что не было определенной программы деятельности. Формально, словесно, вопрос ставился о необходимости строить «новую», «революционную» армию. По существу же, поскольку главной задачей ставилось продолжение войны на фронте, в основу деятельности мог быть положен лишь чрезвычайный консерватизм, цепкое, упорное отстаивание всего старого и, пожалуй, лишь выдвижение новых лиц».

Такая «двуединая» политика привела неизбежно к полной деморализации не только военного министерства, но и всего правительства, о чем очень красочно повествует генерал Деникин, заслуживший полное доверие «демократии» Керенского, — ведь Деникин был назначен верховным главнокомандующим Временным «революционным» Правительством после генерала Алексеева! Деникин дает уничтожающую характеристику не только правительства, но и руководителей Совета того времени:

«...Отсюда — эти странные на вид противоречия: князь Львов, говоривший с трибуны: «процесс великой революции еще не закончен, но каждый прожитый день укрепляет веру в неиссякаемые творческие силы русского народа, в его государственный разум, в величие его души...». И тот же Львов — в беседе с Алексеевым горько жалующийся на невозможные условия работы Временного Правительства, создаваемые все более растущей в Совете и стране демагогией. Керенский — идеолог солдатских комитетов с трибуны, и Керенский — в своем вагоне нервно бросающий ад'ютанту:

«— Гоните вы эти проклятые комитеты в шею!..

«Чхеидзе и Скобелев — в заседании с правительством и главнокомандующими, горячо отстаивающие полную демократизацию армии, и они же — в перерыве заседания в частном разговоре за стаканом чаю признающие необходимость суровой военной дисциплины и свое бессилие провести идею ее через Совет» (Ген. Деникин, Очерки русской смуты, стр. 75, т. I, ч. I, Париж).

Конечно, при таких условиях «главнокомандующие» и в ус не дули, читая приказы Временного Правительства и резолюции Совета. Ведь там, «в частном разговоре за стаканом чаю», внутренняя подоплека этих распоряжений и приказов была расшифрована и Львовым, и Чхеидзе, равно как и их настоящие точки зрения...

Борьбу классов внутри России нельзя было остановить резолюциями и постановлениями соглашательского толка, она не затихла от образования коалиционного правительства, долженствовавшего «примирить» все противоречия на принципе «государственности», она не смягчилась от уговариваний Керенского вкупе с социалистами-революционерами и меньшевиками.

Милюков и Гучков вышли из состава правительства не для того, чтобы сидеть сложа руки или поддакивать классовым миротворцам. Они были го-

раздо дальновиднее Керенского, Чернова и Чхеидзе. Они ушли для того, чтобы сгруппировать вокруг себя все недовольное «демократической» властью, они начали организацию контр-революции.

С другой стороны, крестьянство не могло удовлетвориться откладыванием разрешения аграрного вопроса в неизвестное будущее, рабочие не могли помириться с возложением на них и на трудовое население тягот войны, хотя бы такое возложение делалось архи-демократическими руками. В результате произошли события 3 — 5 июля 1917 года.

Кризис правительства начался 2 июля вследствие несогласия буржуазных министров с актом об Украинской автономии.

Керенский был на Западном фронте, у генерала Деникина. Князь Львов, сообщая ему о противоправительственной демонстрации петроградских рабочих, начавшейся 3 июля, «вызывал его немедленно в Петроград» — как пишет генерал Деникин (Там же, стр. 118), «но предупреждал, что не ручается за безопасность его жизни...».

Какой поворот! Любимейший министр, сначала «заложник», а потом — полноправный представитель «демократии», которого на руках носили по всем зданиям, где только он ни выступал, и вдруг!.. кто же? — либерал и представитель буржуазии Львов, помазанный на премьерство самим Николаем II, не ручается за безопасность его жизни!

Керенский благоразумно переждал острый момент вне Петрограда...

18 июня в «Правде» была напечатана следующая статья: «Долой десять министров-капиталистов! Вся власть Советам! Это говорим мы. Это скажет вместе с нами, мы уверены, громадное большинство петроградских рабочих и петроградского гарнизона. Ну, а вы, господа? Что скажете вы по важнейшему из всех вопросов? Вы выдвигаете лозунг: «полное доверие», но... только Советам, а не Временному Правительству. А куда же девалось полное доверие Временному Правительству, господа? Этого лозунга не найти ни в «Рабочей Газете» [1]), ни в «Известиях», ни в «Деле Народа» [2])... Почему прилипает у вас язык к гортани?.. Дело сводится к следующему: в широчайших кругах петроградских рабочих и солдат коалиционное министерство за месяц-полтора скомпрометировало себя безнадежно... Наиболее чуткие из вас не могут не заметить того, что итти теперь к петроградским рабочим и солдатам с лозунгом «доверие Временному Правительству»—значит вызвать недоверие к себе самим».

Главу о коалиционном правительстве 6 мая — 7 июля проф. П. Н. Милюков озаглавил в своей книге «История второй русской революции» следующим образом: «Социалисты защищают буржуазную революцию от социалистической».

Вполне правильное название. Дело только в том, что их «защитой» не остались довольны ни рабочие, ни буржуазия. Рабочие поняли, что «защита» — это парламентский термин, по-русски же надо было бы сказать

---

[1]) Орган меньшевиков.

[2]) Орган с.-р.

прямо «предательство», буржуазия не желала попробовать сама «защитить» свое бытие и свои капиталы.

Заключительным аккордом деятельности коалиционного правительства было издание приказа об аресте т. Ленина и других большевиков «за участие в восстании 3 — 5 июля».

## IX. Правительство реакции под председательством Керенского.

П. Н. Милюков в своей «Истории второй русской революции» (т. I, вып. 2, стр. 9) так характеризует деятельность Керенского в правительстве: «Личная роль Керенского в первом министерстве в качестве «заложника демократии» сводилась к парализованию всех попыток власти быть властью и всех ее усилий воспрепятствовать процессу организации «революционной демократии» под партийным политическим флагом. Во втором правительстве А. Ф. Керенский принял на себя положительную и в высшей степени ответственную роль возродителя боевой мощи армии на основе революционного энтузиазма и «революционной дисциплины». Конкретная задача поставила его лицом к лицу с необходимостью принятия конкретных мер, не укладывавшихся в кодексе «непротивления». А это привело его к полному противоречию с партийными единомышленниками и с самим собою. Из этого внутреннего противоречия ему так и не удается высвободиться, когда ход событий выдвигает его на пост главного носителя высшей власти. Постепенно противоречие становится все более заметным и для окружающих. Вместе с тем все более выдвигается личный элемент поведения этого общественного деятеля. Всей силой перегибая революционную колесницу в сторону твердой власти, основанной на реальной поддержке (со стороны буржуазии, конечно. *Д. С.*), но не решаясь порвать и с утопией, которая тянула эту колесницу в бездну, Керенский чем дальше, тем больше становился единственным связующим звеном между флангами, утратившими взаимное понимание, при центре, продолжавшем терять поддержку массы. Политическая позиция, вначале понятная и даже неизбежная, все более превращалась в одинокую позу, выдерживать которую становилось трудно для актера, а наблюдать со стороны — невыносимо для зрителя. И дальнейшее пребывание в этой позе об'яснялось уже не порывом общественного служения, а влечением личного вкуса»...

Этой характеристике, данной Милюковым, нельзя отказать в правильности. Он раньше других своих единомышленников понял, что с Керенским многого не сделаешь, и ушел в сторону, сделавшись центром сначала правой оппозиции, а потом и прямого заговора. Другие сотоварищи Милюкова еще долго толклись возле никчемного адвоката, боясь открыто итти против Советов и надеясь все-таки использовать Керенского, как ширму для Корнилова.

Новое правительство — под председательством Керенского — заблистало и новыми именами. Министром внутренних дел стал один из лидеров меньшевизма — Церетели, министром земледелия — Чернов. Казалось бы,

тут-то и должна проявиться демократичность новой власти: три главнейших портфеля принадлежали представителям эс-эров и меньшевиков: Керенский — руководитель и председатель, Церетели — организатор и законодатель в области внутреннего устройства, а лидер и теоретик партии эс-эров — знаменитый В. М. Чернов должен был попытать свои силы в практическом проведении в жизнь аграрной программы, над которой он работал столько лет.

Новое правительство начало с декларации. Оно обещало действовать «с энергией и решительностью» на оба фронта против «анархии» и против контр-революции. В области аграрного вопроса Чернов заявил, что земельные мероприятия «по-прежнему определяются убеждением, что в основу... должна быть положена мысль о переходе земли (слово «всей», имевшееся в декларациях прежних правительств, исчезло!!) — в руки трудящихся...» и «организованная деятельность земельных комитетов...», «не предрешающих основного вопроса о праве собственности на землю»!!!

Где взять красок, чтоб достаточно ярко обрисовать творца «революционной» земельной программы партии социалистов-революционеров неподражаемого В. М. Чернова, боровшегося всю жизнь против частной собственности на землю и... отказавшегося от провозглашения ее отмены, как только он получил портфель министра земледелия в правительстве его товарища по партии с.-р.!!

«Мы от него кровопролития ждали, а он... чижика с'ел!» — вспоминается бессмертный Щедрин.

Что-то пролепетала декларация и насчет войны, обещая созвать союзную конференцию «в кратчайший срок» и пригласить туда — на-ряду с представителями дипломатии также и представителей русской демократии. С каким трудом пришлось потом министру иностранных дел Терещенко выпутываться из этого — конечно, неосуществленного — обещания!

Новое правительство продолжало аресты. Церетели ловил большевиков и сажал в тюрьмы. Керенский при помощи многочисленных добровольцев из офицерской и юнкерской среды уничтожал «крамолу» в войсках, разоружал и расформировывал полки и батальоны. Был арестован целый ряд большевиков во главе с т. Каменевым. Был произведен набег на заводы, — в особенности свора Керенского отличилась при взятии Сестрорецкого завода, где «победители» бесчинствовали и насильничали.

Все эти действия нового Временного Правительства настолько воодушевили соглашательский ЦИК Советов, что он принял резолюцию главы меньшевиков Дана, в которой об'явил: «1) страна и революция в опасности, 2) Временное Правительство об'является правительством спасения революции, 3) за ним признаются неограниченные полномочия для восстановления организации и дисциплины в армии, решительной борьбы со всякими проявлениями контр-революции и анархии» (под «анархией» давно уже разумелась борьба рабочих и крестьян против капиталистов и помещиков).

Керенский торжествовал.

13 июля было опубликовано постановление о введении смертной казни на фронте.

На два дня раньше — 11 июля — министр внутренних дел Церетели расклеил по улицам об'явление: «в предотвращение событий 3 — 5 июля» — о запрещении уличных собраний и шествий, об аресте всех лиц, «прямо или косвенно» участвовавших в событиях 3 — 5 июля, и о подавлении всеми мерами — вплоть до применения вооруженной силы — всяких призывов к насилию и попыток к мятежным выступлениям.

14 июля были закрыты все большевистские газеты и восстановлена «военная цензура».

Получив от соглашательского ЦИК'а Советов неограниченные полномочия и признание «спасителя революции», Керенский решил, что настала пора осуществить свои заветнейшие мечтания. И он резко повернул направо, начал подготовку корниловщины.

В этом своем очерке я использовал белогвардейские мемуары, появившиеся в большом количестве за границей в период 1920 — 1924 г.г. Ныне господа Милюков, Деникин, Лукомский и пр. и пр. раскрыли все скобки, рассказали обо всех переговорах, которые они вели с Керенским в 1917 г., сдернули завесу с тех кулис, за которыми готовилась корниловщина.

В 1917 году широкие массы рабочего класса и крестьянства ничего об этом не знали. Не знали, но угадывали...

ЦИК Советов с Даном, Церетели, Чхеидзе, Черновым и Авксентьевым был в руках у Керенского. От них он получил резолюцию неограниченного доверия. И он повернулся к ним спиной и стал искать опоры у кадетской буржуазии.

Комитет Государственной Думы под председательством Родзянко не только существовал на-ряду с самой Государственной Думой, но и выразил свой протест 12 июля по поводу того, что правительство было организовано без его участия, и даже «слагал с себя ответственность (!) за последствия».

Министр И. В. Годнев обратился к правительству с предложением выслушать представителей всех общественных слоев, не представленных в Советах, в том числе и Государственной Думы, и для этого созвать особое совещание. Керенский и Пешехонов немедленно поддержали это предложение, и отсюда родилось знаменитое Государственное Совещание в Москве, о котором речь будет впереди.

На следующий день Керенский сделал официальный визит Временному Комитету Государственной Думы и отдельно председателю Госуд. Думы — Родзянко и советовался с ними о будущем Государственном Совещании. Родзянко ответил, что правительство должно предварительно сформироваться при участии Временного Комитета Государственной Думы. Это пожелание Родзянко немедленно было исполнено. 13 июля на заседании министров было решено, что все министры вручат А. Ф. Керенскому свои портфели, чтобы дать ему возможность вступить в новые переговоры с общественными деятелями о пополнении и изменении состава Временного Правительства.

«Так как главным препятствием для переговоров с несоциалистическими партиями было то, что эти последние вовсе не желали признать зависимости правительства от Советов, то А. Ф. Керенский стал на новую точку зрения. Он заявил, что будет подбирать членов кабинета индивидуально, независимо от их партийной принадлежности, и они не будут считаться официально делегированными и ответственными перед своими партиями, как это было при первой коалиции. Так как это освобождало и министров-социалистов от формальной ответственности перед их партийными организациями, то ЦК партии народной свободы (к.-д.) охотно разрешил своим членам, к которым А. Ф. Керенский лично обратился, — В. Д. Набокову, Н. И. Кишкину и Н. И. Астрову — вступить в прямые сношения с министром-председателем. В то же время А. Ф. Керенский завел сношения и с представителями торгово-промышленного класса, от имени которого выдвигалась в Петрограде кандидатура Н. Н. Кутлера, в Москве—С. Н. Третьякова» (Милюков, там же, стр. 24).

Дальше Милюков повествует, что 14 июля были начаты переговоры Керенского с ЦК кадетской партии, при чем было достигнуто полное соглашение на следующих пунктах: «1) чтобы все члены правительства... были ответственны исключительно перед своей совестью...; 2) чтобы правительство ставило исключительной целью охрану завоевания революции, не предпринимая никаких шагов, грозящих вспышками гражданской войны, а потому осуществление всех социальных реформ... должно быть отложено до Учредительного Собрания; 3) чтобы в вопросах войны и мира был соблюден принцип полного единения с союзниками; 4) ...воссоздание мощи армии; 5) решительная борьба с противогосударственными элементами...; 6) восстановление правильной деятельности государственного суда...; 7) чтобы выборы в Учредительное Собрание были произведены с соблюдением всех гарантий, необходимых для выражения подлинной народной воли, с предоставлением заведывания производством выборов правильно избранным органам местного самоуправления и учреждениям, образованным при их участии...».

Здесь что ни строчка — то предательство интересов трудового населения. Опять восстанавливался (пунктом 3-м) лозунг войны до победного конца, об'являлась (пункт 5) решительная борьба с Советами и революционными партиями («противогосударственные элементы»), откладывалось до Учредительного Собрания осуществление всех социальных реформ — в том числе, и прежде всего, земельный вопрос, — а срок созыва Учредительного Собрания тонул в неизвестном, весьма отдаленном будущем. Ведь по милюковским же статьям мы знаем, что подразумевалось под «соблюдением всех гарантий, необходимых для выражения подлинной народной воли». По расшифровании это надо было понимать — после окончания войны (так как в военной обстановке нет гарантии и проч.), а, кроме того, ставилась задача сначала организовать «правильно избранные» органы местного самоупра-

вления, потом «учреждения», образованные при участии этих самоуправлений и т. д. и т. д.

Но кроме всего этого Милюков и его партия потребовали удаления из состава правительства Чернова, «как министра, проводившего свою политику по вопросу громадной важности (читай — земельному. *Д. С.)* — в полном противоречии с основными положениями программы к.-д.» (Милюков, стр. 26).

Бедный Чернов! Он прошамкал в приведенной мною выше декларации несколько ничего не значущих слов, отказался декларировать отмену частной собственности на землю, всеми силами не хотел раздражить Милюкова, и — оказался виноват в том, что, отказавшись от аграрной программы партии с.-р., не проводил программу партии помещиков, не говорил о выкупе земли и т. д.!!

Керенский 15 июля согласился со всеми пунктами, кроме удаления Чернова. Керенский отказался и от партии, и от Советов, обещал согнуть в бараний рог большевиков, установить в вопросах войны полное единение с союзниками, не возражал даже против земельной программы к.-д., но не соглашался пожертвовать Черновым. Тут восстал Церетели и подал протест и прошение об отставке. Переговоры внешне приостановились, но за кулисами продолжались...

Однако, что же делать? Спаситель революции Керенский бесповоротно убежден, что спасение в принятии программы Милюкова. А шедший в его поводу, выразивший ему абсолютное доверие и облекший его неограниченной властью меньшевистско-эсеровский ЦИК Советов путается под ногами, Церетели грозит отставкой.

18 июля Керенский переселился в покои Зимнего Дворца, чтобы там — в царских комнатах, так много говорящих о заманчивом самодержавии — обдумать вопрос. И он нашел решение. Он совершил тройной удар.

20 июля им был смещен с должности главнокомандующий Брусилов и на его место назначен генерал Корнилов. Это первое.

В тот же день Чернов подал в отставку, «чтобы реабилитироваться в тех обвинениях, которые на него возводила милюковская газета «Речь». Предлог этой отставки был настолько не серьезен, что даже соглашательский совет ахнул, когда Чернов довел до его сведения об этом решении. Кислая физиономия Чернова явно доказывала, что его изнасиловали. Любопытно было бы прочесть протокол заседания ЦК эсеровской партии, на котором Керенский убедил своих друзей выдать Чернова Милюкову! Это — второе. А третье — 21 июля Керенский сам вышел в отставку, сложил с себя власть и уехал в Финляндию. Разбирайтесь-де теперь, как знаете.

Во главе армии — Корнилов, возле которого Керенский посадил своих друзей Савинкова и Филоненко. Чернова выгнал. А сам уехал. За Керенским вышли в отставку и все буржуазные министры: Некрасов, Терещенко, Годнев, В. Н. Львов, Ефремов...

Конечно, соглашательский ЦИК охватила паника. Конечно, дело революцию оказалось в опасности, раз ушел ее «спаситель». Меньшевики и с.-р.

внесли резолюцию, которая и была принята. Ею заявлялось о полном доверии А. Ф. Керенскому и ему поручалось составление нового коалиционного кабинета с привлечением всех партий... Керенский играл наверняка.

## X. Еще одна коалиция.

Вольт удался. С утра 22 июля Керенский был опять в Петрограде, теперь уже называя себя «полномочным главою страны и правительства», и выпустил прокламацию о том, что приемлет на себя тяжкий долг, возложенный на него совещанием партий (в Зимнем дворце).

В ночь на 23 июля были арестованы т.т. Троцкий и Луначарский. В этот же день новый главнокомандующий генерал Корнилов послал Керенскому телеграмму, в которой требовал полного невмешательства в его оперативные распоряжения и в назначения командного состава, распространения смертной казни на тыл, и заявил, что он считает себя ответственным за свои действия только перед своей совестью и перед «всем народом»...

Новое правительство было сформировано из представителей меньшевиков, с.-р., кадетов и промышленников. В него вошли — кроме других — Авксентьев — министром внутренних дел, Прокопович — министром торговли и промышленности, Зарудный — юстиции и... Чернов — министром земледелия.

Позвольте! Но ведь он только что уходил, чтобы «реабилитироваться»? Ничего не значит! Очевидно произошла закулисная «реабилитация». На какой почве? Пока тайники ЦК партии с.-р. хранят этот секрет. Однако Милюков, говоря о Керенском и его поведении в эти дни, произносит знаменательные слова, могущие быть отнесенными не только к Керенскому, но и к другим лидерам партии социалистов-революционеров:

«... Из двух русских социалистических течений он (Керенский) принадлежал к тому, которое издавна стояло ближе к русской крестьянской действительности и было более гибко в своей доктрине и уже потому более способно на компромисс» (стр. 38).

Не могу удержаться, чтоб не процитировать дальше относящиеся к Керенскому красочные строки Милюкова: «В этом течении он был недавним членом и принадлежал к правому крылу... Керенский с самого момента своего вступления в первое Временное Правительство обнаружил готовность рисковать разрывом с своей партией... поэтому теперь, когда такое решение было об'ективно необходимо, — Керенский был незаменим...» (стр. 38 — 39).

Керенский принял программу Милюкова, а кадеты согласились «реабилитировать» Чернова. Некрасов об'явил об этом в печати и даже «пожелал особо пожать руку Чернову в знак симпатии». Терещенко тоже опубликовал очень вежливую фразу по адресу Чернова. Ефремов и сам Керенский «с удовлетворением» сделали доклад правительству о злостности слухов, распространившихся в печати и обществе по поводу Чернова, и правительство не признало заслуживающим удовлетворения его прошение об отставке. Словом, все вошло в норму и устроилось ко всеобщему благополучию.

Новый кабинет считался «социалистическим», ибо на 4-х кадетов и 3-х представителей «неизвестных» программ (Некрасов, Терещенко и Ефремов), приходилось 5 эс-эров, 4 социал-демократа и 2 народных социалиста. Но что это были за «социалисты»! Вот их имена, не требующие пояснений: Керенский, Савинков, Лебедев, Авксентьев, Чернов, Скобелев, Прокопович, Никитин, Бернацкий, Пешехонов и Зарудный... Из них чем-нибудь отличался от кадет разве только один Скобелев...

Давши слово — держись! Керенский хорошо помнит эту пословицу. Он чувствует себя на вершине власти. 1 августа он обменивается телеграммами с королем Британской империи Георгом. Посылая друг другу приветствия, оба венценосца — аристократический и «демократический» — говорят о судьбе «их народов», обещают друг другу отправлять их на фронт «до конца». Третий пункт договора с Милюковым выполнен.

В выполнении пункта первого пришел на помощь меньшевистско-эсеровский ЦИК. Он принял резолюцию о полной и безусловной поддержке нового правительства. Но как быть со Стокгольмской конференцией, на которую ЦИК Советов давно пригласил социалистов всех стран, чтобы договориться о ликвидации войны? Керенский послал «весьма высокопоставленным лицам из числа правителей Англии и Франции» телеграмму, в которой выражал свое отрицательное отношение к Стокгольмской конференции!..

Затем правительством был принят «финансовый план», открыто ограждавший неприкосновенность военных сверх-прибылей промышленников.

Правительство, состоявшее в большинстве из «социалистов», не забыло, конечно, и о рабочем классе. С большой торжественностью было опубликовано постановление об ограничении ночной работы женщин и детей... между... 10 и 4 часами ночи!! Его обещали ввести в действие с 1 октября. Разве это не демократизм? Разве это не социализм?

Почувствовав себя самодержцем, Керенский не забыл о своем предшественнике. Он несколько раз посещал Николая II, беседовал с ним и даже сказал кому-то, что Николай II совсем не так глуп, как о нем думали. Керенский организовал переправу Николая с семьей из Царского Села в Тобольск. Зачем? Официально это об'яснялось происками монархических групп. Я предполагаю, что это делалось для охраны царской семьи от возможных случайностей во время подготовлявшегося Керенским вместе с генералом Корниловым заговора.

Как бы то ни было, Керенский лично довез Романовых до поезда, поддержал под руку Николая II, когда тот взбирался на вагонную ступеньку, и отправил с наилучшими пожеланиями.

Неужели же — встает вопрос — рабочий класс молчал, видя вокруг сплошное предательство и провокацию? Как он терпел таких вождей, как Чхеидзе, Церетели, Дан, как мог позволить Керенскому выступать от имени демократии? Как мог мириться с положением, при котором большевики сидели в тюрьме, Ленина и Зиновьева разыскивали ищейки Керенского для ареста, а Пуришкевич разгуливал на свободе?

Нет, рабочие Петрограда не были слепы. Они все это видели и чувствовали. Встреченные оружием на улицах Петрограда 3 — 5 июля, они поняли, что «парламентским путем» ничего не сделаешь, и готовились к бою.

## XI. Контр-революция готовится.

Милюков и Гучков ушли из первого правительства не персонально, не как отдельные лица. Они поняли, что ничего не сделаешь без решительных мер противодействия рабочему классу. Будучи умнее Дана, Церетели и Чернова, они принимали меры к тому, чтобы Временное Правительство при всех комбинациях не теряло одного качества: не мешало организовывать контр-революцию. Они группировали вокруг себя генералов Корнилова, Лукомского, Деникина, Каледина, Дутова, — всех тех, имена которых слишком хорошо знакомы России по эпохе гражданской войны 1918 — 1920 г.г., они расширяли свою базу, они подыскивали организации, на которые можно опереться при перевороте: союз офицеров, военная лига, союз георгиевских кавалеров, союз казачьих войск и др. Они стремились использовать Керенского «до конца», чтобы шумом этого извергающего бесконечные речи фонтана заглушить свою, пока подпольную, кропотливую работу кротов, подрывающих революцию. Центром заговора была Ставка.

Вот описание слагавшейся контр-революционной организации, как его дает компетентный генерал Деникин («Очерки русской смуты», том 2, Париж, стр. 27 — 28):

«В конце июня в Петрограде образовалась, в числе многих других, политическая группа под названием «Республиканский центр». Состав ее был немногочисленным и чрезвычайно пестрым; политическая программа весьма растяжима, и даже само наименование группы не выражало точно существа политических взглядов... При приеме в организацию «никого не спрашивали, во что веруешь; достаточно было заявления о желании борьбы с большевизмом и о сохранении армии». Первоначально руководители «Республиканского центра» ставили себе целью «помощь Временному Правительству, создав для него общественную поддержку путем печати, собраний и проч.», но потом, убедившись в полном бессилии правительства, приступили к борьбе с ним, участвуя в подготовке переворота... группа... обладала денежными средствами. Их давала крупная денежная буржуазия — «небольшая по числу, но очень влиятельная, довольно замкнутая и крайне эгоистичная в своих действиях и аппетитах». Эта буржуазия «подняла тревогу (в июльские дни), когда обнаружилась слабость Вр. Правительства, и предложила (Респ. центру) первую денежную помощь, чтобы уберечь Россию от очевидной опасности большевизма». Лично представители этой банковской и торгово-промышленной знати стояли вне организации, опасаясь скомпрометировать себя в случае неудачи. Отсутствие партийной нетерпимости, деловая программа и — в особенности — известные средства дали возможность «Респ. центру» об'единить много мелких, главным образом, военных петроградских организаций... К концу августа активных участников военной секции (Респ. центра)

числилось до 4.000 человек... Наконец, организующую работу вел главный комитет офицерского союза. С первых же дней существования комитета в составе его образовался тайный активный коллектив, к которому впоследствии примкнул весь состав комитета... Комитет этот поставил себе целью подготовить в армии почву и силу для введения военной диктатуры... завязывались оживленные сношения с Советом союза казачьих войск, военными организациями и политическими партиями... первоначально неясные надежды, не облеченные ни в какие конкретные формы, как среди офицерства, так и среди либеральной демократии, в частности к.-д. партии, соединялись с именем ген. Алексеева... Позднее многими организациями делались определенные предложения адмиралу Колчаку... который принципиально не отказывался стать во главе движения... Доверительные разговоры на эту тему вел с ним и лидер к.-д. партии (читай: Милюков. *Д. С.*)... Но когда генерал Корнилов был назначен верховным главнокомандующим, все искания прекратились... В дни Московского Совещания в вагоне верховного главнокомандующего произошел знаменательный разговор между ним и генералом Алексеевым:

«— Михаил Васильевич, придется опираться на офицерский союз — дело ваших рук. Становитесь вы во главе, если думаете, что так будет лучше.

«— Нет, Лавр Георгиевич, вам, будучи верховным, это сделать легче»..

Не могу не привести тут же рядом заявление Керенского, которое он сделал в своей книге «Дело Корнилова» (Москва 1918). Он неосторожно признался, что «казачьи круги и некоторые общественные деятели» неоднократно предлагали ему — Керенскому — заменить бессильное правительство личной диктатурой...

В распоряжении этого самого «Республиканского центра», как говорит генерал Деникин («Очерки», т. II, стр. 29), был — в числе других — и знаменитый 3-й корпус под командой генерала Крымова, также являющегося активным членом этой организации, при чем 3-й корпус считался особенно надежным.

Прошу получше запомнить это обстоятельство.

√ С другой стороны, рабочий класс и вообще все трудовое население, окончательно разуверившееся в Данах, Чхеидзе, Церетели и Черновых, стало все более и более интенсивно группироваться вокруг большевиков. Первым показателем этого явились выборы в городские думы. Большевики на выборах в августе получили в Петрограде 200.000 голосов. Теперь вся контр-революция группировалась вокруг Милюкова. Вся революция собралась под знаменем Ленина. А Чхеидзе, Церетели, Чернов и К°? Они оставались все в большем и большем одиночестве, они уже представляли только самих себя и — упоенные «высоко-государственной» ролью поддерживателей Керенского — не замечали этого...√

Вчерашний член партии социалистов-революционеров, Керенский, ничем не отличался от Милюкова в своих политических убеждениях. Он использовал Советы, как ступеньку, как трамплин, с которого прыгнул к власти. Дальше они ему были не нужны. Ведь революция — буржуазная, а, следовательно, будущее принадлежит Милюкову. Он был чрезвычайно недоволен

Советом еще в марте 1917 г. Его ближайший единомышленник Станкевич пишет в своих «Воспоминаниях» (стр. 224, Берлин 1920): «...Уже в одну из первых встреч со мною он в отчаянии жаловался, что «друзья» слева сумели в несколько дней так испортить революцию... Он первый из деятелей революции понял необходимость организации твердой власти и для этого, преодолевая оппозицию своих партийных друзей и комитета, выбрал себе помощником Савинкова. Он сделал верховным главнокомандующим Корнилова, который... потерял кредит в революционных кругах после командования гарнизоном в Петрограде... Он видит сам детскую беспомощность комитета, он ненавидит Чернова. Но он понимает, что само Учредительное Собрание будет только большим всероссийским комитетом...».

Станкевич пишет о Керенском весьма сочувственно, но всякий, прочитавший его характеристику Керенского, неизбежно сделает из нее противоположные выводы.

«Он (Керенский) был демократ, — пишет Станкевич. — Он хотел... действовать не только для народа и во имя народа, но и согласно живой воле народа»...

А факты говорят противоположное. Зная о заговоре «Республиканского центра», зная о том, что союз офицеров играет в нем главную роль (генерал Деникин говорит, что Керенский установил даже надзор над ним, так как был в курсе его деятельности) [1]), зная, что группировка контр-революционных сил происходит вокруг Корнилова, что последнему помогает Савинков, что идейным вдохновителем подготовляющегося переворота является Милюков, что наиболее преданной контр-революции армейской частью является 3-й корпус, Керенский «случайно» назначает Корнилова верховным главнокомандующим, «случайно» берет к себе в ближайшие помощники Савинкова, «случайно» заключает секретное соглашение с Милюковым, «случайно» вызывает в Петроград перед корниловскими днями именно 3-й корпус... слишком много как будто бы «случайностей» в короткий период реальной угрозы покушения на революцию...

## XII. Заговор Керенского и Корнилова.

Контр-революция стала организоваться с уходом из Временного Правительства Милюкова и Гучкова. Первые сведения о наличных ее силах мы имеем в цитированных уже мною «Очерках» генерала Деникина. Еще в конце июня Милюкову и К° уже удалось создать ей некоторый базис.

Впервые ясное указание относительно готовящейся контр-революции содержится в телеграмме ген. Корнилова, командовавшего тогда Юго-Западным фронтом. В день своего назначения, 7 июля, Корнилов потребовал у Временного Правительства введения военно-полевых судов и смертной казни на фронте и реорганизации армии «на началах строгой дисциплины». Корнилов понимал, что прежде всего надо создать опору в виде повинующейся,

---

[1]) Ген. Деникин, Очерки русской смуты, т. II, стр. 28.

не рассуждая, военной силы. «Если оно (правительство) не сумеет этого сделать, — писал Корнилов, — неизбежным ходом истории будут выдвинуты другие люди, которые... уничтожат завоевания революции и потому тоже не смогут дать счастье стране». Последняя фраза, конечно, прибавлена для того, «чтобы никто не угадал» (как в армянской загадке). К этому же времени относится еще более откровенная телеграмма центрального комитета союза офицеров, полученная всеми членами Временного Правительства за подписью полковника Новосильцева. В этой телеграмме союз офицеров поддерживал требования генерала Корнилова, прибавив, что «в случае неутверждения предлагаемых мер, все члены Временного Правительства отвечают за это головой».

Телеграмма Корнилова была подписана и Савинковым.

12 июля, как я уже говорил, правительством Керенского была восстановлена смертная казнь на фронте и введены «военно-революционные суды».

16 июля в Ставке состоялось совещание по вопросу о восстановлении дисциплины в армии. Участвовали: Керенский, Савинков, Брусилов, Деникин, Алексеев, Рузский и др. Ген. Деникин выступил с резкой речью против Временного Правительства. Он требовал: 1) сознания своей ошибки и вины Временным Правительством, не понявшим и не оценившим порыва офицерства...; 2) полной власти главнокомандующему, ответственному лишь перед Вр. Правительством, и прекращения военного законодательства в Петрограде; 3) из'ятия политики из армии; 4) отмены «декларации прав солдата» и упразднения комиссаров и комитетов...; 5) создания в резерве начальников отборных законопослушных частей всех трех родов оружия, как опоры против военного бунта...; 6) введения военно-революционных судов и смертной казни для тыла — войск и гражданских лиц и т. п.

Керенский выслушал ретивого генерала, поддержанного всем совещанием, «тоном вызывающей иронии ответил, что готов подписать все меры, которых они требуют, но затем подаст в отставку и предоставит им вести солдат. Он получил сухой ответ, что отставка его пока еще преждевременна...» (Милюков, История, т. I, вып. 2, стр. 67). Керенский поблагодарил Деникина и пожал ему руку.

На обратном пути из Ставки Керенский решил отставку Брусилова и замену его ген. Корниловым.

Из показаний верховного комиссара Филоненко, данных им следственной комиссии по делу Керенского, ясна обстановка, в которой состоялось назначение Корнилова.

«По окончании совещания, — показывал Филоненко, — Б. В. Савинков и я были приглашены в поезд министра-председателя. Савинков был вызван с Юго-Западного фронта ввиду формирования нового кабинета, построенного на принципе утверждения сильной революционной власти... По пути, при энергичной поддержке М. И. Терещенко, мы несколько раз докладывали министру-председателю о необходимости образования сильной власти... В связи с этим А. Ф. Керенский пришел к выводу о желательности замены ген. Брусилова ген. Корниловым».

Савинков тут же был намечен на пост управляющего военным мин стерством.

Но что такое представляли собою Корнилов и Савинков, котор Керенский выбрал своими ближайшими помощниками в деле создан «сильной власти»? Вот что говорит о них весьма компетентный генерал Д никин [1]):

«Верховное командование занимало отрицательную позицию как отношении Совета, так и правительства... генерал Корнилов стремился яв вернуть власть в армии военным вождям и ввести на территории всей стран такие военно-судебные репрессии, которые острием своим в значительн степени были направлены против Советов и особенно их левого сектора поэтому... борьба Советов против Корнилова являлась... борьбой их за сам сохранение... Керенский не мог не понимать, что только меры сурового пр нуждения, предложенные Корниловым, могли еще, быть может, спасти арми освободить окончательно власть от советской завис мости и установить внутренний порядок. Несомненно, освобождение Советов, произведенное чужими руками... представлялось ему (Керенском государственно полезным и желательным...\Савинков порвал с партией и С ветами.\Он поддерживал резко и решительно мероприятия Корнилова, оказ вая непрестанное и сильное давление на Керенского, которое, быть може увенчалось бы успехом, если бы вопрос касался только идеологии нового кур а не угрожал Керенскому перспективой самоупразднения... Савинков м итти с Керенским против Корнилова и с Корниловым против Керенско холодно взвешивая соотношение сил и степень соответствия их той цел которую он преследовал. Он называл эту цель — спасением родины. Други считали ее личным стремлением его к власти. Последнего мнения придерж вались и Корнилов и Керенский».

Не правда ли, красочно? Ближайшему доверенному Корнилова — Ден кину, — участвовавшему в заговоре с начала до конца, и книги в руки в это вопросе.

Предлагавшаяся Деникиным на совещании 16 июля программа отвер нута Керенским. Однако она целиком повторена в ультимативной телеграмме посланной Корниловым Керенскому 17 июля, при чем Корнилов обусловли вал принятие им должности главнокомандующего — согласием Временно Правительства на его программу. Савинков присоединился к Корнилову.

24 июля Корнилов принял должность главнокомандующего. Значит Керенский согласился на его условия? Конечно, да. «Бюро печати» пр Временном Правительстве успокаивало: «Сообщение некоторых газет, будт условия, поставленные ген. Корниловым Временному Правительству, целико последним приняты, не соответствует действительности, но... соглашени между Временным Правительством и ген. Корниловым — достигнуто» Опять: «чтобы никто не угадал»...

Савинков был назначен управляющим военным министерством.

---

[1]) Очерки русской смуты, т. II, стр. 8, 9, 10.

А руководимый Чхеидзе, Церетели и К° ЦИК Советов? Выразив полное доверие, он передал всю полноту власти Керенскому, который... готовился разгромить Советы и ликвидировать своих друзей: Чернова, Авксентьева, Церетели, Дана...

Как я уже говорил, заключенный с Корниловым и Савинковым договор требовал аппробации Милюкова, и по приезде из Ставки Керенский вошел в переговоры с ЦК кадетской партии... о темпе проведения корниловской программы — не больше! Милюков требовал «немедленно»! Керенский еще не чувствовал твердой почвы под ногами, еще опасался стать орудием в борьбе за власть со стороны тех, которых он хотел использовать для достижения единовластия... Милюков так и говорит: «Борьба шла тут, по существу, не столько между двумя программами «революции» и «контр-революции», сколько между двумя способами осуществить одну и ту же программу, в важности и неотложности которой для спасения нации обе стороны были согласны («История», т. I, вып. 2, стр. 98).

«Две стороны» — это Керенский и ЦК кадетской партии, «целиком присоединившийся к Корнилову».

«Без утвердительного ответа на условия, поставленные ген. Корниловым, не может быть спасения родины», — говорил Родичев на с'езде кадетской партии, и Милюков свидетельствует, что эти слова «выражали убеждения, широко распространенные в слоях, противополагавших себя «революционной демократии».

Керенский боялся одного: потерять власть. Угрозу своему положению при осуществлении договора с Корниловым и Милюковым он видел в Ставке. Прежде чем действовать, нужно себя обеспечить. Ведь речь идет о разгоне Временного Правительства и о разгроме Советов. А он является — министром-председателем разгоняемого правительства и представителем ЦИК Советов! Обе точки опоры сразу вылетают из-под ног. Как быть?

Его гениальный ум недолго колебался. Пример Николая II, в апартаментах которого он жил, был свеж в памяти. Надо стать во главе армии — тогда в руках Керенского останется именно та сила, которая подготовляла переворот, тогда он возглавит подозрительную ему Ставку. И он начинает действовать в этом направлении. В. Н. Львов — этот «посредник во всех событиях, связанных с Корниловым и ближайший сплетник Ставки и милюковской кампании», пишет в своих воспоминаниях, что приблизительно в это время Керенский, «проходя мимо меня, как-то быстро проговорил: «теперь мне надо быть главнокомандующим»...

Такой шаг маскировал подозрения, естественно возникшие даже у слепого Чхеидзе при назначении Корнилова.

Но, вместе с тем, надо же позаботиться, чтобы заговорщики сохранили положение и свободу действий. И 1 августа Филоненко получил лично от Керенского строгие приказания оставить в покое генерала Лукомского, «являющегося не только преданным Временному Правительству человеком, но и главной действующей силой Ставки». Таинственное передвижение кавказской конной дивизии, в котором Филоненко предполагал признаки «заго-

вора» против Корнилова (?!), оказалось известно Керенскому и производилось по его распоряжению «в целях охраны Ставки»... (Милюков, История стр. 100).

В своих показаниях комиссии по делу Корнилова Керенский разъяснил, что распоряжение об этом было сделано еще при Брусилове, после того как Могилевский Совет в июльские дни, потребовал от ген. Брусилова «полного подчинения». «Выяснилось, что Ставка беззащитна против всякого озорства... поэтому мы с Брусиловым и решили усилить охрану в Ставке» (стр. 36).

Ген. Лукомский был, конечно, вполне «верный» и «надежный» человек. Ведь он оказался «главной действующей силой» при Корниловском мятеже, а потом — в дни гражданской войны — был главным военным прокурором, а впоследствии и председателем Деникинского правительства на юге России. Словом, вполне оправдал свою «преданность» революции. Его следовало «оставить в покое».

Итак, «триумвират» наметился. Керенский, Корнилов и Савинков. Однако Керенский не чувствовал своего положения прочным. Корнилов вел твердую линию на разгром Советов и установление военной диктатуры. У него была реальная поддержка. 31 июля он получил коллективное обращение с предложением своих услуг для переворота от следующих организаций: «1) Военная лига; 2) союз георгиевских кавалеров; 3) союз воинского долга; 4) союз «Честь родины»; 5) союз добровольцев народной обороны; 6) добровольческая дивизия; 7) батальон свободы; 8) союз спасения родины; 9) общество 1914 г.; 10) Республиканский центр» (Ген. Деникин, том II, стр. 27). «Кроме того, — прибавляет Деникин, — существовали организации полковые, районные и т. д.».

Кроме того — напомню я — существовали уже «Корниловские ударные полки».

Словом, это была сила.

Перечисленные организации были за Корнилова, но против... Керенского. Как при этих условиях обеспечить за собой власть после переворота?

Керенский делает это двояко. С одной стороны, он 2 августа издает закон, предоставляющий органам судебной и административной власти арестовывать и высылать из пределов России участников заговоров... С другой — он приглашает ген. Корнилова в Петроград и пытается войти с ним в сделку. Корнилов приехал 3 августа «для защиты доклада о мерах к восстановлению мощи армии, принятого Ставкой», — т.-е. тех же своих требований. В своих показаниях следственной комиссии ген. Корнилов следующим образом излагает свои переговоры с Керенским:

«Керенский впервые поинтересовался моим мнением, следует ли ему оставаться для руководства государством? Смысл моего ответа заключался в том, что, по моему мнению, влияние его в значительной мере понизилось; но, тем не менее, я полагаю, что он, как признанный вождь демократии, должен оставаться во главе правительства и что другого положения я себе не представляю».

Керенский в своей книге «Дело Корнилова» (стр. 15) передает этот разговор в другой форме: «На самом деле я всячески доказывал ему, что существующая коалиционная власть — единственно возможная комбинация власти и что всякий другой путь гибелен...».

Читая показания Корнилова и об'яснения Керенского, относящиеся к их разговору 3 августа, Милюков делает следующий — вполне правильный — вывод: «Исправляя Корнилова, Керенский придает разговору еще более серьезный смысл. Выходит из его поправок, что между министром-председателем и верховным главнокомандующим с полной откровенностью велась беседа о шансах на успех переворота с целью провозглашения диктатуры...» Милюков, История, стр. 101). «Я помню еще, — пишет Керенский, — что на мой вопрос о диктатуре Корнилов в раздумьи ответил: «Что же, может быть, и на это придется решиться»...

Керенский, конечно, давал показания так, чтобы скрыть правду, но и из его изложения все ясно: ведется разговор о диктатуре. Керенский с Корниловым настолько откровенен, что говорит обо всем, соглашается на его требования разогнать Советы и комитеты... Ведь будь Керенский таким «честным представителем демократии», каким он себя выставляет, то что он должен был бы сделать после того, как Корнилов заявил ему, что «может быть и на диктатуру придется решиться»? Он должен был бы немедленно сместить его, арестовать, обратиться к Совету, к населению... Ничего подобного Керенский, конечно, не сделал, а, наоборот, не только оставил Корнилова верховным главнокомандующим, но — по его собственному заявлению — принял все меры, чтобы выставить Корнилова на Государственном Совещании в самом выгодном свете.

Корнилов привез в Петроград записку с указанными требованиями (смертная казнь, разгон Советов и комитетов и пр.). Был ли Керенский согласен на все эти меры? Да, он сам в своих показаниях говорит следующее:

«Там (в записке) был изложен ряд мер, вполне приемлемых, но в такой редакции и в такой аргументации, что оглашение ее привело бы к обратным результатам. Во всяком случае был бы взрыв, и при опубликовании ее сохранить Корнилова главнокомандующим было бы невозможно».

Все дело, значит, только в редакции и аргументации записки! Вся задача — провести требования Корнилова без особого шума, оставив их существо — целиком, но завернув их в приемлемую для «демократии» фразеологию! Вся цель — забота о сохранении Корнилова — заведомого заговорщика — главнокомандующим!

«Я попросил Савинкова, — продолжает Керенский, — устроить так, чтобы эта записка не читалась во Временном Правительстве. Было решено, что эта записка будет переработана с военным министром... чтобы сделать ее приемлемой для Ставки, для общественного мнения и для меня».

Бесподобно! Савинков взялся — по уговору с Керенским и Корниловым — переработать записку так, чтобы остальные олухи из Временного Правительства ничего не поняли, чтобы втереть очки «общественному мне-

нию» (в лице Чхеидзе, Дана и К°). И чтобы сделать ее «приемлемой для Керенского». Последнее неподражаемо! Да ведь Керенский был согласен со всеми ее пунктами! Ничего не значит! Он был согласен с ней, как заговорщик. А как «глава государства», как «демократ» и как «социалист» — он требовал, чтобы она была причесана а-ля Чхеидзе и Чернов!!

Корнилов согласился наперед на ту редакцию, которую придадут его докладу Савинков и Филоненко, и 4 августа выехал обратно в Ставку. Однако предупредил, что приедет через неделю.

Переговоры Керенского с Корниловым не остались без отклика в печати. Крайне глухие и противоречивые сообщения их не могли не взволновать рабочий класс. Заволновался и Совет, несмотря на успокоения со стороны Церетели, Дана, Чхеидзе и К°. Для того, чтобы окончательно втереть очки «демократии», Савинков пустил слух о предстоящей в ближайшие дни отставке Корнилова. Но оказалось, что он втер очки не тем, кому хотел. Рабочий класс не успокоился, а Ставка и заговорщические организации приняли сообщение Савинкова за чистую монету и засыпали Временное Правительство резолюциями и постановлениями. 6 августа — совет союза казачьих войск, 7-го — союз офицеров армии и флота, 8-го — союз георгиевских кавалеров довели до сведения правительства, военного министра и печати, что «ген. Корнилов не может быть смещен, как истинный народный вождь и — по мнению большинства населения (вот уже кто стал говорить от имени «большинства населения»!!!) — единственный генерал, могущий возродить боевую мощь армии и вывести страну из тяжелого положения». «Совет союза казачьих войск» твердо и громко заявлял о полном и всемерном подчинении своему «вождю-герою» и «считал нравственным долгом заявить Временному Правительству и народу, что он с н и м а е т с с е б я о т в е т с т в е н н о с т ь з а п о в е д е н и е к а з а ч ь и х в о й с к н а ф р о н т е и в т ы л у п р и с м е н е г е н. К о р н и л о в а». Союз офицеров из'являл готовность «всемерно поддерживать его (Корнилова) законные требования до последней капли крови». Союз георгиевских кавалеров постановил «твердо заявить Временному Правительству, что, если... ген. Корнилов будет смещен, союз георгиевских кавалеров немедленно отдаст боевой клич всем георгиевским кавалерам о выступлении совместно с казачеством». Потом каждая из этих организаций присоединилась к резолюциям других...

С другой стороны, поднятая левыми кругами кампания против Корнилова перепугала этого генерала настолько, что он отказался приехать в Петроград. После уговоров Савинкова он прибыл с целым отрядом текинцев, проехал под их эскортом во дворец и выставил у входа в свое помещение... пулеметы!!

«Впереди ехал автомобиль с пулеметами, — рассказывал Керенский («Дело Корнилова», стр. 53), — и сзади автомобиль с пулеметами. Текинцы внесли два мешка с пулеметами и положили в вестибюле. Затем взяли, когда стали уезжать. Впереди опять — автомобиль с пулеметами и сзади автомобиль с пулеметами. Так и уехали».

«Русское Слово» писало об этой панике: «Настроение в ставке в связи с от'ездом ген. Корнилова было весьма нервное, особенно усилившееся в связи

с неопределенными слухами, шедшими из Петрограда, о готовящемся будто бы покушении на верховного главнокомандующего. Этим и об'ясняется, что во время поездки ген. Корнилова были приняты меры предосторожности... Ближе к Петрограду тревожное настроение усилилось, хотя никаких видимых причин к тому не было».

Перепугался и Керенский. Он увидел, что рабочий класс по своему настроению сильно отличается от Чхеидзе, Церетели, Дана и Чернова. Испуг Керенского повлек за собой его отказ подписать переделанный Савинковым доклад Корнилова. Савинков подал в отставку, заявив, что тогда доклад будет защищать сам Корнилов. А Корнилов отказывался приехать в Петроград!

«Мы, — говорил Филоненко, — рассчитывали на Лавра Георгиевича (Корнилова), как на каменную гору; на том докладе, который нами здесь приготовлен и который мы имеем предложить ему на подпись, и на обещании его приехать мы основали план решительного боя. Нужно было во что бы то ни стало уговорить Корнилова изменить свое решение (т.-е. приехать)».

За уговоры взялся Савинков. Но напрасно он говорил Корнилову по прямому проводу: «...завтра решится вопрос, будет ли эта политика (Вр. Правительства) изменена безболезненно или нет»...

Распинался и Филоненко: «Если завтра Б. В. (Савинков) и я уйдем, то вы, оставшись на поле деятельности, не имея нас рядом, будете роковым и неизбежным образом возбуждать подозрение даже в широких кругах, и тогда дело без ужасного столкновения не обойдется... наша политическая окраска — для вас тот щит в бою, который так же необходим, как и меч»... «Позвольте вам напомнить, что мы (с Савинковым) разделили уже однажды с вами великую ответственность за начало той политики, которой завершения... мы ожидаем завтра»...

Корнилов приехал 10 августа с пулеметами. Но что делать напуганному Керенскому? Он пытался воротить Корнилова с дороги, послав ему телеграмму, что Временное Правительство его не вызывало, однако такой намек не подействовал. Тогда Керенский решил не допустить оглашения составленного Савинковым доклада. Керенский придрался к тому, что в новом докладе требования были увеличены, — говорилось уже о необходимости милитаризации всех фабрик, заводов и железных дорог (Савинков правильно понял, что для успеха переворота надо прежде всего согнуть в бараний рог рабочих). После длинных переговоров Керенский согласился прочитать доклад в «частном совещании» Некрасова, Терещенко и Керенского. Пришли к заключению, что в заседании Временного Правительства будет прочитан первый доклад Корнилова — до «приспособления его для демократии» Савинковым, который так удачно «приспособил» его, что первая редакция показалась уже не такой страшной...

Однако перепуганный Керенский, согласившись обсудить доклад Корнилова во Временном Правительстве, все больше и больше оттягивал это обсуждение.

## XIII. Заговор расширяется...

Что же делали круги Милюкова для обеспечения успеха переворота? Они не дремали. Вокруг «конституционно-демократической» партии тесно сплотились все отбросы царизма.

8 августа в Москве собралось «малое» совещание общественных деятелей. Состав этого совещания — по определению докладчика организационного комитета (не подлежавшего, конечно, разгону вместе с другими комитетами по программе Керенского-Корнилова) — князя Е. Н. Трубецкого, был «глубоко беспартийный». В числе 300 членов совещания были «самые разнообразные» политические группы, — от кооператора Чаянова до помещика кн. Кропоткина, занимавшего в Государственной Думе одно из крайних правых мест.

«Общей мыслью и общим чувством, — пишет Милюков (стр. 112),—было создание сильной и национальной власти, которая спасет единство России». Эта положительная программа определяла и отрицательную борьбу с влиянием Советов на правительство. Во имя того и другого классовые интересы торговли и промышленности об'единились с «людьми государственной мысли» и с «водителями славной русской армии». Соединение этих трех элементов — торгово-промышленников, профессорской и писательской интеллигенции и выдающихся военных авторитетов (Алексеев, Брусилов, Каледин, Юденич) — составляло самую характерную черту совещания». Председательствовал М. В. Родзянко. Совещание послало телеграмму ген. Корнилову, в котором заявляло, что «всякие покушения на подрыв его авторитета в армии и России считает преступными и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казачества». «В грозный час тяжелого испытания,— говорилось в телеграмме, — вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верой». В длиннейшей резолюции совещание повторило все требования Корнилова.

А 11 августа министр Кокошкин пред'явил ультиматум Керенскому. «Он заявил мне, — повествует Керенский, — что сейчас же выйдет в отставку, если не будет сегодня же принята программа Корнилова». «Заявление Кокошкина произвело на меня ошеломляющее впечатление, — пишет дальше Керенский, — но сейчас мне радостно вспомнить то страстное горение глубокой любви к родине, которое чувствовалось в тайниках души моего противника».

Давления со стороны кадета Кокошкина Керенский выдержать уже не мог, и во Временном Правительстве доклад Корнилова был оглашен и — «соглашение между членами правительства по вопросу о корниловских «требованиях» с грехом пополам состоялось» [1]).

А на фронте в это время происходило следующее:

«Германцы на Северном фронте перешли в наступление, переправились через Двину, прорвали наш фронт, и появилась угроза не только Риге и Ре-

---

[1]) Милюков, стр. 111.

велю, но и Петрограду, — пишет ген. Лукомский («Воспоминания», т. I, стр. 222 — 223, Берлин 1922 г.). — С большим трудом удалось создать новый фронт против прорванного германцами участка, но чувствовалось, что если германцы сосредоточат против Северного фронта новые силы, положение может стать катастрофическим... 6 или 7 августа ген.-квартирмейстер ген. Романовский доложил мне, что ген. Корнилов просит меня отдать распоряжение о сосредоточении в районе Невель — Н. Сокольники — Великие Луки 3-го конного корпуса с туземной дивизией (кавалерийской) (прошу вспомнить, что это был самый надежный корпус заговорщиков, как я указывал выше. *Д. С.)*. Эти части находились в резерве Румынского фронта...

«— Но почему же в районе Невель — Н. Сокольники — Великие Луки? — спросил я ген. Романовского.

«— Я не знаю, передаю вам точно приказание верховного главнокомандующего.

«...Мне все это показалось несколько странным; странно, почему это приказание было отдано не непосредственно, а через ген.-квартирмейстера; непонятно было, почему выбран указанный район сосредоточения.

«...Я пошел к ген. Корнилову... попросил его об'яснить, почему выбран для конницы указанный район сосредоточения.

«Ген. Корнилов мне ответил, что он хочет сосредоточить конницу не специально за Северным фронтом, а в таком районе, откуда легко было бы, в случае надобности, перебросить ее на Северный фронт или на Западный...

«Я сказал, что вряд ли есть основание опасаться за Западный фронт, где имеются достаточные резервы, и было бы лучше сосредоточить конницу в окрестностях Пскова.

«Но Корнилов остался при своем решении.

«— Я, конечно, сейчас же отдал необходимые распоряжения, но у меня получается, Лавр Георгиевич, впечатление, что вы что-то не договариваете. Выбранный вами район для сосредоточения конницы очень хорош на случай, если б ее надо было бросить на Петроград или на Москву, но на мой взгляд он менее удачен, если речь идет лишь об усилении Северного фронта...

«Генерал Корнилов несколько секунд подумал и затем ответил:

«— Вы правы. У меня есть некоторые соображения, относительно которых я с вами еще не говорил. Прошу вас сейчас же отдать распоряжение о перемещении конницы и срочно вызовите сюда командира 3-го конного корпуса ген. Крымова, а мы с вами подробно поговорим после моего возвращения из Петрограда».

Святая простота! Ген. Лукомский — конечно, вопреки своему желанию — ясно доказывает, что Корнилов, ради разгрома Советов, заведомо пошел на сдачу Риги и на создание угрозы Петрограду со стороны германцев. Сам Лукомский говорит, что положение на Северном фронте, после прорыва его германцами, грозило стать катастрофическим, сам — как стратег — он понимает, что для обеспечения фронта надо было расположить подкрепления в районе Пскова, и сам же исполняет распоряжения Корнилова о переброске 3-го корпуса не против германцев, а против... Петрограда. Северный

фронт остался без защиты, в результате чего через неделю была сдана Рига. Какой вой против... Советов поднялся по поводу ее сдачи со стороны кадетской и черносотенной печати и сторонников заговора. Конечно, в падении Риги обвинялись «комитеты», Советы и... большевики.

Знал ли обо всем этом Керенский? Компетентный ответ дает ген. Деникин в своей «Истории» [1]):

«О подготовительных мерах, предпринимаемых кругами, близкими к ставке, знали и Керенский и Савинков... В особенности Керенский, — он этого и не скрывает. Держа в своих руках нити организации уже в конце июля, он в течение августа месяца имел возможность прекратить их деятельность путем разрушения их руководящих органов и остановки движения частей на Северный фронт, если считал его опасным. Но лично для него эти меры имели бы смысл... если бы он решительно повернул от Корнилова к Советам... Если события, предшествовавшие корниловскому выступлению, определять по терминологии Керенского словом заговор, то на протяжении августа месяца в чрезвычайно сложной и переплетающейся обстановке внутренней политики таких «заговоров» история отметит несколько. Корнилов (с Крымовым), Керенский и Савинков — против власти... Советов в те дни, когда министр-председатель решился принять корниловские законопроекты и недвусмысленное назначение 3-го конного корпуса и тем вступил на путь открытой борьбы не только с большевизмом, но и с... Советами. Корнилов (с Крымовым) и Савинков — против Керенского, когда последний колебался, брал обратно свои обещания. Наконец, Корнилов и Крымов против Советов и Керенского, когда не было никакой надежды на соглашение. В этой последней комбинации не находилось места Савинкову, которому плохо верил Корнилов и вовсе не верил Крымов. Только поэтому Савинков и оказался на противоположном берегу...».

Доказательство того, что Керенский знал о приготовлениях Корнилова к походу на Петроград, имеется в показаниях самого Керенского.

В корниловские дни 3-й конный корпус ген. Крымова из района своего расположения — Невель — Н. Сокольники — В. Луки — двинут был на Петроград. Кто его вызвал оттуда? Керенский и Савинков (Керенский, Дело Корнилова, стр. 86 — 90). Но ведь 3-й корпус был в тылу румынской армии! Как же Керенский мог его вызывать в Петроград, если бы не знал, что он заблаговременно сосредоточен на подступах к столице?

## XIV. Государственное Совещание.

14 августа в Москве открылось «Государственное Совещание», собранное для того, чтобы услышать «голос мест». Прежде всего в этот день был услышан голос московских рабочих, которые, правильно учтя значение этого Совещания, как нового этапа контр-революции, об'явили забастовку. Членам Совещания пришлось пробираться с вокзалов пешком, так как трамваи бастовали.

[1]) Том II, стр. 43.

На Совещание собрались все четыре Государственные Думы, представители торгово-промышленного капитала, духовенства, кооперации, всяких комитетов, советов, партий. Большевики отказались принять в нем участие.

Керенский, явившись с обычной для него помпой, открыл Совещание большой речью, которую Милюков характеризует так:

«...Молодой человек с измученным, бледным лицом в позе актера. Выражением глаз, которые он фиксировал на воображаемом противнике, напряженной игрой рук, интонациями голоса, который то-и-дело целыми периодами повышался до крика и падал до трагического шопота, размеренностью фраз и рассчитанными паузами, этот человек хотел как будто кого-то устрашить и на всех произвести впечатление силы и власти в старом стиле. В действительности, он возбуждал только жалость... Основным тоном речи, вместо тона достоинства и уверенности, под влиянием последних дней оказался тон плохо скрытого страха, который оратор как бы хотел подавить в самом себе повышенными тонами угрозы» [1]).

Речь Керенского была насыщена самоупоением, властью, пафосом провинциального актера и угрозами «кровью и железом» налево — по адресу отсутствовавших большевиков и направо — по адресу своих союзников — корниловцев.

Я не буду останавливаться на Московском Совещании, ибо оно было лишь ширмой. На нем — в речах Корнилова, Каледина, Милюкова, Алексеева и других — были резко пред'явлены все те же требования, выставленные ген. Корниловым. Промышленники и торговцы, конечно, еще раз громко присоединились к ним. А Церетели, как представитель «Советов», не нашел другого ответа, как пожать руку их представителю — Бубликову, знаменуя этим укрепление союза, заключенного «социалистами» с буржуазией «во имя спасения России».

Корнилову было запрещено являться на Совещание, ибо на нем он имел намерение огласить свой доклад Временному Правительству и потребовать немедленного осуществления намеченных в нем мероприятий, а это — ввиду нерешительности Керенского — приобретало характер апелляции на министра-председателя к «населению»... Но Корнилов приехал, — опять с текинцами и пулеметами, — с вокзала демонстративно отправился к Иверской часовне... Закулисными переговорами удалось уговорить Корнилова ограничиться докладом о положении армии.

На вокзале Корнилова встретили овациями. Офицеры понесли его на руках.

Родичев (член ЦК кадетской партии) в приветственной речи говорил Корнилову:

«— Вы теперь символ нашего единства. На вере в вас мы сходимся все, вся Москва. И верим, что во главе обновленной русской армии вы поведете Русь к торжеству над врагом и что клич — да здравствует генерал

---

[1]) П. Н. Милюков, История второй русской революции, т. I, вып. 2, стр. 127—128.

Корнилов! — теперь клич надежды — сделается возгласом народного то| жества... Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас!..»

Это не были слова. Для «увенчания» генерала Корнилова в Москву был направлены снятые Ставкой с фронта войска. «Во время Московского Сов щания в Москву был вызван 7-й Оренбургский казачий полк... помимо кома дующего Московским округом. В то же время из Финляндии приближал корпус кн. Долгорукова к Петрограду, но был остановлен командующи войсками ген. Васильковским... Оренбургский полк мы успели останови в Можайске... Офицер являлся предупреждать меня, так же как Льво о том, что мне грозит неминуемая гибель в связи с событиями... имен захватом заговорщиками власти...» (Керенский, Дело Корнилова, стр. 68

Всеми этими событиями, доказывающими, что комбинация Керенский - Корнилов—Савинков находится под большим вопросом, а комбинация из о ного Корнилова близка к осуществлению, Керенский был до такой степе напуган, что дошел в своей заключительной речи до крайней степени истери

Он опять начал говорить о «железе и крови», перед которыми не ост новится правительство при подавлении заговоров «справа и слева», и в кон речи заявил, что он «вырвет цветы из своего сердца, растопчет их, запре сердце на ключ, а ключ бросит далеко в пропасть»... На какую-то даму и ложи эта мелодекламация произвела такое потрясающее впечатление, чт она взвизгнула: «Не надо! Не надо!» — и разразилась рыданиями. Кто-т бросился целовать Керенскому руки...

Эта часть его речи была вычеркнута из стенограммы. Конечно, е больше места в каком-нибудь сочинении по психопатологии...

Главное происходило за кулисами Совещания. Там состоялось прим рение Керенского с Корниловым и был выработан дальнейший план действи Он заключался в следующем: под предлогом угрожающего в конце август выступления большевиков, Петроград будет об'явлен на военном положени с подчинением всех войск Петроградского округа ген. Корнилову, в Петрогра будет двинут 3-й конный корпус под командой ген. Крымова. «Я убежден, — говорил Корнилов Лукомскому, — что он не задумается, в случае, если эт понадобится, перевешать весь состав Совета рабочих и солдатских депута тов» (Лукомский, т. I, стр. 228).

*(Окончание следует).*

# Право и быт.

**И. Ильинский.**

1.

Вопросы права никогда не стояли в центре интересов марксистской литературы. Это вполне понятно. Для основателей марксизма главной основополагающей наукой была политическая экономия, наука о социальном базисе. Социалистические партии, как правило, принимали в органах законодательств, управления и суда лишь весьма ограниченное участие. Вопросы права интересовали их поэтому лишь с чисто практической стороны. В России революция поставила у власти партию революционного марксизма. Казалось бы, положение должно было измениться. На деле вышло не так. Вопросы права по-прежнему остаются на задворках марксистской литературы. Книги, посвященные общей теории и отдельным отраслям права, насчитываются единицами. Из солидных журналов можно указать только «Советское Право», вяло выходящее и наполненное нередко случайным материалом. В общей журналистике статьи, посвященные праву—редкость. Перелистайте «Вестник Коммунистической Академии», «Под Знаменем Марксизма» и др., не говоря уже о «Красной Нови» и прочих журналах, читаемых широкой публикой. Вы найдете там более или менее богатый подбор статей по политической экономии, истории, философии, естествознанию. С социологией дело обстоит значительно хуже, а с правом и совсем плохо. Все это имеет, конечно, свои причины. Право и законность — лозунги, несколько отдающие старинкою в эпоху диктатуры пролетариата. Пафос советского строительства находит свое выражение в других лозунгах, как это не раз отмечалось в литературе.

И, однако, мы каждый день издаем законы, вырабатываем кодексы, уставы, положения. Юридические издательства выпускают об'емистые комментарии к ним. Толкование той или иной статьи закона возбуждает горячие споры среди практиков и теоретиков. Верховный суд в своих раз'яснениях нередко создает целые учения о некоторых основных юридических понятиях (соучастие, хозяйственное назначение, пределы кассационного рассмотрения и т. д.). Значит, у нас есть право? Конечно. Можно тысячу раз говорить, что наше право есть система социально-технических норм или

придумывать другие столь же благозвучные формулы. Это доставляет некоторое утешение любителям советской словесности, как славянофилам в свое время доставляло немалую утеху вместо галош писать «мокроступы», вместо биллиард — «шарокат» и вместо кий — «шаропих». Суть дела нимало от того не меняется. Конечно, в коммунистическом обществе не будет права, как принудительного порядка общежития. В классовом обществе, хотя бы переходного периода, существование права неизбежно. Мы заключаем международные договоры с Англией, Италией, Турцией, сдаем на договорных началах концессии иностранным капиталистам, принимаем на себя обязательства соблюдения целого ряда норм буржуазного международного права и т. д. Внутри страны у нас признана законом частная собственность, получил значительное развитие вексельный оборот, караются имущественные преступления, судопроизводство ведется в строгих рамках процессуальных кодексов, несоблюдение которых аннулирует судебные приговоры и решения. Это — право классовое, пролетарское [1], но все же право, а не инструкция воинским частям о ковке лошадей и не искусство холодного и горячего мыловарения.

Диктатура есть неограниченная власть, опирающаяся на насилие и не связанная законами. Таково классическое определение диктатуры у Ленина. Есть, однако, законы, которые связывают диктатуру. Это — законы природы Диктатура и всякая власть может преуспевать лишь в той мере, в какой будет считаться с этими законами. Естественная необходимость господствует и над диктатурой пролетариата, или, еще лучше, диктатура пролетариата — могущественна потому, что воплощает в себе естественную необходимость. Это не слепое преклонение перед фатумом, а просто признание факта. Законы общественной жизни — одна из форм законов естественных. Сила марксистского учения — в правильном описании некоторых из социальных законов. Один из них гласит: право есть неизбежный продукт классового общества. Поскольку в переходную к социализму эпоху будут сохраняться классы, постольку сохранится право. Это отчетливо выяснено Марксом в «Критике Готской программы», и события блестящим образом подтвердили его взгляд. Диктатура пролетариата от чрезвычайности, ударности и т. п. пришла к правовым формам социалистического строительства не потому, что этого хотели партийные юристы, а потому, что к этому вела логика вещей, иначе говоря, естественная закономерность. Но каждый воин должен понимать свой маневр. И участник советского строительства должен дать себе ясный отчет в природе и свойствах права, как одного из орудий этого строительства. Ограничиваться общими формулами, вроде того, что право является надстройкой, это значит топтаться на месте. Задача лежит в установлении конкретной связи данного права с данным экономическим базисом или во вскрытии классовых корней, нередко весьма

---

[1] Я не хочу этим сказать, что все наше право носит чистопробный пролетарский характер. В нем имеются довольно толстые буржуазные прослойки, неизбежные при наличии мелко-собственнического крестьянства и капиталистического окружения страны.

сложных и запутанных, данной юридической идеологии. Только на такой работе можно показать, что марксистский метод есть ценнейшее орудие познания жизни.

2.

Для мыслителей-рационалистов XVII—XVIII веков вопрос об отношении права к общественной действительности не представлял особых трудностей. Рост торгового капитала, подрывавший и сносивший всевозможные преграды — национальные, государственные, правовые — во имя естественного разума, то-есть разума эгоистического товаровладельца, равного в своем эгоизме другим, выработал новый подход к об'яснению фактов государственной и правовой жизни. Вместо божьего произволения, либо исторической преемственности — договор, то-есть соглашение свободных, равноценных воль. Договором между людьми об'яснялось происхождение государства. Первым из рационалистов подробно обосновал эту мысль Гуго Гроций. «Государство есть лучшая форма соединения свободных людей для пользования покровительством законов и для общей выгоды». Самое понятие выгоды, вкравшееся в даваемое Гуго Гроцием определение, намекает на социально психологический источник его теории. У Гоббса договор кладется в основу всей социальной жизни. Без соблюдения договоров немыслимо общежитие. Наоборот, последовательное их соблюдение ведет к передаче прав отдельных лиц в руки единой власти, а вместе с тем к созданию крепкого правительства и росту всеобщего благоденствия. Точно так же Спиноза учил, что слияние людей в государство вызвано правильным сознанием ими своих интересов. Все эти мыслители относили возникновение государства к отдаленному, можно сказать, незапамятному прошлому. Если в те времена человеческий разум, простой и мало развитый, мог порождать такие сложные и удивительные вещи, то следует допустить, что, владея орудием усовершенствованной и обогащенной знаниями мысли, имея за собою громадное историческое прошлое, разум и подавно справится с менее трудной задачей — не создания наново, а улучшения уже существующего человеческого общежития. «Изменились все нравы, — писал Вольтер, — почему не изменить все нелепости, доставшиеся от готов и вандалов? Если держаться уважения к старине, не надо было разрушать их хижины с целью построить на том месте более удобные».

Вера в могущество разума влечет за собою веру в могущество вдохновляемого разумом законодателя.

На этом пути довольно быстро, однако, наступает разочарование. Вожди и законодатели Великой Французской революции, воспитанные на вере во всемогущество разума, одни из первых убедились в том, что недостаточно издать закон: гораздо труднее провести его в жизнь. Некоторые примеры их неудачных попыток переделать жизнь росчерком пера приводились мною в другом месте [1]).

---

[1]) „Быт, как научное понятие",—„Жизнь" 1921. кн. I.

Здесь стоит отметить, что, по словам покойного П. А. Кропоткина, больше двух третей основных законов, изданных Учредительным и Законодательным Собранием в промежуток времени 1789 — 1793, даже не начали проводиться в жизнь. Со стороны внешней техники эти законы были совершенны: их ясностью и красотой слога восхищаются до сих пор. Раздел I Конституции 3 сентября 1791 гарантировал доступ всех граждан ко всем местам и должностям, соответственно их добродетелям и талантам. Там же было обещано доставлять подходящее занятие трудоспособным беднякам. Оба обещания... выполняются по сие время. Революционный Конвент 11 июня 1793 принял закон о переходе к крестьянским общинам всех земель, которые у них были отняты помещиками в течение последних 200 лет. Закон этот, в значительной мере утверждавший уже существовавшее до него положение, получил применение в большей части Франции. Однако там, где крестьяне находились под влиянием попов и помещиков, закон 11 июля остался мертвой буквой. В Вандее крестьяне продолжали снимать у помещиков земли на основе феодального права. Церковных имуществ они не покупали, опасаясь проклятия. Впоследствии, когда восторжествовала реакция, был выпущен целый ряд законов в отмену декрета 11 июня. Первый из этих законов относится к 9 июня 1796 г. Затем уже при Директории, Консульстве и Империи делались новые попытки уничтожить аграрное законодательство Конвента. Все они провалились за невозможностью преодолеть сопротивление крестьянства, фактически уже владевшего землями.

Новая метла чисто метет. Петр I был, как известно, одним из самых плодовитых законодателей. Большая часть изданных им законов проникнута верой в силу указа, особенно сопровождавшегося угрозами. За порубку корабельного дуба — смертная казнь. Дубы, однако, рубились. За казнокрадство — жестокая пытка и колесование, либо отсечение головы. Казнокрадство процветало, и Петр не мог постигнуть, как изловить казенные деньги, «которые по зарукавьям идут». Прослушав однажды в Сенате доклад о хищениях, Петр вышел из себя и велел обнародовать указ, что всякий, укравший у казны достаточно, чтобы купить на те деньги веревку, будет на ней повешен. На это генерал-прокурор Ягужинский сказал: «Разве ваше величество хотите остаться императором один без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее, чем другой». Указ не был издан. Другие указы строжайше предписывали разыскивать и искать беглых, а они открыто жили за спинами сильных бар в Москве на Пятницкой, на Ордынке, за Арбатскими воротами. Много было, конечно, и таких указов, которые выполнялись, но как? Пройдя от Сената через какую-нибудь штатс-контору или юстиц-коллегию к воеводе, а от него к заправлявшему глухим углом кормленщику под'ячему, они нередко превращались в свою полную противоположность, а в лучшем случае весьма умалялись и урезались. «Внушительными законодательными фасадами прикрывалось общее безнарядье» — так заключает В. О. Ключевский главу своего курса, посвященную описанию Петровского законодательства.

3.

Нет надобности умножать примеры этого рода. Пополнить их количество, при некотором напряжении памяти, может каждый. В науке права соответствующая идеология выразилась в подробно разработанной теории закона. Ученые были весьма единодушны в утверждении первенства законодательства над всеми остальными формами государственной деятельности, которые мыслились в качестве вспомогательных. Управление и суд рассматривались лишь как применение закона в бесспорных и спорных случаях. Соответственно с тем они удостаивались и меньшего внимания. Только в XIX столетии Лоренц фон Штейн окончательно установил самостоятельную ценность и значение управления. Начало XX века отмечается учением о самостоятельной правотворческой роли суда. Но закон по-прежнему стоит на первом месте. Теория закона (в буржуазной юриспруденции) озабочена разрешением по преимуществу следующих вопросов: 1) отличие закона от административного распоряжения, иначе — указа; 2) установление суб'екта законодательной власти, то-есть тех государственных органов, коим может быть присвоено право законодательства; 3) порядок издания закона: здесь заботливо со множеством исторических справок описываются: законодательный почин, прохождение закона через представительные палаты, утверждение его высшей властью и, наконец, обнародование; 4) толкование законов, насчитывающее до десятка видов, из коих некоторые делятся еще на подвиды и т. д. Идеологический характер права, его отрыв от подлинных житейских отношений ярко проступает в этих построениях. В самом деле, «всуе законы писать, ежели их не исполнять», как говорил тот же Петр. А, между тем, юрист прекращает свое исследование на самом интересном месте, когда оставалось главнейшее: 1) описать, каким должен быть закон, дабы было обеспечено его применение в действительности; 2) рассказать, какие видоизменения необходимо претерпевает закон, будучи проводим в жизнь. Таким образом исполнение закона остается неприкаянным уголком науки, слоняющимся между социологией и теорией управления. А те, кому сие ведать надлежит, с любовью углубляются в толкование законов, не замечая при этом, что уже в процессе толкования жизнь заставляет изменять первоначальный смысл нормы и подставляет вместо нее другой, продиктованный изменившимся соотношением классовых сил. Так, Правительствующий Сенат в 1907 г. внес важное раз'яснение к понятию «непреодолимой силы», действие которой оправдывало невыполнение договора: «Под понятие непреодолимой силы подходят не исключительно явления стихийных сил преграды, но могут быть подведены и явления обыкновенной жизни, препятствующие правильному ее течению. К числу таких явлений могут быть отнесены и общие волнения в государстве, стачки и забастовки». В этом юридическом толковании без труда улавливаются отзвуки революционных событий 1905—1906 годов и выпирающий наружу факт роста организованности рабочего класса. До того времени стачки считались одним из «вполне преодолимых» видов преступности.

Наступившая после Французской революции реакция поколебала веру в могущество законов и законодателей. Историческая школа на место идеи о сознательном правотворчестве выдвинула представление об органическом, стихийном развитии права. Однако почти параллельно с ней создавались утопические системы социализма, основанные на наивной вере в могущество законодателя. Для осуществления своих мечтаний Анфантен предлагал иерархическую систему общества с промышленно-жреческим главой. Кабэ для той же цели облекает правительство абсолютной властью. Обоим этим мыслителям общество рисуется как податливый материал, в точности отпечатлевающий все распоряжения власти. Энгельс говорил о консервативности идеологий. Поразительно, как часто оправдывается его мысль. Непреодолимая инерция классового интереса делает невозможным прогресс общественно-научной мысли в том виде, как это наблюдается в технике и естествознании. В XIX веке одни только попы, да и то лишь самые заскорузлые, оспаривали теорию всемирного тяготения, ввиду ее несогласованности с Библией. От Эвклида до Лагранжа и Гауса идет непрерывная линия развития геометрической мысли. Но ни просвещенный абсолютизм XVII — XVIII веков, ни упомянутые выше социалисты-утописты не знали того, что было хорошо известно наиболее проницательным писателям XVI столетия. Еще Макиавелли в своих «Рассуждениях о первых десяти книгах Тита Ливия» писал: законы меняются легко, труднее меняются учреждения, еще труднее нравы и внутреннее строение общества. Еще лучше выражен скептицизм по отношению к законам и законоведам у Томаса Мора, многие мысли которого сохраняют интерес самой жгучей современности:

«Число законов очень невелико, и тем не менее их бывает достаточно для всех учреждений. Утопийцам особенно не нравится у других народов бесконечное количество писаных законов, декретов и комментариев, которых, однако, далеко не хватает для общественного спокойствия. Они считают верхом несправедливости оковывать человека железными законами, слишком обширными для того, чтобы была возможность их прочесть, и иногда слишком туманными, чтобы их понять.

«Сообразно этому, в Утопии нет адвокатов; там нет ораторов по профессии, которые специально занимаются тем, что выворачивают на изнанку все законы и применяют их к своему делу с большой ловкостью. Утопийцы предпочитают, чтобы каждый сам защищал свое дело и непосредственно передавал судье то, что у нас поручают адвокату.

«Таким образом получается меньше двусмысленности и путаницы, и легче обнаруживается истина. Стороны излагают свое дело просто, благодаря отсутствию адвокатов, научающих различным обходам да интригам. Доводы каждой стороны взвешиваются судьей на основании здравого смысла и понимания дела; он защищает откровенность прямого человека от лживых уверений обманщика.

«Подобного рода правосудие очень трудно было бы применить в других странах, где оно заменяется кучею доносов среди противоречий и двусмысленностей. Впрочем, в Утопии каждый человек есть «доктор прав», так как,

повторяю, число законов там очень ограничено, и самое простое выражение их считается наиболее подходящим и справедливым».

В 1873 г. в Британском Статистическом Обществе Дженсон прочел любопытный доклад о развитии законодательства в Англии. По подсчету докладчика, со времени Статута Мертона (середина XIII столетия) и до конца 1872 г., было принято всего 18.110 законов, из которых 80% были отменены полностью или частично. За время с 1870 по 1872 г.г. было отменено 2.759 законов и изменено 773. Ученый автор, к сожалению, не сообщает числа законов, вовсе не вступавших в силу, а таких, надо думать, было не мало. В XX веке вопросу о бессилии законов особый труд посвятил безвременно скончавшийся французский ученый Крюэ. Этот автор пришел к выводу о существовании на-ряду с официальным, от государства исходящим правом — другого, возникающего самопроизвольно и отменяющего или перерабатывающего первое. Английские юристы, познавшие силу неписаного права на опыте конституционного развития своей страны, отводят ему в своих курсах больше места, чем официальному праву, которое действует на бумаге, но на деле давно уже стало предметом архивных изысканий. Покойный черновицкий юрист Евгений Эрлих, социологические работы которого еще до сих пор не переведены на русский язык, основал специальный институт для изучения живого права, рождающегося в гуще житейских отношений. Иногда законодатель улавливал движение этого права и придавал ему официальную форму и значение. Такова история договора контокоррента (взаимного текущего счета) в германском законодательстве. Сначала изобретение и применение этого договора в технике деловых отношений, затем использование его в единичных судебных решениях, дальше обобщающая работа научной литературы и, наконец, узаконение в официальном праве. Наоборот, из Австрийского Гражданского Уложения осталось без всякого применения до $^1/_3$ статей, по преимуществу явившихся плодом «естественного разума» законодателя. Попутно Эрлих делает любопытное наблюдение, что административная деятельность государства давала более действительные по сравнению с законодательством результаты. Так, в странах с отсталым рабочим законодательством и хорошей фабричной инспекцией охрана труда была поставлена лучше, нежели в странах с передовым законодательством и слабо развитой инспекцией.

4.

Из новейших марксистских теоретиков права вопросом о действии юридических норм вплотную занимался тов. П. И. Стучка. Для него государственный и правовой порядок является одной из форм, в которые необходимо воплощается революция. И самое право привлекало его внимание по преимуществу в том виде, как оно проявляется в действительной жизни. Поэтому, вопреки общепринятому представлению о праве, как совокупности повелевающих или запрещающих норм, тов. П. И. Стучка построил иное определение: право, как порядок общественных отношений, выгодный для господствующего класса и поддерживаемый его организованной силой. Это опре-

деление является для тов. Стучки основным, хотя после некоторых колебаний он присоединил к нему еще два определения: 1) право, как система норм, иначе официальный закон, и 2) право — идеология, интуитивное право, правосознание, еще не воплотившееся ни в писаный закон, ни в живую действительность. Таким образом тов. П. И. Стучка подошел к множественности определений права.

Предлагаемое тов. П. И. Стучкой понимание права, несмотря на некоторую схематичность, имеет значительные удобства. Схематичность кроется в том, что иные правовые явления соединяют в себе признаки всех трех выдвигаемых этим автором образов права. Например: не избирают и не могут быть избранными в советы лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли (Конституция РСФСР, ст. 65, п. а.). Здесь мы имеем на-лицо: 1) некоторый порядок общественных отношений, — сказанные лица, действительно, не пользуются избирательным правом в Советы; 2) правовую норму, — конституционный текст, содержащий запрещение участвовать в выборах, относящийся к известной категории лиц, и приказ о недопущении их к выборам, обращенный к подлежащим органам власти; 3) выражение правовой «идеологии», правосознания некоторого общественного класса, в данном случае пролетариата, признающего «справедливым» устанавливаемый приведенной статьей закона порядок. Такое совпадение, правда, не всегда имеет место. Нередко действительность разлучает перечисленные тов. П. И. Стучкой стороны права или соединяет только две из них и при том в различных пропорциях и сочетаниях. Здесь обнаруживаются удобства данного нашим автором расчленения. Иногда можно проследить самую диалектику общественного процесса, по которой писаное право воплощается в жизненных отношениях или, наоборот, установившийся в действительности порядок получает свое юридическое отражение в зеркале закона. Корни процесса всегда, разумеется, более или менее лежат в производственных отношениях. Но самое его течение имеет своеобразные формы, как медицина насчитывает несколько разновидностей болезни, вызываемых одним и тем же микроорганическим возбудителем. Весьма типическим является положение, когда интересующий нас процесс проходит следующие ступени: 1) хозяйственные потребности выработали новую форму отношений между людьми; 2) заинтересованные лица нашли, что пользование этой формой вполне целесообразно и правомерно; 3) но так как по вопросу о правомерности возникли сомнения, то после некоторой борьбы правомерность эта была официально признана (или, наоборот, отклонена) законом. Примером может служить приведенный Эрлихом (см. выше) эпизод из истории контокоррентного договора в Германском праве. Ярче и показательнее с социологической точки зрения борьба за трестовское законодательство в Соединенных Штатах. Сначала стихийный процесс капиталистического развития создает тресты. Затем юристы и печать, обслуживающая нужды трестовиков, начинают доказывать соответствие новых организаций с «духом американской конституции», «традициями личной свободы» и т. п. Наконец, после долгой социальной борьбы, в которой потребители оказали значительное

сопротивление натиску организованного капитала, закон Шермана и последовавшие решения верховного суда с известными оговорками и ограничениями допустили существование трестов. Линия развития отмечается: порядок общественных отношений — правосознание — закон.

Другим типом развития можно считать такое положение, когда законодатель, опередивший сознание современников, издает закон, враждебно встречаемый широкими кругами. Закон этот насильственно ломает давно сложившиеся и отвердевшие жизненные отношения и заменяет их новыми. Постепенно созданные им бытовые (в широком смысле слова) формы завоевывают себе признание населения, признаются целесообразными, а самый закон — правильным и разумным. По этому пути довольно часто, хотя далеко не всегда успешно, идет революционное законодательство. Так, закон об отделении церкви от государства, вначале чуждый и непонятный широким массам русского крестьянского и мещанского населения, был проведен в жизнь аппаратом Советской власти. Вновь сложившийся порядок довольно быстро завоевал себе всеобщее признание, и, наконец, самое духовенство вынуждено было признать реформу целесообразной и даже отвечающей «правильно понятым интересам церкви». Линия развития: закон — порядок общественных отношений — правосознание.

Возможна, наконец, и третья комбинация. В сознании того или иного класса назрело требование определенной формы, ввиду того, что установленный законом и действительно существующий порядок тормозит нормальное течение жизни. Законодатель, под напором общественного мнения или даже прямого организованного давления заинтересованных классов, вырабатывает и принимает новый закон, который и производит требуемую жизненную перестройку. Приблизительно по этому пути шла аграрная реформа, проведенная Тиберием Гракхом (133 до нашей эры) и наделившая крестьянство землею за счет крупных землевладельцев. Линия развития: правосознание — закон — порядок общественных отношений.

5.

Наблюдаются и другие, менее часто встречающиеся типы последовательности правового развития, ибо три члена предполагают построение шести различных сочетаний. Останавливаться на них здесь не имеет смысла. Даже из описанных выше типических случаев я намерен ближе заняться одним, наиболее характерным для революционного законодательства вообще и нашего в частности. Это — вторая из выше приведенных комбинаций: закон — порядок общественных отношений — правосознание. Возможен некоторый вариант, когда закон усваивается сознанием, но не сразу и не без сопротивления входит в жизнь. Таков механизм действия налогового законодательства. Налогоплательщик в массе случаев: 1) знает закон; 2) понимает его правомерность, но 3) стремится уклониться от выполнения возложенной на него законом обязанности, находя ее слишком тяжелой или просто не желая платить. Этот вариант мы точно так же привлечем к рассмотрению. В общем,

следовательно, основным нашим материалом послужат те законы, нужность или необходимость которых сознавалась законодателем, но которые представлялись чем-то новым и непривычным населению. Во избежание недоразумений, следует иметь в виду, что речь идет зачастую лишь об относительно новом и непривычном. Абсолютно нового под луной, как известно, нет, хотя стремление к этому новому не редко. «Действительно великие революции, — говорит Ленин, — рождаются из противоречий между старым, между направленным на разработку старого, и абстрактнейшим стремлением к новому, которое должно уже быть так ново, чтобы ни одного грана старины в нем не было» («Лучше меньше, да лучше»).

Абстрактные стремления мало свойственны массам, интересы и чаяния которых направлены на видимую и осязаемую действительность. Но как раз закон есть общая, стало быть, отвлеченная норма, и законодатель, как никто, способен увлечься заманчивой новизной создаваемого им права, которое освежит и заново перестроит жизнь. Действительность представляется ему воском или глиной, покорно повторяющей давление рук ваятеля. Это профессиональная болезнь законодателя. Никто другой не понимал ее опасности лучше великого реалиста в политике — Ленина. Никто не издевался злее и язвительнее его над широкими планами, громковещательными резолюциями, пышными и многочисленными проектами преобразований (реорганизаций), которые либо оставались на бумаге, либо безбожно коверкались при столкновении с действительностью. По поводу известного спора о профсоюзах в конце 1920 г. Ленин писал: «Декретов, которыми в том или другом учреждении введено сращивание (профсоюзов с хозяйственными органами), так много, что и не перечтешь. А практически изучить, что из этого вышло, мы еще не сумели. Мы сумели сочинить принципиальное разногласие о сращивании и при этом сделать ошибку, на это мы мастера, а изучить наш собственный опыт и проверить его — на это нас нет». Еще резче подчеркнул Ленин эту нездоровую склонность наших администраторов в своей замечательной речи на IX Всероссийском С'езде Советов: «Любому профсоюзу, который в общих чертах ставит вопрос о том, должны ли профсоюзы участвовать в производстве, я скажу: да перестаньте болтать, а лучше ответьте мне на вопрос практически и скажите: где вы поставили хорошо производство, сколько лет вы его ставили, сколько вам человек подчинено — тысяча или десять тысяч, дайте мне список тех, кого вы ставите на хозяйственную работу, которую вы довели до конца, а не то чтобы за двадцать дел браться, а потом по недосугу ни одного не решить... У нас ужасно много охотников перестраивать на всяческий лад, и от этих перестроек получается такое бедствие, что я большего бедствия в своей жизни и не знал».

В технических учебных заведениях преподается особая наука о сопротивлении материалов, одна из основных для строителей. Зодчий кладет балку или ставит стояк, и у него тщательно учтено, сколько эта балка или стояк может понести весу, какова ее влагопропитываемость или огнеупорность, сопротивляемость времени и даже привлекательность для древоточащих жучков. Инженер, проектирующий мост, до $^1/_{100}$ миллиметра должен расчесть

его прогиб под нагрузкой товарного и пассажирского поезда, устойчивость быков в связи с быстротою течения и даже химическим составом воды. Законодатель, работающий над живым человеческим материалом, над хозяйственными отношениями, обычаями, традициями, предрассудками, сложным переплетом национальных, религиозных, исторических моментов, не имеет, можно сказать, ничего подобного тем безукоризненно выверенным формулам и табличкам, которыми пользуется в своем мастерстве строитель. Отсюда *явления вроде аракчеевщины: куры должны нести яйца* в один и тот же день, бабы — мыть полы по субботам и при этом подтыкать подолы не выше и не ниже положенного предела... Вера в мощь фельдфебельского приказа не умерла по наше время и особенно широко проявляется в разного рода запретах. Губисполкому докучает безработица в его губернии. Простейший способ выйти из положения — запретить регистрацию вновь приезжающих безработных на бирже труда. Но и в соседней губернии исполком не глупее — в результате создается своего рода черта оседлости или крепостное право для трудящихся, желающих переменить место жительства, а Наркомтруд и ВЦСПС должны входить в ЦИК с представлением об отмене постановленных на местах запретов. Время от времени даже на страницах центральной печати появляются революционнейшим образом мотивированные и блещущие изящной простотой проекты борьбы с трудно преодолеваемыми общественными бедствиями. Нужно, правда, сказать, что в большинстве случаев проекты эти исходят от одного писателя, пользующегося славой недурного экономиста-теоретика и на-смех неудачливого администратора-практика. Одним из последних плодов его творчества был проект о ликвидации жилищного кризиса в Москве путем выселения 100 или 150 тысяч жителей, в том числе детских домов, уголовного элемента, лиц без определенных занятий и, разумеется, воспрещения в'езда иначе как по служебным командировкам, завизированным по приезде в Москву в подлежащем ведомстве и, конечно, на строго определенный срок. Кажется, этому проекту суждено остаться лишь приманкой для будущих собирателей исторических курьезов и для параллелей с такой хотя бы статьей Уложения государя царя и великого князя Алексея Михайловича:

«А буде чьи-нибудь старинные или кабальные люди или крестьяне и бобыли, которые за кем написаны в писцовых книгах, бегаючи у кого женятся на Москве и в городах у посадских людей на дочерях, на девках или на вдовах, и таких беглых людей по крепостям, а крестьян по писцовым книгам с посадов отдавать с женами их и с детьми тем людям, из за кого они вбежать, а в посад их в тягло по женах их не имати» (XIX, 37).

6.

Производство ближайшим образом связано с техникой. Техника же есть не что иное, как материальное воплощение математически точных расчетов. Отсюда идет возможность довольно успешного регулирования производства. Успех ложится на допускающую измерение технику. Здесь он с не оставляю-

щей сомнений очевидностью из года в год идет в гору. Значительно сложнее обстоит дело с живой мускульной силой — трудом. Там дело не ограничивается целиком расчерченной в формулы механикой, химией или даже физиологией. Приходится учитывать психологические, рефлексологические и сродные им моменты, далеко еще не изученные и значительно превосходящие по своей сложности факторы чисто технические. Быт в узком (научном) смысле слова, как общественный порядок потребления, как строй домашней жизни, имеет свои черты косности, замкнутости и проч., к которым с научной организацией подступиться трудно. Он таит в себе стихийную силу сопротивления по отношению ко всякой попытке целесообразного упорядочения, в том числе и по отношению к праву.

Это обстоятельство, конечно, не удерживает законодателя от попытки преобразования быта. В истории трудно, однако, найти столь коренную ломку всего социально-политического строя и правопорядка, как предпринятая Октябрьской революцией. Сейчас, пожалуй, не настало еще время для сверки и учета жизненных результатов советского законодательства. Социологическому рассмотрению этого вопроса должна предшествовать кропотливая и методически очень тонкая разработка цифровых данных. В данное время мы еще ничего подобного не имеем, если не считать отдельных, по обыкновению, превосходных опытов Е. Тарновского в области моральной статистики современности. Тем самым определяется и круг задач настоящей статьи. Она не притязает ни на какие окончательно установленные выводы. Я буду удовлетворен, если мне удастся поставить в общесоциологической рамке некоторые частные вопросы политики права. Каждый из них требует самостоятельного исследования вглубь и вширь. Будем надеяться, что в свое время такие исследования придут, а сейчас ограничимся тем, что могут дать собственные наблюдения и литература, которая в общем носит весьма отрывочный характер.

Столкновение правовой нормы с преобразуемыми ею условиями быта может дать разные результаты, которые мы условно обозначим, как прямое действие, косвенное действие, бездействие, недостижение и частичное достижение цели.

П р я м ы м д е й с т в и е м мы назовем такое действие закона, при котором цель законодателя в существенном достигается, при чем разные побочные последствия законодательной меры не уродуют ее прямых результатов. Подобный эффект достигается обычно теми законами, в которых бесспорно заинтересовано огромное большинство тех, до коих они относятся, и выполнение которых при том ввиду их относительной простоты заранее позволяет всесторонне учесть результаты. Пример: «Всем лицам, работающим по найму, проработавшим непрерывно не менее 5½ месяцев, предоставляется один раз в году очередной отпуск, продолжительностью не менее двух недель» (Кодекс зак. о труде, ст. 114).

К о с в е н н ы м д е й с т в и е м мы будем считать побочное действие закона, возникающее независимо от намерений законодателя, иногда улучшающее, но в большинстве случаев портящее и даже парализующее прямое

действие закона. В этой области любопытный материал дает наше брачное право. Ст. 87 Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве изд. 1918 гласит: «Основанием для развода может служить, как обоюдное согласие обоих супругов, так и желание одного из них развестись». Закон нигде не указывает, что желание это должно иметь какие-либо определенные мотивы и даже не обязывает требующую развода сторону чем бы то ни было мотивировать свое требование. Судья обязан постановить о расторжении брака, не вдаваясь в область отношений супругов и не исследуя причин распада семьи, имеющих нередко весьма интимный характер. Такое исследование возможно лишь в том случае, если разводящиеся не пришли к соглашению по вопросу о том, у кого будут находиться дети. Тогда охраняемые государством интересы малолетних вынуждают суд волей-неволей войти в изучение семейной обстановки, характера, жизненных привычек и даже состояния здоровья каждого из супругов. Это изучение должно, однако, способствовать лишь разрешению вопроса о судьбе детей. Постановление же о разводе безусловно должно быть вынесено своим порядком.

Таким образом развестись у нас в иных случаях легче, чем отметиться выбывшим по домовой книге. Последнему домоуправление иногда препятствует в тех случаях, когда выбывающий не внес всех причитающихся с него налогов или квартирной платы. Разводу воспрепятствовать не может никто. Нужно ли говорить, какую колоссальную ломку семьи по сравнению с прошлым произвел этот порядок? Старое право для лиц православного вероисповедания устанавливало лишь следующие поводы к разводу: а) прелюбодеяние одного из супругов; б) неспособность к брачному сожитию; в) лишение всех прав состояния по суду; г) безвестное отсутствие в течение пяти лет. Специально оговаривалось запрещение по обоюдному согласию разводов и даже просто обязательств жить врозь. Прелюбодеяние не могло доказываться собственным признанием «виновного». Епархиальные консистории, ведавшие этого рода делами, требовали либо метрической выписки на рожденных в прелюбодеянии детей (если ребенок у женщины родился, напр., спустя год после от'езда мужа), либо свидетельских показаний, вполне изобличающих нарушение брака. Тут-то и скрывалась единственная отдушина для домогающихся развода. При помощи профессиональных ходатаев нанимались для комедии прелюбодеяния промышлявшие этим делом дамы и благородные свидетели, под присягой удостоверявшие поругание святости брака. Дальше действовала канцелярская машина. Что касается неспособности к брачному сожитию, то иск о расторжении брака по этой причине мог быть вчиняем «токмо» через три года после совершения брака, да и то лишь в том случае, если неспособность «природная» и существовала до вступления в брак. Если муж приобрел эту неспособность в результате специальных болезней или неумеренного образа жизни, жена должна была терпеливо нести свой крест безбрачия в браке всю жизнь.

Советское законодательство разбило железные обручи, калечившие жизнь сотен и тысяч людей. Вступление в брак и выход из него стали совер-

шенно свободны. Законодатель руководствовался, повидимому, двоякого рода соображениями. Во-первых, он исходил из нравственной предпосылки свободы чувства, неподчиненной правовому регулированию. Во-вторых, советский законодатель не видел надобности в сохранении во что бы то ни стало прочности и ненарушимости семьи, столь любезной сердцу всех буржуазных законодателей, как твердая опора собственности и порядка. Социалистическая республика идеал семейной солидарности заменила идеалом солидарности всех трудящихся. Семья при этом осталась далеко позади, сделавшись частным делом каждого. Понятно, что некоторые работники в области женского права стали доходить до мысли о необходимости отмены всякой вообще регистрации брака, как посягающей на внутреннюю жизнь чувства и представляющей обломок буржуазного лицемерия. Сторонники этого взгляда упускали из виду лишь одно: никто не обязан регистрироваться, а если кто желает,— вольному воля. Может быть, «внутреннее чувство» как раз требует регистрации и будет возмущено отказом в ней.

Количество разводов после соответствующего декрета скакнуло в гору с необычайной быстротой. Непрочность старого брака обнаружилась сама собою. Но и мечта романтиков, ожидавших встретить эру свободного любовного союза, облагораживающего души и тела, потерпела значительный ущерб. Новое положение дало значительный выигрыш мужчине, среднему пошляку ловеласу, отяготив судьбу доверившейся ему женщины. По данным одной из крупнейших юридических консультаций в Москве (Бауманской), чрезвычайно велико число женщин, обращающихся за советами в связи со вторым, третьим и даже четвертым разводом мужа. Вот два типичных случая. Рабочий С., известный у себя на заводе, как покоритель сердец, долго и безуспешно домогался благосклонности работницы другого завода Клавдии К., натерпевшейся уже от любовных похождений своего первого мужа и потому не особенно склонной доверять мужчинам. Наконец, ухаживатель, отчаявшись достигнуть своей цели иным путем, предлагает брак. Брак заключен, молодые блаженствуют. Через четыре месяца К., брошенная мужем на 5-ом месяце тяжело протекающей беременности, приходит в консультацию и, заливаясь слезами, просит истребовать с мужа на содержание ребенка. Как оказалось, муж женат на ней четвертым браком. Три предшествующих развода, состоявшиеся на протяжении пяти лет, он скрыл. Скажут, суд обяжет отца платить на содержание ребенка. Это истинно юридический подход к делу. С. получает жалованья 36 руб. в месяц. Детей, произведенных в описанном выше порядке, у него трое. По закону на алименты можно удерживать не свыше половины заработка. Легко рассчитать, сколько придется на ребенка. Другой случай. Муж, состоящий во втором браке, развелся со второй женой и вернулся к первой. После развода у второй родился сынишка. Умиленный отец опять бросает первую и возвращается ко второй. Молодая мать с ребенком живут в темной, сырой комнате. Благодаря содействию завкома, удается получить ордер на занятие светлой и сухой комнаты в счет коммунального жилищного фонда. Получивший этот ордер муж стремительно возвращается к первой жене и вместе с ней занимает комнату. Брошенная женщина с бледным, зады-

хающимся от кашля ребенком сидит в консультации и ждет, пока будет написано исковое заявление об отобрании от мужа незаконно занятой комнаты. Ей предстоит: 1) подобрать удостоверяющие ее требование документы, 2) вручить повестку ответчику, всеми способами уклоняющемуся от ее получения, 3) потерять в лучшем случае один рабочий день в нарсуде и столько же, может быть, в губсуде, 4) торопить судебного исполнителя с *выселением мужа и 5) все это время качать, кормить и лечить* ребенка, а если после родов прошло восемь недель, то и работать у станка.

Таких и им подобных случаев тысячи. Облегчая развод, законодатель стремился раскрепостить супругов, в том числе женщину. В одном направлении эта цель достигнута. Зато в другом слабость брачных связей повела к сугубому закрепощению женщины и сделала ее легкой жертвой профессиональных волокит, ныне не останавливающихся и перед браком. Можно, разумеется, сказать, на бога надейся, а сам не плошай, то-есть предоставить женской осмотрительности предвидеть дурные последствия брака с тем или другим лицом. Но этот индивидуалистический подход, предоставляющий все свободной игре свободных воль, чужд духу советского законодательства. Нельзя требовать осмотрительности от 18, иногда 16-летней девушки, попадающей во власть опытного в своем деле сердцееда. Наконец, рост социальных заболеваний, истощение женского организма и, как следствие, умножение числа беспризорных детей не могут оставить государство безразличным, ибо вся тяжесть борьбы с этими явлениями ложится на его плечи, то-есть на плечи тех рабочих и крестьян, которые с трудом содержат и свои семьи. Кроме всего этого, нужно установить различие между семьей и просто половым союзом. *В социалистическом строе, когда* не станет домашнего хозяйства, а дети будут воспитываться за счет общества со дня рождения, вместо семьи, вероятно, создадутся другие формы союза полов. Но в нашу переходную эпоху государство еле выдерживает бремя расходов на детские дома, ясли и другие виды помощи материнству и младенчеству. При этих условиях семья сохраняет огромное значение производящей (домашнее хозяйство) и потребляющей единицы. Следует к тому же помнить, что закон, под которым живет большинство нашего населения, официально именует семью основной хозяйствующей единицей. «Двором признается семейно-трудовое об'единение лиц, совместно ведущих сельское хозяйство» (Зем. Кодекс, ст. 65). В учете важнейших моментов семейной жизни—возникновения, увеличения и распада семьи государство заинтересовано ничуть не меньше, чем в учете, скажем, кустарных мастерских или не подвергнувшихся муниципализации домовладений. И не *только в учете, но и в регулировании. Говорить по этому поводу о буржуазном* лицемерии—значит болтать ничего общего с реалистическим марксизмом не имеющие дамские пустячки во вкусе Вербицкой и ей подобных «бытописательниц».

Какой же выход из положения, спросит читатель: не запретить ли вовсе развод? Такое заключение было бы неосновательным. Не запрещать развод, но затруднить вступление в брак для многократно разводящихся, это,

пожалуй, никому бы не повредило. И суды были бы разгружены от дел по алиментам, и число детоубийств упало бы, и уменьшилась бы детская беспризорность. Бороться с омещанивающим влиянием семьи можно и должно, но те способы борьбы, которое с легким сердцем рекомендуют некоторые «левые» моралисты, бьют не по коню, а по оглобле. Окончательно решить вопрос можно лишь по тщательном статистическом изучении относящихся к делу данных. Как уже говорилось выше, я здесь на это не притязаю. Изложенное выше — только образец двойного действия правовой нормы. Достигнуты искомые законодателем хорошие результаты, но вместе с ними народились и плохие. Значит, кое-что требует исправления и, надо думать, раньше или позже будет исправлено.

7.

Бездействие или неприменение закона мы наблюдаем в тех случаях, когда облеченный властью и призванный к действию закон ничем не проявляет себя на деле. Это бездействие может иметь разного рода причины. Иногда, поистине, хорошо, что закон, ведущий свое начало из седой древности и давно утративший жизненность и силу, остается без применения, мимоходом лишь привлекая ленивый взор юриста-систематика. Так зондирующий свеже кровоточащее отверстие хирург лишь уголком глаза захватывает рубец давно зажившей раны. Пробуждение отживших законов к жизни способно породить тяжкие трагедии. Великий жизневедец Пушкин и этот вопрос затронул в своей поэме «Анжелло». Наместник, временно отлучившегося герцога, строгий законник Анжелло воскрешает старый, давно забытый закон, каравший смертью внебрачную любовь. Он руководствуется при этом высоким представлением о достоинстве закона: закон не есть пугало из тряпицы, на коем, наконец, уже садятся птицы. Легкомысленный юноша — счастливый любовник попадает в когти воспрянувшего закона, и лишь благодаря сложному стечению обстоятельств наступает благополучная развязка. Подобные сюжеты не редкость в итальянских новеллах средневековья и раннего возрождения. Отсюда видно, что проблема бездействующего закона издавна волновала человеческую мысль. В истории Анжелло закон утратил силу за старостью. Его былая мощь постепенно выветривалась под влиянием изменившихся исторических условий. 832 ст. дореволюционного Уложения о наказаниях карала смертной казнью побег из карантинного оцепления во время чумы. Фактически она ни разу, кажется, не применялась, начиная со второй половины XIX века, а нарушители запрета подвергались незначительным взысканиям, вроде штрафа или ареста при полиции. Развитие медицины и санитарии, радикально изменившее взгляд на значение карантинов, лишило 832 статью прежнего грозного смысла. Несмотря на молодость советского законодательства, подобные примеры наблюдаются и в нем. Ст. 127 Уголовного Кодекса 1922 г. карает лишением свободы не ниже шести месяцев бесхозяйственное использование рабочей силы, предоставленной государственному предприятию в порядке трудовой повинности. Можно сказать, что статья

эта запоздала. Для ее применения открывался широкий простор в 1920—1921 годах. В 1922 г. и позже случаи использования трудовой повинности становились все реже и реже. Соответственно уменьшались и поводы к применению 127 ст. Угол. Код., в настоящее время почти не фигурирующей в практике наших судов.

Перечисленные случаи можно было бы назвать юридической смертью от старости. Когда-то закон имел свою юность, пору расцвета сил, широко применялся, давал пищу для судейской логики и адвокатского остроумия, затем вместе с исчезновением породивших его общественных условий блекнул, худел и, наконец, превратился в формулу, праздно занимающую место на страницах кодекса. Бывают, однако, случаи мертворождения или, по крайней мере, раннего малокровия законов, когда с самого момента своего появления на свет они оказываются не ко двору и, столкнувшись с живой действительностью, вынуждены признать свое бессилие. Берем в пример ст. 397 Уложения о наказаниях 1885 г.: «Кто в придворных церемониях, при аудиенции послов или же в чиновных с'ездах и других сему подобных публичных торжествах и собраниях, дозволит себе нарушить установленный порядок в отношении к старшим его по чину или званию, тот за сие подвергается: выговору более или менее строгому». Нарушений порядка, видимо, не было, чиновные лица вели себя в отношении старших благопристойно. Если же кто, паче чаяния, допускал какой-нибудь продерзостный поступок, то немедленно был удаляем со службы и даже препровождаем с фельд'егерем в места отдаленные от житейской суеты. 397 статья занапрасно отнимала труд у наборщиков государственной типографии. Ст. 409 того же Уложения предупреждала: «За неосвидетельствование в установленные сроки архивов разных мест и управлений, лица, коим, по учреждению каждого места или управлении, сие поставлено в обязанность, подвергаются: замечанию более или менее строгому». Статья эта ни разу, вероятно, не помешала крысам питаться архивными богатствами и не омрачила покоя ни единого архивариуса. Кроме внутреннего удовлетворения своих авторов, вряд ли она оставила еще какие-либо следы в человеческом общежитии.

В советском праве есть также законы, которые бездействуют. Ст. 33 Уголовного Кодекса, содержащая перечень видов наказаний, ставит на первом месте изгнание из пределов РСФСР. Эта мера наказания применяется лишь в случае, предусмотренном ст. 70, т.-е. за пропаганду и агитацию в направлении помощи международной буржуазии. На деле случаи ее применения исчисляются единицами. Не потому, конечно, что в Советской России не ведется преследуемой этой статьей пропаганды. Но суды предпочитают в соответствующих случаях применять другие меры наказания, считая, что при данных условиях изгнание облегчит осужденному продолжение его преступной деятельности и лишь в слабой степени явится для него действительной карой. Положение о Государственном Политическом Управлении 1922 г. сильно сократило полномочия этого органа по сравнению с предшествовавшей ему ВЧК. Действительность внесла в Положение о ГПУ сначала чисто практические поправки, затем полномочия ГПУ были расширены особыми постановлениями ЦИК.

Но едва ли не самым крупным примером в данной области являются судьбы Рабоче-Крестьянской Инспекции. Это учреждение было задумано чрезвычайно интересно. При замене старого Государственного Контроля Рабоче-Крестьянской Инспекцией в 1920 г. предполагалось поделить ее работу между постоянными сотрудниками специалистами и текучей массой трудящихся, организуемой в подсобных органах и ячейках содействия. Несмотря на громадные усилия, затраченные для вовлечения рабочих масс в деятельность Рабкрина, учреждение продолжало оставаться сколком с Госконтроля. Внимание инспекторов сосредоточивалось на даче разрешительных виз и подписывании актов, которым пометка «в присутствии представителя РКИ» не прибавляла достоверности ни на гран. Это показали в последующем многочисленные судебные процессы по должностным и хозяйственным преступлениям с непременным участием представителей РКИ на скамье подсудимых. 1923 год принес с собой коренное преобразование Рабоче-Крестьянской Инспекции, сужение ее задач и заметное улучшение личного состава. Результаты этого преобразования еще целиком в будущем. Прошлое ценно своими уроками. Закон натолкнулся на гранит жизни и должен был отступить, пока рост хозяйственного и культурного благосостояния страны не придал ему новой силы для перехода в наступление.

8.

Недостижение правом цели, — результат ограниченности сил государственного аппарата при столкновении с имеющими глубокие корни жизненными фактами. Еще Спиноза указывал, что «никогда не будет существовать какая-либо такая верховная власть, которая могла бы выполнить все так, как она хочет» (Богословско-политический трактат, 17, 2). Но власть, особенно власть революционная, хочет очень многого. Как мы уже видели из приведенных выше слов Ленина, она нередко воодушевляется весьма отвлеченными принципами. В предыдущей главе отмечались случаи, когда закон не идет дальше листа бумаги, на котором он начертан. Его выполнение парализуется уже косностью самого государственного аппарата. Здесь мы будем иметь дело со случаями, когда государственный аппарат проявлял значительную энергию в выполнении закона, но его усилия парализовались сопротивлением всей социально-хозяйственной обстановки. В одном случае колесо вовсе не вращается, в другом — ему сообщено за отсутствием приводного ремня холостое движение. Со страниц «Собрания Узаконений» норма закона переходит в циркуляры, ведомость, решения судов, обязательные постановления местной власти. Дальнейшего эффекта нет или почти нет.

В эпоху военного коммунизма центральными и местными властями издавалось немалое количество распоряжений, относящихся до поддержания чистоты. Кое-где вводилась даже санитарная диктатура, и население в порядке трудовой повинности привлекалось к очистке улиц, своих и учрежденских дворов. Однако тифы свирепствовали, паразиты плодились с неимоверной быстротой, выгребные ямы были полны миазмов. Необходимость поддержания

чистоты в общих интересах сознавалась не только властями, но и всем населением. При всем том, отсутствие топлива, белья, карболки, даже извести, загрузка транспорта и другие причины того же порядка сводили на-нет все усилия власти. Сентиментальные попытки возместить эти материальные недочеты усиленной санитарно-просветительной работой доказывали свою несостоятельность на каждом шагу. В последующем количество декретов, воззваний и обязательных постановлений уменьшалось, но росла доставка топлива, белья, медикаментов, ремонтировались кипятильники, улучшался уход за больными. Из новых жизненных условий органически вырастали нормы законов, получавшие на этот раз реальное значение и силу. И здесь сказался закон косности быта. Требования санитарных властей получали относительно успешное осуществление в предприятиях производственных и в учреждениях общественного пользования. Улицы содержались чище дворов. Жилища же остались почти неприкосновенными для санитарного надзора, и до сих пор положение с ними к лучшему почти не изменилось.

Любопытна судьба одного из наказаний, установленных нашим Уголовным Кодексом 1922 г. — принудительных работ без содержания под стражей. Этому виду наказания ответственные деятели советской юстиции придавали особое значение. В нем видели одно из важнейших отличий советского Кодекса от буржуазных. Несмотря на то, что в 1920 г. Народный Комиссариат Юстиции жаловался, что по целому ряду губерний количество приговоров к принудительным работам без лишения свободы не превышало 3%. Наркомюст связывал эту меру наказания с распространением начала всеобщей трудовой повинности и решительно настаивал на возможно широком ее применении. В мае 1922 г. Наркомюст с удовлетворением отмечает, что опыт оправдал принудительные работы, как один из новых путей советской юриспруденции. Однако в декабре того же года НКЮ указывает, что приговоры к принудительным работам не достигают цели. Фактически они являются не только полным освобождением от наказания, но даже ставят осужденных в более благоприятное положение по сравнению с безработными, так как приговоренным к этому виду наказания органы Наркомтруда должны предоставлять работу в первую очередь. НКЮ усматривал выход в назначении осужденным не занятий по специальности, а работ неквалифицированного физического труда. Однако и этот план не разрешал вопроса. Как известно, именно чернорабочие на-ряду с канцелярскими служащими составляют основной контингент безработных. В результате, ст. 35 Угол. Код., претерпевавшая значительные изменения, несмотря на то, и до сих пор продолжает причинять серьезные затруднения судам, которые всеми мерами стараются заменить ее иным видом наказания. Верховный суд оказался вынужденным пойти навстречу этому стремлению. Циркуляром от 27 июля 1923 г. он дал подчиненным судам обстоятельные раз'яснения о порядке замены принудительных работ иным видом наказания. В настоящее время положение изменилось мало. Во всяком случае, жесточайшая безработица надолго исключает возможность применения принудительных работ в тех размерах и формах, в каких это представлялось целесообразным законодателю.

В другом роде, но не менее показательным примером является история советского векселя. Вексель есть, как известно, долговое обязательство, отличающееся от других форм займа своим строго формальным характером. Раз выдан вексель, надо по нему платить, независимо от того, выполнил ли векселедержатель те обязательства, которые он брал на себя, принимая вексель. Суд не входит в рассмотрение тех отношений, формальным результатом коих явился вексель. Он имеет дело с самим векселем, и защищаться от вексельного требования по большей части можно, только заявив спор о подлоге. Благодаря этим свойствам, вексель делается бумагой, во многом приближающейся к денежным знакам, и получает огромное значение в коммерческом обороте. Переходя из рук в руки, он вытесняет или освобождает колоссальные суммы денег «в натуре». Колебания вексельного курса определяют политику целых стран. Могущество финансового капитала в значительной степени об'ясняется той ролью, которую играют банки в учете векселей. Наше положение о векселях 1922 г. пыталось привить советскому торговому обороту вексель в таком же виде строго формального обязательства, в каком его знают законодательства буржуазных стран. Своеобразие нашего хозяйственного строя воспрепятствовало осуществлению этой попытки. В условиях преобладания частного оборота и конкуренции преследующих эгоистические цели хозяйственных единиц, абсолютная строгость векселя является первостепенной важности регулятором обращения. У нас хозяйственный оборот регулируется постоянным государственным вмешательством, в идеале имеющим плановой характер. Поэтому протест векселя, то-есть официальная отметка о несостоявшейся в срок уплате, не имеет у нас того дискредитирующего предприятие значения, какое она имеет за границей. Весною 1924 г. кризис сбыта вызвал серьезную заминку в торговых делах. Векселя многих предприятий всероссийского масштаба и значения (как, например, Центросоюз, ряд текстильных трестов и т. п.) пошли в протест. Однако вмешательство высших советских и партийных организаций в большинстве случаев смягчало или устраняло юридические последствия протеста. Тяжкие потрясения государственного рынка были, благодаря этому, избегнуты, но зато репутация векселя вышла из переделки в весьма омраченном виде. Хозяйственные органы притерпелись к тому обстоятельству, что их векселя попадают в протест, и смотрели на это довольно хладнокровно. Тем самым затруднились взаимные расчеты. Учреждения, ранее охотно принимавшие краткосрочные векселя, стали требовать вместо них платежей наличными. В свою очередь, банки сократили учетные операции. Таким образом ослабление вексельной строгости оказалось слишком дорогой ценой за смягчение рыночных неладов, угрожая острое заболевание перевести в хроническое. В сентябре 1924 г. органы нашей промышленности и торговли обратили внимание всех подчиненных им учреждений и предприятий на нежелательность допущения векселей к протесту и на необходимость соблюдения «вексельной дисциплины» [1]). Самое слово «д и с ц и п л и н а» сви-

[1]) Несмотря на то, понадобился специальный закон, установивший, что вексельные отсрочки (моратории) могут даваться во всех случаях лишь по постановлениям Совета Труда и Обороны (Постановл. ЦИК и СНК СССР от 14 ноября 1924 г.).

детельствовало о том, что юридическая строгость векселя (rigor cambii) не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Давление нотариуса и суда пришлось дополнить, а отчасти даже заменить давлением руководящих хозяйственных органов и в особенности партии с ее могущественными средствами дисциплинарного воздействия.

Нельзя не упомянуть и о любопытной особенности советского строя, до сих пор не уместившейся в твердые юридические рамки и существующей, пользуясь модным выражением, de facto. Местные Советы обязаны подчиняться декретам и распоряжениям центральной власти. Лишь в некоторых случаях им предоставлено право опротестования и приостановки поступлений отдельных Народных Комиссариатов, но не Совнаркома и тем более не Президиума ВЦИК. Лозунг «власть на местах» считается отошедшим в историю. В действительности обстоит не так. Советская федерация во многом продолжает сохранять свой первоначальный уклад «Союза Коммун», и местные власти не только в автономных республиках, но и в губерниях фактически пользуются гораздо более широкими полномочиями, нежели те, которые предоставлены им законом. Кое-какие, но далеко не достаточные поправки вносит сюда надзор за соблюдением законности, осуществляемый прокуратурой. Нельзя сказать, чтобы центр не знал этого обстоятельства или не учитывал важности его значения. Елейные размышления некоторых историков нашей конституции о каком-то особенно благодушном взаимодействии без борьбы и столкновений между центральными и местными советскими органами страдают полным отсутствием делового подхода к предмету. Вот что гласит ст. 3 Гражданского Процессуального Кодекса 1923 г.: «Суд обязан разрешать дела на основании действующих узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства, а также постановлений местных органов власти, изданных в пределах предоставленной им компетенции» Законодатель по опыту предвидел возможность издания местными органами постановлений, выходящих за пределы предоставленных им полномочий. Он учитывал далее и возможность принятия судами такого рода незакономерных постановлений к руководству при разрешении дел. Поэтому и была внесена в текст статьи подчеркнутая выше оговорка. Однако в значительном количестве случаев она не достигла цели. Местные власти под напором своеобразных условий своей деятельности нередко выносили постановления, противоречащие закону. Поскольку постановления этого рода ближайшим образом затрагивали интерес общегосударственный (напр., финансовый), постольку они довольно быстро уничтожались вмешательством центра. В частности Народному Комиссариату Финансов с его хорошо слаженным аппаратом удалось добиться весьма прочной налоговой дисциплины. Иное положение создалось в области жилищного законодательства. Острая нужда рабочих масс в жилище вынуждала местные советы и исполкомы становиться на путь самостоятельного законодательства. Так, жилищно-санитарная норма для всей республики была установлена Наркомздравом в 16 кв. аршин на человека. Эта норма справедливо признается голодной, то есть отступления от нее возможны лишь в сторону повышения. Однако Иваново-Вознесенский Горсовет в 1924 г. установил

норму в 12 кв. аршин и предпринял в общегородском масштабе уплотнение всех граждан, пользовавшихся более просторным жильем. Декретом от 31 июля 1924 г. ВЦИК и Совнарком вновь подтвердили безусловное право научных работников на 20 кв. аршин дополнительной площади для научных занятий. Через месяц Московский Совет ограничил выполнение этого постановления тремя тысячами лиц. Примеры этого рода весьма многочисленны. Народные суды при разборе соответствующих дел сплошь да рядом применяли местные, а не общегосударственные нормы, и даже вмешательство кассационной инстанции не давало определенных результатов. Само собою, что отступление от буквы закона в тех или иных частных случаях вызывалось особой настоятельностью классового интереса трудящихся. Но, с другой стороны, преследуемая ст. 3 Гр.-Проц. Код. цель — строгая закономерность судебных решений — уже не могла быть достигнута и в действительности не достигалась.

9.

Случаи частичного достижения намеченной правовой нормой цели наиболее обычны. Достижение бывает частичным по разным причинам. Иногда норма, предназначенная для всеобщего применения, действует лишь в некоторых местах; в других ее действие парализуется непреодолимым своеобразием местных условий. Так, в горах Абхазии и во многих других местах Закавказья советское гражданское право не может до сего времени вытеснить норм шариата. Хевсуры предпочитают разрешать свои споры и столкновения на основе обычаев кровной мести. Советское уголовное правосудие не привилось еще в их стране. Гражданские правоотношения у кочевников Киргизии значительно отличаются от форм, установленных Гражданским Кодексом. Возможно далее, что не вся норма, а лишь часть ее получает фактическое применение. Такой случай мы видели несколькими строками выше в отношении 3 ст. Гражд.-Проц. Код. При таких обстоятельствах нередко отпадает и возможность достижения задачи, поставленной всей норме в целом. Случается, однако, и так, что закон весьма энергически проводится в жизнь, но цели не достигает или достигает не в полной мере. Такова, напр., судьба многих законов об охране труда, на страже которых стоят, кроме судов, профессиональные союзы, трудовая инспекция, печать, рабочие корреспонденты и т. д. Многочисленные правила и инструкции требуют установки ограждений около машин, дабы избавить рабочих от опасности, чуть немного оплошал, быть захваченным и втянутым в зубья и валы машины. Здесь и во многих подобных случаях серьезным препятствием является обычно недостаток средств. Халатность администрации и технического надзора относительно легко преодолевается давлением союзов и угрозой уголовного закона. Вообще, там, где известные недочеты наблюдаются в производственной и вообще коллективной деятельности людей, они более поддаются юридическому исправлению, чем недочеты и болезни быта, частной жизни.

Наше семейное право возлагает на родителей обязанность содержания несовершеннолетних, нетрудоспособных и нуждающихся детей. Эта обязанность лежит на обоих родителях в равной мере (Код. зак. об актах гражд. сост. 161, 162). Закон ничем не отличает в этом случае детей, родившихся от официально записанного брака, от рожденных в фактическом брачном сожительстве или просто явившихся плодом временной половой связи. Во всех этих случаях факт появления ребенка на свет налагает на родителей установленные законом обязанности. Мужчина не может защищаться ссылкой на то обстоятельство, что мать ребенка была во время зачатия в связи еще и с другими лицами. Если эта ссылка оправдается на суде, то обязанность участвовать в содержании ребенка ляжет на всех лиц, относительно коих имеется равное основание считать их виновниками зачатия (Код. зак. об актах гражд. сост., 144). «Таким образом законодатель всегда и безусловно приходит на помощь слабой стороне, в данном случае матери и ребенку. Судебная практика всеми мерами поддерживает законодателя. Юридические консультации по делам о взыскании алиментов (содержания) оказывают бесплатную помощь. Суды назначают эти дела к слушанию в возможно скором времени и с особливой заботливостью следят за тем, чтобы интересы истицы не пострадали от ее малограмотности, неосведомленности, забитости (Гр.-Проц. Код., ст. 5). Если женщина, измученная морально и физически, готова пойти на невыгодную для нее и ребенка мировую сделку, и суд и прокуратура (ст. 2 Гр.-Проц. Код.) всеми мерами предостерегают ее и стараются внести в мировое условие возможные улучшения. Даже в такой мелочи, как очередь слушания дел в судебном заседании, редкий судья не поставит по собственному почину на первую очередь дел, в которых заинтересованы присутствующие на суде женщины с детьми. И, однако, главная трудность положения женщины начинается уже после того, как вынесено благоприятное для нее решение. Приведу несколько типических случаев.

Истица получила исполнительный лист на взыскание с отца ребенка ежемесячно 30 рублей. На суде отец ребенка признал для себя эту сумму вполне посильной. Он торгует золотыми и серебряными изделиями с рук. Несколько месяцев ответчик аккуратно выполнял свое обязательство, затем сошелся с другой женщиной и легко поддался ее уговорам на тему о том, что бывшая его жена не заслуживает законной помощи. «Сама знала, на что шла. Другая еще рада была бы, что такой интересный кавалер с нею гулял, а не то что разводить кляузы по судам». Судебный исполнитель, явившийся на квартиру ответчика с целью описи имущества, ушел ни с чем: имущества, которое можно было бы описать, не оказалось. Бедная женщина явилась в одну из консультаций Москвы с просьбой указать ей, как она может использовать свое установленное законом и признанное судом право. Консультанты после долгого совещания не нашли иного выхода, как пред'явление исполнительного листа рыночному милиционеру с просьбой об отобрании в пользу истицы товаров, которыми торгует ответчик. Это оказалось почти невыполнимым, так как ответчик принадлежал к широко распространенному типу мелких рыночных спекулянтов, не имеющих торгового помещения и легко

переходящих с места на место со всем своим товаром — десятком колец и камней, завернутых в папиросную бумагу. Отыскать такого юркого молодца в толчее и многолюдстве московских рынков трудная вещь даже для сыскного агента и совершенно невозможная для женщины с грудным ребенком на руках. Юристу оставалось развести руками и признать, что заявительница имеет только jus nudum — голое право. Обездоленный ребенок лет через 12 попадется, вероятно, другому юристу в числе малолетних преступников.

Другой еще более типический случай. Отец и мать ребенка — рабочие разных заводов. Отец — по специальности шорник, жалованья получает около 60 рублей и дорабатывает, примерно, 30 рублей по мелочам у себя дома. Мать получает по 5-му разряду 28 рублей. Суд присудил с отца алименты 15 руб. в месяц. Тот некоторое время платит, затем сказал истице следующее: «Бери пять рублей в месяц, а не хочешь—уеду на службу в провинцию, там меня и с собаками не разыщешь». Перед этой угрозой женщина, достаточно натерпевшаяся за время связи, родов и хождения по судам, отступила. Месяца два она получала по пять рублей, ребенка прикармливала хлебным мякишем. Потом отец вовсе перестал платить. В юридической консультации из расспросов потерпевшей выяснилось, что ответчик — кандидат РКП, ленинского набора. Заведующий консультацией, сам партийный, написал отношение в районную контрольную комиссию. Неплательщика вызвали и сделали ему соответствующее внушение в партийном порядке. Месяц или два он опять платил по 15 рублей, затем уехал и потерялся. Женщина осталась с ребенком, нажитой в связи со всеми тяжелыми условиями ее жизни женской болезнью и 28 рублями жалованья плюс увольнение по нетрудоспособности в ближайшей перспективе. Здесь вместе с общим правом оказались бессильными и нормы коммунистической этики по отношению к нравственно неустойчивому суб'екту.

Третий случай — из интеллигентского быта. Муж 45 лет, инженер, занимает видный пост на железнодорожной службе. От брака дети: дочь 20 лет, служит, жалованья получает 45 рублей; сын 18 лет, страдает бугорчаткой правого легкого, учится в строительном техникуме НКПС. Мать, потрясенная изменой мужа, после 22 лет супружеской жизни, усталая, малокровная женщина. Все трое живут на жалованье дочери. Сыну до окончания техникума и получения службы осталось десять месяцев, но он их не дотянет, так как усиленная работа немыслима при жизни впроголодь, которую ведет вся семья. В юридической консультации вызывает споры вопрос о праве сына на алименты, как достигшего совершеннолетия. Пытаются уладить с отцом дело миром, предлагают ему выдавать по 20 рублей в месяц до окончания сыном техникума. При жалованьи в 180 рублей эта сумма не представляется обременительной. Отец от явки для переговоров по вызову консультации уклоняется, семья, пропитанная интеллигентскими предрассудками и страдающая чрезмерной щепетильностью, не желает обращаться в суд. Результат: сыну, вероятно, не удастся окончить техникума, болезнь обострится, и на плечи государства ляжет бремя содержания, лечения и похорон инвалида,

который мог бы быть полезным работником, если бы обязанное по закону лицо выполняло свои обязанности.

Последний случай, правда, не может считаться типичным. Но зато первые два чрезвычайно характерны. Один из них интересен уже тем, что консультация вынуждена была прибегнуть к внеюридическим мерам воздействия (вмешательство партийных организаций). В данном случае они оказались безуспешными. Но в других аналогичных случаях вмешательство партийных комитетов и даже угроза осведомить о создавшемся положении партийное общественное мнение давала скорый и верный результат. Запомним этот факт для дальнейшего. Здесь стоило бы отметить, что действующим законодательством использованы далеко не все меры борьбы со злостными неплательщиками алиментов. 79 ст. Уг. Код. об'являет наказуемым уклонение от платежа налогов и выполнения общегосударственных повинностей. Ущерб, причиняемый государству пуском в свет беспризорных детей, толканием женщин на продажу своего тела, и т. д., слишком велик для того, чтобы государство не стремилось прибегнуть к мерам уголовного понуждения. Кажется, Уголовный Кодекс открывает для этого известную возможность редко употребительной 163 статьей: «Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни положении и лишенного возможности самосохранения по малолетству, дряхлости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, если оставивший без помощи был обязан иметь заботу о таком лице, карается — лишением свободы на срок до двух лет». Можно спорить, применима ли к интересующим нас случаям именно 163 статья. Но это вопрос юридической техники. В крайнем случае можно внести известные исправления в ее редакцию или даже составить добавочную статью 163а. Но необходимость жесткого вмешательства уголовного закона в область алиментарных отношений рисуется мне несомненной. В чисто гражданских правоотношениях по духу нашего права противостоят друг другу равносильные и равноправные стороны. Там, где одна из них экономически слабее другой, государство уравновешивает преимущество последней, давая в руки слабейшего орудие уголовного обвинения (Угол. Код., ст. 132, 145). В алиментарных делах мы имеем сходное положение. Энергическое содействие государства слабейшей стороне будет здесь вполне в духе советского права [1]).

С бытовой стороны заслуживает внимания одна из наиболее часто встречающихся в практике народных судов 172 ст. Угол. Код. Согласно этой статьи карается принудительными работами или штрафом оскорбление, нанесенное кому-либо действием, словесно или на письме. Дальше оговаривается ненаказуемость оскорбления, вызванного равным или более тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. Еще не так давно суды были завалены делами о самогоне. В 1924 г. число их как будто поубавилось. Зато колоссально

[1]) В № 35—36 „Еженедельника Советской Юстиции“, вышедшем уже после того, как настоящая статья была готова к печати, опубликован текст ст. 165а Угол. Код., утвержденной Президиумом ВЦИК 14 июля 1924 г. Новый закон карает за уклонение от платежа алиментов принудительными работами или штрафом до 500 руб.

возросло число дел об оскорблениях, положительно загромоздивших некоторые городские суды. Цель законодателя заключалась в принятии мер к охранению личного достоинства граждан. Рост количества судебных дел по 172 ст. показывает, что сознание этого достоинства среди трудящихся стало более чутким и действенным. Работница, которая в дореволюционную пору переносила площадную ругань с большой толикой равнодушия по пословице: «брань на вороту не виснет», теперь при малейшем ущемлении своего достоинства прибегает к помощи народного суда. Можно как будто сказать, что цель, которой руководствовался законодатель, достигнута. Однако самая энергическая деятельность судов не снижает числа обращений по 172 статье. Здесь играет отрицательную роль жилищная теснота и связанные с ней неизбежные соседские свары из-за пустяков. Большой круг женщин, потерпевших и обвиняемых по 172 ст., указывает при ближайшем рассмотрении на кухонные нелады из-за места в печке, невынесенного мусора, случайно пролитого чужого горшка. Житье в тесноте постоянно с одними и теми же людьми никогда не способствовало добрым отношениям. Это хорошо известно из тюремных воспоминаний, из мемуаров, рисующих быт политической эмиграции, и т. п. Опытные тюремные сидельцы по той же причине всегда предпочитали томительную тишину и скуку одиночного заключения веселому житью и вечной руготне общей камеры.

В 1924 г. перед рабочими организациями Москвы стал вопрос о выработке образцового типа рабочего жилья. Коллективистически настроенные верхушки предлагали дома-коммуны с общими кухнями, прачечными, детскими площадками и т. п. Постройка такого типа домов не только рассчитывалась на упрочение коммунистических наклонностей, но и обойтись должна была значительно дешевле. При том же облегчалось применение разного рода технических усовершенствований — газовых плит, электрических пылевысасывателей и т. п. Однако те, для кого непосредственно предназначались вновь возводимые дома, решительно запротестовали против этого плана. Соседские свары и склоки настолько им опротивели, что они предпочли перейти если не совсем «на хутора», то во всяком случае «на отруба». Проект постройки английских коттеджей — домик с садом и огородом для каждой семьи — был отклонен по причине дороговизны. Остановились на двухэтажных четырехквартирных домах. Но пока еще жилищная теснота продолжает давать свои ядовитые плоды, и число судебных процессов по оскорблениям неукоснительно ползет в гору. Суды и консультации, полузадушенные потоком этих дел, начинают обращать свои усилия в пользу примирения сторон [1]). И дежурный консультант и народный судья пытаются всеми способами убедить потерпевшего, что нанесенное ему оскорбление не стоит того, чтобы жаловаться в суд. Уговоры отнюдь не всегда завершаются успехом. Тогда суд, разобрав дело по существу, приговаривает виновного по

---

[1]) Несмотря на то, раздаются голоса в пользу судебного преследования так называемых символических обид. Так, один из авторов в 33 номере „Еженедельника Советской Юстиции" за текущий год серьезно обсуждает вопрос, должно ли караться показывание кукиша, „носа" и т. п.

большей части к незначительному штрафу или общественному порицанию. Потерпевший редко остается доволен таким приговором, но зато поневоле становится вместе с судом на ту точку зрения, что, пожалуй, не стоило возбуждать дело. Законодатель вряд ли учитывал все эти моменты, когда устанавливал закон. Будучи учтены в настоящее время, они могут дать некоторую основу для наших последующих выводов.

Для борьбы с недобросовестными контрагентами казны Уголовный Кодекс 1922 г., создавшийся в разгар нэп'а, ввел 130 статью. Она предусматривает и довольно сурово карает злостное невыполнение заключенного с казной договора. Судебная практика усугубила суровость 130 ст. и дала ей весьма распространительное толкование. Если договор не был выполнен, злостность невыполнения предполагалась. Например, обвиняемому предстояло доказать, что он приложил все усилия к исправному выполнению договора и если не достиг цели, то по обстоятельствам, от его воли совершенно не зависящим. Кассационная практика такого рода толкованию препятствий не чинила. Суды имели в виду необходимость всеми мерами препятствовать расхищению казны падкими до наживы аферистами. Факты показали, что принятая судами линия не обуздывает хищнических аппетитов. Преступления, предусмотренные 130 ст., возрастали с поразительной быстротой. И чем дальше, тем яснее обрисовывался в преследуемых деяниях настоящий состав 130 ст., т.-е. действительная недобросовестность и злостность. Каковы же были причины слабой целесообразности 130 ст.? Они крылись в своеобразном экономическим изломе действительности. Солидный частный контрагент в условиях падающей валюты и неустойчивой практики органов железнодорожного транспорта уклонялся от заключения с казной договора, хотя бы и сулившего заманчивую прибыль, опасаясь применения в случае чего 130 ст. Наоборот, любитель легкой наживы, гнавшийся прежде всего за получением аванса, подписывал договор с легким сердцем, иногда даже не читая его и рассчитывая как-нибудь вывернуться в дальнейшем. С другой стороны государственные учреждения полагались на действительность уголовной угрозы и меньше внимания уделяли кредитоспособности контрагента. При таких условиях, отпугивавшая солидного коммерсанта практика судов освобождала поле деятельности для различных дутых товариществ и артелей. Предел этому был положен лишь общим сокращением роли частного капитала в хозяйственном строительстве страны.

## 10.

«Правильное право» — это то право, которое порождает **прямое действие**, то-есть дает именно тот эффект, на который рассчитывал законодатель. Но для построения правильного права нужно изучить ту среду, в которой оно призвано действовать. Не общество основано на законе, а закон основан на обществе, сказал Маркс в своей знаменитой речи к кельнским присяжным. Закон, не имеющий корней в живой социально-хозяйственной действительности, умирает, как растение, посаженное на чужую почву. Закон,

корни которого слабы, дает бледные, немощные ростки и скудное семя. Закон, впитавший соки земли, на которой он вырос, приносит те плоды, которых от него ждали. Наибольшим реализмом отличаются совершенно конкретные законодательные меры, особенно в тех случаях, когда законодатель кровно заинтересован в их успехе. Для примера возьмем положение о едином сельско-хозяйственном налоге 1924 г. Этот закон, оправдавший себя на деле, весь построен на тщательном изучении той среды и тех об'ектов, с которыми ему придется действовать. Десятина пашни в Саратовской губернии одно, а в Кабардино-Балкарской области совсем другое. Законодатель это учитывает и вносит в нужных случаях поправки применительно к местным условиям. Он аккуратно перечисляет, в каких случаях даются льготы по налогу. От обложения освобождаются площади виноградников, омолаживаемых срезыванием под черную головку 5 лет после омоложения (ст. 24). Не подлежат учету быки и жеребцы производители (там же). Наконец, в целях наибольшего приближения налога к местным хозяйственным особенностям, губернским исполнительным комитетам предоставлено в границах их территорий менять ставки и изменять разряды по обложению в пределах общей наверстанной на их губернию суммы. Те же права в соответственных пределах положены уездным и волостным исполнительным комитетам. Таким образом, закону обеспечена, во-первых, гибкость, во-вторых, широкие трудящиеся массы через низовые советские органы получают достаточную возможность влиять на проведение закона в жизнь и тем самым на законодательное выправление его недочетов. За август - сентябрь 1924 г. Совет Народных Комиссаров принял пять или шесть декретов, изменяющих те или иные части положения о едином сельско-хозяйственном налоге. Это не свидетельствует, правда, о совершенстве нашей законодательной техники, но свидетельствует зато о более важном достоинстве правотворчества: об умении прислушиваться к голосу жизни и быстро исправлять ошибки законодательства. О том же говорят многочисленные письма крестьян по вопросам налогового обложения, поступающие в консультацию при «Крестьянской Газете».

Закон о едином сельско-хозяйственном налоге может в известном смысле считаться образцовым. Но и он не лишен крупных недочетов. Последующее их исправление говорит о том, что при выработке закона недостаточно были приняты во внимание голоса с мест. Нечего таить греха. Централизаторские замашки эпохи военного коммунизма не вполне еще изжиты и по сие время. Законодательство, в особенности же кодифицированное (сведенное в уставы, положения, кодексы), слишком часто является более продуктом лабораторного производства отделов и комиссий Наркомюста, нежели коллективного творчества масс. Я не хочу этим сказать, что массы обладают каким-то чудотворным даром, который может заменить и юридическое образование, и специальную, трудно усваиваемую технику законодательства. Но голос их должен быть выслушан по всем вопросам правового регулирования быта. Говорят, что в выработке трудового права пролетарские организации играют достаточно действенную роль. Заменим неопределенные

слова «пролетарские организации» определенными «профработники», и мы сделаем крупный шаг к истине. Конечно, профсоюзы суть пролетарские организации, но ведь и партия и советы являются таковыми же. Речь идет о простых рабочих и крестьянах, стоящих каждый у своего будничного дела, целиком поглощенных самим бытом, а не его изучением и преобразованием. Эти-то рабочие почти не знают Кодекса законов о труде. Но мало того. Они обычно даже не в курсе коллективных договоров. Шепетовский или Черкасский сахарник получает уже в готовом виде генеральный коллективный договор, выработанный в готовом виде ЦК сахарников и правлением сахаротреста в Москве. Сплавщик леса по Северной или Западной Двине лишь от табельщика узнает, сколько ему причитается за сплав плотовины в 80 или 100 бревен. ВЦСПС неоднократно предлагал ликвидировать неграмотность членов профсоюзов в этой области, над которой работают соприкасающиеся с миллионами пролетариев губотделы, завкомы и месткомы. Как же стоит дело в других областях: гражданском, уголовном, семейном праве? Как обстоит дело в деревне? Работники центральных комиссариатов и женотделов, проникнутые весьма передовыми и революционными воззрениями на любовь и брак, пишут прекрасные декреты, а на местах множатся выкидыши на 6-ом и 7-ом месяце беременности, пяти и шестикратные разводы, бесконечные вереницы судебных дел о выплате содержания и детская беспризорность. А ведь не худо бы спросить и у тех, кому предстоит жить в браке и рожать детей, их мнение по данному вопросу, как спрашивают его, например, по вопросу о гражданской войне в Китае, или о проекте Дауэса. **Низовые организации и собрания трудящихся должны быть широчайшим образом привлечены к разработке законодательства по всем вопросам, непосредственно затрогивающим условия производства и быта.** Вне этого немыслимо приближение к подлинной рабоче-крестьянской демократии.

Но дело не только в выработке законов. Законы пишутся для исполнения. Исполнение закона есть не менее, если не более важная часть правотворчества, нежели самое законодательство. Здесь «право-норма» становится «порядком общественных отношений», то-есть действующим правом. Но «в уставах показаны только порядки и числа, времен же и случаев нет». Это значит, что закон содержит лишь общее правило. Его конкретное приложение должно тщательно сообразоваться с обстоятельствами места и времени. Мне пришлось несколько раз наблюдать замечательную в этом отношении работу народного судьи Московской сессии по трудовым делам К. По иску булочника об уплате за сверхурочные часы судья с отличным знанием дела допрашивал стороны, маломерные или нет в заведении печи, сколько выпекается мелкого и ситного товару, есть ли особый дровокол и т. п. Создавалось впечатление, что сам судья был булочником. Но на другой день К с такой же осведомленностью допрашивал маляра, сколько у него уходило краски на грунт, а на третий — столяра, брал ли он с собой на службу чертилку. Публика, заполнявшая камеру, слушала разбор дела с напряжен-

ным вниманием. Решение суда, применявшее закон, в то же время как бы вытекало из всех производственных и бытовых особенностей случая.

Разумеется, это возможно далеко не всегда. Решения по больным вопросам семейного права, по мелким уголовным и гражданским спорам нередко построены на внешних и слишком формальных моментах. Исполнение решений в тысячах случаев затруднено недостаточностью исполнительного аппарата и недостаточностью побудительных мотивов, которыми располагает суд (страх кары, принудительное взыскание и т. п.). Между тем, мы имеем уже такие учреждения, как расценочно-конфликтные комиссии, разгрузившие суд от массы мелких дел и вполне оправдавшие свое существование. Попытки создания товарищеских и дисциплинарных судов при профсоюзах потому лишь не дали надлежащих результатов, что им не было уделено достаточного внимания. В то же время дисциплинарные комиссии при коллегиях защитников говорят сами за себя, как и контрольные комиссии в партии. Спайка в партии такова, что члены ее почти все свои споры повергают на рассмотрение внутрипартийных органов. Трудно представить себе двух коммунистов, тягающихся в суде о возврате данных на время сапог или пререкающихся из-за нанесенного одним из них другому оскорбления. Место официального права занимают нормы, вытекающие из морального или правового сознания коллектива и потому полные реального жизненного смысла.

В том обществе, в котором сами трудовые массы строят свое хозяйство и свою жизнь, нельзя говорить о праве, как о нормах, получивших государственное признание и защищаемых государственным принуждением. Официальные нормы составляют только часть права, которое должны создавать и создают трудящиеся массы в процессе упорного молекулярного строительства нового уклада общественных отношений. Эти массы должны быть творцами и исполнителями права, которое тогда утратит свой идеологический, возвышающийся над обществом характер и преобразует самый быт. Процесс идет своим порядком. Нет надобности его пропагандировать и вовлекать в него массы, потому что идет он в массах. Коммунистическая ячейка, разрешающая семейный конфликт; завком, к авторитету которого обращаются не поладившие в частной жизни рабочие; политрук, получивший из далекой деревни письмо демобилизованных красноармейцев своего батальона с просьбой разобрать «по правде» спор между ними из-за пользования плодовым садом,—вот гуща, в которой бродят дрожжи нового «бытового права». Только этим путем, а не кружками «друзей нового быта» и не брошюрками: «Как устраивать октябрины в рабочих клубах» (Чем это лучше «чина божественной литургии, для мирян описанного»), может быть поднята задача, невыполнимая для пышных, расцвеченных религиозными украшениями, но лишенных реального жизненного значения обрядности.

# Происхождение обмена и меры ценности.

**М. Косвен.**

*(Окончание* [1]).

II.

В первой части настоящей статьи [1]) мы просмотрели эволюцию обмена от простейших, чисто импульсивных форм взаимного безрасчетного одаривания к напряженному исканию экономической мысли такого о с н о в а н и я обмена, которое удовлетворило бы все более требовательное представление человеком о ценности хозяйственных благ и все более решительное стремление к сохранению экономического равновесия между сторонами.

Последняя форма обмена, на которой мы остановились, а именно обмен одного предмета на ряд различных других, естественно расширяет как самый обмен, так и возможности ценностного уравнения, столь ограничиваемые первоначальным закреплением лишь единичных эквивалентов. Однако самый способ покрытия ценностной разности может, конечно, лишь в самой незначительной степени удовлетворить потребности как ценностных определений, так и вообще развивающегося оборота. На этой стадии обмен, конечно, остановиться не может, стремясь к новым путям и средствам дальнейшего осуществления своей социально-экономической роли. Здесь в область уравнения ценностей в обмене должны вступить новые элементы, даваемые непрекращающимся развитием психико-экономических способностей человека — представлениями к а ч е с т в а и к о л и ч е с т в а.

Действительно, об'ективные отличия отдельных хозяйственных благ, *вовлеченных в обмен, как равно и их количество* (размер и число), должны быть или стать доступными хозяйственному сознанию, войти, следовательно, в оценку и быть учтенными в обмене. Таким образом теоретически необходимо допустить, что указанные элементы должны и могут получить свое место в процессе выравнивания обмениваемых ценностей. На самом деле, экономическое значение, роль и судьба этих элементов в примитивной экономике далеко не одинаковы, и весь вопрос не лишен некоторой сложности.

Надо прежде всего сказать, что представления качества и количества, повидимому, не могут считаться врожденными человеку, что для их создания

---

[1]) См. № 6 (23) „Красной Нови".

и оформления потребовался, очевидно, процесс длительного психического развития. Действительно, путешественники и этнографы нередко указывают, что наиболее примитивные племена производят обмен, совершенно независимо от качества и количества обмениваемых предметов. Так, негры гереро и посейчас считают, что одна голова скота стоит столько же, сколько и другая, так что скот меняется всегда штука на штуку. Необходимый материал для развития идеи качества должна дать, повидимому, лингвистика; отметим здесь только, что в негрских языках, как указывает д-р Кюро, отсутствует сравнительная степень прилагательных. Идея качества во всяком случае есть преимущественно суб'ективная категория и свое реальное, логическое выражение получает лишь при соединении с идеей количества, в частности при посредстве измерения. Между тем, количественное представление размера должно считаться одной из более сложных умственных способностей: некоторым диким племенам восприятие размера оказывается недоступным. Соответствующую иллюстрацию дает следующий рассказ миссионера Ирле о тех же гереро, относящийся к 80-м годам прошлого века. Обменивая свои продукты европейцам на порох, туземцы всегда требовали полный мешок, не обращая внимания на размер самого мешка; таким образом большой мешок, но не полный, хотя бы и содержащий большее количество пороха, они отказывались принимать и предпочитали маленький мешок, но полный. Европейцам стоило большого труда научить их представлениям об об'еме и весе.

Наконец, несомненно значительно более высокой и сложной формой работы количественной мысли представляется операция измерения. Мы видим действительно, что у весьма многих из первобытных народов как измерения, так и тем более какой-либо связной системы мер не существует; представления размера лишь фиксируются или конкретизируются по отдельным условным, вернее привычным, размерным величинам. Такими привычными размерами об'ема в обиходе многих диких племен являются, например, «горсть», «куча», «ноша» человека или животного, размерами вместимости — какая-либо общепринятая посуда примерно постоянной формы; у диких племен Малайского полуострова обычной об'емной мерой служит скорлупа кокосового ореха, а у различных, значительно выше стоящих племен банту такой же мерой является корзина, при чем все изготовляемые данным племенем корзины соответствующего типа имеют одинаковый размер. Несомненно, что подобный конкретный источник имеет метрика всех культурных народов (ср. римск. amphora, русск. «ведро» и проч.). Точно так же размеры длины, имеющие, как известно, преимущественно антропологическое основание, заимствованные из различных длин, даваемых человеческим телом, сохраняют примитивно свое конкретное бытие, нося и соответствующие названия (ср. «пядь», «локоть», «фут» и проч.).

Наконец, вес являтся, очевидно, наиболее поздней мерой; почти всем диким и полукультурным племенам вес и взвешивание совершенно неизвестны и изредка имеются, как заимствование у культурных народов; не знали веса и индо-европейцы в эпоху до их расселения.

Как было сказано, характерная и существенная для нас черта примитивной метрики заключается в том, что первобытные размерные величины представляют собой отнюдь не арифметические единицы и ни в какой степени не образуют какой-либо системы мер, не являются единицами измерения, примитивно, следовательно, не подвергаются делению и не образуют более крупных, сложных, высшего порядка мер. Таким образом, по существу как теоретически, так и практически, по своему экономическому значению, эти размерные величины имеют вполне конкретный, почти форменно-предметный характер. И, следовательно, в тех ценностных противопоставлениях, которые нас интересуют, аналогично отдельным форменным предметам, уравниваемым друг другу как вещь к вещи, вступающие в обмен сыпучие тела, или жидкости, а равно тела, воспринимаемые со стороны их протяженности, идут обычной, общепринятой мерой на меру, в своих конкретных размерах, об'емах или длинах. Таким образом, наличие представления количества-размера, как всецело конкретного, не изменяет ценностных соотношений в обмене и не входит в ценностно-уравнительную работу первобытной хозяйственной мысли. Таково, например, ценностное уравнение: горсть («рука») орехов = листу табака (зап. банту), обычная для верблюда ноша соли = рабу (суданские негры) и т. п. Лишь измерению принадлежит громадная роль в экономической истории: именно физическое измерение должно составить основание будущего точного ценностного измерения. Ясно, однако, что для возникновения измерения, как работы уже математической, необходимо знание счета. Между тем, и умение считать, а тем более понятие числа составляют, как оказывается, далеко не легко достающееся человеку приобретение его умственного развития.

Вопрос о возникновении счета (Rechenkunst) и идеи числа (Zahlbegriff) имеет свою специальную литературу, но, несмотря на сотрудничество здесь представителей целого ряда наук: психологов, этнографов, историков, педологов, лингвистов и математиков, данной проблеме не хватает еще и материала и должной разработки. Не задерживаясь на этом чрезвычайно любопытном вопросе генетической психологии, следует лишь указать, что, повидимому, примитивные представления множественности и числа, с одной стороны, сливаются с представлениями размера; таковы именно такие представления, как «горсть», «охапка», «ноша верблюда», «сколько один человек может поднять» и проч. С другой стороны, совершенно аналогично размерным представления числовой множественности имеют, как это показал Вертхеймер, всецело конкретный характер, мыслятся совокупно, в определенном, даже форменном соединении, воспринимаясь как представления как бы определенных предметов или иных, данных природой или привычкой, постоянных соединений. Таково, например, широко распространенное представление двух, как двух половин одного целого (ср. лат. divido — duo), не менее распространенное представление «пяти», заимствованное из представления руки, и проч. Отсюда и происхождение некоторых числовых терминов в различных языках. Таким образом счет начинается лишь тогда, когда человеку становится доступной специфическая операция прибавления: 1 + 1.

Однако и эта операция представляет собой примитивно счет лишь механический или, так сказать, визуальный, не отделимый от пересчитываемых предметов или все еще на чем-нибудь конкретизирующийся (счет при помощи палочек, бирок, узлов и пр.). Наконец, счет абстрактный и концепция числа составляет наивысшую ступень развития, при чем можно сказать, что идея числа даже высокоразвитой психике культурного человека доступна лишь в очень ограниченных пределах.

Обращаясь к наблюдениям над современными примитивными народами, находим, что наиболее низшие из диких обнаруживают крайне неразвитую способность счета и всегда еще значительно более низкую способность образования числительных. Так, андаманцы (минкопи) имеют особые обозначения только для «одного» и «двух», далее умеют считать только до десяти, при чем ведут счет, последовательно дотрагиваясь пальцами до носа и произнося каждый раз «еще этот»; для особого обозначения числительных выше двух никаких слов в языке не существует; досчитав до десяти, андаманцы произносят «все», а представление о количествах выше десяти обозначается выражениями «несколько», «много», «очень много» и проч. На еще более низкой ступени развития стоит большинство австралийцев; лишь немногие из австралийских языков имеют числительные выше трех; «четыре» и «пять» выражаются соответственно: «два и два», «два и два и один»; далее счет не идет, и количества выше пяти обозначаются словом «много». Некоторые наиболее отсталые племена Торресова пролива знают только два первых числительных, счет до шести выражается комбинациями из этих двух слов, а все, что выше — словом «много».

По распространенному утверждению, все существующие в настоящее время первобытные племена, даже наиболее низшие, в той или иной мере обладают способностью счета, запоминания сосчитанного и имеют числительные. Однако весьма вдумчивый наблюдатель, проф. Фольц, в небольшой статье о ведах утверждает, что этот, живущий на Цейлоне, народец, всегда относимый к самым низшим из современных примитивных племен, совершенно не умеет считать и совершенно не имеет в своем языке числительных. Веды, живущие в деревнях и окультурившиеся благодаря сношениям с другими народами, уже обнаруживают знание счета, однако только на сингалезском языке; лесные же веды никогда не употребляют таких выражений, как «три дерева» или «два быка», а говорят только: «деревья» или «быки»; равным образом, нет у них и счета времени (дней). Можно думать, следовательно, что ведам доступно лишь самое примитивное представление множественности, и множественное число есть единственная форма выражения числа.

Любопытно, что педология приходит к совершенно аналогичным заключениям о развитии числовых представлений у ребенка. В результате очень тщательного специального исследования, К. Лебединцев приходит к выводу, что представления о числах возникают у ребенка без посредства сосчитывания, а путем непосредственного восприятия зрением и осязанием групп однородных предметов, и, следовательно, счет как таковой является сравнительно поздним приобретением детской психики.

Таким образом, в то время как первобытные своеобразные конкретные множественности, совершенно подобно размерным величинам, идут в обмен тем же quasi-предметным порядком, — лишь возникновение на сравнительно более высокой ступени развития человека подлинного счета и представления определенных арифметических чисел дает новое основание для производства обмена, новую форму ценностного уравнивания обмениваемых благ. Действительно, прибавление, увеличение числа определенных одинаковых предметов или quasi-предметов, о которых говорилось в обмене, т. е. операция 1 + 1, или, вернее, $a + a$, дает широкую возможность изменения и в конечном счете выравнения ценностных соотношений. Отныне в обмене важную роль начинают играть числовые количества одинаковых предметов, противополагаемых другой самой по себе более крупной ценности. Нет сомнения, что по сравнению с приемом уравнения одной крупной ряду разных меньших ценностей способ куммулирования одинаковых предметов представляет собой более совершенную форму покрытия ценности и значительный шаг вперед первобытной экономики.

Мы видим, следовательно, что при очерченных эволюционных условиях элемент числа входит первым из категории количества в обмен, первым оказывает *влияние* и становится средством требуемого обороту уравнения ценностей; вместе с тем на весьма долгое время роль числа предметов в обмене сохраняет свою значимость и стойкость. И если, с одной стороны, возникновение счета дает толчек и расширяет возможности обмена, давая форму ценностному уравнению, то, с другой стороны, именно запросы обменного оборота, в частности требования ценностного равенства-справедливости вызывают дальнейшее развитие счислительных способностей и понятия числа.

Так, племя вандороббо, составляющее отсталую ветвь народа мазаи, употребляет счет только при обмене, при чем числительные их заимствованы у мазаи.

Итак, отныне два предмета, А и В, из коих первый выше по стоимости второго, могут быть обменены в отношении ценностного равенства путем уравнения, имеющего форму:

$$A = nB,$$

где n есть какое-либо, впрочем первобытно небольшое число. Отсутствие крупных чисел и, соответственно, больших количеств одинаковых предметов в первобытном обмене предопределяется как малым развитием счета и числовых представлений, так и общими экономическими условиями.

Действительно, применение указанной формулы обмена в сколь-нибудь значительном масштабе невозможно на низкой ступени хозяйственного развития. При неразвитости хозяйственного быта, в особенности, при отсутствии накопительного хозяйства, сторона, получающая какую-либо крупную ценность, не располагает сколько-нибудь значительным количеством однородных благ; в свою очередь, и это еще более действенно, сторона принимающая не нуждается и не привычна к получению большого количества однородных предметов, ибо, в свою очередь, не знает накопления, а усиленное предложение

однородных предметов может только их обесценить. Таким образом для сколько-нибудь значительного развития данной формы обмена необходимо общее развитие хозяйственного быта и, в частности, переход к накопительной форме хозяйства.

Как бы то ни было, постепенно оборот закрепляет устанавливающееся по общим законам экономики ценностное соотношение различных хозяйственных благ в форме уравнений, которые слагаются в целые ряды эквивалентов, вовлекающих все ходкие об'екты обмена, при чем единым и универсальным выравнивающим эквивалентность средством становится число, и все предметы оборота оказываются в числовых друг к другу отношениях. Так, по свидетельству Шренка, у гиляков существует определенная оценка всех товаров: гиляк, на вопрос, что стоит тот или иной предмет, неизменно называет количество товара, которое он желает получить, например, три пачки табаку, две сажени ткани и проч. Примером развития указанного порядка могут служить ценностные отношения, установившиеся на Торресовых островах. Здесь практика обмена выделила несколько предметов равной ценности: один браслет из раковин равен одному китовому гарпуну или одной лодке или одной женщине, а в 50-х годах прошлого столетия хорошим эквивалентом женщины, а следовательно, и других названных предметов, были нож или бутылка. Мы имеем, таким образом, ряд одинаковых ценностей, дающих уравнение первой формы, сюда присоединяется, однако, новый предмет — круглые раковинные украшения dibi-dibi, идущие в количестве от 10 до 12 в обмен на каждый из вышеназванных предметов.

С другой стороны, числовое основание дает уже возможность выразить в обмене ценностное значение качества и меры отдельных предметов. Так, в Сиаме лошадь обменивается на 3 — 4 котла, в зависимости от качества того и другого; так на остр. Сан-Кристоваль (в Меланезии) один зуб собаки идет за 1 или 2 зуба морской свиньи, тоже в зависимости от качества.

Как можно судить по имеющемуся здесь не только этнографическому, но и историческому материалу, построенный на очерченном основании обменный оборот остается весьма длительным и представляет собой, повидимому, целую эпоху истории экономического развития человечества. Подобного рода сведение всех предметов оборота к эквивалентным рядам, образованным при помощи коэффициента отдельных предметов, составляло в исторические времена основу оборота всех индо-европейских народов, а в хозяйстве современных полу-культурных народов является универсально распространенным порядком.

Приводим несколько примеров таких установленных оборотом разных народов ценностных отношений указанного рода, выраженных в уравнениях или целых эквивалентных рядах.

1 раб = 7 котлам; 1 котел = 7 горшкам и пр.
(греки времен Гомера).

1 мотыга = 30 стрелам
(Сиам).

1 раб = 2 паволокам
(договор Игоря с греками).

1 зуб собаки = 5 зубам морской свиньи
(Флорида).

1 корова = 15 козам = 1 куску коленкора
(одно из племен банту).

1 жеребец = 7 коровам; 1 бык = 7 баранам
(хевсуры).

10 корзин соли = 10 — 15 овцам = 20 — 30 козам = 2 быкам = 2 рабам = 1 лучшему верблюду.

1 ноша верблюда соли = 3 ношам верблюда зерна
(суданские негры).

1 верблюд = 12 лошадям; 1 лошадь = 2 головам крупного рогатого скота = 10 баранам
(калмыки).

Очерченная система эквивалентов, покоящаяся на числовом основании, представляет собой, как мы видим, весьма крупное достижение хозяйственной мысли. Нет, однако, надобности останавливаться на всех несовершенствах этой системы, и само собой разумеется, что быстро развивающийся оборот, вовлекающий в обмен все большее количество хозяйственных благ, с одной стороны, и развивающаяся хозяйственная мысль — с другой, должны требовать дальнейшего усовершенствования этой системы. Тем более, что основанные на указанной базе уравнения не могут обладать сколько-нибудь прочным постоянством, колеблясь и разрываясь под влиянием на ценность отдельных предметов различных факторов, в частности изменений спроса и предложения.

В основе всей очерченной системы эквивалентов лежит сравнение двух или нескольких предметов между собой; но всякое сравнение от сопоставления двух предметов переходит к высшей и более точной форме — сравнению двух или нескольких предметов с одним данным, так что этот данный становится единым основанием сравнения, единицей измерения. Точно такой же процесс совершается и в области ценностных определений. Уже наипростейшим противопоставлением в обмене двух единичных предметов дается зародыш новой экономической идеи — идеи м е р ы ц е н н о с т и: один предмет дает до известной степени представление о ценности другого, становится, правда, самым несовершенным, мерилом ценности; таким образом в системе постоянных эквивалентов мы имеем ряд отдельных различных мер для различных ценностей. Практика обмена и ценностного уравнения по формулам А = В и А = В + С + D должна привести к развитию в человеке способностей ценностного сравнивания и представления о мере ценности. Но в особенности навык к ценностному определению и способность ценностного измерения развивается практикой обмена по формуле А = nВ, где один и тот же предмет может сравниваться ценностным порядком с рядом других разнообразных предметов при помощи изменения коэффициента. Именно эта ра-

бота определения коэффициента по отношению к разным предметам и составляет уже операцию ценностного определения при помощи измерения тем предметом, который куммулируется.

Особое значение для экономики вообще и ценностных представлений в частности, уравнения ценностей по формуле A = nB заключается в том, что при посредстве простых арифметических действий может быть достигнуто соединение многих ценностей в один эквивалентный ряд, большое количество благ может найти свое определенное меновое место в обороте, получить свою меновую ценность. Не хватает лишь выбора предмета, который мог бы стать единым основанием для ценностного сравнения, единой мерой ценности ряда благ, а в дальнейшем процессе экономического развития— и всех вообще благ, обращающихся в обороте.

Таким образом дальнейшая психико-экономическая работа приводит к высшей форме ценностного сравнения: ценностное сравнивание ряда различных предметов с одним данным дает ценностное и з м е р е н и е, а этот служащий основанием измерения предмет становится е д и н и ц е й м е р ы ц е н н о с т и или е д и н и ц е й ц е н н о с т н о г о и з м е р е н и я. Здесь нет, конечно, полной аналогии с измерением физическим, и единица измерения ценности далека по своей природе и своему значению от мер физических и не способна дать математического результата. Однако существование ценностного измерения при помощи одной постоянной единицы, подлежащей куммулированию, оформляет ценностное представление, уточняет выражение идеи ценности и дает средство единообразного определения стоимости всех хозяйственных благ. Это положение выражается формулой: предмет A с т о и т с т о л ь к о-т о B, т.-е. стоит такого-то количества этих предметов. С другой стороны, такой измеритель, давая ценностное представление об отдельных благах, тем самым становится и ценностным критерием обмена ряда благ на одно данное, т.-е. становится, как принято выражаться, м е н о в о й е д и н и ц е й. Здесь происходит соединение двух ценностных представлений: такой-то предмет стоит столько-то, другой стоит столько-то (того же блага), значит, оба предмета могут быть обменены так-то, т.-е. в таких-то количественных соотношениях. Как в первом, так и во втором своем применении ценностная или меновая единица выступает в качестве с ч е т н о й е д и н и ц ы. Указанные представления образуют в совокупности довольно сложную идею, присущую лишь устойчивому обороту, идею п о с т о я н н о г о ценностного и менового отношения благ, и д е ю ц е н ы или, как иногда, скорее неправильно, выражаются, идею «об'ективной ценности».

Необходимо, однако, сказать, что первобытный оборот, поскольку мы можем о нем судить по данным этнографии, да и самые эти данные не знают одной какой-либо универсальной для всех ценностей и общепринятой или общепризнанной для всего оборота единицы ценности. Напротив того, оборот сохраняет ряд ценностных единиц, на которые ориентируются ряды других благ-ценностей. Вот, например, несколько эквивалентных рядов, принятых оборотом Соломоновых островов:

10 кокосовых орехов = 1 связке белых раковин = 1 пачке табаку;
10 связок белых раковин = 1 связке красных раковин = 1 собачьему зубу;
10 собачьих зубов = 1 «иза» (украшение) = 50 черепаховым зубам;
10 «иза» = 1 хорошей женщине.

Ценностный переход от одного ряда в другой, а тем более соединение таких рядов в один, представляет собой для примитивного мышления видимо весьма тяжелую работу даже в простейших случаях. Тем не менее, при наличии ценностных уравнений, основанных на коэффициенте, участие коего, как сказано, только и дает возможность перехода к высшей форме ценностного уравнения, сведение ценностного измерения к одной какой-либо единице требует лишь дальнейшего развития счислительных способностей. Так, если у одного из племен Дарфура (Центральная Африка) установились эквиваленты:

1 лошадь = 2 рабам
и 1 раб = 30 кускам коленкора = 6 быкам,

то путем простого арифметического действия данные два ряда эквивалентов соединяются в одну цепь:

*1 лошадь = 2 рабам = 60 кускам коленкора = 12 быкам.*

Не трудно уразуметь, что в этом эквивалентном ряду куски коленкора, как наименьшая ценность, становятся почти механически выразителем остальных ценностей и, путем деления коэффициентов, общей для всего ряда ценностной, меновой и счетной единицей. Таким образом несомненную тенденцию оборота составляет соединение всех принятых оборотом эквивалентных рядов, сведение всех ценностных измерений к одному основанию, одной единице, единому и универсальному измерителю всех ценностей и счетной единице для всех ценностных отношений. Ясно, что такими универсальными единицами ценности могут, естественно, служить н а и м е н ь ш и е по возможности стоимости, при помощи которых можно было бы выражать ценность наибольшего количества, вернее, всех ценностей или вообще всякую более высокую ценность.

Следует кстати напомнить, что своеобразие, особый физический признак и особое экономическое значение самой единицы ценности заключаются в том, что этой единицей служит определенный п р е д м е т, имеющий самостоятельное форменное существование. Совершенно аналогично место и значение тех размерных и числовых конкретных множественностей, которые можно назвать quasi-предметами. Такими предметными единицами, измерителями ценности остальных об'ектов менового оборота становятся, в зависимости от ряда условий, самые разнообразные предметы, принадлежащие ко всем царствам природы и идущие как в сыром, так и в обработанном виде: таковы раковины, скот, куски ткани, бисер, злаки, плоды, зубы животных, оружие, меха, соль, куски металла и т. д.

С установлением такой ценностной и меновой единицы психико-экономическое развитие человека делает еще один крупный шаг вперед, начи-

нается еще одна эпоха экономической истории. Эти предметы-единицы ценности подвергаются в дальнейшем своеобразному процессу отбора и имеют свою особую историю, приводящую к изобретению веса и взвешивания металлов, возникновению монеты и развитой денежно-металлической системы.

Пока же, с установлением ряда ценностных мерил и далее — ценностной единицы, обмен продолжает осуществляться в той же натуральной форме, какая ему была присуща и раньше, однако покоясь на более или менее прочном ценностном основании. Роль меновой единицы, о которой мы говорили, остается именно ролью мерила в ценностных определениях, но непосредственного участия данного предмета в каждом акте обмена предполагать не следует. Да и экономически, такое непосредственное участие меновой единицы во всех сделках обмена совершенно невозможно и невероятно. Вспомним еще раз, что недостаточно развитому хозяйственному быту еще не присущи черты накопительного хозяйства, и, следовательно, в обороте нет и не может быть такого наличия данных предметов, служащих мерилом ценности, какое потребовалось бы для непосредственного участия в каждой обменной сделке. Таким образом идея ценностной меры или идея цены замещает реальное участие в обмене самого ценностного мерила; роль этого мерила абстрагируется в цене, оказывается номинальной, и данный предмет, принятый для определенного ряда других предметов, в качестве ценностной единицы, играет лишь отвлеченную, счетную роль меры ценности, дающей, однако, сторонам возможность точно оценить обмениваемые in natura предметы; ценностный счет представляется лишь средством измерения в натуральном обмене. Как счет устный и идея числа сменяют счет по пальцам, на бирках, узлах и проч., так и идея цены замещает реальное участие меновой единицы в каждой сделке обмена, остающегося натуральным. Вместе с тем, при таких условиях оборот еще шире пользуется возможностью при обмене переходить от одной ценности к другой в качестве эквивалента. После того, как каждое благо получило свое твердое ценностное выражение, свою цену, — обмен может совершаться при помощи целого ряда эквивалентов.

И в дальнейшей экономической истории, при слабо развитой денежной системе, оборот всегда сохраняет натуральный обмен, основывающийся на какой-либо опять-таки натуральной или на новой денежной счетной единице. Так, в Москве еще в XVI в. только мелочная торговля производилась на деньги, оптовая же преимуществено была меновой. Затем, как известно, натуральный обмен сохраняется довольно стойко и в хозяйственной жизни современных народов, существуя и на-ряду с развитой денежной системой. С другой стороны, всякий раз, как эта денежная система по тем или иным причинам приходит в расстройство, вновь доминирующее положение занимает обмен натуральный, при чем либо общепринятая денежная единица сохраняет только свой абстрактно-счетный характер, либо, если и самая денежная единица теряет свою определенность, оборот сразу ориентируется на какую-либо твердую по своей стоимости натуральную единицу.

## УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

NB. Из этнографической и этнологической литературы указаны лишь те работы, на которые сделаны прямые ссылки в тексте.


1. Andree K. Geographie des Welthandels. I. St. 1877.
2. Andree R. Ethnographische Parallelen u. Vergleiche. St. 1878.
3. Бах А. История народного хозяйства. I. Ярославль. 1919.
4. Babelon E. Les origines de la monnaie considérées au point de vue économique et historique. P. 1897.
5. Bérenger. Histoire des voyages autour du monde par Cook. 3 v-s. P. 1796.
6. Brun W. Die Wirtschaftsorganisation der Maori auf Neuseeland. L. 1912.
7. Bücher K. Die Entstehung der Volkswirtschaft. I. Tüb. 1920[16].
8. Detzner H. Vier Jahre unter Kannibalen, von 1914 bis zum Waffenstillstand unter deutschen Flagge im unerforschten Innern von Neuguinea. B. 1921[4].
9. Finsch O. Südseearbeiten. Gewerbe- u. Kunstfleiss, Tauschmittel u. «Geld» der Eingeborenen. Hamb. 1914.
10. Gaul W. Das Geschenk nach Form u. Inhalt, im besonderen untersucht an afrikanischen Völkern. A. f. A. N. F. 13 (1914).
11. Goldschmidt L. Universalgeschichte d. Handelsrechts. I. St. 1891[3].
12. Grierson P. J. H. The silent trade. Ed. 1903.
13. Grimm I. Über Schenken u. Geben. «Kleinere Schriften». II. B. 1865.
14. Grimm I. Deutsche Rechtsalterthümer. 2 B-de. L. 1899[4].
15. Helfferich K. Das Geld. L. 1903.
16. Hultsch F. Griechische u. Römische Metrologie. B. 1882[2].
17. Irle J. Die Herero. Gütersloh. 1906.
18. Ilwof F. Tauschhandel u. Geldsurrogate in alter u. neuer Zeit. Graz 1882.
19. Koehne C. Markt-, Kaufmanns- u. Handelsrecht in primitiven Culturverhältnissen. Z. vgl. RW. 11 (1893).
20. Cook J. A voyage towards the South Pole and round the world, performed etc. 2 v-s. L. 1784[3].
21. Koppers W. Die Anfänge des menschlichen Gemeinschaftslebens im Spiegel der neuern Völkerkunde. M. Gladbach. 1921.
22. Cureau A. Essai sur la psychologie des races nègres de l'Afrique tropicale. Rev. gén. des sc. pures et appl. 15 (1904).
23. Lasch R. Das Marktwesen auf d. primitiven Kulturstufen. Z. f. Scwiss. 9 (1906).
24. Лебединцев К. Развитие числовых представлений у ребенка в раннем детстве. Педологическое исследование. Киев. 1923.
25. Lenz O. Über Geld bei Naturvölker. Hamb. 1895.
26. Letourneau Ch. L'évolution du commerce dans les diverses races humaines. P. 1897.
27. Levy-Bruhl L. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. P. 1910.
28. Ling Roth H. On salutations. J. A. I. 19 (1890).
29. Livingstone D. Missionary travels and rexarches in South Africa. L. 1857.
30. Man E. H. On the aboriginal inhabitants of the Atdaman islands J. A. I. 12 (1883).
31. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Кн. 1. М—П. 1923.
32. Meyer R. M. Zur Geschichte des Schenkens. Z. f. Kulturgesch. 5 (1898).
33. Merker M. Die Masai. B. 1910[2].
34. Mc. Gee W. J. Primitive numbers. 19 An. Report of the Bureau of Ethnsc. (1897—98.) W. 1900.
35. Moszkowski M. Vom Wirtschaftsleben der primitiven Völker. (Unter besonderer Berücksichtigung der Papua von Neuguinea u. der Sakai von Sumatra.) Vortrag. J. 1911 [в сокращении: «L'économie des peuples primitifs». Rev. écon. Intern. 4. (1912)].

36. Petri E. Verkehr u. Handel in ihren Uranfängen. S. Sallen. 1888.

37. Sartorius v. Waltershausen A. Die Entstehung des Tauschhandels in Polynesien. Z. f. Soc. u. Wschgesch. 4 (1896).

38. Schmidt M. Zahl u. Zählen in Afrika. Mit d. Anthr. Ges. in Wien, 45 (1915).

39. Schmidt M. Grundriss der ethnologischen Volkswirtschaftslehre. 2 B-de. St. 1920 II.

40. Шрадер О. Индо-европейцы. Пер. О. Павлова. СПБ. 1913.

41. Шренк Л. Об инородцах Амурского края. 3 т.т. СПБ. 1883, 1899, 1903.

42. Schurtz H. Grundriss einer Entstehungsgeschichte des Geldes. Weimar. 1893.

43. Spencer H. The principles of sociology. 3 v-s. L. 1893, 1902, 1897.

44. Steinen K. Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens. B. 1897[2].

45. Temple R. C. Beginnings of currency. J. A. I. N. S. 2 (1899).

46. Schrader O. Linguistisch-historische Forschungen zur Handelsgeschichte u. Warenkunde I. J. 1886.

47. Thilenius G. Primitives Geld. A. f. A. N. F. 18 (1920).

48. Thonar A. Essai sur le système économique des primitifs d'après les populations de l'Etat indépendant du Congo. Brux. 1901.

49. Thurnwald R. Ermittlungen über Eingeborenrechte der Sudsee. Z. vgl. RW. 23 (1910).

50. Thurnwald R. Psychologie des primitiven Menschen. M. 1922.

51. Thurnwald R. Forschungen auf den Salomo-Inseln u. dem Bismark-Archipel. III. Volk. Staat u. Wirtschaft. B. 1912.

52. Вейле К. Первобытное общество и его хозяйство. Перев. А. Мейер. СПБ. 1914.

53. Wertheimer M. Über das Denken der Naturvölker I. Zahlen u. Zahlgebilde Z. f. Psychologie. 60 (1912).

54. Wied zu M. Reise in das Innere Nord-America in d. Jahren 1832 bis 1834. 2 B-de. Coblenz. 1839—1841.

55. Wilkes Ch. Die Entdeckungsexpedition der Vereinigten Staaten in d. Jahren 1838—1842. Übersetzt. I. St. 1848.

56. Виташевский Н. Якутские материалы для разработки вопросов эмбриологии права. „Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. О.". 30 (1908), 40 (1909). Прилож. [частично в ст. „Особый вид обязательства в первобытном праве: ex donatione. (По якутским материалам.) „Этн. Обозр.". 1909, 1].

57. Зибер Н. Очерки первобытной экономической культуры. СПБ. 1899[2].

# Армия перед Октябрем.

(Из книги «К истории Октябрьской революции».)

Я. Яковлев.

## Контр-наступление германской армии.

6 июля немцы начали свое контр-наступление с помощью резервов, переброшенных с других участков русского и французского фронтов. Контр-наступление противник повел на том же Юго-Западном фронте, откуда пытались наступать армии Временного Правительства.

На этом фронте с русской стороны находились четыре армии, расположенные с севера на юг в следующем порядке: 11-я, 7-я, 8-я, 1-я.

Последовавшие события почти немедленно вскрыли подлинную цену готовности и способности русской армии воевать. Первый удар германское командование нанесло левому флангу 11-й армии, подвергшиеся удару части этой армии немедленно подались назад, не принимая боя. Образовался прорыв, который дал возможность противнику развить свое наступление.

Солдатская масса не выполняет военных приказов. Части, назначаемые для поддержки отступающих, отказываются выступать. Таким образом естественно обнажаются фланги соседних частей.

Уже на следующий день начинает отступать и соседний корпус: при этом для командования оказывается невозможным перейти в контр-атаку какими бы то ни было частями ввиду их отказа наступать. Совершенно невозможным оказывается также добиться активной поддержки подвергшихся удару частей со стороны прочих фронтов, которые фактически не выполняют приказа Брусилова о развитии активных операций.

8 числа, расположенная в югу от 11-й, 7-я армия вынуждена отступать ввиду того, что ее фланг обнажен. Отдельные корпуса и части теряют связь друг с другом. В этот момент назначают спасти положение на фронте командующего 8-й армией Корнилова, авантюра которого с наступлением на Калущ и Галич, погоня которого за немедленным политическим эффектом послужила одной из серьезных причин ухудшения положения российской армии.

Корнилов пробует использовать и поражение в тех же политических целях, издав ряд приказов о запрещении митингов, о расстреле бегущих и т. п.

Нанесенный германской армией 9 июля удар против 7-й армии заставил опять бежать не только 7-ю, но и к югу расположенную корниловскую 8-ю армию, у которой обнажились фланги.

С этого момента тактика российского командования сводится только к одной задаче: намечая последовательно один рубеж за другим, как границу отступления, задержаться. Эта задача оказывается чрезвычайно трудной ввиду того, что германцы в течение нескольких дней после 9-го наносят ряд ударов на участках 11-й, 7-й и 8-й армий.

Каждый удар заставляет неуклонно откатываться не только участок, подвергшийся наступлению, но и соседние участки. Не помогает корниловская беспощадная расправа с дезертирами. Не помогает и вывешивание трупов расстрелянных дезертиров вдоль дорог, по которым бежала взбудораженная крестьянская масса в ужасе перед наступавшими врагами и в неудержимом стремлении домой.

Одиннадцатого русской армией сдан Тарнополь.

Вслед за 8-й наступает очередь отступать 1-й армии. Вместе с тем отпадает возможность добиться переброски в помощь Юго-Западному фронту корпуса с Румынского фронта, ввиду того, что положение самого Румынского фронта становится неустойчивым.

15-го левый фланг 1-й армии уже поддерживает связь со следующей, 9-й, армией только с помощью конных частей. 16 июля германская армия подходит к реке Збручу и даже форсирует его в районе Гусятина.

К Збручу же противник стал приближаться и по обеим сторонам Днестра, прорвав по линии Днестра фронт 8-й армии. Эта армия бежит вплоть до 22 июля, оставив в ночь с 20 на 21 июля Черновицы с огромными запасами воинского снабжения. Только 22 июля заканчивается отступленние русской, или точнее сказать наступление германской армии на линии Злочев — Скалат — Збруч до Днестра — Хотим и далее до стыка с Румынским фронтом.

Контр-атака германской армии имеет своеобразный политико-стратегический интерес. Нанося отдельные удары преимущественно в стык отдельным русским корпусам и армиям, германская армия заставила русские армии от 5 до 22 июля, то-есть в срок немногим больший двух недель, оставить огромную территорию, пробежать через ряд естественных, речных преград, оставить ряд крупнейших пунктов, в том числе Тарнополь и Черновицы с огромным воинским имуществом.

Стратегия российского командования сводилась к тому, чтобы найти, наконец, такую линию, где русские части не будут под ударом противника, поскольку не было никакой возможности отбить наступление контр-атакой, на каком бы то ни было участке как Юго-Западного, так и Северного, Западного и Румынского фронтов.

Русскому командованию и русской буржуазии не помогло и небывалое превосходство русских сил над силами противника. Не помогло и то, что в начале германской контр-операции 240 баталионам, 40 эскадронам, 100 тяжелым и 475 легким гаубичным орудиям левого фланга 11-й русской

армии противостояло, по данным Зайончковского, всего 83 баталиона, 60 тяжелых и 400 легких и гаубичных орудий противника.

В то время, как Юго-Западный фронт потерял всю Галицию, и армии Временного Правительства докатились до Збруча, т.-е. до старой границы царской России, Западный и Северный фронты оказались не в состоянии развить какие бы то ни было вспомогательные операции. Основные причины этого: огромный некомплект, обострение отношения солдат к офицерам, ослабление влияния оборонческих комитетов и в целом дезорганизация армии, как единого организма, не поддающегося какому бы то ни было управлению и руководству.

Некомплект в одной 12-й армии достигает 48 тысяч человек при 43 тысячах больных. Дезорганизованная армия, состояние которой один из комиссаров Временного Правительства, комиссар Западного фронта Минц характеризовал как соединение физической усталости с душевной подавленностью, не поверила даже сообщениям об успехам на Юго-Западном фронте. Ряд полков посылает специальных ходоков на Юго-Западный фронт, чтобы проверить, не обманывает ли солдат начальство. Пока эти ходоки дошли до Юго-Западного фронта, они убедились непосредственно в том, что начальство их действительно обманывает, так как успех уже превратился в громадное поражение.

Сводка одного из полков Западного фронта соответственно сообщала о том, что солдаты отказывались подбрасывать в германские окопы плакат о взятии Галича, пока не найдут солдата, который перевел бы написанное с немецкого языка на русский.

Но солдаты не верили уже не только своему командному составу, но и комитетам. В этот период в ряде армий комитеты уже оказываются, в особенности в 12-й и в 5-й армии Северного фронта, совершенно неспособными к тому, чтобы свое влияние противопоставить стихийной солдатской жажде мира.

Сводка Западного фронта сообщает об этом языком эпическим. В то время, как полковой комитет 115-го полка собрался обсуждать вопрос о наступлении, «толпа солдат ворвалась в помещение, потушила огонь и начала бросать в окна здания камни и кирпичи»...

В то же время на этих фронтах, в особенности на Северном фронте, близко к Петрограду, уже начинает оформляться настроение против войны— как настроения большевистские.

Лозунг кончать войну начинает сочетаться с лозунгом свержения буржуазного правительства. Все чаще отказ от наступления, несогласие с приказами Керенского и командования начинает об'ясняться не случайными поводами, а тем, «что они изменники и что за эти слова надо их бить»...

Еще основной формой отказа является всяческого рода первый подходящий предлог. Но уже все чаще и чаще находит себе место политическое оформление этого нежелания воевать под большевистским лозунгом свержения Временного Правительства.

Усилившуюся дезорганизацию армии определяет комиссар Западного фронта Минц в выражениях, достаточных точных:

> «то один полк отказывается выступать из резерва на передовые линии, то дивизия требует вне очереди смены, мотивируя усталостью, то наотрез части отказываются от занятий боевой подготовкой, и постоянно назревают непредвиденные случаи, которые приводят к самым острым выступлениям частей»...

Примерно те же процессы рисует сводка 181-й пехотной дивизии 3-й армии:

> «Во всех полках солдаты отказались от исполнения работ и производства занятий; в 721-м полку команда разведчиков требует смены начальника команды, а 3-я рота 724 полка требует сменить командира роты, в 722-м пехотном полку полковой комитет 2 батальона и нестроевая рота требует ухода командира полка полковника Либера»...

При таких условиях любой приказ правительства или военных властей, направленный к восстановлению военной дисциплины в армии, строившейся еще на старой классовой основе, ухудшал только положение командования и правительства. Когда военное ведомство запретило отпуска, то этот приказ был принят в штыки всей солдатской массой, ибо основным виновником солдатская масса сочла Временное Правительство, изменяющее народу.

Таким же образом подействовал и приказ о формировании полевых тыловых команд из тыловых частей. Взбудораженная солдатская масса увидела в этом новую привилегию тылу.

В то же время разлагавшийся еще более ускоренным темпом солдатский тыл не мог дать фронту ни одного пополнения для войны, давая в то же время очень много пополнений для развития революционной работы в армии.

## Генеральское совещание в Ставке.

После того, как сорвалась попытка буржуазии добиться восстановления своей власти в стране и армии путем наступления, начали делаться попытки использовать поражение на фронте. Поражение на фронте виднейшие представители российской буржуазии и командования пытаются сделать исходным пунктом работы по восстановлению в армии и в стране своей власти.

Инициатива переходит в руки командования. Ставка берет на себя главную работу по оформлению программы и по созданию штаба контрреволюции. 16 июля 1917 года Керенский совместно с Терещенко, министром иностранных дел, созывает совещание в Ставке, на котором принимают участие верховный главнокомандующий генерал Брусилов, главнокомандующий армиями Северного фронта Клембовский, Западного — Дени-

кин, начальник штаба верховного главнокомандующего Лукомский, комиссар Юго-Западного фронта Савинков и другие.

Отсутствующий командующий Юго-Западным фронтом Корнилов поддерживает их телеграммами. Суть программы главнокомандующих сводится к восстановлению полноты власти командного состава в армии и к уничтожению комитетов и комиссаров.

Телеграмма Корнилова требует смертной казни на фронте как для военных, так и для гражданских лиц, в тылу для военнослужащих, беспощадной и основательной чистки командного состава от элементов, готовых к соглашению с солдатами, восстановления дисциплинарной власти начальников, запрещения организации на фронте митингов, собраний, ввоза большевистской литературы и в'езда каких бы то ни было делегаций, сведения функций войсковых комитетов к вопросам хозяйственного и внутреннего распорядка, она становится платформой, вокруг которой буржуазия в ближайшие месяцы пытается собрать, мобилизовать все свои силы.

Главное в этой программе заключается, конечно, в восстановлении всей полноты власти командного состава и уничтожения комитетов. Если Корнилов в этот момент считает еще необходимым некоторую постепенность в уничтожении комитетов, то командующий Западным фронтом Деникин и старая царская крыса Алексеев выступают гораздо откровеннее.

Деникин признает, что армия стала разваливаться особенно усиленно именно тогда, когда авантюристы 18 июня потребовали от нее наступления. Он считает комиссаров Временного Правительства важнейшим разлагающим армию элементом и соответственно недопустимым этот институт в армии. Столь же вредны, по его мнению, и комитеты. Отсюда основные черты его программы:

«1. Сознание вины и ошибки Временным Правительством, которое не поняло офицеров, считая их врагами свободы, их, радостно принявших весть о революции.

«2. Петроград, чуждый армии и не понимающий ее жизни, должен прекратить военное законодательство, в отношении которого — полная мощь верховному главнокомандующему.

«3. Из армии необходимо совершенно из'ять политику.

«4. Необходимо отменить декларацию.

«5. Упразднить комиссаров и комитеты.

«6. Восстановить власть начальников.

«7. Ввести дисциплину.

«8. Производить назначение на должности старых начальников лиц с боевым и служебным опытом.

«9. Иметь отборные части, как опору власти начальников, так и на случай необходимости применения вооруженной силы против неповинующихся.

«10. Ввести смертную казнь не только на театре военных действий, но и в тылу, где расположены пополнения. Революционные суды должны быть учреждены и для запасных полков».

Существо этой программы в предоставлении полной власти верховному главнокомандующему, в восстановлении полноты власти командного состава на-ряду с введением смертной казни для солдат. От этого не отстает, конечно, и Алексеев, особенно четко подчеркивающий необходимость расправиться с солдатами, рабочими и крестьянами и в тылу.

О комитетах его слово очень коротко:

«Их надо уничтожить»...

Для генерала Рузского важнейшие причины поражения то, что «старые славные знамена» заменены красными.

В верности генеральской программе на этом совещании клянутся торжественно Керенский, Савинков и Терещенко. Савинков заявляет: «Я почти целиком присоединяюсь к мнению господина главнокомандующего Юго-Западным фронтом»...

Савинков полностью за программу усмирения, он не верит только в то, что эту программу сможет выполнить сам командный состав, без помощи комиссаров и комитетов — а отсюда его основной довод в защиту комиссаров: «солдаты часто, не доверяя начальникам, доверяют комиссарам и начальники часто через них и действуют»... «Во время отступления и дезорганизации, когда высший командный состав не мог для водворения порядка применить силу, комиссары находили эту силу и ее применяли»...

И комитеты на некоторое время нужны, по мнению Савинкова, поскольку, «опираясь на них, можно проводить меры, которые без них могут иметь неожиданные и тяжелые последствия»...

Еще откровеннее Терещенко: «С комиссарами надо помириться, скрепя сердце, их уничтожить сейчас нельзя»... «Уничтожить комитеты, как все говорят, сейчас нельзя. К этому надо притти постепенно»...

Бесстыден и жалок был Керенский. Он пытался оправдаться перед главнокомандующими, он хотел доказать, что не он виноват в развале армий, через каждые несколько слов кто-либо из командующих его прерывал. А он распинался за себя, за комиссаров и за комитеты, доказывая, что без него и комиссаров солдаты перережут своих начальствующих лиц. Он доказывал, что он уволил меньшее количество генералов, чем излюбленный буржуазией человек — Гучков. Он просил: «употребляйте меня, как аппарат с большой властью»...

Наконец, чувствуя, что главнокомандующие не совсем доверяют его способности усмирить солдат, с своеобразной гордостью палача, нанятого буржуазией, он заявляет: «Кто первый усмирил сибирских стрелков? Кто первый пролил для усмирения непокорных кровь? Мой ставленник, мой комиссар»...

Занятые исключительно разработкой вопроса о том, как усмирить солдат, т.-е. крестьян, как восстановить офицерскую, т.-е. буржуазно-дворянскую, власть в армии, главнокомандующие почти не имели времени заняться вопросами стратегии.

Да и какой разговор мог быть о стратегии, если сам верховный главнокомандующий заявил, что раньше будущей весны не может быть и речи о каких бы то ни было серьезных операциях.

Правильную оценку реальной выполнимости генеральской программы дал один только главнокомандующий армиями Северного фронта генерал Клембовский. Этот генерал в общем и целом присоединился к программе других генералов, к общей программе генеральской контр-революции.

Но, очевидно, состояние армий его фронта, близость к Петрограду заставили его произнести слова, в которых отразилось действительное соотношение сил в армиях, где крестьянин с каждым днем все лучше сознавал всю непримиримость своих интересов с интересами офицерско-помещичьими:

> «Что может помочь? Смертная казнь? Но разве можно казнить целые дивизии? Предавать суду? Но тогда половина армий окажется в Сибири. Солдат каторгой не испугаешь. На каторгу? Так что ж. Через пять лет вернусь,—говорят они, — по крайней мере, цел буду»...

## Генералы за работой.

Выполняя волю тех кругов буржуазии, которым Керенский себя предоставил в виде рабочего аппарата, 12 июля Временное Правительство издало приказ о введении смертной казни для военно-служащих и об учреждении военно-революционных комитетов. Список преступлений, за которые полагалась смертная казнь, был в основном определен согласно старого военного уложения. Самые преступления в постановлении Временного Правительства формулировались так, что под смертную казнь можно было подвести любую политическую работу и даже речь, в той или иной мере, направленную против Временного Правительства.

Смертная казнь полагалась не только за измену, побег, насильственные действия против офицеров, но и за

> «подговор, подстрекательство или возбуждение к сдаче, бегству или уклонению от сопротивления противнику» (ст. 206 книги 22)...
>
> «Сопротивление исполнению боевых приказаний и распоряжений начальника, явное восстание и подстрекательство к ним» (статьи 106, 107, 110, 112 книги 22)...

Восстанавливая статьи царского уложения, Керенский давал возможность командному составу подвести любого солдата под обвинение в подстрекательстве или в возбуждении.

Командный состав получил юридическую возможность любого неугодного ему солдата расстрелять, ибо в то время, едва ли можно было найти такого солдата, который не подстрекал бы и не возбуждал бы своего соседа против командного состава, пытавшегося насильно держать на фронте огромную солдатскую массу.

Удивительно ли после этого, что комиссар 2-й армии Гродский 13 августа сообщил в Ставку о том, как

«военно-революционный суд 5-й пехотной дивизии приговорил рядового Кузьмина за мародерство 15 яблок помещичьего сада к смертной казни со смягчением»...

«Либерально» настроенный Гродский ходатайствует о замене смертной казни шестью месяцами тюрьмы. Но самый факт того, что за грабеж 15 помещичьих яблок голодного русского крестьянина надо нещадно наказывать, он не подвергает сомнению. Для того, чтобы аппарат судов действительно находился в руках командного состава, постановление Временного Правительства предусматривает в составе суда половину офицеров.

Для того же, чтобы половина суда, состоящая из солдат, не оказалась действительно в солдатских руках и не могла бы оказать серьезного сопротивления офицерскому нажиму, офицерско-дворянской ненависти к солдату, — эта солдатская половина должна выделяться не комитетами, не собранием соответствующей части, а по жребию.

Фактическое установление бессудной расправы, как итог введения судов принужден был признать и некий полевой военный прокурор Западного фронта генерал Абдулов, который 27 августа 1917 года в докладе главнокомандующему Западным фронтом констатировал:

«почти ни в одном деле, ни в журнале, ни в приговоре суда, не излагается пред'явленное подсудимому обвинение в фактических признаках, ограничиваются или юридическими формулами (обвиняется в явном восстании, а в чем выразилось это восстание — неизвестно; обвиняется в подстрекательстве к неисполнению приказов правительства, а каких и в каких речах — не указывается), или же еще проще и неопределеннее означает предмет обвинения лишь голыми статьями (обвиняется по статьям 105 и 112 книги 22, и даже просто по 112 статье, т.-е. в подстрекательстве, неизвестно к чему, не то к неповиновению, не то к сопротивлению, не то к явному восстанию)...

«То же самое и с определением признанной судом вины. Так что, в конце концов, остается неведомым, в чем же фактически обвиняли человека и в чем фактически признали его виновным»...

Даже у генерал-майора заговорило чувство протеста против неслыханного издевательства над солдатами в условиях революции, которым было — «военно-революционное» творчество Керенского. Кстати, тот же генерал-майор, сообщая о количестве приведенных в исполнение смертных приговоров над солдатами, разоблачает ложь Керенского, который в соответствующей обстановке пробовал позже заявлять, будто бы приговоры о расстреле им не утверждались.

Возможно, действительно, что им лично не утверждались, но они и не нуждались в его утверждении, поскольку для приведения в исполнение смертного приговора не было необходимости в утверждении Керенского.

Не меньшее значение имела в системе усмирительной политики генеральско-Временного Правительства и система расформирования непокорных частей. Расформировывают значительную часть Петроградского гарнизона. Расформировывают воинские части каждый командующий корпусом, фронтом, дивизией.

Для расформирования приходится прибегать к большим карательным экспедициям, так как солдаты отказываются добровольно расформировываться.

Комиссар 2-й армии Гродский сообщает и о таком способе расформирования, как постановление расстрелять целую роту. Доходит до настоящих боев. Об одном из таких боев сообщает генерал Деникин:

> «20 июля после вторичного отказа 693-го пехотного полка выдать зачинщиков, артиллерия вновь открыла стрельбу по окопавшимся у дер. Белой мятежникам 693-го полка. Действовала 3-я легкая батарея и взвод гаубиц. Ввиду того, что после артиллерийского огня мятежники не капитулировали, пехота и кавалерия перешла в наступление. Участвовали в атаке штурмовые батальоны 18-й и 29-й пехотных дивизий, учебные команды 696-го, 695-го и 696-го полков и 174-й дивизии и 5-й Оренбургский казачий полк. Неповинующийся 693-й пех. полк сдал оружие. Есть убитые, раненые. Подробное донесение будет представлено по получении соответствующих сведений»...

Но эта политика расправы упиралась, прежде всего в ту трудность, о который сообщил генерал Клембовский на совещании:

> «Что может помочь? Смертная казнь? Но разве можно казнить целые дивизии?..»

В итоге меры наиболее репрессивные, наиболее беспощадные поворачивают свое острие в конечном счете против той самой власти, которая ими пытается спасти себя.

Расформировав части, надо куда-нибудь деть тех солдат, которые расформировываются. А куда их деть? Ведь тот самый полк, в котором непокорную роту собирался расстрелять комиссар 2-й армии, по свидетельству того же комиссара, разложился под влиянием влитых в него расформированных частей.

Самая механика расформирования, при наличии 12 милл. солдат, противостоящих нескольким десяткам тысяч офицеров и меньшевистско-эсеровских болтунов из комитетов, часто вела к еще большему возбуждению солдатских масс.

Об этом рассказывает один из будущих сподвижников Деникина, тогда начальник штаба Западного фронта Марков.

Мало приказать расформировать, надо:

1) Найти такую часть, которая провела бы расформирование.

2) Найти такое место, куда можно было деть расформированных, иначе расформирование превращалось диалектикой событий в орудия орга-

низации крестьянской массы против офицеров, пытавшихся ее расформировать.

Можно ли было при таких условиях казнить целые дивизии или сослать половину армии в Сибирь?

С этой трудностью столкнулось еще июльское совещание в Ставке, когда встал вопрос о том, что сделать с предполагавшимися к вывозу из Петрограда солдатами. Одни предлагают организовать из них рабочие дружины, другие понимают, что эти рабочие дружины разбегутся в условиях, когда даже организованные полки разбегаются. Третьи предлагают послать их в окопы с тем, чтобы их «окарауливали» казаки. Но ведь и казаков взять неоткуда, так как уже 3 дивизии пришлось израсходовать для поддержания порядка.

Влить их в части тоже нельзя, так как они будут вести в этих частях пропаганду.

Бедным генералам приходится притти к выводу о необходимости разделить 90.000 по 15.000 на каждый фронт и на Кавказ. Но ведь не было такого проволочного заграждения, которым можно было одну половину армии отделить от другой?

Если великолепному аппарату германской империалистической армии не удалось спасти своих частей от воздействия на них русской солдатской массы, то откуда могли найти русские Наполеоны такие способы, которые позволили бы отделить еще остающиеся несознательные части солдат от солдат, которые уже осознали себя классом, враждебным по всей линии помещику в тылу и на фронте?

При таких условиях максимум генеральских достижений на фронте, после июльских дней, — это внешнее спокойствие, истинное значение которого вскрылось в послекорниловские дни целиком.

## Солдатский большевизм, распад командных связей, тыл, распыление конных частей.



Уже в самые дни корниловщины вскрылась призрачность того внешнего успокоения, которого добился командный состав в предкорниловские дни. Те явления распада армии на составные классовые элементы, которые были придушены, внешне притуплены, прикрыты для внешнего глаза в предкорниловские дни, — вскрываются с еще небывалой ясностью в сентябре и октябре. Но здесь мы имеем дело уже не с тем стихийным распадом и стихийным полубессознательным оформлением крестьянских настроений, не с тем стихийным в значительной степени процессом самоорганизации солдатской, т.-е. крестьянской, массы, какой протекал в армии до авантюры 18 июня. Опыт политической игры 18 июня и Корнилова, опыт полицейской расправы в послеиюльские дни не прошел даром. Корниловские дни дали величайшей силы толчек росту сознательности солдатской массы, оформление ее настроений, как настроений большевистских. То, что до 18 июня было только тягой крестьянина к земле и к миру, то, что было стихийным про-

тестом крестьянина, у которого не выдержали нервы против безумной затяжки войны, становится после опыта корниловщины большевистским настроением. Корниловщина вместе с тем дала значительный толчек работе нашей партии в армии. Большевистская партия в глазах сотен тысяч солдат обнаружила себя, как единственная партия, которая до конца, без всяких оговорок или оговорочек, — против Корнилова и командного состава. Таким образом в итоге двух основных попыток контр-наступления буржуазии — попытки 18 июня и попытки Корнилова — и в результате деятельности партии рождается на фронте и оформляется тот своеобразный крестьянский большевизм, который оттачивает свою жажду мира и земли в лозунге — недоверие правительству, меньшевистско-эсеровским комитетам и доверие большевистской партии. Для этого периода характерно также, что комиссар Временного Правительства, командир и тот комитет, который солдаты еще не успели переизбрать, выступают в солдатском сознании одинаково, как враги. Об'ективными данными, по которым мы можем судить о состоянии армии в предоктябрьский период, являются официальные сводки комиссаров Временного Правительства, которые регулярно через каждые семь дней посылались военному министерству по определенной схеме. Эти сводки рисуют совершенно одинаковую картину на Северном и Западном фронтах, которую можно охарактеризовать, как распространение солдатского большевизма с необычайной непреодолимой силой. Несколько отстает это оформление солдатских настроений, как настроений большевистских, на Юго-Западном и Румынском фронтах, но и там к октябрю оно становится преобладающим в самой солдатской массе. Наиболее характерны повсеместное создание и рост большевистских групп, происходящие по всему фронту. Самая подготовка к выборам в Учредительное Собрание, на которую буржуазия возлагала огромные надежды, поворачивается своим острием против буржуа. Не помогла и самая разнузданная ложь про большевиков. Все сводки указывают на значительный рост симпатии солдатской массы к большевикам и на организационные успехи большевистской партии. Наиболее типическую оценку этого перелома в солдатской массе дал комиссар 2-й армии Гродский, который сообщает Керенскому о том, как —

> «большевики получили возможность свои губительные лозунги — призывы к братанию, немедленному заключению во что бы то ни стало мира, неисполнению приказов и смене начальников — открыто проводить в войска, где, начиная с июля месяца, строжайше запрещались и преследовались эти призывы и не только не было открытой пропаганды большевизма, но в солдатской массе ясно складывалось убеждение, что одна принадлежность к партии большевиков преступна и позорна; теперь же во взглядах на их деятельность происходит вполне естественная резкая перемена»...

О том, что «определенным успехом пользуются большевики» сообщает 4 октября и комиссар Западного фронта Жданов. Но, пожалуй, более

существенен даже не этот общий успех большевистской партии, а то, что даже в тех воинских частях, где отсутствуют большевистские организации, солдатские требования отчеканиваются в большевистские формулы. Из доиюньского массового солдатского стремления домой в этот период вытекает массовое солдатское требование опубликования договоров. Требование опубликования договоров принимается на сотнях солдатских собраний. Солдаты не ограничиваются принятием соответствующих резолюций, но посылают делегации в Петроград с требованием добиться действительного опубликования договоров и заключения мира. Почти каждая крупная часть, не доверяя своим меньшевистско-эсеровским комитетам, направляет специальные делегации для проверки их и для непосредственной связи с Петроградом. Так, даже комиссар 6-й армии Румынского фронта в сводке за начало октября указывает, что почти каждая дивизия и корпус или послали делегацию в Петроград с требованием мира, или ждут с нетерпением возвращения из Петрограда уже посланных делегаций. Посылка делегаций, создание специальных комиссий для дальнейшего проведения того, что постановлено на соответствующем солдатском собрании, — становятся той организационной формой, по которой увязывается через голову меньшевистско-эсеровских комитетов солдатская масса с революционным Петроградом. Солдаты не просто требуют мира, но требуют этого мира у Временного Правительства, часто подтверждая эти требования демонстрациями на самом фронте. Солдат ставит вопрос о мире конкретно в формулах большевистской партии, часто переадресовывает это требование от русского Временного Правительства дальше к союзникам. В связи с этим — резкое обострение отношения к союзникам, которое можно охарактеризовать словами комиссара 6-й армии Липеровского, который в начале октября сообщал о приезде французской военной миссии в 6-ю армию Румынского фронта:

> «Армком и полки армии посетила французская военная миссия, бывшая и у меня, встретила радушный прием армкома, но части встретили холодно, а Кутаисский полк отказался выслушать»...

Резолюции недоверия Временному Правительству в связи, главным образом, с вопросом о мире принимаются воинскими частями повсеместно. Каждый приказ Временного Правительства встречается с заведомым предварительным недоверием. Каждый приказ рассматривается как новая попытка оттянуть войну и обмануть солдат. Попытки ареста большевиков рождают политические требования об их освобождении. Попытки закрыть большевистские газеты толкают к требованию прекращения борьбы Временного Правительства с большевистской прессой. Попытки войсковых комитетов защитить командиров, комиссаров и Временное Правительство толкают к требованиям перевыборов и перевыборам комитетов. Попытки угрожать смертной казнью толкают к требованиям отмены смертной казни. Попытки уговорить солдат и уверить их в необходимости продолжать войну толкают к требованиям опубликования договоров и начала мирных переговоров. Если

требование, лозунг мира, выставляемый большевистской партией, дал возможность оформиться солдатским настроениям, как настроениям большевистским, и дал толчок к росту солдатской организации, как организации большевистской, то рядом с этим необходимо поставить позицию большевистской партии в вопросе о земле, тем более, что в этот период солдатское движение в ряде районов, в особенности крупного помещичьего землевладения, принимает характер аграрного движения. Аграрное солдатское движение тянется навстречу программе большевистской партии.

В пункте 8-м анкеты, которую заполнял комиссар в своих докладах Временному Правительству, запрашивалось об эксцессах. В сентябре и октябре эта графа 8-я все более заполняется противопомещичьими эксцессами, которые занимают почетное место рядом с эксцессами против командного состава. У помещиков рубят лес, бьют скот, травят посевы, их обыскивают, заранее предполагая у каждого из них склад пулеметов или казенных вещей, наготовленных против солдат. Официальные сообщения иногда еще покрывают это аграрное движение словом «погром», но истинное содержание его не удается скрыть. Одним из наиболее типичных актов аграрной войны в этот период является нападение 264-го пехотного полка 19 октября на замок князя Сангушко. Князь был убит, его племянник ранен, замок подожжен, имение разграблено. И хотя комиссар фронта Иорданский пробовал представить такое нападение в виде обычного грабительского выступления, но ему не удается ничем прикрыть того, что это было выступление крестьян против одного из крупнейших дворян-помещиков. Солдат усмирял отряд чехо-словацкой кавалерии и четыре броневика. О том же комиссар 7-й армии сообщал еще в сентябре, рассказывая, как солдаты, —

> «уходя из своего расположения за 15—20 верст совместно с крестьянами, громят склады спирта, заводы, имения, запасы хлеба, фуража, предавая все огню и мечу»...

На Румынском и Юго-Западном фронтах это аграрное движение, несмотря на сравнительную политическую отсталость этих фронтов, принимает даже бóльшие размеры, чем на остальных фронтах, прежде всего в силу наличия в этих районах большого количества крупных помещичьих гнезд. Об этом, требуя командирования казачьих частей, сообщает губернский комиссар Бессарабии:

> «Разрушены и сожжены крупнейшие экономии, обслуживающие продовольствием широкий район, совершен ряд бессмысленных убийств, грабежей и насилий. Сведения о разгроме экономий до настоящего времени получаются ежедневно»...

Оформление солдатской тяги к миру и земле, как большевистских настроений, их увязка со всей линией большевистской партии имеют тем большее значение в этот период, что одновременно необычайно обостряется непосредственная классовая борьба внутри армии, прежде всего борьба сол-

дат против командного состава. Большой толчек росту солдатской ненавис[illegible] к высшему командному составу дало корниловское дело, поставившее оф[illegible] цера против солдата и солдата против офицера в непосредственно[illegible] ничем не прикрытой, схватке. Солдаты готовы любого офице[illegible] подозревать в явном и тайном сочувствии Корнилову. За уч[illegible] стие в «союзе офицеров» солдаты офицеров сменяют, частью уничтожаю[illegible] Одного участия в «союзе офицеров» достаточно для смещения офицер[illegible] с должности. Офицеров, которые выступили против солдат в гражданско[illegible] войне, солдаты естественно делают виновными за все преступления госпо[illegible] ствующих классов. Офицеров считают виновниками затягивания войны, - сообщает комиссар 2-й армии. Офицеров обвиняют в неудачах войны, в с[illegible] крытии приказов; у генерала, приехавшего сделать смотр, требуют док[illegible] менты, — сообщает комиссар Западного фронта. Солдаты отказываютс[illegible] выполнять боевые приказы, обвиняя офицеров в измене, — сообщает коми[illegible] сар Северного фронта. И главное — в ответ на корниловское нападение н[illegible] солдат в послекорниловские дни — солдаты бьют своих классовых враго[illegible] повсеместно, безжалостно. Комиссар 2-й армии сообщает о том, как офи[illegible] цера ранили бомбой, брошенной в землянку. Комиссар Западного фронт[illegible] сообщает, как солдаты ручной гранатой, брошенной в землянку, оглушил[illegible] командира полка и двух офицеров, при чем никто не мог быть предан з[illegible] это суду. Он же сообщает о том, как в 60-м Сибирском полку бомбой, бро[illegible] шенной в собрание, ранили 17 офицеров. Он же сообщает о том, как за т[illegible] что в 44-м Сибирском полку некий капитан произнес тост за Корнилов[illegible] солдаты арестовали 12 офицеров полка. Он же сообщает о том, как в запас[illegible] ном баталионе 132-й дивизии солдаты некоего подполковника Макарович[illegible] избили до смерти.

Комиссар 5-й армии сообщает, как солдаты арестовали офицеров, «не осторожно отозвавшихся о текущем моменте»; только арест спас этих офи церов от самосуда. В той же армии в одном из полков солдаты, отказавшис[illegible] исполнить боевой приказ, избили командира — и комиссару Временног[illegible] Правительства осталось сообщить о том, что инцидент «улажен полковы[illegible] комитетом». (Очевидно, «улажение» заключалось в том, что командир[illegible] спасли от самосуда.) Комиссар Северного фронта сообщает, как солдат[illegible] в ответ на приказ о расформировании запасных полков убили командир[illegible] полка, а за попытку приговорить одного из солдат за вооруженный грабе[illegible] к смертной казни ответили угрозой перебить всех офицеров штаба диви- зии и весь состав суда. А общая сводка военно-политического штаба пере числяет, как в одном из полков особой армии на глазах командира и офи- церов был убит прапорщик; как в 7-й армии при попытке арестовать сол- дата был убит подпоручик; как в 39-м корпусе особой армии была брошена бомба в землянку командира; как один из командиров батареи в 1-й армии был убит выстрелом через окно; как были арестованы 50 офицеров 126-й ди- визии особой армии, двигавшейся на Луцк и т. д. и т. п. Комиссар 2-й армии сообщает, как в хату младшего офицера пулеметной команды неизвестным была брошена ручная граната, как даже в госпитале возбужденной толпой

больных и команд госпиталей был убит офицер, находившийся в госпитале на излечении, другой офицер при этом был тяжело избит так, что жизнь его находилась в опасности.

Солдаты уже не просто в порыве стихийного гнева избивают офицеров, против которых у них по той или иной причине накопилась ненависть,— они ведут войну с контр-революционерами, проявившими себя в корниловские дни. Убивая офицеров, они действуют, как защитники революции, и в полном сознании своего права соответствующие постановления записывают в протоколы заседаний. Комиссар 12-й армии Соколов, сообщая об убийстве в одной из рот поручика и прапорщика, телеграфирует комиссару Северного фронта: «Об убийстве солдатами были составлены два протокола и занесены в журнал ротного комитета»... В итоге инстинкт самосохранения подсказывает офицерской массе, что комиссар 6-й армии назвал в одной из сводок самоустранением офицеров, комиссар 8-й — малой энергией последних. Растут случаи самоубийств офицеров, самоустраняющихся и в таком виде. В конец дезорганизованному командному составу, живущему в обстановке напряженнейшей ненависти всей крестьянской массы, не удается ни в какой мере выполнять своих функций командования. Дезорганизация аппарата командования достигает к октябрю максимальных размеров по всей линии полуторатысячеверстного фронта. Солдаты не выполняют приказов о перемещении, не выходят на занятия, не выходят на смотры, не выходят на работы, отказываются являться в суд, самовольно уходят с позиций, самовольно занимают стоянки, отказываются итти в наряды, отказываются высылать квартирьеров, отказываются строить землянки во избежание того, чтобы в этих землянках не пришлось сидеть зиму, отказываются выбирать в суды, даже отказываются делать противотифозную прививку, итти в ногу.

Каждый приказ при этом подвергается, конечно, самому детальному рассмотрению солдатских собраний. Каждая сводка каждой армии подтверждает эту картину распада связей в армии по линии командования.

Комиссар Западного фронта Жданов 18 октября дает картину углубления этого распада связей в армии, превращения ее в огромную вооруженную крестьянскую толпу, в которой, два чувства и стремления покрывали все остальное — жажда мира и земли:

> «2-я армия: 3-го гренадерского полка 4-я, 5-я и 16-я роты отказались занять участок, отходящий полку после расформирования 5-й гренадерской дивизии. Полковой комитет 515-го полка отказался послать квартирьеров в Кулькуланскую, не желая переменять место стоянки полка; 711-го полка 10-я и 11-я рота отказались выступить на позицию, пока им не будут выданы теплые вещи; 32-го Сибирского полка 2-й батальон отказался выйти на смотр комкора, ссылаясь на холод; 68-й, 65-й и 66-й сибирские полки отказываются расформировываться до возвращения делегации, посланной в Петроград ходатайствовать об оставлении полков; 167-го полка 4-я рота отказалась выйти на работы;

166-го полка 2-й и 2-й батальоны отказались занять указанное им место в резерве и самовольно заняли деревню. Грузовой транспорт № 97 Красного Креста отказался избирать дисциплинарный суд. 67-й Сибирский полк отказался расформироваться. 11-й Туркестанский полк, боясь быть расформированным, пришел на позицию и потребовал ухода рот 12-го Туркестанского полка, желая занять их место; во избежание столкновения, солдаты 12-го полка отведены. 25-й Туркестанский полк отказался занять позиции расформированной 17-й Сибирской дивизии. 513-го полка 7-я и 8-я роты отказались заступить позиции для усиления участка 11-го полка. 3-я армия: 31-го полка 1-й батальон отказался выйти на работы; 22-го полка 1-я, 2-я, 9-я и 12-я роты отказались выйти на строевые занятия, но занимались политическими вопросами; прикомандированные к 217-го полку люди дивизионного обоза самовольно уходили обратно в обоз 24 полка. 3-я рота солдат отказалась итти в секрет; 532-й полк отказался сменить на позиции 529-й полк; 29-го полка 3-я и 4-я роты не вышли на работы; 217-й полк не вышел на занятия. 10-я армия: 275-го полка 21 солдат отказались от работ; 273-го полка 2-я рота отказалась укреплять позиции; 528-го полка 3-й батальон отказался выйти на работы; Стрелковый полк Кавказской дивизии отказался выступить в распоряжение комкора 2-го Кавказского, иначе как всей дивизией, при условии пополнения полка до штата и выдачи обмундирования; 247-й полк отказался от выступления на позиции; 4-й Сибирский полк отказался занять указанные ему позиции; 134-й полк отказался выступить на позицию...».

В тылу же в это время положение было таково: в большей части пунктов большевики получили безраздельное господство над умами и организацией солдат. Здесь солдаты сдерживались рамками известной дисциплины, их деятельность укладывалась до некоторой степени в рамки большевистской работы по разрушению и дезорганизации аппарата государственной власти буржуазии. Там же, где большевикам не удавалось охватить своим влиянием и своей организацией солдат, в особенности там, где засиживались меньшевистские комитеты, где, иначе говоря, меньшевистские солдатские комитеты себя изживали, — солдатское движение принимало характер бунта против богатых, против купцов и т. д. Ненависть к купцу, к богатому, к сытому, к имеющему большую квартиру, к имеющему толстый живот и гладкое лицо здесь достигает тех размеров, когда погром богатого возникал по любому, иногда самому пустячному предлогу, когда достаточно было слуха о том, что у какого-нибудь купца или лавочника спрятана мука или кожи, чтобы сотни и тысячи солдат в десятках городов шли громить мимоходом ликвидируя и кое-кого из своих офицеров. Там, где еще сохранились меньшевистские советы, они были совершенно бессильны справиться с этим величайшей силы потоком ненависти крестьянина, несколько лет оторванного от

своего дома, к тому его классовому врагу, который в сытости и тепле просидел всю войну. Во всяком случае в этих тыловых частях командный состав уже не мог найти опоры для борьбы с растущей революцией рабочих и крестьян.

Дезорганизация армии усугубляется тем, что единственные части, на которые высший командный состав мог рассчитывать, — конные части, — распыляются по всей стране в явно безнадежном стремлении потушить пылающий повсюду пожар крестьянского восстания против помещиков. За конные части идут настоящие телеграфные бои между военными округами и отдельными фронтами. Каждый военный округ, каждая губерния, каждый губернский комиссар, каждый уездный комиссар, наконец, каждый крупный помещик требует этих конных частей. В итоге в одном Одесском военном округе, например, оказывается 14 конных полков (больше 4 дивизий), которых главный начальник Одесского округа считает недостаточными для поддержания порядка и от которых он считает невозможным оторвать ни одну часть. Когда штаб верховного главнокомандующего, ввиду угрожающего для буржуазии положения в Донецком бассейне, требует от Одесского военного округа направления соответствующих кавалерийских частей в Донецкий бассейн, то тот отказывается, и командующему Румынским фронтом Щербачеву приходится от оставшихся в его армиях четырех конных дивизий оторвать конные части и для Донецкого бассейна, и для Феодосии, и для Ессентуков. Воинских частей требует вся Украина. Для охраны спокойствия помещиков, сахарозаводчиков и капиталистов на Украине 15 октября в Ставку начальника штаба верховного главнокомандующего сообщается о том, что 6-я казачья дивизия расположена к западу от Днепра, а из 5-й казачьей дивизии полтора полка восточнее и два с половиной полка западнее Днепра. Командование делит все районы тыла на полковые участки охраны, назначает специальных начальников по охране районов отдельно для территории западнее Днепра и отдельно для территории восточнее Днепра. Казачьих частей требует командующий войсками Московского округа Рябцев, требует командование в Хиве, требует комиссар по делам Туркестана для Туркменской степи. Министр внутренних дел Никитин еще 1 октября приказывает непосредственно командующим по первому требованию комиссаров правительства посылать заблаговременно соответствующие отряды. Казачьими частями хотят охватить весь Кавказ, где горит почва под властью российской буржуазии. Казачьих и кавалерийских частей требуют губернии. Типичным является требование войск для Курской губернии:

> «В Фатеевском уезде крестьяне захватывают хлеб, другие препятствуют вывозке хлеба, рубят лес, захватывают землю под свеклой у нескольких сахарных заводов. Немедленно прошу полсотни казаков в станцию Курск. Сверх того, прошу срочно сообщить, можно ли надеяться на присылку нескольких сотен казаков для решительной ликвидации продовольственной разрухи в Курской губернии...»

Эту подготовку буржуазии к защите своей власти на территории всей страны дезорганизует один факт, о котором очень кратко сообщает военный министр Верховский:

> «Казачьи части в Петрограде застоялись и подпадают под большевистскую пропаганду»...

Таким образом и эту боевую силу из гвардейских, кавалерийских и конных казачьих частей, которые могли бы оказать серьезное противодействие рабочему классу и крестьянству, если бы они были сосредоточены в одном кулаке, высшему командному составу и Временному Правительству приходится разбрасывать по всей территории огромной страны для того, чтобы спасать те тысячи буржуа, помещиков и сахарозаводчиков, на которых наседали рабочие и крестьяне в местах их расположения.

Аграрное движение носило настолько повсеместный общий характер, что задача его подавления требовала воинских сил почти по всей стране. А непосредственное соприкосновение с крестьянами и рабочими в условиях развивающейся революции содействовало агитации против буржуа даже в частях, наиболее отсталых и по своему преимущественно кулацкому составу наименее склонных поддерживать рабочих.

Таким образом мы видим три основных фактора, определяющих состояние армии к октябрю: во-первых, — стихийное солдатское стремление к миру и земле, с каждым часом в течение сентября и октября принимает форму политического движения против власти Временного Правительства под конкретными большевистскими лозунгами; во-вторых,—буржуа теряет какую бы то ни было возможность управления армией. Аппарат командования и аппарат власти дезорганизуются по всей линии армии; теряет возможность управлять тот низовой командир, — командир полка, роты, — без которого самый продуманный, на всем опыте войны основанный, план высшим командованием не может быть приведен в движение, и в-третьих— те боевые силы, на которые могли бы в известных условиях рассчитывать буржуа, в силу их преимущественно кулацкого состава. Правительство и высший командный состав принуждены были разослать по всей стране, разбить на отдельные сотни роты и полки для спасения тех тысяч помещиков, которых били миллионы крестьян на территории сотен и тысяч верст.

Из этих трех факторов прежде всего складывается фактическое соотношение сил и в самом Октябрьском перевороте. К этому времени потеряла серьезное значение и та единственная сила, на которую буржуазия пыталась опереться в пред'июньские дни — комитетский состав и вся организация комитетов.

# „Заветные идеалы“ Бурцева [1]).

**Ф. Раскольников.**

Всем памятна та отвратительная роль, которая выпала на долю Бурцева в июльские дни, в Октябрьскую революцию и во время гражданской войны Начав в 1914 году с коленопреклоненного оборончества, Бурцев во время революции дошел до чудовищного обвинения вождей большевистской партии в германской агентуре и, наконец, закончил открытым блоком с махровым черносотенцем и монархистом — белогвардейским генералом Врангелем. Те, кто недостаточно осведомлены в истории русской общественной мысли и знакомы с именем Бурцева только по его шумному разоблачению Азефа, могут представить себе дело так, что до определенного времени Бурцев был революционером, и только впоследствии перекинулся в противоположный лагерь. Такие случаи в летописи нашего революционного движения, действительно, бывали. Достаточно вспомнить известного Льва Тихомирова, который из «страшного» террориста и народовольца превратился в тихую овечку, впоследствии мирно жевавшую травку царских субсидий на тучно-вскормленном лоне «Московских Ведомостей». Наконец, бывший соратник Тихомирова по редакции «Земли и Воли» Г. В. Плеханов также пережил глубокий идеологический кризис, в результате чего имеем двоих Плехановых: выдающегося теоретика, образованнейшего марксиста, работы которого нужно издавать и переиздавать, так как на них будет учиться не одно поколение рабочего класса. И, наконец, второй Плеханов — это Плеханов, выбитый из марксистской колеи мировой войной и революцией, запутавшийся в безысходных противоречиях, Плеханов — социал-патриот, соглашатель, почти либерал, отдавший остаток своих дней на исступленную борьбу с большевистской партией, — партией рабочего класса.

Конечно, Бурцева нельзя поставить ни в какое сравнение с Плехановым. Он никогда не был теоретиком, ни разу в жизни не принадлежал к политической партии и, наконец, самое главное, Б у р ц е в  н и к о г д а  н е  б ы л  р е в о л ю ц и о н е р о м.

Ему не были знакомы ни кризисы, ни душевные переломы. В известном отношении он может быть даже назван цельной натурой.

[1]) Вл. Бурцев. Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания (1882—1924) Том I. Изд. „Гамаюн“. Берлин 1924 г. 380 стр.

По крайней мере, от начала своей политической карьеры и до наших дней Бурцев всегда оставался одним и тем же: типичнейшим либерально-буржуазным интеллигентом с очень умеренной политической программой. Вернее сказать, никакой программы у него даже не было; он всегда выступал с куцой платформой, приуроченной к текущему моменту.

Никто не мог бы лучшим образом развенчать легенду о мнимой революционности Бурцева, чем это делает он сам в своих недавно вышедших воспоминаниях.

Основными и неизменными положениями бурцевской платформы всегда были: конституционализм, постепеновщина и идея блока всех оппозиционных сил. Предоставим слово самому Бурцеву: «Я, в первую очередь, — пишет он, — ставил конституционную борьбу во имя общенациональных задач и придавал большое значение интеллигенции и революционным организациям и их борьбе» (стр. 32).

Возлагая надежды на интеллигенцию, Бурцев совершенно не верил в массовое революционное движение рабочего класса.

Передавая содержание своей беседы с народовольцем Дембо тотчас по приезде за границу в конце 80-х годов, Бурцев резюмирует: «Он (Дембо) отнесся ко мне, как к близкому для него человеку, но сразу же понял, что в моем народовольчестве многого нет того, что было у заграничных народовольцев и что ими усвоено от народовольцев по наследству — веры в революционное настроение народа, рабочих и крестьян, а было то, чего не было у них, — сознание неизбежности постепенности в развитии России и необходимости завоевания конституции» (стр. 47). Таким образом народовольчество Бурцева абсолютно ничем не отличалось от классического буржуазного либерализма какого-нибудь «Вестника Европы».

Правда, как известно, Бурцев симпатизировал террору, но, ведь, и среди либералов также было немало лиц, сочувствовавших террористическим актам. Однако это ничуть не свидетельствовало об их революционности.

Революционеры отличаются от либералов как раз тем, что, *опираясь на массовое движение определенного класса, они ведут вооруженную борьбу за власть, добиваясь полного и окончательного низвержения правящего класса*. В этом отношении несомненно *революционной* была французская буржуазия 1789 года, смело шедшая на приступ твердынь дворянско-королевского строя.

Между тем, наши либералы, которые были далеко не прочь в тиши своих кабинетов помечтать о власти, борьбы за свержение царизма никогда не вели и были склонны рассматривать террор не как орудие уничтожения старого режима, а как средство вымогания у царского правительства всякого рода уступочек. Взгляд на террор Владимира Бурцева полностью и целиком совпадал с этой позицией либеральной буржуазии. Прислушаемся к его собственной исповеди:



«Террор тогда защищали только народовольцы. Для них террор был всегда связан с народными движениями и был как бы дополнением к народ-

ным восстаниям, или, в лучшем случае, они на него смотрели, как на месть отдельным лицам за те или другие акты. Но для народовольцев, каких *я встретил в России и от имени которых я говорил, террор не был ни местью,* ни подсобным средством для возбуждения народных революционных течений, а был, прежде всего, средством заставить правительство изменить его реакционную политику» (стр. 54).

«Но в то же самое время,—продолжает несколько ниже Бурцев,—я был определенным противником политического террора. Чего для России я не хотел, так именно террора. Для меня он был только вынужденным средством. Я всегда готов был от него отказаться. Во всем том, что я писал и потом о терроре, я всегда, как непременное условие, ставил «если»: если правительство пойдет навстречу обществу, то мы должны стать решительными противниками всякого террора. Я п о с т о я н н о  т в е р д и л,  ч т о  н а м  н а д о  *т о л ь к о  с в о б о д н о е  с л о в о  и  п а р л а м е н т  и  т о г д а* **м ы  м и р н ы м  п у т е м  д о й д е м  д о  с а м ы х  з а в е т н ы х  н а ш и х  т р е б о в а н и й»** (стр. 54—55).

Как мы увидим дальше, самую крохотную готовность правительства приступить к куцым реформам Бурцев уже считал достаточным основанием для отказа от террора.

Красноречиво раз'ясняет взгляд Бурцева на террор следующий приведенный им диалог:

«Однажды Б..., по своим взглядам близкий к Драгоманову, в споре со мной сказал мне:

«— Так цареубийство для вас является, очевидно, только средством всеподданнейшего увещевания?

« — Да, да, да, — я ему ответил. — Это для меня именно прежде всего только средство у в е щ е в а н и я, в том смысле, как в свое время народовольцы у в е щ е в а л и Александра II — и он внял их у в е щ е в а н и я м и призвал к власти Лорис-Меликова. Очень жаль, что ни революционеры, ни общество не поняли тогда своей победы и истинного значения политического террора и не сумели определенно посмотреть на него, как на средство у в е щ е в а н и я, и не отказались от его продолжения тогда, когда для у в е щ е в а н и я прошло время. Я буду очень рад, если в России не совершится ни одного факта политического террора. Он нам не нужен. Если русское правительство сделает его невозможным, то я более других буду радоваться этому и тогда со всей моей энергией я буду бороться и с политическим террором, и с революционными потрясениями страны» (стр. 57. Курсив везде Бурцева).



Таким образом жалкая политиканская комедия Лорис-Меликовской «диктатуры сердца» уже вполне удовлетворяла политические чаяния Бурцева и делала в его глазах террор совершенно ненужным и даже вредным способом тактики. Отныне он со всей своей энергией готов был *«бороться и с политическим террором, и с революционными потрясениями в стране»*. Итак, с самого своего зарождения умеренный либерализм Бурцева и его платонические, весьма условные террористические симпатии имели своей оборотной

стороной вполне определенную, контр-революционную подкладку. Бурцев требовал от правительства хоть самых малюсеньких реформ сверху для того, чтобы спасти страну и режим от «революционных потрясений» снизу.

После этого неудивительно, что Лорис-Меликов рисовался ему в образе спасителя России. «Для меня Лорис-Меликов, — пишет Бурцев, — во многих отношениях был, конечно, человеком чуждым, но я относился к нему не только, как к честному человеку, но и *как к политическому деятелю, понявшему задачи, стоявшие перед Россией, кто мог спасти Россию*» (стр. 55. Курсив мой).

В связи с этим, к убийству Александра II Бурцев относился резко отрицательно, «потому что это событие было совершено тогда, когда правительство обратилось к обществу, и террористы могли с ним говорить языком письма Исполнительного Комитета к Александру III» (стр. 122). Бурцев заявляет, что гораздо большее значение, чем террору, он придавал своему печатному органу за границей. «В этих планах свободного органа за границей, — пишет он, — для меня утопали и политический и фабричный террор, и все планы крестьянских и рабочих восстаний. Орган сделает невозможным для реакции ее дальнейшее сопротивление, и тогда нам не нужны будут ни народные восстания, ни политический террор, ни цареубийство» (стр. 62).

Однако этот орган, который должен был отодвинуть на задний план значение террора и рабоче-крестьянских восстаний, представлялся Бурцеву в высшей степени умеренным, «приблизительно таким, каким впоследствии явился орган П. Б. Струве «Освобождение» (стр. 65).

Как известно, «Освобождение» стоял на крайнем правом фланге журналистики, издававшейся за границей.

В полном соответствии с умеренным духом своего журнала, в качестве редакторов Бурцев предполагал пригласить Максима Ковалевского или М. П. Драгоманова, этих законченных выразителей либеральной мысли.

В отношении влияния на западно-европейское общественное мнение мечты Бурцева не распространялись дальше воздействия на буржуазные круги.

«Нас будут цитировать английские и французские, немецкие и американские газеты, — захлебываясь мечтал Бурцев, — «Таймс» и «Тан» будут писать о нашей борьбе с правительством» (стр. 61).

«Таймс» и «Тан» издавна были наиболее влиятельными органами западно-европейской крупной буржуазии. Очевидно, в узком кругозоре Бурцева общественное мнение Западной Европы исчерпывалось печатными органами крупной буржуазии.

Само собой разумеется, что все литературные издания Бурцева от «Свободной России» до «Общего Дела» носили на себе печать либерализма своего издателя. В этом отношении характерна передовица первого бурцевского журнала «Свободная Россия», излагающая основное политическое «кредо» своего редактора, впоследствии перепевавшееся на разные лады, но всегда остававшееся на том же уровне буржуазно-обывательской умеренности.

Мы уже видели, что Бурцев постоянно твердил одно и то же: «Нам надо только свободное слово и парламент, и тогда мы мирным путем дойдем до самых заветных наших требований».

Одним словом, как говорится в одном шуточном стихотворении: «Медленным шагом, робким зигзагом».

Но в вышеприведенной тираде все же употреблено слово «парламент», по тем временам, казалось бы, довольно смелое для либералов типа Бурцева.

Однако передовица «Свободной России» проливает яркий свет на то понятие, которое вкладывали в этот термин Бурцев и его единомышленники:

«В органе мы будем поддерживать все, что может приближать нас к нашему широкому политическому идеалу. Мы будем приветствовать всякий шаг (как бы он ни был мал) в обеспечении права человека и гражданина, всякий шаг в развитии самоуправления. Мы будем стоять за Земский Собор из представителей от современных земств, если сама жизнь выдвинет этот вопрос, как это было несколько лет тому назад» (стр. 73).

Итак, говоря о парламенте, Бурцев подразумевал просто-на-просто законосовещательный Земский Собор, составленный из представителей царских земств, этих цензовых организаций, об'единявших, главным образом, помещиков-дворян.

Этот ублюдочный парламентаризм, составлявший «широкий политический идеал» Бурцева, опять-таки носил не императивный, а условный характер: «если сама жизнь выдвинет этот вопрос». Вот какими дипломатическими оговорочками обставлял Бурцев свою политическую формулировку.

При всем этом Бурцев иногда любил козырнуть своим «социализмом». Мы уже видели, что он не верил в потенциальную мощь рабочего класса и не придавал никакого значения массовым движениям. Вообще, интересы пролетариата и крестьянства были ему органически чужды.

Конечно, он не отказывался от признания целесообразности экономических реформ, но на вопрос: социализм или политическая свобода, он недвусмысленно отвечал, что политическая свобода есть высшее благо. «Еще недавно мы игнорировали политику ради экономики, — намекает Бурцев на чернопередельцев и группу «Освобождение Труда», — теперь мы не можем говорить даже об одновременном преследовании этих двух задач. Необходимо понять раз навсегда и никогда не забывать, что теперь перед нами главной задачей является вопрос политический».

Между тем для группы «Освобождение Труда» вовсе не существовало этой дилеммы: социализм или политическая борьба, так как Плеханов и его единомышленники—марксисты—сумели уяснить себе положение, что всякая классовая борьба есть борьба политическая. Поэтому для них социализм был не отделим от борьбы за политическую свободу.

Наименованием «социализм» вообще нередко злоупотребляли в истории, начиная от катедер-социалистов, христианских социалистов и кончая современными социал-демократами. С не бо́льшим правом присваивает себе эту кличку и Бурцев. Как видно из всех вышеприведенных цитат, — в его мировоззрении никогда не было ни грана социализма. Естественно, что чем

более развивалось революционное движение, тем более правел умеренный либерал Бурцев, и тем более контр-революционной становилась его политическая роль.

С похвальной откровенностью Бурцев рассказывает о своих настроениях во время первой революции:

«Летом 1905 г. появились слухи об организации Государственной Думы. В обществе было сильное оживление. Тогда я стал с еще большей решимостью настаивать на том, что террористы должны начать переговоры с правительством» (стр. 158).

Значит, в то время, как пролетариат подготовлял свои силы для решительного удара самодержавию, Бурцев уже занимался соглашательством, стремясь заключить сделку с царским правительством. Не его вина, что события пошли по другому руслу.

В своих воспоминаниях Бурцев обильно воскуривает фимиам кадетской партии и ее вождям:

«Государственная Дума, главным образом, благодаря кадетам, делала огромное дело в смысле политического воспитания России. Муромцев, Набоков, Петрункевич, Родичев, Шингарев, Кокошкин, Кузьмин-Караваев, Ковалевский своими речами воспитывали Россию» (стр. 170).

«Революционеров и кадетов, — пишет он, — я обвинял в том, что они не ставят реальных доступных их силам задач, возможных по обстоятельствам времени, и не отстаивают их всеми доступными для них силами. Мои требования были более умеренны...» (стр. 172).

Когда после роспуска первой Государственной Думы кадеты выпустили так называемое Выборгское воззвание с призывом к пассивному сопротивлению, то Бурцев был вне себя от негодования.

«На меня это воззвание,—говорит он,—произвело ошеломляющее впечатление, и я тут же стал говорить о нем, как о безумии и о величайшей политической ошибке. Особенно подчеркивал то, как могли это сделать кадеты» (стр. 173).

Дальше уже некуда итти. Единственный раз за все время существования своей партии, кадеты обратились к народу с призывом отнюдь не к вооруженному восстанию, а всего только к неплатежу налогов и к отказу от поставки рекрутов. Однако и этот половинчатый шаг либеральной буржуазии наш страшный «террорист» нашел слишком крайним, чересчур революционным. Само собой разумеется, что, например, Свеаборгское восстание он считал огромным несчастьем.

После этого понятно, что Бурцев логически должен был во время мировой войны притти к шовинистическому оборончеству, и в эпоху мировой революции — к контр-революционному мракобесию.

Со страниц первого тома воспоминаний Бурцева ярко обрисовывается его анти-демократическая и контр-революционная физиономия. Конечно, Бурцев никогда не играл видной роли в революционном движении и сам по себе представляет небольшой интерес. Но он характерен тем, что, занимая позицию на стыке между народниками и либералами, он помогает нам уяс-

нить идеологию народничества, как известно, оставившего немаловажный след в истории русской революционной мысли.

Не даром, Бурцев рассказывает, что его идеи разделяли Феликс Волховский, С. М. Степняк-Кравчинский и многие другие видные народники. По своей идеологии народники и позднейшие народовольцы представляли собой не что иное, как либералов с бомбой, в отличие от либералов, не допускавших террор. В отношении установления идеологического родства между либералами и народовольцами, этими непосредственными предшественниками эсеров, воспоминания Бурцева являются интересным документом.

Центральное место первого тома занимает описание разоблачений Азефа, но останавливаться на этом деле не представляет смысла, так как воспоминания Бурцева в этой части не вносят ничего существенно нового в историко-революционную литературу.

Несколько больше дает изложение неопубликованных материалов о провокации шлиссельбуржца Стародворского.

В общем и целом пухлая книга Бурцева после прочтения оставляет осадок известного разочарования. Ее об'ем непропорционально превосходит ее общественно-историческое значение.

В этом отношении воспоминания Бурцева значительно уступают другим произведениям эмигрантской мемуарной литературы, к примеру сказать: «Запискам социал-демократа» покойного Мартова.

# Новая фаза в развитии французского империализма.

Жак Садуль.

I.

В начале Лондонской конференции, на которой впервые государственные деятели Европы официально признали власть банкиров и которая, повидимому, направлена к подрыву французского империализма, г-н Ромье, ответственный редактор «Journée Industrielle», заявил, что он верит в будущее французской буржуазии. После утверждения, что северные народы Европы находятся на пути к упадку, Ромье добавил: «если мы сможем избежать в течение ближайших десяти-пятнадцати лет войны — Франция вновь узнает времена Людовика XIV», эпоха которого, как хорошо всем известно, была эпохой французской гегемонии.

Подобные утверждения наблюдателя, прекрасно знакомого с современной жизнью, чрезвычайно характерны. Они показывают, что, несмотря на отступление по всей линии, к которому была принуждена французская буржуазия на Лондонской конференции, она далеко не отказалась от надежд, порожденных Версальским договором, создавшим благоприятные экономические условия для развития французского империализма.

Стремления Франции к гегемонии, разбитые вследствие военных поражений в конце царствования Людовика XIV, возродились во время Великой Революции. Своей кульминационной точки они достигли при Наполеоне I; снова разбитые в 1815 г. коалицией, группировавшейся вокруг Англии, они еще раз возродились во время Второй Империи, снова возбудив тревогу в Европе. Поражения 1870 — 1871 г.г., казалось, нанесли смертельный удар французскому империализму. Война 1859 г. подготовила об'единение Италии, а война 1866 г. — об'единение Германии. В это же время организовывалась огромная Россия. Франция перестала быть самым населенным государством Европы. После Франкфуртского мира на нее уже перестали смотреть, как на «Великую Нацию». Вскоре она перестала быть главным соперником Британской империи. И господство над Азией оспаривалось у Англии лишь Россией. В области же промышленности германская индустрия мало-по-малу стала угрожать преобладанию Англии на мировых рынках.

В начале двадцатого столетия впервые за всю свою долгую историю Франция упала до ранга второстепенной державы. Правда, она сохранила часть своего многовекового престижа, но только благодаря тому, что, будучи издавна состоятельной страной, она скопила огромные капиталы. В 1914 г. стоимость ценных бумаг, выпущенных во Франции, исчислялась в 110 миллиардов франков, из которых более шестидесяти миллиардов были вложены за границей. В это же время английские заграничные вклады достигали 80 миллиардов франков, германские — всего лишь 14 миллиардов. Но в то время, как экспорт английских и германских капиталов шел на развитие эксплоатации английских и германских колоний, а также на эксплоатацию отсталых земледельческих стран, Франция вкладывала свои фонды главным образом в иностранные государственные займы. Как часто говорилось, английский и германский империализм был империализмом колониальным, а французский — ростовщическим.

Франция вместе с Англией оставалась «мировым банкиром», но она все больше и больше теряла свое значение, как крупная промышленная страна. Повсюду металлургическое производство имеет особое значение. Признано, что мировое господство обеспечено за нацией, производящей наиболее дешевые чугун и сталь. Франция же, весьма бедная топливом и рабочими руками, могла перерабатывать по низкой цене лишь незначительную часть добываемой в ней железной руды. Поэтому она не могла бороться ни с Англией, ни с Германией, располагавшими огромными запасами угля и чрезвычайно многочисленными рабочими руками. В 1913 году Франция вывозила чугуна и стали в 8 раз меньше, чем Англия, и в 10 раз меньше, чем Германия. И в то время, как обе ее соперницы все более и более индустриализировались, Франция оставалась страной по существу земледельческой.

В экономической области Франция все более и более подпадала под английский и германский контроль. Она колебалась в своем выборе — Англия или Германия. Наиболее многочисленная часть французской буржуазии вместе с Клемансо, Пуанкаре и Делькассе предпочитала подчинение Англии, наиболее же смелая часть, представленная партией Кайо, стояла за соглашение с Германией. Comité des Forges, об'единявший интересы французских металлургистов и подчиненный группам Круппа и Тиссена, склонялся к этому соглашению. Но когда обострился англо-германский антагонизм и на горизонте появился призрак войны, тогда сторонники союза с Англией, играя на стремлениях к реваншу мелкой буржуазии, имеющей во время выборов большое значение в городах, а в особенности в деревнях Франции, одержали верх над сторонниками франко-германского сближения.

В период времени между двумя войнами, войной 1870 — 1871 г.г. и войной 1914—1918 г.г., французская буржуазия, не обладая достаточным экономическим базисом для ведения независимой политики, долго колебалась между подчинением германскому или английскому империализму.

Comité des Forges, хотя и об'единяет лишь французские металлургические предприятия, но фактически господствует над добывающей горной промышленностью, а также над механической и электрической промышлен-

ностью; он задался целью прежде всего обеспечить свою монополию на внутреннем рынке, с одной стороны, путем протежирования французской тяжелой индустрии при помощи запретительных ввозных тарифов, с другой, — при помощи экономических соглашений со своими иностранными, главным образом германскими конкурентами.

Comité des Forges вел ту политику, которую я называю экономическим мальтузианством. Для того, чтобы не вызвать падения цен, он систематически ограничивал производство чугуна и стали и заставлял платить французских потребителей высокие цены за металлургические продукты, выпуская их на рынок в недостаточном количестве. В то же время Comité des Forges саботировал развитие французской промышленности, практикуя экспорт сырья, тогда как германские промышленные магнаты экспортировали главным образом фабрикаты. Comité des Forges продавал германским промышленникам чугун и сталь по более дешевым ценам, чем французским, и тем самым способствовал ввозу во Францию этих необработанных материалов в виде немецких фабрикатов. В течение первых годов войны Comité des Forges не пытался завоевать свою независимость. Он не верил в победу французского оружия, и для того, чтобы обеспечить себе признательность будущих победителей, Comité des Forges, не колеблясь, занял позицию, которая дала основание к обвинению его в измене и пораженчестве.

Достаточно привести несколько примеров, чтобы показать, что, с точки зрения «национальной», эти обвинения были справедливы.

Франция, чрезвычайно богатая водной энергией, из всех промышленных стран обладает наиболее благоприятными условиями для производства карбида-кальция, продукта гидро-электрической промышленности. Франция легко бы могла завоевать для этого продукта центрально-европейский рынок, в частности германский. Французские производители карбида-кальция, из которых самые крупные входят в Comité des Forges, условились с германскими промышленниками не ввозить карбидов в Германию. Благодаря этому условию они обеспечили себе монополию на французском рынке, заставляя своих соотечественников платить за продаваемый ими продукт на 50% выше его стоимости на мировых рынках. Кроме того, в виде компенсации Comité des Forges получил несколько выгодных концессий.

Соглашением с немецкими промышленниками синдикат Carburiers français обеспечил себе монополию снабжения Германии ферро-силикатами. Ферро-силикаты почти исключительно идут на военное производство. Накануне войны, тогда, когда все уже предвидели ее близость, французские промышленники заключили с Круппом договор, по которому большая часть их производства доставлялась крупповским заводам с тем, чтобы создать в Германии военные запасы. Точно так же одна французская группа, связанная с Comité des Forges, контролировала европейское свинцовое производство, т.-е. металла, необходимого тоже для военной индустрии. Эта группа накануне войны уступила свой контроль одной германской группе. Подобная картина наблюдается и с производством никкеля, почти целиком находившегося в руках двух французских фирм. Без никкеля немыслимо производство

стали, идущей на изготовление крупных орудий. Накануне войны огромное количество французского никкеля было отправлено в Германию с тем, чтобы пополнить военные запасы «вражеского» государства.

II.

Представители французской индустрии, уверенные в превосходстве немецкой армии и, следовательно, в необходимости пожертвовать интересами национальной обороны для сохранения своих собственных, продолжали во время войны свою политику «измены». Предусмотрительные и циничные, они сумели добиться того, что большая часть продуктов, необходимых военной промышленности, в частности свинец, никкель и карбиды, не рассматривалась, как военная контрабанда, и могла служить в военное время предметом международной торговли, не подвергаясь конфискации. Таким образом французские фирмы или фирмы, находившиеся под контролем французского капитала, продолжали, и после об'явления войны, снабжать Германию до тех пор, пока подобная торговля не взволновала общественное мнение Франции. Но и тогда французские капиталисты не прекратили своих выгодных операций. Они лишь стали более осторожными, прикрываясь фирмами нейтральных стран. Факт остается фактом, каждая из пушек, поразившая около двух миллионов молодых французов, имела частицы свинца, никкеля и других сплавов, братски предоставленных крупными французскими промышленниками Круппу.

Comité des Forges, занятый исключительно охранением своих настоящих и будущих интересов, всячески саботировал дело национальной обороны. С начала военных действий он навязал себя правительству в качестве организатора военной промышленности. Ему одновременно были поручены заказы и их выполнения. Он был своим собственным покупателем и контролером, и он широко воспользовался подобным парадоксальным положением, чтобы продолжать свою мальтузианскую политику, весьма выгодную для лиц, состоящих членами комитета. Comité des Forges систематически препятствовал созданию запасов металлов с целью удержать их цены на высоком уровне и извлечь благодаря этому большие барыши. С той же корыстолюбивой целью он препятствовал развитию военного производства. Благодаря ему до 1917 г. французская армия не располагала достаточным количеством пушек и боевых припасов. За то, в то время, как в Англии квинтал чугуна и стали стоил 40 франков, во Франции Comité des Forges брал за то же количество металла 120 франков.

Более того, Comité des Forges с самого начала войны показал, что он не только предвидит, но и желает поражения Франции. Опасаясь победы, результаты которой могли нарушить его благополучие и отнять монополию на французском рынке, Comité des Forges вел определенную кампанию против возврата Франции Эльзас-Лотарингии. Принужденный благодаря протестам, раздавшимся в парламенте, прекратить эту кампанию, он тем не менее продолжал настаивать, что, если Эльзас-Лотарингия будет возвращена, все же необходимо будет отгородить ее от Франции таможенным барьером

с тем, чтобы помешать лотарингской металлургии конкурировать со старой французской металлургической промышленностью. Одновременно, хлопчатобумажные промышленники Рубэ предлагали оставить Мюльгаузен Германии для того, чтобы эльзасская ткацкая промышленность не создала бы конкуренции французской.

Здесь не лишне указать на действительный характер патриотизма французской крупной буржуазии. По этому поводу я хочу напомнить, что, добившись перед войной того, что бассейн Брие не будет защищаться французскими войсками, во время войны Comité des Forges добился того, что этот бассейн не будет бомбардироваться. Пользуясь тем, что французский генеральный штаб не понимал экономического значения района Брие, на долю которого приходилось 90% всей добываемой во Франции железной руды, Comité des Forges, под предлогом избегнуть разрушения шахт и заводов, добился эвакуации района без боя. Вот именно, в силу этого уже за день до формального об'явления войны наиболее важные пункты района были заняты германскими войсками. Однако вполне очевидно, что без лотарингской руды центральные империи быстро бы проиграли войну. Такое признание мы находим в одном конфиденциальном докладе имперскому канцлеру, признание выражено в следующих словах: «К счастью для нас, французам не удалось разрушить округа, богатые железными месторождениями, расположенными по обеим сторонам границ. В противном случае война быстро окончилась бы нашим проигрышем». Если же французам не удалось разрушить округа, богатые рудой, так только потому, что они даже не попытались это сделать. Когда же военное командование поняло полезность подобного разрушения, «Temps», орган Comité des Forges, опубликовал под заглавием «Легенда Брие» ряд статей, в которых совершенно ложно утверждалось, что Германия не нуждается в руде округа и якобы даже не пользуется ею.

В конце 1916 г. генерал Гийома, командующий второй армией, счел возможным по своей инициативе несколько раз подвергнуть бомбардированию заводы и шахты Лотарингского бассейна. Ему тогда был сделан выговор главным штабом французской армии, вдохновленным Comité des Forges. Гийома был принужден прекратить бомбардировку.

---

До войны и в течение первых годов войны Comité des Forges собственно не вел империалистической политики. Прежде всего он стремился, несмотря ни на что, подготовить восстановление выгодных сношений с немецкой промышленностью, с которой он не терял связи. Сомневаясь в победе Франции и сделав все, чтобы помешать ей, Comité des Forges увидел свою ошибку — победа французского оружия стала весьма вероятной, а потому комитет решил использовать эту неожиданную победу. Последняя изменяла в пользу Франции положение и, повидимому, позволяла французской промышленности занять по отношению к германской позицию, обратную довоенной. Comité de Forges не хватало каменного угля и кокса, и потому он шел на об'единение лотарингского железа с вестфальским углем, хотя бы ценою подчинения французской промышленности германской. После неожиданной по-

беды, вернее сказать, накануне победы, Comité des Forges попытался достичь этой цели путем подчинения германской промышленности французской. Немедленно он выработал определенно империалистическую програму и заставил французских делегатов, являвшихся в действительности его орудием, защищать ее во время мирных переговоров.

---

Версальский договор не удовлетворил аппетитов французской тяжелой промышленности, но он создал экономические условия, при помощи которых новый французский империализм получил возможность развития.

Версальский договор сократил на 70% германские запасы железной руды, зато он на 100% увеличил французские запасы. Он уменьшил на 33% германские запасы каменного угля и увеличил французские запасы на 40%. Договор обеспечил Франции преобладание железной руды. Он удвоил французское металлургическое производство и дал Франции Саарский уголь. Он позволил Comité des Forges получить 60% капитала предприятий, расположенных в Лотарингии и в Саарском районе. Договор дал возможность комитету подчинить себе металлургическую промышленность Австрии, Венгрии, Польши, Чехо-Словакии. Но дл ятого, чтобы окончательно утвердить свою экономическую гегемонию в Европе, чтобы создать Венделей, Шнейдеров, Лушеров, хозяев европейского треста тяжелой индустрии, Comité des Forges должен был одержать еще одну победу — завоевать Рур, и получить по дешевой цене двадцать миллионов тонн каменного угля и семь миллионов тонн кокса, необходимых для полного развития французской металлургии.

Но уже с момента подписания Версальского договора применение его статей позволило Франции сделать огромный скачек на пути империализма. Чтобы представить значение этого прыжка, достаточно привести цифры вывоза чугуна и стали важнейших четырех промышленных стран в 1913 г. и 1923 году.

| | Вывоз чугуна и стали (в тоннах). | |
|---|---|---|
| | 1913 г. | 1923 г. |
| Соединенные Штаты С. Америки . . . | 2.892.000 | 1.995.000 |
| Англия . . . . . . . . . . . . . . . | 4.969.000 | 4.407.400 |
| Германия . . . . . . . . . . . . . . | 6.228.000 | 1.366.400 |
| Франция . . . . . . . . . . . . . . | 578.400 | 2.114.900 |

В то время, как американский и английский вывоз в 1923 г. был ниже вывоза 1913 г., а германский вывоз 1923 г. представлял менее одной четверти вывоза 1913 г., французский вывоз за тот же период времени почти учетверился. Притом напомним, что французская металлургия дает в настоящее время всего лишь половину всей возможной продукции. Благодаря недостатку топлива она в 1923 г. использовала всего 52% своего оборудования. Иными словами, она имеет возможность удвоить свою продукцию, не приступая к сооружению ни одного нового завода.

С другой стороны французская буржуазия из-за недостатка в рабочих руках нашла возможным после войны поощрять иммиграцию иностранных рабочих. С 1919 г. она способствовала ежегодному в'езду во Францию в сред-

нем более 100.000 иностранных рабочих. В прошлом году иммиграция колоссально возросла; в течение же последних месяцев еженедельно регистрируется в'езд во Францию от 4 до 5 тысяч рабочих. Эта иммиграция позволяет французской буржуазии значительно развить свое промышленное производство.

Иностранные рабочие, главным образом состоящие из поляков, итальянцев, балканцев и туземцев французских колоний, обычно менее ценны, как рабочая сила, чем французские рабочие. Зато они согласны работать за небольшую плату; своей пассивностью они срывают борьбу за повышение заработной платы и за улучшение условий труда. С экономической точки зрения эта иммиграция чрезвычайно выгодна французской буржуазии.

Она выгодна ей и с политической точки зрения.

Рабочий-иностранец является парием. Он не имеет политических прав. Он не пользуется правом голоса. Во время последних выборов в индустриальных городах, некогда славившихся своей революционностью, были избраны реакционеры, так как большинство населения состоит из чужестранных пролетариев. С другой стороны, иммигрант прекрасно знает, что при первом же проявлении революционного духа он потеряет свой заработок и будет уволен. Поэтому французские капиталисты могут надеяться, что после полного выполнения своей иммиграционной программы им будет легче утвердить свое тираническое господство над закрепощенной массой, состоящей из иностранцев и туземцев колоний. В своем стремлении обеспечить постоянное и дешевое снабжение французской тяжелой индустрии рурским каменным углем и коксом, Мильеран и Пуанкаре, столкнувшись с оппозицией Соединенных Штатов и, в особенности, Англии, сочли Францию достаточно могущественной, чтобы удовлетворить нужды Comité des Forges, прибегнув к силе. После крушения политики междусоюзного соглашения,—политики, возглавлявшейся Клемансо и Брианом, — Мильеран и Пуанкаре открыли эру политики принуждения, логически приведшей к Рурской оккупации.

## III.

Год, последовавший за Рурской оккупацией, знаменует собою апогей торжества крайних империалистических элементов Франции. Это торжество империалистических стремлений изолировало Францию и, усилив франко-британский антагонизм, едва не привело к вооруженному англо-французскому конфликту.

Однако французская буржуазия не сумела вполне извлечь все возможные выгоды из Рурской оккупации, в силу того, что ее экономика не представляет собой достаточно могущественного фундамента, способного перенести на себе колоссальное здание пуанкаристской иностранной политики.

Эта политика престижа чрезвычайно дорога; она нуждается в поддержке огромных воинских сил, и в марте 1923 г. национальный блок был принужден вотировать закон, по которому численность сухопутной армии в мирное время достигает 700.000 человек (475.000 французских и 225.000 колониаль-

ных войск). Кроме того блок должен был открыть большие кредиты, необходимые для развития флота и авиации.

Кроме того, политика Пуанкаре возможна лишь при поддержке второстепенных государств, которые заставляют французских банкиров очень дорого платить за свою вассальную зависимость от Франции. Менее чем в течение одного года Франция была принуждена дать взаймы своим различным союзникам и друзьям более двух миллиардов франков.

Франция, неспособная покрыть огромные расходы, вызываемые этой политикой, при помощи обычных фискальных рессурсов, была вовлечена в безумную финансовую политику инфляции и займов, фальсификации бюджета и отчетов французского банка. Государство разорилось. Оно изнемогает под тяжестью долга (более 400 миллиардов бумажных франков), который ляжет тяжелым бременем на будущие поколения и уже ныне подрывает самое существование политической власти буржуазии.

В 1914 г. Франции в эпоху полного благосостояния не удавалось установить равновесия бюджета в пять миллиардов золотых франков, представлявших едва 15% ее общего дохода. Для послевоенной Франции, обескровленной и обедневшей, еще труднее будет достичь равновесия бюджета, уже ныне достигающего, не считая репарационных расходов, 30 миллиардов бумажных франков, составляющих более 40% обще-национального дохода. В ближайшем же будущем, судя по словам Эррио, французский бюджет возрастет до 40 миллиардов бумажных франков.

Непропорциональность между современной экономической мощью Франции и ее политической программой резко выявилась в падении франка, катастрофически ускорившимся к концу 1923 г.

Пуанкаре был принужден поспешно обратиться за помощью к англосаксонскому банковскому капиталу. Но, чтобы получить ее, он был вынужден пойти на унизительные условия, фактически поставившие французский бюджет под контроль международных финансистов. Таким образом, благодаря падению франка, — результат политики, приведшей к оккупации Рура, — Франция вновь попала под опеку Нью-Йорка и Лондона и была вынуждена оставить методы насилия. Но она их оставила лишь временно, на Лондонской конференции, уступая английскому политическому давлению, а в особенности финансовому американскому, французская буржуазия все же попыталась сохранить право самостоятельного выступления против Германии. Официально она отказалась от этого права, но на самом деле она не откажется, и не может отказаться от него. Каково бы ни было правительство Франции, оно неизбежно должно считаться с происшедшими изменениями французской экономики и вести империалистическую политику.

Восстановление областей, занятых во время войны германцами, воссоединение французской металлургической и текстильной промышленности с металлургией Лотарингии и текстильной промышленностью Эльзаса, эльзасские месторождения поташа, а в особенности огромные лотарингские и алжирские залежи железной руды (70% европейских запасов железной руды), эксплоатация богатств огромной колониальной империи (двенадцать мил-

лионов кв. километров, в шестьдесят миллионов жителей), — все это ведет к трансформации Франции — в промышленную страну, для которой вопросы вывоза принимают главенствующее значение.

Французская буржуазия, давно уже вступившая на путь империализма, останется на нем, вопреки враждебным усилиям соперничающих с ней наций. Так как Франция была вынуждена временно оставить методы насилия, то она прибегнет к иным методам менее грубым, но более сложным и «реальным». Под прикрытием докладов экспертов, она теперь пользуется своим привилегированным географическим положением, а также своей могущественной армией, чтобы заставить Германию создать тесное об'единение лотарингского железа с вестфальским углем на условиях, выгодных для французской промышленности. Это обстоятельство неизбежно должно, в конце концов, привести, конечно, за счет пролетариата Германии и Франции, — к смягчению франко-германского антагонизма и к обострению франко-английского соперничества.

Но прежде всего Франция должна успокоить английские опасения и в известной мере обеспечить за собой поддержку Соединенных Штатов. Ей нужно выиграть время.

Французское государство находится буквально на пороге банкротства. Катастрофическое финансовое положение ставит его в полную зависимость от французского банковского капитала, в свою очередь зависящего от английского банковского и, в особенности, от американского капитала. И не только для того, чтобы покрыть расходы по восстановлению разрушенных областей, но и для восстановления своих собственных финансов, любое не революционное французское правительство, каков бы ни был его ярлык, будет принуждено подчиняться приказам Wall Street.

В марте 1924 г. Пирпонт Морган согласился спасти франк лишь при условии контроля над французским бюджетом. В июле 1924 г. он, конечно, согласился содействовать получению германских репарационных средств при условии, что Франция откажется от всяких самостоятельных действий и после того, как американскому капиталу будет обеспечено выгодное участие в туркофикации Германии.

Однако французская буржуазия надеется, что данный тяжелый момент скоропреходящ. Она спекулирует на том, что англо-саксонские страны гораздо больше опасаются восстановления побежденной Германии, чем развития победоносной Франции. Она рассчитывает в данный момент работать в согласии с Англией и Соединенными Штатами над ослаблением и порабощением германской промышленности. Эта цель является первым этапом. Достигнув его, она при участии Соединенных Штатов возобновит выполнение прерванной программы установления французской гегемонии на европейском континенте.

Мы видим, что руководители блока левых партий также проводят этот план. Уже в апреле 1923 г. «L'Ere Nouvelle», официальный орган радикально-социалистической партии, констатировал, что только создание на восточной французской границе большого франко-германского картеля может обеспе-

чить общее спокойствие. «Bulletin Quotidien de la Société d'Etudes et d'Information Economique», орган Comité des Forges, немедленно с удовлетворением отметил это признание со стороны левых империалистической программы магнатов французского капитала.

Ныне, яснее чем в 1923 г., демократы из блока левых партий понимают, что если они не хотят потерять власти, то они должны точно так же, как реакционеры национального блока, стать послушным орудием французского империализма. Они вовлечены в завоевание сырья. Когда же будет завоеван уголь и кокс, тогда Comité des Forges получит возможность превратить всю добываемую руду в чугун и сталь. Но тогда перед Comité des Forges встанет новая проблема, а именно — проблема сбыта. Комитет будет принужден под угрозой неиспользования своего оборудования — что означает его разрушение — ежегодно вывозить от 4 до 5 миллионов тонн чугуна и стали (не говоря уже о 15 или 16 миллионах тонн руды и огромном количестве полуфабрикатов и фабрикатов), что толкнет его на завоевание внешних рынков, где он неминуемо столкнется со своими англо-саксонскими соперниками.

---

Чтобы не обострять противодействия «союзников», Comité des Forges предлагает разрешение вопроса, одновременно выгодное для Англии, Соединенных Штатов и Бельгии. Он собирается достичь соглашения между промышленниками, посредством которого они урегулируют цены и распределят рынки, а также определят долю в производстве металла и род продукции каждой из примкнувших к соглашению стран, этим путем они по-братски поделят мировой рынок на сферы влияния.

Таким образом Comité des Forges пытается подготовить новый раздел земного шара, благодаря которому каждая из примкнувших к соглашению стран получит право на грабеж, пропорционально своей экономической, финансовой, политической и военной мощи. Конечно, подобный раздел будет носить лишь временный характер, столь же временный, как и все предшествовавшие. И, как предшествовавшие, он подвергнется новому рассмотрению и новому изменению в результате новой мировой войны.

Comité des Forges в особенности стремится к заключению соглашения между Францией и Германией, способного обеспечить выгодное участие французской индустрии в Рейнско-Вестфальской промышленности. Он пытается склонить экс-союзников к тому, чтобы Франция получила обратно лотарингскую промышленность не для того, чтобы отрезать ее от рурского угля, и настаивает, чтобы товарообмен, свободно совершавшийся до войны между Лотарингией и Руром, продолжался бы и теперь так же свободно. Все органы «большой информации», а также многие из органов, именующихся «демократическими», поддерживают «Temps» в кампании, которую он, не прекращая, ведет по поводу всех этих вопросов. «Temps» делает вид, что он отклоняет все проекты создания франко-германского металлургического треста. В действительности он хорошо знает, что Англия и Америка, — а в особенности первая, ни в коем случае не допустит столь легкого установления французского преобла-

дания на европейском континенте. Поэтому «Temps» весьма благоразумно выдвигает мысль о создании международных металлургических картелей, картеля для рельс, для железа в брусках, для металлических труб и т. д. и т. д. Уже в данный момент с этой целью ведутся переговоры между заинтересованными группами, главным образом, между французскими и германскими промышленными магнатами, и возможно, что за дипломатическими кулисами — между французским и германским правительствами.

---

Таким образом, как мы показали в предыдущих главах, Франция вступила на путь, по которому уже давно шествуют Англия, Германия и Соед. Штаты, — путь, ведущий к быстрой трансформации страны в одно гигантское анонимное общество, об'единяющее в себе главнейшие отрасли промышленности и стремящееся подчинить второстепенные отрасли. Капитал этого анонимного общества контролируется тремя или четырьмя крупными банками, управляемыми небольшой кучкой всемогущих лиц.

И ныне во Франции мы присутствуем при поучительном зрелище.

На внутреннем рынке консорциум крупных банков и крупной промышленности стремится освободиться от иностранной конкуренции при помощи запретительных таможенных тарифов, а от конкуренции своих соотечественников — при помощи всякого рода мошеннических средств.

Консорциум стремится до минимума сократить стоимость продукции путем сокращения заработной платы и увеличения продолжительности рабочего дня.

На внешнем рынке консорциум вовлекает нацию в борьбу, которая неизбежно становится все более и более острой. Финансовый разгром, приведший к власти левых и к оставлению политики насилия, заставляет французскую буржуазию на некоторое время прикрыть европейский антагонизм обширным покрывалом демократического успокоения. Но этот естественный при капитализме антагонизм продолжает развиваться и не замедлит вновь проявиться в более или менее измененном виде.

Подчинившись условиям американского финансового мира, уделив ему широкую часть германского пирога, Comité des Forges надеется этим обеспечить себе его сообщничество. Он рассчитывает также настолько тесно переплести экономические интересы Германии и Франции, что политический антагонизм между этими двумя странами совершенно изгладится. Наконец, вне всякого сомнения, он предполагает воссоздать против Англии,—как важнейшего экономического врага Франции, — франко-русское сближение, которое одновременно явится серьезной гарантией против германского реванша.

Однако грандиозные замыслы Comité des Forges не могут осуществиться мирным путем. Лица, входящие в комитет, великолепно знают, что, вовлекая Францию в завоевание рынков, они толкают ее на войну. Их пацифистские заявления носят лишь временный и утилитарный характер. Сейчас они не хотят войны, так как с точки зрения политической, финансовой и технической они в данный момент не способны вести ее. Но они хорошо знают,

что война неизбежна, и они вовсе не собираются избежать ее, когда они будут готовы. Господин Ромье полагает, что для французской буржуазии достаточно от 15 до 18 лет мирной организационной работы, чтобы установить свою гегемонию над Европой. Стало быть, все усилия французской буржуазии направлены лишь к выигрышу времени. Однако чрезвычайно мало вероятия, что англо-саксонские соперники дадут ей столь долгий период подготовки. Всего лишь десять лет отделяют нас от начала последней империалистической войны, но весьма вероятно, что от новой войны нас отделяет гораздо меньший промежуток времени.

Для того, чтобы помешать новому вооруженному столкновению, подготовляемому мировым капитализмом, столкновению, которое будет еще более гигантским и разрушительным, чем война 1914 — 1918 г.г., французский пролетариат, более чем какой-либо другой европейский пролетариат, должен напрячь все усилия, и, не теряя ни одной минуты, сорганизоваться и приготовиться к действию. Суровая дилемма, поставленная в 1920 г. Раймондом Лефевром, ныне действительна более, чем когда-либо. Революция или смерть!

Август 1924 г.

# Восстание в испанском Марокко и его международные последствия.

Мих. Павлович.

На-ряду с планами овладения Рейном и расчленения Германии в целях
'верждения французской гегемонии в Европе, французские империалисты
)еследуют план «округления» своих владений в Северной Африке путем
ıхвата Танжера и испанской части Марокко в интересах завоевания фран-
'эской гегемонии в западной части Средиземного моря. Оба эти плана тес-
ıйшим образом связаны между собой. Пока Англия господствует на великой
енно-морской средиземной дороге и держит в своих руках Гибралтар, эти
рота Средиземного моря, сильнейшую морскую крепость, которую Англия
бирается превратить и в самую сильную авиационную базу в мире, — до той
ры Англия имеет возможность в любой момент отрезать Францию от всех
колоний как азиатских, так и африканских и не допустить переброски
етных французских войск в Европу. Чтобы подорвать английскую гегемо-
ю на Средиземном море и захватить господство в этих водах в свои
ки, французские империалисты упорно стремятся к овладению Танжером,
реход которого в руки Франции значительно ослабит значение
бралтара [1]).

Чтобы добиться своей цели, французские империалисты поддерживают
сстание в испанском Марокко, смотря сквозь пальцы на контрабандный
овоз оружия и снаряжения в район восстания через французские границы.
ıанцузские империалисты уже воспользовались борьбой между Испанией
Абд-эль-Керимом для расширения своей «зоны» путем захвата территории
)бласти Рифа, что вызвало энергичный протест со стороны вождя рифских
билов Абд-эль-Керима. Согласно корреспонденции в «Таймсе» из Танжера
10 января 1924 г., вождь восставшего Рифа заявил, что ему нет дела
испано-французского договора, коим Марокко разделено на две зоны
ıяния. «Правительство Рифа никогда не признавало законности разделения
рокко на зоны влияния», заявил Абд-эль-Керим. По сообщениям англий-

[1]) О значении Танжера, как противовеса Гибралтару, см нашу работу: «Борьба за
ıю и Африку». Издание Научной Ассоц. Востоковедения.

ской и французской прессы, именно в связи с подобными заявлениями Абд-эль-Керима и громадным впечатлением, какое победы восставшего населения «испанской зоны» произвели на все Марокко, маршал Ляотей прервал свое пребывание в метрополии и поспешил в Марокко. Само собой разумеется, что факт поражения империалистической Испании с ее 25 миллионами населения и 200.000 армией в борьбе с маленьким народцем, численность которого, включая женщин, детей и стариков, не превышает 600.000, не может пройти бесследно для населения всей Африки и рано или поздно отзовется на усилении национально-революционного движения в Алжире, Тунисе и французской части Марокко. Не даром генерал-губернатор французского Марокко маршал Ляотей в своем интервью, опубликованном в «Таймсе» 9 ноября 1924 г., указывает на связь Абд-эль-Керима с Мустафой-Кемалем, победы которого над греками нашли свое отражение даже в таком отдаленном от Малой Азии углу Африки, как испанское Марокко. Генерал Ляотей подчеркнул, что все население Северной Африки с напряжением следит за борьбой малочисленной и плохо вооруженной армии туземцев против многочисленной и вооруженной всеми усовершенствованиями современной техники испанской армии и делает из факта непрерывного отступления испанских войск перед натиском туземцев выводы, крайне опасные для всех государств, имеющих интересы в мусульманском мире, и прежде всего для Англии и Франции. Ляотей указал, что если Испания потерпит окончательное поражение в борьбе с восставшими туземцами, «анархия и дух возмущения перебросятся далеко за пределы испанской зоны». Только «политическое единство» и самая искренняя совместная деятельность Англии и Франции, — закончил свое интервью Ляотей, — могут препятствовать роковым результатам испанского поражения.

В чем же должно заключаться это «политическое единство» и «искренняя совместная деятельность Англии и Франции», о которых так красноречиво говорил марокккский генерал-губернатор, маршал Ляотей? В признании Англией французского лозунга «неделимого Марокко» под верховной властью марокккского султана, жалкой марионетки в руках французского генерал-губернатора.

Миссия покончить с восстанием в испанском Марокко и потушить здесь костер, искры от которого могут зажечь пожар во всем мусульманском мире, должна быть возложена на Францию. Не даром французская колониальная печать подчеркивает, что испанское Марокко превратилось в кусок раскаленного железа, которое жжет руки испанцам, только кончиками пальцев удерживающим это железо в своих руках. Скоро раскаленное железо выпадет из рук испанцев, и тогда кто-нибудь другой должен будет взять на себя задачу охладить это раскаленное железо. Французская печать подчеркивает, что борьба с марокканцами не по силам Испании не только в военно-стратегическом, но и в финансовом отношении и перепечатывает из книги бывшего испанского премьера Романонеса обстоятельные данные о расходах Испании по борьбе с туземными повстанцами. Военные

расходы Испании в Марокко за десятилетие 1913 — 1923 г.г. выражаются в следующих цифрах:

| | | |
|---|---|---|
| 1913 | — 101.088.532 | пезеты. |
| 1914 | — 130.599.643 | » |
| 1915 | — 131.376.255 | » |
| 1916 | — 125.797.203 | » |
| 1917 | — 101.423.106 | » |
| 1918 | — 109 075.821 | » |
| 1919 — 1920 | — 128.025.550 | » |
| 1920 — 1921 | — 169.487.236 | » |
| 1921 — 1922 | — 495.628.042 | » |
| 1922 — 1923 | — 372.820.192 | » |
| 1923 — 1924 | — 311.306 244 | » |
| | 1.893 523.580 | » |

Расходы за 1924 — 1925 г.г. значительно превосходят расходы за предшествующие годы. Таким образом ясно, что дальнейшее продолжение марокккской авантюры грозит бедной Испании полным финансовым банкротством. Французские империалисты делают отсюда вывод, что водворение порядка в Марокко может быть по силам только такой державе, как Франция, располагающей на севере Африки громадной армией и много более богатой, чем Испания.

Ясно, что, несмотря на все красноречивые увещания Ляотеев и других французских империалистов, Англия добровольно не согласится допустить внедрения французов в «испанскую» зону влияния. Если Ллойд-Джордж убеждал испанское правительство после поражений 1921 г. оставить Марокко, то, конечно, не для того, чтобы отдать Марокко французам, а наоборот, чтобы самим англичанам забрать испанскую зону. Правда, испанское Марокко само по себе не нужно ни Англии, ни тем более Франции, которая не знает, что ей делать с своими собственными безграничными подпочвенными богатствами, но здесь как нельзя лучше оправдывается положение т. Ленина: «Для империализма характерно стремление к захвату земель не столько прямо для себя, сколько для ослабления противника и подрыва его гегемонии».

Перефразируя известное изречение русских империалистов в эпоху царизма: «Чем ближе мы будем в Азии к индийским границам Англии, тем сговорчивее будет Великобритания по отношению к нам в Европе», французские империалисты могли бы выразить свою точку зрения в словах: «Чем ближе мы будем в Африке к Англии (т.-е. к Танжеру и Гибралтару), тем сговорчивее будет Англия к нам в Руре».

И французские империалисты пользуются каждым удобным случаем, чтобы приблизить осуществление своего плана — овладения Танжером в целях усиления французского могущества не столько в Африке, сколько в самой Европе. Так, в связи с египетскими событиями в конце ноября 1924 г., в связи в убийством в Каире неизвестными бомбистами английского генерала Листека, главнокомандующего египетской армии и генерал-губер-

натора Судана, в связи с английским ультиматумом Египту и мятежом египетских полков в Судане, некоторые французские империалисты высказываются в пользу расширения англо-французского соглашения 1904 года. Тайный англо-французский договор, заключенный в апреле 1904 г., предоставлял Англии свободу действий в Египте в обмен за таковую же свободу Франции в Марокко. Правда, уже тогда лорд Розберри выразил опасение, что «державе, владеющей Гибралтаром, придется пожалеть, что она передала Марокко великой военной державе», т.-е. Франции, но Англии в интересах утверждения своего господства в Египте пришлось примириться со всеми возможными последствиями захвата Марокко Францией. И теперь, как высказывают эту надежду французские империалисты, Англии, владеющей Гибралтаром, в интересах сохранения ее господства в Египте и Судане, придется примириться с расширением французских владений в Марокко. Захватом Судана Англия расширяет права, предоставленные ей соглашением 1904 г. Французские империалисты не протестуют против этих действий Англии и готовы соблюдать самый благожелательный для Великобритании нейтралитет в египетском вопросе, но в виде компенсации за эту дружественную политику они требуют предоставления им права в свою очередь получить полную свободу действий в Марокко. Точку зрения французских империалистов формулировало агентство «Капитал» в следующем заявлении:

«Быть может, не далек день, когда бедственное положение испанцев в Марокко вынудит нас принять меры, чтобы обеспечить наше положение в северном направлении. Мы тогда будем иметь полное право потребовать от наших соседей по ту сторону Ламанша, чтобы они выполнили свои обязательства по отношению к нам точно так же, как мы выполняем свои по отношению к ним».

Разгром испанской армии в Марокко поставил на очередь вопрос о французской интервенции в этой зоне, для чего уже исподволь подготовляется общественное мнение.

Агентство «Эст Эроп» рассылало телеграммы из Лондона о том, что, по мнению английских политических кругов, Франция заменит Испанию в деле оккупации территории рифских кабилов, так как французско-английское соглашение 1904 г. позволяет надеяться, что Англия не будет возражать против расширения французских владений в Марокко.

Влиятельный орган французских экспортеров «Экспортатер Франсе» высказался в пользу такого же разрешения вопроса, ссылаясь на взаимные франко-английские обязательства, вытекающие из алжесирасского соглашения.

Целый ряд органов французской печати указывает на неизбежность операций французских войск в Марокко в связи с панисламистской опасностью, с которой-де будет покончено только после того, как гидра анархии и мусульманского мятежа в испанском Марокко будет раздавлена французскими войсками.

Возможно, что в 1925 г. или 1926 г. или позже Англии так же придется примириться с захватом французами области Рифа и Танжерской озиции, как примирилась она в 1904 г. с необходимостью предоставления Франции свободы действия в Марокко, а в 1923 г. в таком важнейшем стратегическом и экономическом отношениях районе, как Рур. Будучи вынужденной пойти на эти уступки, английская дипломатия будет утешать себя расчетом, что Франция так же обожжет себе руки в испанском Марокко, как она обожгла их в Руре, и что неудача в области Рифа может поколебать устои французского могущества на всем севере Африки. Многие французские деятели из буржуазного мира предчувствуют всю опасность дальнейшего расширения французской зоны в Марокко. Вот почему на-ряду с голосами представителей колониальной французской партии в пользу создания англо-французского блока для борьбы против опасности восстания мусульманских колоний, население которых взволновано теперь, с одной стороны, победами рифских кабилов над испанцами, а с другой — событиями в Египте, раздаются голоса «деловых кругов» в пользу сугубо осторожной политики, чтобы не попасть на удочку английской провокации, в ловушку, подставленную британской дипломатией.

Первая точка зрения, точка зрения необходимости нового соглашения с Англией на почве нового раздела сфер влияния («весь Египет, включая Судан — Англии, все Марокко, включая Риф — Франции»), подчеркивается особенно в органе правых «Аксион Франсэз», органе торгово-промышленных кругов — «Журнэ Эндюстриэль» и в органе Клемансо «Омм Либр». Интересно отметить, что «Журнэ Эндюстриэль» подчеркивает, что прибытие французского посла в Москву усиливает позицию Франции в ее будущих переговорах с Англией по данному вопросу.

Орган беспартийных деловых кругов «Энформасион», влиятельнейшая финансовая газета, считая желательным франко-английское сотрудничество в Азии, Турции и Северной Африке, предостерегает против возможного вовлечения Франции в невыгодную сделку. Такой сделкою явилось бы молчаливое одобрение английских действий в Египте, взамен предоставления Франции свободы действий в области Риф (Марокко). «Эта область, — говорит газета, — является «осиным гнездом», вокруг которого лучше поставить стражу, чем войти в него».

Французская коммунистическая пресса подчеркивает возможность создания англо-французского империалистического блока против Востока и СССР. Свидание французского премьера Эррио с английским министром иностранных дел Чемберленом в начале декабря 1924 г., во время которого, по сообщениям французской прессы, была намечена общая линия поведения по отношению к СССР, подтверждает опасения французских коммунистов. Однако СССР не страшен этот проблематический единый империалистический фронт, проблематический потому, что, если бы капиталистические государства были способны к такому единству, Англия и Франция не вооружали бы Абд-эль-Керима винтовками и снаряжением для борьбы с Испанией, которая по договору и с Англией и с Францией получила «право» на свою

зону. Не удастся англо-французскому блоку, если бы такой блок мог даже продержаться, остановить могучее революционно-освободительное движение колониальных народов.

Испанское Марокко с ее полунищим, малочисленным, плохо вооруженным населением превратилось в кусок раскаленного железа, которое Испания со всей ее 200-тысячной армией уже не в состоянии держать в своих обожженных до костей руках. Скоро вся Северная Африка с Алжиром, Тунисом, французским Марокко, Египтом, вся Азия с Персией, Индией, Афганистаном, Китаем превратится в одну гигантскую глыбу раскаленного металла, от прикосновения к которому расплавится все оружие международного капитализма. Тогда будет перебит позвоночный хребет империализма, и под напором революционных масс Европы и Америки рухнут устои прогнившего строя.

# З ПРОШЛОГО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

## Зеленый шум.

(Из книги «Стучит рабочая кровь».)

**Е. Бражнев.**

1.

В Киеве моя карьера не двигалась — нисколько. Штаб фронта не очень-то кдался в моей помощи. И понятно: здесь уже успели проделать большие регруппировки, свести и укомплектовать полевые части. А мне говорят: ите, что-нибудь наклюнется.

Скучно пахать ребрами вагонные доски. Пролеживать бока насквозь печени. Брало нетерпение, кулаки зачесались на что-нибудь серьезное ему приложить свою активность? Меня тянуло к кавалерийским задачам. переброситься ли на Восточный фланг, в приволжские степи, к источникам валерийских средств, к базам конных формирований? Вот почему мы со-али экстренное заседание. Мы, четверо, в нашей теплушке, пропитанной тахом амуниции и конского навоза, на девятом пути станции Киев-товар-й, — я, Кузьма Чакан, Прости-Прощай и Короста.

— Так вот, мои ангелочки. Ничего тут у нас не получается, и нужно м уносить лапы. Политпросветработа не по нашей специальности. Потому решил — отступать в восточном направлении. Понятно?

Оно, может быть, и не совсем понятно, но — что ж, на восток, так на сток. Почему бы нет? Мой ординарец Кузьма безмолвствует, сопя трубкой. у безразлично — на восток ли, в атаку, на симфонический концерт, либо Северный полюс. Прости-Прощай и Короста — кивают над перекладиной кими мордами, зевают, ощеривая зубы, и флегматично дожевывают ячмень. зражений нет. Заседание закрывается.

Прощай, Киев! Адью, червонный Днепр! Мы берем курс на восток. донецкие шахты, на жаркий ветер Поволжья, на степные просторы.

Мчались по распластанным пахотою склонам. Ползли по смуглым ладо-м полей. Висли, распятые, на зыбких мостах. Влипали, как муха в патоку, полустанки. Спотыкались о каждое вагонное скопище, в каждый распяле-й на шпалах мостик, каждую кривобокую стрелку.

Ночью попали в одно очень беспокойное место. Это станция Бары-евка — с паникой, суматохой, яростным тисканьем во всех дверях, сума-едшей крутелью на перроне и в помещениях, чавканьем бесчисленных ног

по грязи, — под мелким дождичком сверху и крупным градом матерщины из множества глоток. Наш поезд в тупик, — пожалуйте! со счастливым прибытием! дальше ходу нет. Тут тебе и восток, и запад, и прочие страны... Но мы не согласны, мы дальше во что бы то ни стало. Где комендант? Комендант рыскает бешеным волком по станции, заталкивает в тупик подходящие эшелоны, отдает тысячу распоряжений, отвечает на миллион запросов, крестит по шее непонятливых, проклинает, убеждает и богохульствует.

— Товарищ комендант, какова обстановка?

Комендант рычит нечто дьявольски выразительное, какой-то многоэтажный афоризм. Затем он просит папироску: он устал и хочет «жрать». Обстановочка праздничная. Атаман Зеленый опять ожил, воскрес, гадом выметнулся из зарослей, из трущоб, из-под камней, один леший знает — откуда. Город Переяславль минувшей ночью занят бандитами. На север целят удар, режут магистраль.

Где же наши? А наши стягиваются к станции Переяславской, пешие и конные, с артиллерией и пулеметами. Из Дарницы броневик вышел, «Власть Советов» — будет ходить отсюда до Переяславской, — охрана пути...

— Ладно, — отозвался артиллерист, сопровождавший боеприпасы: — почему же задержали наш состав? Ведь путь свободен, чего ж тут забивать станцию? Давай, выталкивай нас поживей... шевели копытами, что ли.

Комендант и не думал шевелить.

— Никак, братишка, невозможно. Березань не принимает. От начальства приказ: — поездов на восток не пропускать.

Мы сами—начальство не хуже вашего. Не желаем преть тут в теплушках, чорт знает для какого рожна! Окружающие пришли в ярость; а комендант обрадовался случаю посидеть, покурить и охладить нутро. Он уже проникся благодушием и покровительствовал нам:

— Куда попрете, — сатане в зубы? Зеленый близко, того и гляди подкатится к линии, — так в гости к нему и в'едете. Он — слышал, как угощает нашего брата? — Пей, говорит, на здоровье, сколько влезет, я угощаю. Растянут тебя на земле, воткнут в глотку четверть и накачивают спиртом до самых губ. Одной мало, — вторую прибавят, пока тебя не раздует горой. Да какая вам забота — торопиться? Поставлю вас в тупичек, — посиживай себе, отребай паек да наталкивай брюхо. Отдохнете, а там глядишь, успокоится, — и вали кто-куда.

Парень, как дуб корявый, — молнией не сшибешь. Врет без памяти. Даже Кузьма удивился и разинул рот перед подобным непоколебимым нахальством. Тогда я выложил последний козырь, — все свои длиннейшие мандаты и принял официальный вид.

— Товарищ комендант! Извольте предоставить мне экстренный паровоз до Миргорода, следую по предписанию Реввоенсовета фронта, вот мои документы. Прошу срочно вызвать по фонопору ЗКУ Переяславской.

Комендант глаза в бумагу — на меня — опять в бумагу. Так, комендант, так, — подтянись! Чорт дери, воинская субординация — тебе не фунт изюму.

— Есть, товарищ начальник!

Комендант, направо кругом — к фонопору. И вот я, с трубкой у рта, же ловлю Переяславскую.

— Алло! Кто? Попросите коменданта узла. Дежурный? Давайте дежурэго. Говорит начальник N-ского боевого участка. Следую по предписанию еввоенсовета фронта. Прошу приказать ЗК Барышевка предоставить в мое аспоряжение экстренный паровоз и пропустить на Березань. Документы? онятное дело, пред'явил,—они и сейчас в руках у коменданта, вот он тут ядом. Алло? Да. Передаю трубку.

Мчались дальше темным драконом сквозь темные поля, без огней, наэопалую. Теплушка прыгала тигром, грохала на стыках рельс. Широкая ерь—настежь, четким, серым квадратом. Мы сидели на краю, свесили ноги, ичались, подперев локти коленями. Молчали, созерцали, дремали под жезное бренчанье гигантских струн. Сочилась едкая гарь паровозного дыма пряная испарина земли. Легкие глотали степной дух, уши — степной шопот, душа — степной молчаливый зов.

Эге! что случилось? Сухой щелчок выстрела в голове поезда согнал нашу емоту. Ему тотчас же ответили в хвосте, и следом — загремели выстрелы ин за другим. Через минуту веселый гул ружейного огня перекатывался по эму составу.

Мигом—свеча потушена, мы на ногах, ощупью достаем карабины. А езд — забирает ходу, мчится,—в багровом дыму, в тучах искр, стегает ночь жейными залпами, гребнем выстрелов чешет темноту. Кузьма, присев за энкой, хищно свернувшись змеей, с колена гвоздит выстрелами темный остор.

Мимо, как призрак, — освещенный раз'езд, шарахнувшиеся фигурки дей, — и уже сзади замирают звон стекла и крики.

Угадываю, там, во мраке, во всех вагонах, ожесточенную, молчаливую, стиснутыми зубами, работу — громят враждебную пустоту. Чувствую беный ток, пронизывающий весь поезд насквозь, от головы до хвоста. Мои пьцы стискивают ружейное ложе, и приклад сам тянется к щеке. Но подаю дрожь в груди и тихонько кладу карабин. Ясно, что случилось: — паника кажда активных действий прожгли сейчас эти души, скомканные в вагонах. зьму за шиворот: «Разве патронов много, что палишь в небо?»

Гаснет ночная потеха, как и разгорелась, — без слов, без сигнала, сразу. е один-два отсталых выстрела. — И вот уже снова мы сидим мирно в две-, молчим, слушаем, дремлем, а поезд рявкает и катит прямехонько — на реяславскую.

2.

Железнодорожник клеймил мелом мой вагон.

— Чей состав, — вон тот, классный?

Серое лицо непроницаемо, серые губы безразлично выдавили:

— Наркомвоена.

Гм... это какого ж наркомвоена?

— Такого. — Пауза. — Украинского.

Вот как! Откуда же взяться тут наркомвоену Украинскому? Соскочил а землю и отправился на станцию, — навести справку у коменданта. Но усть они провалятся, эти скромные парни: — нужно быть по меньшей мере осорогом, чтобы продраться сквозь давку, галдеж и воловьи спины в дверях омендантской.

Подкатил с гулом серый монолит броневика. Это новый тип: двойная роня, непроницаемая даже для шрапнельных осколков, массивные вращаю-иеся башни и морские длинные, как хоботы, пушки с обстрелом по всему оризонту. Ах ты, миленок! Броневикам — все наши симпатии. Клонится уша к этим шустрым зверкам, которые скользят по равнинам, появляются ам и здесь, мурлычат свои пулеметные песенки, раскрывают алые ротики и лизывают огненными язычками постройки, деревья, камни, окопные блин-ажи и бетонные укрытия.

В конце вокзала на рамке выгружали артиллерию, двуколки, зарядные щики. Какая батарея? Пятая отдельная. Как у них делишки? Панорамы ис-равны? Снарядов хватает? У них все в порядке. Только вот в биноклях не-остача. Не пожертвую ли я своего? Зачем он мне?—все равно зря по брюху ютается.

Э, друзья! Бинокль мне дороже отца с матерью. И я поспешил удалиться, iел и приглядывался: нет ли знакомого?

И тут ко мне подлетел озабоченный, ад'ютантского вида военный, во сем английском:

— Вы, — товарищ Бражнев?

Так точно, я. В чем дело? Дело в том, что меня ждет наркомвоен. Меня? Кдет? Наркомвоен? Да, он просто увидел меня в окно, узнал и послал а мной.

Тут же раз'яснилась и загадка пребывания наркомвоена на Березани. Ехал себе из Харькова в своем экстренном поезде, не думая ни о каких бан-итах, не предвидя никакой невзгоды, погрузившись в государственные дела. I вдруг — воткнулся в самую гущу боевых действий. Наркомвоен не оставит ез внимания даже такой мелочи, как ликвидация какого-нибудь несчастного тамана, он не пролизнет мимо—не такой человек. Нарком решил остаться десь и лично руководить операцией.

А я ему тоже зачем-то нужен. Зачем — неизвестно. Это мне верней знать у самого наркома.

Ладно. Я безропотно покоряюсь и следую за ними.

Салон наркома — чопорно, чисто, сурово, простецки. Мужицкие ороды, солдатские шинели, сапожный дух. Рядом, поспешая, чирикал 'ндервуд. За большим столом, среди карт, книг и телефонов — нарком-оен в серой шинели коробом на спине. С обычным своим лукавым хохлац-им огоньком в глазах, с усмешкой, мелькающей под редкими усами — тянул широкую ладонь.

— Как же это вы, а? Ну, здравствуйте. Вы здесь по какой причине? Iто? на восток? Ну, погодите! Это, батенька, не дело. Никуда не годится! Здесь нам люди нужны до зарезу, а вы — куда-то на восток!

Нарком и слушать не хотел моих соображений. Да, на Переяславской и и нужны до зарезу, когда требуется затыкать дыру. А Киев—в уши к нам другими песнями. Что ж, мы — солдаты революции.

Ну, вот и добре, — нарком в этом не сомневался. А теперь к делу. Тут е и дислокация, и диспозиция — в двух словах. Восстание развернулось на отсюда, влево и вправо от Кенева, вот здесь примерно. Главная масса мяжников выдвинулась к Переяславлю. Точнее их силы, расположения и нарения не выяснены. К западу, район приднепровский не освещен и что там тается — не разведано. К востоку местность, по сведениям, спокойна, но строение неопределенное и общее состояние смутно. Гм... да. Короче, обновка отчетлива, как пять пальцев: — на юге восстание, на западе нередeленно, на востоке смутно.

Ясно ли мне теперь положение? Вполне. Стало быть, мне поручается квидировать мятеж и очистить от бандитов весь занятый ими район.

Вот и задача: Антоновскому стрелковому полку в походных колонк, подобрав животы, подтянув обмотки — форсированным маршем по икту прямо в лоб на Переяславль. Коннице — дивизиону мадьяр красногоых да полку червонного казачества из Борисполя — на чеку, по стрункe, сью, — боковой дорожкой на Рогозов и Ерковцы. Двум батальонам резерва Барышевки уступом за пехотой, — при полной боевой, шагать дружно, не давать. Артиллерия — по пятам за колоннами. Обозам — поджать хвосты.

Однако есть еще загвоздка: — автомобиль. Привык иметь под рукой о... На боевые линии без машины — никак нельзя. Мнется нарком. Как быть? машин здесь нету. Имеется только его личная машина. Не остаься же наркому без автомобиля?

— Что ж, товарищ комиссар... для пользы дела.

— Да ведь вы мне загубите ее!

— Как можно: ни в жисть! Вернется, чистая, как стеклышко, если ько не сломает себе шеи в какой-нибудь канаве.

— Ну, вот видите! — нарком смеется. — Ну, да уж так и быть.

Он дает мне свою машину.

— Но только гляди, парень, — отвечаешь за нее головой.

— Честь имею...

— Счастливой дороги. Желаю успеха!

Нарком напутствует меня:

— Но смотрите, уговор дороже денег; донесения мне регулярно в сроки. мните святые обязанности: связь и разведка.

С чего, собственно, следует здесь начинать? И по какому плану повести эту операцию? Мой образ действий рисовался мне в высшей степени неделенным. Пожалуй, только и оставалось, что упирать на здравую ку событий и вооружиться фатализмом и самоуверенностью — оружием завоевателей.

Итак, я вышел от наркома, скрепя сердце, с душой, меланхолически емленной на восток, а взглядами, — уже озабоченными, уже командирми, вонзающимися в сторону Переяславля.

3.

На третьей скорости, с клокотаньем и ревом машина вынесла нас на бугор. Широкий охват для взора: хороводились долинки и рощицы, за ними вдалеке серела, пестрила и путалась переяславская постройка. А за ней белесой синью — Днепр.

Над обозами первого разряда, над чернотелыми пушками клубилась молочная пыль. Сопели взмыленные лошади, шелестела и ложилась рожь под взмахами множества подошв и копыт. Роты вытаптывали напрямик, пропечатывали целину, развертывая на ходу колонны в боевой порядок. На линиях батальонов — стаи долгорылых «максимов» на низеньких колесиках мотались и прыгали по кочкам, словно таксы, учуявшие зверя.

Шли в наступление. Перед нами в трех верстах было зеленое логово, Переяславль. Наши безмятежно наступали. Противник смирнехонько сидел в своей норе.

Поэтому мы с удобством расположились на бугре и наблюдали мирную панораму.

И вдруг увидали Черемисова, начальника левого боевого участка. Чесал ко мне полем на своей седой кобыле. Что там еще? Черемисов наклонился с седла, — бритый широкогрудый, с каплями пота на коричневой шее. Докладывал, сверкал зубами, дерзко уставившись маленькими острыми глазками. Он нащупал слабое место Зеленого — восточную окраину Переяславля. Там у бандитов никаких сил, даже сторожевку не выставили. Прикинувши в уме то и другое, Черемисов решил двинуть своих интернационалистов сторонкой, боком, с черного хода на восточную окраину. Одним словом, в обход.

Гм... в обход. Ну, что ж, можно и в обход. Это, пожалуй, недурная мысль. Следует поучить эту рвань хорошим манерам. Пусть они стягивают силы к лобовому удару, выпячивают брюхо. А мы невзначай закатим им сбоку, под самую селезенку.

Черемисова раздувает самоуверенность и алчная удаль. Он хочет нанести главный удар. Уж он им отслужит обедню, будьте разлюбезны! Однако тут же стоит и начальник главных сил, — он приходит в неистовство. Как так—главный удар? А на что Антоновский полк? Разве не антоновцы—главные силы? Он с большим негодованием отстаивает свое первородство. Но я урезониваю его. Погоди. А демонстрация — это тебе пустячки? Ну-ка сумей так продемонстрировать, чтобы притянуть на себя всего противника! Тут и нужны главные силы — приковать врага. А мы тем временем сбоку, внезапно, обрушимся на него. Маневр, — это, брат, большое дело.

— Вали, товарищ, двигай в обход. Благословляю.

Но вот артиллерия начинала меня беспокоить. Она вела себя подозрительно скромно. Не только ни разу не попыталась взять на себя функций высшего командования, но даже не пред'явила мне требований на тройной комплект летнего и зимнего обмундирования. Почему артиллерия не подает признаков жизни? Чем это она занимается? Я призвал к себе командира артдивизиона.

— Ну, артиллерия! По какой причине вас не видно—не слышно? Вы ı чего существуете? Мух ловить?

Комдив кротко об'яснил положение.

Оказывается, его держал в черном теле начальник главных сил. Он в два ›та подчинил себе артиллерию (разумеется, совершенно самовольно), ре- ıı использовать наличие сильной артиллерии для облегчения своей пехоты. ким путем? Разделил свой участок на два: один, «пехотный участок», за- ı стрелками; другой, «артиллерийский», заполнил артиллерией. Притом же чальник главных сил не давал пикнуть артиллеристам. Сам выбирал им зиции, расставлял орудия, намечал цели.

Короче, артиллерист вылил передо мною всю горечь души, целое море.

Чорт подери... Никогда в жизни не слышал о таком способе применения иллерии на пехотной позиции. Это—идея, убей меня гром! Итак, артил- ия займет свой участок. Орудия обстреляют наступающего противника. контр-атаку поскачут передки и зарядные ящики?

Подобный эксперимент меня не соблазнял. Нам некогда было заниматься юраторными опытами. Первым делом я освободил артдивизион из кабалы. рое — предоставил самим артиллеристам выбирать позиции, где угодно, и ıечать цели, какие им приглянутся. Третье — дал задачу: как только ıам знак, Переяславль — в щепы! Понятно!?

— Понимаю, товарищ командующий. Будет исполнено!

Артиллерист повеселел и козлом поскакал к своему стаду.

Наша пехота в черные ниточки сучила густоту колонн, разматывала елковые цепи. Ротные — перед строем своих рот. В середине батальонов — ıбаты со своими военкомами. Командир полковой, окруженный ординар- ıи, зорким глазом прострачивал весь фронт полка, сковывал взором, уздывал волей, струнил крепкой, как железо, командой.

Дозорные цепочки впереди высыпали четками по янтарным косогорам. ı редкие выстрелы крошили хрусталь тишины — это бандитские заставы одили на своих, не принимая боя. Их не тянуло на беседу с нами, нет, наш ıк не был им по душе.

Влево, где поросшие холмы зазубрили край неба, за вставшей дыбом нотой лесов, — невидимый — наш артиллерийский участок: трехдюймовые ıаны притаились тихохонько под буграми, выпятив железные кадыки. Еще ıй, версты за три, обходные наши части, интернациональный батальон расными курсантами, пробирались в тыл бандитам, шуршали во ржи: ки — на макушке, глаза в затылке, ружья на боевом взводе. Им начи- ь: — подобраться невидимкой, тигром подползти к самым пяткам зеле- . А когда шрапнель пробарабанит по переяславским крышам, — обру- ься на тылы, свалиться кирпичем на бандитский затылок, испортить гроение.

— Смотри-ка, — рассуждал кто-то, — как бы, холера, не сиганул там болотами. Разрыв там, смычки нету, разошлись пехота с конницей.

— Небось, не сиганет, там залегли наши секреты с пулеметами. Никуда ійдет по болотам, разве только в трясину — гнить на торф.

4.

Полдень.

Наводчики у орудий, прицелы поставлены — прямо по зеленой мишени — огонь! Я спускаю горластую свору: ату, мои собачки! — Зарычали, зарявкали шрапнельными языками, забрызгали железной слюной. Только шерсть летит от толсторожих. Лезь в подвалы, кулацкая туша...

Тотчас же эхом издали частушка пулеметов: это обходные части пожаловали незваными гостями на чашку бандитского чая. На ура, очертя голову, саранчей на зады Переяславля! — Пошла кутерьма.

А теперь: главные силы — вперед, антоновцы — шире шаг! Бегом кроют под огнем две версты и наваливаются по всему фронту. Еще раскаты гранатных разрывов гудят в улицах, — а уже красноармейские значки густо вызвездили на окраине.

Антоновцы — по-всегдашнему, на пролом, медвежьей повадкой, молча и деловито, как у заводских станков, затаптывают вражий муравейник и загоняют Зеленого в глубокую излучину Днепра — в капкан водяной, откуда нет выхода.

А конница с севера, смаху, через болота и балки: молнией шашек в ошалелые глаза, конскою грудью в ревущее мясо, граблями железными подков по зеленому бурьяну, и—в Днепр его, под кручу, на дно, туда, где тина да раки.

Трубач отряда играл сбор на площади: — Тра-ра-рам, тра-ра-рам, трам-та-там. Бойцы, уставшие и покрытые пылью, плелись вереницами из всех улиц. Повозки жались под хаты, в тень. Отдых! Ружья в козлы, усталые спины в траву, челюсти готовы к действию: походные кухни уже кипят и плещут мясным ароматом.

В исполкоме собрались советские люди, коммунисты местные, уцелевшие от разгрома. Рассказывали нам про то, как благословило их кулацкое воскресенье, как гуляла остервенелая сволочь и как Зеленый ловко обставил нас и вывернулся из ловушки. Так-таки и выскочил сухим из воды. Ребята слушали и с досады дергали себя за чубы.

Ясно, что осведомление у бандитов — лучше не надо. У нас только чихнут — а Зеленому тотчас доложено. Мы — в поход, и Зеленый — не будь дурак — во-свояси. Вчера весь день и всю ночь перетаскивался на тот берег, захватив все паромы, барки и прочую посуду, какая только случилась в окрестностях. Ушел со всей головкой, оставив здесь отбиваться и прикрывать отступление самый отпетый сброд, — его-то мы и пришибли тут наглухо. Собственно говоря, в результате этой операции мы уничтожили только арьергард Зеленого. Главное же ядро беспрепятственно перевалилось за Днепр. Гнездо прикрыли, — да птичка упорхнула, вот что.

Однако горевать было лишнее, смущаться не полагалось. И мы хранили невозмутимый вид: все это, мол, нам известно и предусмотрено, — не миновать атаману веревки. Самое главное — не зевать, время на вес золота. Товарищи командиры собрались ко мне обсудить положение. Тут же, у ограды поповского дома, на скамеечке открылся походный совет. Командиры и военкомы частей представлялись мне и занимали места.

— А это кто?

— Это уполномоченный наркомвоена товарищ Рудалев.

— Какой там еще уполномоченный? К чертям полномочия! Тут есть дело посерьезнее.

— Назначаю вас своим начальником штаба, товарищ уполномоченный.

А сам впился взглядом прямо в душу.

— Слушаю, товарищ командующий!

Он тотчас же и вступил в исполнение своих обязанностей. А где же штаб? А штаб вот: — Кузьма Чакан верхом на Коросте, со складной пишущей машинкой в футляре и с пуком топографических карт, приторочеными к седлу.

Вскоре начальник штаба выволок из толпы рябого, скуластого, узкоглазого дылду и представил мне на утверждение: — это будет начальник оперативной части. — Великолепно! А писарей и ад'ютантов сколько хочешь: бери любого.

Вот штаб и укомплектован — строчи приказы, канцелярия! Карту — прямо в дорожную пыль: долговязый начоперод глубокомысленно водил по рубежам черным ногтем.

Военный совет — без лишних слов. Один только Хорват, начальник кавалерии, ударился в стратегию, — начал разглагольствовать насчет того, имеется ли у нас план кампании? Притом он изрекал свое сомнение в такой выразительной редакции, которую не выдержит никакой линотип. Оппозиция для меня неожиданная.

Да, план... План, несомненно, должен быть. Для чего же существуют штабы и начальники таковых? Я взглянул сомнительно на начальника штаба. Начштаб ответил мне меланхолическим взглядом. Видимо, он хотел сказать, что мне и книги в руки.

План, во всяком случае, должен быть замечательно прост. Чем проще план, тем победоносней выполнение.

— А я так думаю, — вмешался Кузьма, — вдарить на них, а там видно будет.

В конце концов план Кузьмы идеально прост и вполне отвечает обстановке.

Решили: ночью — отдыхать; на рассвете начать переправу. Конница ниже по течению добывает паромы, форсирует Днепр и — на Зеленку, наперерез противнику. Пехота налегке, без обозов садится на боевые суда днепровской флотилии (ждем ночью из Канева), плывет в Трактомир, где и вытряхивается, как снег на голову, на бандитский лагерь.

Ровно в четыре утра всем до единого быть на переправах. Ни минуты опоздания. Ни одного отсталого.

5.

Опоздание получилось, и не малое. Все утро и половину дня проболтались, — конница с добыванием паромов, пехота в ожидании кораблей. Два боевых судна из Канева подошли, это верно, — но когда! и какой вместимо-

сти! — такой, что только половина людей втиснулась, да и то, как сельди в банку. С рассвета и до полдня мы — на берегу, воткнув взоры в даль, бормоча ругательства, ерзая в досаде, кипя в жадном нетерпении, — ждем. А потом—бешеная посадка войск, рекордная переправа на всех парах. Железные посудины вскачь по волнам. Ревут топки, орут рты, — под большим давлением и души, и котлы.

В Трактомире ребята горохом высыпали с пароходов, разминали плечи, нюхали воздух, топотали и ржали, как застоявшиеся кони.

Командиры наспех перекликали людей. Роты тут же на берегу строились в резервные колонны; ружья в козлы; сторожевое охранение — как в уставе; вперед и в стороны разведка на конях и пешком. Смотри в оба: — кругом бандиты, всюду зеленые.

— Чего там тыкать пальцем в пустой след? Лови листья в поле: — так и стал дожидать тебя Зеленый. Его, что ль, поймаешь? Не таковский. Небось уж верст за сорок маханул.

Это какой-то скептик пытается анализировать положение, за что и получает по затылку от соседей:

— Заткни отверстие, пустомеля! Застегни матню!

— Чего каркаешь?

— Тебя, умника, только и не спросили.

Однако я про себя замечаю, что скептик-то, пожалуй, не дурак: обстановка спокойна не спроста, в поле — никакого движения, бандитов и след простыл.

— Чтоб на вас холеру, — бормочет Кузьма. — Тоже кавалерией прозываются... С утра в разведке, — а донесения где? ординарцы? Сметану жрут по халупам, сучьи дети...

Только конники легки на помине: не успел сказать, как вот и они. Два ординарца-казака выскочили наметом из балки, осаживая запыленных коней.

Начальника головного отряда — донесение! Выследил, настиг, вошел в соприкосновение, прилип к Зеленому, как банный лист.

Сведения о противнике: банды ночью, не задерживаясь в хуторах, двигались по тракту вдоль Днепра на северо-запад; в два часа дня достигли Ржищева, где имеют привал; держат сильное охранение на линии от Кривой Корчмы до берега; ведут глубокую разведку в сторону Киева; пополняются всякими отбросами и рванью из окрестных сел и хуторов; по показаниям жителей, проявляют беспокойство и нервность и мобилизуют обывательский обоз.

Так. Отаманское сердце неспокойно. Расстроены кулацкие нервы. Им не по себе, запасаются обывательским обозом, намерены драть во все лопатки.

Ловкачи-зеленовцы! Как быть? Мы недовольны их поведением. Не хотят подставлять свои ребра, ускользают. А нам во что бы то ни стало нужен бой, хороший бой, добрая свалка, так, чтобы клочьями мясо полетело.

Отсюда наша стратегия: — не мешкать. Красные батальоны — в поход! Кавалерийскому начальнику полевой запиской предписывается: бросить кон-

ницу на Кагарлык, наперерез противнику. Боевым судам двинуться полным ходом прямо на Ржищев и атаковать с реки, угостить из всех орудий, картечью в упор. Тем часом колонне главных сил немедленно сниматься и, правое плечо вперед, — по горячему следу.

На закате обнаружили неприятельские охранения по гребню балки и в зарослях по береговым кручам. Гигантский сегмент — десятиверстная дуга заросших холмов унизана бандитами, вздыбилась железом, готова встретить нас жестоким огнем. Наши раз'езды спешились, коней в кусты, сами в песок.

Первый акт, нащупывание врага, ленивая ружейная перестрелка. Свинцовые комары попискивали над головами. Между тем пехота подтягивалась к укрытым местам, перестраивалась, спешно разбирала патроны, и пустые двуколки вскачь уходили назад. Еще напутственное слово начальникам частей, цыгарки докурены до зубов, — действуй, пехота! Наши батальоны, разгоряченные движением, с ходу вломились в самую сферу огня.

Первая линия — редкие цепи стрелков с дюжиной пулеметов на крыльях. Справа идет поддержка — красноголовые спешенные мадьяры алым ожерельем вплелись в бурьяны. А за ними, за правым флангом — безмолвный, подобравшийся, комом железным, наш общий резерв, — Антоновский полк.

Зеленый бешено уперся, закопался в своих зарослях, не собьешь. Зря выскакивают наши цепи: пулеметы с той стороны мигом укладывают в траву. В лоб противник не дается,—слово за маневром: двигаем в обход правое крыло.

Ползком, перебежкой, по-змеиному загибают мадьяры и курсанты правый край. Охватывают противника, уже охватили, уже обошли и — нарезались: на огневую засаду напоролся правый фланг. Справа по зарослям зашумело железным ветром, пулеметным говорком застрекотали овраги, вдоль по лощинам прожгло фланкирующим огнем, — как ладонью смахнуло первую линию курсантов.

Вижу: курсанты отползают группами, подались мадьяры, ломается стрелковая линия, покачнулся весь порядок. А на склонах, где зеленые, — уже вычернели угрожающе их ватаги. Сейчас ударят на смешавшиеся наши ряды, сомнут — и конец!

И вот тут-то через головы противника докатился долгий удар. Издали, от Днепра глухой икотой икнуло стальное чрево. И сердца вздрогнули: наша судовая артиллерия!

В бинокль видно: остановились, смешались, колеблются неприятельские ряды. Остановились, колеблются и наши. Миг — роковой. Чья жила ослабнет прежде, кто первым повернет оглобли?

Но в это время неожиданно выступил на первый план командир антоновцев. Коротко и ясно: артиллерийский взвод с холма прямой наводкой залпами по наступающим! Конница — на-конь, рассыпным строем в охват банды слева! Главные силы, ружья наперевес, беглым шагом сквозь пшеничное поле!

Здорово! А мне чем заняться? Для чего существует командующий отрядом? Вот это инициатива, будь я проклят! Дорогой товарищ! вы вылезли за пределы вашей компетенции. Прямой подрыв командного авторитета.

Антоновец добродушно осклабился: ну, что там! Все идет в общий котел нашей победы.

Он покровительственно хлопнул меня по плечу. Впрочем, против его мер возражать не приходилось: все было правильно, антоновец скомандовал на пять с плюсом. Мне только и оставалось повторить с важным видом его команду, отдать задним числом соответствующие приказы, поддержать престиж командующего.

Тотчас же свежие силы, общий наш резерв появился сбоку, вылез из хлебов и быстро развернулся за крылом Зеленого. Стой! Командиры — вперед! Первым выскочил антоновский комбат 2, черный, сутулый, огромный, как буйвол. А вслед за ним дрогнул, встал густым частоколом, взвыл по-звериному и рванул вперед — весь отряд.

В сумерках охмелевшие, растерзанные, обезноженные бойцы ковыляли к батальонным повозкам. Косынки сестер белыми птицами порхали над пшеницей. В крайней хате телефонисты ладили аппараты. Уже потащился провод во тьму, назад, к недремлющим центрам.

Шло донесение: банды разбиты на-голову, — бегут на запад, пользуясь темнотой. Ржищев в наших руках.

6.

Подсчитаем—сколько рабочей крови стоила нынешняя забава господ демократов. Сколько убитых — раненых — пропавших без вести? Обнявших мать-землицу измозоленными руками? Зарывшихся корявыми лицами в черные борозды? На твоей шкуре запишем эти цифры, подлое кулачье!

Хриплый голос во дворе:

— Здесь штаб? Эстафета!

Начальник штаба вскочил, как подстреленный.

Ага! давай сюда живо! Этого мы и ждем.

Поспешно распечатываем пакет и узнаем: опоздала наша кавалерия перерезать путь бандитский; проворонила, прозевала лакомый кусок.

Зеленый раньше нас поспел, без боя занял Кагарлык, разогнал небольшой гарнизон и закуралесил по хуторам и местечкам далее на юг.

Промямлить, развесить губы, пропустить под самым носом! О губошлепы! А штаб для чего? где связь? что за руководство? Все головой отвечают!

Теперь на простор вышел Зеленый. Пути ему на все четыре стороны. Что на восток, через Блощины и Езерное, что на юг, через Ольшаницу и Кошевату, — все едино: перемахнет железнодорожную фастовскую ветку .. ударится прямо на Гайсин, на соединение с петлюровской гайдамачиной.

Теперь его не перенять никак; хотя и бронепоездами городи фастовскую ветку. Что толку? — сторонкой, ужом проскользнет Зеленый—и был таков. Нет гибкости в бронепоездах, их маневр к рельсам привязан, прямолинейная штука.

Остается — играть на скорость, брать измором матерого зверя, травить волчью породу.

Всем войскам — пять часов спать и с зарей быть на ногах. Обозы сократить до предела. Оставляем при себе только боевые припасы да провианта на два дня. Всю остальную рухлядь — назад и грузить на суда. Авангарду придаем взвод артиллерии при усиленной запряжке. Со сборных пунктов выступаем в три часа утра.

Мрачный, мокрый, как крыса, до глаз в грязи, ввалился из-под дождя начальник штаба. Докладывает, хмурится,—и мы все опускаем руки; что такое? Войска утомлены на-смерть. Трое суток этаких дьявольских переходов, и все с боем, — люди измотались, лошади набиты и без ног, повозки расхлябались, обоз терпит аварии на каждом ухабе.

— Так. Дальше что?

Начальник штаба отрезал в упор:

— Выступать с рассветом немыслимо. Бойцы не пройдут и пяти верст. Все равно станем в пути, лучше и совсем не двигаться.

Молчу, опускаю отяжелевшие веки, проглатываю холодный трепет сердца.

— Хорошо. Немедленно мобилизовать всех крестьянских лошадей. Всех бойцов посадить на подводы. В каждое орудие по два лишних уноса. Негодные повозки заменить.

Начальник штаба пожал плечами: вещь безнадежная. Во всем селе не осталось ни одной подводы: все увел Зеленый.

— Я говорю: к трем часам утра—триста подвод на сборный пункт. Нет в селе — мобилизовать во всем уезде. Первое: начальнику кавалерии в Кагарлыке приказать по телефону немедленно двигаться вперед, и по пути следования заготовлять подводы для всего отряда. Второе: собрать из частей всех, у кого есть лошадь и кто может держаться на седле, и тотчас же выслать в окрестные хутора и деревни отряды конные и на подводах для мобилизации транспорта.

... Свинцом наливались веки. Дремотой набухали мозги. Но — спать было нельзя: ждал телефонной связи с высшим командованием. Мой начсвязи несколько часов корпел над аппаратом, упорно, однообразно, как маньяк, выстукивая кабалистическую дробь. В пространство, к центрам, к организующим силам взывал сухой речитатив телеграфного ключа.

Два тире точка-тире-точка. Таак — так-так-так — таак. МРН. МРН. Два тире точка-тире-точка. Звали станцию Мироновка. Искали поезд наркомвоена.

Вспыхнула и замигала лампочка приемного аппарата. Чуть заметно шевелился ключ, а на ленту с жужжанием ложился черный пунктир: безмолвный ответ плыл к нам из неведомых сфер.

— Вы где?

— Я — Ржищев. А вы?

— Мироновка. Кого зовете?

— Вас. Дайте поезд наркома.

— Сию. Кто просит? Кто про-сит? давайте реже, не получается. Ага! Сию, сию.

— Поезд наркома есть. Зовите.

Зовем. НРК. НРК. Тире-точка-точка-тире-точка.

— Я — штаб НРК. Что надо?

— Я — Ржищев. Я — командующий отрядом. Прошу к аппарату начальника штаба наркома.

Вот начальник штаба у аппарата.

Телеграфист каменным изваянием, только кисть руки клюет рукоять с неуловимой быстротой. Частит, спешит, захлебывается исступленной трелью телеграфный ключ. Докладываю положение: потерь столько-то; трофеи такие-то; сведения о противнике; сведения о наших войсках; банды движутся мимо вас, угрожают Фастовской ветке; прошу выдвинуть бронепоезда и дессанты в эшелонах на участок Белая Церковь — Мироновка и встретить гостей. Все.

7.

Вот когда началась скачка с препятствиями в течение двух недель. Замечательный бег в перегонки, не занесенный ни в какие анналы, неизвестный в летописях гражданской войны, тем не менее представляющийся мне теперь в довольно эпическом свете.

Шляхом прокаленным, сыпучим сухоземом, колыша горячую пыль столбами, с поспешным скрипом колес неслась лавина тысячеголовая—люди, лошади, орудия, повозки. Повозки, повозки—бесконечной змеей от горизонта к горизонту. Красноармейцы, как груши ветку, густо обсыпали каждую подводу. По обе стороны конные маячили по равнине. С гомоном, руганью, конским ржанием, колесным визгом валил на юг наш караван.

Зеленый уходил, а мы за ним по пятам. Наша кавалерия колченогая, на разбитых лошадях хромала за ним неотступно. За кавалерией следом пехотные части маршировали из последних сил, стиснув зубы, стянув пояса. Травили матерых волков, гнали бандита.

Зеленый уходил, используя обывательский обоз. У него было преимущество: он двигался впереди. И заметал все конские средства по пути, нам оставались только безногие клячи да арбы без колес. И то было небольшой бедой. Тиграми рыскали по сторонам, обшаривали окрестности; из-под земли откапывали кулацкий транспорт.

Они были с Зеленым заодно, эти почтенные владельцы окованных железом бричек и некованых гладких коней. Хозяева высоких хат и широких полей были заодно с Зеленым — против нас. Собственнический мир дышал с Зеленым одним духом. Обывательская стихия клубилась вокруг нас злобным маревом. И то было невеликим горем: глинобитные бастионы возводила мужицкая анархия, саманной была бандитская стена, а Красная армия била в нее железным кулаком организации.

Мы проходили молчаливым краем. Переяславль, Канев, Тараща, Золотоноша, фабрики бандитизма, сцена, на которой только что подвизался Зеленый, — и здесь никто ничего не знал! Тут все были невинней недоношенного младенца и менее осведомлены, чем пень в лесу. Зеленый? О таком

слыхом не слыхали. Банды? Таковых отродясь не бывало. Они ничего не онимали, никого не видали, ни о чем не слышали. Тупое выражение, уклон-вый взгляд, лукавая, быстрая, как молния, усмешка. Режь на куски,—ничего вырежешь.

Темный лес кулачества, лохматые мужицкие джунгли, — вот арена на-его состязания на скорость. Лес — непроницаемый, джунгли — непрохо-мы и непролазны. Чернозем обступил нас, облепил со всех сторон, мы эли в этой жирной кулацкой почве.

Снаружи—мирный вишневый рай, пейзанское благодушие, тишь и сон еди белых хаток, дивчата за плетнями, волы у скрипучих журавлей. Все о был один маскарад, — не больше. За декорациями таилось нечто такое, о слабо походило на селянскую идиллию. Скользкое тело бандитизма — т что извивалось за кулисами малороссийской оперы. Обрез и ручная бомба ятались под спидницей украинской красавицы.

Лица мужиков были угрюмы и замкнуты. Что-то мало приятное пред-щалось этой злобной предупредительностью, ледяным хлебосольством, за-дочными усмешками, низкими поклонами, тупой неразговорчивостью. Му-цкая бессловесность говорила довольно выразительно... Кулацкое госте-иимство отдавало поножовщиной и гарью пожара.

А рядом — батраки, бобыли, безлошадники осторожно поднимали го-вы с нашим приходом. Молодые хлопцы скрытно, втихомолку собирались нашим повозкам. Но таких было маловато: в советские полки, в красные ртизаны, в большевики, под знамя коммуны ушло незаможное селянство. асный фронт высосал из деревни сок революции. Гражданская война опу-эшила бедняцкие хаты. Не очень много советских голов осталось на селе — иницы. И тем пришлось втянуться в плечи. Свои парни позалазили, как раканы, в щели, нахлобучив шапки, прикусив языки, ни гу-гу. Даже ки-гок нашего появления не вышпарил их оттуда, не развязал языков и рук. и пришли — и уходим, а зеленое кулачество остается. Над бедняцкими генками и семьями висел топор бандитского самосуда.

Хлопцы служили нам, чем могли: раскрывали тайны деревни, разобла-и бандитов, помогали очистить захолустье от наиболее зловредной ком-ии. Жестокая метла возмездия проходила по кулацкому мусору.

Задерживаться нам было недосуг. Зеленый не ждал нас, старался уйти под наших ударов и соединиться с петлюровскими силами. Он двигался невероятной быстротой, иногда останавливаясь, как дикий кабан, пресле-мый гончими, и свирепо огрызался, рвал клыками красноармейское мясо. успевал мимоходом опустошать винокуренные и сахарные заводы, раивал на бегу грандиозные оргии, пьяные дебоши на всю округу, поваль-пиры с участием всего населения, старых и малых.

Много раз казалось, что мы уже настигли банды, обошли, окружили. звернуться, ударить—и дело в шляпе. Но Зеленый в один миг выворачи-ся, как змей, проскальзывал между наших растопыренных пальцев, делал ленный скачек—и уже снова за пятьдесят верст впереди. Наше терпение ощалось, силы также. Бессонница, чрезмерное длительное бодрствование.

настоящий кошмар сонливости — вещь, которая изнуряет и сушит тело. Бойцов изматывал этот сумасшедший марш без сна в течение многих дней. Мчались по инерции, дремали на ходу, не чуя собственных ног. Поздно вечером сваливались бревнами на ночлеге, мгновенно проваливались в черные пропасти сна. А через несколько часов снова качались лунатиками по темным дорогам — как будто и не было этого маленького сонного антракта.

Лечь! слепить веки! вдавить глаза! Оцепенеть в благостном покое! Протянуть ноги и замереть всем существом — что может быть желанней для человека? Да как бы не так. Бандитский магнит тащил нас безостановочно за собою.

Зеленый стремился на запад, под петлюровское крыло. В один прекрасный вечер банды перемахнули-таки через железнодорожную линию Белая Церковь—Мироновка, как я и предвидел. Подкрались к полотну, разнюхали положение наших бронепоездов, высмотрели укромное дефиле—и готово, поминай, как звали! Броневик едва успел заметить хвост банды, мелькнувший через линию.

Через два часа после того, как Зеленый раскланялся с бронепоездом, наша мадьярская кавалерия тоже была уже на железной дороге. Мадьяры видели на багровом щите заката пыль, поднятую кулацким обозом. А на рассвете разведка донесла, что банды на расстоянии дневного перехода; в полночь прошли через Богуслав.

А мы спешили к Богуславу — надеялись там предупредить Зеленого, преградить ему дорогу на запад, оттеснить на Канев, прижать к Днепру. Здесь, под Богуславом, в отряде снова затянули старую песню, какую пробовали запевать на днепровской переправе: даром бьем пятки! понапрасну изматываемся! ушел Зеленый! Пусть его другие перенимают, на нашу долю достаточно, будет, повозились в свое удовольствие. У нас, дома, на Черниговщине, на Десне, в нежинских болотах хватит своей контр-революции, своя гидра подняла голову. Требуем отправления домой на защиту завоеваний мировой пролетарской революции!

Червонные казаки прислали ко мне депутацию: взять меня в охапку и доставить к ним на полковой митинг. Я почувствовал себя не в своей тарелке. Рецидив восемнадцатого года. Это нужно было пресечь в корне.

Поздним вечером, во мраке, на поляне собрался полк. Это был оригинальный митинг: громадная толпа всадников стояла тесно, прижав стремя к стремени. Лошади фыркали в темноте, били подковами в землю, аккомпанируя оратору. Я в'ехал в середину толпы, уселся поудобнее в седле и начал доклад о текущем моменте, продналоге, национальной политике, германской революции, международном положении. Напряг все свои ораторские силы, работал языком без устали два часа, подавил их водопадом своего красноречия. Аудитория угрюмо и молча слушала, казаки вздыхали, лошади тоже. Бойцы нетерпеливо ерзали в седлах, обескураженные такой постановкой вопроса. Они собрались обсудить целесообразность дальнейшего похода, которому конца-краю не предвиделось, а тут — продналог да германская революция...

Заключив свою речь полдюжиной воодушевляющих лозунгов, я тотчас ;, не передыхая, предложил резолюцию — хорошую боевую резолюцию. о за? Кто против? Воздержавшихся? Принята единогласно!

Затем, я об'явил во всеобщее сведение, что никаких вопросов и за-іений, относящихся к области командования, не принимаю. Вести перего-ры с такой массой не буду. Ежели полк имеет что-нибудь ко мне, пусть целит представителей, с которыми мы и обсудим все, подлежащее обсу-ению. Я протискался прочь и выехал на дорогу с двумя сопровождающими ня курсантами.

Сюда же явились и представители полка, с которыми у меня вышел ень короткий разговор. Полк требовал отпустить его домой в Прилуки і ремонтирования конского состава. Что, в Прилуки? Во-первых, мне юдлинно известно, что в Прилуках никаких конских средств, кроме во-юзных кляч, не осталось. Во-вторых, отсюда до Прилук дальше чем до юй гайдамацкой ставки, каковая является целью нашего похода. В-третьих, этивник находится прямо перед нами, а показать спину противнику, это нашем ссветском языке называется дезертирством и шкурничеством. Они спешили сделать заезд правым плечом и убрались к своим, понурив го-ы и бормоча что-то невнятное.

8.

Затем я потерял Антоновский полк. Антоновцы давно уже домогались вращения в Киев, угнетали меня своими необоснованными требованиями, ланили на всех стоянках, слали петиции в штаб фронта, громили теле-ммами свой местный уком. В конце концов снарядили посольство в нар-ивоен, и оттуда пришел приказ: Антоновский полк вернуть назад. Взамен оновцев я получил нежинский коммунистический батальон и два ба-ьона партизан пятого полка.

Мы продолжали бешеный поход по местности, населенной евреями. стечки лежали в пепелищах, полуразгромленные, истекающие кровью, давленные нечеловеческим ужасом. Много раз проходила по этим местах ютина войны, белые приходили и уходили, — и каждый раз после них авались тлеющие развалины, трупы изнасилованных и замученных, смерть каждой еврейской крышей.

Жители робко высыпали на улицу при нашем появлении, жались оих крылечек. Сгорбленные старухи смотрели на нас потухшими глазами. і уже ни на что не надеялись и были готовы к бесконечным мукам. Знали, вслед за нами придут кровожадные хищники, звери с оскаленными зу-и, которым нужно готовить порцию корма из человечины, дежурное до из человеческого мяса и крови.

В местечке Жидовская-Гребля я решил стать на отдых. Отряд израсхо-ил последнюю каплю сил, лошади дальше не шли, конница потеряла глав-кавалерийское свойство — подвижность, артиллерия не могла поспеть е за пехотой. Здесь ко мне явилась депутация от нежинцев, они тре-іли отправить их для пополнения в Киев, поближе к центру.

Нежинская депутация выскочила без памяти из моей ставки.

Но в это время нежинцам пришлось выбросить из головы свои центробежные фантазии, и всем нам пришлось забыть об отдыхе: Зеленый вдруг остановился с очевидным намерением дать нам серьезный отпор. У местечка Ставище на Гнилом-Тикиче наши передовые схватились с бандитскими заставами. По сведениям от жителей Зеленый разгромил ставищенский винокуренный завод, и в Ставище шумело разливное море. Банды пировали в компании со всем окрестным кулачеством вокруг бочек с зеленым вином на улицах и площадях местечка.

Зеленый получил подкрепление: бандиты со всего уезда, все белогвардейские элементы, кулаки, интеллигенты и попы стянулись под разбойничье знамя. Вот откуда его дерзкое желание сразиться с нами. Он уже почувствовал себя достаточно сильным для такого противника.

Отряд поднял задолго до рассвета свою отяжелевшую массу и двинулся на Ставище. Бойцы шли, точно в полусне, качаясь, клевали на ходу носом, скользили по грязи в темноте. И лошади плелись, понурясь, нога за ногу. Ночью прошел продолжительный дождь, размыл почву,—колеса орудий и повозок вязли по ступицу в грязи.

К девяти часам положение на фронте складывалось в нашу пользу: мадьяры заняли лесок к югу от Ставищ и укрепились на опушке. Стрелки пятого полка оттеснили бандитов и вышли на склон, отлого нисходящий к Ставищу; перед ними по всему фронту простиралось отличное поле обстрела до самых садов местечка. Нежинцы продвинулись до шоссе, идущего на север к уездному центру,—шоссе оказывалось под нашим контролем. Артиллерия уже стояла на позициях, ежесекундно готовая открыть огонь.

А в девять часов полевой телефон принес сообщение, что Нежинский батальон поспешно отступает к Жидовской Гребле. Мне так и не удалось выяснить, чем было вызвано это отступление. Начальник штаба остался у коммутатора, а меня автомобиль понес по жидкой трясине навстречу нежинцам. Моя машина смело пустилась в это каботажное плавание по морю грязи, и вполне оценил ее геройскую решимость и бросил ее только после того, как она окончательно и бесповоротно пошла ко дну в одной из ложбин.

Здесь меня догнал ординарец с моим конем в поводу, выехавший следом на всякий случай. Вскоре я увидел на горизонте нежинцев — тянулись совершенно беспорядочно по верхней дороге, за широкой балкой, в устье которой лежит Ставище. Кучками, темной вереницей отчетливо рисовались на бледном небе, — они двигались на Жидовскую Греблю.

Напрасно было и пробовать выйти им наперерез по рыхлым бороздам. Конь оступался на каждом шагу, с усилиями переставляя ноги, он двигался таким черепашьим шагом, что пришлось оставить всякую надежду перенять нежинцев. Я погнал с быстротой, на какую только была способна моя лошадь, вперед, на выстрелы, к расположению пятого полка.

Редкие удары пушечных выстрелов падали среди холмов. Наша артиллерия вступила в дело. Но когда я добрался до вершины возвышенностей, за

торыми шел бой, артиллерия уже замолчала. Отсюда, с горы, все поле сра-ения было как на ладони. Изломанная линия наших стрелков медленно рабкалась в гору, они отступали, отстреливались, прикрываясь огнем тя-елых пулеметов, которые волокли в интервалах рот.

Почему отступил пятый, было ясно: ведь нежинцы открыли его правый ланг и там уже висели бандиты. Очевидно, комполка 5 знал только один невр в предупреждение охвата: отступление всем полком.

С возвышенности мне было видно, что нужно было бы делать: одному тальону — залечь; другому сделать пол-оборота, подтянуться к ставищен-ой балке, устроиться на гребешке по ее краю, — все косогоры за балкой д нашим огнем. Эта мысль промелькнула впустую. Поздно! Я запоздал д'ехать сюда. Или пятый поторопился сняться с позиций. Момент был упу-н: стрелки миновали высоту балки, между нами и ею уже сидел противник, стреливая нас с фланга из ручных пулеметов.

Наши орудия резво уходили по дороге на восток, несмотря на вязкий унт и заморенность лошадей. Мадьяры тоже проявили неестественную звость, галопировали где-то верстах в пяти к югу и не собирались умень-ть аллюра, что чистосердечно поведал нам прибывший от них связной мвзвода.

Тем и кончился этот неудачный день, а вечер застал нас отступившими заранее приготовленные позиции, проще говоря — назад в Жидовскую еблю.

Всю ночь мы собирали крестьянские подводы, а с рассветом наша ко-нна вытянулась по дороге на Жашков. Зеленый был уже далеко; вечером сле боя банды торопливо двинулись дальше на юг. Для нас это не было жиданностью, мы не сомневались в таком исходе и были к нему готовы.

И еще пять дней, оцепенев в своем неистовом марше, в каком-то полу-еду, как самодвижущиеся машины, мы шли по следам Зеленого, не отставая е приближаясь. Наши ряды быстро редели. Сперва отбился от нас червоно-ачий полк: он-таки отправился в центр для укомплектования и ремонти-ания конского состава. Затем где-то по пути мы посеяли пятый полк.

И наконец-то мы увидали железную дорогу. Отряд ударился в дикое ование: отдых, подкрепления, бронепоезда, связь, настоящий фронт по м правилам! В районе Христиновки я принял в свое подчинение Сквирский тизанский полк: бешеная часть, неустрашимое войско, армия головорезов главе с Масловым, командиром зверского типа.

Зеленый стремился к Умани. Этот город, по сведениям, был уже занят дамаками, там и должно было произойти соединение зеленых с белыми. сть овладела нами в этот последний момент при виде добычи, готовой ользнуть от нас навсегда. Еще усилие, один прыжок, — и в горло зверю! юй все, что плохо движется! Тылы на стоянку, артиллерию по квартирам, инцев на отдых! Налегке, сжавшись в комок, сквирцы — беглым шагом, ные мадьяры — на рысях, вот как мы двинулись на Умань.

От Поташа до Умани, 20 верст, высунув языки, мчалась орава Маслова еререз Зеленому. Напрасно: летучей мышью бесшумно пролетела банда

анскими перелесками — ушла на петлюровскую сторону. На заре Маслов рвался в Умань. Гайдамаки в расстройстве без боя оставили город. Налет л вполне неожиданным для врага: гайдамацкий лазарет, битком набитый неными, так и не сдвинулся с места. Осталась вся на месте уманская бур-газия, которая успела уже опериться за несколько дней белогвардейского адычества. Всех их, точно куропаток, накрыл Маслов.

В полумраке по улицам прокатывалась гулкая ружейная пальба. Раз-эяченные партизаны залпами прочищали город вдоль и поперек...

Тем временем гайдамаки обложили город с трех сторон превосходными лами. Нам было самое время убираться оттуда по добру—по здорову.

В самом деле, мы слишком далеко выдались вперед. С трех сторон во-уг Умани по всему пространству уезда кишела петлюровская сила. В сущ-сти говоря, мы были уже в окружении, и, может быть, было нужно только роткое мгновение, чтобы сомкнулось кольцо. Поэтому сквирцам ничего не тавалось, как отходить к железной дороге, а вслед за ними, прикрывая их, тянулся мадьярский дивизион.

Обстановка была такова: деникинские полчища уже перевалили за епр выше Кременчуга и Черкас. Петлюровцы подходили вплотную к желез-дорожной линии Фастов—Казатин. Начальник южного сектора Пузырев дел неуверенно на ст. Казатин, не решаясь, что ему делать: оттянуть войска з боя к Белой Церкви, или принять бой на линии Христиновка—Казатин.

В Христиновке сосредоточивались все его наличные силы под командой пуловского. Этому товарищу я сдал Христиновский участок, а сам со оей группой передвинулся влево, на участок Верхнячка — Поташ.

9.

Тут разыгрался финал «зеленого» похода. Бандитский яд отравил по-еднюю минуту нашего отступления. Зеленая отрава замутила дух партизан этой последней борьбе за советский Киев.

Утром мне сообщили, что Нежинский отряд покинул позиции и собрался селе Добра, требуя отправления на отдых в Нежин. Я приехал в Добру вер-м с одним ординарцем, в тот момент, когда эта неурядица была уже ли-идирована: командир, товарищ К., собрал свой отряд на площади и убедил исполнить свой долг. Все было в порядке. Нежинцы готовились выйти на ои места. Я имел намерение об'ехать все расположение нашей группы.

Но затем к станции подлетел паровоз с открытой грузовой платформой, реполненной вооруженными людьми. Это был Маслов, командир партизан-ого полка, и с ним около сотни его молодцов.

Маслов, как будто не замечая меня и товарища К., с решительным и ожесточенным лицом подошел к строю нежинцев и сердито наорал на них за , что они, изменники и предатели, обнажили фланг его полка. Он разго-чался все больше с каждым выкриком и кончил тем, что выхватил револь-р и открыл стрельбу. Нежинцы, ошеломленные таким невиданным способом итации, в панике брызнули во все стороны. После того Маслов повернулся

быстрыми шагами подошел вплотную к моей лошади. Я вдруг увидел дуло револьвера, в упор на меня наведенное. Маслов потребовал, чтобы я слез лошади.

— Арестую тебя по постановлению полка, — прохрипел он сквозь /бы. — Сдать оружие.

Я вытаращил на него глаза, вдруг потеряв всякую способность понимать.

— Полк требует вас на суд, — сказал он более миролюбиво. — Потому, ік вы есть изменник революции и продались Петлюре...

— Слазь с коня, сволочь! — вдруг рявкнул он свирепо. — Сдавай оружие! Разговаривать с тобою... Продали нас, эсеровские гады!

Я, наконец, смог пошевелить языком и обратился к товарищу К.

— Командир отряда! Прошу вас оградить меня от пьяного хулиганства вашем участке. В вашем присутствии на вашего начальника нападают, а і стоите, разиня рот! Это что за дисциплина?

Товарищ К. был красен, как бурак, и совершенно огорошен этой сценой.

— Да вы отдайте ему оружие, товарищ начальник, — забормотал он, но не соображая того, что говорит, — пусть уж он успокоится. Не стоит ним связываться... Видите, — пьяная рожа. Сдайте оружие, только и всего.

— Сдавай оружие! — с новым пылом завопил Маслов. — Слазь с коня! і суд! к стене, гадов! Разгоним вашу эсеровскую шайку! Капуловских, зырєвых и прочих! Изменники, предатели! Продали нас!

— Кто вас купит? — сказал я со всей возможной беспечностью. — му такая шваль нужна?

— Знаем кто — Петлюра! — зарычал Маслов. — Слазь с коня — юлку поговорим. Ну!?

Вслед затем дважды грохнули выстрелы над моей головой: он стрелял мо — для острастки.

Я увидел себя вынужденным слезть с лошади. А пока спешивался — енил свои шансы и возможности поправить свое пошатнувшееся положение. знал, к чему поведет, если мне отдаться в руки Маслова. Знал, что значит — едстать, в качестве арестованного, перед полком. Всенародное судилище на оща;и, тысяча присяжных заседателей и приговор: веревка, штык в горло, ля в спину.

Я понимал, что Маслову была нужна не моя физическая личность, — он земился устранить меня и захватить командование боевым участком, соодая при этом некую формальную преемственность. С какой целью? Вот э было неясно. Это я понял впоследствии, когда узнал от Капуловского, о Маслов был подозреваем в самой настоящей измене, и дома его караули агенты ЧК с тем, чтобы арестовать при первом появлении.

Весь этот поток соображений пронесся в моем уме в течение одной миги. А в следующий момент я избрал прямую дорогу. Спустился с лошади и гал перед Масловым, одновременно расстегивая кобуру и доставая маузер. зможно, что эта пьяная голова приняла мой жест за желание сдать оружие. жет быть, в силу хмельной рассеянности, мое движение не сразу дошло до сознания. Во всяком случае он допустил мне сделать следующее: вскинуть

истолет и всадить заряд в грудь бандиту. На этом закончился бесшабашный асловский путь, здесь он сделал свой последний привал. Сторонники Маслова римчались в полк с воплями и проклятиями, и там поднялась буря. Целый энь митинговали, собирались итти штурмом на нежинский участок. Еще бы: едь они лишились своего батьки-командира.

На другой день полк в полном составе, со всеми командирами и «военомами» (там числились и такие!) бросил позиции, открыл фронт и отпраился к себе домой, в Сквиру. Это дезертирство сквирцев послужило как бы игналом: весь Христиновский участок фронта поднялся на ноги и хлынул а север. Отступление наше, понятно, не было следствием сигнала. Оно было редопределено соотношением сил наших и вражеских. Состояние нашего ронта было таково, что он должен был отступить немедленно. Это произошло бы в тот же самый момент, если бы даже Маслов был на месте—и никто е знает, в какую сторону он увлек бы своих партизан и соседние части хаосе отступления?

Гайдамаки назойливо подобрались уже к самой Христиановке. Железная орога отсюда до Фастова была вся под ударами петлюровцев. Передовые кавазские части Деникина появились в Богуславском районе, почти в нашем тылу. тход совершался в довольно тяжелых условиях. Мы пытались отступать на иев вдоль железной дороги, имея на колесах все свои материальные рессурсы.

Однако дошли только до станции Оратов. Дальше железнодорожный уть был уже в руках белых, нам приходилось оставить это дело и перейти грунтовую дорогу. Здесь, в Оратове, скопилось громадное количество агонов, груженых всяческим добром, и много пехоты, конницы, артиллеийских и иных частей.

Ночью в теплушке Пузырева мы устроили маленькое совещание на жиюю руку, наметили маршрут и порядок движения частей. Пузырев заставил еня принять командование этим марш-маневром. Хотя после конфликта партизанами я считал бы более тактичным устранить себя от командоания, но... раз начальство приказывает...

Части вытягивались друг за другом по тетиевскому тракту, в сопровождении громадных обозов,—мы брали с собою все, что мог поднять мобилизоанный нами транспорт. Но еще больше осталось в вагонах неразгруженных олоссальных богатств, которые мы не смели оставить врагу. Артиллерийские аипасы, мануфактура, мука, сахар, всевозможные продукты питания,—все о было обречено на уничтожение. Я возложил эту истребительную задачу мадьяр, которые остались последними на станции.

Кавалеристы взорвали мостик в двух верстах от станции, и затем в этот овал были пущены один за другим на полном ходу все груженые поезда. ы достигали двойной цели: не только лишали противника богатой добычи, основательно, надолго портили ему важную линию сообщений.

Темные эшелоны медленно отходили, люди спрыгивали с паровоза, и эта реченная масса, подожженная в разных местах, развивая все большую скорость, уносилась к месту своего торжественного погребения. Там пылал маленький кратер, кипящая воронка огня, адский крематорий, куда с ревом и

эхотом низвергались трупы поездов. Веер пламени и дыма взмахивал облакам: этот дымный факел освещал путь нашего отхода.

Мадьяры ревностно выполнили свое дело разрушения. Станцию мы оставили голой, как ладонь, опустошенной, выпотрошенной, наподобие бараньей ши. Белым придется вдоволь повозиться, прежде чем эта линия станет проскать их эшелоны. Мы смотрели с известным удовлетворением на работу их рук. Чистая работа. Ловкие руки.

Затем дивизион построился за вокзалом, собрал караулы, отсалютовал частной станции и двинулся справа по три, с пулеметными двуколками олове и хвосте.

Мы шли по следу отступающей колонны, — белому следу, сахарной доге, которая извивалась среди зеленых полей. Это наши обозы, нагруженные шками с сахаром, усыпали свой путь сахарным песочком.

Но мы знали, что вернемся. Мы уходили для того, чтобы прийти снова.

Мы отступали затем, чтобы подготовить свое возвращение. Мы отходили ia, где накапливались новые могучие силы для наступления, — в Киев, и ьше за Киев, за Чернигов, к тому ощетиненному сталью, незыблемому iy, который выставил навстречу врагу Советский мир.

От Христиновки и до Белой Церкви — край еврейских местечек. Мы авляли его за собой, и он уже трепетал. Он замер в предчувствии смерт- мук. Он знал, что мы совсем уходим, а вслед за нами — кровавый погром иконами и хоругвями, с попом во главе, под царским флагом.

Нам следовало торопиться для того, чтобы не остаться тут навсегда. ожидали ежечасно, что на севере сомкнется кольцо врага, такое кольцо, торого нам не прорвать. Какая была бы польза, если бы несколько тысяч цов погибло в этой западне? Вот почему мы двигались форсированным ишем и решили иметь до Белой Церкви не больше двух стоянок.

Мы ночевали в этих патриархальных местечках. Тетиев, Володарка, — енькие, ветхие городки, тихие, как болотная глубь; мы в один момент вращали их в становища скифов или цыганский табор. Дым наших кост- заволакивал улицы. От конского ржанья, скрипа колес, рева тысячи гло- тряслись стены. Уличное движение приобретало в нашем появлении цный стимул, мы давали размах общественности этому захолустному проанию.

А когда уходили — еврейство напутствовало нас добрыми пожеланиями. ни один не поднялся с наследственного гнезда и не ушел вместе с нами. ке такой кошмар, какой нависал над ними, — призрак кровавых избие- , — не мог разлучить их с насиженными гнездами. Они сидели, прилипнув воему скарбу, покорные, прямо-таки флегматичные, напоминая каких-то ашних животных, которых держат в загоне на убой. Они были от'явлен- и фаталистами, эти потомственные обыватели Тетиева и Володарки.

10.

Вблизи Белой Церкви, в конце второго перехода, на закате солнца я ал медленно ползущую колонну. Со мной было пятеро конных ординар-

цев. Штаб группы я покинул в Володарке на отдыхе, торопился в Белую Церковь захватить там идущие в разброд части от Таращи, Христиновки и Сквиры. Об этом беспокоился Пузырев, и мы шибко гнали коней.

Колонна вытянулась длинной кишкой по тракту, какая-то пехота устало шла вперемежку с обозом, волоча за собой густую пыль. Я беззаботно в'ехал в середину этого табора, — и тут вдруг раскрыл рот от неожиданности того, что мне представилось. Понял, какую промашку я дал: это двигался партизанский полк. Только тут, впутавшись в гущу повозок, я рассмотрел, что это были партизаны.

Они меня тотчас узнали, сотня глаз уставилась на меня, партизаны, облепившие повозки, пальцами указывали в мою сторону.

Я беспокойно огляделся, высматривая путь отступления, осадил коня, думал как-нибудь прошмыгнуть между телег. Впрочем, было уже поздно хлопотать — толпа конных окружила нас, я увидел пулемет, наведенный на меня с ближайшей повозки. Мои ординарцы мужественно бросились меня защищать, сомкнулись вокруг, поспешно снимая карабины, хотя по их лицам было видно, что они ни дьявола не понимали, что тут творится.

Какой-то чернявый парень, размахивая ручной гранатой, заявил мне, что я арестован.

— А вы — марш к бисову батьке! — заревел он на ординарцев. — Це не ваше дило. Полку треба с ним побалакать.

Всадники теснились вокруг, наставив на меня дула ружей. В одно мгновенье с меня содрали весь мой арсенал, я был лишен всех своих регалий, спешен и очутился лицом к лицу со стаей тигров в человеческом образе.

Я и не подумал на насилие отвечать силой. Мне казалось унизительным и роняющим мое командное достоинство барахтаться, махать руками и как-нибудь отбиваться. Физически я ничуть не сопротивлялся. Но я сопротивлялся словесно, об'явил их бандитами, бунтовщиками и вне закона, грозил им всеми революционными карами, воззвал к партийной солидарности. Неужели среди них нет ни одной честной большевистской души? Кто с партийным билетом — сюда! Ко мне, товарищи коммунисты! На мой клич никто не отозвался, ни один не выступил на мою защиту. Как видно, у них не нашлось ни одного партбилета. А если и был таковой, так он лежал в неподходящем для него кармане.

Я потребовал к себе командиров и комиссаров. Сквозь толпу протискалась пара каких-то хитроватых типов, которые изображали начальство полка. Они виляли хвостами, пожимали плечами и сослались на волю массы. Вокруг меня собралась громадная куча партизан, меня пронизывали свирепые, злобные, насмешливые, презрительные взгляды. Ага, попался, гусь! Бегал, бегал — и добегался? Сам в нашу пасть башку сунул! Будешь знать, как подстреливать партизанских командиров!

Необходимо было разрядить напряженное состояние этой массы, и я обратился к ним с громовой речью, высказал несколько энергичных и важных мыслей, напомнил о близости врага и необходимости самоотверженной и дружной работы на благо революции. Затем, со всей доступной мне по-

ительностью, потребовал от командиров привести в порядок полк и оста-
ть меня в покое.

— Чего с ним языком вертеть? — заорал кто-то диким голосом. —
стенке — и весь разговор!

— Верно! Зачем убил нашего командира?

— Мы для тебя хуже собак, выходит?

— Комиссар, так можешь бить наповал?

— Ребята! а кто он такой? Откуда взялся?

— Допросить! Взять в работу!

Таким образом совершился всенародный суд надо мною под чистым
ом на ровном поле в двух верстах от Белой Церкви. Тысяча присяжных
едателей стояла вокруг вз'ерошенным угрюмым кольцом. Сотня прокуро-
изрыгала на меня ругань и насмешки.

Потом, когда моя виновность была установлена с полной очевидностью
ез каких-либо смягчающих обстоятельств, стали выбирать меру возмездия.

Между прочим, нашелся такой добряк, который, повидимому, смяг-
ся и захотел ограничиться только тем, что отрубить мне руку, повинную
иерти славного командира Маслова.

— Погоди, ребята! — прохрипел один из судей, протискиваясь ко
. — Я скажу слово.

Суб'ект в одесском стиле, типичный уголовный бандит. В руке у него
мой собственный маузер.

— Из этого ливорверта он шлепнул дорогого товарища командира. —
потряс маузером над головой. — Предлагаю: продырявить и ему котел из
й самой штуки!

Это предложение понравилось, вызвало взрыв одобрений и хохота. Оно
о не лишено тонкой злодейской иронии.

Оскалив зубы и выпучив воловьи глаза с красными белками, он ме-
нно поднимал длинный ствол маузера к моим глазам. В этот момент его
яд скользнул по кожаной сумочке, висевшей на моем поясе.

— Это что!? — быстро спросил он, ткнув револьвером в сумку. —
ему не отобрано?

Я не спускал глаз с бандита, он приковал к себе мое внимание, прямо
нотизировал меня.

И тут я увидел, что бандит что-то соображает; он медлил, повидимому,
что явились какие-то новые решения. Он переводил взгляд с моего лица на
ку и обратно. Вдруг он замахал рукой.

— Погоди, товарищи! Стойте. Ребята! тут дело не чисто.

Он быстро влез на колесо двуколки и сказал речь. Смысл ее был тот,
я не просто убил, а проводил какой-то дьявольский заговор, что у меня
жны быть обязательно сообщники, что все это дело необходимо досле-
ть, и для сего я должен быть передан ему, вместе со всеми отобранными
эня «вещественными доказательствами».

Ему удалось убедить собрание, процедура уже надоела этой публике,
гие расходились, и таким образом я попал в руки бандиту. Сумочку,

в которой находилась большая сумма денег, он заботливо засунул под свой бушлат.

Оказалось, что бандит звался Петькой и выдавал себя за начальника «контр-разведки»; его банда состояла из двенадцати молодцов. И вот началось последнее действие моей трагикомедии.

Эта компания, примазавшаяся к партизанам, должна была в экстренном порядке рассмотреть мой заговор и обнаружить всех соумышленников такового. Немедленно же Петька усадил меня и всю свою команду на три подводы и с большой поспешностью двинулся куда-то в сторону по проселочной дороге. Повидимому, это предпринималось в интересах следствия. Однако на меня сразу же произвели неблагоприятное впечатление и эта торопливость, и явное стремление отдалиться от полка. Во всяком случае, число моих палачей значительно сократилось — обстоятельство в мою пользу. Кроме того, к нам присоединился неизвестно откуда взявшийся политрук какой-то роты, который обнаруживал признаки сочувствия к моей судьбе.

Не прошло и часа по выезде из Белой Церкви, как я уже насквозь видел, что это за общество. Я слушал жаргон, на котором они об'яснялись, — характерный и хорошо мне известный жаргон. Я видел ухватки этих чудаков — они живо воскресили передо мной тени прошлого, быт каторжных тюрем. Эта сквирская контр-разведка была близко знакома с практикой фомки и отмычек. Я попал в нежные ручки профессиональных громил, в самую обыкновенную воровскую шайку, вот как обстояли дела.

Впрочем, это жулье и не думало скрывать от меня своего социального положения.

Белобрысый политрук оказался совершенным простофилей, он только таращил глаза, как барашек, на все эти художества. Я с сожалением должен был констатировать, что от него не будет никакого проку. Я оказался один, лицом к лицу с дюжиной мошенников, и мог рассчитывал только на собственную изворотливость.

Что они замышляли против меня? Я без труда узнал это. Их план был проще простого: возможно дальше опередить полк, спровадить меня к праотцам в укромном месте и затем очутиться в Киеве, прежде чем так или иначе обнаружится расправа надо мною, — утонуть в киевской пучине с отнятыми у меня деньгами.

Именно с этой целью Петька остановился на ночлег в селе Вета вблизи Киева. Бандиты расположились лагерем перед хатой, в которой поместили меня под строгим караулом. Политруку предусмотрительно отвели квартиру в другом конце села. В сумерках вся шайка собралась в хате за большим столом. Меня тоже любезно пригласили к столу, я восседал в центре, чуть ли не председательствовал на этом собрании. Сотрапезники пили водку, чавкали, и между глотками обсуждали свою задачу.

Я с радостью увидел, что между ними шли нелады. Петька укорял остальных в шкурничестве. Они, в свою очередь, находили, что он хочет подставить под петлю чужую башку, а свою бережет. Глава бандитов казался взбешенным и расстроенным.

— Эх вы, гады... Небось, в долю все лезете? А пришить фраера не-эму — у всех гайка слабит?

— А ты сам почему не пришьешь? Пес его знает, кто он... Пришьешь,— там, смотри, весь Киев поднимут на ноги, из-под земли тебя достанут.

У меня кусок застревал в горле. Становилось не по себе от этой дис-уссии. И я подивился злодейскому простодушию этих ребят. Прямо-таки ервобытная простота нравов: сидеть с человеком за «чашкой чая» и громо-ласно обсуждать вопрос о том, кто из них должен отправить его на тот ет?

Так и не пришли ни к какому соглашению по этому самому суще-венному пункту. После ужина они все, за исключением часового, выбрались і улицу, и там, возле телег, происходило генеральное совещание.

Не скажу, чтобы мое самочувствие было прекрасно. Мерзко было даже идумать о том, что погибнешь вот так, в яме, на задворках, от подлых рук их шакалов. Мне нужно было немедленно на что-нибудь решиться, подхо-ла последняя минута, больше я не мог уже рассчитывать ни на какой счаст-вый случай.

И я решился. Эти глупцы и не подозревали моего богатого тюремного ыта, вот почему они довольно наивно положились на своего часового. И я адиционным путем вышел из этого неприятного положения: бежал от них, рал по всем правилам подполья, скрылся из-под стражи.

Попросту, я потребовал, чтобы меня проводили на двор с самыми есте-венными намерениями. Уже совсем смерклось. Часовой вышел на середину ора и сел на бревно, поставив ружье между колен. А я сделал несколько агов вглубь двора, затем бросился, очертя голову, — прыгнул, как зверь, плетню, перевалился через него в огород, перелетел соседний двор и выскочил дорогу. Все это произошло в один миг. За моей спиной грянул выстрел, тем другой и третий. Но я знал, что часовой второпях будет палить в про-ранство. Знал также, что пройдет несколько минут, пока бандиты опомнят-, сообразят, расхватают оружие, выскочат по следу. Этих минут было олне достаточно, чтобы перебежать полянку и углубиться в лес. За собой слышал глупую стрельбу: бандиты не полезли за мной в лес, они останови-сь на опушке и отводили душу бесполезной пальбой.

Всю ночь я шел, а рано утром вышел к предместью Киева. Первым лом позаботился о том, чтобы организовать засаду на Петькину банду при эдах в Киев. Затем нашел партизанский полк. Я не стал тянуть их в три-нал, они могли не тревожиться за свои головы. Киеву было в тот момент до партизанских выходок. Я только отнял у них все ограбленное у меня ужие. А потом я сел на последний отходящий на север пароход, что было лне своевременно, так как деникинские и петлюровские банды уже вхо-ли в город с востока и запада.

# ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

## Донбасс.

**Лариса Рейснер.**

### Сталино.

Весной этого года для Сталина, одного из крупнейших металлургических заводов Донбасса, началась новая война: за увеличение производительности труда, за понижение себестоимости.

Противник, с которым предстояла борьба, отличался своим неоднородным составом: в общую цифру себестоимости чугуна входит целый ряд маленьких себестоимостей, плохо дисциплинированных, склонных к анархии и к партизанщине. Стоимость угля и стоимость кокса, стоимость руды, пара, электричества и рабочих рук.

В хвосте этих более или менее организованных сил плелся длинный и беспорядочный обоз накладных расходов; целая орда ненужных людей, целая армия прихлебателей, разоряющих и без того надорванное производство. На этот праздный и прожорливый тыл и пришелся первый удар сокращений. Не допустимая, ни с чем не сообразная цифра — 1 р. 71,73 коп. (ноябрь 1923 г.) за пуд чугуна споткнулась и немного понизилась. Это была первая, но и единственная легкая победа над зарвавшейся, вспухшей, как флюс, себестоимостью. Затем из канцелярии, со страниц ведомостей контрольных комиссий борьба перебросилась на производство, и прежде всего ушла под землю, на дно угольных колодцев Донбасса. За дешевое и чистое топливо, за три вагонетки угля на человека за смену, за 23 коп. против 25 коп. за пуд (апрель 1923 г.), за 21 коп. против 23 (июнь), за 18 против 21 (июль этого года). И в то время, как себестоимость, цепляясь за каждую десятую, за каждую сотую долю копейки, медленно, шаг за шагом отступала, приближаясь к довоенной цене (от 8 до 12 и 13 коп.), линия производительности карабкалась вверх, срываясь, падая и все-таки двигаясь по шаткой лестнице копеечных дробей.

Легко говорится и нарядно пишется это слово: увеличение производительности труда. На диаграммах чистенькая линия, сделав два-три зигзага, придающих ей сходство с длинными остро-согнутыми ногами кузнечика — неизменно подымается. Там, на копях, от этой черты под'ема пахнет пóтом. Не легко далась Донбассу победа над угольной разрухой.

Восстановление Смолянинoвской шахты, глубочайшей в России (с 400 сажен), началось еще в 1921 голодном году и стоило неимоверных т 600 рабочим, которых ни война, ни голод не смогли прогнать из их пос Им удалось осушить шахту, затопленную водой, — но грандиозный в последнюю минуту уничтожает все сделанное — вдребезги разносит в лятор, все надземные постройки и немногие уцелевшие машины. Люди м ственно начинают с начала. Опять навешивают проводниковые канаты, р тируют силовую станцию и котлы, главный ствол и рудничный двор. Од другим оживают отвоеванные у воды и обвалов ветви подземных х очищаются от рухнувшей земли, от ядовитых газов и гнилого дерева ст креплений. К концу 1923 года возвращена к жизни вся восточная полови копи ежедневно выбрасывают на поверхность десятки тысяч пудов. Н войны они давали 50.000 в сутки. В Америке, где на одного человека рабо 4 лошадиных силы (у нас неполная одна), эта же Смолянка дала бы 20 в день—и только при такой полной механизации и расширении поля до на десятки и сотни подземных верст могли бы окупиться расходы по об дованию, ремонту и расширению этих огромных копей, задуманных в чи американском масштабе. Неудивительно, что Донбассу каждый кусок лянинoвского угля, с таким неимоверным трудом отбитой у полуразру ной шахты — обходился чуть не втрое против 1913 года. Казалось, нет вы из заколдованного круга: себестоимость угля высока. Понизить ее мо только механизировав и расширив производство. На это нужны милл золота, этих миллионов нет.

Тогда пролетарский Донбасс дал себестоимости решительный бой внизу, на глубине двух с лишним верст под землей, в своих забоях. И ок лось, что производительность труда имеет еще одну сторону, не под щуюся учету иностранных ростовщиков: великое революционное самосо ние масс.

На глубине 330 сажен есть забой — первый забой восточного укл Уже в главной штольне, обширной и хорошо освещенной, где машина, щенка, за длинную веревку вытаскивает наверх вагонетки, полные угл яркий свет и простор не могут победить особенной, гнетущей сдавленно которой полон воздух. Струйки воздуха со свистом вылетают из вент ционных труб, как дыхание, спертое одышкой, из разинутого рта. Ритми чавканье насоса жадно и торопливо: этот коридор сосет воду, как из могающий от жажды гигант. Водоотливная машина ходит в его глотке, кадык в горле пьющего. Но влага все снова выступает на жарких ст обильным теплым потом. Шахта пьет и потеет. Это особенный, изнуряю пот. Он может и обессилить рабочего, как потеря крови. Все, что есть в ч веческом теле, живых соков и живой влаги — через мучительно расши ные поры выливается наружу — ослабляя и не принося облегчения. Вс движение, каждый шаг, малейшее напряжение мускулов усиливает болез ное потоизлияние. Пусть какой-нибудь вагончик с углем соскочил с ре уперся и задержал всю откатку. За задние колеса его держит толпа гру ков. Их движения трудны и медленны, как у водолазов, работающих с неи

верной тяжестью атмосферного давления на спине, на плечах, на сердце, на каждом клочке распертых удушием легких. А воздух, вытекая через невидимые отверстия, стрекочет как сверчок в жарко-натопленной бане.

В этот центральный коридор, как ручьи в реку, впадает целая сеть маленьких боковых входов. Мрак в них, гуще, теплее запах свежего дерева, земли и сырости. На балках белые, как голуби, мягкие и слизистые, как тело улитки, лепятся комья пены. Это сырость, раз'едающая подпорки. Под фонарем штейгера ее застигнутое врасплох, рыхлое и раздутое лицо испуганно прячет глаза в толстые щеки.

В конце штрека — небольшая пещерка, свет, голоса и стук обушков. Но людей нет. Люди в щели, в забое, высота которого едва достигает полутора аршин. Стоя на коленях, они не могут поднять головы. Чтобы на четвереньках пробраться между низкими и толстыми, как столовые ножки, подпорками, нужно обладать спиной и гибкими лопатками кошки. В детстве людей иногда мучат такие сны. Кажется спящему, что он залез куда-то под низкий, пыльный диван, под кровать, что ли, и вдруг всем существом овладевает невыразимый страх. Крышка сверху опускается, во рту пыль, нет выхода из тесноты. Этот животный ужас хватает и трясет каждого, кто впервые приходит сюда с вольной воли, с поверхности земли. Но забойщики, стоя коленями в тихо набухающей воде, спокойно бьют стену кривоклювыми обушками. Тяжелые их плевки шлепаются на мокрый и блестящий уголь. Шуршит лопата в сумрачной воде, слева из темноты выглядывают чьи-то глаза, выпученные сердечной болезнью, серое лицо и голая грязная грудь. Молодой 17-летний каталь выгребает куски угля из-под колен старого забойщика, и спина его, сильная и мокрая, дымится как у лошади. Невеселые шутки застилают свет фонарей вороньим крылом.

— Не можем за это жалованье одеться — только на прокормление хватает, да на чуни.

— При рынке и при кооперативе ничего справить не можем. Сову об пень, или пнем об сову — все одно и то же.

— Так что, если у вас там есть артисты с хорошей глоткой, посылайте их сюда к нам, запоют.

О жилищах — жалобы, как на всех заводах — только на фоне этого кромешного забоя звучат они горше и злее: 1 комната, пять аршин. В одном углу плитка, тут же койка, стол, сундук с бебехами, и шахтерка сушится, и семейство хлопочет — здесь пыль глотаешь и наверху штын лезет.

Ничего, человеку легче, когда он выругается. В забое № 1 трудно сохранить беззаботное и жизнерадостное настроение. Слова только слова, сгустки угля, усталости и раздражения. Но производительность труда за последние месяцы великолепно повысилась именно в этих горячих и мокрых забоях. Каждый из участников нарубает более трех вагонеток за смену — каталь полностью выгребает их из забоя, как горячие угли из печи, и выволакивает наружу. Впрочем, здесь нет традиционной фигуры каталя, идущего за вагонеткой с низко опущенной головой и подталкивающего ее перед собой во мраке бесконечных переходов. Здесь каталь ползет на четвереньках,

обмотав вокруг пояса или закинув на шею веревку от деревянных сан в которые он запряжен. Уголь царапает его голый, вспотелый живот и го потные плечи. Зажатый между полом и кровлей, он в течение 8 часов п бирается через жаркую щель со своим грузом. № 1 еще не самый труд забой на Смолянке и не последний круг угольного ада. На большей глуби в еще более горячих ямах ведется ожесточенная и победная борьба за де вый уголь для советской промышленности. На передовых позициях тр седьмая западная и пятая восточная продольные далеко выдвинулись впе Здесь между низкими стойками, стеной и потолком бьется старый шахт тов. Слободянюк; он ползет и переползает на своей подстилке из черн гравия, отыскивая и выкалывая узкую ленту антрацита. Его стеснен лопатки мешают телу, куски угля валятся под колени и ранят ноги. В забой — это мешок с углем, где одновременно рубят и сыпят, лежат на у и едят уголь, вдыхают уголь, пьют и исходят углем. Над головой челове как длинная стесненная птица, клюет обушок проклятую стену. Долб долбит, и вдруг его трепещущая тень отскочит. В облаке угарной пы заслонившей фонарь, рушится крыша и половина стены.

Тов. Тужиков пластом лежит на спине в узком промежутке, во стены, которая едва достигает трех четвертей аршин. Пот т густо течет по его лицу, что белые полосы, промытые им на щеках, мож принять за следы слез. Глаза, обведенные черными, как выбитые окна, зак енные синеватой бумагой. Воздух из пыли, конского помета и пота выс стывается между стиснутых зубов, как пар из чайника. Откуда-то из г бины горы — слабый стук и слабый свет. Там лежит еще человек, тов. М ченко, рубит и ногами выталкивает наружу свой уголь. Голос его слаб и высо

— Это погибель, — говорит. — Это пропасть.

Стране нужен дешевый уголь. И каждый из этих заживо погребенн сумел увеличить свою суточную производительность. Не две, а две с ч твертью вагонетки на человека. Эта четверть, эти несколь сот или тысяч ударов кайла, облитых горячим, как кровь, потом, рвану вниз смоляниновскую себестоимость. Сентябрь показывает 18 коп. за п (до войны на этих же копях 12 коп.).

На «Ветке», в пятой печи второй западной продольной работает од из лучших забойщиков Сталинского куста, всего несколько дней тому наз потерявший жену.

Умерла она во время трудных родов.

— Кровя смешались и разошлись по жилам — родила она легко, х рошо, только мертвого ребенка. Посмотрела и сама кончилась через час.

В забое пыльные сумерки, фонарь освещает только дрожащие гла и длинный, вытянутый трудом, тяжело дышащий живот рабочего. Помолча он повертывается к стене и подымает свой обушок. Никогда в жизни н увидеть мне больше такой рубки. Все подземелье примолкло; как тонк белые люди, которых шахтер ведет за собой в гору, пугливой толпой ост новились крепления. Тихий, как дитя, со своей горстью света смотрит фонар на злые шрамящие стены удары. Молодой рубщик оставил кайло и учит

бить уголь, глядя на полуголого гиганта, который наступает на глухую стену, точно за ней ожидают жизнь и воскресенье. На острых его костяных плечах, облепленных шарами мускулов, сверкает пот и тает уголь. Тень обушка с безнадежным упорством ходит над головой, как маятник подземной вечности, круг за кругом очерчивая на потолке. И могильная стена все дальше отступает перед этим отчаяньем, вставшим на дыбы. Молотами падают удары. Рука веслом огребает уголь или нетерпеливо перебирает его, как черные блестящие кудри поваленного врага — и снова рубит. Помолчав, говорит о нем товарищ по забою, молодой коммунист:

— Вот она, наша полная норма, от великого горя и от силы великой дается.

Как на бирже за банкротством крупного игрока следуют крушения более мелких, так падением себестоимости угля повлекло за собой снижение цен на кокс и на чугун. Не ожидая нового сокращения угольных цен, коксовый цех энергично взялся за удешевление своей продукции. Чем чище уголь, поступающий в коксовые печи, тем выше качество кокса и меньше его расход на каждый пуд чугуна. Если бы мы были богаты, то просто построили бы возле коксовых печей хороший химический завод и таким образом утилизировали все продукты горения, которые вылетают в трубу и по вечерам таким великолепным заревом играют над коксовыми печами Сталинского комбината. В Германии, например, использование этих отходов так велико, что понижает стоимость кокса до стоимости угля — почти на 50 процентов. Но в Донбассе некогда было ждать, пока золотой дождь обновит его старые печи. Пока что нас вывозит тов. Чеврюкова; это — немолодая работница коксового цеха, лицо которой трудно разглядеть за повязкой, защищающей его от облаков пыли, повисшей в воздухе сортировочного отделения. Она стоит у бесконечного провода, несущего мимо дорожку угля и камней, одетая в мужской пиджак с оборванным карманом, в красной юбке, обрисовывающей ее беременный живот, и от времени до времени переступает тугими от тяжелой крови ногами. Заметив среди угля осколок кварца, она подталкивает его к краю большой кочергой. Рядом с нею еще несколько работниц, на платье которых уголь нарисовал смутный и грязный очерк их тела, в течение 8 часов, не подымая глаз, не отрывая рук от скользящего лотка, за 69 коп. в день делают дело, имеющее громадное значение для всего производства. Их руками топливо очищается от грязной примеси, готовится чистая и однородная пища доменных печей. Из особой ямы элеватор снова подымает уголь в верхний этаж — с грохотом опуская железную руку на плечо каждого уходящего ковша.

Наверху лента, бегущая мимо вереницы работниц, несет уже маленькие смолотые куски угля и породы. Она входит в залу, доверху накрытая, как стол, уходит из нее полупустой. Руки женщины с такой жадностью тянутся к черному ручью, точно их жизнь зависит от этих тусклых и тяжелых осколков камня, потихоньку пробирающихся к печам. Этот цех, налитый черным солнечным светом, с высокой башни которого угольная пыль развевается большим траурным знаменем, за последние месяцы поднял свою про-

изводительность более, чем вдвое, и почти вдвое уменьшил зольность у (с 22 до 14%).

Из-под черно-красной стены этого пыльного и грязного дома, вытека горячий ручей кристаллической чистоты. Это знаменитый заводский «к рорт». Единственное место в Сталине, где жены рабочих могут наполни свои кувшины и ведра мягкой водой. Это традиционное место всех свидан Эдем, устроенный на кирпичном берегу, у канавы, по которой кипяток, выб шенный котлами, течет в сточные ямы. Жалкий и тесный угол под забор куда люди прибегали посмотреть на выпачканные углем и машинным масл лица своих возлюбленных, на их ошпаренные горячей водой руки, выкр чивающие связку выполоснутого белья. Летом, когда еще бездействова коксовые печи, здесь купались — теперь нельзя. Завод растет и расширяет Сортировочная совсем рядом, коптит, грохочет и в упор смотрит грязны окнами. Библейский источник, бьющий из замусоренной заводской зем ключ жизни и радости замутился. Скоро его ясное серебро совсем померкн и смиренно примет для всех обязательный, угольный цвет великого металлу гического царства.

Коксовый двор. Вот действительно место, где рабочий голыми рука подымает свое производство. Только самоотверженной работе этих люде день и ночь горящих на медленном огне — обязан завод восстановление своего коксового хозяйства, улучшением его качества, при цене, котор с ноября месяца понизилась почти на две трети. Он похож на старый зап щенный монастырь, этот двор, со своими низкими одноэтажными здания где дверь возле двери расположены небольшие белые кельи — с костром, сл женным на полу — точно в каждой из них отшельник-огонь готовится сове шить самосожжение. Это новенькая, только что отремонтированная батар печей, после десятилетнего перерыва впервые вступает в работу. От проти положного ряда веет душным, сухим теплом. Все шкафы полны огня. Стоя н плоской кровле, мальчик лебедкой подымает дверцу; за ней лежит уснувши огонь и кокс, как окорок, запеченный в коричневое тесто. Красная сажен медленно выползает из шкафа, придерживаемая баграми крючников, и распа дается на жаркие глыбы. Маленький шланг обливает их жалкой струей, вод кипит и испаряется, огонь, забившийся в черные каменья, сияет и бьетс как огромная рыба с розовыми горячими жабрами. Но людям некогда ждат пока он совсем потухнет. Двое разгребщиков, двое старых, опытных рабо чих, т.т. Толмачев и Бабкин, подвязав небольшие дощечки к своим рваны лаптям, взбираются на кучу тлеющего шлака, к опустошенной печи, котора ни одной минуты не должна пустовать. Невыносимый жар веет им в лиц из открытой дверцы, ноги обожжены коксом — кажется, они пухнут и расту поставленные на раскаленную плиту. Зеленоватые, переливаясь от жара вытекают на волю разгоряченные газы. А сверху, на неостывшую еще постел огня, уже сыплется свежий уголь. Разгребщики разливают его и рассовываю равномерным слоем. Печь завалена, дверца закрыта. Рабочие отходят держась рукой за из'еденные жаром и ядовитыми испарениями, ничем не за щищенные глаза. Теперь очередь заливщиков и замазчиков. Схватив сво

кисть и ведерко глины, они по горящему коксу бросаются к самой печи и в течение нескольких минут замыкают пылающую дверь. Тов. Прусенков — получая 80 коп. в день — за свою смену от 23 до 25 раз идет к печам через глыбы красного еще кокса, 25 раз за день тушит в луже воды свои горящие сапоги, 25 раз буквально рискует сгореть оступившись или на минуту потеряв присутствие духа перед широко открытой пастью печей, полных угара и огня.

Обида этих рабочих: при одинаково трудной работе — заливщикам полагается особая шляпа, хоть немного прикрывающая уши и голову от ожогов — а разгребщикам нет. Вторая обида, в который никто, конечно, не волен. Большинство рабочих этого цеха за годы войны успевших разбрестись по деревням и вернувшихся на завод по специальному вызову, чтобы поставить и восстановить его разрушенный коксовый цех, живут как бездомные бродяги. В Сталине жилищный кризис, в Сталине нет свободных квартир — ни одной казармы, ни одного пустого угла. И вот артели коксовых рабочих работают, месяцами не имея крыши над головой, ночуя тут же, возле печей, на каменном полу, который только лава согревает своими выходами. На их лицах, кроме угольной пыли, лежит толстая кора несмываемой многомесячной грязи. Возле домен, у прокатных цехов можно видеть эти черные фигуры, жадно пьющие у крана, или, сбросив рубаху на ветру, скребком отскабливающие черные плечи, руки и лица.

— Что же,—говорит один из старых рабочих,—я 25 лет силы положил, а ты меня бросил — скоро старуха моя из деревни приедет — я в артели с ей не могу — постарайся, начальство!

Коксовый цех — это настоящий партизанский отряд, не выходящий из огня; маленькая штурмовая колонна на огненном фронте. За несколько месяцев ею восстановлено 5 коксовых батарей, по 30 печей каждая; себестоимость, еще в октябре равнявшаяся 50 с лишним копеек, и 30 в июне, в сентябре, если не ошибаюсь, сошла до 26 копеек и все еще продолжает снижаться. Оборванные, обожженные люди, с черными масками угля на лицах, живя на улице, питаясь хлебом и арбузами, продолжают свое наступление. Их время разделено между 150 печами, измерено и взвешено, как золотой песок. Ни одна крупица не пропадает даром.

Ночью над трубами коксового двора видно красное трепещущее пламя; оно проступает, как кровь, в тонких, раздутых бегом ноздрях горячей лошади.

# Жильцы.

**Мих. Пришвин.**

Всего только в одной версте от той деревне, где я живу, в другой деревне устроили сами крестьяне у себя электричество, приспособив для этого трактор, как двигатель; сейчас там устраивается паровая молотилка, читают газеты, книги, вообще хорошо. Мне стоит только пройти версту, чтобы собрать материал для жизнерадостного очерка, но я не иду, потому что это будет выискивание материала. Удовольствие же писать «по градам и весям» состоит в том, чтобы писалось так же свободно, как частное письмо. Даже имена людей и прозвища я не переделываю, потому что как только станешь переменять имя, так перестает писаться свободно. А прозвища так прямо и невозможно переменять.

Так вот из-за этого, из-за близости материала, вечером я не смотрю на небо, выискивая на нем рыжее пятнышко от электричества соседней деревни, а наблюдаю возле себя.

Каждую ночь огонек 20-линейной «Молнии», привешенной над верстаком соседа моего, башмачника, через прогон тускло освещает и мою деревенскую хижину. Он работает башмаки пару за парой, иногда по трое суток подряд, засыпает на короткое время у своей л и п к и, подложив под голову свой пиджак. В базарные дни, наработав целую корзину, он несет ее на голове так привычно, что не поддерживает даже рукой.

Глаза моего соседа выцвели от напряженной работы зрением, стали как снятое молоко и с непременной слезой, ветер как будто пошатывает кустаря, или походка его такая неровная от того, что грудь колесом, как у гоночного велосипедиста. Мастер он недурной, выработал ценою всей жизни такие приемы, какие отличают его работу от работы соседа, и потому они с соседом знают только себя и свое ремесло: про них можно сказать, как о попах — «два попа в одном приходе, два котла в мешке».

С крестьянами, теми русскими мужиками, которые веками выносили все ужасные невзгоды царизма, эти кустари имеют мало общего. Они гораздо ближе к своеобразному населению русских городских слобод. Эти кустарные деревни как бы продолжение Растеряевой улицы.

Мой сосед — человек, крайне придавленный жизнью и, кажется, туберкулезный, похож на живого мертвеца. Он занят мечтой выстроить себе новый

дом. Бревна уже сложены перед его завалюшкой и над ними предохраняющий от дождя тесовый навес. Бессознательно, под лозунгом для себя самого, этот бедняк очень возможно строит его для такого чужого человека, как я.

За небольшую плату я снимаю новый выморочный дом в этой кустарной деревне, не чувствуя даже благодарности к покойному строителю: я расплачиваюсь аккуратно с комитетом взаимопомощи. В деревне я называюсь **жильцом** в отличие от хозяев, владельцев домов, и, конечно, как жилец, человек, избежавший необходимости строить дом для других, я непременно чужой и подозрительный человек.

Среди этих кустарей не все были неудачливые и честные в труде. Иногда на обувном деле можно было хорошо наживаться, дело обувное во время войн было золотое дно для разживы, и только **жилец** по природе своей не делался хозяином мастерской. И хозяева, и работники в то время легко отрывались от невыгодного земледелия и селились на окраинах столиц. Перебираясь в столицу, один за другим, они и селились там рядом, занимая целые улицы, как было в европейских средних веках. Однако аромат жизни, сопровождающий человеческий труд, не оставался, как в Европе, на городских улицах, даже напротив, в Москве улицы ремесленников одни из самых жалких, — там нет даже и признаков искусства. Не потому ли в городе не оставалось искусства, что наш ремесленник был целиком во власти земли?

Городской ремесленник жил мечтой возвратиться в свою родную деревню, в новый прекрасный дом, который он выстроит себе на скопленные деньги: в этот деревенский дом уходила вся его ремесленная мечта. Строили даже и за глаза, были на местах особые подрядчики и строили их по московскому шаблону, деревянные в два этажа с голубятником. Иногда к дому присоединяется вычурная павильонная пристройка, иногда ореховая дверь с электрическим звонком, и вокруг дома, как в дворянских гнездах, на двухстах саженях липовое карре в два ряда. Все как у господ, ничего своего, но что из этого?

Так вот и создавалась деревня промышленного типа, законное дитя буржуазного города.

Было время, когда в такой деревне, где я живу, стояли только такие дома-призраки, а сами жители безвыездно жили в столицах. Бывало, тут кое-где живут старики, больные, какая-нибудь богомольная старая дева спасается — и больше никого. Революция выгнала хозяев из столиц, мастерские рассыпались, каждый хозяин сделался деревенским кустарем-одиночкой, проживая в нижнем этаже своего дома-мечты или позади его в маленькой избушке-зимовочке.

Казалось бы, места довольно и для всяких **жильцов**, но попробуйте тут снять себе квартиру, это будет, наверно, труднее, чем в Москве: ведь дом — это для кустаря все, и как у настоящего художника есть непродаваемая мечта, которую он бережет для себя, так и у кустаря свой собственный дом.

Особенно трудно было устроиться именно в этой деревне, составленной почти исключительно из прежних удачливых кустарей, хозяев мастерских.

Жильцы этой деревни — страшные вестники грядущего наводнения жильцов из городка, в котором уже совершенно нет квартир.

Жильцы — это как бы одна партия, хозяева — другая. Мне, как жильцу, конечно ближе они, и я расскажу о своей партии.

## Прасковья - жилица.

Эта женщина носит нам каждый день две крынки молока, она чуть ли не единственная в деревне занимается только земледелием. Другим земледелие невыгодно, кустари пашут с неохотой из-за страха перед неустойчивостью сбыта обуви. Иные для земледельческих работ держат «казачку», что тоже невыгодно. Только в сенокосе все кустари бросают башмаки, и это спасает их от окончательного разрушения своего здоровья. Еще есть земледельцы старики, которые не могут шить башмаки по слабости зрения. Даже на глаз, без всякой статистики, видно, что эти старики бодрее молодых. Так вот и Прасковья-жилица, старуха шестидесяти пяти лет, а все сама пашет, сеет, убирает хлеб, все сама. У нее были дети, вырастали, помогали и отходили на свое отдельное житье, один пропал в Красной армии. Был у нее и муж, но бросил ее с детьми, сошелся с другой, пробовал вернуться, но Прасковья его больше к себе не пустила. Взялась она за жизнь не в своей деревне, а вот здесь у нас, как жилица, да так вот и вся жизнь прошла, но память деревенская крепка: и посейчас Прасковья называется и признается как жилица.

Раз уже человек занимается земледелием, то хоть сколько ни будь земли, все ее не хватает, потому что каждому хочется, чтобы земля была получше и поближе к дому. Со старухи же на седьмом десятке и спрашивать нечего, если глаз ее метится к запущенному участку усадебной земли какого-нибудь кустаря. Попросится у него попахать, тот согласится. Старуха подымет новь, соберет урожай. А хозяин смотрит на нее из окна и радрадешенек: когда самое трудное сделано, земля стала мягкая, он отбирает ее у старухи и обсевает сам для себя. Тогда Прасковья начинает у другого, и другой хозяин поступает совершенно, как первый. Из этого получается что-то вечное, и Прасковья, не в пример нам, другим легким жильцам, жилица вечная...

## „Бандит“.

При моем домике, в котором я теперь живу, есть избушка, вроде бани, по правде сказать, очень скверная и такая дырявая, что в иных местах между венцами можно руку просунуть, а внутреннее пространство было занято на три четверти глупой огромной дымящей печью. Но в домике перегородки не доходили до потолка, там невозможно было уединиться от своих буйных ребят. Избушка разрешала все трудности моего положения; это мой писательский кабинет. Все это мне пришлось рассказать на сельском сходе, потому что в этой избушке с женой и ребенком в то время жил человек, которого все называли б а н д и т о м.

Изложив все о необходимости иметь кабинет, я сказал, что домик могу нять только с избушкой, но вот там сидит человек...

— Ничего, — ответили мне, — его через две недели расстреляют.

И кто-то шопотом рассказал мне о каком-то его темном деле с огра-|лением военного склада.

— Непременно расстреляют, — сказал этот человек.

— А если простят? — спросил я.

— Тогда сошлют.

— Нет, если совсем оправдают, может быть, он совсем и не виноват, ывает же так. В таком случае, кто будет его выселять, вы или я?

— Мы выселять не будем... да не беспокойтесь, верное дело. Через ве недели ему будет крышка.

Конечно, я понял, что мною пользуются для выселения неудобного хильца, вышибают клин клином, но желание иметь отдельный кабинет было ак сильно, что я согласился и подписал договор.

Правда, на другой же день «бандит» уехал в Москву на суд, а его жена, ак мне передавали, стала уже складываться, перебираться на житье к матери. lо не успела она собраться, как вдруг возвращается «бандит», очень весе-ый, совершенно оправданный.

Так я и попался в ловушку, заплатив вперед за целый год.

## Заливное из судака.

В одном журнале я уже подробно писал об этой жилице, что она на-ывается монашка или сестрица, что она предсказывает судьбу людей, рас-рывая евангелие, помогает укрываться беременным девушкам и часто спа-ает внебрачных детей. В отношении извлечения средств существования эта ысокая, живая старуха очень хитрая. Дальше все сказка. Сюда она пришла удто бы из темного леса, где какой-то «святой» человек, умирая, благословил е на житье в его келье. Там она будто бы и жила до революции. Однажды ее часовенку пришел большевик, страшный рыжий человек, лампады все агасил, растоптал ногами, расшвырял всю часовню по бревнышку, сжег коны и книги. Одним словом, глупая поповская выдумка. Так вот эта ста-уха далеко прославилась своими гаданиями, и у нас она, наверно, тоже имела ы очень большой успех, если бы не теснота, если бы она для своего твор-ества могла иметь обеспеченное уединение. Поселилась она в точно такой е зимовочке, о которой я мечтал для своего, тоже уединенного, писатель-кого дела. Но хозяева ее, хитрейшие люди, следили за каждым ее шагом, стречали и провожали, выспрашивая каждого приходящего к ней человека. I, разузнав всю подноготную, опасаясь как бы не вышло им чего худого т этой старухи, стали ее притеснять и выживать. Но старуха упорно боролась. еще в прошлый год записал себе первое возникновение легенды о проку-оре. Во время одной очень сильной атаки хозяев с целью выселить гадалку емедленно, она вдруг заявила им, что сегодня с вечерним поездом приедет з Москвы ее крестник, главный московский прокурор. Хозяева оробели.

А вечером гадалка встречает у себя прокурора, беседует с ним на два го лоса, сама громко жалуется ему на хозяев, прокурор же тихо поддакивает «Подожди, подожди, я им покажу!». Так всю ночь беседовала, а с утренни поездом еще в темноте отправила прокурора в Москву и сама его на вокза проводила.

Действие ночного диалога было чрезвычайное: не только квартиру оста вили старухе, но даже лошадь дали дров привезти из леса. А мы долго ещ смеялись по поводу того, как она одурачила хозяев своим несуществующи прокурором. Но вот самое интересное дальше, что происходит в течени года моих наблюдений. Чем больше старуха пользуется легендой о прокуроре тем больше она сама верит в него, а хозяева привыкают и перестают бояться Ведь, у хозяев накопляется все больше и больше фактов против старухи они тоже со своей стороны могут кое-что доказать прокурору.

Развязка вышла как раз через год, в день именин сестрицы. Конечно на именины крестной должен был приехать и прокурор с разными другим важными лицами судебного мира. От нас была взята вся посуда. Все сво с'едобные сбережения старуха пустила в ход на изготовление прокурорског обеда. Помню, огромную роль в этом обеде играло заливное из судака. И во что удивительно, ведь это у нас в доме готовилось заливное, мы же знал всю историю возникновения легенды о прокуроре, между тем во время при готовления судака монашка несколько раз повторила: «он (прокурор) ещ маленьким мальчиком больше всего любил это заливное из судака».

Да, старуха в это время верила, что прокурор к ней на именины приедет Но хозяева до того обнаглели, что, улучив время, когда монашка пошла н вокзал встречать прокурора, дочиста с'ели все заливное из судака. Из-з этого «заливного» скандал был ужасающий. Старуха прокляла дом и сам добровольно на другой же день исчезла в какую-то другую страну творит свои призраки.

Старуха удалилась, конечно, потому, что оскорблен был уже са прокурор.

## Костяная яичница.

Слесарь Томилин, как страстный охотник, горой стоит за меня. Ег положение, как жильца, самое прочное, потому что мастерство его полезн в деревне. Однако деревенская молва не пощадила и слесаря. Известно, что куница любит зимой попробовать дикого меда; сунется в рой, пчелы вс на нее, она—в снег, поморозит пчел и обеспечит себя на всю зиму сладостью Томилин, охотясь за куницей, сделал это открытие и стал таким способо каждую зиму через куниц запасаться медом. Кроме меня, в деревне этому никто не верит, и все считают Томилина вором специально медовым. За эту славу Томилин имеет на общество такой зуб, что не побоится другой ра и правду в глаза сказать.

Есть еще жилец Жук, хотя и башмачник по ремеслу, но не здешний все делает на клею, скоро, продает сделанное дешево на базаре и тут же вместе с женой пропивает. Таких мастеров называют «художниками». Живет

этот Жук в такой завалюшке, что в дождь может спасаться от мокроты только в печке. И, собственно говоря, живет именно в печке. Ко мне питает уважение безмерное.

К своей же партии я причисляю одного маленького обувного комиссионера, прозванного за скупость «Костяная яичница».

Есть еще один старик, пуговицами торгует на базаре, не то баптист, не то евангелист, ищет такую религию для всех людей, чтоб никак уже не признавалось войны и убийства. Все его слова не имеют в деревне никакого признания, и, когда он проходит по улице, то крестьяне презрительно говорят вслух: «вот святитель пошел».

Есть у меня еще верный человек и замечательный мастер Волков, совершенно безногий, одну ногу пришлось отнять по правде, а другую будто бы доктор Борис Васильич подравнял для удобства. Был он самый горчайший пьяница с Хитрова рынка, в полном смысле слова босяк, обувной мастер, зимой даже ходил босиком и оттого лишился ноги. Вот когда он лишился ноги, то с ним совершился полный душевный переворот, он вернулся в свою избенку и сделался замечательным мастером и запойным читателем. Он и сам обладает замечательным языком, к сожалению, речь свою пересыпает известными русскими ругательствами. Он весь целиком крепко стоит не только за меня одного, но и за всех жильцов.

То же большой любитель чтения Елизар Наумыч Баранов, так и прозываемый «Читатель». На почве религиозных сомнений, он принялся читать книги и, скоро уверившись, что бога нет, выписал себе «Безбожника» и все стены у себя оклеил яркими анти-религиозными картинками. Дня не пройдет, чтобы он не забежал ко мне.

Вот, кажется, и все жильцы и их сочувствующие.

# Из книги „Норд“.

## Вл. Лидин.

### II. По пути норманнов.

Великий Устюг зорко смотрит в века. Великий Устюг отмерен столетиями, он лежит на пути, по которому плыли норманны на Новгород, и к Поморью шли новгородцы. И так же, верно, прекрасен и пустынен великий норманнский путь—Северная Двина, как и столетья назад; и так же непроходимы чащи, и дики алебастровые кручи, и бивни мамонтов лежат на берегах под малым слоем земли, ибо великим путем—шли ледники, оттого опасна река валунами и камнями, которые лежат на воде, как чудовищные черепахи. Великий Устюг — бесшумный город... Может быть, оттого, что смотрит он в века, что судьба его в прошлом, что был великим он перепутьем двух культур. Он спадает задумчиво в Северную Двину всеми своими шатровыми церквами, звонницами и соборами, своим XVI веком, и на пристани грузчики грузят бесшумно и молча, без ругани. А скрестить если сурового хмурого помора и торгового ходока по водным путям — новгородца, — может, и станет от них такой народ: со сдавленной чуть переносицей, с запавшими молчаливыми глазками, и с северной хмурью меж глаз. Вечерами — бессмертно-нежна Двина у Великого Устуга: индиговая тень и оранжево-винные гребни заката, цветущие на воде. И по одну сторону — лежит Норд, путь на Поморье, на Белое море, на океан; и по другую — наш черноземный спласт, наша неспокойная, вечно-бродящая московская Русь. А меж ними — северный красный закат и белая, зоркая, пустынная ночь.

И, как память о давних торговых делах его, когда был город торговым городом, и на струговых барках шли к нему новгородцы, и под парусом плыли к нему норманны, — ломаным камнем и запустением безглазо смотрят в ночь и в века́ белые ряды Гостиного двора. В Великом Устюге жил знаменитый мастер: знаменитый мастер чернил по серебру, знаменитого мастера звали Кошко́в, знаменитый мастер был простой крестьянин, и у знаменитого мастера текла в жилах — золотая крестьянская руда; теперь остался у мастера преемник, преемника зовут Чирков, но высокое мастерство свое непревзойденно унес с собою мастер, а с Чирковым, верно, кончится и след мастерства этого, ибо у Чиркова нет преемника, и искусство

го вырождается, как многие вырождаются искусства на севере. Великий стюг умел еще делать кованые ларцы с поющими замками, кованые эти арцы любили приезжие торговые люди, теперь давно утратил это искусство Устюг, и осталось одно мастерство только в Устюге, мастерство это — ереста и фольга. Я привез с собой на память об этом мастерстве — резную катулку, она хорошо пахнет берестой, а береста — запах севера; и она орошо изрезана крестьянской рукой. И на ночной глухой пристани купил ой спутник у кустаря десяток ладных берестяных бурачков. Бурачки пахли усью, в каюте нашей пахло свежей берестой, я засыпал под их запах, и трами особенно пахла береста — неиссякаемым источником жизни.

Ночью в летнем саду Устюга играл оркестр, в саду было темно, на камейках сидели парочки, было все это — северной провинцией, и то, что юхо играл оркестр, было особенно хорошо в эту ночь. И на террасу, где аспивали пиво кепки и картузы, пришла женщина — неизбывной красоты. на сидела напротив мужчины, очень хмурого, держала маленькой рукою стаан и пригубляла, нежная прядка все падала ей на лицо, и она оправляла ее езабываемым движением. И эта прекрасная женщина, может быть, работица, я не знаю, кто она была, — ее светлые волосы были повязаны простым латком, — в эту белую устюжскую ночь показалась мне как бы душой — ленно неразгаданной и, вероятно, бессмертной — этого города, который леит на пути XVI века, как листаемая книга по древней русской культуре.

И путь норманнов, и путь новгородцев от Великого Устюга — на Поорье, на город, обласканный Петром, на порт Архангельск. Тысячи верст орманнского этого пути, и тысячи верст пустынных берегов, великого речого запустения, лесных пожаров, и в дикости стоят селения — эта северая двух'этажная стройка с белыми рамами, с белыми крестовинами рам, ай небитой птицы, береста да морошка, да комарьё — и лесной молчальк — народ. И на берегу Двины остались еще обычаи, седые столетия стоужат эти обычаи, и на берегу Двины осталось еще прасование — это в сеокосную пору переправляются бабы на ночь на другой берег Двины, где окосы и скот, бабы едут с туесами и ночуют на том берегу, чтобы вернуться утренним удоем, и на других лодках едут парни с гармошками, бабы на ночь ожатся рядами в землянках, и в землянки втискиваются парни, и тогда начиется в темноте *прасование*, когда никто ничего не разбирает, іскание и визг, — и всю ночь идет прасованье, и всю ночь зудят гармошки, всю ночь бродит по лугам шалый скот.

Ночью, на мосту парохода, мы долго смотрели на зарю, зажегшуюся другую. Две зари тлели в двух концах. И персиково зажегся день из дня, овно потухающей свечей зажгли новую: ночи не было, одна платиновая езда стояла над пароходом. Капитан, который ведет пароход, 43 года вет пароходы по Двине. У капитана северная борода и суконная шапка пренником; он знает, где лежит на Двине подводный валун; знает он, как за рок три года менялась река, и он знает, как вести пароход меж валунов и мней; — с половодья по первое сало, по стылую пору, когда окаянный ветер д Двиною, когда голы берега, дики и мокры, — идут по реке пароходы.

Те же камни, валуны, берега. Люди меняются, уходят. Река, воды, берега остаются. Он знает осенние хвиуси и несмыкаемые вежды двух зорь белых спокойных ночей. Он ведет пароход от Устюга по Архангельск, и тысячи верст пройденных путей ложатся на тысячи — он сделал за все свое плавание больше двух миллионов верст, и ночью говорит капитан, в бороде — глаза, и колено на колено, охваченные рукой. Капитан говорит:

— Мертвый край. Глухая страна. Был раньше Котлас, гнали хлеб из Сибири на север, на Поморье, гнали в Сибирь с севера рыбу. А теперь — умер Котлас, и забыли о великом пути.

Умер Котлас, как умер Великий Устюг, в Котласе — бараки и железнодорожная станция, и больше нет железной дороги до Архангельска; о великом северном железнодорожном пути от Белого моря до Котласа спорили годы назад, и годы назад говорили о концессии, о концессии спорили англичанин Гандвич и художник Борисов, и Рябушинский, а теперь живет Борисов на даче у Красногорска, Борисов мужиковствует, Борисов — уже крепко стар, и тот же все мертвый край лежит на тысячу верст.

В мертвом краю приезжает к пристани почтарь. У почтаря черная сумочка с серебряным рожком, серебряные очки и пыльная чалая борода. Мало кто пишет сюда, он берет пачку и едет назад, в глушь, на маленьких санках, потому что на колесах не проехать по топям и буеракам, и на почтаря этого на санках летом, наверное, смотрели англичане; англичане пришли в Двину на своих мониторах, у англичан были столетья культуры и со столетий культуры смотрели она на нашу дичь, на бедного почтаря на санях, на наш лес, на тысячи десятин нашего леса, которого хватило бы, чтобы застроить всю Англию. И англичане были хозяева севера, англичане правили севером, а теперь на Двине торчат трубы двух затонувших английских мониторов, и на Двине еще срываются мины, ибо вся Двина была засыпана минами, а русский лес по-прежнему стоит на русских берегах. Зимой засыпает берега и Двину снегом, и народы севера—лопари и поморы, и зыряне — бьют зимой белку, ловят в силки зверя, много спят и отмечают полярный день за днем на своем календарике — деревянном брусочке с таинственными отметинами, календарик висит на веревочке, и день за днем передвигает зырянин веревочку с отметины на отметину, пока не опустится одним краем брусочек вниз — это значит, что пошла зима на убыль. И тогда смутной радостью весны бьется сердце зырянина. А в Великобритании в эту пору топят в каминах кокс, много кокса, в Великобритании всю ночь горит незабываемым светом электричество, и в Великобритании живут недавние владетели севера.

И в белую ночь на норманнском этом пути говорит еще человек — человек строит север, человек — кержак, человек заготовляет дрова для пароходов, он не слезает с пароходов, человек — медвежатник, он убил больше сорока медведей за жизнь, — человек говорит ночью:

— В Ухтомских болотах, между Печорой и Вычегдой, — нефть, золото, медные руды. На Печоре работал инженер Воронов. Инженер Воронов сделал две скважины, и нефть была лучше, чем нефть в Баку. Печорская нефть могла питать север, печорская нефть отнимала у Баку десятки тысяч

верст. И тогда Нобель, Манташев и Гукасов дали взятку кому надо. И тогда не стало печорской нефти, тогда в министерствах провалили проект о печорской нефти, и Манташев, Гукасов и Нобель продолжали на север посылать нефть из Баку.

Белою ночью шли берегами селенья, и против каждого дома внизу была банька; в баньке первобытно сложены камни, камни в баньке раскаляют и поливают водой; и тогда дым и смрад преисподней, в дыму над раскаленным камнем прыгают голые люди, голые люди, распарившись, выбегают из баньки и катаются в снегу, наверное, как при Иоанне Грозном, и по снегу бегут нагишом домой. И на берегу стояли черные логова, вроде банек, черные логова — были смолокуренные заводы, и в черное логово мог залезть один человек и там курить смолу, пока сам не засмолится. И на Пинеге, и на Ваге, и на Печоре — сифилис; сифилис привезли приказчики скупщиков пушнины, и сифилис здесь называют простудной болезнью. Следы ледников лежат на норманнском пути, белый алебастр и много мамонтовой кости и праха древних становищ. И крутые спины ледниковых камней лежат на воде и сторожат века и вековую глухомань, и мерный ход Северной Двины.

Здесь, на носу парохода, две белых ночи насквозь слушали мы повести людей, для которых Север — вторая душа, повести о людях, пытавшихся разбудить его спящую душу; и все эти люди — были делатели жизни, люди бурили скважины и мечтали о великих путях, и собирали самоцветный жемчуг русского севера; и над всеми этими людьми — была нерадовая русская жизнь, и русская жизнь делала их фантастами и неудачниками, и банкротами, и русская жизнь смыкала заново Север первородною дичью и запустением.

Сизую тень лесов сменил алебастр — корица и кипень. И торжественно белою ночью несла Двина свои дородные воды: за алебастром, за синеватым туманом простора — был камень порта Архангельска, было море.

25 июля 1924 г.
Кемь.

## X. Голоса моря.

Есть у моря свои голоса, и голоса эти слышат те, для кого море — зов и судьба. Люди на суше, зачуяв дыхание моря, крепче кутаются в меха и запирают ставни, потому что сильнее всего вздыхает море в весеннюю пору, когда рушатся мартом льды, и в пору, когда близко зимнее возвращение льдов, блуждавших все лето у сизо-зеленого ледяного материка Гренландии. В эту пору — дует норд. И для людей моря норд — это зов, ибо в весенний норд уходят люди моря бить зверя, и в предзимний штормовый норд возвращаются с навагой к земле, уже белеющей снегом. Люди моря — матросы и капитаны, зверобои и рыбаки; и у людей моря — обветренные сердца и солью закоростевшие души. Люди моря плавают на каботажных судах, идущих по русским портам, и на тяжелых океанских судах дальних плаваний, идущих в чужеземные порты и в чужие моря, и люди моря на парусниках уходят на добычу — на семгу, треску и навагу, и люди

моря на двухмачтовых гафель-шкунах идут на бой матёрого зверя — тяжелого многопудового лысуна.

В предзимнюю пору последним рейсом идут пароходы. Над океаном туманы, снег и крупа, и пароходы идут во льдах, которые надо колоть и рушить, иначе затрут льды пароход. Тяжелые горы воды одолевает пароход, он обвисает ледяными иглами, ванты его пушисты от инея, и он бьется во льдах, как горячее сильное животное. Если добрая судьба парохода, то придет благополучно он, наконец, после многих дней путей и туманов в порт. Порт — это суша, земля, засыпанная снегом. И на землю, засыпанную снегом, сходят зимовать моряки.

Зимой безлюдны, угрюмы зимующие пароходы; угрюмые вахтенные сторожат их. Трубы их не дымят, и палуба засыпана снегом. И моряку на суше зимой неприютно. Моряк зимой спит на суше, он засыпает, как муха или паук, потому что на суше нет соленого ветра пространств и нет борьбы, а без борьбы для моряка скучна и утомительна жизнь. Он крепко накуривается за зиму табаком, и за зиму он больше устает от земли, чем за все осенние штормы на море. Зимой варят капитанские жены кофе, и капитаны пьют с женами кофе, курят табак и люто спят, потому что зимою не слышно зова моря, оно заковано льдом, и только тяжелые тугогрудые ледоколы мрачно рушат зеленые глыбы.

Зимой приходят на своих оленях самоеды, у оленей теплые ноздри и губы, и у важенок — оленьих самок — милые и покорные глаза. У самоедов красная бахрома век, ибо у самоедов — трахома, самоеды насквозь пропахли звериным жиром, у них черные тонкие волосочки бровей и сквозных усов, а за сквозными усами — редкие желтые зубы. И у самоедок пестрые малицы и пимы, в которых — кажется, спят они и любят мужей и рожают миру детей. И зимой: самоеды, треска, и вьюжные ветры, и стылый полярный день. Полярный день рождается к полдню, он мутно сизеет час и другой — и никнет назад, в космическую бездну времен, и тогда опять — ночь, вьюжные ветры, тре́ска, дым и искры самоедских юрт.

Спит море. Море спит месяц, один и другой, и третий: оно спит, пока медленно переваливается старый год за новый, и медленно, зазубринку за зазубринкой, сдвигает на ниточке свой деревянный брусочек-календарь зырянин. В эту пору дует еще хвиус — зимний лапландский ветер, и над поларским селением снежные простыни бурунов и мга. И сходит в пору эту двига зимы — последний полярный холод. Он сковывает землю чугуном, и сиз и низок, и белки спят в своих дуплах, потому что не выдержать малому сердцу белки смертного этого холода. И вот — в полярной стыли и сизи — дрогнул вдруг день. Дрогнул он незаметно, ничто не изменилось, но дрогнуло вместе со днем сердце охотника, и дрогнуло вместе со днем сердце моряка. Все та же стыль, но голубее завеса дня, воздух холоднее, но выше — и по-утру раз падает на снежную землю слабый розовый отсвет. Это — родилось солнце. Это — зачала самоедка дитя. Солнце круглится, круглится под малицей живот самоедки, морозный чугун расковывает свой обруч, дни голубы и розовы, и белка вылезает из дупла и стрекочет.

В эту пору матросы и капитаны, идя по улице, чаще поворачивают лица к ветру, и волосами ноздрей щупают они этот ветер, как материю щупают пальцами, ибо ветер этот — ветер моря. Ибо ветер этот — норд и норд-ост, и зюйд-ост — *север, полуночник, обедник;* ибо вослед этим ветрам придут зюйд-вест и зюйд-вест — *шалоник, летний и запад*. Еще густо посыпаны снегом корабли на приколе, но уже чернеют ванты сыростью пеньки, и матросам и капитанам неспокойно на суше. В феврале несет метелицей, заметает море, в феврале смолят звероловы раншины — свои лодки с фальшбортами от весенних штормов, ибо в феврале густо приходит зверь, и в феврале идут на раншинах зверобои бить зверя. И угрюмые корабли, тяжелые корабли морей, загадочно чернеют в порту, они тяжело сверлят мутное небо своими фок-мачтами, ибо для кораблей наступает пора жизни, пора плавания по свободным морям.

И вот суда ошвартованы заново, они пахнут мокрой пенькой и будоражащей краской скитаний, они черны еще и неподвижны, но капитаны уже бреют зимнюю щетину своих щек, и в недрах с пеньковыми мокрыми концами, с ведрами, наждаком и зубилами копошатся матросы, кочегары и машинисты.

С кораблей на сушу проложены сходни, и в клубе The Leameno Union — в клубе моряков, где сходятся моряки всего мира, где играют на рояле моряки всего мира джигу, интернационал и фокс-тротт, — в клубе блеск золотых штурманских пуговиц, крутые носогрейки капитанов и матросские кепки, в клубе, отставив подальше от дальнозорких глаз, читают журналы и смотрят в журналах картинки, и щелкают костяшками домино. И в клубе — предпутевая кутерьма, ибо зовет теперь к себе море полным голосом. И вот в день, в час, тяжело клубя дымом, ревет и трижды взывает пароход у морской пристани. Пароход у морской пристани первый уходит в море, в каботажное плавание, пароход открывает весеннее плаванье кораблей и великие морские пути — морями и океаном — в дальние, непостижные страны. И на смену зимней спячки на суше — приходят карты морей, компаса, штормы и штили и незабываемая память потерь.

Незабываемая память потерь. Ее хранят моряки, они хранят ее десятилетия, и дети матросов знают потери и жертвы, какие были при их отцах, ибо море — незапахиваемое временем кладбище. Годы идут, время и дно морей засасывают остовы затонувших пароходов и одни сирены маяков не устают оплакивать ушедших в море и не вернувшихся назад. Имена людей уходят, но помнят матросы и капитаны каждую банку, на которую сел пароход, и каждый риф, о который разбился пароход, и помнят они имена пароходов, которые гибли и на которых гибли люди, и всей морскою семьей — капитанами и матросами всех наций, плавающих по этим морям, знают они имена — русские имена — английские матросы и английские имена — русские матросы. Ибо зов моря для всех моряков одинаков и утраты в море — для всех моряков неизбежны.

И кто был граф Лидке — вряд ли помнят теперь и в Германии, но спросите английских, норвежских, русских капитанов, ходивших по Белому морю,

знают все капитаны графа Лидке, ибо пароход с его именем лежит в Мезенском заливе.

* * *

В августе в полдень проводил я в море тральщик «№ 15». Я сидел на корме двухмачтовой шкуны помора, за двухмачтовой шкуной был белый горячий камень Архангельска и розовые женщины купались в голубой воде Двины. Я сидел на корме двухмачтовой шкуны, и хозяин шкуны — помор, пришедший за солью из Койды, с Летнего берега, был моим собеседником, у него была в этот час обильная словами душа, горячий пот стекал с него потоками, и неотразимый сивушный дух самогона блаженно сиял с ним. Помор исходил восторгом этого мира, он давно пропил соль, и пропил серебряные часы, и пропивал теперь сапоги. Мы сидели на корме его шнеки, он кропил меня слюною восторга, и мимо в полдневный зной прошел мимо нас в море тральщик «№ 15». Веселозубые прочные люди стояли на рубе тральщика, и по берегу вслед тральщику шли две световолосых женщины, в их золотисто обгорелых руках колыхались платочки, и люди на рубе тральщика улыбались и махали фуражками. Тральщик шел к Канину носу, к радио-станции Канина носа, на тральщике были матросы, и радиотелеграфисты станции, старший механик и начальник станции, которая ловит зовы и переклики материков и плавающих по морям пароходов. Тральщик вез на станцию людей и припасы, он был серо-окрашен и медленно шел мимо белых домов Архангельска и стаек женщин, плескавшихся в воде. Это были дни голубого штиля, и самогонный штиль скоро свалил помора в досчатом корме шнёки, где было темно и слышен плеск воды о бока. И навстречу голубому штилю шел из полярных пространств шторм.

Шторм набух дождевой завесою, он понесся к утру косым летящим дождем, он обрушился у выхода из горла Белого моря на тральщика «№ 15», закрутил его, завалял с бока на бок, но тральщик вез людей и припасы на радио-станцию, и на тральщике были люди службы и долга. Люди службы и долга довели тральщик сквозь шторм до мыса Канина носа, который торчит в океане, как палец, на северо-восток. Тральщик бросил якорь и стал в полмиле от берега, ибо в штормы нельзя подойти к каменистому берегу Канинской земли. Тяжелые волны в россыпи пены бились о скалы, они взлетали пенистым смерчем в самое небо, и черные мокрые скалы были угрюмы, как родина Каина. Но люди на тральщике — были люди долга и службы, люди на тральщике привезли припасы на маяк и радио-станцию, которая указует путь всем мореплавателям, и люди долга и службы спустили шлюпку и сели в шлюпку, чтобы везти припасы на берег. Шлюпку трепало и било о борт, она ныряла и захлестывалась волною, и снова вскидывалась в ребринах весел. Шесть раз в непосильный шторм, в ветер на 9 баллов, уходила она к берегу и возвращалась, она перевезла все припасы, и в седьмой раз повезла она на берег людей — начальника станции, механика, телеграфистов, матросов. И пошла в седьмой раз к берегу с людьми, и седьмой раз был последним, когда шла шлюпка к берегу, потому что тяжелой волною взмыло шлюпку

на риф и легко опрокинуло, и людей — семь человек людей — в один вздох захлестнуло и понесло в океан. И из семи людей, отличных, веселозубых людей, спасли одного только, и одного еще выкинул на рифы мертвого океан, и его одного вез в трюме назад тральщик «№ 15». Удивленные рыбы будут тыкаться тупыми носами в добычу, несомую морем, и одни рыбы будут сторожить океанское кладбище без памятников и крестов. Да разве поморы в годину плохого улова поставят на черном мысу белый крест, как память по жертвам моря.

Но год спустя матросов тральщика «№ 15» снова жадно потянет в море; идя по суше, повернут лицо они к жгучему норду, ибо в жгучем норде — голоса моря, и голоса моря слышат те, для кого море — зов и судьба. Светловолосые женщины, идя по берегу вслед, будут махать платочком в бронзово-золотистой руке другим, ибо веснюю заново дышит сердце моряка запахом моря и любви, и капитаны, которым не дано уже любить в весеннюю пору, стоя на мостиках, блаженно будоражат сердца крепчайшею самокруткою.

Обкуривал меня самого капитан такой самокруткою, а позади нас стоял рулевой, рулевой был — молодой матрос, ему было 19 лет, не более, на приморской пристани провожала его девушка в платочке; девушка стояла на берегу молча, и он молча стоял на палубе парохода, держась руками за ванты, они не сказали друг другу ни слова, и так молча они простились. Юноша уходил в море, ибо юноша был — молодой матрос. Он стоял позади нас за маленьким колесом руля в сосочках перехватов, глаза его были уже в морском дальнозорком прищуре, и одно только море лежало в его глазах, потому что женщина для матросов — это отдых и суша, а море — труд и судьба.

14 августа 1924 г.
М. Керецкой.
Белое море.

## XIV. В кают-компании.

За черными воротами шхер остался океан: он был искажен пронесшимся штормом, и белый дым пены и брызг окутывал рифы. В мокром становище, залившемся под черными кручами, подошел к пароходу карбас, в карбасе плескалась вода, с парохода опустили веревочный трап, и по трапу взобрался на палубу мокрый человек; у мокрого человека были сизые хрящеватые уши и за плечами ружье и мешок с набитою птицей. Пароход проревел трижды, карбас с мокрыми поморами ушел назад в становище, и рдяное полотнище послененастного заката заполыхало на зыби Кольского залива. Человек спустился в кают-компанию, он снял с себя рыжую мокрую куртку, из его мешка просовывал мертвую голову черный убитый лебедь.

За длинным столом кают-компании сидели голландцы, в кэпи с бронзовыми гербами, курили трубки и играли в маленькие атласные карты. Они потерпели кораблекрушение; теперь на чужом пароходе везли их обратно,

родину; где-то между черными становищами, на пустынном мурманском регу, остался их прекрасный пятитысячетонный погибший пароход: он очно сидел на банке. Голландцы, сдавая атласные карты, смотрели, как мокй человек достал из мешка жареную утку, он рвал ее зубами и разгрызал сти, как собака; это был островной человек, он не ел кряду несколько дней, кончики его хрящеватых ушей порозовели. Потом стал он пить чай, он пил великое множество стаканов чая — и тогда человек отошел совсем. когда человек отошел от стужи и голода, и окаянной пустыни заброшенго под скалы становища — у человека возник голос, и этот голос был к страстная музыка, потому что говорил человек о России.

Голландцы, возвращавшиеся, как путешественники, на свою спокойную дину, сдавали карты и смотрели удивленно на островного человека, котой ходил по кают-компании и размахивал длинными руками Дон-Кихота. с'ел целую утку и выпил не меньше двух чайников кипятку, и он разво громадные руки, как ножницы, — удивительные люди водятся в России, этой холодной стране ветров, странные и неприятно-громкие люди. Голндцы все дни играли на мандолинах, они весело скалили скверные зубы, рили отличный табак и часами просиживали в салоне; теперь бегал взад и ред мимо них сумасшедший островной человек, он кричал и махал руми и мешал счету, который они вели. Тогда голландцы собрали карты и ли из кают-компании наверх. Мы остались вдвоем с островным челоком, к нам скоро пришел капитан, и пришли штурмана, свободные от т, ибо человека этого знали все моряки.

Человек ездил из становища в становище, из порта в порт, человек учал подводные части наших судов — это была его просия. Он ездил по океану на пароходах, ботах и шкунах, как на перендных, и пароходы, боты и шкуны были для него, как стадо домашних жиных, каждое знал он по имени, и о каждом была в дневнике его запись — ория неизлечимой болезни.

Человек разводил ножницы рук, он шагал по кают-компании и гово мне, потому что был я проезжий человек:

— Знает ли кто-нибудь, на каких посудинах ходят русские мореватели, видел ли кто-нибудь эти промятые днища, облезшую краску и вещие ракушки, грызущие обшивку судна? Есть ли такой иностранецитан, который согласился бы выйти в океан на подобной изношенной, окалетней кастрюле? Русский помор, русский капитан, русский матрос — тоящие победители моря, на шнёках с заплатанным парусом, на пароходе, котором нет даже электричества и нет радио, чтобы послать весть об рии или призыв о помощи, выходят в море русские мореплаватели. Русе суда стоят без дела в портах, и русский лес вывозят на зафрахтован английских, норвежских, шведских пароходах, а если фрахтуют, наец, русский пароход — его гоняют с одного на другой лесопильный заы подбирать рейки — обрезки материала и мусор, и он грузится целый яц, потому что он — мусорщик и старьевщик, и потому что ни один странец не пойдет подбирать по заводам мусор!

Штурмана молчаливо сосали трубки, временами глаза их в сборочках морщин, привыкшие видеть одни горизонты, теплились огнем и потухали. Желтые скулы капитана зарозовели легчайшей краской. Человек глядел на меня округлыми островными глазами, он пламенно говорил о своей несвершимой мечте, чтобы красили наши суда хотя бы в два года раз: после каждого рейса красят иностранцы свои пароходы, а наши суда ржавеют и гибнут, и знаем ли мы, проезжие люди, что вот у этой посудины, которая идет в заграничный рейс, промято днище, и стоит ей только покрепче стукнуть о банку и к черту сорвет всю обшивку. И знаем ли мы, проезжие люди, еще что такое шнёка помора? Шнёка помора — это соха, которой двести лет назад ковыряли землю, это лодченка — дыра на дыре, в которой ни один юрвежец не выйдет в море, у норвежцев есть тральщики и моторные боты, і наш помор выходит на шнёке в океан, и если только навалит хороший юрд-ост, его загребет вместе с его сохой — и он это знает.

Человек размахивал руками, он был болен этой мечтой, он ходил по хают-компании. Сверху пришли еще младший штурман и механик, и двое :тарых матросов, и кок — они сели вокруг стола, тяжелая лампа раскачивалась мерно, и все пришли послушать о том, что было делом и болью их кизни. И капитан, который сорок лет плавал по всем морям, который ходил Индийским океаном в Индию и Китайским морем в Гонконг, сыпля угли і искры своей самокрутки, скромно рассказал нам, проезжим людям, как іа этой самой сорокалетней посудине с промятым днищем он потопил анлийскую подводную лодку, пустившую мину по пароходу. Он пошел на юдводную лодку и потопил ее, потом пришли миноносцы, и в газетах пиали, что миноносцы потопили подводную лодку, потому что дело миноюсцев топить лодки, а это был всего-на-всего старый и безоружный торгоый пароход, и совсем не его делом была война. И он рассказал еще, :ак в прошлом году последним предзимним рейсом, когда давно уже встали іа зимовку иностранные суда, на этом самом пароходе ушел он за навагой. Он агрузил 5.000 пудов наваги, и в это время пришли уже льды, и надо было пасать пароход с помятой обшивкой, потому что льды затерли бы пароод и сжали бы его, как орех. Это был настоящий ледяной поход, шестадцать дней блуждали они между льдов, три раза казалось, что пароходу е выйти уже из ледяного поля, люди измучились и заледенели, не прекраалась снежная метель — и все же сорокалетнюю посудину с 5.000 пудами ыбы и двумя десятками людей привел он в порт, в Архангельск, и ему наначили премию в 20 рублей, за спасение парохода и рыбы.

Голландцам надоело бродить по палубе, дул свежий ветер, странные юди, даже матросы набиваются в кают-компанию на русских пароходах. 'огда они пришли в кают-компанию, сели спиною к нам вдоль стола, коорый облюбовали для себя в путешествии, и потребовали чаю. Кок ушел )товить им чай, и за коком ушли матросы и штурмана. Голландцы спали юкойно в то утро, когда проходили мы мимо их погибшего парохода. Это ыл красавец в 5.000 тонн, он погибал на берегу бесславно, и так как никто з них не плавал на нем по 30 лет, и не выводил его из ледяных полей, и

іе топил на нем подводных лодок, и так как никто из них не понимал, что южно любить судно и беречь его, как часть своей жизни, — встали они в это 'тро в 12 часов, пили чай и играли на мандолинах.

Пароходная горничная принесла на подносе чай, наконец в кают-комании остались голландцы одни, теперь они могли пить чай, не спеша тасоать маленькие карты и вести счет партиям. Красная струя заката ползла квозь дыры иллюминаторов, она переползла с полированной дубовой спинки тула, плеснулась на стене, и широко повязанный галстук Ленина в белых орошинках зажегся пожаром.

20 августа 1924 г.
Мурманск.

# Вокруг Селигера.

(Очерки новой деревни.)

И. Нусинов.

## Классовое расслоение деревни.

Деревенская школа полна детьми, которые не помнят Николая и которые никогда не видели помещика, на деревне нет уже такого старика, отец которого был бы крепостным, но помещичью землю крестьяне поныне называют «большой барщиной» и «малой барщиной».

Не дожидаясь никаких декретов и распоряжений свыше, крестьяне одной деревни засеяли осенью 1917 года и весной 1918 года землю «большой барщины», и другой деревни — землю «малой барщины» и тем установили новое равенство в своей деревне и новое неравенство между своей и близлежащей деревней.

До революции обе деревни работали у помещика, после революции — каждая деревня решила, что земля, над которой целые поколения крестьян гнули спину и проливали пот и кровь, принадлежит ей, и поэтому поделила землю между своими крестьянами.

Вышло так, что деревни, имевшие богатого помещика, получили по десятине на душу, имевшие помещика победнее — по полдесятине, а деревни, не имевшие поблизости помещика, ничего не получили.

Эта земельная реформа снизу была дополнена земельной реформой сверху: экспроприацией земли у зажиточного мужика, владельца 15—20, а то и всего только 5 — 6 десятин земли.

Деревня считала справедливым захват помещичьей земли и совершила его при первой возможности. Но сразу никому не пришло в голову, что можно и должно перераспределить землю у своего родного, более богатого крестьянина. И это главным образом потому, что поныне деревня убеждена, что разница в имущественном положении кулака и бедняка — результат трудолюбия и хорошего образа жизни первого и лодырничанья, а то и пьянства, последнего.

Перераспределение кулачьей земли пришло уже позже, как реформа сверху. Но так или иначе оно произошло, и деревня теперь не знает земельного неравенства. Таким образом земельных имущественных противоречий

в одной и той же деревне нет. Здесь существует неравенство между дву: соседними деревнями.

Использовать это неравенство в процессе политической борьбы, однак весьма трудно:

во-первых, само неравенство не столь значительно: если у бедной дере ни 0,4 — 0,5 десятин на душу, то и у богатой деревни не больше 1,5 десятин на душу. На таком клочке песчаной или каменистой северной земли, конечн не разживешься.

А главное, перераспределение земли между 2—3 обществами при отсу ствии землемеров — дело необыкновенно трудное: перераспределение зем. даже в пределах одной деревни иногда подолгу задерживается из-за недостат землемеров.

Расслоение деревни таким образом определяется наличием большего и. меньшего инвентаря, количеством скота и посторонним заработком.

Но и этих факторов расслоения в обследованной нами волости не сл дует преувеличивать.

Земля обрабатывается главным образом сохой и деревянной бороно Плуги исчисляются единицами. Что касается скота, то в средней деревне в 3 примерно, дворов имеется всего 4—5 дворов с четырьмя головами крупно скота — это кулаки; 15—18 дворов с 2—3 головами крупного скота — э середняки; 5—6 дворов с одной лошадью или одной коровой (скот в райо вообще очень жалкий); 3 — 4 двора — без скота — последние две группы - бедняки. Конечно, разница между положением безлошадника и владель 4 голов скота — весьма значительная.

Посторонние неземледельческие заработки являются главным образо трудовыми заработками: сплав леса, рыбная ловля, плетение сетей, рабо в Кронштадте и Ленинграде. Все эти трудовые заработки в среднем да крестьянской семье не больше 6—8 рублей в месяц. Ничтожность заработ об'ясняется отсутствием работы: в Кронштадте и Ленинграде, где зар боток выше, только отдельным счастливчикам удается получить рабо и зачастую даже не на всю зиму, а только на несколько месяцев.

Еще тяжелее безработицы — низкая заработная плата. Плетением сете чем занято большинство населения, крестьянская семья, состоящая из муж жены и трех детей, зарабатывает 1 р. 50 к., редко два рубля в неделю, при это дети отрываются от школы и отпускаются на учение лишь в те дни, ког работы нет.

Все эти трудовые заработки не особенно увеличивают бюджет кресть и не являются факторами расслоения. Ими являются нетрудовые заработк Это — работа в Кронштадте, Ленинграде, или деревне, доходы от самогон кабальные сделки более богатого крестьянина с бедным: аренда лошади н распашку за 15—20 пудов, что составляет почти половину хлебного сбо бедняка, ссужение семзерна (на-ряду с кабальными ссудами семзерна м встретились с такими случаями, когда кулак ссужал зерно на более выгодны условиях, чем земотдел). Отдельный вид формально трудового кулачества - это ремесленник, в частности,—кузнец.

Большей частью это деклассированный ленинградский рабочий, в годы гражданской войны вернувшийся в деревню, здесь осевший и разбогатевший на починке сельского инвентаря.

Как уже было сказано, крестьянин вынужден уходить зимой на работу в Ленинград. Там при приискании работы он встречается с биржей труда. Крестьянин склонен смотреть на биржу труда, как на орудие защиты рабочего против конкуренции деревни. Не получив места или найдя, но быстро потеряв его,—он возвращается в деревню, озлобленный против городского рабочего, и после этого уже чрезвычайно подозрительно смотрит на рабочие привилегии.

Крестьяне завистливо расспрашивают про рабочий кредит:

— Рабочие часы и самовары на выплату получают, а вот у нас за семена какие проценты берут? А у многих, кто в кооперативах не состоял, поле не совсем засеяно: семян не было. Налог за эту пустующую землю будете требовать.

Еще с большей завистью и подозрительностью расспрашивали крестьяне о рабочем законодательстве, об охране здоровья работниц.

— Когда работница рожает, ей сколько месяцев жалованья идет, а она дома сидит, а после ее ребенка в приют берут. Так вот, нельзя ли,—требует крестьянин,—нельзя ли мою жену, когда она тоже тяжелая, записать, как неработоспособную, али за двух едоков записать ее. Вот баб спросите, они скажут вам, что к тому времени, как налог платить, уж во многих семьях на всю избу будет пищать маленький. У работницы сейчас же пискуна в приют заберут, а наша женщина тащись с ребенком в поле, а какая она с ребенком работница? Приходится бросать ребенка, одно слово, как щенка.

Особенно выступают два основных вопроса, волнующих крестьян: а) налоги царские и советские и б) участие других классов в бюджете.

Частью из-за своей недостаточной грамотности и короткой памяти, частью из-за того, что царские налоги на крестьян были главным образом косвенные, многие крестьяне считают, что при царе налогов совсем не было или они были ничтожны. В этом смысле нашему агитпропу крайне необходимо проделать работу по раз'яснению самым широким слоям крестьянства сущности царского и советского бюджета и в особенности разницы между нашей и царской налоговой политикой:

Второй вопрос касается распределения тяжести нашего бюджета между различными классами.

Вопросы вроде таких: «с одних ли крестьян налог берут?» и «какие налоги на рабочих и городских торговцев?» — неизменно ставились во всех деревнях.

Здесь заметно сказывалась предварительная работа кулацкого «агитпропа».

— Вот наши в Кронштадте торгуют, их там налогами допекают. А какой у них промысел — одно название торговля. Бывало в год по 300 — 400 руб. присылали домой, а теперь ежели кто 50 руб. пришлет, бога благодари.

— Чего в Кронштадте, здесь кузнеца нашего как обкладывают! За чинку сохи два пуда взял. Грит, никак меньше нельзя, налоги осилили. все на нашего деревенского, — городского не трогают.

В деревне Балашове один крестьянин выступил с особым об'яснением шего бюджета:

— Порешили в городе, чтобы за один год всю порчу войны исправить. азывали те, кто в Ленинград на работу ходили, что все дома и все улицы :то справляют. Шутка ли, дворов-то в России сколько и с каждого двора иое малое 10 пудов берут, за один год всю страну обстроят.

И когда мы сделали перед сходом примерный подсчет, сколько денег дает лог с 18 миллионов крестьянских дворов, какую часть нашего бюджета :тавляет эта сумма, чем покрывается остальной бюджет, то крестьяне долго знимательно рассматривали листы с крупными цифрами, где многочисленные ли красноречиво повествовали о непривычных для крестьянского сознания пичинах, так близко касающихся крестьянина и так наглядно показывающх, что обида на брата-рабочего — несправедлива.

— Да, правда ли это? Городской сам себе хозяин и сам же платить дет? Может ли это статься?

И опять стало ясно, что и здесь кулацкий «агитпроп» нас опередил.

Мы страшно мало сделали, чтобы об'яснить деревне принципы шей бюджетной политики, тогда как кулак, деревенский торгаш, деет все возможное, чтобы именно в этом пункте вызвать недовольство середка и бедняка.

Редкий крестьянин в состоянии ответить на вопрос:

— Кто заменил Ленина на посту председателя Совнаркома?

Обычно отвечают:

— Не дошло еще.

И в этом «не дошло» слышится вековое бесправие: как будто кто-то зьмет и скажет, когда будет нужно.

Но до всех дошло, что мы собираемся какую-то часть долгов платить глии.

Крестьяне удивлены:

— Почему вдруг платить? Ведь все время говорили, что не будут атить.

На сходах часто требуют точных об'яснений и очень внимательно и терливо выслушивают доклады о международном положении. Крестьяне сознают о, например, события в Лондоне имеют очень близкое отношение к тому, олько им придется платить налогов.

На одном сходе, когда присутствовавшая на нем московская студентка У. М. Н. З. передала, что на докладе, читанном тов. Раковским в университе, накануне его выезда на Лондонскую конференцию, тов. Раковский явил, что часть займа, вероятно, пойдет на закупку в Монголии скота я крестьян, то крестьяне совсем обрадовались:

— Вот они, наши коммунисты, что выдумали, не то какие мы хозяева и нашей лошадке: одно название скотина.

Хитрый кулачек попробовал вызвать подозрение ко всему этому рассказу о предполагаемой закупке скота и набросился на девушку:

— Да, так он с тобой и разговаривал, чай он как бы министр ыходит...

Но одна из баб заступилась за девушку:

— Дурачье ты, он на собрании говорил, она и слушала, она баба толовая. Вишь, умник нашелся. С министром разговаривала... Чай не царский иинистр.

Весь сход смеется над кулачком по поводу того, как его бабы отшили, лишь один старик, у которого два сына служат в Красной армии и который оэтому чувствует себя здесь более авторитетным, успокаивает разошедшееся обрание.

Интерес, постоянно проявляемый крестьянами к крупным вопросам еждународной политики, лишний раз показывает, что прав был тов. Зиновьев, казавший в одном своем докладе на необходимость уделить максимум внимаия на раз'яснение крестьянству вопросов международной политики.

К сожалению, находящиеся в избах-читальнях брошюрки-доклады на еэдах и конференциях о международном и внутреннем положении соверенно недоступны и непригодны для нужд деревенского массового читателя. одержание такого доклада должно специально для деревни пересказыаться и издаваться отдельными брошюрками в пол-печатных листа так, тобы каждому из затронутых в докладе вопросов была посвящена отдельная рошюра.

## Укрывательство скота от обложения.

Тон на сходах обычно задает середняк. Кулак знает, что его обрежут. бедняк угрюмо молчит. За этим молчанием чувствуется обидное сознание эдняка, что, мол, все равно к кулаку придется весь год ходить одалжииться.

Даже когда кулак перед лицом всего схода показывает уменьшенное эличество голов скота, то бедняк молчит.

Зачастую в первую очередь из терпенья выходит жена бедняка. Увидев, го кулаку, при его большом хозяйстве, придется платить почти столько же, олько и ей, она бросается в бой:

— Прошли времена. Не земскому, нашей крестьянской власти покаываем. Нечего жульничать. Скажи-ка, Иван Трофимов, ты человек эезвый, когда же ты две коровы и одну лошадь пропил, что только одну казал? А ты, Миколай, чего своего городского хлыста среди едоков покаал? Стыдно, сыночек имения с города присылает, а он его едоком у себя жазывает.

Пристыженный кулачек выворачивается:

— Какая же, мол, это лошадь, — ведь она скоро на колбасу пойдет! его, соседка, пакостишь?

— А ты не жульничай, — огрызается баба.

## Долой торгаша! Даешь кооперацию!

Крестьянин с марта покупает хлеб. Однако осенью он продает его. Надо лог платить, с кулаком за семзерно или за одолженную на вспашку лодь рассчитаться. Как осенняя продажа, так и весенняя покупка хлеба ет через частного купца.

Зимой крестьянин занимается рыбной ловлей, в озере, и еще больше тением сетей. Спекулянту продает рыбу, у спекулянта покупает, а то и ет в кредит пеньку. Ему же сдает после сети. В результате крестьянская ья, как уже было указано, получает за недельную работу четырех-пяти овек — 1 р. 50 к. — 1 р. 80 к. в неделю, а спекулянт на этих операциях абатывает 200 и больше процентов.

Отчеты учителей сельской школы показывают, что зимой школа пустует елями, потому что дети заняты плетением сетей, которые являются источком накопления для спекулянта.

Коммунизм и торгаш плетут свои сети. И деревня вырешит: кто кого. лость, с ее тремя тысячами дворов, состоит из пяти районов. В каждом оне предстояло завербовать сто членов и открыть одну лавочку.

Работники уезда скептически покачивали головами:

— Ставьте одну лавочку, и на том спасибо скажем.

Когда, после первого воскресенья, посвященного кооперативной кампаи, мы обошли всю волость, нам стало казаться: а, пожалуй, местные ботники правы. Они лучше знают местные условия. Мы, действительно, ткнулись на непредвиденные трудности.

— Слыхали. Не раз пробовали. Наши рублевые паи стали миллионами, пудов товара, что в первые дни в лавочке были, золотники остались.

Принесенную литературу по кооперации пришлось спрятать, заготовлене речи о борьбе с частным капиталом отложить до другого раза. Надо было ньше проштудировать с деревней курс по финансовой политике, рассказать, такое твердая валюта.

Нашей теории пришла на помощь финотдельская практика.

Как раз в это время ВИК производил по деревням выкуп советского знака.

Одна старушка, получившая серебряный пятиалтынный, тут же перестила себя и монету и молитвенно вздохнула:

— Сподобилась. Уже и не чаяла больше на своем веку увидеть такого,— сибо тебе, господи, дожила.

Выкуп дензнака и наши собеседования о денежной реформе убедили креянина, что денежная основа кооперации на-лицо.

Теперь подошли к основным трудностям:

— В кооперативе дороже, чем на базаре. Там наш деревенский товар ев, а ваш городской — дорог.

А главное:

— Некому у нас доверить кооператив. Кого из наших ни поставишь, лавочку к себе перетащит.

— Кооперативы наши пустели, а у кооператоров железные крыши на збах появились, и в стадо кто по 4, кто по 5 коров погнал.

— А народ на что смотрел? А суд, тюрьма на что?

— Сейчас видно, что городской ты. Не знаешь нашего брата, деревенщину. Кооперативный всегда нашему сумеет очки втереть. А там: не оймал, не вор.

— Да что поймать! У нас суд революционной совести. Много доказаэльств не надо. Пусть скажет: откуда у него такие богатства, когда у народа, :ли по две коровы, то богач.

— Да мы же тебе говорили, что ты — городской, нашего брата не наешь. Взялись-было за одного. Вот, что домик беленький у старого судьи гкупил. Где деньги взял? Арестовали, жена бух сходу в ноги, а он ведро ıмогона поставил, народ сразу все простил. Сжалился. Пусть бог его 'дит.

*И все эти разговоры неизменно кончались безнадежным отчаянием:*

— Не, будет, не желаем своей кровной копейкой чужие домики красить.

Крестьянское недоверие к своим силам всячески поддерживалось кулац-э-торгашеским элементом. Кулацко-торгашеский «агитпроп» умело исполь-'ет горький опыт недавнего прошлого деревенской кооперации, больше всех :рпевшей от систематически залежавшегося сов. дензнака, от бесконтроль-ɔго хищничества примазавшихся к ней кулаков и торгашей.

Сейчас тот же кулак больше всех кричит о былых хищениях в лавках, бедняки только вздыхают:

— Оно бы хорошо кооператив по-хозяйски поставить, да ничего не ийдет: ни одного честного среди нас.

— Да как же так, царя и помещика прогнали, с Деникиным и Юдени-:м справились, а со своим деревенским вором справиться не можете?!

— Городские наши верховодили: без них ничего не вышло бы. А здесь е их возьмешь? Студенты поживут лето, да и айда в Москву.

Стало ясно, что дело ни на шаг не двинется вперед, пока не ударишь по лацкому агитпропу.

Мы решили связать кооперативную кампанию с налоговой. Мы стали всех сходах — и еще больше путем обхода крестьянских изб — нагляд-ıми цифровыми примерами показывать крестьянам, сколько крестьянин ıлатит сельско-хозяйственного налогу и сколько представит собою та сумма, ıторую он за год переплатит частному торговцу во время своих закупок продаж.

Этот прием противопоставления друг другу двух налогов государству частному торговцу — имел успех и, кстати, еще раз показал нам, как мало ıициативы проявляем мы в издании агит-литературы. Какую службу сослу-ıла бы нам, например, в этой кампании понятно написанная брошюра, где ıло бы указано, какую часть крестьянского бюджета составляет гос-налог и ıкую часть этого бюджета забирает частный торговец.

Эта комбинированная кампания дала результаты: за две недели записась в кооператив, внеся вступительные взносы, около 600 человек.

На делегатском собрании, созванном для выборов правления, делегаты го и упорно убеждали собрание голосовать за комсомольца, руководителя шугино-Горской избы-читальни.

— Даром, что молод, а уж за бедных постоит и чужого не возьмет.

Когда собрание все же забаллотировало комсомольца:

— Какой же он нам указчик, такой молодой? — крестьянки взяли реванш, ившись избрания местного крестьянина коммуниста.

Когда перешли к выборам ревизионной комиссии, старик—член прези- ма собрания — на приглашение войти в ревизионную комиссию, отказы- сь войти, ответил наказом правлению:

— Чего меня, старого, глух и немощ, молодых в ревизию зовите, главное, сами хорошо дело ведите. Не то ревизор, человек чужой. Одно ько смотрите, чтоб наш товар не был низок, а ваш высок. А пуще всего иних приказчиков не ставьте. Десять приказчиков—десять самых специ- ных воров. А лишний приказчик и к тому же вор—самое огневое место оператива, на нем и вся кооперация горит.

И в шумном одобрении собрания ударили слова: — «приказчик-вор — евое место кооперации». Здесь чувствовалась горечь крестьянина на наш зяйственный аппарат. В его словах: «наш товар низок, а ваш—высок», чала не только жалоба на тяжелый материальный удел деревни, но и да за свой тяжелый крестьянский труд.

Десятикопеечные вступительные взносы и полтинники членпаи едва тавили сумму в 300 руб.

И вот ко дню кооперации в совхозе «Новые Ельцы» открылся централь- й кооператив, а в районах — 4 районные лавки.

В первый месяц кооператив во всех своих пяти лавках наторговал на 00 руб. Число членов приближается к тысяче, свыше 30% населения в воло- кооперировано (дворов в волости всего 3.000).

Если торговля и обмен на крестьянские продукты будет развиваться и ьше, то это будет означать, что весь крестьянский бюджет пройдет через перацию.

Крестьянки и беднота торжествуют.

Крепкие мужички покачивают головами:

— У них все дешево, покуда частного не изживут. Изживут частного, да вам покажут, где раки зимуют.

Это последняя уловка кулацкого «агитпропа».

## Сельская школа.

Не вся деревенская детвора обслуживается школой, и разница между цественным развитием детей, посещающих и не посещающих школу — мадная.

При первой встрече со школьниками нас поразила их политическая едомленность. Мы совершали с ними экскурсии по старинному графскому ку с Гончаровскими обрывами, по дворянски пышному и дворянски бестол-

вому трех'этажному дворцу эпохи Павла I, где дети графа Д. А. Толстого, вшего министра просвещения, еще пятнадцать лет тому назад, давали аристократические балы и где родители этого знаменитого гонителя «кухармных детей» еще покупали и продавали крестьян.

В круглой, двухсветной голубой зале с позолоченными колоннами, вестной среди крестьян под названием тронной, в которой, по словам арожилов, графы-крепостники чинили суд над крестьянами, маленький есятилетний Петрик, угрюмо сдвинул большую отцовскую шапку и, как бы еодолев большое усилие, выпалил:

— Да, да, судили, судили, пока их рассудили. Наложили им.

— Кому же?

— Им самым, графьям-то.

Торопливый и любопытный Сашка, который все время прыгал через три упеньки, старался обежать всех детей, опасаясь, что в тронзал, про который деревне говорят, как о графской «святая святых», его не впустят. С огромым изумлением он рассматривал небесно-лазурный и небесно-сводчатый поток залы и радостно доканчивал мысль своего товарища:

— Да кто же их рассудил! Октябрьские.

— Какие такие октябрьские? — спросили мы не без удивления.

— Чудной ты,—мужички наши, что в Красную армию пошли, и ваши, о коммуну завели, что с Лениным, — закончил он, сияя от удовольствия, о нашел нужное слово.

Через некоторое время в одной из школ происходил спектакль. В этот скресный день уже с утра дети заполняли всю школу, дожидаясь этого обыкновенного для деревни зрелища.

Я указал на висевшие на стенах школы портреты т. т. Ленина, Калинина Луначарского и спросил у детей: кто это?

Окружавшие меня дети смущенно молчали.

Вдруг один мальчуган из другого угла комнаты бросился к нам помощь:

— Не нашинские, в школу не ходят, они не знают.

— А ты знаешь?

— Конечно.

И мальчишка, как на экзамене, твердо отрапортовал: т.т. Ленина и алинина по имени-отчеству. Имени и отчества т. Луначарского он не помнил только пояснил:

— Луначарский — самый главный учитель, всем учителям учитель.

Я спросил детей, не узнавших портрета тов. Ленина:

— Кто это Ленин?

Две девочки лет по десяти, поправляя друг друга, смущенно ответили:

— Который умер, что в самом главном Кремле похоронен.

Было видно, что эти не посещающие школу ребята слышали про Владимира Ильича лишь в связи с его смертью и похоронами.

Дети, не посещающие школу, рассказывали мне:

— В тихом саду он схоронен, Ленин, в Москве. Думали посреди Москвы льшой терем построить и туда его положить. Но перед смертью он позвал иых старших коммунистов и сказал им: «Мне никакой награды не надо. і все народу дайте. А, главное, детей не забудьте. Прежде всего о них ботьтесь». Было об этом об'явлено народу. Ходили записывать детей. ничего не выдали. Неизвестно почему, но ничего не выдали.

Я им рассказал про Ленинский фонд для беспризорных детей.

— Ну, так оно и правильней У нас, видно, не поняли. А все же это авда, что он сказал: «Мне награды не надо», и велел про детей помнить.

Конечно, и школьник начинен деревенским мифотворчеством не меньше, і школьными сведениями, но все же он несравненно более развит, до естной степени разбирается в нашей политической жизни, а, главное, он ее интимными нитями связан с нашим советским строительством новой зни.

Такой школьник является дома проводником воспринятых в школе й о многопольной системе, о кооперации или электрификации. Школа питала его в доверии к коммунистам, и он несет в семью каждое слуіно подслушанное им слово.

Школьные распропагандировали своих матерей, заставив их вступить кенский кружок нашего женотдела. И дети с гордостью заявляют, что их ери состоят в кружке.

— А зачем это они записались туда?

— Сказали, помощь выйдет.

— А какая?

— Коли мужья бить будут, туда жаловаться надо, заступятся. Так же чет клеверу и как поле по-новому сеять, так сказывали.

Эти дети уже не дадут ответа о Ленине: это тот, который умер. Они, калуй, знают о нем не меньше иного городского пионера, хотя несколько иному, чем тот.

Как-то, разговаривая с детьми о деревенском быте, я вдруг перебил их росом:

— А про Ильича слыхали?

Дети только улыбаются. Что-то такое свое, родное. Да никак не принишь. Пока, наконец, один из них не сообразил:

— Да ведь это — Владимир Ильич.

Лица всех детей расплылись в широкую улыбку. И долго дети смущенно горяли:

— Вот, дурачье, не сообразили. Да ведь это наш Ленин, Владимир ич Ульянов-Ленин — правитель страны.

## Кого обслуживает школа.

Картина в школах везде одна и та же. Школа 4-годичная. Обычно, рвом классе учатся 30—35 человек, а то и 40, во втором—18—22, самое ьшее—25, в третьем — 5—8, в четвертом — 3—4.

Это значит, что, как общее правило, ребенок больше двух зим в школу е ходит. Это об'ясняется экономическим положением крестьянства; бедняк, то и середняк не может себе позволить дольше держать ребенка в школе, бо те 30—40 копеек, которые ребенок за неделю может заработать плетеием сетей, имеют большое значение в бюджете крестьянина.

Затем, при прежней постановке сельшколы крестьянин считает бесцельым дальнейшее посещение школы ребенком:

— Писать, читать и считать ребенок за два года кое-как научится, там ведь опять тому же учить будут: той же грамоте, которую он уже знает, ачем зря болтаться?

В большинстве случаев крестьянин еще пока не сознает необходимости ля деревенской практики тех сведений, которые его ребенок почерпнет из иколы.

## Как школа снабжается.

До 1923 — 24 учебного года школа никак и ничем не снабжалась. 1923 — 24 году каждая школа получила от наробраза бумагу, карандаши книги (рублей на 10—15). Волостные исполкомы произвели самый неободимый ремонт большинства помещений и снабдили школу минимумом дров.

В большинстве школ дети работали уже не в комнате учительницы, как режде, а по классам. В некоторых школах дети даже снимали верхнее платье, :ли так можно назвать те лохмотья, в которых дети являются в школу.

Если помещение и отопление сейчас хоть несколько удовлетворяют колу, то средства, отпущенные на бумагу и пособия, ни в какой мере не огли удовлетворить ее. Начнем с письменных принадлежностей. Чернил в коле нет. Дети изготовляют их из черники, земляники и красной свеклы. чителя говорят:

— Это самые желанные для нас чернила. Они высыхают, не оставляя икаких следов. Можно прочно использовать бумагу. А если менять чернила: дин раз писать черничными, в следующий—свекловичными, а затем земляичными, тогда и по нескольку раз можно писать на одной и той же бумаге.

И это не шутки, не выдумки, а факт. «Голь на выдумки хитра».

И не удивительно: бумаги так мало, что в школах, которые находятся соседству с избами-читальнями и с библиотеками, вырезают белые поля газет или из старых, из'ятых из обращения книг, попавших в библиотеку помещичьей усадьбы, и пишут на этих обрезках.

Наиболее счастливые школы получили по карандашу на ученика на весь ебный год; большинство школ получили по карандашу на двоих.

Так же плохо обстоит дело снабжения школы учебниками: «Вешние :ходы», задачник Арженникова и грамматика Некрасова—почти единствений книжный материал, которым пользуются школы Навлиховской волости. не во всех школах имеются и эти пособия. В Городецкой и Вятской школх не было букварей, и ученики их делали сами: вырезывая из старых урналов заглавные буквы и наклеивая их на картонные обложки, содраные с тех же журналов.

## Учитель.

В прошлом году учителя получали по 4—5 руб. в месяц совзнаками, орые при реализации давали 3—4 рубля. Тогда они производили впечатле- людей, недавно перенесших тяжелую болезнь. Втянуть их в беседу по пово- только что прослушанной ими лекции было трудно: люди были усталы змождены. Обычно они оживлялись лишь за чаем. Скромный чай с черным 5ом для многих из них был еще роскошью. И, оживляясь, они все время рили о лишениях, пережитых ими за годы гражданской войны.

Трудно было сказать: с нами они или против нас? Это были забитые, дные люди, которые смотрят на унаробраз, как на грозного инспектора, распоряжения нужно формально исполнять, для того, чтобы не лишиться еднего куска хлеба.

С августа месяца прошлого года материальное положение учительства ю улучшаться. С декабря они получают по 17 рублей в месяц, при чем ованье выплачивается аккуратно. Это значит, что семейный учитель перь редко кушает мясо, но все же он сыт. Даже сейчас семейный учитель стую нанимается на лето в пастухи или сенокосцы; а уже свой сенокос гель и учительница непременно уберут сами: они лишены возможности 5егать к найму работников.

В ряду сел учителя являются организаторами кружков «Безбожник», чем, если эта антирелигиозная пропаганда одна из многих политических паний,—она для деревенского учителя—новая вера. Он приходит к нам антирелигиозной литературой не только затем, чтобы читать ее кре- нам, но чтобы при ее помощи и самому укрепиться в своем атеизме. это он скорее пойдет на жертву, чем за иные политические лозунги.

В деревенской обстановке общественная работа является для учителя, ас, источником многих неприятностей.

В д. Березовский Рядок бабы выгнали корову учителя из стада за его религиозную деятельность.

— Не хотим его безбожную корову пустить. Она все стадо испор- — кричали бабы, — нечистый ее путает.

В другой небольшой деревушке, где крестьяне поочередно по две недели т стадо, старики не хотели доверить безбожнику-учителю стадо, и когда шла его очередь, то они заставили его нанимать за себя пастуха, что при ельском бюджете представляло собою большую жертву.

Теперь совершенно ясно, что если учитель не подошел так близко к нам е, так это не потому, что он так долго не изживал своих былых эсеров- : и учредиловских настроений. Со своими представлениями о наивном наро- австве он уже давно покончил, но он был слишком забит и голоден, чтобы ресоваться чем-нибудь, кроме вопроса о полупуде хлеба и вязанке дров.

Сельский учитель сознает, что его часто отчитывают за чужие грехи, ехи городской, более квалифицированной и лучше оплачиваемой, интел- нции, и справедливо жалуется. Отнюдь не угрозой, а искренним выраже- ı своих переживаний прозвучали слова одного учителя:

— Народное учительство никогда не шло против революции. Оно ишь долго оставалось с завязанными буржуазной интеллигенцией глазами. Іародный учитель не знает иных слов и иной веры, кроме веры великого іародного учителя Владимира Ильича.

Учитель, за ним кооператор, агроном и значительная часть всей дереенской интеллигенции не за страх, а за совесть идут с нами. Они все больше і больше становятся проводниками наших заданий в деревне.

Школы и учительство сдвинуты с мертвой точки. Но трудности там еще редстоят невероятные. Мало довести оклад учителя до 30 рублей, мало обесечить школу книгами и пособиями, вывести оттуда земляничные чернила церковно-приходские учебники. Самое главное—это надо поднять эконоіическое благосостояние крестьянина, иначе он не станет держать ребенка школе больше двух зим. А при таком сроке обучения лучшие программы ус'а повиснут в воздухе. Неграмотность по-прежнему останется массовым влением. Конечно, это сложная задача, которую в один год разрешить ельзя.

## Обиженные.

В стороне от сельской общественности стоят «обиженные»: это попы ахудалые, доживающие свой век в деревне, помещики, удержавшие трудовую орму земли, свой дом и часть инвентаря, слуги помещиков, хранящие, как еннейшую реликвию, старую лакейскую ливрею и упорно наводняющие ревню сказками о мягкосердечии, великодушии и широкой благотворительости старых бар, при которых, мол, всему народу привольно жилось. Конечно, рестьяне этому вздору не верят.

В Навлиховской волости особую группу «обиженных» представляют онахи Ниловской Пустыни.

По всем крестьянским избам висят олеографии сельского крестного хода Нилову Пустынь, куда, бывало, стекалось по нескольку десятков тысяч богоольцев. Но особенного сочувствия окрестных крестьян обитатели Ниловой устыни не вызывают, несмотря на то, что всем посетителям они жалуются і обиды, чинимые Сов. властью

Вскрытие монастырских мощей вызвало сочувствие не у всех крестьян, іто все без исключения приняли с восторгом лишение монастыря большей істи его земли и инвентаря.

«Обиженные» активно не влияют на деревню. Деревня им не доверяет, ютрит на них, как на враждебную сторону, но в годовой праздник монастыря Нилову Пустынь все же собралось не менее пяти тысяч богомольцев. Селигерсое пароходство в этот день приостановило рейсы по другим линиям и преставило все свои пароходы исключительно для перевозки богомольцев. перевозке богомольцев на лодках принимали участие даже деревенские мсомольцы, проявив тот же хозрасчет, что и Селигерское пароходство. ними сравнялся лишь московский епископ, приехавший из Осташкова на ірусной барже, расцвеченной многочисленными красными флажками и раз-

/крашенной высоким щитом, где крест поддерживает вырастающую из него :оветскую звезду...

Этот епископ, отправляющийся на богомолье под сенью Красной Звезды, 5ыл действительно выражением «тихого сапа», которым эти «обиженные» на-(еются нас обойти.

Нет нужды, что вместо 30 — 40 тысяч богомольцев, являвшихся сюда, ю словам плакавшегося на советские обиды монаха, — нынче на праздник шилось лишь пять тысяч.

«Аполитичные» монахи за этот день научили делить праздники на ихние советские» и «наши поповские» не одну крестьянку и работницу.

## „Пострадавший за правду".

Активную позицию на крайне-правом фланге сельской общественности занимает «примазавшийся», которого отшили. Это—деревенский карьерист, охотник до общественного пирога, который в первые дни после Февральской революции был эсером, после Октября затесался в нашу партию, стал о главе комбеда, верховодил в кооперативе, добрался до места члена волсполкома и всегда держался так, чтобы при случае всегда сохранить возюжность переброситься к повстанцам.

1922 — 1923 годы оказались роковыми для этих «народных благодетеей». Их отовсюду выгнали. Они занялись хозяйством, благо за эти годы се же удалось его несколько приумножить. Нынче они являются идеологами улачества. Грамотность, знание слабых мест нашего аппарата, родня и вязи, — безответственная демагогия помогают тому, что они находят если е сторонников, то во всяком случае слушателей. Старые грехи забыты, еперь выгодная роль изобличителя власти и «пострадавшего за правду».

Все выступления такого деревенского оратора обычно кончаются одним рипевом:

— А меня за что выгнали из исполкома или из кооператива? Правды оялись!

Этот выброшенный «унтер Пришибеев» — столп правой сельской общеtвенности.

Он и является руководителем того, что мы называем кулацкооргашеским агитпропом. С ним заодно действуют: кулак, лавочник, кузнец, зготовляющий самогонные аппараты, и сам самогонщик, одним словом—вся еревенская братия, живущая на нетрудовые доходы.

В деревню, где имеется хоть один такой выгнанный, «пострадавший за равду», обычно приходилось посылать наиболее опытных пропагандистов; и э они не всегда с честью выходили из положения. Так, например, все наши силия вовлечь крестьян соседних деревень Шиловка и Гущи в кооперацию казались тщетными из-за противодействия такого своего «оппозиционера». из этих именно деревень пошли первые жалобы и наветы на новое коопеативное правление.

Этот кулацко-торгашеский агитпроп, руководимый «пострадавшим за правду», сжимается и отступает перед коммунистами, но в их отсутствие пытается задавать тон, травить бедняка и комсомольца.

Здесь мы прежде всего встречаемся с попыткой лишить эти два элемента права участия в общественной жизни.

Не раз мы слышали такие заявления:

— Нечего лодырей слушать. Шлялись годами. Теперь нас задирают: «в армии служили, на войне сражались». Никто их не просил. И сейчас лодырничают, а ты за них работай и налоги плати за них. Кто налогу не платит, того нечего и на сход звать. Что он нам за указчик, коли сам ничего не платит.

Старая общинная трагедия еще жива; большинство крестьян полагает, что существует общинная круговая порука за сумму налогов, которую государство берет из данной деревни, и если кто-нибудь не уплатит, то другому придется больше платить.

## Советская общественность.

### а) Комсомольцы и молодежь.

Той естественной школы, которую представляет собой фабрика, фабзавуч,—все эти городские резервуары комсомола — в деревне нет. Сельская школа такой, как мы ее видели, расстается с ребятами, когда им минуло только 12 — 13 лет, а к 15 — 16 годам среди этой молодежи еще большой процент безграмотности.

Волостная ячейка РКП(б) тоже не достаточно сильна, чтобы руководить комсомолом.

В результате, комсомольская деревенская молодежь и та, что стремится в комсомол, т.-е. лучшая часть наиболее активной деревенской молодежи, на вопрос о чтении газет отвечает:

— Вот вы принесли «Бедноту», мы прочли, да не знаем, что к чему.

И все же комсомол и тяготеющая к нему молодежь — огромный фактор советской общественности.

Комсомольцы — это опора политпросветской работы в волости, руководители изб-читален, они помогают ВИК'у в проведении различных кампаний, на них опираются кружки «Безбожников», организуемые и руководимые учителями, от них исходит инициатива устройства в деревне Ленинского уголка, для чего ими обычно организуется платный деревенский спектакль в здании школы под руководством и при содействии учительниц. И хотя комсомольцы не всегда умеют устанавливать должные отношения с деревенской интеллигенцией, иногда впадают даже в комиссарский тон, все же они являются толкачем учительства, стимулирующим его общественную активность. Наконец, они — фактор общественного мнения, общественного контроля, который чувствуют над собой представители местной власти.

### б) Красноармейцы.

Потенциально-крупная сила деревенской общественности, но очень мало кспользованная — это демобилизованный красноармеец.

Он несравненно культурнее деревни. Он для деревни носитель не только ювой культуры, но и нового быта. Он опрятнее, меньше сквернословит, он рамотен, ищет газету, интересуется политикой, а главное, он — гражданин, он сознает свою ответственность и воспринимает каждый выпад против Сов. власти и коммунистов, как выпад против него.

Деревня сознает его превосходство и пред'являет к нему большие требования. В праздник она не прочь выпить, и хотя пьяные редки, но напиться не считается постыдным делом. Но когда приехавший в отпуск моряк напился и напоил деревенскую молодежь, то вся деревня взволновалась:

— Научили.

Эта досада на пьяного военмора результат того, что красноармеец в деревне—источник новых знаний, нового поведения и новой житейской мудрости.

Однако красноармеец недостаточно используется нами. Личные заботы гонят красноармейца от общественности. Ведь наиболее частый тип демобилизованного, — это проделавший наши военные кампании. Демобилизованных мирной эпохи еще мало. Проделывавшие гражданскую войну пробыли в Красной армии по нескольку лет. Вернувшись, они не застали у себя дома ни кола, ни двора. Сперва надо поднять на ноги расшатанное хозяйство. Очень часто приходится добиваться земельного надела, так как в отсутствие красноармейца старикам родителям или молодой жене, оставленной в деревне, земли не давали.

Все это требует много труда и энергии, а хлопоты в земотделе и суде о земле, о тех или иных, полагающихся красноармейцу, привилегиях подчас приносят красноармейцу большие разочарования.

И все же мы не встретили ни одного обозленного или «обмещанившегося» красноармейца, т.-е. такого, который бы целиком ушел в свое хозяйство и перестал бы интересоваться вопросами коллектива.

Надо его позвать, и он сделает. Наиболее толковые председатели сельсоветов, избачи и сотрудники волисполкома, это как раз бывшие красноармейцы, и, однако, в общем и целом они недостаточно использовываются. Ими можно было бы заменить ворующих лесничих; их следовало бы вовлечь в кооперативное строительство. По общему мнению крестьян, они не будут злоупотреблять в кооперации или лесничестве:

— Они знают, как по-советскому с бедным человеком обойтись.

### в) Крестьянки.

Вера в правильного «советского» человека больше всего всколыхнула крестьянку.

Гражданственность женщины, ее уверенность в своем праве, в том, что она найдет защиту, — является крупным фактором новой деревни.

— Рвется сердце, — заявила одна крестьянка на конференции беспартийных крестьянок Навлиховской волости, — рвется сердце к Советской власти. Многие партии были. Она одна, советская партия, подумала о женщине, почувствовала наболевшее в душе крестьянки.

Другая баба говорила на сходе:

— Позднее всех бывало засеваешь.—Хлеб родился—что ни умолоть, ни спечь, ни проглотить. Никто о тебе не подумает. И мужа у тебя первым забрали. Теперь всему этому конец. Одно воспоминание, как от былых хозяев того дома, что с Новой Елецкой Горы светится.

Крестьянка обрела новый язык для защиты своих прав бедняка и женщины.

И все это потому, что по деревне прошли простые слова: баба тоже человек. Нельзя ее бить, нельзя ее против воли отдавать за немилого, нельзя не оставить с ребенком беззащитную.

Действительно, больше всего Сов. власть приобрела себе популярность среди крестьянок тем, что она принудила мужика, оставившего жену с ребенком, выдавать на содержание ребенка. Особенно сильное одобрение у молодых крестьянок вызвал следующий случай:

Молодая крестьянка бросила мужа и обосновалась отдельно, самостоятельно. Муж требовал ее возвращения. Дело дошло до суда. Суд постановил, что муж должен ежемесячно выдавать оставившей его жене на содержание ребенка, но он не может принуждать ее вернуться к себе.

Все молодухи радовались этому приговору, а крестьянки постарше сокрушались, вспоминали, как встарину заставляли с немилым жить и как одна не стерпела такой жизни и бросилась в озеро.

Крестьянки стали активными участницами сходов, делегатских собраний, женских кружков.

Крестьянка становится все более значительным фактором деревенской общественности.

Одним словом, в деревне вырастают новые силы. И все эти силы, поскольку они себя осознали, являются определенно советскими.

Бедняки и деревенский молодняк, проснувшаяся женщина и прошедший школу советской гражданственности красноармеец, словно воспрянувший после болезни сельский учитель, — это все выражения такой большой здоровой крестьянской общественности, какая никаким «демократам» и не снилась

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

## Литературные силуэты.

**Георгий Якубовский.**

### Павел Низовой.

I.

Павел Низовой — любопытный и оригинальный писатель, весь в исканиях, в напряженном внутреннем движении; смутные стремления и порывы, как побеги дикого винограда, причудливо одевают узорной листвой творческое «я» художника. Иногда в его писаниях явственно слышится голос Кнута Гамсуна. Такова книга настроений и сильного чувства природы — «Язычники». В сущности, бесполезно было бы искать в ней сюжета. Горная тайга, таежная ночь, жуткая и радостная природа во всей своей нетронутости, девственной щедрости, гимн первобытной жизни и любви — вот содержание книги.

«В девственной долине, в одиночестве гор слышится звонкий трубный звук, повторяемый эхом. Это олень призывает на битву соперника своей любви. И тот, заслышав звук, бежит, может быть, на последний смертный бой».

Здесь сила и слабость Низового. Он остро, пантеистически чувствует свое родство со всеми проявлениями живой материи в неисчислимом богатстве органических форм растительного и животного миров. Но, сливаясь с окружающим его миром, художник, обуреваемый пафосом жизни, ощущением своего родства с космосом, теряет чувство меры, он хочет «воскурить фимиам», «воспеть в священном псалме... двух прозрачнокрылых стрекоз», «крикнуть человечеству, чтобы оно служило обедню»... зачатию, наконец, даже построить «алтарь». «Мистическая» тишина, «сокровенные тайны», «непостижимая тайна вечно-женственного» — пестрят и калечат лучшие страницы повести о языческой жизни — «душа, воспринявшая окружающую тишину и величие, молится», но в этих молитвах часто очень мало языческого. И все же, несмотря на эти существенные недостатки, несмотря на космические стихотворения в прозе и лирические отступления, разжижающие стиль, Низовой умеет по-своему и во всяком случае глубже, целомудреннее Гамсуна, без индивидуалистических вывертов, подойти к природе и любви.

«Знаешь ли ты, что такое женщина? Это родник в знойной степи жизни! Подходи и черпай пригоршнями бодрящую влагу или припади к ней лицом своим. Утомлен ли ты большим переходом или в тебе еще много огня и силы, — одинаково будет сладостна живоносная влага. Видишь, ты отразился в нем. Красивый ли ты или уродливый, злой или добрый — не скроешь — весь ты отразился. Не замути источника нечистыми руками»...

Сила и преимущества художника в том, что он не сосредоточивается исключительно на индивидуалистических переживаниях своего героя, в гимн языческих чувствований природы узорно вплетаются картины первобытной жизни алтайцев, их повседневного существования, праздничных жертвоприношений и молений божеству.

Сало в нем белизной подобно облаку.
Грива и хвост у него в сажень.

Порой стиль Низового достигает скульптурной четкости, свежей ясности, тогда его мысль прозрачна и светла, до краев полна глубоким чувствованием природы.

«Опять все немо, но чувствуется, что каждая пядь земли таит жизнь, мудрую, великую, недоступную для моего зрения, для моего слуха»...

«Я задремал, а когда открыл глаза, мертвые деревья неслышно выплывали из вязкого мрака. За оградой стволов небо начинало светлеть, над синей поляной слабо вспыхивала розовая, расплывчатая полоска, робко зажигавшая дальний конец озерка»...

Низовой умеет передать радость жизни: «жизнь несет любовь и радость», «жизнь необычайно прекрасна и ароматна», в поэзии грядущего художник предчувствует радость, на горных вершинах ему «дышится свободно и радостно», он взбирается на откосы в «радостном возбуждении», героиня книги «язычница» насыщена хмелем жизни, в ней «солнечность и радость». И художник не только рассказывает о радости, он умеет ее показать и эмоционально заразить читателя.

«По-прежнему было тихо. Но предутренняя тишина была р а д о с т н о й, возбуждающей.

Внезапно раздалось звучное, потрясшее весь лес, — будто кто затрубил в большую серебряную трубу. В первый момент мне даже подумалось, что это дух гор будит природу, зовет всех больших и малых обитателей тайги к дневному р а д о с т н о м у труду» (Подчеркнуто нами. *Г. Я.)*

Надо суметь отбросить «храм души», «фимиам», блуждание мысли в межпланетных пространствах («Язычники», стр. 101), пройти мимо лирических и космических провалов в произведениях Низового, чтобы почув-

ствовать, восприять основную мысль его творчества, горячие тона его живописи.

> «Воздух чист и немного прохладен. Вдыхая его, обновляюсь, крепну телом и духом, проникаюсь ясною, радостною мудростью природы».

II.

Не легок путь к ясной мудрости и радости природы, темные тени реакции после революции 1905 года призрачно мелькают перед взором писателя и надолго вносят в его творчество настроения тоски, неясных смутных чувствований, прежде чем победит здоровое ощущение жизни и художнический горн переплавит все сомнения и тревоги. «Грусть идет большая, все заполняющая, от этих сжатых бугристых полей, вздувшихся большими голыми животами» («Новь»)... «сердце мое давит безумная тоска»... «люблю я вас, голубые, задумчивые дали, ласково, матерински шепчущая горная тайга. Но сердце болит об ином». И среди горных вершин художнику чудится, как хлещет «кровавая жизнь» далеко за каменными хребтами. «Перекинуться бы туда со всей своей бессильной тоской, с любовью и гнетом своими». И «необ'емлемая, неизмеримая» мысль чинит художнику «боль и тоску» («Золотое озеро»).

В предисловии к большой неопубликованной повести «Пути духа моего», П. Низовой, между прочим, говорит следующее: «Духовный путь большинства интеллигенции и всего крестьянства от истоков до наших дней лежал через жуткие топи мистики и предрассудков, через пустыню неосознанной тоски и томления, через духовные взлеты и падения, через надежды и отчаяния». Очевидно, писатель шел тем же путем, потому что и повесть «Пути духа моего» и рассказы «Звериным следом», «Золотое озеро», «Крыло птицы», повесть «Черноземье» дают различные моменты этого пути и его заключительный аккорд: приход героев к революции и участие в ней. Но прежде чем П. Низовой пришел к революции и постиг радость жизни ради жизни, понял мудрость природы и смысл существования всего, что живет, он прошел через чувство тоски и одиночества, затем через мощное ощущение своего родства с космосом, со всем, что живет и славит жизнь. Тоска художника не была беспредметной «птичьей», звериной «тоской бытия»; вот тени шестерых казненных крестьянским самосудом («Шесть»), вот расстреливают пленников революции после декабрьских боев 1905 г. («Тени»), вот уже в дни Октябрьской революции немецкий полковник избивает, а затем расстреливает матроса — коменданта станции. Тени старого мира дикой вереницей пробегают сквозь творчество П. Низового, тревожат его, не дают ему успокоиться, не позволяют застыть его художнической совести. Особенно внимательно присматривается художник к тем углам жизни, где черными пятнами гнездятся монашеские клобуки и рясы. Этому миру и процессу освобождения религиозного человека от цепких пут и липких обманов фальшивой монастырской жизни посвящена повесть, о которой мы говорили выше — «Пути духа моего».

### III.

Экскурсия по дебрям мистики с благополучным окончанием, преодоение монастырского наркоза, первое время казавшегося «страждущей уше» «целительным елеем», художественное изображение монашеского розябания с его внутренней гнилью, прикрытой лицемерием и ханжеством брядности, — все это без нарочитого подчеркивания очень полезно для усского читателя, особенно для того читателя, который воспитывался на артинках Нестерова, Васнецова, Юона. «Малиновый звон», монастыри их историческим ореолом, Лиза из «Дворянского гнезда» Тургенева, руская история Ключевского, монастырские кладбища с целым сонмом литераурных и общественных знаменитых покойников оставили прочный след развитии русской культуры. П. Низовой в «Путях духа моего» делает поытку дать художественный показ преодоления религиозного сознания, не ыходя из монастырских рамок, пробует писать на нестеровском фоне карину прояснения мысли. «Утомлен я, устал, отдохну теперь. Давно душа моя уждается в отдыхе», такими мечтаниями героя начинается повесть о «путях уха». И первое время герою повести кажется, что он обрел покой,—монаырская жизнь с ее размеренным укладом, своей внешней, показной стооной захватывает и увлекает «страждущую душу». «Унывный монастыркий звон», чинная трапеза «братии», ранняя заутреня, торжественная медлиельная праздничная обедня представляются герою повести выражением, ормой какого-то огромного содержания. «Сухие голоса иноков кротки проникновенны; в них целомудрие и покой обретшей себя души», так умалось Стефану в начале пути его «духа». Но очень окоро мертвая жизнь, астывшая, однообразная начинает тяготить Стефана, ему становится оскливо и покой уходит от него. Сперва томление, тоска, робкий неосоанный протест, а затем уже и бунт вспыхивает в душе спасающегося от ира. «Гудит монастырский колокол. Он — лжет. О покое, о смирении оворит он»... «Лжет он. Лжет своим унывным, заползающим в душу звоом». Сразу же резко меняется картина, вместо «благочестивых отцов», ротких иноков, выступают уродливые тени, обитатели монастыря в их астоящем виде.

> «Кротко, неторопливо движутся от храма черные тени в мантиях и клобуках, перебирают пальцами черные четки. Это идут человеческие страсти: стяжание, прелюбодеяние, клевета, злоба, облаченные в иноческие одежды. Вот разбрелись они по кельям в одиночестве питать свои чувства»...

В чинной пляске черных теней выделяется фигура монастырского раотника Ивана, знающего цену «святым отцам», «все они святоши», говоит он о них, но, повидимому, без злобы, себя он считает «блажным», аккуатно работает и обстоятельно с монахами выпивает. Смятение души антирелигиозный бунт медленно прозревающего человека П. Низовой пеедает путем параллельного изображения жизни попа Фоки и целым рядом

вводных картин. Опять мелькают тени людей, духовно изуродованные религией, но уже так сказать светского типа. Среди них Кирилл, страдающий мазохизмом, приказывающий своей жене истязать его до крови, и «милый человек» пристав, садист, у которого целыми часами гремел граммофон, чтобы не было слышно, как подследственных порют. В борьбе с сомнениями, одолевающими его, изверившийся «святой отец» ищет помощи у других «святых отцов», у старцев, живущих в монастыре своей обособленной жизнью. Но и здесь Стефан не находит поддержки и желаемого утешения, потому что лучший из старцев, плотник Петр, строящий в диких горах никому не нужную мельницу, мечтает о возвращении в город. Все же нелегко сдается неверию начинающий безбожник, любовь к природе, ее красоты и богатства часто отождествляются им с божеством, постепенно, медленно приходит он, наконец, к мысли, что Будда, Христос и Магомет «из человеческой души». Основная мысль автора и героя повести: «Душа человеческая тоскует — вот в этом все». К сожалению, ни автор, ни герой не задаются вопросом, чем определяется содержание «души» человеческой и ее тоски; оттого копание Стефана в самом себе, его тоска «по дням далекой тоски», расплывчатое и туманное самоковыряние бледнеют по сравнению с здоровыми мечтами монастырского работника Ивана, золотоискателя, не оставляющего мысли отправиться в поиски за золотом. На вопрос — зачем ему золото — Иван строго и уверенно об'ясняет, что на приобретенной за золото земле он развел бы образцовое хозяйство. «Я бы сделал все это и потом разослал по России, по селам и деревням гонцов: приезжайте мужики и учитесь, как вести хозяйство: семян дал бы для развода. А то разве крестьянство у нас. Горе одно. Не знают, не умеют, а научиться не у кого»... Иван—«блажной», «мужик Камаринский», как он себя называет, в сущности, единственный живой человек среди ходячих трупов, а поп Фока — он же Стефан — ясно выраженный невротик, подходящий пациент для клиники Фрейда, временами даже скучен по сравнению с Иваном. Фока-Стефан со своей космической тоской и путями, где пестрят религиозные ухабы и срывы в половую разнузданность с уголовщиной, витает в каком-то тумане, «книга сокровенная» его излияний нуждается в значительных сокращениях, от которых выиграли бы и герой, и автор. О таких открытиях Фоки, как, напр., «бессмертие мыслимо только через любовь», гораздо лучше прочитать у Бельше или Рубакина, а еще лучше у Завадовского. И когда автор после длинного путешествия по лабиринтам психики своего героя-невротика, наконец, подходит к сцене с архиереем, последняя не представляется убедительной. В общем многое искупает заключительная глава повести: гимн весне и пробужденному к жизни человеческому сознанию, победившему одолевавшие его черные тени древней тьмы. С плотовщиками плывет по широкой реке новый человек, как бы выздоровевший после тяжелой болезни, и совершенно по-иному, по-новому воспринимает он жизнь.

«Все мы еще юны, кипят в нас весенние ключи. Чудится: нет здесь Иванов, Петров, Семенов,—есть только один со множе-

ством рук, ног, голов, но одною волею и одним сердцем. Я тоже в них и они во мне тоже. Чувствую, как моя воля впереди намечает путь и командует, и как мои руки ворочают огромными веслами: справа, слева, позади». «Иду к новому земному раю путем новым».

Тема книги о «путях духа», очевидно, очень близка писателю, давшему ее разработке простор своим чувствованиям в ущерб изобразительности и (художественной конкретности. Тем не менее, при всей своей разбросанности перегруженности лирикой, повесть «Пути духа» представляет собою глу-кий по замыслу и ценный документ эпохи великих исканий и душевных вигов.

IV.

Большое полотно, антирелигиозная поэма, художественная панорама брей древней чащи сознания, задурманенного первобытными верованиями, вмещает в себе — в хаотической форме и психологических и лирических громождениях — все достоинства и недостатки дарования П. Низового. эвесть «Пути духа» ясно показывает, что сила художника совсем не в зо-тоискательстве психологизма, не в космическом и лирическом воздухопла-нии. Лучшие места повести в четком языке Ивана, в словах и действиях эдей. Когда художник стоит обеими ногами на грешной земле, его голос ливается силой, приобретает уверенность и крепость металла. Блуждания в шахтах психологизма и надземные парения ломают сюжет, а последний ка не представляет сильной стороны писателя. Наиболее цельные и закон-нные работы П. Низового: «Черноземье» и «Митякино» полностью это одтверждают. В «Черноземье» крепнет сюжет, хотя ткань его местами все це расползается, стиль начинает звенеть более чистыми и прозрачными то-ми. Деревня, как она есть, и в последние предгрозовые дни империалисти-ской войны, и в революции. Крестьянство все еще покорно, но уже с над-ывом и затаенной злобой поставляет пушечное мясо к очередному набору, лаки нагуливают жир, живые обрубки возвращаются с фронта не на ра-сть своим семьям. Тяжко тянется трудовая крестьянская лямка. «Дни тные и вязкие — комья речной, зеленой глины. Вязнет, мутнеет душа»... густую мутную деревенскую жизнь проникают слухи о неудачах на фронте, царице-немке, продавшей Россию немцам, смутно бродит в темных му-цких головах тоска по правде и земле. «Правды никакой не стало». без правды человеку нельзя». И когда в городах вспыхивает революция, ревня с облегчением встречает падение старого порядка, но в своей пассив-сти и неорганизованности она остается еще очень долго, не зная, как рейти к революционному делу. Когда в деревне узнали о революции в го-де, «Григорий Спирин предложил-было тоже сделать красные флаги, но нашли кумачу, не знали и песен подходящих». Медленно просыпается де-вня от векового сна, первые шаги ее робки и неуверенны, но первые победы стаются легко, после того как революция победила в городах. Крестьяне лгое время спустя после переворота принимаются за местного урядника и

делают открытие, что он «хоть и начальство, а такой дохлый, что не стоит и волынку тянуть». Этот первый период медлительного пробуждения крестьянства, прихода к власти кулаков и эсеров красочно отражен в повести «Черноземье». Завидуя лаврам своего сына-эсера, Федот заявляет: «жертвую вам народный дом». На торжественном деревенском банкете, устроенном «благодетелем» по этому случаю говорят речи: поп, уездный комиссар, ветеринарный врач, межевой техник. За выпивкой гости ведут интеллигентский разговор о душе мужика, и эсеру Никандру кажется, что он один только знает деревню, не ошибается в ней, «по колена он стоит в родной земле». Но скоро Никандр убеждается в своей ошибке, мужицкое терпение лопается от меньшевистско-эсеровской канители, и стихийным порывом деревня сокрушает помещичью власть, захватывая усадьбы. И когда из игрушечных изб «выплеснулась гневная волна», дядя Никандра говорил с раздумкой, вздыхал и будто радовался:

«Метет. Да-а... метет... Крепка мужицкая метла. Охо-хо... Вот точно навоз из сеней, что на ногах натаскали... Дела-а»...

Нить событий ускользает из рук революционного мещанства, представители меньшевистско-эсеровской власти чувствуют свое бессилие перед хаотической и разрушительной работой мужицкой метлы. Комиссар Попов собирает «революционную знать» города, делает попытку организовать отпор Октябрьской волне, которая «затопила десятки городов, все ширилась, нарастала, становилась грознее». Но все эти попытки обречены на неудачу, и разгул мужицкой метлы и голод городов не могут помешать победе Октября. Основное достоинство этой работы П. Низового в том, что он с'умел показать, как скука и тоска обывательщины, отчаяние озлобленного мещанства, стихия мужицкого бунта, дикости и темноты не смогли стать серьезным препятствием на пути революционного процесса. Революция шла победно, как организованная сила, призванная преодолеть стихию пробужденных к исторической жизни трудовых классов и влить их неизжитые запасы творческой энергии в русло великого строительства. Писатель хорошо чувствует тоску и скуку деревенской жизни, но еще ярче и любовнее он передает природу и трудовой быт крестьянства.

«Грудью неохватной, чающей радостного, дышали поля. От земли поднимался пар. Полосы вспаханного сочного суглинка были похожи на разрезанный, неостывший хлеб. Приветливо, радостно зеленели первые побеги трав на узких межах и опушках».

Художник ощущает, инстинктивно, творчески, художнически чует, что в деревне заложены богатые, исторически скопившиеся революционные силы. Когда Никандр пытается сдержать мужицкую массу, надвигавшуюся на княжескую усадьбу, безымянная старуха из толпы говорит народному радетелю:

«А ну-ка, заступник-хранитель, ответь мне: кто барский сад садил? кто грядочки полол, яблоньки поливал?»

«Она смотрела на него с вековой ненавистью в холодных, бесцветных глазах...

«Помолчала немного. Колола полинявшими глазами, жевала беззубой челюстью. Нагнулась и потрепала себя пониже поясницы.

«Вот, только она знает, сколько приняла княжеских батогов и плетей».

В «Черноземье» деревня встает во весь рост, какой она была в дни )ктября: от разгрома винного склада и погрома на базаре до картин ста-)инной обрядности развертывается живопись П. Низового. Здоровое ощу-цение пульса жизни — основной тон повести и радость бытия лучше всего 'дается художнику.

«Ехали от венца, наполняли пенистым заливным звоном влажные поля.

«Звенели: хрустальная синь, шелковые озими, одинокая, старая сосна на бугре. В лентах алых, желтых и зеленых катила через поле весна. В правой руке у ней сотни колокольцев, в левой — сотни певучих бубенцов. Сеяла пригоршнями молодой, ядреный смех, радость хмельную, беспредметную».

V.

Последняя работа писателя, повесть «Митякино», говорит за то, что астерство его совершенствуется и художник справляется с такими трудными емами, как быт новой деревни. Мозаика сюжета здесь не только у места, о становится методом. Небольшие главы повести представляют как бы само-тоятельные рассказы, об'единенные общностью места, времени и присут-твием одних и тех же действующих лиц. Сцены-рассказы насыщены сизнью, это ряд свежих, ярких пастелей, крепко связанных единой идеей, о если этот метод заострить, сжать главы, выкристаллизовать, то огром-ое содержание, какое бьет в них через край, то мы получили бы новый ригинальный ряд художественной прозы, сюжетной мозаики без словесного юкусничества. Бережное отношение к слову, отсутствие даже намека на гру звуковой внешностью слова отличают П. Низового от Бабеля. Тугая ватка Бабеля, бульдожья цепкость его мозаического стиля грешит иногда реувеличением своеобразной витиеватости.

От этого терпкого привкуса суб'ективизма вещи Низового свободны, го стиль силен ясностью и простотой. Содержание небольшой повести «Ми-якино» охватывает значительный круг вопросов из жизни современной еревни. П. Низовой подходит к ним как-то сразу, и все эти острые и вол-ующие темы умещаются в поле его творческого зрения не толпясь и не олкая друг дружку. Картины быта включаются друг в друга, как звенья дной цепи трудовых дней новой деревни, несомненно, идущей вперед. Дожи-ающие свой век старики, цепкие кулаки, с их живучестью и страстью к соб-

венности (Игнат Петрович), с другой стороны, молодежь, споры о много-)лье и тракторах, сельское хозяйство «по книжкам», новые формы труда любви. Вот как сопоставляет художник старые и новые способы хозяйства. У Кузьмы в саду десятки гряд, и все ровные, по шнурку, все подчищены, ıполоты; у яблоней стволы вымазаны известкой, под вишнями колышки )ставлены. Вскипел Силантий. «Сдалось им, чертям, по книжкам садить... большевистскую веру метит»... А у самого Силантия пасека из «старых-)естарых, мозглявых колод-ульев». Иван напряженно работает, чтобы дать )разование своей сестре, он трезво смотрит на все окружающее, но не ıмыкается в своем кругу, принимает участие в мирокой жизни, замышляет ;ушить Митякинскую топь. В эту трезвую, на труде сосредоточенную изнь, врывается любовь девушки из города. «Иван никак не мог ранее )едставить, что это огромное может произойти так свободно, без надрыва, з слов». «Пришла она и ушла — непонятно просто, но оставила огромное, ıдостное, которое долго не изжить». Не так легко проходит любовь для вушки. П. Низовой чутко касается оборотной стороны медали любовных гношений, не связанных никакими обязательствами, тяжело переживает ое увлечение Анна, а ее сверстница Аниска расплачивается ценою кустар-)го аборта, произведенного при помощи веретена. Так, во всех областях изни, новые отношения создаются ценою жертв, иного пути нет при дви-ении вперед. Главное действующее лицо повести, Иван, говорит о деревен-;ой жизни: «Мы должны вылезти из этого болота»... «Видел всяких людей, ;якую жизнь. Видел и слышал много хорошего и скверного, и пришел одному: надо перестраивать нашу мужицкую жизнь». Необходимость итти ) новому пути чувствует даже поп: «Противно это, мерзко. Кончить надо... )ошу все, уйду. Поступлю в кооператив», так мечтает он под влиянием ıсмешек Ивана. Борьба старого и нового поколения за лучшие формы хо-йства, споры об электрическом плуге и кормовой свекле из состязаний и ıперничества отдельных хозяев вырастают в факт большого общественного ıачения и становятся в центре внимания крестьян, собирающихся в Совете.

> «В праздник, кому и не нужно, лезут в Совет: словом обменяться, поразузнать насчет новостей, послушать газетку... Двери одна с другой перекликаются. Секретарша отмахивается от дыма».

Здесь же выдается командировка босому гражданину, направляющемуся город учиться «на доктора». Но вот в газетке кто-то прочел слово «прод-ıлог», и разом забыты все другие вопросы и споры. Такова современная де-)вня, идущая вперед все более организованным путем, старое медленно ıается, но все же сдается и уходит в небытие, уступая дорогу творцам новой изни. Усилия молодого поколения сливаются в общее русло советского ;роительства, кристаллизуется в труде и борьбе со старым бытом — новый ыт. Митякинская топь символизирует болото старого деревенского уклада, ужики осушают топь, этим бодрым аккордом заканчивается повесть.

«Митякино» — цельная, крепко сколоченная поэма о новой деревне, тимизм ее органический, не натасканный, а естественно вытекающий из

потока картин и образов, схваченных художником в процессе изучения современности. Свежесть и бодрость этого произведения возбуждают основательные надежды на дальнейший расцвет оригинального и своеобразного дарования П. Низового.

## А. С. Новиков-Прибой.

### О море зовущем.

«Море зовет» выдержаннее и цельнее первой книги морских рассказов писателя, но эта цельность в ущерб человеку, и, хотя человек морской жизни в ней действует, страдает и радуется, после чтения рассказов все же выносится впечатление, что не море для человека, а человек для моря. Море властно зовет того, кто раз вкусил от горько-сладкого яда борьбы со стихией, еще ребенком тянется будущий моряк к жизни, полной опасностей и тревог, но и влекущей, и полной цельного ощущения бытия. Этим мотивом начинается книга («Судьба») и заканчивается она той же нотой, только окрепшей, более сильной и властной: «я иду в матросский дом наниматься на корабли». Море зовет, море спасает во всех невзгодах жизни, стихия побеждает человека, она — последнее его утешение и прибежище. И эту растворенность в стихии, эту привязанность к ней матроса, глубокую, коренную, непреодолимую тягу моряка к морю, подобную тяге крестьянина к земле, художественно передают рассказы А. С. Новикова-Прибой. Трагическая судьба моряка, отдавшего все свои силы морю, власть стихии над жизнью и смертью моряка запечатлены в образе старика Джима, 50 лет прослужившего матросом, а затем бросающегося за борт в силу сознания своей инвалидности и непригодности для морской жизни. Описание самоубийства Джима — одна из лучших картин среди сильных этюдов морской живописи А. С. Новикова-Прибой.

> «Джим обходит всех, крепко пожимая руки, и поднимается по трапу на палубу. Мы провожаем его и, остановившись у люка, смотрим, как он твердым шагом подходит к борту, по-прежнему спокойный и серьезный. Ни одной жалобы, ни одного вздоха. В последний раз, оглянувшись, говорит нам:
>
> «— Попутного ветра, вам, друзья. Прощайте...
>
> «—Прощай, Джим, — отвечаем мы разом. — Прилетай к нам чайкой».

Джим бросается вниз головой, и волны закрывают то место, куда он бросился, как будто никогда не было храброго, славного моряка. Как ни печален конец заслуженного матроса, но едва ли лучше судьба большинства его товарищей, находящих свой конец на дне моря во время борьбы с бурей. А ведь таков конец многих матросов, если мы вспомним, что из всех профессий самой опасной является профессия матроса: борьба с морем поглощает наибольшее количество жертв в каждый данный момент. Трудовая жертвенность и трагизм, суровое величие людей в борьбе со стихией без-

:стно гибнущих в морских просторах, это — наиболее мощные ноты в книге море зовущем, но все же стихия здесь главное действующее лицо, море ıаствует над людьми, оно властвует и над душой художника. Правда, пи-.тель умеет показать «не по годам изношенное, измученное, с крупной ıагической складкой поперек лба» лицо матроса, затравленного царской ужбой. Трудно забыть этот образ душевно-больного матроса, прозванного алым: «матрос, оскалив клыкастые зубы, стоял на том же месте, шевеля раканьими усами, несуразно-большой и сильный». Так же хорошо переет художник революционное настроение матросов:

> «Нужно шквалом пронестись по всей земле, чтобы все старые порядки перевернуть вверх килем. А потом снова начнем строить жизнь — не такую скверную, как теперь»...

Но все же самые теплые краски художник приберегает для описания ıря, и в этом его несчастье, потому что при изображении того, что не лько знаешь, но и любишь, трудно соблюсти чувство меры. «Необ'ятная ıрь океана», «бездонная глубина неба», «радуга надежд», «лазоревые аски», «волшебник-прибой» и т. п. Изобилие этих стертых пятаков вредит илю А. С. Новикова-Прибой. Особенно досадно это потому, что у писаıя есть свой язык, когда он отбрасывает в сторону готовый штамп и внительнее относится к тому огромному творческому материалу, какой ходится в его распоряжении: «...пенистые волны, похожие на взбитые ıвки, выкатываясь на отмель, безумолчно мурлычат, как обласканный т, свою мелодичную песню».

Быть маринистом — это не мало, но не так уже много. К счастью для сателя, власть стихии над его творчеством имеет свой предел, она ограчена другими темами; не только море, но и жизнь — со всеми ее стихиями, рями, страстями, невзгодами и радостями — зовет художника. «Море зог» — это вторая книга морских рассказов, в ней маринизм окреп и вырался наиболее законченно, но не такова первая книга морских рассказов, аче звучат и другие книги А. С. Новикова-Прибой. Необходимо отметить, о быт матросов, картины портовой жизни, труд и отдых моряков, их иключения — все это развертывается писателем в этюдах, верность котоıх вне сомнения. Матрос — как человек, страдающий, напряженно рабоющий, буйно веселящийся в дни отдыха, разноязычный, многоликий миройй бродяга, авантюрист по профессии в различных видах и положениях оходит перед читателем в произведениях А. С. Новикова. Эта человечэсть в подходе к матросу, сильному и буйному, но не злому — вот самое нное качество песен художника о море зовущем. И подойти к матросу к осторожно и чутко, так по-человечески мог только писатель, сам переıвший труды, печали и радости морской жизни. Основной же особенностью, личительной чертой маринизма второй книги рассказов является неизгламое впечатление, что вся эта сложная, богатая жизнь представляет или есплатное» приложение к морю, к стихии, или — огромную жертву ненаıтному чудовищу.

## Море и жизнь.

Первый том морских рассказов обнимает более широкий круг тем, ходящих далеко за пределы водной стихии. Здесь жизнь матроса, по пре-уществу военного моряка, связывается с общим ходом общественного оцесса. Содержание рассказов относится к эпохе Цусимы и первых вулка-ческих потрясений, поколебавших самодержавие. Быт матросов в царское эмя, бессмертная «словесность», сопровождаемая зуботычинами, унижение ловеческой личности до положения бессловесной «скотинки», гибель «пу-чного мяса» без счета и без смысла во славу коронованных авантюристов преступников — вот основные моменты книги. Море и люди морской жизни ступают, как частицы закономерно развивающейся в определенном на-авлении общественной динамики. Роковая неизбежность гибели тысячи гросов по прихоти самодержавного самодура и спекулянта человеческой эвью здесь царит над хаосом морских сражений, но здесь нет нирваны и створения в стихии морей-океанов. Люди гибнут не по капризу еще не узданных водных масс, но в силу недостатков общественного строя, в силу сти класса насильников и эксплоататоров над классом, производящим все иности на земле. Не море губит людей, люди топят друг друга. Рабочие и эстьяне, одетые в матросскую форму, вышколенные палочной дисципли-й, еще не осознавшие своих интересов, расстреливают и топят других ра-их и крестьян. Но ужас человекоистребления во имя чуждых им инте-св не проходит для них даром, кровь бессмысленных жертв преступной іны проводит глубокую борозду в сознании ее участников и очевидцев ели своих собратьев. Проблески революционного сознания, первые по-гки матросов бороться с царским строем оканчиваются неудачей, при-ят к подавлению восстания: бессознательная и ненужная жертвенность мен царской войны сменяется жертвенностью сознательной, револю-нной.

Первая книга морских рассказов открывается большой работой «По іному». Страдания эмигрантов, пробирающихся за границу на пароходе гольном ящике, переданы суровой реалистической кистью серьезно и убе-ельно. И отсюда, от неприкрашенной романтическим флером правдивой ствительности революционного подполья через картины тяжелых буден военном корабле и жуткие панорамы морских сражений, автор подводит ателя к описанию расстрела 19 матросов-революционеров в Крон-дте в 1906 г. Этот заключительный рассказ книги («Бойня») дает нату-истическую зарисовку жестокой и безобразной казни. Рассказ испорчен ьетонным стилем («жертвы необузданного произвола»), тема и факты ожественно не использованы, материал говорит сам за себя, не считаясь олей автора. К невыгоде писателя здесь невольно вспоминается «Рассказ еми повешенных» Леонида Андреева. Как заключительное звено книги, на кронштадтской бойни окончательно разрывает рамки прекраснодуш-о маринизма, революционная буря весьма чувствительно выплескивает эяков на сушу и говорит: «не море, а жизнь и борьба зовут». Нить к этому

ɪзунгу идет от первого до последнего рассказов, здесь основная мысль ɪиги, ее творческая суть, подпочва и дно.

Красная нить, сплетенная из кудели опыта художника, его дней и тру-ɪв, выводит его из морского лабиринта на сушу революционной борьбы. художник умеет разнообразить свой путь: его опыт и материал исключи-ɪльно богаты; напр., рассказ «Подарок» вносит юмор в трагедию матрос-ой жизни, дает мир удовлетворения и отдыха читателю; не один раз тя-ɪлые картины из эпохи царизма под кистью А. С. Новикова-Прибой пре-ɪащаются в трагикомедию. Оттого не выдерживает никакой критики срав-ɪние А. С. Новикова-Прибой со Станюковичем. При всех недостатках своего ɪиля, Новиков-Прибой берет материал глубже, шире и интереснее Станю-ɪвича, его кисть увереннее и дельнее. Маринизм — только одна сторона его ɪорчества, художник пошел в своем пути дальше бесконечных анекдотов ɪ морской жизни и описаний «красот природы» и не приходится, напр., ɪрекать А. С. Новикова в повторениях, чем грешит Станюкович. Книги ɪве души» и «Подводники» — два несомненных, веских факта, говорящих за ɪ, что А. С. Новиков-Прибой творчески созвучен общественному процессу отдает себе ясный отчет во всей сложности и пестроте классовых ɪношений.

### Документы двух эпох.

Сборник «Две души» не блещет художественными достоинствами, ɪлон автора в натурализм здесь особенно резко проявляется в рассказах Iорченый» и «Зуб за зуб». Сборник открывает рассказ «Две души». Про-ɪления русского двоедушия в среде русских военнопленных, истомившихся ɪ безделья и однообразной жизни, переход от расправы над товарищами раскаянию — даны писателем с фотографической точностью. Основная ɪсль подчеркивается заключительным диалогом между японским перевод-ɪком и русским унтером. Японец говорит:

«— Непонятный вы народ, русские...

— А что? — спрашивает унтер.

— Совесть у вас какая-то двойственная.

— Известное дело... Какой же ей быть?

— То вы очень скверные, то очень добрые.

— Знамо так. Иначе — как же?»

Предел человеческого озверения дан писателем в лице унтера Петра ɪлдобина, развращенного службой, предающего полиции своих односель-ɪн, в том числе и родного отца за жалкие подачки начальства. Избиение ɪены Петром, арест «крамольников», собравшихся ночью в риге послушать ɪителя, смерть Петра — написаны жестко, в натуралистической манере. ɪтихия разрушения нашла свое отображение в рассказе «Вековая тяжба». ɪолпа, громящая и сжигающая «винокурку», спокойно оправдывается так:

«— Пусть полыхает. Погрешила наша Россиюшка, наблудила вдоволь, а теперь очищается через огонь...»

Смутные протесты и взрывы недовольства классовым строем прини-от организованную форму только в дни революции и гражданской войны. ızод из борьбы партизан в Сибири в рассказе «Зуб за зуб» заканчивает ıгу так же последовательно, как описание кронштадтской бойни закре-ет вывод, вытекающий из первого сборника морских рассказов. В общем, рник «Две души», группируя документы, связывающие две эпохи, свиде-ьствует о знании писателем деревни и об его умении видеть внутренние жины, движущие действиями людей.

Революция направила все силы на неизбежное и необходимое разру-ние старого. Разрешение вековой тяжбы двух классов поглотило всех стников великой борьбы, в этом очистительном процессе переплавило их.

Испытание огнем и водой.

Начало этого процесса переплавки человека, испытания огнем мировой ны художественно проследил и запечатлел А. С. Новиков-Прибой в инте-ной повести «Подводники». Помимо того, что эта большая работа является нственным произведением, посвященным быту подводных лодок, по своей гренней целостности и законченности, — это оригинальный памятник импе-листической войне. Положительная сторона творчества писателя, и в част-ти, книги «Подводники», это — отсутствие подчеркиваний и точек над i. ор «Подводников» почти не преподносит читателю готовых выводов, но, будив его чувства картинами подводной войны, заставляет самого читателя елить мозгами и делать заключения в качестве нелицеприятного свидетеля. ожник как бы показывает войну на море, как она была и говорит: «Вот , судите сами, стоит ли жертвовать жизнью, да не просто жертвовать, а рать страшной, мучительной, медленной смертью во имя барышей банки-и королей». Правда, выводы из трагедии военной жертвенности олицетво-тся писателем в радиотехнике Зобове, революционном матросе, осмысли-щем в повести весь ход событий, очень умело и тактично агитирующем тив войны. И в этом ценное качество книги, что фигура Зобова вышла ственная, не ходульная, а работа Зобова над своим образованием и над яснением голов подводников привлекает внимание и сочувствие читателя. ким из наших агитаторов не мешало бы поучиться у Зобова конкретности актичности в деле агитации. Зобов говорит просто, понятно, едко, остро, бенно остроумны его антирелигиозные шутки и словечки, бьющие прямо ель. О книге Зобов говорит: «Хорошая книга — вентиляция для мозга», оэзии: «Настоящий талант должен сам выпирать из человека, как хвост авлина». Сам Зобов в силу железной необходимости также вынужден при-ать участие в драке. Он об'ясняет свое участие в войне так: «потому что же живу на грешной земле. И мне некуда деться»... Товарищи Зобова ниже по развитию, но и их настроение — против войны; пьяница Сидоров тает, как хорошо бы забраться вместе с немецкими матросами на какой-удь остров, устроить грандиозную выпивку, а затем «по домам». Отрица-ьное отношение к человеческой бойне проявляется и в офицерской среде:

командир подводной лодки Ракитников ищет смерти в бесшабашных подвигах, а в минуту откровенности он говорит: «Война надоела. Каждый день одно и то же. Всюду измена, ложь, подлость»... Несмотря на судорожное отвращение к войне, люди, все еще распыленные одиночки, продолжают творить дело разрушения, топят пароходы, сами ежечасно рискуют жизнью в трудах и опасностях, стоят в струнку при посещении флота царем и адмиралом, лишь изредка разнообразя суровую лямку войны гульбой и амурными приключениями. Но трагедия уже начинает превращаться в фарс, и патриотическая дурь постепенно начинает спадать с глаз матросов, еще суеверие держит их в цепких лапах: так, несчастие с подводной лодкой они об'ясняют посещением ее женщиной; однако, сознание проясняется, и скоро в головах матросов не остается сомнения об истинных виновниках войны и всех связанных с нею страданий. А пока одиночки Зобовы ведут свою революционную работу, подготовляя поворот событий в другую сторону, все идет своим чередом, испытание огнем и водой продолжается. И в минуты опасности, когда смерть подстерегает свои жертвы, на дне моря, в полуразрушенной субмарине затравленные матросы обращаются к вину, шуткам, песням и музыке. Вот здесь-то и приходит конец нирване, растворению в стихии, море не зовет, не утешает, на краю гибели рефлекс жизни просыпается и мощно бушует в каждой клетке тела и сознания. Жизнь зовет. Зобов «рычит раз'яренным львом: эх, вырваться бы отсюда. Только бы вырваться». Малодушные не выдерживают испытания и кончают с собой, сильные борются до конца и, благодаря находчивости Зобова, побеждают смерть. И читатель чувствует, что для бойцов, прошедших сквозь горнило империалистической войны, впереди предстоит еще большая работа, прежде чем мир будет очищен от гнили и позора войны, а море и суша из арены человекоистребления превратятся в широкую ниву коммунистического строительства.

Автор «Подводников» сумел связать «подводное» прошлое лица, от имени которого ведется повесть, с его дальнейшей судьбой и ростом революционного самосознания. Матрос Власов, действительно, пришел со «дна», был воспитан и обучен грамоте приютившей его проституткой, работал на рыбных промыслах, пока, наконец, не получил боевое крещение над водой и под водой. В процессе его развития очень любопытные первые впечатления от подводной лодки: «Это какое-то чудовище с очень сложным организмом, порождение буйной человеческой фантазии». Мысль Маркса о том, что, перестраивая природу, мы перестраиваем самих себя, находит интересную иллюстрацию в переживаниях подводника после первого плавания: «С тех пор в моей душе, как от плуга в поле, осталась глубокая борозда». И в момент плавания и боевой работы люди в субмарине — «живые приборы вдобавок к тем бесчисленным приборам, какие имеются на лодке». Повесть «Подводники» приводит к мысли, что и автор, и герой повести могут с полным правом применить к себе слова Зобова: «Я прошел огни и воды, медные трубы и чортовы зубы». Дальнейший путь моряка через суровую школу труда, боевой страды и лишений непосредственно к революции изображен верно и убедительно в одном из последних рассказов писателя «В бухте Отрада».

«Вода — стихия сладострастья, вода — зеркальность наших дум, без-
онность снов, безбрежность счастья, часов бегущих легкий шум», так пел
альмонт в «поэзии стихий» приблизительно в то время, когда писатель-
атрос А. С. Новиков-Прибой проходил сквозь огонь и воду и писал свои
ервые произведения. Морская стихия и борьба над ее недрами стихийных
іл, раздирающих человеческий коллектив, в муках классовых битв прощупы-
ющий пути к новому миру — все это прошло мимо буржуазного поэта,
спевшего отвлеченную розовую воду салонного мироощущения. Трудно
зче выявить две линии классового мировоззрения, как в этих двух подходах
разных концов к одной теме. В противоположность беспредметности бур-
уазного поэта, писатель, пришедший из «подводных» глубин коллектива
тжимает своим творчеством сложный клубок жизненных отношений, его
оизведения искренние, часто бесхитростные, иногда стилистически упро-
енные, дышат подлинной трагедией пережитого и перечувствованного,
ячатся пóтом и кровью матросов. Кто ознакомится с книгами А. С. Новикова-
рибой, тот об этом не пожалеет.

# Классовые корни творчества А. С. Неверова.

Н. Н. Фатов.

При попытке определить классовую основу творчества писателя часто опускаются грубые ошибки, неминуемо приводящие к ложным выводам и заключениям. Главные причины этих ошибок следующие:

1) За основу, определяющую позицию писателя, часто берут *исключи-ельно его происхождение*, точнее говоря — принадлежность его родителей к пределенному классу или сословию, в то время как происхождение является ишь *одним из важнейших условий*, определяющих психику и идеологию че-овека, *но отнюдь не единственным;* психика и идеология всякого индивидуума пределяется *всею совокупностью условий бытия*, в которых он пребывает течение *всей своей жизни*, и прежде всего тою *ролью в производстве*, кото-ую данный индивидуум и его социальная группа выполняет.

2) Нередко забывается, что классы не отделяются друг от друга непро-ицаемой стеной. Конкретно, для каждого отдельного суб'екта, мы имеем аличность известных классовых *функций*, так сказать, элементы *классо-ости*, которые могут существовать как в чистом виде (на 100%), так и смешанном, в переплетении с классовыми функциями иной категории. Iожно себе представить «чистого» крестьянина или рабочего, выполняю-его *(всю жизнь)* те классовые функции, которые присущи исключительно анному классу; но можно представить (и у нас в России это встречается собенно часто) *смешанный тип*, выполняющий то функции крестьянина, функции рабочего, — или в разные периоды жизни, или, попеременно, ерез небольшие сравнительно промежутки времени. Часто встречаются *есьма сложные классовые комбинации*, с целым рядом *наслоений*, только крыв которые можно добраться до корней идеологии того или иного индиви-ума.

3) Часто упускают из виду, что всякий *класс отнюдь не представляет бою чего-либо целого*, монолитного. Реально всегда во всяком классе можно делить несколько слоев, интересы которых, соответственно их роли в про-зводстве, не всегда и не во всем совпадают.

4) Нередко полагают, что категория класса является первичной, тогда к, по существу, несмотря на всю ее важность, *категория класса является е же вторичной* и сама *определяется экономикой.*

---

Исходя из высказанных соображений, попытаемся определить классовую основу творчества недавно и неожиданно умершего А. С. Неверова (Скобелева), который является, несомненно, одним из наиболее интересных и даровитых писателей революционной России.

Любопытно, что вокруг Неверова не раз уже поднимался спор, считать его пролетарским писателем или нет. Сам он себя *считал пролетарским писателем:* таковым же считали его и товарищи, и критики. Напр., почти все известные мне некрологи квалифицировали его, именно, как «пролетарского» писателя. Но когда он осенью 1920 г. приехал в Москву на всероссийский с'езд пролетарских писателей, то бюро с'езда не признало его пролетарским писателем, чем он был, к слову сказать, сильно обижен [1]). В настоящее время некоторые из критиков считают его все же *крестьянским писателем,* — таково, напр., мнение тов. Валерьяна Полянского.

Какова же должна быть классовая квалификация Неверова?

Прежде всего, на основании тех сведений, которые имеются у нас о Неверове [2]), мы должны притти к заключению, что в его лице перед нами — *сложный классовый тип,* психика которого складывалась путем ряда *хронологических напластований.* Условия его жизни, а сообразно с тем и его роль в производственных отношениях несколько раз *радикально менялись.* Культурно-идеологические воздействия, которым он подвергался, точно также были далеко не сходными в разные периоды его короткой жизни. Сообразно с этим и идеология его претерпела значительные видоизменения.

Та почва, на которую впоследствии накладывались иные напластования, и которую надо считать для Неверова *основной,* была, действительно, *крестьянская.* С деревней, с крестьянским бытом Неверов был связан теснее всего. Он родился, вырос и до тридцатилетнего возраста жил *почти безвыездно в деревне.* Отец Неверова, Сергей Иванович Скобелев, по паспорту числился «мещанином города Симбирска», но имел избу и хозяйство в с. Новиковке, Ставропольского (ныне Мелекесского) у. Самарской губ. Впрочем, отец Неверова в деревне не жил, а служил сначала на военной службе, потом в Самаре и Оренбурге — городовым, кондуктором, и со своим сыном почти никакой связи не имел. Неверов родился [3]), вырос и провел детство и юность до шестнадцати лет в доме своего деда по матери, крестьянина Н. Елисеева. У деда была небольшая бакалейная торговля, скоро пришедшая в упадок, но главным образом он, равно как и вся его семья, в том числе

---

[1]) 19 ноября 1920 г. он писал из Самары старику-литератору А. К. Гольдебаеву своему большому другу: „Приехал из Москвы 1 ноября... На с'езде пролет. писателей я почти не был. Почему? Вот почему: бюро с'езда признало меня *непролетарским* (подчеркнуто Неверовым. *Н. Ф.*) писателем и дало мне совещательный голос. Я взял да и рассердился на них. Бегал по своим делам..." (письма Неверова цитируются мною по неопубликованным подлинникам).

[2]) Кроме сведений, попавших в печать, я имею возможность пользоваться несколькими десятками писем Неверова к писателям А. К. Гольдебаеву, И. Е. Лаврентьеву и др. лицам, а также воспоминаниями, любезно сообщенными мне женой покойного писателя П. А. Скобелевой-Неверовой и рядом его друзей.

[3]) 1 янв. нов. ст. 1887 г. (=20 дек. ст. ст. 1886 г.).

будущий писатель, занимались *обычным крестьянским трудом*. Обыкновенная крестьянская работа и деревенская жизнь казались мальчику достаточно влекательными, и он был всецело погружен в своеобразную поэзию деревенкого быта.

«Крестьянская работа в поле казалась мне самой лучшей на свете, — вспоминает Неверов, — и я быстро научился пахать сохой, жать серпом, плести лапти. Помню, плетение лаптей доставляло мне неиз'яснимое удовольствие. Я воображал себя каким-то стариком и оторвать меня от этой работы стоило большого труда... [1]).

От работы, особенно у молодежи, в деревне остается довольно много емени, и то, чем заполняются эти досуги, также необычайно привлекало себе Неверова-подростка:

«Особенно деревенские ночи, осенние праздники, свадьбы, вечера, девичьи посиделки, песни под гармонь — вся эта музыка коснулась как-то по особенному моей души, и я ушел в эту жизнь и в эту поэзию целиком», — говорит он [2]).

Для формирования Неверова, *как писателя,* эти первые 14 — 15 лет о жизни должны были иметь *решающее значение*. В эти годы определилась о *основная психическая установка,* его характер, его мироощущение, формировался его язык. С 15 лет условия жизни Неверова меняются — его дают приказчиком в «галантерейную лавку купца Никифорова» в с. Старую айну, а затем в «мануфактурный магазин купца Березкина» в посад Мекесс. Прослужив в этих должностях, повидимому, около двух лет, Неверов бежал» учиться в так наз. «второкласную школу» в с. Озёрки, Ставроп, у., ончание которой давало звание учителя школы грамоты.

Уйдя от условий крестьянского быта и крестьянского труда, Неверов юдолжает жить в деревне, сначала в качестве ученика-стипендиата озервской школы, а затем в качестве сельского учителя, которым он был с ени 1906 г. до начала 1915 г. [3]), когда его призвали на военную службу. том 1917 г. он демобилизовался и около полугода вновь пробыл в деревне . Елань), учительствуя и принимая участие в общественной жизни (был бран председателем волостного земства). К началу 1918 г. Неверов перераетcя в Самару, навсегда порывая с учительством и с деревней. Двенаать-тринадцать лет, прожитых Неверовым в деревне, хотя и не в качестве естьянина, разумеется, также много способствовали усилению связи Нерова с деревней и крестьянским бытом, несмотря на то, что в крестьяном труде он уже непосредственно не участвовал, продолжая оставаться о наблюдателем.

[1]) Автобиография — „А. С. Неверов о себе" — „Крестьянский Журнал", 1924 г., 2—3, стр. 2.

[2]) Там же.

[3]) За это время Неверов переменил несколько мест — был в Письмåре, Камышóвке, пóневе и Елáни—деревушках и селах Ставроп. у. Самарск. губ.

Обращаясь к творчеству Неверова, мы прежде всего видим, что он ишет *почти исключительно о деревне*. Почти во всех его произведениях — йствие происходит в деревне* [1]).

В огромном большинстве произведений — *действующие лица — кре-ьяне* [2]).

Восприятие мира и жизненных отношений дается Неверовым обычно *крестьянском преломлении,* хотя автор интеллектуально и возвышается д этим восприятием.

Социальные противоречия деревни Неверов почувствовал рано и очень тро. Уже в первом его рассказе, появившемся в печати в 1906 г. [3]), они вы-упают со всею определенностью:

> «Каторга, а не жизнь, — говорят мужики, — земли мало, да и та крутом в барской... Прижали нас, как ужа вилами... Работаешь лето-летненское, а придет зима — кусать нечего. Заплатишь подати, ан, глядишь, остался нагишем. Впереди нужда. Приходится или продавать последнюю овцу, если она есть, или надевать суму и итти по миру».

В 1909 г. Неверов пишет довольно смелый для того времени рассказ lузыка» [4]), где колоритно выявлена стихия классового протеста, зало-нная в крестьянстве. Из «барского дома» постоянно слышится музыка— эает приехавшая на каникулы «барышня». Слушает эту музыку ночной эрож Парфен, и она будит в нем ненависть:

> «Словно молотком ударили ему по вытянутой шее. Вытопилась в сердце у него глухая печаль, разгорелась звериная злоба. Подняла она Парфена на огромных крыльях, понесла ураганом, сделала грозным и сильным... Другая музыка тешила разгневанное сердце, резала кожу, поднимала выше, несла вперед. В щепки размечет Парфен барскую жизнь, кровью вымоет землю»...

И Парфен поджигает барскую усадьбу.

---

[1]) Исключений очень мало; так, напр., *в городе* действие происходит лишь в расска-: „Кровать“, „Случай из жизни“, „Веселые ребята“, „Стишок“, лeб наш насущный“, „Колька“, „Портфель“ и нек. др., а также в пьесе енское засилье“; *в дороге* (в поезде) — действие происходит в рассказах: IV классе“, „За хлебом“, частично в повести „Ташкент — город ебный“; *не в деревне* действие происходит и в некоторых военных рассказах, -то: „В казарме“, „Среди умирающих“, в остальных *во всех* (число их — менее 200) произведениях Неверова *место действия — деревня* (за исключением, ечно, нескольких чисто лирических вещей, вроде „Радушки“, где нет никакого йствия“).

[2]) Кроме крестьян, Неверовым выводится в ряде рассказов — *учителя, духовные*, . представители тех двух групп сельской дореволюционной „интеллигенции“, с кото-ми он в деревне сталкивался, и совсем в единичных случаях — *советские служащие, атели* и *рабочие*.

[3]) Рассказ „Горе залили“ — журн. „Вестник Трезвости“, 1906 г., март — апрель, 135—136, стр. 31—39.

[4]) „Современный Мир“, 1909 г., август, № 8, стр. 81—95; перепечатан в книге: ександр Неверов, „В садах“, М. 1924 г., стр. 117—134.

Революция дала Неверову новые темы и массу материала для наблюдений. Изображению быта революционной деревни Неверов посвятил свое наиболее обширное по размерам произведение—роман «Г у с и - л е б е д и», повесть «А н д р о н - Н е п у т е в ы й» и ряд мелких рассказов и пьес. Характерно, что революция и гражданская война изображаются им так, *как они преломились в сознании крестьянства* и как они фактически *происходили в деревне*. Главное внимание Неверов обращает на *расслоение деревни* и с одинаковым мастерством рисует психологию и *передового крестьянства* — «лебедей», по его образной терминологии — таковы Андрон, Аннушка («Андрон-Непутевый»), Федякин, Синьков («Гуси-лебеди»), Марья («Марья большевичка») и др., и *крестьянства отсталого*, более зажиточного, *кулацкого* — «гусей» (старики в «Андроне», дедушка Лизунов, Перекатов, Суров в «Гусях-лебедях», Григорий Лукич в «Новом доме» и пр.), а также характерные настроения *средних*, колеблющихся, *«аполитичных» элементов*. Особенно интересно изображение Неверовым психики именно последней группы крестьянства, того серого «середняка», который составляет *огромное большинство* деревенского населения.

Ему, этому какому-нибудь Кондратию Струкачову, весь век ковырявшему сохой свои затоны, ничего на свете не надо, лишь был бы урожай и никто бы не мешал ему делать свое дело. Политические партии, учредительное собрание, «спасение родины» и пр. — пустые, ничего не говорящие его сердцу звуки:

«— Мирно-то жить неужто нельзя?

— Выходит — нельзя.

— Сколько лет жили! Выдумали какое-то равенство.

— Городские дошли...

— Бить надо за каждую выдумку, чтобы людей не тревожили...»

(«Гуси-лебеди, ч. II, гл. 1)

На призывы итти в «народную армию», потому что «родина в опасности» — ответ один: «К чорту! Пускай сами дерутся». —

«Значит, погибнуть должна наша Россия?

— Ну, и чорт с ней, пускай погибает, своя башка дороже...» (Там же, гл. 20).

Дед Поликарп в пьеске «Д о б р о в о л ь ц ы» говорит:

«Тихую мне надо жизнь... Когда сроду в нашей деревне война происходила?.. А теперь каждую ночь не спишь. То-и-дело бухают. Это, говорят, красные идут на белых. Уснешь маленько — опять бухают. Это, говорят, белые идут на красных. Разбери тут вот с нашей головой» [1]).

Сбежавший было от чехов к «большевикам» Кондратий тайком пробрался в свою избу, и его сразу охватила своеобразная поэзия своего мужиц-

[1]) „Красноармеец", 1922 г., № 49.

кого угла, понять и передать которую может только человек, *сам в таком углу выросший:*

> «Сбросил Кондратий гнетущую тяжесть, чвокнул, крутнул головой. Слава богу, теперь он дома. Вот и печка стоит, и лохань около печки, над лоханью глиняный умывальник с отшибленным носом. Вон и кошка за ухом чешет, тараканы ползут по стене, и ребята на полу под дерюгой спят. Будто никогда не были чехи в этих краях, никогда и Кондратий не был большевиком, никуда не бегал из старой отцовской избы.
>
> ...Как легко, как нестрашно сидеть в своей семье, видеть свою лохань, своих тараканов и свой умывальник с отшибленным носом...» («Гуси-лебеди», ч. II, гл. 13).

Но когда чехи его арестовали, и ему вновь пришлось бежать из деревни, настроение сразу переменилось:

> «Вот чехи, сволочи, чего делают — другой раз погнали из своего села! В своей семье не хозяином стал. Ну, и времячко подкатилось...» (Там же, гл. 18).

И неудивительно, что:

> «когда пришел приказ о мобилизации в народную армию на борьбу против большевиков... беднота сделалась вдруг сама б о л ь ш е в и с т с к о й [1])... Каждая избенка смотрела на прибывающих чехов сухим враждебным глазом, каждый газетный обрывок, призывающий на войну с большевиками, казался насилием над честью и совестью мужика, и каждую ночь в одиночку гибли молодые чехи от руки невидимых большевиков...» (Там же, гл. 20).

В 1918 г. Неверов оторвался от деревни, и она выпадает из поля его наблюдений. Однако голод 1921 — 1922 г., нашедший отражение в его творчестве, от потрясающих миниатюрок цикла «С т р а д а н и е» — до большого полотна «Т а ш к е н т — г о р о д х л е б н ы й», писатель отобразил так, как мог сделать только человек, кровно связанный с деревней. Чего стоит в этом смысле хотя бы заключительная сцена «Ташкента», когда Мишка, благополучно вернувшись с хлебом домой и застав чуть живую мать, —

> «долго ходил по опустевшему двору, заросшему кудрявой травкой. Увидел сухой лошадиный помет, вспомнил про лошадь — покупать придется. Увидел гнездо куриное с двумя перышками на почерневшей соломе, грустно вздохнул: заново придется налаживать ему все хозяйство. Лошади нет и курицы нет... — Ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться».

Оторвавшись от деревни, Неверов, тем не менее, продолжает *жить интересами деревни.* Он обрабатывает и художественно претворяет те впечатления,

[1]) Разрядка подлинника. *Н. Ф.*

оторые дала ему деревня 1917 — 1918 г.г. [1]). В своей деятельности последнего ремени, перед смертью, в 1922 — 1923 г.г., по приезде в Москву, он ачинает *служить деревне, как пропагандист и агитатор*. Тут особенно нтересно учесть его работу в специальных агитационных журналах «Крестьянка», «Работница», «Делегатка» и др., где он (гл. обр., в «Крестьянке») поместил десятки небольших полу-художественных, полу-агитационных рассказов на такие темы, которые волновали деревню и которые выдвиились очередными мероприятиями Советской власти. И антирелигиозная проіганда, и борьба с насекомыми-вредителями, и устройство яслей, и положение еоретически свободной и равноправной, но по бытовым условиям все еще забаленной женщины, и борьба с самогоном, и пропаганда сберегательных ассс, и многое другое — все это входит в поле зрения Неверова, проецияется им на деревенскую психику и дает материал для его своеобразных гит-рассказов.

Большое внимание уделяет Неверов *начинающим крестьянским писателям*. В «Крестьянке» он ведет специальный отдел «Литературные поиги», где, под псевдонимом «Дядя Сережа», подвергает обстоятельному разэру произведения крестьян, присылаемые в редакцию и дает товарищеские эветы. В журнале «На посту» (1923 г., №№ 1 — 4), под псевдонимом «Деевенский», он помещает ряд критических очерков под заглавием «*Деревня современной литературе*». Нельзя не отметить характерного эпизода, приодящегося на последние месяцы жизни Неверова: осенью 1923 г. произошел аскол «Кузницы», часть писателей, *во главе с Неверовым*, вышла из нее по ринципиальным основаниям, при чем одним из главных мотивов было то ображение, что «Кузница» *не дает ходу крестьянским писателям*, выдвигая сключительно пролетарских рабочих—писателей.

Крестьянские корни психологии Неверова определили *и его язык и тиль*. Не входя в подробности, отмечу лишь наиболее существенные элеенты неверовского стиля [2]), явно восходящие к крестьянскому, народноесенному языку:

а) *песенно-былинный склад речи*, часто *ритмической*, с своеобразными интаксическими особенностями:

«Звону-то колокольного третий месяц не слыхать. Грехи-то, положенные на душу, некому снять...

«Вьется голубь белый над кроватью, — наверное ангел с небеси посланный. Стоит в углу демон злой с рогами телячьими, глаза горят, как угли. Копытами стучит, хвостом собачьим голубя отгоняет»... («Андрон-Непутевый»).

«Течет степное марево, обнимает солнышко, шумит ветерок...

«Пусть она разломает всю жизнь у него, пусть поссорит с матерью, заведет новый порядок в старой отцовской избе» («Полька-мазурка»).

---

[1]) Повесть „Андрон Непутевый", 2 часть „Гусей-Лебедей", которых он так и не лел закончить.

[2]) Подробно стиль Неверова рассмотрен мною в подготовленной к печати книге: . С. Неверов. Очерк жизни и творчество".

б) типичные для народной-поэтической речи *сравнения, параллелизмы* и пр.:

«Легла Наталья на солому *играющей кошкой...*» («Гуси-лебеди»).

«Ходит кровь по косточкам, переливается. Шумит сердце не обласканное — хочется. А чего хочется — и сказать нельзя...» («Андрон»).

«Закроет глаза — тьма. Откроет глаза — тьма...

«Хочет открыть (глаз), а он не открывается. Руку хочет поднять, а она не поднимается...» (Там же).

«Поглядел Каюков в темные, застывшие глаза Матрены...

«Поглядела Матрена на прапорщика Каюкова...» («Гуси-лебеди»).

«Повернулась земля другим боком, взошло солнышко с другой стороны» (Там же).

в) характерные для крестьянского мышления *«прикидывания умом»*, по типу «и так плохо, и эдак не хорошо»:

«Если за Лукерьей бежать, чтобы вернулась — сада оставить нельзя: воры. Если на яблоню высокую залезть, чтоб тоску свою грохнуть оттуда — убиться можно» («В садах»).

«Сына ломать — силы нет. Себя ломать — от людей стыдно» («Андрон»).

«Не жалеть нельзя, и жалеть нельзя» (Там же).

«Если пойти с бедняками, кабы хуже не было... и не пойти — кабы хуже не было...» («Гуси-лебеди»).

---

На эту *крестьянскую первооснову* жизнь Неверова наложила, как уже было сказано, *ряд наслоений*. Прежде всего наслоились, конечно, *настроения сельского интеллигента, учителя*. Они сказались как в сознательном отношении к крестьянской жизни, так и в ряде произведений, в которых великолепно передана психология учительства («Учитель Стройкин», «Без цветов», «Серые дни», «Дело от безделья», «Гуси-лебеди», «Шкрабы» и др.).

Во-вторых, наслоились настроения — *горожанина, «разночинца», мелкого служащего — впоследствии советского служащего*. Впервые Неверов познакомился с городской и даже рабочей жизнью еще ребенком. Когда ему было лет 10 — 11, его отдали «мальчиком» в типографию. Там ему сначала очень понравилось, но через неделю он оттуда сбежал. Затем около двух лет он пробыл «мальчиком» в лавках, в возрасте 15 — 16 л., и, по окончании озерской школы, несколько месяцев жил в городах (Самара, Оренбург), испробав разные виды работы, от подметания улиц до писания стихов по заказу содержательницы кафе-шантана. Все это были кратковременные, случайные впечатления. Затем — жизнь его под Самарой и в Самаре в качестве мобилизованного, сначала военного писаря, потом ученика фельдшерских курсов, лазаретного фельдшера (1915 — 1917 г.г.) и, наконец, жизнь в

Самаре уже в годы революции, когда он одно время служил в «Роста», в Госиздате и нек. других учреждениях.

Вся эта обстановка была *чуждой* для Неверова, не затянула его, но все-таки отразилась на его психике и творчестве в тех немногих произведениях, где место действия — *город*, а герои — *горожане и служащие* («Кровать», «Колька» и нек. др. вещи).

Гораздо серьезнее было *третье наслоение*, — его надо считать самым важным, — наслоение психики *советского интеллигента-писателя*, которым Неверов все более и более начинал себя чувствовать. Писательству он и в довоенные годы посвящал много времени, работая почти все свободные от учительства часы, но все-таки писателем-профессионалом он стал лишь в революционные годы.

К 1921 г. Неверов освободился от официальной службы, еще раньше войдя, как один из самых активных работников, сначала в самарские литературные организации и кружки, редактируя ряд изданий, а потом окончательно окунувшись в московскую литературную жизнь. Знакомые, интересы — все это стало совершенно иное, литераторско-интеллигентское. В тематическом смысле новое наслоение отразилось у Неверова не особенно заметно (лишь несколько рассказов из интеллигентского, писательского быта, правда, очень ярких) [1]), но оно сильно сказалось в изменении его идеологии.

До революции Неверова едва ли можно было считать достаточно «политически грамотным». Получив небольшое образование, живя в глуши, вдали от культурных центров, он, разумеется, просто *многого не знал*, и в политических вопросах был во многом достаточно наивен. Тем не менее, происхождение из трудовых слоев, постоянная связь с крестьянством, трезвый ум, чуткость и честность настраивали его более или менее радикально.

Отчасти его идеология, как обычно бывает, оформлялась с помощью периодических изданий. Неверов аккуратно получал «Жизнь для всех», деятельным сотрудником которой он состоял с 1910 по 1918 г.г., переписываясь как с издателем В. А. Поссе, так и с некоторыми товарищами по журналу (И. Е. Лаврентьевым, В. Я. Муриновым). Кроме «Жизни для всех», он читал «Русское богатство», «Современный мир», «Бюллетень жизни и литературы», «Ежемесячный журнал», «Новый колос» и другие преимущественно либеральные издания; из газет читал (повидимому, нерегулярно) «Биржевые ведомости».

Стройного миросозерцания у него, конечно, не было. Война до известной степени открыла ему глаза. Так, 1 октября 1915 г. он писал И. Е. Лаврентьеву:

«Во всем приходится помаленьку разочаровываться, как только соприкоснешься с действительностью... Жаль, что «уста» связаны мол-

---

[1]) „Веселые ребята“, „Хлеб наш насущный“ и др.

[2]) Письма к И. Е. Лаврентьеву.

чанием, а то бы многое можно было порассказать и во многом разочаровать тех, кто еще не разочарован»...

Но отношение к этой действительности у Неверова было еще наивно-еалистическое. 25 ноября того же 1915 г. он писал Лаврентьеву:

«Выступать против несправедливости открыто — рискованно, мириться — совесть заест... Война, по всем признакам, протянется. Вот дожили... Где же силы небесные и что они делают? Вот и культура... Хороши плоды этой культуры — нечего сказать... Говорят, что за этой грызней наступит обновленье. Не верится... Царство божие не наступит, как там ни говорят. А до тех пор, пока не наступит царство божие, т.-е. когда человек не решится поднять руку на другого человека — до тех пор не может быть и обновленья, — не такого, конечно, которое выразится в лишней паре сапог и в лишней десятине земли. В это еще можно поверить, и то с трудом. Не ценится человек. В грош не ценится... А раз не ценится, раз отношение к нему, как к навозу, удобряющему чужие загоны, — что может выйти доброго. Слова... слова... слова...».

Как видим, точка зрения еще достаточно идеалистическая и ту-ıнная.

Революцию Неверов принял радостно, но позднейшие события смутили ). Значения октябрьских дней, тех «десяти дней, которые потрясли мир», сразу не понял, как не поняла их и значительная часть интеллигенции, спитавшаяся на «Русских Ведомостях» и «Русском Слове» и мечтавшая учредительном собрании, как о панацее от всех зол и бед. Осмысление льнейших событий для Неверова было тем труднее, что он скоро попал полосу чешско-белогвардейской оккупации.

Тем не менее характерно, что с освобождением Самары от чехов и лчаковцев, он *сразу становится на активную советскую работу*. Если в 18 г. он еще был «колеблющимся», то 1919 г. делает из него окончательно *ежденного работника советской культуры*. И если даже в житейском быту не всегда умел высвободиться из-под обывательских настроений, то творчестве, чисто интуитивно, он быстро начинает приближаться к понинию идеалов и сути советского строительства.

Этому много способствовали и сцены гражданской войны, которых он *л наблюдателем, и те условия жизни, крайне тяжелые, в которые он попал* 1919 г., когда ему пришлось «пролетаризироваться», и агитационная тература, газеты и влияние целого ряда товарищей — коммунистов или ммунистически-настроенных, как, напр., П. Ярового, М. Герасимова, Дороıченка, А. К. Гольдебаева и др.

Советские идеи становятся близки Неверову, не «за страх», а «за соть». Он умеет отличить сущность этих идей от «мелких недостатков меизма». В письмах той поры (к А. К. Гольдебаеву) Неверов жалуется на оверчивое отношение к нему со стороны некоторых местных работников,

ı том основании, что он непартийный и пр., но никогда к этим откровенılм жалобам он *не примешивает жалоб на Советскую власть, как на таковую.* ıоборот, всегда видно, что она ему близка и дорога.

Напр., 10 мая 1921 г. он пишет:

> «Дед! Я устал. Бороться за желудок устал... Минутами я готов задохнуться от ненависти к чиновникам, этим червям, об'едающим советское древо...»

Последние слова чрезвычайно характерны. Изголодавшийся писатель навидит бюрократизм, но с благоговением относится к «советскому еву».

В 1919 г. он пишет одно из самых замечательных своих произведений, большой лирический рассказ «Я хочу жить», в котором имеются уже *ементы пролетарского миросозерцания.* Рассказ написан в форме монолога. авное действующее лицо — человек, прошедший суровую школу жизни. гец — неизвестно кто. Мать — прачка и проститутка, жившая в подвале. изнь научила его многому, научила понимать, что он с матерью «посажен подвальный угол» —

> «волею тех, кто занял вверху над нами светлые просторные комнаты. Волею целого класса, ради которого сотни тысяч, миллионы других людей должны по-звериному пачкаться в слякоти темных подвальных углов...
>
> «А самое главное понял, — вот: живу я в этом мире, богатом красотой и роскошью, как наемник, как здоровый услужливый пес, подбирающий крошки... Начал работать с семи лет, работаю ежедневно, и все-таки — я нищий, помойный отброс... Я, вырабатывающий ценности, совершенно не имею никакой ценности, как человек, и те хозяева, которые распоряжаются моими рабочими мускулами, опозорят и меня, прикованного к постели, и детей моих, выгнанных на городскую, бездушную улицу...»

И потому он идет в бой, как доброволец, идет сражаться в рядах асной армии...

> «При одной мысли, что дочь моя, вместо светлой улыбки, скривит, перекусит тонкие побледневшие губы и, совестливо потупив глаза, неверными шагами выйдет вечером под негреющий свет фонарей, — при одной мысли об этом сердце мое рвется на части...
>
> «Я не вижу выставленных винтовок, не слышу, как рвутся снаряды... Стискиваю зубы, падаю, ползу, снова вскакиваю, бросаюсь вперед...
>
> «Я хочу жить, а для этого должен отстрелять солнечные дни для себя, для Сережки с Нюськой, для тех, кто не видит их старыми, проплаканными глазами...

«И оттого, что *я хочу жить, оттого, что нет иного пути сделать это проще и легче,* — любовь моя к жизни ведет меня в бой» [1]).

Голод 1921 — 1922 г.г. острее поставил перед Неверовым вопрос о про-ивопоставлении Советской России буржуазной культуре Западной Европы. этой последней Неверов начинает относиться с нескрываемой ненавистью.

«Смертность невообразимая, — пишет он А. К. Гольдебаеву. — Говорят, что если помощи не будет, то к весне в деревнях останется населения не более 10 — 20%. Оказываемая помощь недостаточна. Самарский крестьянин идет на голгофу, *а подлая культурная Европа устраивает конференции»* (Письмо от 7 февраля 1922 г.).

«Самая величайшая политика Ллойд-Джорджей не в состоянии оправдать тех ужасов, какие творятся в Поволжьи, *благодаря этой политике.* Плюнуть хочется в самую физиономию хваленой европейской культуре. Самарская губерния, вероятно, погибнет на две трети, если не больше. Бедные крестьяне!» (Письмо от 19 марта 1922 г.).

Переезд Неверова в Москву весною 1922 г. сильно содействовал эволюционированию его взглядов в сторону *пролетарской, коммунистической идеологии.* Общение с рядом партийных товарищей, участие в партийной прессе, е он был всегда желанным гостем («Крестьянка» и другие издания Агитюпа РКП, журнал «На посту», четко пытающийся отстаивать партийную нию в литературе, «Молодая Гвардия», орган ЦК РЛКСМ и др. издания) — чший свидетель тому. Не вступив официально в ряды РКП, Неверов ал *одним из ревностных и честно-убежденных проводников ее идей,* особнно в той области, которая касалась вопросов «смычки» с деревней, крестьянством, усвоив элементы *пролетарской идеологии,* порою пролетаримми глазами смотря на мир, «организуя своими произведениями мысли чувства читателей в направлении к коммунизму» [2]).

---

Каков же должен быть ответ на поставленный в начале вопрос о том, іяется ли Неверов пролетарским писателем?

Ответ в значительной степени вытекает сам собою из того, что было азано выше. Неверов, конечно, *не пролетарский писатель в полном смысле эго слова.*

Он — писатель *крестьянский,* родившийся, выросший в деревне и не рывавший духовных связей с ней до конца своих дней, с четко выраженной *естьянской психологией,* народным, *кресгьянским языком.*

---

[1]) Курсив мой. *Н. Ф.*

Александр Неверов, „Лицо жизни", М. 1923 г., стр. 38—44; первоіально рассказ был напечатан в самарском журнале „Красная Армия", 1919 г., № 4.

[2]) *Формула, данная на международном совещании пролетарских писателей* (см. звестия ЦИК СССР" от 12 июля 1924 г.).

Но на эту крестьянскую основу, которая осталась непоколебленной, Неверова *наслоились напластования психики и идеологии иных категорий*, а-то:

*сельско-интеллигентской;*

*городской — мелко-буржуазной;*

*писательско-интеллигентской (с советской ориентацией),*

*и, наконец, — пролетарской коммунистической.*

Наиболее правильной была бы квалификация Неверова, как *рабоче-крестьянского писателя*. Так мыслит его и группа близких к нему товарищей-ераторов, образовавших «Коллектив *рабоче-крестьянских* писателей имени С. Неверова» [2]).

---

[1]) В недавно вышедшем сборнике „Неверову", изд. „Красная Новь", М. 1924 г., огойченко определяет Неверова, как „революционно-пролетарского писателя деревни" . 40), полагая, что он органически приближался „к пониманию деревни в духе ленина" (стр. 45).

# КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

**Владимир Кириллов.** Стихотворе-
ия. Книга I. Издательство „Мосполиграф".
)24 г. Стр. 147.

Стихотворени Владимира Кириллова не личаются ни яркостью фантазии, ни оригинальностью образов, ни виртуозной техкой. Скорее, наоборот, в них непозвотельно много банального романтизма вобода — дева огневая, ее дыханье — розы я), затасканных эпитетов (целый поток ров пленительных, жертв очистительных, а титанических, солнц электрических и п.) и еще больше — неуклюжего, прозаиского красноречия:

рда насильников, развенчанное барство,
д паразитов, трутней и мокриц,
роев подлости, интриги и коварства,
пломированных изнеженных тупиц.

Поэзия Кириллова слагается из задумвости и протестующего лиризма. Можно азать, что это — наиболее мечтательный лирический из современных поэтов. Іечта", „голубой восторг" и „звезды" — т самые характерные слова для поэзии риллова. Он повторяет их не только на ждой странице, но по многу раз в одном том же стихотворении.

Поют мои звонкие струны,
Весеннюю песню поют.
Так ласковы, радостно-юны,
Мечты голубые цветут.
Раскрылись земные просторы, —
Какой ослепительный мир:
Улыбки, цветы и узоры
И пенье заоблачных лир.
Я вижу волшебные рощи
Еще неизведанных стран,
Где, полон восторженной мощи,
Шумит голубой океан.
Я вижу сады и селенья,
Красивых, свободных людей,
Им чужды и злоба, и мщенье,
И звоны кровавых мечей.
Цветут огневые виденья,
Алмазные волны шумят;
Но близится миг пробужденья
И меркнет лазоревый сад.
И светлую даль застилают
Туманы земной нищеты, —
И вот умирают, сгорают
Мечты — голубые цветы...
И грусть мое сердце сжимает,
Я снова и беден, и сир,
И снова меня окружает
Холодный враждующий мир.

Струны и юны, просторы и узоры, цветы и мечты — так и пестрят в стихотворениях Кириллова. Он не пренебрегает давно существующими уподоблениями, поблекшими метафорами, потертым словом или дешевой рифмой. Одинаково заимствует он и у Блока, и у Бальмонта, и у Маяковского, и даже у Надсона. Чужими словами он передает то, что внутри себя, и всегда остается пловцом-мечтателем, пустившимся по течению навстречу „золотому острову":

Смелей расправь полотна-крылья —
Он близок, остров золотой.

Кириллов мечтателен и элегичен. При этом его мысли свойственны какие-то неожиданные взлеты в заоблачные края, „за грани лет". Поэт не скрывает своих тревожных исканий. Он признается во всем, что думает:

Чудесное я вижу в каждом взоре, —
В сияньи звезд и дуновеньи роз...

Это ожидание чуда постоянно стучится в сердце поэта:

Нужно быть бесконечно глухим и тупицей,
Чтоб не видеть открытых в безбрежное врат,
И не слышать, как звездная сила струится
В поцелуях любви и в созвучьях сонат.

р кажется ему вековечной лаборато- жизни, беспрерывно меняющей свои ы и кочующей со звезды на звезду:
очень стар, я тридцативековый,

ревней, чем Новгород, Москва и Тверь.
е даром лоб мой многодумье гложет
зрелым яблоком свисает голова.
от эта пышная звезда,—быть может,
м я запомнил первые слова.
Жизнь непрерывная во мне цветет и зреет
не одна меня ласкала мать...

, любя мечтательное раздумье и тихие , Кириллов иногда умеет быть и м:

еми, безумствуй, гроза святая,
ятенье, ужас вокруг разлей,
ы долго ждали, изнемогая,
олниеносных твоих коней.
ас истомили судьбы оковы,
Удушье ночи, покой гробниц.
Нам сладок бури язык суровый,
И вихрь мятежный, и блеск зарниц.
емите, громы, все потрясая,—
р возродится от красных бурь.
в верим, знаем, заря святая
нями счастья зажжет лазурь.

ов обширный отдел стихотворений лова под общим заглавием „Красные я", весь посвященный революции, ледует заметить, что и здесь, в рево- Кириллову лучше всего удаются не е оды (например, „Труду", „Проле- у"), а стихи, посвященные мечтам о ктивах грядущего: „Грядущему поэ- Двенадцать месяцев", „Двадцать пя- тября", „Вожди" и в особенности вечер розов, город необычен".
более зрелые по форме стихотворе- мещены в последнем отделе „Сокро- песни". Но в то время, как в отде- асные крылья" выражены чувства и ения, прикрепляющие поэта к род- ле и обеспечивающие ему широкую ивость со стороны всех участников и труда, более изысканные „сокро- " песни рискуют остаться на вы- едоступности, чему немало содей- содержание некоторых песен, повис- жду бесплотным идеализмом и фи- кой космичностью:

Станет ясно: вымышлено время,
Смерти нет и даже жизни нет...
И легко, легко глухое бремя
Заглянувшему за грани лет.

„С м е р т и  н е т  и  д а ж е  ж и з н и  н е т"!?... Здесь философское искусство уже переходит в искусство философствовать. Как бы у поэта не явилось желание найти этой метафоре место среди социологических идей. В этом — слабое и весьма уязвимое место поэзии Кириллова. Не даром он все-таки пловец-мечтатель, несущийся по течению навстречу „золотым островам" и „голубой мечте".

Издана книжка опрятно. Обложка работы Н. Ушаковой — кораблик с круто вздутыми на ветру парусами — хорошо выражает сущность поэзии Кириллова.

Л. Войтоловский.

---

**Валерий Брюсов.** М е а. Собрание стихов 1922—1924. Государств. Издат-во. М. 1924. Стр. 104.

В этом сборнике с символическим и многозначным заглавием, в сборнике тематически чрезвычайно пестром — последняя дань большого и умного поэта веку и его кумирам и своим личным, общественным и профессиональным пристрастиям. Сборник открывается циклом „В наши дни": патетика революции, приветствия и размышления, пожалуй, главным образом, — размышления в торжественных и даже пышных словах; конечно — в привычной манере эрудита: от древности, от исторических камней — к кипению вихрей этого дня, к предчувствию будущей „эры эр". И образы — в космическом плане:

Мимо сотнями разные млечности,
Клубы всяких туманностей — сквозь!
Так — шествие русской революции.
Эй, Европа, ответь, не комете ли
Ты подобна в огнях наших сфер?
На созвездье Геракла наметили
Мы, стяг выкинув — Эс-эс-эс-эр!

Так во славу СССР говорит поэт; но и не „на потеху ли" также себе, искуснику и любителю „мировых масштабов"? В следующем цикле под этим названием — еще больше простора для замысловатого, а порою и глубокомысленного теоретизированья

на мировые темы уже философской, а не политической категории. Макро- и микрокосмос. „Невозвратность“, „Мир N-измерения“ — о судьбах вселенной; „Мир электрона“ — о „душе“ атома. „Хвала зрению“ — тут скрывается, пожалуй, философема заглавия. Вот как жадно спешит впитывать жизнь, жизнь в прямом биологическом смысле.

Вкус! осязанье! Звук! Запах!..
... Яркость природы! Земля!..
Быть с тобою! Взять тебя глазом! Все
в том!

Радость и нежность к жизни в природе — звучание цикла „В деревне“; но и тут не без мудрствования и рассудочных догадок поэта, обремененного книжным знанием и опытом цивилизации. К „умильному“ о природе примешиваются исторические и даже мифологические воспоминания и образы современной техники. Цикл „Из книг“ — пленительная власть книжной культуры; это — ряд посвящений любимым спутникам от исторических образов древности до учителей и сверстников в поэтическом труде и соучастников философических раздумий. „Общая станция“ знакомцев в веках: от мудрецов афинской школы до Риккерта и Маха, от Гомера до Бодлэра и Пушкина, от диадохов до Бонапарта. Все книжные имена, ставшие родными в поэтическом обиходе. Каждому кумиру — должное и в достойном стиле; от изысканной напыщенности стихов о диадохах до простых пушкинской простотою вариаций на тему „Медного всадника“. Три последних цикла: „Мысленно“, „Наедине с собой“ и „Бреды“ тематически повторяют в какой-то части мотивы каждого из предшествующих трех циклов: личное и вселенское в их соотношении и человек в природе и в истории. Но эмоциональный тон этих заключительных глав книги несколько иначе окрашен. Прежняя жизнеупорная и жизнеутверждающая тенденция тут нарушается мотивами резиньяции, впрочем, только в уединенно-человеческом.

Что ж мы памяти жадной? Не вплавь ли
звать
Чрез остывшую лаву минут?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Что нам видеть, пловцам с того берега?
Шаткий очерк родного холма!
Взятый скарб разбирать, или бережно
Повторять, что скопила молва!
Мы ли там, иль не мы? Каждым атомом
Мы — иные. В теченьи река.
Губы юноши вечером матовым
Не воскресут в усах старика!
Сплав, пылав, остывает... („Это — я“.)

Но „остывшая лава минут“ в плане индивидуальном—не в ущерб „молодости мира“.

Когда шесть круглых дул нацелено,
Чтоб знак дала Смерть - командир, —
Не стусклена, не сбесценена
Твоя дневная прелесть, мир!.. (Стр. 75.)

И только одно стихотворение „Так вот где жизнь таила грани“ выпадает из этой концепции.

Так вот где жизнь таила грани!
Стол, телефон и голос грустный...
Так сталь стилета остро ранит,
И сердце вдруг без боли хрустнет.
И мир, весь мир, — желаний, счастий
(Вселенная солнц, звезд, земель их),
Испеплен, рухнет...
...И вот — все ночь... (Стр. 79.)

Стихи этого сборника обременены обычной для Брюсова книжной мудростью и атрибутами ученого аппарата в стиле, ритмически нарочито (из-за профессионального пристрастия) усложненном; конструкция фразы произвольно затруднена иногда ради эффектов рифмы; словарь изобилует терминами и именами. Книжка в конце снабжена объяснительными примечаниями. Рекомендовать сборник можно только для читателя, уже в достаточной мере искушенного.

**Клавдия Лаврова.**

---

**Дм. Четвериков.** Сытая земля. Рассказы. Рабочее изд. „Прибой“. Ленинград 1924 г. Тираж 6.000 экз. Стр. 147.

19 сжатых рассказов его книги многогранно охватывают жизнь; они говорят об умирающем — старом и новом; в них современность не предстает вдруг и неожиданно-готовой — она вырастает в постоянной упорной борьбе.

Вот почему рядом с лирикой и пафосом труда („Двести процентов“) — пред нами вымирающая старая буржуазия и грубый нэпман („Колечко с камушком“, „Приплод“). Рядом с ведомыми на расстрел красноармей-

и и молодым, героически борющимся :олением („Двадцать три версты", „Дур- кровь") — новое мещанство совбары- нь („Матлёт").

Вот дикая разнузданность гайдамацко- ской орды, распарывающей животы му- ам и живьем закапывающая евреев Пинкарчук") — создает из нейтрального стьянина Шишко—революционера, а сол- старой армии, совершенно отупевший „полевого устава", пробуждается в дни ября („Денник Максима Петровича").

о всяком случае, — новое крепнет, но- растет. Из глубоких недр родины оно учает постоянный приток: это х у д о- с т в е н н о п р о ч у в с т в о в а л Четве- ов. Его любимый герой — молодой, пол- сил крестьянин, ищущий выхода - и своей темной, бурлящей, богатырской е. Иногда эта сила стихийно-трагично нет („Тавро" — Митрий), иногда через тизанщину приходит к подлинной ре- юции („Дурная кровь" — Ефим Бурков, нкарчук" — Шишко), — порой предста- на только в жадном зачаточном стремле- к городу — к свету („Сытая земля" — ло), — но везде постоянно, настойчиво тся новая „Сытая земля" к новому.

—

з ы к, п р и е м ы Ч е т в е р и к о в а так разнообразны, как и его сюжеты. Дале- , т а т а р с к у ю глушь он рисует сти- в о с т о ч н о г о с к а з а, с характерной ментовкой, эвфонически образными орениями и пр.:

„Десять баранов брал—резал с мо- литвой резака Абдул: губы вымажут жиром гости.

Десять турсуков пенистого кумысу выстроились в ряд, как сытые вер- блюды: будут гости пьяны" — и т. д. („Шайтан", стр. 53).

д е р е в н е он умеет рассказывать ом крестьянина: п р о с т ы м м у ж и ц- с к а з о м:

„Затащили болезнь солдаты. Тифом болезнь прозывается. От нее горит человек, жаром исходит"... и т. д. („Шкаф", 91 стр.).

ень многие эпизоды переданы стилем о р и с т и ч е с к о г о с к а з а со смыс- ми и звуковыми каламбурами (Гоголь) :

„Имя и отчество — самые стоющие— Максим Петрович. Вид тоже благоже- лательный. Не какой-нибудь шпек.

Но когда представится этак, торо- пясь, путаясь, чтобы как-нибудь не дослышали:

— Максим Петрович Гоп, — ну, и пойдет потеха..."

Как общее правило, — я з ы к Четвери- кова ясный, простой — без излишеств и утрировок, а к о м п о з и ц и я — четкая и сжатая.

—

В целом книга говорит об интересном и, в главном, уже сложившемся писателе. Но на один недостаток Четверикова необхо- димо указать: это — о р и е н т и р о в к а н а а н е к д о т. Автор как бы сознательно не хочет рисовать явления при полном осве- щении, при большой перспективе. Но,—на фоне узкого масштаба анекдота вещь те- ряет в глубине, делается мельче, а порой — и вовсе мелкой (см. „Шкаф", „Аэроплан", отчасти „Табак").

Колоссальное значение современности требует соответствующего фона. И там, где Четвериков дает события при полной перспективе — он достигает выдающихся результатов. На таких рассказах, как „23 в е р с т ы" (ведомые на расстрел красно- армейцы), „Д в е с т и п р о ц е н т о в" (ли- рика и пафос труда) — может воспиты- ваться учащаяся молодежь.

**И. М. Машбиц-Веров.**

—

„Стройка". Литер.-худож. альманах. Кни- га I. Раб. изд. „Прибой" Ленинград 1924 г. Стр. 207. Тираж 3.000 экз.

Альманах составлен, главным образом, м о л о д ы м и с и л а м и Ленинграда и со- держит стихи и прозу.

Из п р о з ы — лучшая вещь—р а с с к а з Д. Ч е т в е р и к о в а „Обруб". Он дает типичную, правдивую картину последних дней больного человека „обрубка", кото- рый „за час до смерти жизнь, как девку деревенскую насилует". (Стр. 30).

Хорошо также написаны р а с с к а з ы А. Т в е р я к а: „Не судьба" и „Синица". „Синица" — сильней, глубже. На незатей- ливом сюжете (уход крестьянки Аниски от своего первого мужа — „бобыля" Мити —

к его богатому брату) — дается простой, насыщенный, естественно-трагический отрывок из крестьянского быта. События рассказа развертываются быстро, захватывающе. Из самого сюжета, из ряда метко схваченных мест бьет новым:

„Утром бабы увидели Анисью с синяками и до вечера шушукались... С германской войны не били баб мужики, синяки у Анисьи были большой новостью...“

Остальная проза говорит об авторах, еще не оформившихся:

У Геннадия Фиша (рассказ „Генерал Корнилов“) любопытна попытка художественного использования газетного материала, порой заинтересовывает удачно использованный прием контрастной зарисовки гибнущих коммунистов-борцов на-ряду с разнузданно-кутящей белогвардейщиной; — но в общем вещь слаба. Психологически неоправдана смерть „героя“ рассказа, коммуниста Стукова, который довольно-таки не во-время заспался с женой — когда наверняка ждал погони белых...

Рассказ Крапского („От печки“) — о девушке, изменившей рабочему парню с его богатым хозяином,—написан искренно, но примитивно.

Рассказ Кологривского („Конфуз всей деревни“) и повесть М. Карпова („Апрельские прели“) — имеют в основе один и тот же недостаток: у авторов нет четкости в сюжете, нет решительной ориентации на определенный сюжет. В рыхлой массе художественного материала их рассказов параллельными рядами, одинаково интенсивно развивается... несколько сюжетов (по три)— и оттого в последнем счете все даются одинаково схематично. Эта сюжетная неопределенность вызывает в читателе хаотическое состояние: читатель не может решительно ориентировать свое внимание— оно распыляется.

Портит общее впечатление утрированно-динамический язык, дающий не живых людей, а схему. Вот, к примеру, портрет ответственного коммуниста-судьи:

„Одно из трех положений:

Ходит (чисто выбритый, с большими волосами, в черной гимнастерке и таких же (?) галифе) из угла в угол по комнате.

Если б не ходил, то:

лежал бы на деревянной койке — с точенными ножками койка — или:

сидел за столом и рылся в книгах“ (М. Карпов, 94 стр.).

Заключительная вещь отдела прозы — пьеса Жижмора „Фигуры“ — является неудачной попыткой отражения революции в... символической драме. Эта пьеса настойчиво подтверждает мысль Плеханова, что художник прибегает к символам, когда бессилен охватить подлинную жизнь.

Переходим к стихотворному отделу.

Из 3-х поэм альманаха, две — „Железные ряды“ Ф. Левина (не закончена, ч. I) и „Город“ Ив. Васильева — не оригинальны (влияния Есенина, Александровского), поверхностны. Поэма Махнина — „Летчик“ — гораздо сильнее. Более конкретная тема дает и более конкретного „героя“; стих оригинален, настроение бодрое:

„Но города и дни, и ночи
выковывают гордый труд...“

Два стихотворения Самобытника говорят о мастерском владении словом; поэт к тому же умеет сказать современное, живое.

Талантлив А. Крапский; его лирика искренна, но он еще весь в Блоке. Усердно и добросовестно работает над словом Соловьев.

Любопытно отметить, что в стихах Панфилова, отличающихся напряженно-юным задором, отчетливо проходит влияние А. Безыменского:

„Путь я в былом наполовину,
Но будет день и — ей-ей-ей —
Я подарю России сына,
Лучшее многих сыновей.
В крови, в отчаяньи и дыме,
Летящих в будущее лет
Для моего готовьте Кима
Полумильярдный партбилет“. (Стр. 9).

В заключение следует указать, что альманах „Стройка“ является стройкой молодой новой литературы. Об этом свидетельствует тяга авторов к новому быту,

ным типам. Трудностью поставленной и и молодостью авторов объясняются нные недочеты.

**Машбиц-Веров.**

---

**ара Фибих.** Железо в огне. Изд. .полиграф". 1924. Стр. 290.

верхностный историзм, столь часто льзуемый Кларой Фибих в качестве для ее отнюдь не исторических ро-в, находит применение и в рецензи-ой книге.

рвые главы „Железа в огне" посвя-ы описаниям мартовских дней 1848 года рлине. Ярко развернуты картины го-ых бунтов, столкновений с войсками, икадных боев. С большим напряжением ражена демонстрация ко дворцу Фрид-- Вильгельма, закончившаяся стрель-в народ и кровопролитным сражением лицах города.

днако ошибочно было бы предполагать, дальнейшее будет хоть сколько-ни-похоже на этот выразительный исто-ский пролог. Фибих имеет в виду ко установить декорацию историче-о свойства, а потом заняться любезным ердцу бытом немецкого бюргерства и овно-психологическим романом. Пыш-революционный пролог служит ей ко украшающим средством, только ра-для картин совсем иного содержания. дыму мартовских баррикад появляется ура кузнеца Германа Генце. Сначала метная, она вырастает с течением ро-а в центральный, все вокруг себя объ-няющий персонаж. Революционное про-е Генце быстро отходит на задний план, едавний борец за освобождение ста-ится очень ловким предпринимателем чень примерным бюргером.

узнец-пролетарий стремительно эво-ионирует до „хозяина", превращаясь ытого, обеспеченного и о революциях думающего буржуа.

История Генце расцвечена очень внуши-ным количеством любовной интриги, дъявленной с характерной для Фибих холо ической неглубокостью и с пр итор-сентиментальным привкусом. Много та уделено изображениям быта немец-о бюргерства и отчасти крестьянства, анным внимательно, мягко и с очевид-ной склонностью идеализировать старый мещанский уклад.

**Ив. Гаген.**

---

**Франц Юнг.** Пролетарий. Красная Неделя. Изд. „Мосполиграф". 1924. Стр. 159.

Франц Юнг принадлежит к небольшой количественно, но очень яркой группе немецких писателей, связавших свое творчество с революционным пролетариатом.

В условиях послевоенной Германии, характеризующихся крайним обострением классовых противоречий, вырос так называемый экспрессионизм. Судорожное, разорванное, кричащее и больное искусство— выразитель отчаянных шатаний интеллигенции, оставшейся без почвы, без содержания и без перспектив. Искусство—кошмар.

Только немногие, наиболее здоровые художники нашли выход из положения и твердую почву в присоединении к борющемуся за социальную революцию пролетариату. Одним из таких был и Франц Юнг. Уже в 1918 году он решительно порывает со своим литературным прошлым и посвящает свое творчество изображению этапов революционной борьбы немецкого пролетариата. Эта тема становится для него единственной и всеобъемлющей.

„Пролетарий" и „Красная Неделя" принадлежат к характернейшим произведениям Юнга. В них действуют рабочие массы, вступающие в ожесточенную, упорную и и решительную борьбу. В грандиозном коллективном потоке здесь тонет героизм отдельных личностей. Строгая величественная поступь масс заглушает отдельные голоса. Революции не удается победить, она затоплена в крови, но это не дает еще поводов к унынию и дезорганизации, а только крепче спаивает ряды, закаляя их и вооружая для новых битв.

Свои обобщенные, отчетливые и резкие изображения Юнг насыщает глубоким революционным пафосом и уверенностью в победе. Его повести чужды пессимизма, разъедающего многих надломленных горькой немецкой действительностью.

Стиль Юнга сосредоточенно прост и строг. Его жесткая фраза кажется прорывающейся сквозь сжатые челюсти. Он не любит тратить слова и ограничивается лаконичными выражениями.

**Ив. Гаген.**

---

*Г. В. Плеханов.* *Статьи о Л. Толстом.* С предисловием В. Ваганяна. Государственное Издательство. Москва. Стр. 94.

В этот сборник вошли четыре статьи Плеханова, написанные в период, непосредственно следовавший за смертью Толстого (конец 1910, начало 1911 г.г.): „Заметки публициста. Отсюда и досюда", „Смешение представлений", „Карл Маркс и Лев Толстой" и „Еще о Толстом". Статьи носят в значительной степени полемический хар‹а›ктер. Полемика вызвана тем отношением к Толстому, которое проявилось в некоторой части марксистского лагеря (ликвидаторская „Наша Заря" и др.). „Сочетание крайнего идеализма с реализмом, столь характерное для Толстого сочетание, привлекает нас вовсе не как противоположность или антитеза нашему настроению, а как нечто родное, свое", писал Неведомский. Только реакционеры любят Толстого „отсюда и досюда", люди же „передового образа мыслей" любят Толстого „просто", целиком, — утверждал Homunculus.

Плеханов решительно выступает против этих мнений. Умелым, на редкость острым и глубоким анализом учения и эволюции Толстого, он показывает, насколько проповедь „яснополянского мудреца" несовместима с революционным мировоззрением, с марксизмом, больше того: несовместима с какой бы то ни было активной общественной работой. Марксист-революционер может „любить" Толстого именно только „отсюда и досюда". Он признает гениального художника, но отвергает христианина-аскета, идеалиста-догматика, крайнего индивидуалиста. Положительное значение проповеди Толстого заключается не в ее нравственной или религиозной стороне, а в ярком изображении эксплоатации народа высшими классами. Страницы, посвященные этому изображению, служат „сильным доводом и побуждением к критике посредством оружия". Но они только малая часть написанного. К тому же революционизирующее действие этих страниц отнюдь не входило в расчеты Толстого.

Наше время забыло не только то, что писали Неведомские и Homunculus'ы, но и самые их имена. Тем не менее статьи Плеханова, направленные своим острием против этих забытых писателей, не устарели. Не устарели потому, что чисто-полемический элемент сведен в них к минимуму. Плеханов полемизирует блестящим, мастерским разбором мировоззрения и проповеди Т[олстого], а этот разбор сохранил все свое [зна]чение и в наши дни.

Особенно замечательна его статья „С[ме]шение представлений". Чему собстве[нно] учил Толстой?—спрашивает Плеханов. С[ущ]ность его учения выражается в сло[вах] не противьтесь злу. Когда Толстого спра[ши]вали, что он стал бы делать, если бы п[ри]шли людоеды и захотели изжарить его де[тей], он отвечал: „Одно, что я могу сделать, внушить Зулу (людоеду), что это ему [не]выгодно и нехорошо — внушить, покоря[ясь] ему по силе. Тем более, что мне нет ра[сче]та с Зулу бороться. Или он одолеет м[еня] и еще более детей моих изжарит, или одолею его и дети мои завтра заболею[т и] в мучениях худших умрут от болезни".

Плеханов правильно замечает, что дово[ды] Толстого здесь на первый взгляд удивите[ль]но-странны. „Больше всего поражает сс[ыл]ка на то, что если я вырву своих детей [из] рук кровожадного „Зулу", то они зав[тра] умрут от болезни. Невольно возникает [во]прос: неужели это случится с ними за гр[ех] родителя?" Но довод оказывается не та[ким] странным, как это кажется на первый взгл[яд]. Дело в том, что Толстой противопостав[ляет] временное—вечному, телу—дух. Дух вы[ше] тела и его требований. Ребенок, спасенн[ый] от людоеда, может завтра же заболеть [и] умереть естественной смертью. Стоит [ли] несколько лет жизни поставить выше ин[те]ресов духа? Стоит ли брать на свою ду[шу] грех противления злу насилием, если т[ело] все равно бренно, временно, а душа — [ча]стица бога — вечна? И Толстой отвечает [] всегда. „Если на моих глазах мать засек[ает] своего ребенка, что мне делать? — Од[но:] поставить себя на место ребенка". Но „[кто] думает, что дальше итти в этом направ[ле]влении нельзя, тот ошибается: Толстой и[дет] еще дальше. Он думает, что человек, [на] которого напала бешеная собака, посту[пит] очень хорошо, если не будет ей сопро[ти]вляться". Он говорит: „Мне следует п[о]нить, что лучше, чтобы любимый мною [че]ловек теперь же, при мне умер от то[го], что он не хотел лишить жизни хотя [] бешеную собаку, чем то, чтобы он ум

ъядения через много лет и пережил .

стой вовсе не советует развивать в чувство „животной", „физической", личалости, жалости к чужому страданию. развивать жалость „духовную", — страдающему телу, а к страдающей Ребенку, которого засекает мать, о, и это дурно. Но еще хуже матери, которой переживает „муки злобы". и я отниму у нее ребенка, я усилю ение ее души, т.-е. увеличу грех. а, замечает Плеханов, Толстой не по-, как отразится на душе ребенка ание, которому его подвергают. Дальдругой статье) Плеханов показывает, олстого фактически всегда интересует г, которого истязают или эксплоатиа тот, который истязает и эксплоаг. Именно этот последний составляет т его проповеди. Весь смысл ее заается в том, чтобы удержать „душу", кто имеет возможность истязать и эксировать, от греха, от насилия, от зла. о она и носит такой отрицательный гер: Не клянись. Не блуди. Не лги .

тивопоставление вечного временному мает у Толстого характер противоления внутреннего мира челонешнему миру, сознания бытию. ой стоит на крайней идеалистической зрения, считая что внутренний человека совершенно не заит от внешнего мира. „Людям т дурно только от того,—говорит он,— ни сами живут дурно. И нет ничего ее для людей той мысли, что причины венности их положения не в них сав во внешних условиях". Не надо по- „направлять свое внимание и силы менения этих внешних условий", от „зло только увеличится". Надо енно обратиться на себя и в себе и ей жизни поискать причины зла..., и ины эти тотчас же найдутся и сами соничтожатся". Но если внутренний мир, ние не зависимы от внешнего мира, от , то это значит, что не нужно планооздействие человека на окружающие ия, не нужен контроль сознания над м. Нельзя никого осуждать, нельзя у ничего предписывать, нельзя ничего предпринимать для исправления внешнего мира. Не надо даже спорить, увещевать, не надо распространять свои идеи. Толстой так и писал: „Очень рад тому, что в последние три года во мне исчезло всякое желание прозелитизма". И если Толстой иногда выступал с резким протестом и обличением (напр.: „Не могу молчать"), то это значит, что он не был до конца последовательным, что он принужден был иногда признавать зависимость внутреннего мира человека от внешнего. „Толстой представлялся своим современникам великим учителем жизни только тогда, когда он отказывался от своего учения о жизни".

Так было во всем. Так было и по отношению к собственности. Для Толстого собственность—фикция, она „существует только для тех, кто верит Маммону и поклоняется ему". Освободиться от собственности нужно не передачей в другие руки — раз она фикция для меня, то она фикция и для других,— а „внутренним" отрешением от нее. Поэтому неправильно было требовать от Толстого передачи имения крестьянам, возмущаться его мнимой непоследовательностью в этом вопросе. Наоборот, в этом случае он был вполне последователен. Сам он внутренне отрешился от собственности, а, лишив собственности свою семью, он бы произвел над ней насилие, озлобил ее и не подвинул бы ни на иоту „божьего дела".

Уход из Ясной Поляны, которого требовали от Толстого его почитатели, представлялся ему эгоистическим шагом. Жизнь в семье была для него тяжела, трагична. Трагизм ее заключался в безвыходном противоречии, в которое попадал Толстой: противопоставление вечного—временному, духа — телу приводило Толстого к мертвому, бесплодному квиетизму. Но он был „слишком живым человеком, чтобы хорошо чувствовать себя в стране квиетизма". С одной стороны, надо „протягивать от себя нить наверх к богу, обрывая все боковые нити, связывающие с людьми". Надо стать, по выражению Плеханова, монадой, у которой нет окон на улицу. С другой стороны невозможно заглушить в себе жалость к чужим страданиям, „животное чувство сострадания". Живя в семье, Толстой переживал муки уязвленного сострадания. Помогая голодающим, шел вразрез со сво-

ними убеждениями: ведь помогал-то он нечистым средством—деньгами, которые, кроме зла, ничего не могут принести: помощь голодающим могла бы единственно заключаться в нравственной проповеди: не блуди, не клянись и т. д. (да и нужна ли даже проповедь?). Не все ли равно, умрет ли крестьянин сейчас от голода или через несколько лет от тифа? Час и тысячелетие равны перед вечной жизнью. „Я еще не знаю,—говорит Плеханов,—когда Толстой горше упрекал себя в неумении бороться с соблазнами: тогда ли, когда он жил в Ясной Поляне, или же тогда, когда кормил голодающих крестьян".

Толстой пытался основывать свое учение не только на „вложенной в человека любви к ближнему", но и на социально-биологических факторах, на общественном инстинкте. Он советовал брать пример из мира общественных животных. Но как возник общественный инстинкт, альтруизм? Из борьбы за существование. Но борьба за существование предполагает сознание зависимости внутреннего мира от внешнего, необходимости контроля над бытием, признание ценности тела. „Если бы социальные животные,— замечает Плеханов, — пришли к тому убеждению, что болит зуб или живот, — ну и пускай болит, а мне что за дело (слова Толстого). Если бы они стали уверять друг друга: лучше тебе быть искусанным бешеной собакой, нежели через „много лет" скончаться, например, от объядения, то „некоторые" люди лишены были бы возможности поучаться их примером, потому что животные общества исчезли бы с лица земли". Здесь лишний раз проявляется непонимание Толстым „диалектики жизни", несостоятельность идеализма в деле учения о нравственности.

Толстой не всегда был последователен. Он иногда покидал свою обычную точку зрения, заключавшуюся в противопоставлении „духа" — телу, и тогда в его рассуждениях замечалось сильное влияние социалистов, в частности социалистов-утопистов. Так, на-ряду со взглядом на собственность как на фикцию, у Толстого существует и другой взгляд. Он различает два вида собственности: трудовую (эта собственность — добро) и собственность, „ограждаемую насилием (городовым с пистолетом)" и являющуюся источником и результатом эксплоатации единицами тысяч. Эта собственность— зло. Деньги только скрывают факт порабощения, а не устраняют его. Деньги — новая страшная форма рабства, худшая, чем все другие, „потому, что она освобождает раба и рабовладельца от их личных человеческих отношений". Плеханов замечает, что в этом учении о собственности нет ничего нового в сравнении с тем, что писали о ней социалисты-утописты и даже некоторые просветители XVIII в., напр. Бриссо, кроме нескольких наивных утверждений.

Лучшие страницы у Толстого те, где он изображает все многообразное физическое и нравственное зло, связанное с собственностью и эксплоатацией одного класса другим. Но, тем не менее, „едва заходила речь о том, как же устранить те многочисленные физические и нравственные страдания, которые он так хорошо описывал, — он опять покидал точку зрения „временного" и возвращался в бесплодную пустыню квиетизма". Поэтому нет ничего более противоположного друг другу, чем социализм и Толстой. Сам Толстой это прекрасно сознавал и четко сформулировал в статье „Смешение представлений". „Нет более далеких от вас людей (чем революционеры)... Это как два конца несомкнутого кольца. Концы рядом, но более отдалены друг от друга, чем все остальные части кольца".

Я остановился так долго на этой статье Плеханова, потому что она является центральной в сборнике и затрагивает наиболее существенные проблемы. Она, конечно, не исчерпывает всего богатства мыслей Плеханова, высказанных в его статьях о Толстом. Мысли эти выражены так сжато, что для того, чтобы передать все существенное, пришлось бы по-просту повторить всю книгу. Все четыре статьи подходят к проблеме с разных сторон. Я остановлюсь несколько подробнее еще на двух-трех наиболее важных пунктах. Во-первых, на народолюбии Толстого. Переворот, пережитый Толстым, заключался в том, что: 1) жизнь богатых классов потеряла для него привлекательность, 2) привлекательность получила жизнь простого народа, и смысл, придаваемый трудящимися этой жизни, стал для него истиной. Жизнь простого народа

тся Толстому не потому, что это жизнь , живущих трудами своих рук, а по- что она проникнута религиозностью, нием, квиетизмом. Когда он говорит: , он представляет себе крестьянина го старого времени, вроде „всевыно- о и всепрощающего“ Платона Кара- Промышленный пролетарий для него азумение, печальная ошибка в ходе ственного развития. Он отрицает не юе, а только одну сторону прошлого, изируя другую его сторону.

ее, религия Толстого. Плеханов опре- г учение Толстого, как „пессимизм елигиозной подкладке“ или „религию на основе край- пессимистического миро- щения“. Плеханов указывает на ники этого пессимизма, неизбежно зшего Толстого к религии: неудовле- нность деятельностью, направленной ственному и семейному благополучию ие, воспитание детей, слава), крайне й интерес к общественной работе. алась пустота, заполнить которую только религия. К этому присоеди- ь еще полученное в детстве воспита- религиозном духе. В религии Толстой ался крайним индивидуалистом: „Вы ите „сообща легче“. Что легче? Па- косить, сваи бить,— да, легче, но ижаться к богу можно только по оди- “. Этим индивидуализмом объясняется обостренный страх смерти, и жажда ертия (на связь между индивидуа- м и учением о бессмертии души ука- еще Фейербах).

этом мы закончим. Само собой разу- я, что эта замечательная книга Пле- а,— одна из лучших книг, написан- о Толстом,— в особой рекомендации ждается. К книге приложены два ка из плехановских статей: один — о ии Толстого, другой—об искусстве.

**А. Лежнев.**

---

Керженцев. **Новое о Ленине.** **инский сборник.** I. Стр. 252. **инский сборник** II. Стр. 520. едакцией Л. Б. Каменева. Издание Ин- та Ленина при ЦК РКП.

инские сборники, выпускаемые Ин- том Ленина, представляют собою со- вершенно исключительное явление на нашем книжном рынке по ценности содержащихся в них материалов, по любовной тщательности редактирования, по безукоризненной технической внешности.

О первом Ленинском сборнике, вышедшем весной, в нашей печати было уже не мало заметок и статей, поэтому мы можем ограничиться здесь лишь несколькими замечаниями. Центральное место сборника занимают письма Ленина к Горькому, относящиеся к периоду 1908—1913 гг., и документы, касающиеся зарождения „Искры“. Среди последних особенное значение имеет заметка Ленина „Как чуть не потухла «Искра»“. В ней мы находим не только интересные подробности о подготовке издания „Искры“, но и исключительно драматические замечания Ленина об отношениях с Плехановым. В этих переговорах Плеханов держал себя в высшей степени заносчиво, неискренне и при всяком случае давал понять свое превосходство. Это создало резкий перелом в отношениях между Лениным и Плехановым. Ленин пишет: „Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, vénération, ни перед кем я не держал себя с таким „смирением“ — и никогда не испытывал такого грубого „пинка“. Мы оба (Ленин и Потресов) были до этого момента влюблены в Плеханова и, как любимому человеку, прощали ему все, закрывали глаза на все недостатки, уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это — мелочи, что обращают внимание на эти мелочи только люди, недостаточно ценящие принципы... Младшие товарищи „ухаживали“ за старшими из громадной любви к нему,— а он вдруг вносит в эту любовь атмосферу интриги и заставляет их почувствовать себя не младшими братьями, а дурачками, которых водят за нос, пешками, которые можно двигать по произволу, а то так даже неумелыми Streber'ами (карьеристами), которых надо посильнее припугнуть и придавить. И влюбленная юность получает от предмета своей любви горькое наставление: надо ко всем людям относиться „без сентиментальности“, надо держать камень за пазухой“ (Ленинск. сборн., стр. 39—41).

В таких словах, полных глубокой горечи, Ленин описывал те недоразумения и столкновения со „стариками", благодаря которым чуть не разрушилось начавшееся дело: создание социал-демократической газеты.

В письмах к Горькому мы находим богатый материал по истории партии и борьбы Ленина против богоискательства и ликвидаторства. Здесь Ленин терпеливо разъясняет плохо разбирающемуся в политике Горькому позицию большевиков. Он указывает ему, например, что рабочее движение учится постановке социал-демократической работы лишь путем полного отрицания ликвидаторства и отзовизма и добавляет: „Только... Троцкий воображает, что можно это отрицание обойти, что это лишнее, что рабочих это не касается, что вопросы ликвидаторства и отзовизма ставятся не жизнью, а печатью злых полемистов" (Ленинск. сборник, I, стр. 109).

В письме 32-м (ноябрь 1913 г.) Ленин резко выступает против заявления Горького о том, что богоискательство нужно на-время отложить, что богов не ищут, а создают. Ленин пишет:

„Вы против „богоискательства" только „на-время"!! Выходит, что вы против „богоискательства" только ради замены его богостроительством!!

„Ну, разве это не ужасно, что у вас выходит такая штука?

„Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый чорт отличается от чорта синего"... И вы, зная „хрупкость и жалостную шаткость" русской: (почему русской? а итальянская лучше?) мещанской души, смущаете эту душу ядом, наиболее сладеньким и наиболее прикрытым леденцами и всякими раскрашенными бумажками!!

„Право, это ужасно.

„Довольно уже самооплеваний, заменяющих у нас самокритику".

„А богостроительство — не есть ли это худший вид самооплевания? Всякий человек, занимающийся строительством бога или даже только допускающий такое строительство, оплевывает себя худшим образом, занимаясь вместо „деяний" как раз самосозерцанием, самолюбованием, при чем „созерцает"-то такой человек самые грязные, тупые, холопские черты или черточки своего „я", обожествляемые „богостроительством".

„С точки зрения не личной, а общественной, всякое богостроительство есть именно любовное самосозерцание тупого мещанства, хрупкой обывательщины, мечтательного „самооплевания" филистеров и мелких буржуа, „отчаявшихся и уставших" (как вы изволили очень верно сказать про душу—только не „русскую", надо бы говорить, а мещанскую, ибо еврейская, итальянская, английская — все один чорт, везде паршивое мещанство одинаково гнусно, а „демократическое мещанство", занятое идейным труположством, сугубо гнусно (Ленинск. сборник, I, стр. 145—146).

Во втором сборнике мы находим прежде всего богатейший материал по выработке программы нашей партии перед II Съездом. Здесь впервые опубликованы различные проекты программ, написанные Лениным и Плехановым.

Во-вторых, мы находим несколько десятков писем Ленина периода войны, адресованных т. т. Шляпникову и Коллонтай, характеризующих позицию Ленина в период войны и в самом начале революции.

Наконец, здесь же воспроизведены все ленинские „Письма издалека", написанные для „Правды" (до „Правды" дошло лишь одно) и ряд других материалов и заметок, касающихся марта—апреля 1917 г.

Мы знаем, что еще в 1895—1896 г.г. Ленин написал проект программы нашей партии. В 1899—1900 перед самым отъездом за границу он снова возвращался к этой теме, продолжая разрабатывать пункты программы и составляя подробные комментарии к ней.

Редакция „Искры", подготовляя II Съезд, считала своей обязанностью заблаговременно выработать и программу для партии. Первоначально в основу обсуждения был положен плехановский проект программы. Ленин, убедившись в неприемлемости для себя первоначального варианта плехановской программы, в 1902 г. набросал свой проект. Большинство редакции, однако, высказалось за плехановский вариант, и, в конце концов, он был утвержден в качестве официального проекта,

оженного Съезду, с внесением в него, о, ряда поправок и изменений.

жду ленинским и плехановским про- и имелись существенные различия. хотел иметь программу „полити- борющейся партии", программу про- ната, борющегося против „весьма ных проявлений, весьма определенного лизма".

хановский проект по всему своему типу корее программой для учащихся, напо- экономический учебник, посвященный лизму вообще. Плехановская про- а все время сбивалась на коммента- стремилась вместо характеристики ка- стического процесса дать объяснение т. д.

ме того, она страдала абстрактностью лировок, „как будто она предназна- не для боевой партии, а для курса й". Плеханов выдвигал на первый общую характеристику капитализма, же считал необходимым в первую ь говорить о русском капитализме и ть программу именно с этого.

ин писал, что „программа должна вод и руководство для агитации про- русского капитализма. Мы должны вы- ь с прямой оценкой его и с прямым ением войны именно русскому ка- зму..." и в другом месте: „партия го пролетариата должна в своей мме самым недвусмысленным обра- ложить обвинение ею русского ка- зма, объявление ею войны русскому лизму".

м образом Ленин отчетливо подчер- боевой характер программы, говоря- совершенно конкретном капитализме кретной борьбе русского пролета- Невольно вспоминаются другие Ленина, которые он написал 20 лет в эпоху войны; характеризуя дей- льно революционную рабочую пар- н говорил: истинный революционер о борется не против буржуазии во- а против своей собственной буржуа- своей собственной стране. Только кой конкретной постановке вопроса но было разоблачать всевозможных -шовинистов и деятелей II Интер- ала, которые призывали бороться капитализма вообще и поддержи- вали капитализм и буржуазию в своем собственном отечестве.

Проект программы Ленина отличался от проекта Плеханова большей категорич- ностью при характеристике основных тен- денций капитализма. Плеханов говоря о тенденциях капиталистического развития, охотно и многократно употребляя в своем проекте слова „более или менее". Ленин писал, что товарное производство разви- вается „все быстрее", мелкое производство вытесняется „все более", противоречия ка- питализма „еще более обостряются", капи- тализм в России „не становится пре- обладающей формой производства, а уже стал преобладающей формой" и т. д.

Но, пожалуй, наибольшие расхождения касались вопроса о взаимоотношениях между пролетариатом и крестьянством, т.-е. того вопроса, который послужил основным источником расхождений в среде русской социал-демократии. По вопросу об отноше- ниях пролетариата к мелким производите- лям (т.-е., главным образом, к крестьянству) Ленин писал: „обязательно сначала от- городить себя от всех, выделить один только единственно и исключитель- но пролетариат,— а потом уже заявлять, что пролетариат всех освободит, всех зо- вет, всех приглашает..." и дальше: „именно в России мы должны сначала самым резким определением одной только клас- совой борьбы, одного только пролета- риата отгородить себя от всей этой швали (Ленин разумел эсеров и проч.), а потом уже заявляет, что мы всех зовем, всех возьмем, все сделаем, на всех расши- рим" (Ленинский сборник, II, стр. 132—133).

Иными словами Ленин настаивал на том, чтобы в основу работы было положено крепкое классовое объединение пролета- риата. Только на основе такого классового объединения, пролетариат сможет привле- кать к себе другие слои населения и ру- ководить ими.

Одновременно с этим Ленин требовал, чтобы программа отмечала не только воз- можную революционность мелкой буржуа- зии, но и ее консервативность и реакцион- ность. „Партия революционного класса только в той форме и может выра- зить условную революционность других классов, чтобы изложить перед ними свое

понимание их бедствий и средств исцеления от этих бедствий, чтобы выступить, в своем объявлении войны капитализму, не только от своего имени, но и от имени всех „бедствующих и нищенствующих" масс. (Ленинск. сб., II, стр. 82).

Проект комиссии как раз страдал неясностью формулировки об отношении пролетариата к трудящимся и эксплоатируемым массам вообще.

Характерны, например, прения вокруг лозунга диктатуры пролетариата. В первоначальном проекте Ленина указывалось, что пролетариат может совершить социальную революцию, лишь завоевав политическую власть. „В этом смысле диктатура пролетариата составляет необходимое политическое условие социальной революции". В так называемом втором проекте программы Плеханова слова „диктатура пролетариата" были выпущены и говорилось лишь о политической власти. Ленин решительно настаивал на словах, первоначально находившихся в программе. Плеханов согласился на это. В свойственной ему манере он писал: „Я заменил выражение диктатура пролетариата выражением власть пролетариата: это одно и то же, ибо в политике кто имеет власть, тот и диктатор. Но выходит, что теперь у меня сказано недостаточно „крикливо". Прибавьте „крику" (Ленинск. сб., II, стр. 95).

Совершенно ясно, что речь шла вовсе не об одной стилистике. Под понятием диктатура пролетариата скрывалась совершенно определенная форма политической власти пролетариата и отождествлять оба эти понятия, конечно, было нельзя.

Главная дискуссия, как мы видели, шла вокруг принципиальной части программы. Вопрос о программе-минимум, повидимому, не вызывал особых разногласий. Аграрная программа вошла в проект комиссии в основном в формулировке Ленина. В одном из проектов аграрной программы стояло предложение выкупа отрезков, в том случае, если они переходили из рук в руки. Ленин решительно возражал против выкупа, так как допущение этой буржуазной меры могло испортить всю революционную сущность требования отрезков. В результате, это требование было изменено, как предлагал Ленин.

В письмах Шляпникову и Коллонтай мы видим, как Ленин внимательно следил за всеми течениями международной социал-демократии в период войны. Позиция Ленина по отношению к войне была сразу вполне четкой и определенной. В первом письме (17 окт. 1914 г.) он пишет: „Оппортунисты — зло явное. „Центр" немецкий с Каутским во главе — зло прикрытое, дипломатически подкрашенное, засоряющее глаза, ум и совесть рабочих, она нее всех более. Наша задача теперь — безусловная и открытая борьба с оппортунизмом международным и его прикрывателями (Каутский)". И дальше: „Неверен лозунг „простого" возобновления Интернационала (ибо опасность гнилой примирительной резолюции по линии Каутский – Вандервельде очень и очень велика! Неверен лозунг „мира"-лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну (Лен. сб., II, стр. 195).

И дальше в этом письме он то-и-дело возвращается к указанию на наибольшую опасность „центра", который, прикрываясь сладенькими фразами, фактически выполняет ту же работу, что и социал-шовинисты. „Права была Роза Люксембург, давно понявшая, что у Каутского „прислужничество теоретика" — лакейство, говоря проще, лакейство перед большинством партии, перед оппортунизмом. Нет на свете теперь ничего более вредного и опасного для идейной самостоятельности пролетариата, как это поганое самодовольство и мерзкое лицемерие Каутского, желающего все затушевать и замазать, успокоить софизмами и якобы ученым многоглаголанием разбуженную совесть рабочих" (Ленинск. сб., II, стр. 201 — 202).

Уже в первые дни революции Ленин опять повторяет о необходимости твердой и самостоятельной позиции и решительной борьбы против оппортунистов и центристов. „По-моему, главное теперь—не дать себя запутать в глупые „объединительные" попытки с социал-патриотами (или еще опаснее колеблющимися вроде Организационного Комитета, Троцкого и К°) и продолжать работу своей партии в последовательно-интернациональном

• (Ленинск. сб., II, стр. 292). Таким об- ı Ленин особенно опасной считая уклон- ю центристскую позицию Троцкого.

е письма проникнуты революционной гней и верой в победу. Получив све- ı об аресте большевистской фракции, ı пишет: „ужасная вещь... работа нашей ıи теперь стала во его раз труднее, и ке мы ее поведем!" и кончает письмо: крепко руку и желаю бодрости. ена тяжелые, но вывезем!".

тих же письмах мы встречаем столь ред- ля Ленина указание на тяжелую обста- , в которой ему приходилось работать. ще одного большого делового письма ябрь 1916 г.) мы читаем: „О себе скажу, что заработок нужен, иначе поколевать, ей-ей!! Дороговизна дья- кая, а жить нечем...". Указав дальше обходимость получить деньги за по- ую в „Летопись" брошюру, он кон- „Если не наладить этого, то я, ей-ей, держусь, это вполне серьезно, вполне, е". (Ленинск. сб., II, стр. 279).

исьмах к Коллонтай от 16—17 марта г. мы встречаем первые наброски й, которые превратились потом в зна- ые апрельские тезисы. Он пишет „Мы создадим по-прежнему свою ю партию и обязательно со- м легальную работу с нелегальной. а что снова по типу Второго Интер- нала! Ни за что с Каутским! Непре- более революционная про- а и тактика... и непременно соеди- легальной работы с нелегальной. бликанская пропаганда, борьба про- империализма, по-прежнему рево- нная пропаганда, агитация и борьба ью международной пролетар- еволюции с завоеванием власти, „со- рабочих депутатов" (а не кадет- жуликами)" (Ленинск. сб., II, стр. 290) ьше: „Сейчас добивать реакцию, ни доверия и поддержки новому пра- ству (ни тени доверия Керенскому, ву, Чхенкели, Чхеидзе и К°) и во- енное выжидание, воору- ая подготовка более широкой для более высокого этапа" (Ле- б., II, стр. 292).

арта при сотрудничестве Зиновьева пишет первый проект своих тези- сов. Здесь он отмечает, что временное пра- вительство не может дать народу ни мира, ни хлеба, ни свободы, что оно внушает самое полное недоверие, что мир, хлеб и свободу может дать лишь рабочее прави- тельство, опирающееся на громадное боль- шинство крестьянского населения и на союз с революционными рабочими всех стран. Революционный пролетариат должен продолжать борьбу за завоевание демокра- тической республики и социализма, орга- низовать советы, разоблачать создавшееся правительство, подготовлять завоевание власти рабочим классом. Тезисы решитель- но отвергали какие бы то ни было блоки и союзы с рабочими оборонцами или с на- правлением, представлявшимся Чхеидзе и другими центровиками.

В последовавших затем „Письмах изда- лека" Ленин подробно разъясняет основ- ную программу русского пролетариата начавшейся революции. В первом письме, напечатанном в свое время в „Правде", Ленин давал общую характеристику задач партии. Во втором он критиковал позицию временного правительства. В третьем пись- ме (о пролетарской милиции), он на кон- кретных примерах давал характеристику того государства, к которому должен стре- миться рабочий класс. Ленин указывал здесь, что Февральская революция была лишь первым этапом революции, что сей- час мы в периоде перехода к следующему этапу, который даст власть в руки рабо- чих, поддержанных крестьянством. Для то- го, чтобы свергнуть новое создавшееся правительство и захватить власть, нужно прежде всего создать крепкие пролетар- ские организации.

Обращаясь к рабочим, Ленин пишет: „Товарищи рабочие. Вы проявили чудеса пролетарского героизма вчера, свергая царскую монархию. Вам неизбежно при- дется в более или менее близком будущем (может быть, даже приходится теперь, когда я пишу эти строки) снова проявить чудеса такого же героизма для свержения власти помещиков и капиталистов, ведущих импе- риалистскую войну. Вы не сможете проч- но победить в этой следующей, „настоя- щей" революции, если вы не проявите чудес пролетарской организованно- сти! Лозунг момента — организация".

В качестве основных форм Ленин указывал советы депутатов, отмечая, что в деревне необходимы отдельные советы наемных рабочих и затем мелких, не продающих хлеба, земледельцев от зажиточных крестьян. При помощи советов рабочий класс может захватить власть. Советы должны явиться органами восстания, но, захватив власть, пролетариат не будет нуждаться в том государстве, которое создала буржуазия. Нужно разбить эту государственную машину и заменить ее новой, сливая полицию, армию и бюрократию с поголовно вооруженным народом.

В качестве одной из первых мер, при помощи которой можно начать разбивать эту старую государственную машину и создавать новую, Ленин называл образование пролетарской милиции, как исполнительного органа советов рабочих депутатов.

В четвертом письме Ленин касался вопроса о том, как добиться мира. Он отмечал, что правительство Гучковых и Милюковых продолжает ту же самую войну, как и царское правительство, т.-е. войну империалистскую, грабительскую, разбойничью. „Обращаться к этому правительству с предложением заключить демократический мир, все равно, что обращаться к содержателям публичных домов с проповедью добродетели". Чтобы добиться мира, надо, чтобы власть в государстве принадлежала не помещикам и капиталистам, а рабочим и беднейшим крестьянам. Если бы государственная власть перешла к советам рабочих депутатов, то эти советы могли бы действительно провести мир в интересах трудящихся.

Лозунг мира сводился к тому, что нужно свергнуть буржуазные правительства, начиная с России, иначе никакого мира получить нельзя.

Таким образом, еще в Швейцарии, Ленин наметил ту программу действий, которую он обосновал в апрельских тезисах и других своих печатных и устных выступлениях по приезде в Россию.

Перед ним ясно рисовались ближайшие этапы революции и лозунги, под которыми должен пойти рабочий класс и вести за собою крестьянство.

Первый и второй Ленинские сборники дают богатейший материал не только для истории нашей партии и истории ленинизма, но имеют совершенно актуальный интерес. В них мы находим освещение многих вопросов, которые продолжают волновать партию и до сих пор, например, вопрос об отношении к крестьянству, к троикизму и т. д.

Хотелось бы, чтобы некоторые из отпечатанных материалов возможно скорее был переизданы для массового читателя, с необходимыми комментариями.

**П. Керженцев.**

---

**Л. Троцкий.** Сочинения. Том III 1917. Часть I. От Февраля до Октября. Гос. Изд. Москва 1924.

Несмотря на семилетний срок, протекши со времени Октябрьской революции, еш не опубликованы важнейшие исторически документы, относящиеся к данной эпохе еще не написаны воспоминания активнейших участников революции. Собирание все этих материалов — важнейшая очередна задача, преддверие к научному изучени Октября.

Тов. Троцкий оказал бы большую услуг Истпарту, если б он ограничился просты опубликованием своих статей и брошюр написанных им в 1917 году.

Но т. Троцкий не удержался от соблазн использовать исторический материал дл сведения внутрипартийных счетов со своими противниками, одержавшими верх в время недавней дискуссии.

Как известно, на тринадцатом партийно съезде т. Троцкий потерпел жесточайше поражение. На пятом конгрессе Коминтерна не взирая на настойчивые желания иностранных товарищей, тов. Троцкий, словно набрав в рот воды, упорно отказывалс развить свою точку зрения.

Но тем временем, в тиши своего кабинета, он готовил новый удар нашему партийному единству. И вот в Кисловодске 15 сентября, т. Троцкий закончил резко полемическую статью „Уроки Октября", которую он сейчас предпослал „вместо введения" своему третьему тому.

Ни для кого не секрет, что на протяжении всей истории нашей ленинской партии нередко среди товарищей возникали серьезные расхождения по тому или иному вопросу.

стрые разногласия не раз имели место бурный период 1917 года, на перевале ду двумя революциями: февральской юлетарской.

в. Ленин со свойственным ему рево-юнным темпераментом сурово осуждал бки отдельных товарищей, из которых торые были ему лично очень близки. никому не приходило в голову де-чудовищный вывод, что те или иные ы партии представляют собою „правое ю", „социал-демократические тенден-, „меньшевизм", „оппортунизм" и про-смертные грехи Второго Интернацио-Между тем, согласно толкованию Троцкого, выходит, что т. Ленин нахо-в перманентном окружении оппор-стов, а наша партия все время терпела ри Центрального Комитета злостных исправимых меньшевиков, непрерывно лявших палки в колеса на каждом тегическом повороте", употребляя вы-ый термин т. Троцкого.

овершенно ясно,— пишет т. Троцкий,— аже и внутри коммунистической пар-которая ведь не выходит сразу гото-з печи истории, борьба между социал-ратическими тенденциями и больше-м должна ярче, открытее и незама-ваннее всего обнаружиться в непо-венно-революционный период, когда с о власти становится ребром" XXII).

кно сказать, что вся статья „Уроки ря" написана ради изобличения этой й, несуществующей, выдуманной цким „социал-демократической тен-и", якобы существовавшей внутри партии даже в 1917 г., уже после льской революции.

жели т. Троцкий всерьез думает, что я большевистская партия под руко-ом такого врага оппортунизма, как ин, хоть на один миг оставила бы х рядах „правое", „социал-демокра-ое" крыло, если бы оно в самом деле твовало не только в воображении цкого?

мая 1917 г. т. Троцкий был вне Рос-о июля 1917 г. он стоял вне рядов евистской партии. Поэтому факты месяцев революции известны ему из газет или из частных разговоров.

Но товарищи, работавшие в то время в на-шей организации, прекрасно помнят, что происходившие у нас споры о характере революции абсолютно никем не рассматри-вались, как борьба большевизма с меньше-визмом.

Усиленно ища разногласий внутри нашей партии, т. Троцкий зачастую находит их там, где их никогда не было и в помине. Например, в предисловии „Уроки Октября" мы встречаем следующую фразу: „Мы ви-дим, как Ленин в начале мая сурово одер-гивает кронштадтцев, которые, **з а р в а в-ш и с ь, з а я в и л и о н е п р и з н а н и и и м и в р е м е н н о г о п р а в и т е л ь с т в а**" (Л. Т р о ц к и й, соч., т. III, ч. 1, стр. XXVII. Курсив мой. *Ф. Р.*). Здесь все неверно. „Мы видим",— пишет т. Троцкий. Откуда видим? Это секрет тов. Троцкого. До этого абзаца и после него о Кронштадте ничего не говорится. Известная резолюция Крон-штадтского Совета была принята не в начале мая, а 16 мая. Тов. Ленин никого сурово не одергивал, а, напротив, руководил крон-штадтцами в их борьбе с временным пра-вительством. Наконец, самое главное, крон-штадтцы никогда не заявляли о непризна-нии ими временного правительства. Сам т. Троцкий в 1917 г. думал иначе. На стр. 53—56 рецензируемой книги полностью напечатано **с о б с т в е н н о р у ч н о н а-п и с а н н о е** т. Троцким воззвание „От кронштадтских матросов, солдат и рабо-чих · революционному народу Петрограда и всей России".

Тов. Троцкий тогда писал буквально сле-дующее: „**З л о б н ы е п е р ь я к о н т р-р е в о л ю ц и о н н ы х к л е в е т н и к о в п и ш у т**, будто мы, кронштадтцы, зовем народ к произволу, самосуду и анархии, будто мы подвергаем мучениям арестован-ных нами насильников и слуг царизма, на-конец, **б у д т о м ы о т к а з а л и с ь п р и-з н а в а т ь в л а с т ь в р е м е н н о г о п р а-в и т е л ь с т в а**, отложились от России и об-разовали самостоятельную Кронштадтскую республику. **К а к а я б е с с м ы с л е н н а я л о ж ь, к а к а я ж а л к а я и п о с т ы д-н а я к л е в е т а!**" (Л. Т р о ц к и й, Соч., т. III, 1917, ч. 1, стр. 53. Курсив мой *Ф. Р.*). Несколькими строками ниже т. Троцкий правильно развивал точку зрения Крон-штадтского Комитета нашей партии:

„Говорят, мы не признаем власти временного правительства — жалкое измышление. До тех пор, пока это правительство признается волей организованного революционного народа, мы, кронштадтцы, не можем не признавать власти временного правительства во всех общегосударственных делах" (цит. соч., стр. 53—54). „Мы отложились от России? — вот где самая низкая, самая подлая клевета" (цит. соч., стр. 53—54).

На этом смело можно поставить точку. Тов. Троцкий в 1917 г. сумел найти мужественный язык, чтобы дать достойную отповедь автору „Уроков Октября", облыжно утверждающему, что кронштадтцы „зарвавшись, заявили о непризнании ими временного правительства".

Тов. Троцкий был бы не прочь задним числом изобразить дело так, что кронштадтцы являлись „левым" крылом нашей партии. Но, на самом деле, у кронштадтцев не было никаких разногласий с представителями так называемого „правого" крыла. Одним из доказательств служит то обстоятельство, что статья тов. Каменева о кронштадтских делах была немедленно перепечатана кронштадтским органом „Голос Правды".

Касаясь июльских дней, т. Троцкий снова выуживает из неизвестного источника какие-то мнимые, в природе никогда не существовавшие разногласия. „Наоборот, — пишет он, — те товарищи, которые относились враждебно к политике, направленной на захват власти, должны были видеть в июльском эпизоде вредную авантюру. Мобилизация правых элементов усилилась; критика их стала решительнее" (цит. соч., стр. XXXII).

Читая эти строки, прямо диву даешься.

Ну, в самом деле, кто это видел в июльском выступлении „вредную авантюру"? Кто, как не тов. Зиновьев, передавал по телефону распоряжение кронштадтцам о прибытии в Питер с оружием в руках?

В своем отношении к июльскому выступлению наша партия была вполне единодушна. И после июльских дней ни на верхах нашей партии, ни в рабочих массах не было никаких разговоров о „вредной авантюре".

Охранка Керенского тоже не делала никаких различий между „правыми" и „левыми" большевиками, одинаково сажая тех и других за железную решетку „Крестов".

Наконец, мы подходим к событиям Октябрьской революции. Здесь, действительно, в рядах нашей партии были серьезные разногласия. Эти факты общеизвестны.

Но основная тенденция т. Троцкого, сводящаяся к попытке проследить и выследить корни „правой интриги" в рядах нашей партии, здесь доходит до геркулесовых столпов.

Лучшим ответом на обвинения т. Троцкого могут служить слова самого Ильича. В письме к немецким коммунистам тов. Ленин 14 августа 1921 г. писал:

„Выработка опытных и влиятельнейших вождей партии — долгое, трудное дело. А без этого диктатура пролетариата, „единство воли" его останутся фразой. У нас, в России, выработка группы руководителей шла 15 лет (1903 — 1917), 15 лет борьбы с меньшевизмом, 15 лет преследований царизма, 15 лет, среди коих были годы первой революции (1905 г.), великой, могучей революции. И все же у нас бывали печальные случаи „потери головы" даже превосходнейшими товарищами. Если западно-европейские товарищи воображают, что они застрахованы от подобных „печальных случаев", то это такое ребячество, с которым нельзя не бороться" (Н. Ленин (В. Ульянов), Собрание соч. Гиз, М. 1923, том XVIII, ч. I, стр. 347. Курсив везде мой. *Ф. Р.*).

Теперь к этим западно-европейским товарищам, которых сурово одергивал Ильич, присоединился т. Троцкий. Даже идею „большевизации" коммунистических партий, принятую 5-м конгрессом по докладу т. Зиновьева, т. Троцкий изобразил, как такое их воспитание, такой в них подбор руководящего персонала, чтобы они были застрахованы от подобных „печальных случаев" в момент своего Октября.

Это как раз то самое „ребячество", с которым так усиленно призывал бороться т. Ленин.

Наша статья носила бы односторонний характер, если б она остановила внимание читателя только на одном предисловии.

Необходимо поставить вопрос: а какова ла в 1917 г. позиция самого т. Троцкого? каких высот „папской непогрешимости" ст он громы и молнии против ближайх соратников т. Ленина?

Как уже было сказано, до VI партийо съезда, т.-е. до июля 1917 г., т. Троц стоял вне рядов большевистской тии.

До приезда из-за границы автора статьи юки Октября" абсолютно никто не был рен относительно того, какую он займ позицию, напротив, в нашей среде быбольшие сомнения насчет того, к кому соединится т. Троцкий: к Ленину или ртову, вместе с которым он тесно рабо в годы империалистской войны арижской газете „Наше Слово".

, действительно, по приезде в Питер роцкий не сразу вступил в организанную связь с нашей партией. Напро через три дня после своего прибытия а границы, 7 мая, т. Троцкий уже акю участвует на обще-городской конфеции объединенных социал-демократов. стр. 46—50 рецензируемой книги прина речь т. Троцкого на этой конфеции и две составленных им резолюции. одержания этих документов ясно видно, до тех пор т. Троцкий еще рассматрисебя, как члена одной общей партии те с меньшевиками Церетели и Сковым.

т что говорил т. Троцкий 7 мая 1917 г. конференции объединенных социалкратов:

Мы не исключаем их (Церетели и Скова) из партии, они своим поведением ставят себя вне рядов с.-д. Мы сни с себя даже тень ответственности их".

, разве можно себе представить эти а в устах т. Ленина? Конечно, у Ильи мысли не было, что он в какой-нимерз может нести хоть „тень ответтности" за действия меньшевиков Цели и Скобелева. Для т. Ленина и его тников меньшевики представляли соне фракцию „объединенной" социалкратии, а совершенно другую, и привраждебную, партию.

це задолго до революции, в эпоху зды" и „Правды", тов. Каменев по заданию Ильича написал брошюру „Две партии", где совершенно недвусмысленно разрешал этот вопрос в духе ортодоксального ленинизма. А у тов. Троцкого открылись глаза на меньшевиков лишь после того, как Церетели и Скобелев вошли в состав буржуазного правительства.

Ну, а если бы они не вошли в коалицию? Если бы они продолжали поддерживать контр-революционную политику буржуазии, оставаясь в рядах соглашательского совета?

Тогда, повидимому, у т. Троцкого не было бы оснований исключать их из своей партии.

По крайней мере, резолюция т. Троцкого об отношении к Церетели и Скобелеву мотивирует свое осуждение не гнусностью всей их предательской политики, анти-демократической и контр-революционной от начала до конца, а исключительно лишь фактом их вхождения в состав коалиционного кабинета.

Приводим эту резолюцию по книге т. Троцкого целиком:

„Принимая во внимание, что, несмотря на уже имеющийся пагубный опыт социалистического министериализма Франции, Бельгии и Англии во время войны,—в состав нового временного правительства вошли граждане Церетели и Скобелев, в звании социал-демократов и даже интернационалистов, примкнувших в свое время к знамени Циммервальда, конференция обращает внимание всех социал-демократов на этот исключительный даже для нашей эпохи пример идейного отступничества и политической капитуляции социалистов перед буржуазией. Обязанностью всех работников партии является поэтому выяснение пролетарским массам, что своим вступлением в состав буржуазного министерства граждане Церетели и Скобелев поставили себя вне рядов революционной социал-демократии" (Л. Троцкий, Соч., т. III, ч. 1, стр. 49—50).

При всей внешней революционной фразеологии, резолюция т. Троцкого, ставя ударение на отдельном эпизоде социалистического министериализма, вместе с тем замалчивала тот основной факт, что вся

позиция меньшевизма была гибельной для революции. Заостряя свою резолюцию на личном вопросе „об отношении к Церетели и Скобелеву", т. Троцкий сознательно оставлял в стороне вопрос об отношении к меньшевистской партии вообще.

Из текста резолюции даже неясно, как быть „с той частью с.-д. партии, которая дала временному правительству своих членов Церетели и Скобелева".

По точному смыслу резолюции выходит, что остракизму подвергаются персонально лишь Церетели и Скобелев. Между тем, всякому известно, что эти два лица, входя в состав коалиционного кабинета, действовали отнюдь не индивидуально и не вразрез с решением своей партии (как, скажем, поступил Керенский в марте 1917 г.), а, напротив, они становились членами временного правительства в качестве официальных представителей меньшевиков. Поэтому логика требовала, чтобы т. Троцкий предложил к исключению всех меньшевиков. Но он этого сознательно не сделал. Почему? Да потому, что в тот момент т. Троцкий еще не выяснил своего отношения к большевизму и меньшевизму. В то время т. Троцкий еще сам занимал колеблющуюся, неопределенную, межеумочную позицию.

Именно поэтому в своих первых выступлениях он вообще тщательно воздерживался от оценки как позиции Мартова, так и позиции Ленина. По той же причине он уже отважился порвать с Церетели и Скобелевым, но еще не решался вообще рвать с меньшевиками. На словах он был склонен произносить полу-большевистские речи, но на деле он шел вместе с меньшевиками, считая себя вместе с ними членами одной партии. Подобно гетевском Фаусту, Троцкий того времени мог воскликнуть:

Ах, две души живут в моей груди,
Друг другу чуждые и жаждут разделенья.

В конце концов одержала верх та душа, которая тянула тов. Троцкого к Ленину. Но что эти колебания были велики, что в своих самостоятельных политических выступлениях, когда тов. Троцкий действовал без корректива т. Ленина, он совершал грубейшие политические ошибки, это можно видеть не только на примере его отношения к меньшевикам и большевикам-ленинцам, но также и на его оценке революционных перспектив.

„Мы ставим себе ясную и определенную задачу,—заявлял на конференции „объединенных с.-д." т. Троцкий, — переход всей полноты власти в руки Совета. Для нас этот вопрос не вопрос сегодняшнего дня. Мы знаем, что завоевание власти—процесс длительный и зависит от темпа развертывающихся событий" (стр. 47. Курсив наш *Ф. Р.*).

Тов. Троцкий оказался плохим пророком, потому что он ставил вопрос не по-ленински. Также не по-ленински он убеждал рабочий класс не торопиться с захватом власти.

Вот эти замечательные слова:

„Захват власти как можно скорее—не в наших интересах, ибо чем больше отдаляется от нас этот момент, тем более организованными и сознательными становятся наши ряды и тем более подготовленными окажемся мы в нужный момент для захвата власти"

Итак, — чем позже, тем лучше. „Захват власти как можно скорее — не в наших интересах". Этот оппортунистический афоризм т. Троцкого, поистине, заслуживает самой широкой известности. Пусть западноевропейские рабочие не падают духом от мрачных пессимистических оценок т. Троцким революционных перспектив в Германии и других странах. Мы видим, какой несуразный и нереволюционный тезис выдвигался им за несколько месяцев до победы российского пролетариата.

И после всего этого т. Троцкий, облекаясь в тогу старого ленинца, с боевым пылом произносит обличительные тирады против „внутреннего врага" в нашей партии.

Нет, не среди основных кадров старых большевиков-ленинцев, не внутри нашей „старой гвардии" свили себе гнездо отголоски Второго Интернационала, „социал-демократии", „меньшевизма" и т. д., а в речах и статьях самого т. Троцкого.

Вот уж поистине с больной головы на здоровую.

Кета и, в примечании по поводу конференции, на ко орой выс упал т. Троцкий, дается совершенно неправильная информация. Там сказано: „7 мая 1917 г. открылась общегородская конференция объединенных с.-д. (большевиков и интернационалистов)" (стр. 380). Недостаточно осведомленный молодой читатель может подумать, что на конференции, в самом деле, участвовали большевики, члены нашей партии. Но в действительности ни одного большевика-ленинца на конференции не было. Многие из присутствовавших на конференции являлись противниками объединения „только с большевиками" и задавались целью во что бы то ни стало объединить нас с меньшевиками.

Во всяком случае, элементарная добросовестность требовала бы от составителя примечаний хотя бы краткого пояснения, что участники конференции, называвшие себя большевиками, отнюдь не являлись членами нашей партии.

В своей брошюре „Программа мира", изданной вскоре после приезда из Америки, т. Троцкий в скрытой форме вел полемику с Ильичем. Вновь выдвигая отвергнутый нашей партией лозунг „Соединенных Штатов Европы", т. Троцкий писал:

„Единственное сколько-нибудь конкретно историческое соображение против лозунга Соединенных Штатов было формулировано в швейцарском „Социал Демократе" в следующей фразе: „Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма". Отсюда „Социал-Демократ" делал тот вывод, что возможна победа социализма в одной стране и что незачем поэтому диктатуру пролетариата в каждом отдельном государстве обусловливать созданием Соединенных Штатов Европы. Что капиталистическое развитие разных стран неравномерно,—совершенно бесспорное соображение. Но самая эта нера номерность весьма неравномерна.

Капиталистический уровень Англии, Австрии, Германии или Франции неодинаков. Но, по сравнению с Африкой и Азией, все эти страны представляют собою капиталистическую „Европу", со-зревшую для социальной револю[ции]" (Троцкий, т. III, ч. 1, стр. 89—90).

Отсюда т. Троцкий делал следующий вы[вод]:

„...Безнадежно думать, так св[иде]тельствуют и опыт истории, и теоре[ти]ческие соображения, что, напр., [ре]волюционная Россия мог[ла] бы устоять перед лицом к[он]сервативной Европы, или [со]циал-демократическая Германия мо[гла] бы остаться изолированной в капи[та]листическом мире" (стр. 90. Кур[сив] мой. *Ф. Р.*).

Между тем, т. Ленин еще 23 авгу[ста] 1915 г. в „Социал-Демократе" выдвин[ул] следующее положение, даже в 1917 г. [вы]зывавшее возражения т. Троцкого:

„Неравномерность экономического [и] политического развития есть безусл[ов]ный закон капитализма. Отсюда с[ле]дует, что возможна победа с[о]циализма первоначаль[но] в немногих или даже в одно[й] отдельно взятой капит[а]листической стране. Победи[в]ший пролетариат этой страны, экспр[о]приировав капиталистов и организов[ав] у себя социалистическое производст[во] встал бы против остального кап[и]талистического мира, привлекая к се[бе] угнетенные классы других стран, по[д]нимая в них восстание против кап[и]талистов, выступая в случае необх[о]димости даже с военной силой прот[ив] эксплоататорских классов и их гос[у]дарств" (Г. Зиновьев и Н. Л[е]нин. Против течения. М. 1923 [г.] стр. 130. Курсив мой. *Ф. Р.*).

Семилетний опыт нашего Советско[го] Союза самым блестящим образом подтве[р]ждает правоту т. Ленина и ошибочност[ь] позиции т. Троцкого. Равным образом бы[л] прав не т. Троцкий, настойчиво выбрась[і]вавший лозунг Соединенных Штатов Е[в]ропы, а т. Ленин, неустанно повторяв[]ший, что „Соединенные Штаты Европы при капитализме либо невозможны, либо реакционны" (стр. 128), чт[о] „Соед. Штаты Европы при капитализм[е] равняются соглашению о дележе колоний" (стр. 129).

Напрасно в своем послесловии, помеченном 1922 годом, тов. Троцкий пытается затушевать сущность этих разногласий, подменив понятие Европейских Соединенных Штатов совершенно другим понятием федеративной европейской Советской Республики. Каждый вдумчивый читатель отдаст себе отчет, что не этот лозунг выставлял т. Троцкий до и после февральской революции и не против этого лозунга вел упорную борьбу т. Ленин. Так же неубедительно звучит другое оправдание т. Троцкого: „Несколько раз повторяющееся в „Программе мира" утверждение, что пролетарская революция не может победоносно завершиться в национальных рамках, покажется, пожалуй, некоторым читателям опровергнутым почти пятилетним опытом нашей Советской Республики. Но такое заключение было бы неосновательно. Тот факт, что рабочее государство удерживалось против всего мира в одной стране и притом отсталой, свидетельствует о колоссальной мощи пролетариата, которая в других, более передовых, более цивилизованных странах способна будет совершать поистине чудеса. Но, отстояв себя в политическом и военном смысле, как государство, мы к созданию социалистического общества не пришли и даже не подошли" (Л. Троцкий, Соч., т. III, ч. 1, стр. 90).

Но ведь в 1917 г. т. Троцкий считал безнадежным думать, что „революционная Россия могла бы устоять перед лицом консервативной Европы". Это означает, что он выражал сомнения как раз в том, что мы можем „отстоять себя в политическом и военном смысле, как государство".

Отсюда следует, что даже в 1917 г. тов. Троцкий, в отличие от тов. Ленина, не верил в способность рабочего государства удержаться „против всего мира в одной стране, и притом отсталой", что и требовалось доказать.

Таким образом, даже после февральской революции позиция т. Троцкого во многих существенных и важных вопросах не совпадала с позицией т. Ленина.

В статьях и речах т. Троцкого, относящихся к 1917 г., можно без труда найти немало специфических элементов троцкизма, противоречащих основным положениям ленинизма.

Но Троцкий 1917 года был все же неизмеримо ближе к Ленину, чем Троцкий сегодняшнего дня. В настоящий момент во всех выступлениях т. Троцкого мы наблюдаем новый рецидив троцкизма, как своеобразного, анти-марксистского и антиленинского идеологического уклона.

Этот мелко-буржуазный уклон находит свое законченное выражение как в дискуссии по внутрипартийным вопросам, так и в оценке международного положения (гипертрофированное представление об американском империализме, берущем „на паек" всю Европу, неверное определение фашизма и т. д.), в оценке перспектив мировой революции, отрицании близости революции на Западе, поддержке правого крыла Коминтерна и, наконец, в импрессионистском толковании событий пролетарского Октября. Тов. Троцкий становится на скользкий путь, предпринимая ревизию теоретических основ ленинизма. И партия, как хранительница ортодоксальной мысли Ильича, должна оказать ему самый решительный идейный отпор.


Ф. Раскольников.

---

**И. М. Диомидов.** Советский строй. Методическое пособие по обществоведению для трудовой школы. Рекоменд. Научно-Педагогической Секцией Гос Ученого Совета. Изд. „Работник Просвещения". М. 1924 г. Стр. 168. Тираж 10.000.

Автор решительно восстает против укоренившейся у нас манеры преподавать политическую грамоту наподобие старого „закона божия" в школах или „словесности" в казармах. Система зачетов и проверок, производимых подчас в весьма торжественной обстановке, благоприятствует развитию и закреплению старых навыков — „зубрежки", „шпаргалки" и т. п.

Своему читателю-педагогу И. М. Диомидов дает строгий наказ не довольствоваться натаскиванием школьников по книжке, а развивать в них любовь к самостоятельному исследованию действительности путем экскурсий, анализа цифровых данных, решения задач и инсценировок разных моментов политической жизни страны. Нечто подобное давно уже практикуется

гло-саксонских школах, опыта которых ), ссылающийся на немецких авторов— берга и Шаррельмана, к сожалению, читывает. Но для нужд советского преподавателя обществоведения книга И. М. идова представляет ценное и, пожанезаменимое пособие. Автор начинает рактеристики советского строя, как мета школьного изучения, затем подэт материалы к изучению нашего адмиэативного аппарата, дальше приводит титуционные тексты с постатейными нениями и дополнениями и заканчиперечислением важнейшей литературы эса. Самая ценная — вторая часть. й использованы и сгруппированы разданные, подобранные автором из спеьных журналов и малодоступных ветвенных изданий. Не только педагог,— элог, юрист и политработник найдут не мало интересного.

последующих изданиях (а они, несоно понадобятся) надлежит исправить эго рода недочеты слога и фактические ности, без которых в процессе спешповидимому, работы не обошлось. Из первых укажу хотя бы следующее : „время, затраченное на проработку ственно-бытового уклада жизни данместности, будет с избытком награждено" (!!). Фактические нести встречаются по преимуществу отделе книги. „Власть Советов" — тся не НКВД, а ВЦИК'ом. Народный ссариат Юстиции не мог издать циального текста союзной констии по той простой причине, что это моделать (и делает) только союзный же ЦИК СССР. Отсылка автора к ра Разумовского „Социология и право" шуканиса „Общая теория права и мар", как содержащим в себе начала теосоветского права, ошибочна. Ни та, ни я из этих книг советским правом не ается. Разумовский пытается разренекоторые вопросы социологического я, а Пашуканис трактует почти исключьно о буржуазном праве.

достаточен вопросник к тексту союзконституции, содержащий всего 9 воэв, в то время как конституция РСФСР кена подробным вопросником, заклюцим около 80 пунктов.

Брошюровка книги, предназначенной не для однократного прочтения, а для постоянного пользования, оставляет желать лучшего.

**И. Ильинский.**

---

**Орест Трахтенберг. Беседы с учителем по историческому материализму. Госиздат. М. 1924 г. Стр. 123. 25.000 экз.**

Недавно появившаяся на книжном рынке книжка Ореста Трахтенберга „Беседы с учителем по историческому материализму" (Госизд. М.) представляет первую попытку дать учительству руководство по марксизму.

На этой книжке, как на первом и единственном руководстве по истмату для учителей, необходимо остановиться с должным вниманием.

Правильно начиная свои беседы с учителем вопросами гносеологии, автор в главе о диалектике дает, однако, очень слабый очерк как философской стороны вопроса, так и диалектики, как метода.

Орест Трахтенберг не делает при этом и попытки к тому, чтобы приложить диалектический метод в отношении к ряду областей науки.

Небрежно бросив фразу о том, что „можно говорить о марксистском взгляде даже в астрономии" (стр. 5), автор ничем не иллюстрирует этого положения.

Между тем, применяя диалектический метод к ряду научных дисциплин, автор оперировал бы материалом близким и конкретным для своей аудитории.

На этом конкретном материале целесообразно было и проявить марксистский метод.

Странное впечатление производит следующее заверение автора:

„Не надо думать, однако, что мировоззрение марксизма есть простое заимствование учения Фейербаха. Не говоря уже о существенных поправках, внесенных в последнее Марксом и Энгельсом, они соединили с материализмом диалектику, это высшее достижение идеалистической философии Гегеля" (19 стр.).

После предостережения Ореста Трахтенберга, что, мол, „не надо думать", все же выходит, что марксизм, это — Фейербах и Гегель плюс поправки...

Автор—крайний „конституционалист“. Он категорически заявляет: „Дух определяется строением тела“ (79 стр.). Точно на „дух“ не воздействует социальная среда, точно он не поддается влиянию условий воспитания и не „определяется“ групповыми, профессиональными и классовыми моментами!

По Трахтенбергу конституция человека—это все, строение тела—это фетиш и от него „все качества“.

Неправильный также подход у автора к вопросу о возникновении религии. Орест Трахтенберг думает, что „удивление — это мать религии“ (100 стр.). Предположение, что человек пришел к религии умозрительно, мудрствуя, философствуя, давно уже оставлено наукой, в частности марксистскими исследователями истории религии.

Слаб также автор в вопросах педагогики, о которых он пространно говорит. Марксистская педагогическая литература, повидимому, Трахтенбергом и не штудировалась. Иначе, чем же объяснить, что автор, трактуя в специальной главе педагогику (110 — 115 стр), ни словом не обмолвился ни о Крупской, ни о Блонском, ни о Корнилове, ни о Залкинде, ни о Моложавом-Шимкевич.

Точно педагогика в свете марксизма — это форменная Сахара, и в песках пустыни один лишь одинокий Орест Трахтенберг впервые закладывает фундамент для грядущей науки.

Автор нередко противоречит сам себе. На 41 стр., например, он отмечает „высокое умственное развитие“ наших предков, как один из основных факторов, спасших человеческий род от гибели в суровых условиях нашей пражизни. А страницей дальше автор заявляет: „Не ум создал человека и отделил его от животных сородичей“ (42 стр.).

Не сильнее автор и в своих методологических указаниях, т.-е. в самом существенном в таком руководстве, которое предназначено для педагогов.

Достаточно привести следующий пример. Автор дает указания учителям, как проверить на опыте утверждение марксизма, что бытие определяет сознание. Для проверки этого тезиса Орест Трахтенберг рекомендует учителям наблюдения „над различием в восприятии учениками урока до и после какой-либо физической работы, после достаточного или недостаточного сна, в зависимости от количества и качества пищи“ (20 стр.).

Что может быть наивнее такого метода доказательства приоритета бытия?

Если б было так легко и просто доказать положение Маркса о бытии, то не осталось бы ни одного идеалиста. Все идеалисты были бы жестоко посрамлены находчивым Орестом Трахтенбергом...

Подводя итоги, мы не сделаем неправильный вывод, если скажем:

И после появления книжки Ореста Трахтенберга мы все еще не имеем руководства по истмату для нашего учительства.

Г. Даян.



Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Маросейка, Б. Успенский пер., 5, кв. 36. Тел. 19-82.

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

*Леонид Леонов.* „Барсуки“ (окончание) . . . . . . 3
*Елена Зарт.* „Горячая гора“ . . . . . . 151
СТИХИ: *В. Казин, В. Инбер, Н. Полетаев, П. Радимов, Ф. Амелин, Ив. Доронин, Г. Коренев, Н. Грпцианская* . . . . . . 157

*Д. Сверчков.* А. Ф. Керенский . . . . . . 171
*И. Ильинский.* Право и быт . . . . . . 199
*М. Косвен.* Происхождение обмена . . . . . . 229
*Я. Яковлев.* Армия перед Октябрем . . . . . . 241
*Ф. Раскольников.* „Заветные идеалы“ Бурцева . . . . . . 259

## За рубежом

*Жак Садуль.* Новая фаза в развитии французского империализма . . . . 266
*М. Павлович.* Восстание в испанском Марокко и его международные последствия . . . . . . 278

## Из прошлого гражданской войны

*Е. Бражнев.* Зеленый шум . . . . . . 281

## От земли и городов

*Л. Рейснер.* Донбасс . . . . . . 311
*М. Пришвин.* Жильцы . . . . . . 318
*Вл. Лидин.* Из кн. „Нора“ . . . . . . 324
*И. Нусинов.* Вокруг Селигера . . . . . . 335

## Литературные края

*Г. Якубовский.* Литературные силуэты. П. Низовой и А. Новиков-Прибой . 352
*Н. Фатов.* Классовые корни творчества А. С. Неверова . . . . . . 368

## Библиография

РЕЦЕНЗИИ: *Л. Войтоловского, Кл. Лавровой, Машбиц-Верова, Ив. Гагена, А. Лежнева, П. Керженцева, Ф. Раскольникова, И. Ильинского, Г. Даяна* . . . . . . 381

## Объявления